АЛЕКСАНДР ПОПОВСКИЙ

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

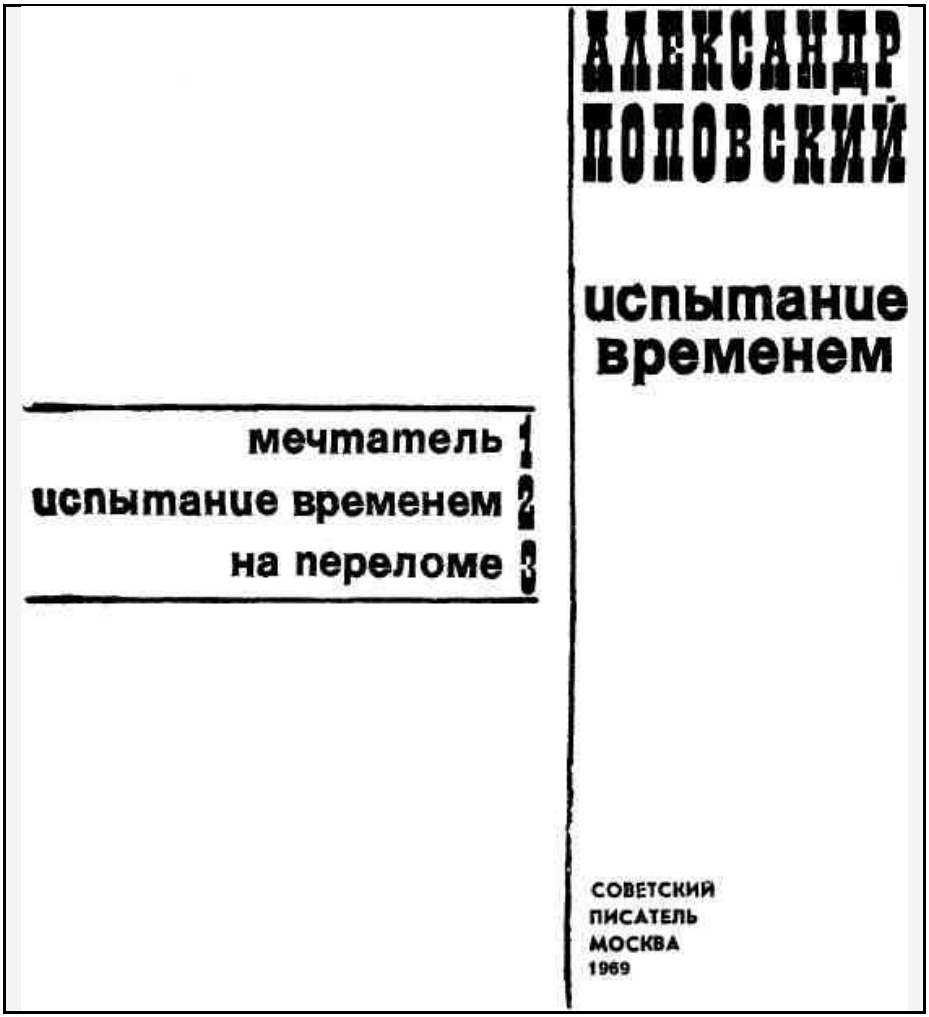
Новая книга Александра Поповского «Испытание временем» открывается романом «Мечтатель», написанным на автобиографическом материале. Вторая и третья часть — «Испытание временем» и «На переломе» — воспоминания о полувековом жизненном и творческом пути писателя. Действие романа «Мечтатель» происходит в далекие, дореволюционные годы. В нем повествуется о жизни еврейского мальчика Шимшона. Отец едва способен прокормить семью. Шимшон проходит горькую школу жизни. Поначалу он заражен сословными и религиозными предрассудками, уверен, что богатство и бедность, радости и горе ниспосланы богом. Однако наступает день, когда измученный юноша бросает горькие упреки богу и богатым сородичам. Действие второй части книги происходит в годы гражданской войны. Писатель откровенно рассказывает о пережитых им ошибках, о нелегком пути, пройденном в поисках правды. А. Поповский многие годы работает в жанре научно-художественной литературы. Им написаны романы и повести о людях науки. В третьей части книги он рассказывает о том, как создавались эти произведения, вспоминает свои встречи с выдающимися советскими учеными.

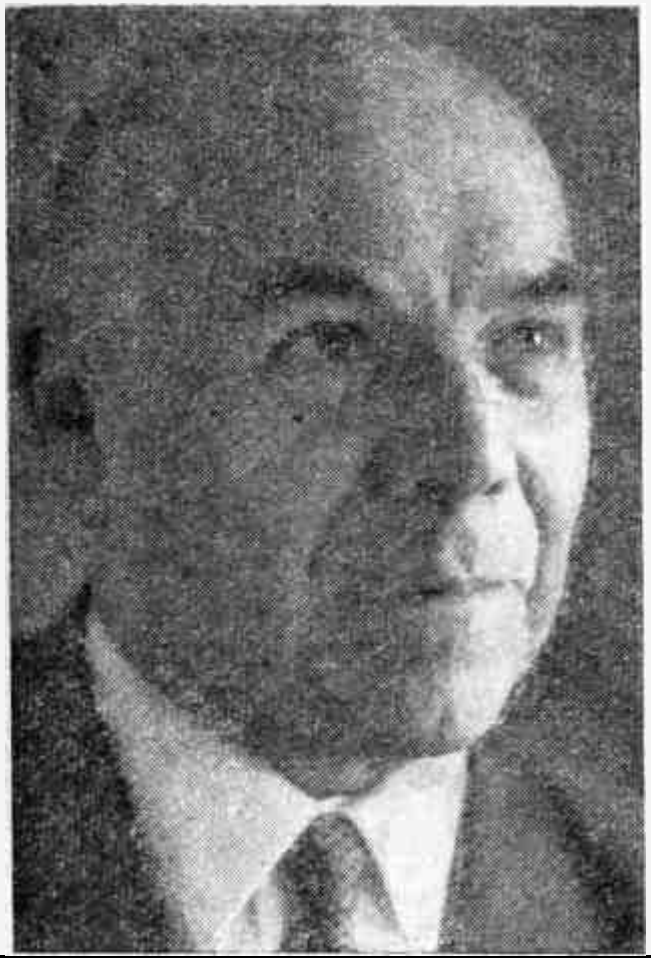
- Испытание временем
  - ○
  - ○ ПРЕДИСЛОВИЕ
  - ○ МЕЧТАТЕЛЬ
    - ■
    - ■ ШИМШОН
    - ■ ШИМШОН МЕЧТАЕТ
    - ■ ШИМШОН РАЗВЛЕКАЕТСЯ
    - ■ ШИМШОН ТОМИТСЯ
    - ■ ШИМШОНУ НЕ ВЕЗЕТ
    - ■ ШИМШОН В ПОИСКАХ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
    - ■ ПОИСКИ СЧАСТЬЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
    - ■ ШИМШОН ИДЕТ КО ДНУ
    - ■ ШИМШОН ПОЕТ «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ»
    - ■ ШИМШОН ПЛАЧЕТ, СМЕЕТСЯ И СОМНЕВАЕТСЯ
    - ■ ШИМШОН ПОВТОРЯЕТ ИСАЙЮ И АМОСА
  - ○ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2

        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
        - 8
        - 9
        - 10
        - 11
        - 12
        - 13
    - НА ПЕРЕЛОМЕ
        -
        - ГЛАВА ПЕРВАЯ
        - ГЛАВА ВТОРАЯ
        - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
        - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
        - ГЛАВА ПЯТАЯ
        - ГЛАВА ШЕСТАЯ
        - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
        - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
        - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
        - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
        - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
        - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
        - ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18

Испытание временем





ПРЕДИСЛОВИЕ

По целому ряду соображений я не могу представить читателю моего друга, как этого требует литературная традиция: описать его внешность, черты лица, указать возраст, женат ли он, одинок или обременен семьей. Друг мой характером не похож на меня, а во многом даже противоположен. Я горяч, невоздержан и легкомыслен, он холоден, спокоен, немногословен и вдумчив. Голос у меня громкий, порой даже чересчур. Мой друг предпочитает спокойный полушепот, ровную уверенность собеседника, знающего себе цену. Ему нет нужды выражать недовольство и надрываться, малейшее ослушание дорого мне обходилось, и я давал себе слово (не всегда оставаясь верным себе) принимать его советы без возражения.

Звал я моего друга по-разному, то ласковой кличкой, то малопривлекательным прозвищем, а то и вовсе бранным словом.

Он был моей тенью в течение всей жизни. Я не мирился с его внушениями и непрошеными советами, но сомневаться и возражать мог только про себя. Ему нравились назидания моих учителей, родителей, дядюшек, тетушек, и он повторял их без конца. У него завидная память на мои просчеты и промахи и склонность напоминать о них, когда я силюсь о них забыть. Мне казалось тогда, что друг мой в заговоре со всеми, кто против меня, и как внушительно ни звучали его наставления, они рождали во мне протест.

С годами наши отношения ухудшались, и порой доходило до ссор. Его строгие суждения и рассудочность изводили меня. Малейшее мое поползновение позволить себе вольность и выйти за пределы общепризнанных правил этикета, как бы вески ни казались мои доводы, завершалось бесславно для меня. Суровый страж был вездесущ, и задолго до того, как мелькнувший интерес становился моим желанием, мне слышалась его суровая отповедь.

Наши препирательства не могли иметь свидетелей, я один был вправе судить о них и быть с моим судьей откровенным до конца. На людях я отстаивал моего друга и, хоть особенно не льстил ему, не позволял посягать на его доброе имя даже тогда, когда его несправедливость бывала очевидна…

Друг мой не был безгрешен, и его советы порой приводили к ошибочным решениям. Я не был милостив к нему, не щадил самолюбия упрямца, хоть и знал, что попреки не тронут его. И все-таки он со временем становился мне все ближе и родней. Никто, как он, не умел вселять во мне надежды, когда источник их иссякал, насыщать мои чувства вдохновением, прельщать

красотой и великолепием, которых я в жизни недоглядел. Никто, как он, не умел предавать забвению мои безумства, нелепое упрямство, малодушие и дарить мне веру в себя.

В трудные зрелые годы мне было не до ссор и размолвок о верным другом. Я не мог с ним состязаться, не мог ему не верить потому, что во многом мы давно уже сошлись. Вот и сейчас я слышу его размеренный полушепот:

— Уж так повелось, и мы с тобой не исключение, надо исподволь итоги подводить. На заре наших дней ум наш жадно исследует жизнь, чтобы, вникнув в ее дебри, верней по ней пройти. Опыт с годами нарастает, но не для философских итогов, — до умозрительных выводов еще далеко. И юность и зрелость слишком заняты собой. Лишь в пору заката, когда пути жизни проторены, приходит час переоценки того, что некогда служило поводырем, а затем спутником в жизни…

Мой друг напрасно поспешил, меня не влечет к покаянию. Выкладывать для обозрения содеянные глупости и ошибки, поведать о тщеславии и напрасных надеждах, осрамить собственную молодость и зрелость заодно — кому это покажется приятным! Мне стыдно порой за персонажей моих книг, вынужденных по моему произволу себя бичевать, каяться и вскрывать свои сердечные раны.

Мой друг попытался меня уговорить, и довольно логично:

— Никто не зовет тебя к покаянию, за семьдесят лет ты много перевидел, был свидетелем событий, равных которым не знало человечество. На твоих глазах ушла в вечность великая империя, народные страсти излились в гражданской войне. Ты был среди восставших и видел, как в муках рождалась новая жизнь. Ты был также среди тех, кто сражался против врага человечества, возмечтавшего покорить мир. Три поколения были твоими спутниками, они мужали и крепли на твоих глазах, побеждали и умирали, оставляя в верных руках победные знамена. Ты был свидетелем того, как наука расправилась с извечными врагами человека — холерой, чумой, малярией, тифами и детским параличом. При тебе люди впервые устремились в небеса, положили конец мифу о небесном владыке, правящем вселенной. В твоей жизни посланец земли мягко осел на лоно луны и возвестил миру, что почва тверда и ждет человека.

Я возражал. Другие об этом напишут лучше меня, мое назначение — средствами литературы насаждать высокие начала морали, отстаивать идеалы своего времени и нести народу утешение в дни его испытаний.

Мой друг ответил сентенцией, из которой следовало, что для писателя я слишком схимник и от жизни, как от нечистой силы,

готов отделаться крестом.

— А ты уверен, — следовал вопрос, — что и мораль и идеи отстоишь, ложных богов из храма изгонишь и вовремя принесешь народу утешение?

Он и на этот раз остался верным себе. Начинив меня сомнениями и прибавив к моим собственным новые, мой друг вынудил меня защищаться. Я ссылался на то, что приютивший меня век не только преуспел в науках и политике, но и встретился со многим неприглядным и спорным. Казавшиеся извечными представления о нравственных устоях, о мастерстве живописца, ваятеля, о законах гармонии, искусстве литератора заколебались. Недавние приверженцы Баха и Вагнера заговорили о музыкальном своеобразии джаза, додекафонии, кисть художника отрекается от строгих канонов минувших веков, утверждаются абстракционизм, сюрреализм, танцы одинаково близки культу Приапа — бога чувственных наслаждений — и пляскам доисторического человека. Безголосое пение и убогое подражание былым искусникам театральных подмостков находят себе многочисленных сторонников. Юное поколение заново пересматривает кодекс нравственных законов, как пересмотрели их отцы божеские уставы. Былое с сущим уживается не без тягостных битв и страданий. Писатель не вправе видеть мир освещенным с одной стороны.

Я был действительно свидетелем великих дел и все же итоги подводить не стану, ни мне, ни кому другому они не нужны. Что до призвания писателя и его задач, они во все времена были нелегкими, великодушная история заботилась о том, чтобы служители пера не ведали покоя.

— Уверен ли я в удаче? Конечно нет, но дает ли это право отступиться от долга? Писатель должен уповать и своей верой щедро наделять всех, как бы мало ни было на это надежд. Подобно врачу, он не вправе на страдания отвечать безмолвием.

Мой друг — здравый смысл, вот он каков — взял снова верх, и после долгих препирательств я уступил. Должно быть, в самом деле настало время подводить итог.

Свое жизнеописание начинают обычно так: «Я помню себя с того дня, когда я впервые переступил порог школы…» Затем следует описание того, что с той золотой поры уцелело в памяти. Воспоминания трогательны, и сам автор, умиленный ими, упускает из виду, что события давних лет способны впечатлять лишь школьного учителя или врача, как подробность в истории болезни. Читателя скорее привлечет пора становления личности художника, его способность противостоять жизненным испытаниям, своевременно и верно разбираться в непривычной

обстановке новой среды и держать фантазию в пределах действительности. Мечтателей порой объявляют глупцами, это так же неверно, как приписывать ловким дельцам утонченный ум. Хитрость и ловкость — наследство звериных предков, тогда как склонность к фантазии — свойство натуры, не отягощенной жизненным опытом.

С каких же лет начинать наше жизнеописание? Какие годы всего ближе к становлению личности?

Кто знает. У каждого своя весна и плодотворная осень, одним дано рано ступить в пределы духовной зрелости, а иным — никогда. Я долго стучался в заветные двери, платил страданиями и сомнениями за каждое испытание, ниспосланное мне судьбой, и поздно, слишком поздно, мечтания оставили меня.

МЕЧТАТЕЛЬ
Роман


мечта-
тель
РОМАН

ШИМШОН

Суббота отошла с первыми звездами. Ночь водворила будни в доме Дувида-портного. Жена его Рухл зажгла лампу, пробормотала: «Доброй недели» — и сняла с себя атласное подвенечное платье. В ситцевой юбке с подоткнутым подолом и в старой, засаленной кофте, без золотых колец и часиков на груди, она поблекла. Исчезла медлительная торжественность походки, по-будничному торопливые руки засуетились, постепенно разрушая великолепие праздника. Цветистые половики, небрежно сдвинутые ее ногой в угол, обнажили истертый, некрашеный пол. Веселая скатерть с розовыми разводами сползла, открыв пятнистое лицо стола. Занавеска отодвинулась — и на свет выглянула черная, грязная печь. Куда делись ярко вычищенные подсвечники с виноградными лозами по бокам, серебряные ложки, отражающие небо, крошечные бокалы, сияющие, как маленькие солнца? Силы будней вылезли из своих нор. Забились огромные ножницы с острым прожорливым клювом, вынырнул чугунный утюг, брызжущий искрами, подняла голову швейная машина, покрытая на праздник простыней… Отец развернул кусок сукна, прислонил к стене книгу закройщика Аршинова, исчерченную синими жилками, и стал кроить.

Будни наступали со всех сторон.

Шимшон присел у края стола, открыл семидесятый выпуск романа «Сорок раз женатый» и, занятый судьбой графини Гильды, забыл о том, что суббота ушла и вернется лишь через неделю. Завтра он снова будет сидеть у дверей цирюльни, зазывать мужиков песенкой:

Стричься!
Бриться!
Зубы рвать!
Кровь пускать!
Банки ставить!
Кто желает?
Кто желает?

Страницы романа взывали о помощи, страдания бедной графини грозили затмить свет и вечным несчастьем повиснуть над миром. Шимшон изнемогал от ярости, любил и страстно ненавидел. Он знал, что с последующих страниц встанет мститель, благородный и достойный граф. Но пока его не было,

участь прекрасной Гильды наполняла Шимшона тревогой и смятением…

Душа субботы отлетела. В печке торжествовал огонек будней. Ножницы жевали сукно, и синей тесьмой шел от утюга ядовитый дымок.

За окном чернело угасшее небо и блестела звезда.

Портной с досадой отложил мелок, придвинул к себе книгу кройки Аршинова и, склонив голову, стал вслух размышлять. Он близко пригибался к страницам, отходил от них на некоторое расстояние, водил пальцем по синим черточкам и часто вскидывал плечами. Сомнения повторялись каждый раз, когда судьба испытывала его мелом и ножницами. То ли искусство непрочно сидело в нем, то ли Аршинов — горький пьяница и мот — напутал в своей книге, но за сомнениями мастера неизменно следовало недовольство заказчика…

Не будь Шимшон занят судьбой Гильды, он давно бы выскользнул из-за стола. Разлад между отцом и Аршиновым предвещал мало хорошего и в семейной хронике сопровождался печальными событиями. Язык незадачливого портного и тяжелая его рука обращались в бич судьбы.

Ангелы-хранители покинули мальчика, счастье отвернулось от него, когда отец увидел его за книжкой. Рука, вооруженная мелком, гневно дрогнула и решительно отодвинула сукно.

— Опять ты сидишь, точно в болячках, за книгой?.. Полюбуйся, Рухл, своим сынком, он зарылся в страницы, как в навоз. Начитается басен и небылиц, наслушается сплетен и ляжет, безбожник, спать без молитвы. Я хотел бы знать: что в этих книжках хорошего? Почему он им так верит? Кто их написал — пророк или святой?

Мать не торопится с ответом. Ребенок ведет себя как взрослый, не путается под ногами, не шумит, не ссорится с братьями, — чего еще желать?

— Я спрашиваю: почему ему не посидеть за Библией, за Талмудом? Боже мой, говоришь, надрываешься, а они делают свое… Мать сунула голову в печку, а сынок — в книжку…

— Ребенок столько же мой, сколько и твой… Я на улице его не подобрала и не принесла с собой в приданое…

Надо отдать справедливость Дувиду — он владел тайной отмыкать чужие уста.

— Я отрекаюсь от него пред богом и людьми… Этот выкрест окончит свою жизнь в тюрьме…

Пророчество, несмотря на торжественный тон, никого не взволновало. Мать не отступала от печи, сын — от судьбы Гильды. Мальчика покинуло благоразумие. Опасность

надвигалась, надо было спасаться, а мужественный заступник графини не двигался с места. Возмущение против несправедливости, затянувшейся на семьдесят выпусков романа, сделало его дерзким:

— Эти книжки мне дороже всего в мире… Я готов за них умереть…

Можно было предвидеть, как развернутся события. Бледный от гнева отец бросится искать орудия убеждения. Если линейки под рукой не окажется, в ход пойдет все, что способно укрепить отцовский авторитет: ремень, полотенце, вешалка, брюкодержатель и — в крайнем случае — клеенчатый метр. Жертва стойко выдержит испытание и не без достоинства удалится…

На этот раз вмешалось провидение. Оно под видом реб Иойля послало Шимшону ангела с пачкой лотерейных билетов под мышкой. Он встал на пороге, провел рукой по мезузе[1], прибитой к двери, поцеловал пальцы, коснувшиеся святыни, и пожелал всем счастливой недели.

Это был высокий, худой старик с длинной седой бородой, заостренной книзу, с пышными пейсами. В городе его звали «Иойль-франт» за страсть нарядно одеваться. На нем всегда были длинный люстриновый сюртук и белая крахмальная сорочка с воротничком и галстуком.

Крахмальная сорочка редко стиралась, пятна на сюртуке расплывались, воротничок становился все темнее, но «Иойль-франт» не расставался с ними.

Никто, кроме Шимшона, не обрадовался гостю. Мать глубже всунула голову в печь, а отец грудью налег на книгу Аршинова, словно раз навсегда решил покончить свои разногласия с автором.

Холодный прием означал: «Простите, реб Иойль, все мы, как видите, заняты, придете в другой раз…»

Старик вздыхает и опускается на стул. Он одергивает полы блестящего сюртука, расправляет галстук и осторожно касается воротничка. Лицо его сосредоточенно, в глазах гордость — восторг человека, владеющего единственным в мире сокровищем… Элегантные манеры его как бы говорят портному: «Что значит заняты? Всему свое время…»

— Что нового? — скорей из вежливости, чем из любопытства спрашивает Дувид. — Как живете?

— Как живет еврей? Мучается, гоняется за копейкой…

О себе реб Иойль говорит вполголоса, глухо, как о конченом человеке.

— Бегает бедный еврей по городу, как помешанный, ищет

щелку, куда бы всунуть лотерейный билет… Спит и во сне видит миллионы… Приходит ему вдруг мысль, точно бог шепнул: «Зайди к Дувиду-портному… Пусть бедняк выиграет…» В самом деле: человек бедствует, почему ему не помочь? Где это написано, что выигрывать должны только богачи?.. Разве не грех, когда тысяча достается Шполянскому? Человек набит миллионами, как кровать нищего клопами. К чему ему чужие деньги? Шполянский, правда, наградит Иойля по-царски, но зачем это старому коллектору?[2] Он хочет, чтобы крупный выигрыш достался Дувиду… Так он хочет… Это его каприз…

В голосе Иойля звучит твердая решимость осчастливить портного.

— Где уж нам богатеть, — склонив голову набок, говорит Дувид, — мое счастье зачахло в пеленках…

— Бедняки сами виноваты в своем несчастье, — утверждает Иойль. — Если бы они раскупали все лотерейные билеты, богачам достались бы одни болячки…

Благородный порыв старика замирает без отзвука, точно в пустыне. Портной скептически пожимает плечами и печально усмехается:

— Мне не везет, вы это хорошо знаете…

Иойль поправляет воротничок, и глаза его преображаются: огонь в них меркнет, горечь заволакивает их.

— Простите меня, вы рассуждаете, реб Дувид, как ребенок… Сегодня бог не захотел, а завтра захочет… Вчера он сказал: «Не дам я Дувиду гроша ломаного», — а сегодня отдаст ему все сокровища мира… Боже мой, если вы не выиграете, где же справедливость?!

В самом деле! Разве Дувид не верит больше в силы неба?

— Дело бедняка — взять билет и надеяться, а дело бога — распределять… Как сказано у нас: «Кому холеру, кому чуму…»

Лицо старика выражает покорность. Оно как бы говорит: «Покорись, Дувид, своей судьбе и стань миллионером…»

— Не трудитесь зря, реб Иойль, — отчетливо слышится из-за печи, — вам ничего не поможет… Он не купит у вас билета. Мы, слава богу, десять лет проигрываем… Пусть богачи жиреют — деньги идут к деньгам…

Вмешательство Рухл коллектор принимает спокойно. Он высоко поднимает правую бровь, прищуривает левый глаз и произносит: «Э-э-э!» — это значит: «Нет так нет…»

— Я расскажу вам, реб Дувид, к чему ведет безверие… Послушайте эту историю, она вам понравится…

Старик опускает бровь, глубоко вздыхает и в сотый раз повторяет историю о жадном еврее и благочестивом раввине.

Портной отодвигает книгу кройки, опускается на стул и устремляет на Иойля большие, алчные глаза. Он сверлит ими старика и захлебывается от удовольствия…

Какое счастье быть взрослым! Кто упрекнет Дувида за то, что он любит небылицы?..

Шимшон забыл о недавней обиде, о тяжелом положении Гильды, обо всем на свете. Повесть вливалась в его сердце, как река в море. Перед ним мелькали люди — чужие и неизвестные. От их близости кружилась голова.

Шимшон вдруг поднимается и говорит:

— Я знаю, чем эта история окончится… Нам в хедере рассказывал ее учитель…

Портной взревел, точно его ранили. Он гневно взглянул на того, кто прервал рассказ, и протянул руку за линейкой. Где набраться терпения? Как не прийти в бешенство?.. Дувид любит послушать повесть, знает толк в притче, легенде и в острой выдумке, а у коллектора золотые уста, болтать им сам бог велит, но какое до этого дело мальчишке?..

— Что мне делать с моим несчастьем, реб Иойль? В собственном доме я не хозяин… Слова не проронишь, чтоб тебя не перебили… Посоветуйте, что мне делать? Страсть его к басням не знает границ…

Лицо старика стало торжественным и строгим:

— Послушайте, реб Дувид…

Голос звучал скрытым восторгом, глаза снова сверкали.

— …Дайте вашему сыну вытащить лотерейный билет… Неспроста прервал он нас… Его привели сюда силы неба. Там лучше нас знают, в какую минуту надо испытывать судьбу…

На эту вдохновенную речь мать неласково заметила, что штучки реб Иойля давно известны и только дураки ему верят. Коллектор величественно махнул рукой, высоко поднял правую бровь и снисходительно улыбнулся. «Женщина остается женщиной, лучше всего не обращать на нее внимания…»

Старик досказал свою повесть, портной, растроганный, прослезился и велел сыну вытащить лотерейный билет.

Шимшон сидит с закрытыми глазами. Проходит несколько минут, и он уже не Шимшон. На стуле сидит прославленный во всем мире раби Зурах. Склонив голову, пред ним стоит Хаим-Меер Альперт — разбойник-богач, староста синагоги и живодер. На нем лица нет, он дрожит от ужаса и горя, слезы стекают с его щек. Раби Зурах давно добирался до него, долго ждал, когда беда приведет его сюда. Он напомнит этому злодею все, и в первую очередь — как он обошелся с Шимшоном: выгнать мальчика со службы, опозорить человека ни за что ни про что…

— Вы понимаете, раби, — извивается, как червь, Хаим-Меер, — я никогда не был скрягой… Никогда, вы слышите! Помогал людям широко и охотно, жертвовал на бедных, на святую землю, бросал золото направо и налево…

«Врешь, — думает Шимшон — раби Зурах, — нищий у тебя копейки не видал, служащие твои доживают свой век в богадельне, еврейские дети носят за женой твоей корзину по базару. Шимшон плакал и надрывался, корзина была ему не по силам, пожалел ты его?»

— Бог дал, родился у меня ребенок… Вы знаете, раби, какая это радость… Я принял гостя, как благочестивый еврей: пожертвовал тору в синагогу, выдал замуж сироту и похоронил бедняка на свой счет… Выкупить первенца? Расплатиться с богом? Пожалуйста… Я положил возле ребенка цепь из чистого золота и послал за койгеном[3]. «Хаим-Меер, — говорит мне жена моя Песя-Лея, — побойся бога, ты рискуешь целым состоянием… Условился ты с койгеном, чтоб он вернул нам нашу цепь?» — «Глупая женщина, — отвечаю я ей, — бог послал нам бриллиант, какого свет не видал, и требует взамен ничтожную вещь. Неужели ты откажешь ему?»

— Ложь, Хаим-Меер! — вскипает гневом Шимшон — раби Зурах. — Ты хотел похвастать своей щедростью, все богачи одинаковы: они щедры на слова и скупы на деньги… Кто поверит, что сердце твое было при этом спокойно?

— Я упрямый человек, раби, меня трудно сбить, цепь осталась около Исрулика. Пришел койген, осмотрел выкуп и спрашивает меня, как это написано в наших святых книгах, — что я выбираю?.. Я посмотрел на моего первенца и от счастья потерял голову… Я ошибся, раби, я ответил: «Золото». Койген не уважил моей старости и забрал ребенка…

Шимшон — раби Зурах напряженно размышляет. Голова его запрокинута, глаза закрыты. Ему чудятся покои раби Зураха. Десятки хасидов ждут от него откровения.

— Ты согрешил, Хаим-Меер, ты обидел невинного Шимшона… Иди проси у него прощения…

Шимшон видит у ног своих богача, одежда его изорвана, как по покойнику, голова посыпана пеплом, глаза опущены к земле.

— Я прощаю тебе, Хаим-Меер, — шепчет маленький честолюбец, — мы больше не враги…

У реб Иойля повесть кончается иначе: Альперт вовсе не был унижен, — наоборот, раби Зурах похвалил его благочестие, принял от него золотую цепь и разрешил вернуть сына. Об обиженном цирюльнике и речи не было… Все это придумал Шимшон, ему больше понравился такой конец…

ШИМШОН МЕЧТАЕТ

Стричься!
Бриться!
Зубы рвать!
Кровь пускать!
Банки ставить!
Кто желает?
Кто желает?

Голос Шимшона звучит между рядами деревянных лавок, заваленных мусором и железным хламом. Еврейская мелодия льется, звенит и скорбно замирает. Шимшон раскачивается в ритм песне и кивает головой, точно распевает псалмы. Игривые слова не вяжутся с библейским мотивом, звучат кощунством. Молодой цирюльник серьезен, глаза задумчивы и грустны. Он поет и думает о другом.

Солнце спустилось над рядами лавок, позолотило ржавые цепи, развешанные на дверях, провело светлую борозду вдоль узкого проулка и загляделось на обласканную нищету.

Мотель-жестяник ссорится с женой. Он увлек ее в темный угол мастерской, далеко от света и солнца, и кричит, беснуется. Хриплый голос его дребезжит, точно ведро под молотком. Упрямая жена молчит.

Цирюльник Янкель Козачинский, маленький подслеповатый еврей в очках, надрываясь, тянет за собой высокого, здорового крестьянина с бородой, созревшей для бритвы, и прядями волос, жаждущих ножниц. Солнце ослепляет Янкеля, и он торопится увести свою добычу в тень. Цирюльник не скупится на обещания, сулит постричь мужика, как короля. Жена не узна́ет его, односельчане лопнут от зависти. Из уст Янкеля Козачинского льются обещания, а упрямец рвется прочь от своего счастья к старому Иоське. К Иоське-пьянице, к Иоське-кантонисту, к Иоське-портачу!.. Сашка, гугнивый молодой карманник с перебитым носом и заячьей губой, выходит из-за угла. Он держится в тени лавок, подальше от светлой борозды, проложенной солнцем, и шепчет Козачинскому о своей удаче. Он выудил семь рублей из чужого кармана и кошелек бросил в реку. Цирюльник не слушает его, пот льет с него градом, крестьянин все еще упорствует.

Шимшон поет свою песню, не слышит криков Мотеля-жестяника, умоляющего шепота соседа и неравную борьбу его с упрямым мужиком. Он поет и думает о другом… Со вчерашнего

вечера сущая безделица околдовала его.

— Очнись, Шимшон, бог с тобой! С кем ты разговариваешь, валаамова ослица? Здесь ведь никого нет!

Голос Иоси отрезвляет мечтателя: он смущенно опускает глаза и краснеет.

— Чем у тебя голова забита? О чем ты думаешь, дурак? Корабли твои затонули, кредиторы тебя обступили или ты соскучился по сумасшедшему дому?

Вместо ответа ученик разводит руками. Суровое молчание замыкает его уста. Кто виноват, что мысли его — птицы — несут в гнездо свое всякую всячину?..

— Я предостерегаю тебя, Шимшон, от беды, — пророчествует старик, — выкинь из головы дурь… Ты все равно ничего не выдумаешь…

Иося видит вдруг высокого крестьянина рядом с Козачинским и в отчаянии всплескивает руками:

— Боже мой! Где твои глаза, Шимшон?.. Смотри, кого утащили у тебя под носом… Иван, Иван, оглянись! Ведь я же, Иоська, твой старый друг! Что ты молчишь, Шимшон? У тебя отнялся язык? Скажи ему что-нибудь… Двигайся скорей, собака!.. Послушайте, добрые люди, как этот слепой портач уговаривает моего старого клиента!.. Где справедливость? Не верь ему, Иван, он бритвы в руках держать не умеет… Дай бог мне так жить, он зарежет тебя!

Иося вытирает руки о лапсердак, надетый поверх рубахи, и отворачивается, он знать больше не хочет ни высокого Ивана, ни Козачинского.

— Подлец, бес твоей матери, — цедит он сквозь зубы, — сатана твоему отцу… Я перебью тебе сегодня ребра… Бог твоя защита, если Иван не вернется…

Не верьте, старик не так жесток. Ребра ломать? У него рука не поднимется… Иося надерет ему уши, потаскает за вихры, надает оплеух, но избивать до крови? Никогда!..

Судьба не пожелала испытать Шимшона — она дала Ивану силы одолеть искушение и вернула в цирюльню «друга». Иося долго корил его за неверность и с нежностью матери окружал чашечками, подносиками, замысловатыми коробочками, бутылочками и баночками.

Шимшон принес воду для бритья, занял свое место у дверей, и снова мысли его понеслись. Он думал о Иойле, о Гильде, о голубоглазом Иване и о том, чего никак не перескажешь… Шимшон взлетает до самых звезд и видит толкучку сброшенной в бездну. Он радуется своему избавлению, и улыбка, сияние радости, всплывает на его лице.

Иося хлопочет вокруг Ивана, бережно смахивает с него волосы и что-то шепчет ему на ухо. Блестящая машинка несется по спутавшимся волосам, рука цирюльника тянется за ней, кажется — никак не может догнать. Металлический скрежет вдруг утихает, машинка застревает на макушке, и серые глаза старика устремляются на Ивана.

— Что я надумал, Ваня, — сказать тебе или не надо?

Иося радуется счастливой мысли. Ноздри его приплюснутого носа оживают, и алые жилки ярко выступают на них.

Иван не любопытен, он проводит рукой по голове и убеждается, что машинка далека еще от цели.

— Потом расскажешь, Иоська, стриги скорей… Баба у воза одна осталась…

Цирюльник добродушно усмехается, глаза его подергиваются зеленью, изо рта выползает кончик языка.

— Не хочешь, а я все-таки скажу… Для друга у меня и гордости нет… Дадим с тобой по пятаку и разопьем по рюмке водки.

Несчастный день! Он предлагает это сегодня в пятый раз, и все безуспешно…

— Долго ждать, — слабо возражает Иван, ощутивший вдруг сильную жажду.

— Долго? — изумляется Иося. — Лавка рядом, рукой подать, мальчик в одну минуту сбегает…

Вслед за этой репликой из-за кулис обычно появляется Шимшон. Полный решимости помочь старику, он издевался над временем и пространством, утверждал, что водка у него «под рукой», и до тех пор расхваливал огурцы бабки Гинды, пока не добивался своего. На этот раз помощь не явилась. Режиссер кашлял, бросал сверкающие взоры на дверь и тщетно повышал голос до крика… Шимшон не двигался с места…

Мысли маленького мечтателя спустились на землю у лавки старухи Ривки — у черной дыры, заваленной железом до самого прилавка, за которым хозяйка прятала вишневку и вкусный пряник. Склонив голову набок, у дверей стоит Дувид-портной. Лицо его бледнее обычного, движения робки, глаза застенчиво опущены. Он взял с прилавка брусок свинца, вертит его в руках и тихо шепчет матери, что дети его голодны, ничего сегодня не ели. Ему нужен один только рубль: полтинник на хлеб и пятьдесят копеек на портняжный приклад.

— Так вот и выбросить рубль на ветер? — высоким, девичьим голоском поет старуха. — Даром, мой сын, и болячка не сядет…

Она складывает руки на животе и не сводит с них глаз, точно опасаясь, что они без ее ведома полезут в карман за рублем.

— Мама, у меня нет работы. Я готов камни носить… Бедняки не заказывают себе платья, они покупают готовое, а богачи не ходят ко мне…

Дувид еще больше склоняет голову набок, глаза его устремлены в сторону.

Лавка в нескольких шагах от цирюльника; Шимшон видит, как отец кусает губы, и догадывается, что голос его скачет вверх и вниз, точно по лестнице.

— Уйди от меня, нищий, не мучь меня! Гроша ломаного я тебе не дам, попрошайка! Будь ты проклят, петля на моей шее!..

Девичий голосок становится тоньше и на высоких нотах переходит в визг.

В груди маленького цирюльника обрывается струна, она жалобно взвизгивает и долго трепещет. В горле становится тесно от горечи и злобы.

Неужели бог не накажет эту скупую старуху? Что она делает с отцом! Кто узнает в этом приниженном человеке самоуверенного и честолюбивого Дувида?..

— Мама, я не виноват в своей бедности…

Шимшон ничего больше не слышит… Жесткие пальцы больно ухватили его за ухо, и гневный голос Иоси шепчет:

— Бес твоей матери, ты опять замечтался!..

Он вскакивает и с перепугу глотает слова:

— Водку! Тут рядом… Рукой подать… Он вмиг принесет… Огурцы? Да! И огурцов захватит…

Иван бережно выкладывает медяки, еще раз напоминает, что баба осталась одна, но Шимшона уже нет.

Теперь он свободен. Иося подмигнул ему: не возвращаться, пока Иван не уйдет; цирюльник попотчует клиента глотком водки из своего запаса и оставит себе пятак…

Дувид-портной вертит в руках брусок свинца и жалуется на свою судьбу:

— Я вырос, мама, у бедного бондаря… Младшим братьям моим больше повезло, они родились в семье домовладельца… У тебя была уже лавка. Не в добрый час я появился на свет…

Он говорит тихо, почти шепотом, но мать не терпит секретов, она хочет, чтобы вся толкучка знала, в чем дело, и кричит:

— Не прикидывайся сироткой, не склоняй головку набок… «В добрый час», «не в добрый час», — ты просто неудачник… Дырявую кишку не наполнишь…

Шимшон глотает обиду, точно она относится к нему.

Не все ли равно? Она оскорбляет его отца, — правда, строгого, подчас несправедливого, но до этого никому нет дела! Он готов защищать его пред всем миром… Говорят, отец его

плохой портной. Неправда! Никто так искусно не сошьет, не выгладит, не пригонит так искусно костюм, чтобы он был как влитой… Так говорит о себе отец, так оно и есть. У него редкий голос, и ни один кантор в мире не сможет так держаться у амвона, как он. Шимшон видал их: они жестикулируют, сгибаются в три погибели, поднимаются на кончиках пальцев и противно гримасничают во время молитвы. Его отец умеет стоять как вкопанный… Ему ничего не стоит одной трелью вызвать слезы у женской половины синагоги. Какой кантор, оборачиваясь к молящимся, умеет так, как он, смело смотреть им в глаза? На это способны только артисты. Отец повторяет это на каждом шагу, — и он прав…

Пусть бабушка бранит его, пусть издевается над ним, что он держит голову набок, это не пройдет ей даром. Она ответит за все, и никому иному, как ему, Шимшону. Не сейчас, не сегодня, дело не во времени… Он обрушится на нее внезапно, как несчастье… Весь город узнает, кто такая Ривка…

Безудержные мысли, они перескочили через грань времени, и приблизили желанный час…

Над узкой щелью между крышами толкучки, в синем лоскуте неба, вдруг вспыхнет зарево.

В пурпуровой тоге, с посохом в руке, встает из сумрака пророк реб Шимшон. Едва касаясь сандалиями земли, он бесшумно приближается к лавке Ривки. Старуха униженно склоняется пред ним, падает ниц и шепчет, ударяя себя в грудь: «Я грешила, была вероломна, грабила, злословила…» Напрасно! Десница Шимшона неумолима. Весь город слышит его разящие слова:

— Ты будешь наказана, Ривка, жестокой карой. Каждый стон Дувида обратится в вечное пламя, каждая жалоба Шимшона — в тяжелый камень для тебя… Не молись пред сном и на заре в постели, не жертвуй золото на храм, помогай сыну и внуку. Не корми мальчика гнилыми яблоками, не лги ему, что мороз делает их сладкими. Не гоняйся за дешевыми распродажами, не покупай Шимшону непарной обуви, он прохромал в ней все лето…

Пророк обличает жестокую богачку, и с каждым словом его в грудь маленького цирюльника входит мир и покой.

Шимшон открывает глаза и улыбается от счастья.

На толкучке тесно. Евреи окружили Ривку плотной стеной и слушают ее бойкую брань. Одни смеются, другие подталкивают локтем соседей и перемигиваются.

— Спросите моего кровопийцу, — звучит ее тонкий голосок, — что ему надо? Взгляните на вымогателя, который виснет на шее бедной старухи, сдирает шкуру с родной матери…

Будь ты проклят, грабитель…

Она поднимает фартук, всовывает руку в подвешенный к поясу карман и тычет ему помятую ассигнацию.

— Подавись этим рублем, он все равно тебе впрок не пойдет…

Теперь вся толкучка узнала, что Дувид выродок и пиявка, а сердце матери не камень.

Как долго промечтал Шимшон у лавки бабушки? Время как будто пошло другим руслом. Чтобы не встретиться с Иваном или обозленным хозяином, он берегом речки прошел к черному ходу цирюльника и прильнул к дверной щели. Голубоглазого мужика не было. За столом, обильно уставленным водкой и закусками, сидел напомаженный молодой человек с закрученными кверху усами и золотой цепью поперек живота. Он часто поглядывал на себя в зеркало, без нужды вынимал массивные часы червонного золота и поправлял бриллиантовую булавку в галстуке. Иося, розовый от выпитого вина, возбужденно смеялся, похлопывая собутыльника по плечу, и любовно дергал его за уши. Ноздри Иоси вздрагивали, алые жилки ярко выступили на них.

— Будем здоровы, — глотая слова молитвы, бормотал цирюльник, — дай бог увидеться в добрый час веселыми и счастливыми…

Глаза его подернулись зеленью, и кончик языка высунулся изо рта. Он осторожно поднимал рюмку, облизываясь, подносил ее к губам и опрокидывал в рот.

— …Ты говоришь — герой, — шумел захмелевший Иося. — Взгляни на меня! Иося, — сказал я себе, — терпи, евреям в Египте хуже было… Хочет ли бог или не хочет, ему придется тебе помочь. Не жди от него милостей, он скорей облепит тебя болячками, но жить ты будешь… Это не жулик и не шарлатан…

Шимшон, удивленный, отступил и снова прильнул к двери.

— Ты уже не мальчик, Мойшке, — понизив голос, говорил старый цирюльник, — с тобой можно быть откровенным… С богом нашим нужно уметь ладить, на людей наплевать… Семи лет меня схватили и отдали в кантонисты. Родители отсидели шива, как по покойнику, и скоро обрадовались другому Иоське. О чужих говорить нечего, они даже не вздохнули, — одним нищим меньше… Тогда я сказал себе: «Иося, у тебя одна надежда на бога, и притом на бога с плохим характером… Он вытащит тебя из болота и, как норовистый конь, сломает тебе голову… С таким богом надо уметь ладить… Он осыпает евреев несчастьями и требует себе благодарности, как пристав. Это капризный бог, великий и тяжелый, как наш голус[4]… Вообрази, что у тебя два фельдфебеля… Нигде не написано, что в роте должен быть

только один…» Прошли годы, лучше о них не вспоминать… Из меня тянули жилы, но с небесным фельдфебелем я не поссорился. Я остался евреем…

Шимшон, смущенный, отошел от двери. Старик с ума спятил… Сравнивать великого еврейского бога с норовистым конем, с приставом, фельдфебелем! До чего водка может довести человека!.. Надо держаться подальше от таких речей…

Шимшон опустился на траву под ивой и тотчас поймал стрекозу. Насекомое долго жужжало, билось и оставило в его руках зеленую ножку. Тогда он растянулся в кустах, где возились божьи коровки, и стал ловить их. Трава над берегом стояла ровно и неподвижно. Река полумесяцем лежала — блестящая и беззвучная. В небе догорало солнце, задымленное густеющей мглой…

С моста донеслась песня нищего о звездах — ангельских душах. За нею потянулась жалоба слепца.

Шимшон задумался. Какое ему, собственно говоря, дело до того, о чем болтают пьяные люди? Кто знает, что ответил старику молодой человек? Может быть, Иосе так досталось, что он трижды раскаялся…

Мысль, что незнакомец отчитал цирюльника и, возможно, даже пристыдил, успокоила Шимшона. Его потянуло обратно к цирюльне.

Старик стоял на прежнем месте и, широко расставив ноги, изрекал:

— Если бы у меня, Мойшка, был сын с характером нашего бога, я не дал бы ему вырасти… Говорят, он избрал нас из всех народов… Большое спасибо! Избрал — так балуй, ласкай, осыпай благами!.. У него все наоборот: нате, избранники, болячку номер первый — черту оседлости… Теснитесь, как селедки в бочке, задыхайтесь в бедности и пожирайте друг друга… Мало вам, получайте погибель номер два — процентную норму. Торгуйте, обманывайте промышляйте ветром, только не суйтесь в инженеры, врачи, профессора… Я так рассуждаю: если дитя виновато, его надо наказать, отхлестать, чтоб знаки остались на теле, но вспарывать женщинам животы, бросать детей с третьего этажа только потому, что они избранники? Как хочешь, Мойшка, я не понимаю его…

Гнев, возмущение, бунт, способный единым порывом очистить мир от мерзости и преступления, вспыхнули в груди Шимшона. Еще одно мгновение — и молодой Самсон ворвется в цирюльню, изобличит безбожника старика и сметет с лица земли гнездо нечестивцев… Незнакомец с массивными часами червонного золота снял золотой перстень со среднего пальца,

повертел его в руке и надел на указательный. Лицо его было серьезно, глаза сосредоточенны и спокойны.

— Тысячу раз извините, реб Иосл, но я с вами не согласен…

Шимшон готов был рукоплескать. Очаровательный незнакомец с лихо закрученными усами стоил этого. Благородного человека узнаешь с первого взгляда…

— Я с вами не согласен, — повторил он, делая широкий жест. — Кто вам сказал, что дети Израиля обижены? Выдумка, поклеп! Взгляните на меня и на моего клиента Ивана — какое может быть сравнение? Он ковыряется в земле, грязный и темный, как ночь… Кто ему оказывает внимание? Какое у него общество? А я одет — дай бог всем моим друзьям!.. Костюм мой последней моды, сорочка от Альшванга, запонки чистого золота и, не сомневайтесь, девяносто шестой пробы… Профессия моя — самая почтенная, мной не брезгают графы, а надо будет — позовет и царь… Меня принимают с почетом и провожают, как евреи меджибожского ребе.

Он поправил бриллиантовую булавку, снял кольцо с указательного пальца и надел его на средний.

Шимшон не мог больше оставаться за дверью. Он проскользнул в помещение, где Иося занимался врачеванием, и притаился. Кто этот человек, которым не брезгают графы и князья? Что за чудесная у него профессия? Не внук ли он барона Гирша или Дрейфуса? Фантазия Шимшона вспорхнула и, как бумажный змей, понеслась ввысь… Какая гордая осанка, сколько достоинства в манерах, уверенности в движениях… Откуда этот замечательный гость?

Зачем гадать? Он спросит об этом старика. Да что спрашивать? Иося выболтает, покажись ему только…

Шимшон отдернул занавеску и замер, ослепленный внешностью незнакомца. Все на нем сияло: и напомаженные волосы, изрядно поредевшие на макушке, и модные ботинки желтого цвета, и кольцо на пальцах, и золотая, со множеством брелоков, цепь… Шимшон смотрел на блистательного гостя и думал, что это правнук Маккавеев, потомок Гасмонитов… Сейчас он подойдет к незнакомцу, протянет ему руку и скажет:

— Привет, внук Иегуды Маккавея! Гейдод, Гасмонит!..

— Вот и Шимшон, — обрадовался Иося, — посмотри, Мойшка, на моего ученика… Шельмец, бес его матери, далеко пойдет, далеко…

Он прищурил один глаз, как бы затем, чтобы увидеть, как далеко пойдет его ученик.

Внук Маккавеев рассмеялся и набил рот кислой капустой. Тоненькая струйка жижи сбежала изо рта на дорогой костюм.

— Расскажи ему, Мойшка, как Иося-цирюльник выводил тебя в люди! Сколько пощечин и подзатыльников ты у меня получил!.. Выкладывай, не стыдись!..

Возможно ли? Этот Мойшка не отпрыск барона Гирша или Дрейфуса? Не потомок Маккавеев? Самый обыкновенный цирюльник?

Настанет время, и он, Шимшон, ученик Иоси, придет сюда, разодетый и напомаженный, в золоте и бриллиантах… Расскажет о князьях и графах, которые его принимают… В цирюльне будет другой мальчик, и Иося скажет: «Ну-ка, Шимшон, расскажи, как я тебя в люди выводил… Сколько пощечин и подзатыльников ты у меня отведал!..» Шимшон улыбнется, как взрослый, и начнет рассказ издалека… Его били всю жизнь. Били — отец, мать, ребе, соседи, городовой, торговки, реб Иося… Все выводили его в люди… Когда ему было три месяца — его чуть не прикончили. Он стосковался по груди матери и заплакал. Дувид-портной толкнул люльку и разразился недобрыми пожеланиями. В самом деле, что надо ребенку, у которого никаких забот на свете?.. Он всунул в рот маленькому Шимшону холодную, пустую соску. Могло ли это его утешить?.. Дувид вспылил, отхлестал крикуна, предал его анафеме и забросал подушками. Сорную траву из поля вон, он будет говорить по нем кадиш[5]…

Когда ему минуло шесть лет, отец сказал ему: «Я нашел тебе хедер, на всю жизнь его запомнишь… Не ребе, а кат, палач… Отведаешь всего — и плеток, кнута… Из этого хедера ты выйдешь либо полковником, либо покойником…» Они шли рядом по улице, Дувид говорил встречным, что ведет сына к Кацу, и маленькое сердце билось от страха и стыда…

Кацу отец сказал:

— Я привел вам, реб Майер, разбойника, режьте его на куски, не жалейте, были бы кости, мясо нарастет.

Реб бил Шимшона в назидание другим, слободские парни — для собственного удовольствия, городовой — по указу императорского величества, по предписанию губернатора, приказу полицмейстера и распоряжению пристава; торговки — из подозрения, соседи — по привычке… Теперь уже все позади, общими усилиями его вывели в люди.

— Что ты молчишь, Мойшка? — спрашивает Иося. — Молодежь говорит, что наказывать нельзя. Как ты думаешь, выйдет из человека толк, если его не бить?

Шимшон едва сдерживал свое восхищение. Что за редкий человек! Опять он дал Иосе урок приличия… Так ему и надо, пьянице: не хвастай, не стыди людей, не унижай их друг пред другом! «Не сдавайтесь, добрый человек, во имя всего святого, не

сдавайтесь!»

— Молчишь, Мойшка? — сокрушался Иося. — Ай-ай-ай… тебя уже вывернули наизнанку… Набили голову глупостями и сделали сознательным… Молодежь остается молодежью. Ей кажется, что в мире нет порядка: ударили — поболело и прошло, будто в воду кануло… Ой, не так! Удар — что лекарство, от всех бед спасает… Как можно не бить, разве бог нас милует?..

Шимшону показалось, что союзник его подмигнул ему. Воображаемая поддержка вселила в него дерзость:

— Вам незачем учиться у бога, вы сами, реб Иося, говорили, что у него скверный характер.

Старый цирюльник и его ученик переглянулись.

— Когда это я говорил, что у бога плохой характер?

— Это не все еще… Вы сравнивали бога с норовистым конем, фельдфебелем и приставом…

Простительно солгать ради заработка, но без нужды — этого Шимшон не ждал от Иоси.

— Что ты скажешь, Мойшка?

— Я скажу, что нынешние мальчики не то, что прежде. Мы не смели на вас глаз поднять, где уж нам было дерзости говорить…

Шимшон взглянул на того, кого мысленно так возвысил, и почуял в нем врага.

— Если вы не помните, реб Иосл, спросите этого господина.

Он назвал ученика Иоси господином, чтоб немного расположить его к себе. Тот даже не взглянул на Шимшона.

— Я не слыхал, чтобы реб Иосл так выражался…

Две оплеухи оглушили дерзкого ученика.

— Не развешивай уши, — учил его цирюльник, — не слушай, что тебя не касается, не распускай язык…

ШИМШОН РАЗВЛЕКАЕТСЯ

Муня, мальчик с компасом и шагомером в кармане, и Шимшон были старые друзья. В день праздника кущей они встретились однажды на синагогальном дворе и, точно давние приятели, сразу заговорили. У обоих были полные карманы орехов и страстное желание обыграть друг друга. Худой, с узкими плечами и впалой грудью, Муня поразил тогда Шимшона. Щуплая фигурка его время от времени давала резкий крен. Когда Муня, засунув палец, ковырял в маленьком припухшем носу, тело его почти отделялось от земли, вот-вот готовое упасть. Неустойчивость эта сперва рассмешила, потом испугала Шимшона. Он со страхом подумал, что, если этого мальчика легонько толкнуть, он рухнет, как подгнившее дерево…

— Ты часто падаешь? — заинтересовался Шимшон.

Муня не удивился вопросу, он насухо вытер нос и холодно ответил:

— Нет.

Другая особенность Муни вытекала из обладания компасом и шагомером. Счастливый собственник их всегда мог сказать, сколько он сделал шагов в западном, восточном северном и южном направлениях. Ему одному в городе известно было, что между ярмарочной площадью и елизаветинской крепостью пять тысяч двести шестнадцать шагов; Дворцовая улица тянется в восточном направлении, Большая Перспективная — в юго-восточном, юнкерское училище имеет пятьсот шагов в окружности, главная синагога — триста…

Несмотря на то что Муня никогда не покидал родного города и не намерен был пускаться вокруг света, он не расставался с компасом и шагомером. Ни продать, ни одолжить эти снаряды он не соглашался, твердо следуя своей цели — установить количество отмеренных им в жизни шагов.

Судьба свела мальчиков у Каца. Они сидели на одной скамье, списывали друг у друга уроки, делились завтраками и маленькими радостями, но без особой привязанности и любви. Причин было очень много. Один не терпел болтунов, а другой мог болтать день и ночь. У одного была пламенная натура, горячее сердце, другой ценил сдержанность и терпение. Сухой и холодный не любил мечтателя, сновидца, сочинителя и фантазера… Ничто не могло сблизить их, даже общее унижение, даже разделенная обида. Случилось Шимшону принять наказание раздетым на глазах всего хедера. Честь разоблачать и пороть его выпала на товарища по скамье. Муня отвел от себя эту роль.

Нашелся менее брезгливый и выпорол обоих…

Прошло несколько лет. Муня стал приказчиком, Шимшон — цирюльником у реб Иоси. Забылась первая встреча, забылись и последующие, осталась только память об орехах, аромат которых Муня приносил с собой. Как будто одежда его хранила воспоминания о празднике кущей, синагогальном дворе и двух мальчиках с карманами, набитыми орехами.

Они редко виделись и еще реже разговаривали. Еврейские дети фуражек при встрече не снимают и за руки не здороваются. Так забываются друзья. Шимшон не проходил мимо Муни без привета. Он останавливал его, вдыхал нежный аромат орехов и спрашивал:

— Живешь?

Тот отвечал:

— Живу…

После некоторой паузы:

— Идешь домой?

Короткий взгляд на компас и сухой ответ:

— Да… Иду домой…

— Ну, иди…

Так продолжалось до памятного дня их встречи у ворот сада «Альгамбра».

Большая розовая афиша с виньетками и амурами в течение недели уведомляла жителей города, что в саду «Альгамбра» будет зажжен фантастический фейерверк и пущен воздушный шар. Сверх программы оркестр под управлением капельмейстера Цодикова исполнит новый марш, одобренный полковым командованием и «милостиво отмеченный его превосходительством херсонским губернатором».

Сообщение вызвало восторг посетителей, собиравшихся обычно за воротами сада без малейшей надежды обзавестись билетом. Никакие заборы не могли скрыть от них ни фейерверка, ни воздушного шара. Небо принадлежало им, и никто не мог заслонить его…

Шимшон пришел сюда одним из первых. Он расположился на лужайке и весь ушел в чтение сто двадцать шестого выпуска «Ната Пинкертона» под названием «Ока-Юма — японский шпион». Цирюльник нарядился по-праздничному. На нем была тщательно вычищенная и выглаженная тужурка поверх белой рубашки, поношенные, но опрятные брюки, стоптанные штиблеты, щедро покрытые ваксой… Гладко причесанные волосы лоснились, картуз кокетливо сидел набекрень. От Шимшона пахло вежеталем и мылом. Он сознавал неотразимость своей наружности и мысленно любовался собой.

В саду зазвучал гонг — весть о сладкой награде за неделю мечтаний и надежд. Скоро грянет оркестр, звуки всплывут над миром, наполнят воздушные просторы и нимбом окружат заходящее солнце. Небо затянется мглой, прозрачной и голубой, как полог кивота.

Оркестр заиграл, поляна оживилась, но Шимшону не пришлось погрезить. Вблизи показался Муня. Заметив Шимшона, он повернул к нему и опустился рядом на траву. На поляне запахло орехами.

Оба молчали, точно чужие. Шимшону не о чем было говорить… Муня подошел, пусть скажет, что ему надо, кто знает, не дожидается ли он кого-нибудь?.. Поляна не одному Шимшону принадлежит, сегодня каждый бедняк здесь хозяин…

Муня приподнялся на локтях, рассеянно оглянулся и тихо спросил:

— Пойдешь в сад?

Денежная наличность Шимшона не допускала подобной дерзости. К тому же трудно было поверить в искренность вопроса.

— Нет, не пойду…

Он вынул из кармана зубочистку и… условимся: зубочистка была только символом, как и ковыряние зубов было только выражением независимости.

Муня некоторое время помолчал и, как показалось его другу, тяжело вздохнул.

— Ты, Шимшон, богачей любишь?

Кого? Богачей? Странный вопрос! Почему их не любить? И какое до этого дело Муне?..

— Мне богачи не мешают…

— Ни капельки? Ну-ка, вспомни…

И вспоминать нечего… Подумать только, что стало бы с бедняками, не будь богачей…

— И детей их ты любишь?

На лице Шимшона остановился горячий взгляд, он как бы умолял: «Одумайся, Шимшон, за что их любить?..»

Мешают ли они ему? Нисколько… Эти парни в дорогих шинелях и серебряных кокардах всегда восхищали его. Он не так дерзок, чтоб заговорить с ними, с него достаточно видеть их… Мешают? Что общего между сыном портного, цирюльником Шимшоном, и детьми почтенных родителей?.. Они живут в многоэтажных домах, величественных, как земская управа, разговаривают с родителями по-русски, у них карманы полны мелочью… Если бы кто-нибудь из них подружился с ним, счастливей Шимшона не было бы на свете…

— Они мне не мешают, и в сад я не пойду… У меня нет

денег…

— Пойдем, я проведу тебя без денег… Болячка богачам и их сынкам… Мы тоже люди…

Шимшон не двигался с места. Неделикатность Муни взорвала его. Какая дерзость! Оскорблять благодетелей города, людей, которые содержат больницы, богадельни, отпускают беднякам мацу на пасху, дрова на зиму, саван для погребения…

— Я не пойду туда, Муня, обойдешься без меня… Нечего танцевать на чужой свадьбе.

Он вынул из кармана свой розовый платочек — истинное украшение кавалера — и залюбовался новеньким кошельком из зеленого бархата. Ему незачем гоняться за чужими радостями. У него своих хоть отбавляй…

У Муни было холодное сердце, страстные речи не волновали его. Он вынул из кармана шагомер, убедился, что между его домом и «Альгамброй» тысяча триста шагов, и спокойно заметил:

— У тебя длинный язык, Шимшон, это можно было сказать короче. Я не пропускаю гуляний в саду, спектаклей в театре и концертов в дворянском клубе… Думаешь, бог меня накажет?..

Шимшон не знал, что с судьбой так легко разделаться. Он подумал, сколько чудес перевидал его друг, и словно охмелел:

— Ты не врешь?

— Я не сочинитель и снов не вижу, — уязвил его Муня, — пойдем, не ломайся…

Из «Альгамбры» донеслось пение и звуки оркестра. Обессиленный новым искушением, Шимшон уступил.

Друзья оставили поляну, усеянную цирюльниками, приказчиками, портными, сапожниками, и направились к саду. Обогнув ограду, Муня подозрительно оглянулся, некоторое время выждал и шепнул: «Прыгай, здесь невысоко…»

Шимшон посмотрел вниз, где за столбами деревьев чудилась пропасть, и искренне пожалел, что дал себя уговорить. Он слышал, что в лесу расставляют капканы для зверей, и не без волнения спросил:

— Не опасно?.. Ногу не прищемит?..

Муня сердито огрызнулся и прыгнул. Зажмурив глаза, Шимшон ринулся за ним…

Они находились в высокой траве, недалеко от крокетной площадки. Разноцветные огни горели над пестрой толпой гуляющих.

Шимшон стоял изумленный и растерянный. Сколько света! Какое изобилие лампочек! Красные, синие, зеленые, они всюду: на проводах, между деревьями, на шпилях беседок, на карнизах строений. Они ослепляют, как тысячи молний, как солнечный

сноп из открытой ставни. В табельные дни город озарялся иллюминацией — загорались плошки, на каланче вспыхивала царская корона, в окнах управы зажигались стеариновые свечи, и ему казалось, что нет ничего более пышного. Какое заблуждение!

Девушки, девушки, их собрали здесь со всего света! Сколько нарядных красавиц! Что за чудо, — будто одна мать родила их. Одинаковые лица, белые, ослепительные, пышные прически, кремовые платья, фартуки, кружевные пелерины, крахмальные воротнички. Их сопровождали гимназисты, кадеты в черных мундирах, реалисты, студенты и только что выпущенные из училища офицеры. Кушаки с серебряными бляхами, петлицы, золотые наплечники, погоны, кривые сабли и шпоры, — от блеска кружилась голова.

Высокая девушка с волной русых волос взглянула на Шимшона. Он загорелся, как факел, и, смущенный, остановился. Она еще раз посмотрела на него и чуточку повернула голову в его сторону. Ничего удивительного, здесь так светло, как было не заметить его стройной фигуры и мастерски приглаженных волос… Жаль, она так быстро промелькнула и исчезла в пестром водовороте… Шимшон ждал ее, влюбленный и счастливый, мысленно сравнивал себя с гуляющей молодежью и усердно щурил глаза, чтобы чем-нибудь скрасить черты плебейского облика.

От вида богато одетых людей, довольных и веселых, Шимшону стало не по себе.

— Пойдем, — шепнул он Муне.

— Подожди, — ответил тот, не подозревая, какие страсти бушуют в груди Шимшона, — я познакомлю тебя с гимназисткой…

Что только в этом шуме не послышится!

С гимназисткой? Дочь именитого человека, доктора или адвоката, — и Шимшон! Нечего сказать — пара!.. Он рука об руку с гимназисткой!.. Друзья и враги глядят им вслед и шепчут: «Смотрите, это о ней сказано в «Песни песней»: «Ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы — стадо коз на горе Галаадской…»

Муня сложил руку трубочкой у рта и громко позвал:

— Роза!

Из круга гуляющих отделилась девушка с большим бантом в волосах. В груди Шимшона зазвучала арфа. Ему вдруг стало неловко, точно он, неуклюжий, стоит на людном перекрестке и мешает окружающим; ласковые девичьи пальцы коснулись его руки…

Шимшон не помнил, как долго они бродили по саду, о чем

говорила прекрасная Роза; она, как скупая колдунья, унесла рассыпанные ею сокровища…

— Хорошая девушка, — сказал ей вслед Муня, — холера ее отцу.

Этот грубиян сегодня невыносим… Не стыдно ли ему за спиной девушки срамить ее родителей!

Шимшон мысленно увидел отца Розы, кроткого и нежного, как дочь, и вспылил:

— Какой богач тебя укусил? Закроешь ты свой противный рот?!

Так ему и надо… Пусть не зазнается…

Муня не ждал нападения, от неожиданности он так согнулся, что казалось — вот-вот упадет…

— Ты знаешь скупца и живодера Калмана Немировского? Калмана с тяжелой лапой и трефным языком?

Еще бы не знать, его проклинают два поколения приказчиков… Что из того?

— Один сумасшедший еще не позор для города…

— Не позор? Так запомни: Немировский — отец Розы… Твои богачи мне ничего не сделали, пусть они сгниют… Пристав забрал сегодня моего брата…

Они стояли на площадке, объятой пламенем фейерверка. Из вращающихся колес и приводов вырывались огни. Алые, синие, зеленые, они описывали круги, параболы, звездным дождем орошая землю. Из всех механизмов, известных Шимшону, самым сложным он считал механизм швейной машины, а лучшим конструктором — механика Шлойму Гисиса, мастера разбирать творение Зингера до последнего винтика. То, что происходило на площадке, опрокидывало его представления о механике…

Шимшон смотрел на пылающее небо со смутной тревогой подавленного человека. Любоваться огненными колесницами мешали ему мысли о Розе, думать о ней не давали пылающие видения, шипение и гром.

Муня увлек его от площадки в глубь сада и усадил на скамейку.

— Я не ждал от тебя, Шимшон, такой неблагодарности, — заговорил он холодно и монотонно, — ты нисколько не жалеешь моего брата Нухима… Пятый раз его арестовывают из-за таких людей, как ты. Три года человек промучился на поселении, тебе этого мало?..

Шимшон хотел перебить Муню, но тот настойчиво продолжал. Узкие плечи его вздрагивали, впалая грудь тяжело дышала, а речь оставалась монотонной и ровной.

— Нухим поехал в Сибирь не по своей воле, его вели этапом,

и он отморозил себе ноги… Когда мама говорит ему: «Брось свою революцию, будь человеком, как все», — Нухим отвечает: «Или я, или они». Понимаешь, или он, или они… Как мог ты после этого сказать, что богачи тебе не мешают?

Кто знал, что у Муни такое несчастье?

Шимшон вспомнил долговязого Нухима с простреленным пальцем и искренне посочувствовал ему. Он горячо желал спасти его, хотя бы ценой собственной свободы, но согласиться, что богачи злодеи, желать им гибели, срамить ни в чем не повинных людей — ни за что!

Послушал бы эти речи Иося, уж он ответил бы и Муне и Нухиму: «Что вы хотите от богачей? Чего ради нападаете на них? Кому мешает человек, которого благословил бог? У такого человека счастливая рука, его копейка рождает тысячи… Общение с ним приближает вас к тому, в чьей власти раздавать блага и несчастья… Им везет, чертовски везет. Там, где наш брат тонет, они всплывают… Не нравится вам порядок — упрекайте бога, при чем здесь богачи?..»

Шимшон пальцами зачесывает волосы за ухо и, тщательно примериваясь, надевает фуражку набекрень. Дувид-портной в таких случаях едко замечает: «У сокровища моего шапка кругом пошла…»

Муня, засунув палец, усердно ковыряет в маленьком припухшем носу.

— Я понимаю тебя, Шимшон, ты думаешь, что евреи все — братья; но родство тут ни при чем, даю тебе честное слово… Обман и мошенство. Нухим говорит: «Сплошная иллюзия»… Вон идет Ицкович, папенькин сынок, всегда в крылатке, со скрипкой в руках… Двадцать биндюжников работают на его отца. Двадцать евреев на одного… А вот другой, в белом кителе, — Шполянский. Подлец, лентяй, он не готовил уроков, а Кац меня хлестал для примера… Тебе они не мешают, а беднякам мешают, и даже очень… Нищие падали в обморок у дверей Лося, когда он прекратил платежи… Сынок водится с кралями, а отец платит двадцать копеек за рубль. Хороша и дочка Израильсона. Отец вогнал мать в могилу, чтоб получить ее денежки, а дочь гуляет с юнкерами… Ты считаешь этих людей братьями, а по-моему, это свиньи и босяки.

Он встал, вынул из кармана карандаш и, как бы затем, чтоб скрепить произнесенное, стал чертить на скамье свое имя.

Прощаясь, Муня сказал Шимшону:

— Приходи завтра в театр, я проведу тебя без денег… Посмотришь «Продажу Иосифа». Фишзон играет… Или загляни в клуб, на концерт капельмейстера Цодикова… Не стесняйся,

болячка богачам, мы тоже люди…

Впервые за много лет он протянул товарищу руку и затем посмотрел на компас, словно определяя, куда ему держать путь…

Шимшон ушел из сада встревоженный и счастливый. Мысли о судьбе Нухима и Розы, несчастной дочери отца-зверя, поблекли и растаяли. Ему было весело. Пред глазами горели все лампы «Альгамбры», в груди играл духовой оркестр. Хорошо! Тысячу раз хорошо! Прекрасен мир! В нем больше чудес, чем во всей Библии. Удивительный портной скроил атласный балдахин над землей, унизал его шелковыми узелками от края до края, расшил жемчугом луну, серебром — Млечный Путь. От черного шатра пала тень на улицу, и не узнаешь ее, точно ее переодели… Липы разубрались бляхами, кокардами и кривыми саблями, заломили зеленые шапки и пустились в пляс. Светлые березки в белых шелковых нарядах, строгие и стройные, двинулись за ними. Чудесная ночь! Он вкусил запретную сладость, коснулся чужого счастья, впервые увидел мир утех… В эту ночь ему не до сна! Взобраться бы на каланчу или на вышку водонапорной башни и прокричать свой восторг на весь мир… Какой счастливый этот Муня! Не пропускать гуляний в саду, спектаклей в театре и встречать девушек, подобных Розе! Не чудак ли Нухим, бес его бери! Богачи ему мешают! Жили себе люди честь честью, кормились и другим помогали, жили чинно, и вдруг — «обман и мошенство», «сплошная иллюзия»… Ни с того ни с сего стали Нухиму мешать… Где бедняку смастерить такое чудо, как «Альгамбра»? До того ли ему? У него хлеба едва на праздник хватает. До веселья ли? Иное дело богачи: денег у них мешки, голова не знает забот, — они и выдумывают «Альгамбры», театры, клубы, серебряные и золотые свадьбы… У бедняка свои радости. Он веселится на помолвках, обрезаниях, в дни симхас торы[6] и больше всего — когда коллектор приносит ему выигрыш. Как Муне угодно, он, Шимшон, не одобряет Нухима. Евреи вырвут его из рук пристава, не дадут в обиду родную душу, но ему надо исправиться, жить, как все живут…

Одержав победу над Нухимом, Шимшон мысленно окружил себя толпой счастливцев в блестящих мундирах и произнес пламенную речь: ему известно все (никому нет дела до источника его сведений, это останется тайной)… Ложь и неправда, что на Ицковича работают двадцать биндюжников, двадцать евреев на одного, у евреев нет рабства: двадцать тружеников едят хлеб около своего благодетеля… Никто не поверит, что Кац наказывал Муню за проступки Шполянского… Ложь и неправда: дети богачей просто удачники, они всплывают там, где другие тонут… Выдумка, что бедняки падали в обморок у дверей Лося: евреи

милостивцы, сыны милостивцев, двадцать копеек за рубль еще не грабеж…

Возбужденный событиями вечера, Шимшон завел длинный спор с Нухимом. Он докажет упрямцу его ошибки, у него достаточно доводов. Взять хотя бы квартирные дела… Богач въедет в дом, прибьет к двери звонок, медную дощечку и до смерти не выезжает из него. Нищий что ни день меняет свою трущобу, ищет лучшего и ничего не находит… Такие люди, как Дувид-портной, каждый год меняют жилье. Где бы он ни жил, ему квартира не нравится. На одной улице соседом оказывается портной: два портных в одном дворе — что два кота в мешке… На другой — квартира не имеет вида, заказчики нос воротят… На третьей — хозяин грабитель, он взыскал сто рублей неустойки за просрочку квартирной платы… Спасибо, дедушка выручил. Он пришел поздно ночью, высокий, сутулый, с голосом, словно исходящим из бочки, высадил стенку шкафа, разбил ящики комодов и, ломая ножки стульев, довольный, сказал сыну Дувиду:

— Сорок рублей — красная цена твоей мебели, больше он не возьмет… Шестьдесят рублей у тебя в кармане…

Наутро скарб уложили на подводу и свезли в полицию. Там дедушка купил с торгов обстановку и доставил ее на новую квартиру. Отец тут же заявил, что жилище будет временным: подвал — не квартира… Много лет колесит этот скарб, и до сих пор нет у Дувида-портного постоянного жилья. Почему не въехал он сразу в хороший дом и на всю жизнь?.. Почему друзья Дувида-портного, Нуся Чудновский и Янкель Голдовский, не стоящие мизинца его, имеют квартиры в центре, а Дувид поныне не найдет себе пристанища?..

Дело в счастье, богатство тут ни при чем…

Дома Шимшон разделся и лег в постель. Суровый судья, он решительно отодвинул роман о графине Гильде и похождения Ната Пинкертона. Сегодня ему нужно было что-нибудь поучительное — пример стойкости в борьбе с заблуждениями. На столе лежала книга «Дон-Кихот Ламанчский», и он принялся ее читать…

Утро выдалось неудачное. Небо было чистое, солнце обещало греть и светить, дома ничто не предвещало непогоды — и все же гроза разразилась…

Шимшон проснулся под чириканье воробьев, ликующий и гордый. Сегодня он увидит Муню, и они пойдут в театр. Вечер они проведут в дворянском клубе, среди стен, обитых шелком. Жизнь его теперь пойдет по-другому. Старым развлечениям конец. Веселье должно быть настоящим, волнующим и

великолепным. Какие у него были радости?.. Летом — казенный сад за пыльной чертой города, зеленая чаща с пьяными, объевшимися людьми. Всюду хохот, крики, шум — сплошная непристойность… Спустишься, бывало, к столетнему дубу, что стоит особняком над мутною речкой, отдашь свои три копейки за мороженое и, усталый, бредешь домой…

Вечерами, по субботам, ловля головастиков в грязной речушке или скучная толкотня на бульваре…

Зрелища? Никаких, кроме парадов в табельные дни: жалкое представление!.. У собора выстраиваются две шеренги солдат, и старый генерал, опираясь на палку, замогильным голосом провозглашает: «Сегодня тезоименитство ее императорского величества». Ему отвечают троекратное «ур-ра» и жидкие звуки «Боже, царя храни…».

Парады — одинаковые, нудные и тоскливые, как похороны. То же долгое, раскатистое «а… а… а… а», те же солдаты городского гарнизона, наполовину сверхсрочные старшие унтер-офицеры, тот же капельмейстер Цодиков, что и на свадьбах, воинских праздниках и благотворительных спектаклях.

Музыка? Никакой, кроме синагогального пения.

Шимшон приходил в синагогу, садился на последних скамьях и раскрывал молитвенник. Отец, облаченный в талес, устремлял свой взор к киоту и забывал обо всем на свете. Напряженный, с полуоткрытым ртом, он слушал пение, равнодушный ко всему, что окружало его. Может быть, ему мерещился другой молитвенный дом, такой же богатый, с золоченым амвоном, и он, Дувид-кантор, поет, заливается, чарует людей своим искусством… А может быть, ему ничего не грезилось и он просто наслаждался пением…

Шимшону было скучно в храме, где скамьи пустуют и хор, как шарманка, повторяет один и тот же мотив.

У него будут теперь другие развлечения. Он откажется от прежних друзей и заживет по-новому…

Как тут не запеть?

Песня была еврейская, благочестивая, и все-таки отцу она не понравилась. Он тяжело отложил ножницы и сказал:

— Сегодня полетят оплеухи, кто-то поет слишком рано, на пустой желудок…

Недоброе пророчество…

Шимшон молча оделся, вычистил свой праздничный костюм и расположился гладить. За спиной его стоял отец, и работа от этого делалась трудной и опасной. Все могло ускорить печальную развязку: и стук утюга, и некстати мелькнувшая искра, и слишком глубокий вздох — Дувид-портной никогда не пророчествовал зря.

В дверь постучались, и вошел почтальон. Он вынул объемистый конверт и спросил Самсона Давидовича Галаховского. Шимшон протянул руку, но отец предупредил его. Из пакета посыпались проспекты, письма, разноцветная бумага и книжечка с изображением глаз, испускающих лучи. Все это не имело ни малейшего отношения к тем надеждам, которые Дувид-портной возлагал на почтальона. Удачливые люди в таких пакетах получают наследство в десять тысяч долларов. От кого? Не все ли равно? Все евреи — братья!.. Почему бы счастью не обернуться к Дувиду-портному?

Бумаги обманули его чаяния, и он с омерзением швырнул их Шимшону.

— Что за свет настал! С ума они спятили, что ли? С кем тут переписываться? Самсон Давидович!.. Ей-богу, сумасшедшие!

Шимшон расправил тужурку и ощутил глубокую обиду, взглянув на лучистые глаза, смятые жестокой отцовской рукой.

Кому мешает его переписка! Он хочет стать гипнотизером. Что в этом плохого? Каждый может им стать, достаточно написать письмо и указать свой адрес. Называть ученых из института «Знание» помешанными, — как не стыдно! Люди тратятся, печатают книги, чтоб обратить всех в гипнотизеров, за что их поносить?

Шимшон отложил куртку, расправил брюки и решительно провел по ним утюгом.

Отец раскается, он не представляет себе, какое сокровище было в его руках. С гипнотизмом не шутят… Первым делом будет положен конец его издевательствам, Шимшон отвоюет себе свое крошечное право, свою маленькую независимость. Это не так уж трудно. Он придет к отцу и повелительно скажет ему: «Ты не смеешь больше гасить свет, когда сын твой читает книгу в постели, бить и оскорблять его!..»

Запах горелой, шерсти неожиданно наполнил дом. Из-под утюга поднимался кудрявый дымок. Шимшон с вытаращенными глазами стоял, скрестив руки на груди. Кого он мысленно усыплял, сказать было трудно…

Небо было чистое. Солнце обещало греть и светить, и все же недоброе пророчество Дувида-портного исполнилось.

…Театр находился на Дворцовой улице, в непосредственной близости от парка и старого царского дворца. Асфальтовая дорожка вела к колоннам, образующим подобие портала. Обитые блестящей клеенкой поверх мягкого войлока, двери в партере были настежь открыты. Двери на галерее скрипели и хлопали. Внизу стоял билетер в форменном костюме с золотыми

пуговицами, с ласковым голосом и вежливыми манерами… Наверху — суровый мужчина с мрачной бородкой, насупленными бровями и насмешливым взглядом. Сухой и жесткий, он грузно двигался и говорил скрипучим голосом, роняя густой скрип ярко начищенных сапог.

Фамилии этого билетера никто не знал, его попросту звали Исааком. Днем его видели в лавчонке «Детский мир», втиснутой в щель между большими магазинами. В крохотной коробочке, заставленной и завешанной детскими игрушками, он носился из угла в угол, ласково смахивал пыль с паяца, подвешенного на ниточке, выносил на свет голубоглазых кукол с русыми кудрями и выводил к дверям гнедую лошадку на колесиках. Брови его при этом оставались насупленными, движения грузными, только голос, обращенный к покупателям, делался мягче и глаза чуть-чуть светлели…

На серой лестнице неприглядной галереи, вдали от «Детского мира», мягкость покидала Исаака. Безбилетные тесно жались внизу, на дне бездны, с надеждой взирая на сурового стража…

Когда замирал трезвон колокольчика, публика усаживалась по местам и стук вбиваемых гвоздей умолкал за сценой, с Исааком происходила новая перемена. Голос его спадал до шепота, и холодная неприступность согревалась доброй усмешкой. Двери театральной галереи становились самыми демократичными в мире, они открывались каждому, кто умел ценить любезность и платить за нее. Мест было достаточно: боковые части барьера, отведенные для стояния, вмещали всех. Завсегдатаи поляны у «Альгамбры» — сапожники, цирюльники, портные и приказчики — были здесь полными хозяевами. Барьер принадлежал им, — как простор за запретным садом, как звуки оркестра в эфире…

В праздничные дни Шимшон трепетно поднимался по лестнице, отдавал билетеру свои сбережения и бросался к барьеру. Увлеченный зрелищем, чужими радостями и страданиями, он не чувствовал теснивших его горячих тел, жары и духоты и не сходил с места до конца представления. Мир, расположенный внизу, — обширный и удобный партер, ложи и амфитеатр не волновали его. Придет время, и сидящие там потеснятся, чтоб уступить место Шимшону. Сразу не делается ничего…

К двенадцати часам Шимшон был уже у театра. Под сенью каменной колонны, подпиравшей лепную арку, поджидал его Мунька. На нем была серая гимназическая куртка и пояс с гербом реального училища на пряжке. Из верхнего кармана тужурки спускалась металлическая цепочка часов. Тщательно

выглаженные брюки, начищенные ботинки с кокетливо приспущенными шнурками и блестящий лакированный козырек фуражки свидетельствовали, что на туалет потрачено было немало труда.

В этом аккуратно сшитом и выглаженном костюме узкие плечи Муньки казались шире, впалая, чахоточная грудь — выпуклой, и фигура как будто приобретала бóльшую устойчивость…

На Шимшона пахнуло калеными орехами. На этот раз запах был особенно сильный, точно где-то вблизи примостили жаровню. Он протянул Муне руку и ощутил холодное прикосновение трех пальцев. Лицо приятеля выражало равнодушие и скуку.

Шимшон вынул из кармана зеркальце, внимательно осмотрел себя и остался доволен. Он сдвинул картуз набекрень и, смочив слюной пятерню, стал пальцами зачесывать волосы за ухо.

Каждому свое: у одних — новый костюм, у других — приятная внешность. Неизвестно еще, что важней…

До чего человек зазнался! Руки как следует не подаст!.. Три пальца подают клиенту, который дважды не уплатил цирюльнику, бедному родственнику. Если Муня пожалел о своем обещании и раздумал идти с ним в театр — не надо… Никто ему на горло не наступает…

— Ты давно пришел? — сдержанно спросил Шимшон, не сводя глаз с зеркала.

Муня повертел в руках шагомер, пристально взглянул на друга, словно впервые заметил его, и хрустнул пальцами.

— Пойдем, скоро начало.

И он уверенно направился к дверям партера.

Этот парень с ума спятил! Куда его несет?!

— Постой, Муня, куда ты идешь?

Окрик был резкий и решительный. Так добрый, но строгий отец предостерегает сына от безумного поступка. У Шимшона было ощущение, точно он остановил Муню на краю бездны.

Муня надвинул фуражку на глаза, как бы защищая их от слишком острого взгляда товарища, и что-то промычал.

— Ты дурака не валяй, — вспылил Шимшон, — не отмалчивайся… Партер тебе нужен, галеркой не обойдешься?

— Галерея не для меня… Я люблю удобства…

Удобства? Какое бесстыдство! Стеснять людей, привыкших к простору… Толкаться там, где порядок спокон веков…

— Тебе нечего делать в партере… Твое место на галерке!

— Не беспокойся, они могут потесниться… Я свое отстоял…

Этот Муня с ума сошел, он совсем не признает порядка…

Яблочко недалеко падает от яблони. Весь в брата! Люди мучились, харкали кровью, чтоб раз навсегда определить каждому его место. Является Муня и лезет напролом. Что, если другие последуют его примеру?

— Я не люблю грубиянов, — говорит сторонник порядка, — каждый должен знать свое место…

— Прищеми свой язык, — советует ему Муня, — заткнись своими проповедями. Назло твоим богачам я сяду в первом ряду без копейки денег… На, держи…

Он сунул Шимшону свой картуз и вразвалку двинулся к двери. Поравнявшись с билетером, Муня вынул из кармана ослепительно чистый платок, провел им по носу и уверенно прошел в партер. Никаких оснований для подозрений, он только что вышел погулять, поразмяться…

Шимшон стоял ошеломленный. Он представлял себе тысячи трудностей и препятствий, темные закоулки, тайные ходы и выходы, прыжки с опасностью для жизни… Ничего сложного: снял шапку, вытер нос на глазах билетера — и все…

Легкость, с какой Муня взял барьер порядка, свидетельствовала, как непрочно все на свете. Шимшон был нрав, устои мира не рассчитаны на тяжкие испытания. Это чучело в форменном костюме просто ничтожество… Ему махнули платочком, чихнули — и точно ослепили.

Когда Муня протянул Шимшону контрамарку, он покорно последовал за ним.

Первое впечатление — он на дне глубокого колодца. Кругом светло и уютно, радостно, как на свадьбе, но все ждут его наверху… Тысячи глаз устремлены на него с сожалением и грустью. Так смотрят на друга, который покинул своих ради иного, чужого и враждебного, мира. Тысячи сердец стучатся к нему, молят вернуться, стать рядом у барьера, зовут…

Еще ему кажется — он смутил здесь всех своим появлением. Они делают вид, что радуются, смеются, но исподволь оглядывают его, и он ощущает их взгляды в груди, под ложечкой…

Припоминается яркий, солнечный день праздника кущей. За столом отец и ребе. Знакомая рука, обросшая волосами, расцвеченная жилками. Они вьются, подобно лозам винограда. Зажатая между пальцами указка скользит по молитвеннику. Шимшон читает по складам, полный сладких предчувствий и тревоги. Кац обещал ему конфет, ангелы сбросят их с неба, если урок сойдет гладко и отец похвалит учителя. Ученик склоняет голову над молитвенником, сгибается ниже и ниже, а глаза тянутся кверху, к добрым посланникам, витающим в облаках…

Ребе больно наступает ему на ногу и шепчет проклятие. Отец не знает об уговоре между учителем и учеником, не видит, что творится у его ног, один Шимшон знает, что благодетели его где-то высоко, а враги — здесь, рядом…

И теперь у него такое чувство, точно друзья его наверху, у барьера, а он — один среди врагов…

В театре гаснут огни, занавес медленно поднимается.

Между бесформенными глыбами, отдаленно напоминающими холмы, путаясь в длинных тогах, толпятся родоначальники еврейского народа. Они в чалмах из вафельных полотенец, с крупными, цыганскими серьгами в ушах. Длинные бороды их держатся на ниточке, выступающей около ушей, пышные брови закрывают глаза, усы простираются до затылка. На нежно-розовых лицах, занесенных волосом, как пустыня песком, одиноко высятся носы-сфинксы.

Счастливый Шимшон узнает своих предков. Глаза его сияют благоговением, ноздри раздуваются — вдыхают аромат прошлого… Чудесные люди! Великие времена! Движения их божественны, поступь неотразима, — манеры истинных праотцев… Счастливые дети Саваофа, они поют песенки на немецком языке, резвятся на зеленой лужайке и мечтают о потомстве, равном числу звезд на небе и песчинкам на морском берегу…

Ничто не развенчает великолепных предков в глазах потомка: ни бумажная корона, беззвучно свалившаяся с головы Иосифа, ни усы Иакова, вдруг криво повисшие на проволоке, ни игривые движения преклонных старцев. Шимшону мерещатся чудеса: нимб над головой Иакова; цепи холмов; леса Ливанские; ухо улавливает звуки арфы… Прошлое встает из веков…

— Что, Мунька, — восторженно толкает он товарища, — есть у нас чем гордиться!

Мунька откинулся на спинку кресла. Глаза его бессмысленно устремлены вдаль, нижняя челюсть отвисла и обнажила тупой, неподвижный язык.

Кто угадает в этом невзрачном пареньке мастера хитроумных комбинаций, незваного гостя всех зрелищ и увеселительных мест?..

— Что ты говоришь? — не сразу переспрашивает он. — Я не расслышал.

Шимшон видит добродушного толстяка Иакова и с грустью замечает:

— Трудно быть праведником, настоящая каторга!.. Тебя беспрерывно испытывают, а ты терпи и виду не подавай, что трудно…

Ему кажется, что Муня согласен с ним, и Шимшон торжественно добавляет:

— Помнишь, как сказано у нас в писании: «Вы будете все священниками… святым народом…» Ты понимаешь: «Все!»

— Все? — проявляет вдруг любопытство Муня. — И Зиндель Резников, и Янкель Тартаковский, и Юкель Державец?

— Ну и болван! Какие ж это евреи, ведь они выкрестились! Они продались нашим врагам…

— Никому они не продались… Люди просто устроили свои дела…

— Разбойники тоже устраивают свои дела… Порядочные евреи так не поступают… Не напоминай мне о них…

Муне, наоборот, хочется говорить именно о них:

— Какие они разбойники? Зинделю Резникову хотелось стать инженером. Ему надоело мучиться техником. Янкель Тартаковский полюбил девушку с приданым в триста десятин земли… Не жениться? Такое богатство на улице не найдешь… Юкель Державец задыхался, все это видели, положительно таял на глазах… Он говорил, что не вынесет, ему тесно в черте оседлости… Было бы лучше дать ему погибнуть?..

Шимшон не чувствует иронии в голосе друга, спокойствие Муни возмущает его:

— Ты им сочувствуешь? Жалеешь этих трефняков и отщепенцев? Можешь последовать их примеру и выкреститься…

— Нухим говорит, — невозмутимо продолжает Муня, — что богачам не по средствам держаться веры. Вся надежда на нас, бедняков…

Шимшон оглядывает разодетую публику, сытые и довольные лица своих соплеменников и, сердитый, отворачивается… Кто им дал право сваливать с себя тяготы еврейской доли?..

Нет, уж извините, страдать, так вместе…

— Это им не удастся, у нас нет дворян, мы все равны…

— Нухим говорит, — парирует Мунька, — что не все мы равны и не все в голусе… Купец первой гильдии имеет право жительства в любом месте. Он может обучать детей, где его душе угодно, даже в семинарии… Быть кем угодно, даже митрополитом.

Шимшон не знает значения слова «митрополит» и верит.

— Все зависит от счастья, — смятый ураганом фактов, едва защищается он, — избранники избранниками, а кто больше стоит, тому больше дается…

— А Нухим говорит, — не унимается Мунька, — что никто нас не избирал…

Все возражения исчерпаны. Шимшон тоскливо оглядывается

и машет рукой:

— Отвяжись ты со своим Нухимом!.. Пристал как банный лист… Подумаешь, цаца какая!..

В театре вдруг стало тихо, у будки суфлера зажглись зеленые лампочки, и занавес пополз вверх.

Действие развертывалось стремительным вихрем. Люди в тогах и чалмах плясали и кувыркались, ссорились и мирились, любили и ненавидели. Иегуда, сын Иакова, ревел львом, свирепо бил себя в грудь и выкатывал глаза. Иосиф всячески прятал свои девичьи формы и полные руки, пел женским голосом и юношески басил. Предки еврейского народа выгодно продали родного брата и предались разгулу… Восторженная галерка откликалась оглушительными хлопками и неистовым «браво». Только Шимшон оставался спокойным. Спектакль не приносил ему больше радости. Фантазия его исказила благородные черты праотцев, и со сцены на него глянули знакомые лица Зинделя Резникова, Янкеля Тартаковского и Юкеля Державца… Они дерзко гладили свои привязные бороды и посмеивались над ним.

Занавес уверенно соскользнул вниз, в театре зажглись огни.

С галереи неслась трескотня, точно там по команде щелкали орехи.

Муня повел Шимшона в буфет и угостил плиткой шоколада. Глаза его были грустны, и морщинки вокруг губ как бы молили: «Не надо нападать на Нухима, он очень болен…»

Шимшон спрятал свинцовую обертку шоколада, пальцами зачесал волосы за ухо и подумал, что Муня, пожалуй, прав, купец первой гильдии почти тот же выкрест, никаких тягот — одни радости: в синагогу он заглядывает не чаще двух раз в году — в дни рош-гашоно и иом-кипур; субботы не соблюдает, торгует, курит и даже хвастает этим… Он не говорит по-еврейски, ест трефное и под фраком вряд ли носит лапсердак…

— Кстати, Нухим все еще в руках пристава?

Муня ответил не сразу.

— Отпустили… Вогнали в чахотку и отпустили… Скоро умрет…

Шимшон привскочил от удивления. Он знал, что людей гонят на каторгу, на поселение, сквозь строй, в тюрьму, но впервые слышит, чтобы вгоняли в чахотку… Такого наказания как будто и нет… Неужели пристав сам его придумал? Что ж, не беда, на всякую хитрость можно ответить хитростью…

Благодатная мысль, она пришла тихо и незаметно, как будто с черного хода:

— Нухим может излечиться, и очень даже просто… Надо пить молоко с салом…

Как хорошо, что он вспомнил рецепт!

Муня устремил глаза к потолку и прошептал:

— Поздно, он дышит уже одним легким.

Шимшон не совсем понимал, почему Нухим дышит одним легким, но по всему заключил, что делается это не из роскоши…

— Ты, — жаловался Муня, — назвал Нухима цацей, а я тебе скажу, что он сидит у меня вот здесь…

Рука легла на сердце и задрожала. Дрогнули и пальцы Шимшона на груди.

— Не надо отчаиваться, все пройдет благополучно… Сало и молоко поставят его на ноги…

— Ты глупости говоришь, Шимшон, он дышит подушкой… Настоящей резиновой подушкой…

Шимшону было далеко не ясно, почему «настоящая» подушка — «резиновая» и что за причуда — ею дышать…

— Будем надеяться на бога… В его руках и пристав, и полицмейстер, и даже губернатор…

Надежды Шимшона доконать пристава поддержкой свыше впечатления не произвели.

— Хоть Нухим и не верит в бога, — несмело пояснил Шимшон, — все-таки скажи ему…

Муня не дал приятелю договорить. Он оборвал ею спокойно и холодно, как обрывают кипение самовара ледяной водою:

— Отстань от меня… По-твоему, бог это — все, а по-моему, его, может быть, даже нет…

Ничто уже не могло вернуть Шимшону покоя: ни трогательная песня на мотив «Ах, истомилась, устала я», ни обращение полногрудого Иосифа в солидного мужчину. Со сцены нагло усмехался выкрест Резников, и у могилы Рахили мерещилась тень мертвого Саваофа.

ШИМШОН ТОМИТСЯ

— Я сказал ей: «Рухл, такой уж у меня характер, и не вам его переделать… Согласны на мои условия — сыграем свадьбу. Не угодно — освободите меня… Мне нужна жена покорная и тихая. Если я среди бела дня скажу: «Сейчас ночь», чтоб она без лишних слов легла спать…» Мне незачем рассказывать вам, Сура-Гися! Вы были свидетельницей…

Дувид-портной склоняет голову набок и оглядывает себя в зеркале. «Ты прав, — говорит ему оттуда другой Дувид, — жена должна быть покорной…»

За окном курносая Сура-Гися, торговка леденцами, заламывает руки и тяжко стонет:

— Как вам не стыдно! Какой уговор? Где? Когда? Стыдитесь! Отец семейства — и такие речи… Срам!

Она может так продолжать бесконечно.

Дувид больше не слушает ее: курносая Сура-Гися просто лгунья. Внимание его занято женой.

— Калека! — надрывается он. — Портачка несчастная! Как ты пришила подкладку?..

В голосе его столько отчаяния, в лице такой гнев, что кажется — он сейчас уничтожит ее…

Рухл поднимает изуродованное флюсом лицо, молча смотрит на мужа и опускает голову.

За окном показываются Нафтула-пьяница, Сэндер-тряпичник и синагогальный служка. Они с любопытством заглядывают в дом и глазами ищут Рухл. Портной радуется, как ребенок: уж эти, не в пример Суре-Гисе, поймут его… Особенно Нафтула… Старик на веку своем натерпелся, ему страдания других понятны: трех жен похоронил, с двумя развелся, а шестая от него сбежала…

— Боже мой, Нафтула, ведь мы — бесправные, хуже арестантов… Работай, как каторжный, страдай и молчи… Кто им дал право командовать нами? Почему я не могу спустить шкуру с ребенка, раз мне этого хочется?.. Возьмешь ремень в руки — она тут как тут, на выручку… Прикажешь безбожнику моему молиться, служить богу сердцем и душой — плохо, станешь его наставлять на путь — опять не угодил…

Портной смотрит исподлобья в зеркало и читает на своем лице: «Ты — жертва, Дувид, не сдавайся…»

— Закрой уж свой рот, — молит его Рухл. — Кому ты жалуешься? Кого ты позоришь?

За окном толпятся нищие, сосед-сапожник — буян и сквернослов, торговка живностью и пьяный биндюжник Элек.

Портной уверен, что это — друзья его. Они пришли выразить ему свое сочувствие. Он не видит лукавых улыбок, не слышит насмешек, ему хочется говорить, говорить без конца.

— Я вытащил ее из нищеты и сделал своей женой… Она должна мне ноги мыть и воду пить… Скажите это ей, не стесняйтесь, вот она…

Пусть весь мир знает, что его, тихого и спокойного человека, редкого мастера, блестящего певца, честного семьянина, непьющего, низвели до уровня раба!

— Закрой окно, — чуть не плачет Рухл, — не срами меня…

Закрыть окно? Ни за что ни про что обидеть людей? Никогда! Если ей не нравится, пусть убирается в другую комнату…

Шимшон сидит за книжкой, он не читает. Он слышит речи отца, его брань и думает о Наполеоне. Великий полководец был нежным супругом и уж наверно не назвал бы «портачкой» свою жену.

Бедная мать, как ей не повезло… Почему она не обручилась с Генрихом Наваррским, с графом Монте-Кристо или Гарибальди?.. Благородные люди, они дрались бы из-за нее на дуэли, целовали бы ее перчатку и называли «донной»…

У нее всегда озабоченный вид, грустные глаза и руки, мертвые от усталости. Они варят, скребут, нежно касаются Шимшона и изнемогают в работе… У них свой язык, и Шимшон знает его: вот они тянутся к верхней полке буфета — это обещает что-то вкусное… может быть, кусочек пирога, ломтик пряника, несколько крошек халвы. В тайниках, замаскированных, как неприятельский секрет, она находит огрызок яблока, остатки компота или сушеную сливу… Надо же было, чтоб на пути этой редкой души стал Дувид, портной, жалкий портняжка…

— Закроешь ты, наконец, окно? — решительно спрашивает Рухл. — Долго я буду терпеть?

Она откладывает работу, поднимается и резко захлопывает окно.

Портной сразу умолкает. Решительность действует на него угнетающе. Самоуверенность сменяется унынием, и грустные размышления смыкают его уста. Так пройдет много времени: немой и суровый, с затаенной обидой, он будет носиться по дому, думать о своей жизни, перебирать в памяти годы и месяцы и неизменно вспоминать одно и то же.

Овеянная сытым покоем, надвигается суббота. Суетливая пятница угасает, как ярмарка в ночи. Еврейки с закатанными рукавами и подоткнутыми подолами уже разделались с буднями: поскребли и вычистили хатенки, приготовили субботнюю трапезу и расставили на полках румяные калачи.

День близится к концу. Закрыты лавки, обезлюдели мастерские, все сбросило покров суеты, чтобы погрузиться в покой. Умытые и чисто одетые дети застенчиво жмутся к порогам. Солнце опускается за ветряной мельницей. По базарной площади пылит последняя фура с бородатым балагулой[7] на облучке.

В бледных сумерках идут евреи в длинных сюртуках, с молитвенниками под мышкой. Они важно ступают, молчаливые и строгие. Во дворе синагоги их встречает суматоха. У ворот, вокруг каменного забора посреди двора — кучками собрались люди. Их лица возбужденны, у всех на устах имя Дувида-портного, нового подмастерья Герша Соловейчика. О нем говорят с почтением, с гневом, с брезгливым отвращением, с восторгом. «Золотые уста», — настаивают одни. «Трефняк портняжка», — брюзжат другие. «Стриженая борода», — издеваются старики. Спор разгорается. Напряженные голоса не к добру поминают родителей, сыплются обиды, угрозы, вот-вот начнется свалка.

Виновник раздоров сидит на амвоне в кругу старост, дайона[8] и резника[9]. Он очень молод, едва ли ему больше двадцати трех лет. У него бледное лицо, низко подстриженная бородка и длинная худая шея. Голова его льнет к правому плечу, поднимается и снова склоняется набок. На нем черный изящный сюртук с атласными отворотами; худые плечи его покрывает талес, обшитый золотой парчой.

Все взоры обращены к нему. Мальчики в люстриновых сюртучках, отцы в шелковых ермолках, молодые люди в крахмальных воротничках тянутся на скамьях, чтобы его разглядеть.

В женской половине — тревожный шепот. Из-за тюлевых занавесок высовываются девичьи головы. Жадные глаза устремлены на кантора. Его знают, веселого подмастерья Соловейчика, распевающего романсы у окна мастерской. Рядом с кивотом он выглядит степенным и даже важным, но все это кажется комедией, ловкой затеей… Сейчас он сбросит с себя талес, затянет любовную песенку и пустится в пляс.

Один Дувид спокоен. Назло фанатикам и всему миру, он, портняжка-трефняк со стриженой бородой, певец непристойных песенок, будет сегодня молиться у амвона. Он закатит им такой «Лху нранну» и «Мизмор шир»[10], что они голову потеряют…

Портной сидит у захлопнутого окна, счастливый и улыбающийся. Рухл заново пришивает подкладку, и крупные слезы падают из ее глаз…

В тот вечер, в канун субботы, Дувиду мерещилась у амвона пустыня Синайская: он бродил под пламенным небом и пел… Ноги его не знали устали, голос был свеж и нежен. Подмастерье

Соловейчика удивил евреев, примирил молодых и стариков, вольнодумцев и фанатиков. Они поднялись по ступеням алтаря, чтоб пожать ему руку и похвалить его, но он предупредил их:

— Что, евреи, слышали вы что-нибудь подобное? Какой голос, какие трели?.. Хорош портняжка, а?

Озадаченные евреи переглянулись и, смущенные, разошлись.

Назавтра к нему явилась сваха Двойра-Сося. Она говорила о Рухл нараспев — на мотив из Талмуда, целовала собственные пальцы, плакала от умиления и целомудренно опускала глаза.

— Предупреждаю вас, — сознался он ей, — со мной гуляли девушки-принцессы… И я требователен, как принц…

В тесной мазанке сапожника Тодриса жених почувствовал кислый запах теста и увидел кучу мух. Рухл, крепкая и розовая девушка, ни разу не подняла на него глаз.

— Сирота, — шептала ему сваха, — покорна, как ягненок… Она будет тебе ноги мыть и воду пить… Богу и людям угодишь…

Подмастерье Соловейчика уступил. Воспитанная в глуши, Рухл ему, конечно, не пара, но как не пожалеть сироту? Девушке повезло, и пусть радуется.

На свадьбу съехалась родня — брат невесты, солдат, тетушка из дальнего края, Нусон и Рива — родители жениха. Соловейчика пригласили шафером, сваху щедро наградили, веселье обещало быть на славу, но перед самым венцом жених показал себя. Он потребовал три шелковых косынки, лисью ротонду и фату из дорогой кисеи… Старый Тодрис ответил отказом. Невеста забилась в истерике. Тогда брат ее, закройщик полковой швальни, подтянул солдатский пояс, отозвал жениха в сторону и, нелюбезно поблескивая глазами, сказал:

— Мы зарезали двенадцать гусей. Трех я свезу моему командиру, а девять мы съедим на радостях, что избавились от тебя… Шагом арш под венец или налево кругом пошел вон отсюда!

Подмастерье Соловейчика снова уступил…

Дувид сидит у захлопнутого окна и думает, что уступать не следовало. Он мог жениться на красивейшей женщине в мире, она была бы тихой и покорной женой, мила бы ему ноги и воду пила…

Ему ни в чем не везло. Неудача — суженая подруга его — шла за ним по пятам. Его рано потянуло петь. Неведомо откуда явилась жажда вторить, подпевать. Точно полная до краев чаша, он изливался песней, трелями расписывая мир. Слепцы, шарманщики и уличные певцы стали источником его вдохновения. Он завидовал всем, кто мог заставить себя слушать: кантору — счастливцу в бархатной феске, с великолепной

осанкой первосвященника; чтецу торы — старику с опавшими щеками и голосом глухим, как стон.

Шестнадцати лет он впервые молился пред амвоном. На дверях синагоги висел тяжелый замок, никого внутри не было, один Дувид, тайно проникший в молельню, полный ужаса и восторга, выводил трели. Из запертой молельни неслось бурное ликование освобожденной страсти. Прохожие испуганно шептали молитву, со страхом проходили мимо синагоги. Неистовая душа томилась до рассвета. С первыми петухами пение умолкло…

Шли годы. Он добивался места в театре, играл в любительских спектаклях и, сломленный неудачами, пришел к синагогальному амвону. Евреи слушали его пение, упивались его голосом.

— Кто вы, молодой человек? — любопытствовали они. — Откуда?

Певец заворожил их, блаженны его родители, блажен народ и город, взрастившие его…

Что-о? Ремесленник? Портной?.. Жаль, но они не могут оставить его кантором. Простолюдин у амвона — позор для всей общины… Будь он торговцем, пусть мелким, разорившимся, кем угодно… Но ремесленник?! Неисповедимы пути всевышнего! К чему портняжке такой талант?

Так повторялось всюду. Они клеймили его позором, точно игла его была топором, а он — заплечных дел мастером. Он мечтал обмануть их, уехать далеко на запад, объявить себя сыном почтенных родителей, ешиботником[11], добиться денег, славы и потом открыться. Высмеять этих жестоких людей пред всем светом, доказать им, что портной тоже человек…

Дувиду душно у захлопнутого окна. Рухл пришила подкладку и возится у печки на кухне. Удачный момент вернуть себе свободу. Дневной жар спадает, и воздух уже, должно быть, остыл… Ему не сидится, одиночество томит его.

Он открывает окно и, словно выпорхнувшая на волю птица, поет, радуется и насвистывает. На улице собираются прохожие, очарованные его пением; они подмигивают ему, зажигают своим одобрением и терпеливо ждут новых песен… «Каково? — говорит его счастливый взор. — Сейчас я вам скопирую знаменитого Сироту… Без примерки смастерю… Пальчики оближете!..»

Пусть знают, как несправедлив мир, как топчут талант в грязь. О, старостам синагог не поздоровится… «Вы разбойники, — скажут им эти люди, — вы убиваете гениального человека! Дайте место Дувиду! Освободите для него амвон!..»

Он мечтал обмануть их, но из этого ничего не вышло. У него не было ста рублей, чтобы уехать, сбросить свое прошлое, как

сбрасывает с себя тюремную одежду беглый арестант.

Сто рублей — не большие деньги, но где взять их?..

Как это бывает только с праведниками, дверь открылась, и посланец счастья, коллектор реб Иойль, встал на пороге.

«Вот тебе, Дувид, сто рублей, — означал этот приход, — пользуйся и не ропщи».

Старик поцеловал мезузу, буркнул приветствие и со вздохом опустился на стул. И на этот раз, как всегда, он был в крахмальной сорочке, желтой от пота, и в почерневшем от грязи воротничке.

Портной отложил работу и осторожно, точно опасаясь вспугнуть влетевшую жар-птицу, приблизился к гостю. Шимшон отложил руководство по гипнотизму с эпиграфом «верный путь к богатству» и высунулся из дверей. Рухл сделала шаг к Иойлю, встревоженная и млеющая.

Коллектор потер отекшие ноги и снова вздохнул.

— Что слышно?

Черты его желтого, застывшего лица безучастны. Дувид пристально разглядывает их, ищет ответа на свой вопрос.

— Говорят, бога нет, небо — сплошной пар и сверху само по себе сыплет и каплет. Спрашивается: откуда знает нога Иойля, что сегодня будет дождь?..

Метеорологический экскурс коллектора никого не тронул. Метеорология занимала портного не чаще двух раз в году — осенью и весной. Осенью он обычно говорил: «Слава богу, покончили с летом», а весной: «В добрый час, выпроводили зиму». Заказ его природе носил узкопрофессиональный характер: предпасхальные дни должны были быть теплыми, а предрождественские — холодными.

Шимшон слушал коллектора и мысленно убеждал себя, что никакого выигрыша нет; надежда всегда обманчива, удача приходит, когда ее меньше всего ждут. Он шепотом повторял себе: «Пиши пропало», «Черта с два выиграешь», — а любопытство томило его: неужели силы неба тогда водили его рукой?

— Что слышно, реб Иойль, где наш крупный выигрыш?

Голос Рухл звучит насмешкой, безверием вконец разочарованного человека. Старик высоко поднимает правую бровь, прищуривает левый глаз и произносит:

— Э-э-э! Обязательно крупный… Як мед, то и с ложкой?

— Женская логика… — вмешивается Дувид. — Не слушайте вы ее…

Следует молчаливое кивание головы, долгий взгляд прищуренных глаз и протяжное «э-э-э!..». Женщина остается женщиной, стоит ли уделять ей внимание…

«Говорите, Иойль, не томите!» — мысленно надрывается Шимшон, проклиная старость с ее рыбьим темпераментом.

— Вы не забыли, реб Иойль? Лотерейный билет тянул я… Это был ваш совет… Мне хочется знать…

Иойль нежно касается своего воротничка, и гордость преображает его. Обиженный Шимшон смотрит на смятую шею старика, на сложный рисунок вен и думает, что в них течет черная, грязная кровь…

— Что с вами, реб Иойль, — снова говорит Рухл, — вы язык проглотили? Что значит «э-э-э»? Где наш выигрыш? Где наше счастье?

Ответ коллектора звучит таинственно и туманно:

— Счастье дается за праведную жизнь, за добрые дела и заслуги предков… Есть у вас чем козырнуть — козыряйте!

— Скажите, наконец! Что вы тянете? На коне мы или под конем?..

Дувид потерял терпение, и лицо его выражает досаду. Коллектор глубоко вздыхает и некоторое время молчит.

— На коне, под конем, — не все ли равно?.. Как бы высоко мы ни взбирались, спускаться все равно надо. Из земли мы пришли и в землю вернемся…

«Экая новость! — мысленно иронизирует Шимшон, разглядывая свои немытые руки. — Кто этого не знает? Потру рука об руку, и на ладонях выступит земля, — вот и доказательство…»

Старик опускает бровь, глубоко вздыхает и говорит:

— Торопливость к добру не приводит…

Почему не приводит? Шимшон мог бы доказать обратное…

— Ваш билет, реб Дувид, выиграл пятьдесят рублей… В добрый час…

Портной с нежностью взглянул на Иойля, благосклонно улыбнулся сыну и недобрым взглядом окинул Рухл.

— Я тысячу раз просил тебя: не распускай язык, не бросайся на людей, не обнаруживай своего простого происхождения… Все знают, что ты выросла в глуши, в доме паршивого сапожника, и не обращают на тебя внимания…

Она виновата пред ним, пред Иойлем, пред всем миром… О милости не может быть и речи, он поделом презирает ее.

Шимшон смотрит в лицо отца и видит злую усмешку; она притаилась в его зрачках. Гнев ударяет Шимшону в голову, и волна решимости заливает сердце. Ничего!.. Его матери недолго ждать! Дайте ему выбиться в люди!.. Избавление не за горами… Он, Шимшон, явится к ней, напомаженный, с закрученными кверху усами и с золотой цепью поперек живота. На нем будут

желтые ботинки и множество колец на пальцах… Она заплачет от счастья и залюбуется им… Он приведет ее к величественному замку на лесистом холме и пройдет с ней по спущенному мосту. Рыцари и пажи окружат ее. Фрейдл-портниха сошьет ей атласное платье. Кухарка Бася, непременная повариха на богатых свадьбах, переедет в замок. У них будут горы медового пряника, каждый день пирожки с горохом и за обедом вишневый компот…

Дувид грустно улыбается Иойлю:

— Разве я не понимаю, что значит лотерея для бедняка… Счастье надо хватать за фалды… Разориться, но иметь всегда маленькую надежду. Растолкуйте это ей… Из-за нее ведь я бедняк из бедняков, нищий из нищих…

Какое может быть снисхождение к человеку, который разоряет семью? Она пользуется его добротой, чтобы держать семейство в нищете…

Пред Дувидом яснеет горизонт, и в ярком свете встает его собственная обреченность. Жертва видит себя загубленной и обездоленной, скорбь оттесняет гнев, и возмущения точно не бывало… Хорошо бы теперь забиться в угол и всплакнуть… Сладко, сладко поплакать…

Пока он говорит, Рухл стоит бледная, с плотно сжатыми губами, как бы опасаясь дыханьем развеять его фантазию… Глаза ее скошены, на лице жестокая улыбка, окаменелый упрек.

— Что вы молчите, реб Иойль, разве я неправ?

Портной изнемогает; ни в мыслях, ни в чувствах у него нет больше гнева. Если помощь не придет, он заплачет…

Очарованный внезапным вниманием, Иойль напускает на себя важность и возвышает голос:

— Что тут говорить!.. Женщины остаются женщинами!.. Они созданы из нашего ребра и немножечко похожи на нас… Пора привыкнуть.

Рухл делает шаг к Дувиду и с той же неумолимой улыбкой говорит:

— Зачем ты меня оскорбляешь на людях? К чему это тебе? Иойль может в самом деле подумать, что я виновата… Ты всегда говорил: «Эта лотерея — один обман. Раввины обворовывают народ, и Иойль им помогает…»

Портной страдальчески склоняет голову набок и опускает глаза. Коллектор выкладывает выигрыш и уходит, а Дувид продолжает сидеть немой и унылый, точно не одно окно, а весь мир захлопнули перед ним.

Молчание длится недолго. Портной склоняется над работой и как бы про себя говорит:

— Надо разогреть утюг…

Никто не скажет, что речь его обращена именно к жене. Кто знает, не имел ли он в виду прохожих на улице?

Рухл искоса смотрит на мужа, с лица ее не сошла еще жестокая улыбка. Она не возлагает надежд на прохожих — утюг разводить придется ей…

— Какой утюг — железный или чугунный?

Кто станет утверждать, что вопрос относился именно к мужу? Разве она упоминала его имя? Или, может быть, взглянула на него? Нужен он ей!..

— Куда делось гладильное полотно? Оно только что было здесь.

Жалоба как будто обращена в пространство, но в голосе звучат новые нотки: мягкие и податливые — нежный отзвук примирения… Они как бы говорят: «Покончим с этим, Рухл, побранились — и довольно…»

— Боже мой, человек этот ничего не видит… Под самым носом его лежит полотно… Вот слепец!..

Мир стучится в двери Дувида. До спокойного берега — один шаг.

— Работаешь день и ночь, рук не чувствуешь, приходит заказчик, какой-нибудь вшивый богач, и душу из тебя выматывает… Никакого сочувствия…

Заказчик — нейтральная почва, их общий друг и враг, на нем можно сорвать обиду, излить взаимную горечь, — одним словом, отпраздновать мир. Бедняк, конечно, другое дело, он — свой человек…

Это первая уступка. Рухл склоняется к мысли, что хороших заказчиков нет. И богатый и бедный одинаково норовят извести портного переделками и присвоить себе его заработок…

— Я еще раз хочу испытать судьбу, как ты думаешь?

Рухл понимает, в чем дело, и молчит.

Судьба Дувида не страшится испытаний, она выходит из них нетронутой и неизменной, как чистопробное золото из-под искуса кислот.

— Пятьдесят рублей — не большие деньги, но если суждено разбогатеть, и рубля достаточно… Надо ловить свое счастье…

Конечно, надо, — Рухл этого не отрицает… Они немало гонялись за своей фортуной. В местечке им казалось, что счастье ждет их в городе. Они ездили и возвращались, колесили по Украине, Крыму. И всякий раз Дувид клялся, что он на верном пути.

— Что ты думаешь делать с деньгами?

Рухл не обманывается, у него хватит фантазии пустить рубли по ветру. Первым делом он бросится покупать… Впрочем, лучше

послушать его самого.

— Я куплю на все деньги сукно, лодзинский костюмный товар. На вывеске я припишу: «Принимаю заказы из собственного материала»… Здесь, за столом, мы пристроим полки со стеклянной витриной и разложим сукно… Заказчик любит, чтоб его оглушили шумом и блеском. Я разверну ему кусок материи, другой, третий, десятый, — пусть знает, с кем имеет дело… На товаре лишний гривенник, на работе рублевку, одно к одному, — у нас подберется капитал… Новую партию сукна получим в кредит, подсунем, где надо, вексель, колесо завертится, а там, где вертится, уже хорошо.

— Да, конечно…

С этим Рухл согласна… Только бы завертелось.

— Мы переедем в центр города и будем воевать за нашу фирму. Драться так драться… Как ты думаешь?

Среди членов семьи не нашлось возражений. Дувид обводит взором детей, нежно смотрит на Рухл и, упоенный собственным красноречием, улыбается. «Вот вам и портняжка, — говорит усмешка, — дайте ему только денег, он покажет себя…»

— Трудно скопить первую тысячу, дальше все идет как по-писаному. Деньги работают на тебя… Говорят, без счастья не обернешься… Чепуха! Счастье — это деньги. Раздобыл, — значит, ты на коне, никто тебя не осудит, будь ты трижды убийцей родного отца…

Портной говорит легко и веско, близость денег окрыляет его фантазию. В пылу восторга он не замечает противоречий, забывает собственные жалобы на судьбу.

Поправив свои дела, он возьмет сто рублей и уедет на запад, где никто его не знает. Ему поверят, что он сын богатых, почтенных родителей, ешиботник, и пригласят кантором большой синагоги. Деньги любят деньги… Придут радостные дни достатка…

Рухл одобрительно кивает головой, она слышит эти мечты уже много лет. У Дувида либо свет клином сошелся, либо счастье в окно стучится… Не так легко все делается. Богатство прячется за крепкими воротами, а у бедноты двери настежь. Кантором он не устроится, найдутся люди с большей ученостью и скромностью… Бедняк надеждой тешится, Рухл не будет ему мешать…

— Первым делом, Рухл, я переделаю твою ротонду, закажу бархатное платье со шлейфом и, назло нашим врагам, смастерю тебе шляпу с пером… Наймем прислугу. Довольно страдать у печки, ты отработала уже свое… Жить — так жить как следует…

— Постой, постой, — шутит она, — ты растранжиришь все

наше добро… Не сразу же…

Дувид и слушать не хочет. Сердце его полно нежности и любви к ней. Прекрасная хозяйка, помощница и друг. Что было бы с ним без нее!.. Она — единственная его опора… Нет, нет, для нее он ничего не пожалеет…

— Ты посмотри на свои руки, они распухли от работы… Месяц-другой отдохнешь — и не узнаешь их… Прислуга — сущий клад в доме. Приоденешься, наберешься сил и будешь такой же красивой, как под венцом…

С лица Рухл сошла жестокая улыбка, она не смотрит больше искоса, глаза ее устремлены на мужа — неразумного, но все же милого, готового ее мучить и глубоко любить…

ШИМШОНУ НЕ ВЕЗЕТ

Аврум Уховский опустился на стул, оглядел кишащий людьми базар и заскучал. Короткие пальцы уткнулись в колени, туловище наклонилось вперед. За спиной его в лавке толпились покупатели, слышались громкие голоса приказчиков, и часто упоминалось его имя. Он вышел на улицу, утомленный толкотней и гамом, уединился, как уединяются от чересчур шумного веселья. В такой день не грех отдохнуть: покупателей хоть отбавляй, они обивают пороги с раннего утра. Торговля идет бойко. У конкурента, Абрама Верховского, разделяющего с ним рынок калиновского района, не так уж густо. Векселей сегодня оплачивать не надо; лодзинские фабриканты опять повздорили и спустили по копейке на аршин. Тем лучше: можно будет продавать по старым ценам и заработать… У Краснокутской — пустая лавка, огромное помещение до смешного пусто, за утро перебывало пять-шесть покупателей… Векселя ее стали застревать у нотариуса, недели не проходит без протеста. Обязательно разорится… Еще на этой неделе… Сынишка ее Рувим ведет себя неприлично: подхватывает калиновских мужиков и тащит их к себе. Вчера он это проделал на глазах у всех: увел покупателя положительно из-под рук.

— Как тебе не стыдно! — упрекнул его Аврум. — Где тебя этому учили?

Мальчишка нахально потер руки и с усмешкой сказал:

— Как вы думаете, реб Аврум, где таким вещам учат? На толкучке… Вы у нас, мы у вас, — на этом держится мир…

Жаль, конечно, Краснокутскую, вдова содержит большую семью, но если уж на то пошло, его дело — сторона. Взаймы он ей больше ни гроша не даст, пусть плачет, жалуется — ни копейки… Говорят, евреи должны помогать друг другу, но ведь это, слава богу, не закон…

К тому же обходят и законы… Как только она обанкротится, надо будет лавку ее подхватить… Пусть пустует, тысяча рублей не деньги, зато одним конкурентом меньше…

На базаре появляется сгорбившаяся фигура в рваном, выцветшем пальто поверх нижнего белья. Несмотря на теплое утро, человек низко надвинул на голову барашковую шайку и глубоко засунул руки в карманы. На воротнике и на складках его рукавов серебристым позументом искрится иней. Понурив голову, он останавливается у мучного ларька, опускается наземь и греется на солнышке. Позумент темнеет, на месте его выступают холодные капельки росы.

Уховский оглядывает пришельца с веселой и самодовольной усмешкой.

— Здоро́во, Федька, как дела?..

Какие могут быть дела у этого прощелыги? Он слоняется по базару, дремлет где-нибудь в тени или, пьяный, затягивает «Стеньку Разина».

Федька несмело поднимает голову, исподлобья оглядывается по сторонам и ничего не отвечает.

— Опять напился, сукин сын… Штаны прогулял, пьянчуга…

Аврум снисходителен к пропащему человеку, говорит с ним запросто, как с бедным родственником. Почему не подтрунить над ним? Ничего пьянице не сделается: кредита его никто не лишит, а доброго имени тем более…

— Что же ты молчишь? Рассказывай, где ночь прошлялся…

Авруму становится легко и приятно. Шум в лавке, голоса приказчиков, жизненная суета отодвигаются далеко назад.

Федька знает эту слабость Аврума. Он посмеется, побранит его и бросит гривенник «на похмелье». Иногда, правда, собираются соседи, и «веселье» затягивается надолго. Зато бывает и удача: богатый еврей раскошелится и сразу бросит двугривенный. За такую плату можно и потерпеть.

Федька поднимает свое обросшее лицо, улыбается, и неожиданно проступает их сходство: широкие приплюснутые носы, серые водянистые глаза и редкие выпирающие зубы. Оба смотрят друг на друга: один — с виноватой улыбкой пойманного врасплох озорника, другой — с безмятежной усмешкой развлекающегося человека.

— Где нашему брату быть?.. Гулял… Пропили все, как полагается, пошумели — и хватит…

— А валялся где? Небось под забором?

В этом вопросе нет ничего предосудительного, но для Федьки правда прежде всего:

— У речки, под мостом… Свободней и людей меньше…

Глаза Уховского блуждают по базару, устремляясь время от времени на лавку Краснокутской. Он не ошибся, она заманила его богатую покупательницу, перехватила на дороге. Живи с такими грабителями, жалей их, помогай им в беде… Дайте срок, уж он изобличит эту противную торговку…

Федька снова сгорбился. Его лихорадит, мутит и клонит ко сну…

— Непутевый пьяница! — жестко отчитывает его Аврум. — Подохнешь где-нибудь под забором…

Противная вдова прикидывается сиротой и под шумок хватает чужих покупателей!

— В тюрьму бы тебя, бездельника и пьяницу… Сукин ты сын, прохвост…

Грубый тон благодетеля задевает Федьку, и он хмурится.

— Потащат тебя на дрогах, зароют, как собаку, и лягушка не проквакает…

Будет она помнить Аврума Уховского! Ни гроша кредита, ни за что!..

Капризный богач, он вымещает свою обиду на бедном Федьке и уходит в лавку.

Его встречают радостными возгласами, он всем здесь нужен — и приказчикам и покупателям.

— Абрам, — зовет его бородатый Афоня из Краснояровки, — скажи твоему мальцу, чтоб сбавил… Где ты его, окаянного, взял?

«Окаянный малец» — старший приказчик Курис, лет тридцати двух, с розовыми щеками и двумя тысячами рублей в банке, — делает виноватое лицо и притворно оправдывается. Уховский выслушивает стороны и после тяжкого раздумья машет рукой:

— Сбавь ему копейку, бог с ним…

Курис пытается возражать:

— Помилуйте… Себе дороже стоит…

Хозяин снова переживает минуты тяжких сомнений и решительно приказывает:

— Режь, не твое дело!

Тщательно разыгранная сцена повторяется в другом конце лавки. Наметанный глаз Аврума заметил уже ненадежность этого участка и спешит туда.

— Пойду к Андрею Ильичу, — говорит староста Калиновки, богатый Кренделев. — Он по-божески продает, своя душа, христианская…

Не впервые уже слышит Уховский имя Андрея Ильича. Этот ловкач подбирается к калиновским мужикам. В лавке у него круглый день кипит самовар, покупателей встречает его богомольная старуха. Где уговоры не помогают, чай с вареньем приходит на помощь. Старосту упускать нельзя, за ним другие потянутся… Уховский набрасывается на приказчика, запросившего высокую цену, грозит его выгнать, извиняется пред старостой и собственноручно отмеряет ему товар.

— Уступи, Абрам, — просит молодая крестьянка в алой кичке.

Родители ее всегда покупали у Аврума и завещали ей верить ему одному.

В ход идет другая тактика:

— Уступи ей, Мунька, копейку.

Он упрашивает приказчика, точно один Муня вправе это сделать.

— Уступи, видишь — свой человек…

Она запомнит эту милость, другим расскажет…

Уховский ходит по лавке, жмет руку одним, улыбается другим, награждает и милует, уступает и примиряет. Приказчики суетятся и примиряют, надрываются, кричат. Один Шимшон стоит без дела. К нему подходят покупатели, просят показать «нанбук» или «мильтон», недолго задерживаются и уходят. Он не уговаривает их, не упрашивает, взор его рассеянно скользит по сторонам, глаза кого-то выискивают… Вот показался мужик в лакированных сапогах, в пиджаке синего добротного сукна и широких, навыпуск шароварах. Движения его степенны, голова запрокинута — манеры богатого хозяина. Шимшон сразу узнает покупателя-богатея, для которого сотня-другая — не деньги. Этот не потребует себе аршина миткаля, не станет из-за гривенника торговаться, отберет ворох товара, отложит штуку сукна и, не спрашивая цены, прикажет завернуть… Хозяин подойдет к прилавку, улыбнется и подумает: «Вот тебе и Шимшон… Ай да молодец…»

— Покажите им заграничные образцы, — многозначительно скажет Уховский, — не жалейте… Выкладывайте все, что у нас есть лучшее. Дайте им «лурики», «шматыс» и берите «а мэках»…

Это значит: давать лежалый товар, брак, тряпье и брать по самой высокой цене.

Важный покупатель подходит к Уховскому, шепчется с ним и направляется к прилавку. Шимшон отмахивается от назойливой старушки и останавливает дорогого гостя:

— Что вам угодно, почтенный? Прикажете серо-немецкого сукна, демикотона, репса, чертовой кожи, бостон, Манчестер, лион, бязь, беж, нансук?..

Он всего берет понемногу, не торгуется, только улыбается. Редкий покупатель! Золотой человек!

Лицо Шимшона пылает восторгом, каждое движение взывает к Авруму, молит оглянуться: «Смотрите, я творю чудеса, мой покупатель зачарован… Я наделяю его лежалым товаром, старьем и гнилью и беру втридорога…»

Неблагодарные! Никто не взглянет в его сторону! Хозяин обходит его, как слепой. Превосходно! Не хотите видеть — услышите, весь базар услышит Шимшона. Голос его взвивается ракетой, кулаки стучат по прилавку, он неистовствует:

— Обратите внимание на этот ситец, мир такого не видал и не увидит, фабрикант умер и секрет свой в могилу унес… Взгляните на цвет, на краску, пощупайте мягкость, попробуйте

крепость — из него на каторге рубахи шьют…

Покупатель удивлен внезапной переменой, он вовсе не сомневался в качестве ситца, к чему эти уговоры?

Никто и ничто не удержит теперь Шимшона. Его должны услышать и оценить…

— Перероите наш магазин сверху донизу, обыщите кладовые и чердак — ничего подобного не найдете… Не сравнивайте этот ситец с другим, не оскорбляйте память покойного фабриканта… У него было шесть медалей за прочность, красоту, изящество, веру, надежду и любовь…

Наконец-то Курис поднял голову, смотрит и недоумевает… Что, дорогой ростовщик, кредитор Уховского, вкусно? Сумейте вы так убедить покупателя!

— Обратите внимание, почтенный, — я плюю на ситец… Плюю еще и еще раз… Не верите мне — плюньте сами… Беру край свежей белоснежной ткани и растираю плевок… Никакого обмана, я тру изо всех сил, пощупайте мой лоб, он мокрый от пота… Смотрите, убеждайтесь, ситец не линяет…

Шимшон не щадит себя, он прыгает с полки на полку, раскидывает изящно сложенные ситцы, набрасывает на стол кусок за куском, он весь мир сегодня разрушит, но покажет себя во всем блеске…

Сукальский, этот ничтожный человек, искоса поглядывает сюда, лицо его искривлено насмешкой, губы ехидно вздрагивают. Учитесь, несчастный калека, вам не под силу продать аршин полотна, покупательница ваша уходит… Старайтесь не старайтесь — больше пятнадцати рублей в месяц вы не будете получать…

— Я обрезаю казовый конец сукна и предлагаю вам надорвать его… Надорвете — плачу тысячу рублей неустойки… Чемпион мира Богуславский и непобедимая Черная Маска три дня над этим потели, бились, страдали и отказались…

И Гилель туда же!.. Этот геморроидальный приказчик с тридцатирублевым окладом тоже пялит глаза. Они перемигиваются, пожимают плечами… Завидно? Покупка уже составляет двадцать пять рублей, дайте дух перевести, до сотни добьем… Шимшон умеет узнавать покупателя, не ошибется, не беспокойтесь…

— За такой товар не деньгами, а слезами платить надо… Покойный фабрикант Николай Николаевич Коншин написал в своем завещании: «Хороните меня со всеми медалями, саван сшейте из миткаля моего производства, пусть убеждаются в прочности наших товаров…»

Приказчики шепчутся с хозяином, они указывают на

Шимшона… Наконец-то его заметили… Говорите, что хотите, — такого чудесного покупателя он не уступит никому…

— Рекомендую вам полотно Саввы Морозова с красным ярлыком. Пусть я провалюсь на этом самом месте, пусть я обеднею, как муха на палочке, если вы в другой раз не придете просить его… Берите целую штуку! Потом пожелаете — поздно будет…

Уховский уже здесь, не стерпело хозяйское сердце. Сплетникам не повезло… Он приветливо улыбается покупателю, поощрительно кивает головой и по-еврейски шепчет Шимшону:

— Закрой свой рот, осел, не бросайся товаром… Мужик берет в кредит… Отговаривай его покупать, скажи — на днях будут лучшие образцы, материал первого сорта…

День отшумел многоголосыми выкриками, ржаньем коней, громом подвод по булыжной мостовой.

Уховский запер кассу и вышел на крыльцо продолжать разговор с Федькой. В лавке громоздились разбросанные куски материи. Густо пахло по́том. Приказчики торопливо восстанавливали порядок: Курис складывал сукно, Сукальский — ситец, Гилель — платки, а Мунька — шелка.

За дверью, на улице, слышалась оживленная речь.

— Как тебе не стыдно, — мягко упрекал Аврум Федьку, — пора остепениться… Жениться пора, хозяином стать, семьей обзавестись…

Послушай Федька своего благодетеля, упреки Аврума примерно были бы такими:

— Что ты, дуралей, наделал? Чем ты семью кормить будешь? К чему тебе, дураку, жена?..

Шимшон забыл о своей неудаче. Он складывает розовые и алые куски кретона, бережно разглаживает каждый сгиб и морщинку. Рука его скользит вверх и вниз по полкам, придвигая и отодвигая цветные стопки материи. Он прицеливается, отходит и возвращается, любуется строгой линией сложенного кретона и, поглядывая на соседние полки, думает, что лучше его не сделает никто.

Хозяин прикидывается равнодушным, словно не замечает его искусства. Приказчики снисходительно усмехаются и отделываются шуткой.

— Шимшон добивается медали, — говорит Курис, осторожно смахивая ворсинку с пиджака. — Придется ему дать…

Этот изящно одетый жених с нежно-розовыми щечками любит исподтишка укусить.

— Подумаешь, медаль, — зубоскалит Сукальский, — ему памятник подай на базарной площади…

Шимшону нет дела до этой болтовни, он выравнивает полки кретона, мельком поглядывая через открытую дверь на улицу. Как знать, увидит кто-нибудь прекрасно сложенные полки кретона, залюбуется и спросит:

«Скажите, господин Уховский, какой приказчик так блестяще сложил ваш кретон?..»

Разговор с Федькой обрывается на самом важном месте, как раз когда рука Аврума ушла в карман за гривенником. На базаре появляется инженер городской управы Ефим Исакович Гер в сопровождении человека с кокардой на фуражке. За ним толпой следуют ремесленники, торговцы и нищие. Они шумно спорят, встревоженные и гневные. Иося, потный, в развевающемся лапсердаке, больше всех суетится, таинственно шепчется то с тем, то с другим и решительно жестикулирует. Козачинский часто перебивает его и отмахивается от старика. Торговки баранками и засахаренными орехами неистово стонут и заламывают руки. Жестяник Мотель растерянно теребит свою рыжую бороденку и громко икает.

Инженер берет об руку своего спутника и чертит рукой в воздухе план:

— Кузню придется отодвинуть в сторону или перенести на другое место…. Цирюльню и лотки сломать — они мешают движению… Взгляните на чертеж: шесть лавок мы переделаем, десяток уберем — и проходы станут вдвое шире…

У инженера привычка все время улыбаться. Скажет слово и улыбнется, точно обрадуется самому себе…

— Ефим Исакович, — прорывается вдруг Иося, — что вы здесь затеваете?

Приплюснутый нос его оживает, ноздри вздрагивают, и алые жилки ярко выступают на них.

Инженер улыбается как ни в чем не бывало.

— Нравится вам это, реб Мотель? — высоким, девичьим голосом поет Ривка. — Он тычет пальцем в мою лавку…

Она поднимает юбку, засовывает руку в привешенный карман и принимается грызть семечки.

Уховский встает и протягивает инженеру руку:

— Здравствуйте, Ефим Исакович! Что вы тут замышляете?

Странный человек этот Мотель-жестяник, всюду и везде он вмешивается.

— Разве вы сами не видите? Ефим Исакович собирается нас задушить…

Задушить? Инженер смеется и укоризненно качает головой.

Аврум тоже усмехается и повторяет вопрос:

— Что вы скажете хорошего, м-сье Гер?

Кажется, сейчас он потрет руки и прикажет:

«Покажите им заграничные образцы, не жалейте… Выкладывайте все, что у нас есть лучшего. Дайте им «лурики», «шматыс» и берите «а мэках»…»

— Что я замышляю? — непрестанно улыбается инженер. — Поздравьте меня с успехом: решено перестроить толкучку… Три года ничего нельзя было добиться: у одного гласного здесь брат торгует, у другого — участок в аренде… И наконец со мной согласились…

Шимшон бросает восторженный взгляд на сложенный кретон и выходит за дверь.

Торговцы, ремесленники и нищие тесно окружили инженера, наперебой кричат и ссорятся. У Ефима Исаковича большие, широко открытые глаза, точно его однажды удивили на всю жизнь. Теперь изумленный взгляд его застыл и глаза неподвижны.

— Подождите, не сразу, говорите по одному… Что я вам делаю плохого?.. Толкучка — источник наших бедствий. Тысячи крыс отсюда разносят всякую заразу… Пока мы с этой грязью не покончим, город не станет на ноги.

За каждым словом — улыбка и любезное кивание головою. «Не будем спорить», — говорит улыбка; «Обещайте», — дополняет кивок.

Он замечает вдруг Шимшона, пристально смотрит на него и кивает головою. Шимшон отвечает ему смущенной улыбкой. Они старые знакомые, давние друзья. Было время, когда Ефим Исакович был «русским» учителем в хедере Каца, обучал детей чтению и письму, счету и географии, играл с ними на переменах в жмурки, вперегонки и в загадки. Ученики смеялись над странностями учителя, шумели на его уроках и жестоко с ним обходились. Как и теперь, он улыбался и смотрел на мир удивленными глазами. Дети со временем полюбили его, и больше всех Шимшон. Он был для них старшим товарищем и судьею. Над студентом в городе смеялись, Кац терпел его из жалости: «Человек вот-вот в инженеры выйдет, уволишь его — с голоду помрет…»

Однажды разыгрался скандал.

Янкель Шполянский — староста главной синагоги, крупный оптовик и благодетель города — явился в хедер к сыну и увидел там нечто поразившее его. Посреди двора с завязанными глазами стоял Ефим Исакович, ученики дергали его за рубашку, строили ему рожи и ловко увиливали из-под его рук.

Шполянский взял сына за руку и, не показываясь Кацу, увел мальчика домой. Сторону богача приняли все родители, и Ефима

Исаковича убрали. Нищий, без средств, он уехал из города и через два года вернулся инженером…

Шум на толкучке не утихает, ремесленники и торговцы вопят.

— Где вы слыхали, — решительно отодвигая Козачинского, спрашивает Иося, — чтоб толкучка не была тесной и грязной? Что это, танцкласс? Толкучки всего мира одинаковы! Крысы? Кому они мешают?

— Мешают, реб Иося, верьте честному слову… Вы будете потом благодарить меня.

— Мы сейчас поблагодарим вас, — выражает готовность Мотель-жестяник, — только не трогайте нас…

Ефим Исакович не согласен, нет, нет, на это он не пойдет…

Они ему надоели, человек с кокардой ждет — пора приняться за дело.

— Толкучку надо перестроить, — вдруг вскрикивает Мунька, — для общей пользы!

Ему никто не отвечает. Один Ефим Исакович усмехается. Трудно сказать, что рассмешило его…

Человек с кокардой вертит ручку рулетки, и стальная полоса выползает наружу. Шимшону кажется, что это лезвие огромной бритвы. Она сбреет сейчас ряды лавок и лотков, образует на глазах присутствующих широкие проходы и новую улицу. Исчезнет черная дыра, заваленная железом до самого прилавка, за которым старуха Ривка прячет вишневку и сладкий пряник… Снесет, как ветром, цирюльню Иоси с набором банок, щипцов для дерганья зубов и плавающих в чашке пиявок… Миллионы крыс ринутся в город…

— Что вы молчите, евреи? — вдруг вскрикивает Иося, ударяя себя в грудь. — У вас отбирают толкучку, вашу родину, обетованную землю… Молите его, падайте перед ним на колени, плачьте, чтоб вас не губили!..

Мунька носится взад и вперед, от одного к другому, что-то нашептывает, кого-то уговаривает… Он не склоняется больше, как подрубленное дерево, не ковыряет пальцем в носу. Возбужденный, он напоминает неспокойного Нухима.

— Молчите! — упрашивает он торговку баранками и конфетчика. — Довольно вам в грязи жить! Ефим Исакович добивается вашей пользы. Снесут ваши лотки в одном месте — поставят в другом…

Толпа расступается и пропускает старика в черном люстриновом сюртуке, с толстой палкой в руке. Он хмурит густо заросшие брови и гладит седеющую бороду.

— Вам придется, молодой человек, уступить… Не дело губить евреев…

Он говорит строго, как взыскательный судья. Все утихают, слышно только, как громко икает Мотель-жестяник. Глаза толпы с упреком обращены к инженеру.

— Это недоразумение, ребе, — дергая пуговицы на своей тужурке и смущенно улыбаясь, говорит инженер. — Толкучка станет благоустроенной, местом, приятным для труда и торговли. Мы не разрушаем, а улучшаем ее…

Взгляд его обращен к Шимшону, точно он спрашивает: «Не так ли, мой друг?»

— Никто не просит вас об этом, — одолев икоту, выкрикивает Мотель-жестяник, — оставьте нас в покое…

Уховский заметил суетливость Муньки. Виданное ли дело, чтоб мальчишка вмешивался в дела взрослых?

— Чего тебе надо? Убирайся за прилавок!

— Подождите, я попрощаюсь с дядей, — спокойно врет Муня и мгновенно исчезает в толпе.

Он протискивается к Козачинскому, торговцу хламом, и пробирается уже к Иосе, но в этот момент рука Уховского крепко хватает его за плечо и толкает в лавку.

— Сукин сын, агитатор! Куда суешься? Какого черта ты его защищаешь? Кто он тебе, брат, сват, этот Ефим Исакович?..

Ефима Исаковича не хотят понять. Упрямцы твердят свое, молят и плачут, грозятся и снова упрашивают:

— Знаем, как это бывает… Начинают с того, что переделывают, а кончают тем, что ломают… Как торговали отцы и деды наши, так будем торговать и мы…

В таком случае он им ни капельки не уступит, пусть жалуются на него. Пожалуйста, хоть сейчас.

Раввин опирается на толстую суковатую палку, строго оглядывает инженера и сдержанно цедит:

— Это дерзость, молодой человек, позор! Вы выступаете против целой общины… Нехорошо!..

Распаленный Иося уже тут как тут:

— Обещайте нам, Ефим Исакович, подумать… Сейчас вы взволнованы…

Инженер перестает улыбаться, щурит глаза, словно изгоняя из них удивление, и сухо спрашивает:

— Я не понимаю, ребе, зачем они вас побеспокоили?

— Когда коршун преследует птицу, — звучит строгая аллегория, — птица ищет спасения за спиной человека.

— Вы оскорбили меня, ребе, я не заслужил этого…

Толкучка бурлит. Ефим Исакович, возмущенный, дергает пуговицы своей тужурки. Раввин сжимает палку, торгаши, ремесленники и нищие беснуются, угрожают анафемой

новоявленному врагу.

Сто лет толкучка не ремонтировалась, сто лет понадобилось, чтоб народился изменник, предатель братьев во Израиле… Жестокое судилище окружает инженера. Он бледнеет, пугается, вот-вот он отречется от своих слов, признает незыблемость мира, разумность всего сущего, неизменность вещей…

Многоустая толпа умолкает, все взоры устремляются на высокую, толстую женщину с крепким, мясистым подбородком и париком, целомудренно скрывающим остатки ее собственных волос. Она бесцеремонно расталкивает евреев и с видом хозяина толкучки подступает к инженеру:

— В чем дело, молодой человек?

Голос у нее грудной, звучный, движения рук угрожающие, тяжелые.

— Что здесь творится, га?

Решительный взгляд в сторону толпы и еще один шаг к инженеру.

— Что вы молчите? Языки проглотили?

— Он хочет сломать толкучку, — почтительно шепчет ей Иося, и голос его мягко стелется, никнет. — Она мешает ему…

— На вас, Зельда, вся наша надежда. Нас хотят зарезать…

Она не слушает больше окружающих, выпрямляется и оглядывает инженера с головы до ног.

— А ты что скажешь?

Зельда замечает его улыбку, глаза с застывшим в них изумлением и пренебрежительно кривится:

— Откроешь ты, наконец, свой рот?

— Чего вы от меня хотите?

— Она хочет того же самого, что и мы, — отвечает ему торговка баранками.

Зельда поднимает свою тяжелую руку и опускает ее, как шлагбаум.

— Молчите, евреи, я сама поговорю с ним!

Ефим Исакович делает движение, чтоб уйти, но она заступает ему дорогу.

— Оставьте меня в покое, — просит он ее, глазами призывая на помощь человека с кокардой. — С какой стати вы так разговариваете со мной?

«Будьте свидетелем, Шимшон, — жалуется его взор, — надо мной свершается несправедливость…»

Зельда смеется дробным смехом, точно обдает его градом щебня.

— Молокосос! — гремит ее грудной голос, и руки высоко взлетают. — Сопляк! На, выкуси!

Она тычет ему под нос кукиш, и он, беспомощный, отшатывается. Он делает шаг по направлению к Шимшону и пожимает плечами, словно хочет сказать: «Объясните вы им, Шимшон, поддержите меня».

Шимшон срывается с места, расталкивает толпу и пробирается к инженеру. Пусть эта женщина только посмеет… Он не даст ей издеваться над ним…

— Остановите ее! Остановите! — кричит Шимшон, но голос его тонет в шуме.

Зельда даже не смотрит в его сторону.

— Как я смею! С какой стати! — передразнивает она инженера. — Эти евреи принадлежат мне с потрохами! Кто из них не должен Зельде денег?.. Грабить бедняков и ломать их добро не дам, руки у тебя отсохнут… Марш, евреи, по местам! Не бывать этому, не допущу!..

Она заносит свою тяжелую руку, и они шарахаются, точно над ними занесли топор.

Уховский сидит у своей лавки, играет цепочкой часов и подмигивает Федьке. Волнение евреев его не трогает: каменную лавку никто ломать не будет… Когда беспомощный взгляд инженера устремляется на него, он кисленько улыбается, делает сочувственный жест. И жест и улыбку он отпускает в кредит: кто знает, как пойдут еще дела Ефима Исаковича?

Зельда направляется в лавку Аврума, и за ней следует длинный хвост торгашей, ремесленников и нищих. Гостеприимный хозяин спешит подать ей и раввину стулья, остальные размещаются на прилавке, а кто победнее — у дверей.

Совещание начинается.

— Все мы братья, — говорит раввин, не выпуская из рук суковатой палки, — дети одного отца. Нас постигло тяжкое испытание, решайте, как быть…

Зельда-процентщица кивает головой, она уступает свое право говорить другому.

Уховский молчит. К нему пришли посидеть, потолковать — милости просим, его дело сторона. Ни с соседями, ни с Ефимом Исаковичем ему ссориться незачем… Он сел около дверей, чтоб в нужный момент выскользнуть. Зачем ему все слышать, мало ли что там скажут… Только врагов наживешь…

— Говорят, оппозиция среди гласных велика, — несмело замечает кто-то, — можно обжаловать…

Все ждут мнения Зельды. Глаза скашиваются в ее сторону, но она молчит.

— Я предлагаю объявить пост и молиться, — мямлит раввин, точно молчание процентщицы сковывает его язык. — У нас

достаточно средств защищаться. Можно женить сироту, объявить траур…

— С нашим богом связываться — длинная история, — уверенно говорит Иося. — Пока вы с ним будете торговаться, Ефим Исакович сломает все лавки… У господа достаточно дел помимо толкучки. Надо всучить городскому голове взятку! Что вы думаете, Зельда?

Она поднимает свою тяжелую руку и улыбается:

— Вы правы, реб Иосл, золотой ключ отпирает любую дверь…

В толпе появляется Дувид и пальцем манит сына. Шимшон испуганно озирается, с отчаяньем смотрит на отца и несмело подходит. У него много оснований не желать этой встречи. Он согрешил сегодня перед отцом и заодно перед богом. Не первый раз уже он ранним утром раскрывает молитвенник на последней странице, развязывает священные филактерии[12] и на цыпочках уходит из дома. Мать сует ему сверток с завтраком, готовая свидетельствовать перед мужем, что Шимшон жарко молился богу. Союзница его не выдаст. Но что, если Дувид только прикинулся спящим и пришел расправиться с ним?.. Он давно уже подозревал обман и кричал в пылу раздражения:

— Сынок с мамашей спелись, покрывают друг друга, не подступись… Разбросают филактерии, смешают и спутают их, а ты, дурак, складывай… Проверь его, молился он или обманул тебя…

Как надоели Шимшону молитвы! Есть ли что-нибудь скучное этих длинных, многочасовых молитв?..

Было время, когда синагога влекла его, манила своими радостями и забавами. Все в ней было необычно, ново и торжественно. В дни праздника пурим ему покупали жестяную погремушку, и он неистово гремел ею, заглушая голос кантора, когда тот произносил имя Амана… Чудесные дела! Молитвенный дом наполнялся громом. Дома ждали его пироги с изюмом, маковники с медом, а вечером — веселье на фамильной трапезе у деда… В дни хануки, памяти обновления храма Гасмонитами, его одаряли деньгами, родственники щедро раскрывали кошельки, точно от их лепты зависело воссоздание древнего святилища… Прекрасный праздник! Не возбраняется играть в карты, в волчок, обыгрывать друг друга и обретать несметные богатства… Пасха таила память о хрупкой маце, гусином сале и сладком вине. Синагога сияла, точно вымытая, шелковый полог кивота казался куском неба, а кантор в белом кителе и атласной феске — самим Саваофом. Хор исполнял новые мелодии, койгены, перекрыв голову талесом, разноголосо пророчили и, вскинув руки,

пальцами изображали щит Давида. Было нечто непостижимое в том, что койгены — Юдель-сапожник и Янкель-нищий, соседи их по дому, — позволяли себе орать на всю синагогу… Праздник кущей проводили в шалаше из досок и камыша. Во время трапезы засияет луна, лучи ее вольются в каждую щель, и сразу поблекнут свечи на столе… В синагогальном дворе шла купля и продажа орехов, можно было вернуться домой с карманами, битком набитыми этим добром… Иом-кипур был днем неограниченной свободы. Улицы безлюдели, двор пустовал. До вечерней зари все оставались в синагоге. Ничего не стоило взобраться на крышу, осуществить все заветные мечты. Пока измученные голодом и жаждой евреи вымаливали себе хлеба и счастья, Шимшон, сытый и счастливый, носился по синагогальному двору, играл в пуговицы, прыгал на одной ноге и подслушивал разговоры взрослых… В дни праздника торы ему сооружали флаг из красной бумаги, втыкали в древко яблоко с зажженной свечой. Иллюминованные штандарты развевались над молящимися, — между знаменосцами не угасало соревнование: у кого лучшее яблоко, более длинное древко и более яркое полотнище… Затем начиналось самое веселое. В синагоге наступал беспорядок. Женщины оставляли свои места, завешенные тюлевыми занавесками, и присоединялись к мужчинам. Из кивота извлекались все свитки торы… Хор и кантор исполняли веселые мотивы. Молящиеся обходили синагогу со святыней в руках. Мелькали розовые, голубые и алые рубашки торы. Шимшон неустанно целовал их, прижимался щекой к мягкому бархату и атласу… Какое приволье! Можно переходить со скамейки на скамейку, смешаться с толпой, несущей святыню, и громко выкрикивать: «Пошли вам бог счастливый год…»

Было время, когда синагога влекла его, все в ней было необычно, ново и торжественно.

Когда исполнилось ему тринадцать лет, его поздравили с совершеннолетием, облачили в талес и обручили с торой. Его назвали женихом и навязали шестьсот тринадцать обязанностей. Он должен каждодневно трижды молиться, утром надевать на себя филактерии, строго соблюдать число витков на руке и пальцах. Его лишили погремушки в праздник пурим, перестали давать деньги в дни хануки, запретили играть в орехи, бегать по синагогальному двору, носить иллюминованный флаг и получать в канун субботы свой глоток вина.

— Ты не ребенок уже, — говорил отец, — молись… Проси за себя, за родителей, за всех евреев…

Скучные и длинные молитвы, однообразные и утомительные! Еще одно благодарение всевышнему за то, что он избрал народ

Шимшона из всех народов, избавил евреев от египетского плена, хвала творцу вселенной, зверей и насекомых и всего живущего, что он не создал Шимшона женщиной… Хвалить без устали, без передышки одними и теми же словами… Он склоняется пред величием творца, но ему не под силу сто молитв в день…

Беды обрушились на него со всех сторон. В свободные минуты его усаживали за священные книги. «Повторяй, — твердил отец. — Легче забыть, чем научиться…» Библия и молитвы, комментарии и Талмуд испортили ему жизнь.

Сегодня утром, когда он разбросал филактерии и открыл молитвенник на последней странице, ему почудилось, что отец не спит и прикидывается спящим, чтобы изобличить его… Мысль об этом все утро не давала ему покоя.

Шимшон испытующе смотрит на своего судью, опасливо оглядывается и тихо шепчет:

— Что такое? Я тебе нужен?..

Дувид склоняет голову набок и весело подмигивает сыну. Руки его уходят в карманы и, стиснутые, надолго остаются там.

Шимшон, счастливый, смеется и делает то же самое — стискивает руки в карманах.

— Я несу маме ее золотые часики, — шепчет отец, задыхаясь от восторга, — представляешь себе ее радость?

Грустная история! Она запомнилась Шимшону во всех подробностях…

Лето выдалось на редкость тяжелое: ни одного заказа, ни одной починки не было у Дувида-портного. Давно уже снесли в ломбард и зимнее пальто, и черный сюртук… Пришла очередь золотых часиков — это был подарок брата, солдата Янкеля. Рухл сказала, что умрет с голоду, но не доверит эту реликвию ломбарду. Когда все источники исчерпались и последняя копейка была проедена, Дувид понес часики к матери. Ривка отказывалась от залога, гнала от себя сына, затыкала уши и тем временем прикидывала стоимость вещи. На этот раз дело обошлось без свидетелей, старуха сунула ему десять рублей и спрятала часики за пазухой. С тех пор не проходило праздника без слез в доме Дувида-портного. Подвенечное атласное платье неизменно напоминало об утраченной драгоценности.

Жадная старуха! Он пришел к ней сегодня за рублем. Нищий сын молил и плакал, клялся, настаивал и проклинал свою бедность… «Деньги даром не даются, — повторяла она знакомую ему премудрость, — их надо заработать. Прибери мне лавку, сложи как следует железо…»

— Я нашел их в ступе под прилавком, — шепчет сияющий Дувид, — она прикрыла часики краденым свинцом…

Толкучка все еще шумит, тревожные, испуганные люди ругаются, шепчутся и исподтишка плачут. Шимшон слышит их возбужденные речи. Но он спокоен и холоден. Какое ему дело до них? Их мелкие и ничтожные заботы, надежды и опасения просто смешны. Темные люди! Как жалок их кругозор, как убоги их интересы и желания!.. Что они видели и знают? Представляют ли они себе величие дворянского клуба, удобства театрального партера и сказочность сада «Альгамбры»?.. Скрюченные, согбенные в три погибели, грязные, в засаленных и заплатанных лохмотьях, — кто из них побывал на бал-маскараде, среди неземных существ в причудливых нарядах, на благотворительном вечере, когда руку жены полицмейстера исцеловали, как тору, — но двадцать пять рублей за поцелуй в кисть, пятьдесят — в локоть и сто рублей — в плечо? Может ли быть сравнение между дамами-патронессами и этими несчастными торговками? Между их мужьями, жалкими торгашами, и блистательными особами в цилиндрах и фраках? Серые людишки! Мечты их не идут дальше заботы о сегодняшнем дне!..

Он презирает их, потому что сам уже не принадлежит к ним. Он с теми, чья жизнь — непрерывное празднество, хотя проникать в их среду ему нелегко. Вчера он провел под диваном полтора часа: забрался туда засветло и вылез в начале концерта… Мучительно было выбираться из-под ног публики, под насмешки и угрозы позвать контролера… Ничуть не легче простаивать часами в уголке, прикрытом настежь распахнутой дверью. Ноги затекают и долго потом болят… В компании задача облегчается: один отвлекает контролера разговором, другие тем временем отодвигают барьер и протискиваются внутрь. Бывает, что за это сбрасывают с лестницы.

В жизни ничто легко не дается. Но ведь он еще мальчик, никто его в этом возрасте не осудит… «Мальчик, — говорит Уховский, — еще не человек. Самолюбие — дело взрослого». Настанет день, он выбьется в люди, и все пойдет по-другому… Он придет в театр, пренебрежительно ткнет контролеру билет и гордо пройдет на первые места.

Мысль об этом воодушевляет Шимшона, он смахивает пылинку с заплатанного рукава тужурки и с независимым видом ковыряет зубочисткой в зубах.

Блестящее будущее и цирюльня Иоси — какое несоответствие! Ни один брадобрей еще не был принят в высшем обществе. Великое призвание требовало жертв, и Шимшон решился: он променял ножницы на прилавок, выслушав анафему и приняв мученический венец от сурового отца.

Перемену в его жизни должна была заметить Роза. При встрече с ней он тревожно выжидал, когда она спросит: «Чем вы занимаетесь?» Теперь он ей с гордостью ответит: «Я — приказчик!» Она поймет, что приказчик — не цирюльник, это будущий коммивояжер, почтенная фигура, доверенное лицо и, наконец, собственник фирмы… Все коммерсанты были раньше приказчиками. Они скромно жили, копили гроши и богатели… Роза улыбнется и скажет: «Очень приятно». Затем он удивит ее другой новостью: «Я посещаю вечернюю школу. Через два года я буду знать столько же, сколько и вы». К чему ей рассказывать, как трудно ему дается это ученье… Что ни день — волнения, страхи, стыд… Мучительный стыд… На прошлой неделе он долгий час провел под дождем. В классах было светло и уютно, все сидели на своих местах, а он ожидал под окном, когда уйдет казначей…

Восемнадцать рублей в год — небольшие деньги, но где их взять мальчику с месячным окладом в четыре рубля?..

Шимшон смотрит на торговцев, ремесленников и нищих, равнодушно слушает их взволнованные речи… Приказчик — будущий коммивояжер, почтенная фигура и, наконец…

— Шимшон! — окликает его хозяин. — Снеси домой эту корзинку помидоров. По дороге захватишь фунтов десять керосина…

Снести помидоры? Не беда, он помечтает в другой раз.

Уховский отсчитывает деньги на керосин, и Шимшон чувствует прикосновение мягкой, отполированной руки. Такой гладкой она могла стать только оттого, что руки покупателей много лет шлифуют ее…

— В этом доме, господин Эдисон, я родился. Улица грязная, пыльная, не различишь тротуара от мостовой. Домики все одинаковые, крошечные… Большой дом среди карликов — то же самое, что крупный нос на маленьком лице… На стене этого дома когда-нибудь прибьют доску с надписью: «Здесь родился знаменитый Шимшон».

Знаменитый Эдисон с любопытством оглядывает маленькую, покривившуюся хатенку и сочувственно сжимает локоть Шимшона.

— Под лестницей жили старик со старухой. От мрачной квартиры, не освещаемой солнцем, веяло холодом и жутью, и я мысленно населял ее то бесами, то душами грешников. Стариков я подозревал в связи с нечистым…

Прославленный изобретатель снисходительно кивает головой.

— С тех пор мне противны лачуги… Кажется, вот-вот

откроется окно и выглянет из него лукавая морда дьявола… Я люблю башни и завидую им — они отовсюду видны… Этот каменный дом, похожий на замок, принадлежит еврею-выкресту, присяжному поверенному Поляновскому. Я люблю останавливаться у ограды и заглядывать сквозь решетку во двор… За деревьями, в гуще цветов и зелени, мелькают милые лица девушек. Они вышивают, читают книжки, играют, всегда чинно, благородно, как в театре. Я мечтаю быть слугой здесь, исполнять их капризы и любоваться ими… Когда я думаю о рае, он мне кажется похожим на дом присяжного поверенного Поляновского… Еще я люблю этот дом потому, что он напоминает мне дом Калмана Немировского, а одна из девушек — его дочь Розу… Такая же стройная, со спокойными, как заводь, глазами и с большим розовым бантом в волосах… Свернем отсюда в переулок, мне стыдно показываться на людях с корзи…

Он чуть не сказал: «с корзиной помидоров». До чего болтливый человек может договориться!.. Никакой корзины у него нет, — он прогуливается по улице с великим изобретателем. Правую руку больно стискивает ему его друг, и она немного болит…

— В переулке, господин Эдисон, спокойней и тише, меньше зевак и знакомых… Роза — глубоко несчастная девушка, она дочь скупца и живодера Калмана, с тяжелой лапой и трефным языком. Я однажды сказал ей:

«Я знаю вашего отца…»

Я не хотел ее обидеть, это сказано было без задних мыслей. Она смутилась, точно ее уличили в чем-то дурном, и тихо проговорила:

«Его многие знают…»

Спокойные, как заводь, глаза затуманились, в них отразилась туча.

«Мальчикам достается от него, они плачут кровавыми слезами…»

«С мальчиками одно несчастье, — вздохнула Роза, — лентяи и воры, ни одного порядочного…»

Она умоляюще взглянула на меня, и я понял, что ей тяжело говорить об отце… В другой раз я сказал ей:

«Мальчиков не следует бить. Хороший хозяин себе этого не позволит…»

Роза грустно усмехнулась и махнула рукой:

«Папа говорит, что бедняки привыкли к палке. Они ее не чувствуют…»

Подумайте, господин Эдисон, какая милая и какая несчастная

душа! У нее синие туфельки на высоких каблуках, и кажется, что она не касается ими земли… Она и руками машет, как крыльями… Платье ее пахнет цветами, словно в кармане у нее тысячи бумажек из-под мыла… Мы встретили с ней однажды бедного мальчика. Он тащил на плечах мешок арбузов. Ему было тяжело, и глаза его налились кровью. Она презрительно оглядела его и сказала:

«Дети бедняков скверно пахнут, я не люблю их…»

Я с гордостью подумал, что не похож на этих несчастных, и согласился с ней:

«В них мало благородства, в этом вся беда…»

До чего рука онемела, Шимшон не чувствует ее… Эдисон стискивает ее клещами… Не поставить ли, в самом деле, корзину и перевести дух?! Нет, нет! Еще один вопрос — и можно будет переменить руку.

— Вы, господин Эдисон, такой же сын бедняка, как и я. Так же горячо тянулись к богатству и славе… Откройте мне секрет вашего успеха… Научите!

ШИМШОН В ПОИСКАХ СВОЕГО СЧАСТЬЯ

Улицы отступают, и надвигается широкое поле, отцветшее, по-осеннему грустное, но все еще зеленое и теплое. Далеко позади остался вокзал с плачущей Рухл, давно заглохли ее стоны и мольбы, а Шимшон все еще видит ее перед собою. Она вытирает слезы и молит: «Избегай скверных товарищей, Одесса — город с дурной славой, не прельщайся чужим счастьем, твое — в тысячу раз лучше…» Да, у Шимшона свое счастье, он едет за ним и не вернется без него…

За степью встает мохнатый лес. Частые столбы с густой сетью проводов тянутся вдоль опушки. Надвигаются крошечные селения с шапками церковных куполов, голые деревушки, серые и тихие, как погосты.

Дувид не провожал сына. Он пожелал ему всяческих бед и отрекся от него, как от выкреста. Дувид не простил сыну перемены профессии. «Бросить золотое дело, — жаловался он друзьям, — променять чистую и аккуратную цирюльню на лавку?» Довольно! Между ними нет больше общего! Он свой долг выполнил: обучил сына, наставил на путь и указал ему, где его счастье. Пусть живет, как хочет…

И Шимшон жил, как хотел: окончил курсы и в счастливый день оставил толкучку. Его посадили в тесную и душную комнатушку, раньше служившую передней, обложили старыми, затхлыми книгами о родившихся и умерших по уезду и дали составлять алфавит. Казенный раввин Песис, седой старик с бледными трясущимися руками, всегда в длинном шлафроке, обращался к нему на «вы», никогда не бранил и жалованье платил серебряными рублями. Шимшон сидел в клетушке, густо наполнял алфавитную книгу ошибками и безудержно мечтал. Стены раздвигались шире и шире, вырастало очертание большого магазина, — и он, главный бухгалтер, сидит за зеркальной дверью. Хозяин доверяет ему огромные суммы, советуется с ним обо всем и, наконец, делает его своим компаньоном…

Розе Шимшон говорит: «Я — конторщик», — щурит глаза и наслаждается ее смущением… Друзьям снисходительно повторяет: «Не всем же быть бухгалтерами и конторщиками. Надо кому-нибудь быть и приказчиком… Хороший приказчик стоит десяти плохих бухгалтеров…»

Песис не знал имени своего помощника и, видимо, не добивался этого. Речь свою он обычно начинал легким кашлем и сопением, достаточным, чтоб привлечь внимание Шимшона. Однажды, когда из соседней комнаты послышались условные

сигналы, переписчик явился к раввину. Тот застегнул верхнюю пуговицу шлафрока и сказал:

— Я просмотрел вчера алфавит… Придется все переписать. Переписчик из вас не вышел… Получайте ваши два рубля сорок копеек за двенадцать дней и идите с богом…

Вихрь сметает еще одну станцию: она съеживается и темной точкой замирает на месте. Снова поля. Пламенеет одинокий подсолнечник, покачиваясь на тонком стебле, неподвижна река, затянутая ковром цветения, и ярко зеленеют топкие луга. За глубокой чашей долины подымается тонкий камыш с кивающим мохнатым кивером. Он затопил степь, окружил белые глиняные домики и заключил в ограду ручей…

Отказ Песиса нисколько не смутил Шимшона. Подпольный адвокат Вайсбейн давно уже переманивал его к себе, сулил пятнадцать рублей в месяц и легкую, приятную работу.

Шимшон сидел в уютной обстановке, переписывал купчие, закладные, метрики и духовные завещания. На маленького сутулого стряпчего, казалось, обрушились все невзгоды еврейского народа. К нему приезжали из глухих местечек, медвежьих углов, далеких уездов с самыми причудливыми делами. И на всякое несчастье у него находился доморощенный рецепт.

«Если бы я был старше на один год, а брат мой моложе на два, у меня была бы льгота по призыву… Что, Вайсбейн, смастерите?»

«Тесть мой умер, как собака, он все добро завещал сыновьям, дочери гроша не оставил… Это сумасшествие, такому завещанию верить нельзя…»

«Моего Иойлика требуют с того света… Парень двадцать лет уже в могиле, а они его тащат к призыву…»

«Мой Хаимл, оказывается, еще не родился… В книгах его нет. Без метрик он погибший человек…»

Вайсбейн выслушивал тысячи подробностей, долго и напряженно выщипывал волосок за волоском из своей бородки и соглашался. Он брался объявить Иойлика умершим, Хаимла родившимся, скупого завещателя сумасшедшим, состарить одного, омолодить другого и добиться всяческих льгот по призыву.

Красные папки «дел» росли и множились. Шимшон переписывал, копировал и мечтал.

Однажды Вайсбейн явился взволнованный и бледный. Он долго выщипывал волоски из своей бороденки и наконец сказал:

— Я должен уехать, Шимшон… Адвокаты донесли на меня. Я перебиваю им хлеб. Они все важные персоны, выкрестились,

окончили университет, а я — еврей без образовательного ценза, недоучка… Надо искать свое счастье, не может быть, чтоб у меня его не было…

Под вагоном что-то ворчит и стонет, словно синагогальный хор подпевает кантору. Паровоз надрывается, ветер разносит брызги, потные бока паровоза блестят, как у загнанного коня…

Никто не принимал Шимшона на службу. Он обошел все лавки и конторы, вежливо снимал фуражку и спрашивал: «Не нужен ли вам мальчик?» Ответ был один и тот же: «Не нужен»… Присяжный поверенный Краевский принял его в своем просторном кабинете, обставленном красным деревом, оглядел вычищенные ваксой ботинки и поношенную тужурку, подумал и спросил:

— Вы русский?

Не все ли равно? Лучше бы он предложил ему показать свой почерк. У него золотые руки, почерк единственный в своем роде…

— Еврей.

Адвокат отвернулся и сердито сказал:

— Евреев не принимаю!

Напрасно, лучшего переписчика ему не сыскать.

Так незаметно пришло убеждение, что счастье его не здесь, среди бесчувственных сердец родного города… Счастье надо искать, гоняться за ним по пятам… И Джек Лондон, и Эдисон, и Ломоносов одинаково находили свое счастье в чужих краях. Нет другого средства добиться успеха. Шимшон проверил свою наличность, убедился, что она более чем скромна, и пустился в дорогу. Его провожала мать, никого больше, — тем лучше!.. Теперь он одинок, как Робинзон, и полон решимости, как Уленшпигель… О Шимшоне еще заговорят, имя его прогремит по всему свету. Ему предстоят тысячи препятствий, мучительная, но полная героизма жизнь.

Загорелись вершины телеграфных столбов, и невидимым бременем на степь легла ночь. Она утвердилась на горизонте и заслонила мир. С темнотой пришла грусть, беспричинная тоска не то по солнцу, не то по вокзалу с плачущей от горя матерью… Луна и россыпи звезд не принесли утешения. Нарастала горечь, и сильно хотелось выплакать ее.

Не так-то легко все дается, не так легко достигается. История сохранила имена тех, кто выбился в люди, а сколько искателей счастья пало в борьбе?.. Они умирали в Калифорнии, в пампасах от рук индейцев и мормонов… И он, возможно, выбьется из сил и сгинет в безвестности. Без друзей, без родственников, на чужбине, среди незнакомых людей… Кто о нем позаботится? Кому он

нужен? Вон и Федька так бесславно кончил. Оставил свой дом, поехал учиться, бедствовал, голодал и спился… Хорошо, если встретится такой человек, как Уховский, посмеется, упрекнет и бросит гривенник, иначе — голодная смерть…

Недавно гордый собой и выпавшими на его долю испытаниями, Шимшон теперь тихо плакал. Слезы падали за окно, и ветер уносил их назад, к далекому вокзалу, к плачущей от горя матери…

В вагоне было темно и душно. На верхней полке, свесив ноги над головой Шимшона, евреи вели оживленный разговор, прерываемый вздохами и смехом. Человек с густым басом и манерой прищелкивать после каждой фразы языком ерзал на месте, ноги его ходили, как маятник, и с подошв осыпалась засохшая грязь.

Наверху задыхались от смеха. Неспокойный пассажир рассказывал:

— К меджибожскому ребе приходит простак ремесленник и плачется: «Помогите, ребе, я боюсь мобилизации, ночами не сплю». — «Бояться мобилизации, — отвечает старик, — грешно и глупо… Кто знает, состоится ли она, а если и состоится, то одно из двух: или она захватит наш район, или нет. Захватит? Кто знает, призовут ли твои годы! Призовут — так одно из двух: или тебя примут в армию, или забракуют… Забракуют? Слава богу. Примут — опять-таки одно из двух: либо зачислят в строй, либо оставят вне строя. Вне строя? Ничего слаще в мире нет. В строй? Нечего духом падать, одно из двух: либо пошлют на фронт, либо направят в тыл. Допустим худшее: назначили в бой, — тогда снова одно из двух: либо ты уцелел, либо ранен… Ранен? Прекрасно, дай бог каждому еврею. Ранили тяжело? Опять одно из двух: либо тебя подобрали, либо оставили на поле… Подумай теперь, осел, стоит ли бояться мобилизации? Какой долгий путь и сколько счастливых возможностей…»

На верхней полке хохочут, ноги-маятники стремительно раскачиваются. Шимшону хочется сказать, что насмешкой своей они оскорбляют святого человека — меджибожского ребе, прикрикнуть на грубиянов, но мысли его отвлекает новый рассказ:

— По дороге в ставку, около Могилева, царь завернул к копыстянскому ребе. «Благослови меня, святой человек», — говорит Николай. Ребе выслушал просьбу и говорит: «Хорошо, мой сын, я благословлю тебя, но ты скажи мне раньше, как живется у тебя евреям?..» — «Неплохо, — отвечает он, — даже очень хорошо…» — «Плохо ты, царь, дела свои знаешь. Загляни в свод законов, — сколько там ограничений для нашего брата…» —

«Я буду с тобой откровенен, — признается ему Николай, — страна велика, народу много, а головка у меня крошечная, всего не охватить…»

Снова долгий смех — обидный и вызывающий. Дерзкие люди! Они оскорбляют святого человека, насмехаются над царем, правда, плохим царем, но все же помазанником божиим…

Ноги-маятники резко качнулись в сторону, и пыль запорошила глаза Шимшону. Он вскочил и ударил кулаком по столику.

— Замолчите, невежды! Пришел конец голусу, а вы шарахаетесь в сторону, как конь от кузнеца!.. Кого вы поносите? Помазанника божьего! Безбожники, вы нарушаете закон! В Пейруке[13] сказано: «Молитесь и будьте благодарны царю, не будь его милости, вы давно бы друг друга сожрали!..»

Шимшон видит перед собой несметную толпу людей. Восхищенные, они не сводят с него глаз. Он приковал их своей страстной речью…

На верхней полке голоса умолкают. Некоторое время слышен придушенный шепот, и наступает тишина.

Наконец-то он их угомонил. «Торгашам, — говорит Уховский, — незачем соваться в политику. Заработал копейку — и слава богу. Мы должны идти на войну с радостью… Умереть за того, кого бог поставил над нами, — наш долг». «Из холодного железа, — говорит жестяник Мотель, — ничего не выкуешь, надо отозваться с жаром, раз навсегда показать царю, кто мы такие…» «За богом, — говорит Иося, — молитва, за царем служба не пропадет…»

Кто-то зажег стеариновую свечу, и над людьми нависли черные тени. Старик в плисовой ермолке спустился вниз, одернул жилетку и почтительно оглядел Шимшона. Он заложил толстые пальцы под мышку, промурлыкал себе что-то под нос и прошипел, точно из пустого сифона:

— Очень хорошо, очень хорошо, молодой патриот…

Густой бас пытался было заговорить, но сверху послышались настойчивое шиканье и шепот: «Тише… Не надо…»

Другой пассажир, высокий, худой еврей, все время смачно обсасывавший свои усы, близко подсел к Шимшону и, похлопывая его по плечу, одобрительно усмехнулся:

— Вы правы, на все сто процентов правы…

Он незаметно подмигнул окружающим, сделав им знак молчать. Но густой бас не сдержался и хлынул вниз мощным потоком:

— Почему это вас так подмыло, молодой человек? Крушеваны и Пуришкевичи убивают евреев, громят их в Одессе,

Кишиневе, Бендерах и Гомеле, а вы к ним в друзья лезете… Торговый дом хотите открыть?

Сосед Шимшона еще ближе придвинулся к нему и досадливо пожал плечами.

— Напрасно вы горячитесь, Брудерзон. Молодой человек прав. На все сто процентов нрав… Погромы без бога не делаются. Резник тут ни при чем. Ему приносят курицу с билетиком и говорят: «Режь!» И хороший и плохой царь одинаково от бога…

Худой еврей благоговейно поднял глаза к потолку и с такой жадностью присосался к своим усам, точно они были медовыми.

Когда поезд подходил к Одессе, он поднес Шимшону яблоко и сказал:

— Кушайте на здоровье, я фруктовщик… Вы окажете мне большую честь, если остановитесь у меня на квартире… Во-первых, поговорим о политике… Можете не сомневаться, я на вашей стороне, у вас светлая голова… Во-вторых, вы увидите моего Ицика, настоящий вундеркинд, играет на скрипке, как Паганини. Профессор говорит, что такие дети рождаются раз в тысячу лет…

Трамвай встретил их перезвоном и стремительно покатился через площадь. Закружилась панорама города, в сверкающем потоке шума и красок взмыли этажи. Трамвай мчался, замедлял бег и туго лез в гору. За линией магазинов и кафе тянулись длинные бульвары, рестораны с заманчивыми блюдами на окнах. Снова бульвары, кафе и витрины, лавки, набитые покупателями, зеленые аллеи, столики с сидящими за ними людьми.

Вот она, родина удачи! Счастье Шимшона смотрит на него во все глаза, с каждого этажа, кричит с многоаршинных вывесок. «Милости просим!» — приветствует его Биржа с мозаичными звездами в нише парадных дверей. «Добро пожаловать!» — вторит Английский клуб, строгий особняк, хмурый и серый. Распахнуты двери «Бристоля». Отель манит его. Его здесь ждут. У всех улыбка, всюду смех и радость; люди пьяны, а улицы ничуть не трезвей…

Город отгремел, в улицы врезались проулки, дома приземлились, из ворот глянула блеклая нищета.

Где-то заиграла шарманка, пахнуло помоями.

Они поднялись на второй этаж многолюдного дома и вошли в маленькую, оклеенную газетами квартирку.

— Я привел тебе квартиранта, — вместо приветствия сказал фруктовщик жене. — Сущее благословенье божье… Познакомьтесь…

Маленькая худая женщина с зобом на тоненькой шее протянула Шимшону давно не мытую руку с длинными грязными

ногтями.

— Этот угол, — указывая на крошечный промежуток между кухонной печью и стеной, — продолжал хозяин, — в вашем распоряжении, хоть монету чеканьте здесь…

Он смеялся и с удовольствием обсасывал усы.

— Тут мы вам поставим кровать и столик. Постель закроем ширмочкой. Чаем вы обеспечены, яблочком на закуску тоже… Живите себе до пришествия Мессии…

Фруктовщик сделал жест Саваофа, поселяющего в раю молодого Адама. Жена его при этом сохраняла торжественную неподвижность, моргала глазами и вытягивала шею, отчего зоб ее напоминал застрявшее в горле яйцо.

— Хотите, сделаем вам ключ, — будете возвращаться, когда угодно и с кем угодно, хотя бы с принцессами…

Хозяйка залилась смехом, и яйцо в горле заходило взад и вперед.

Вот они, посланники счастья! Какая искренность и простота! Им ничего не жаль для ближнего…

— Мы поладим, мы, слава богу, не чужие. Все евреи — кровные братья, а я вдобавок буду вам еще отцом родным… Теперь вы должны послушать моего Ицика, увидите настоящего музыканта…

Из-за стола поднялся мальчик лет десяти. С холодной медлительностью вундеркинда он открыл футляр и вынул скрипку. Лицо его выражало равнодушие и брезгливую уверенность. Фруктовщик привстал на цыпочки, изобразил на лице восхищение и жестом призвал всех молчать. Ребенок запрокинул голову, неверной рукой провел по струнам и исполнил мелодию, отдаленно напоминающую «Чижика»…

«Ну что? — вопрошал ликующий взор отца. — Разве я не говорил вам: такие дети рождаются раз в тысячу лет!..»

Никаких сомнений: ребенок редкий, совершеннейший уникум, отец — ангел, днем с огнем такого не сыщешь… Квартира восхитительна. Эти газетные обои — гениальная выдумка… Уголок за печкой? Шимшон не променяет его и на апартаменты во дворце!

— О, вы не знаете еще Исухера Броуна! — скромно рекомендовал себя фруктовщик. — Спросите обо мне на привозе, во фруктовом пассаже… Жена моя обстирает вас, обошьет, лучше матери… Будете, одним словом, нашим ребенком…

Это уже слишком. Растроганный Шимшон смахивает слезу умиления и просит добряка замолчать:

— Что вы… Не надо!.. Я и так обойдусь… Спасибо!..

Когда скрипка была уложена в футляр и хозяин остался

наедине с квартирантом, сердечный разговор только начался.

— Расскажите теперь, молодой патриот: кто вы, чем промышляете? Что покупаете, продаете, учитесь или уже кончили?..

Он приехал искать счастья… Без денег, без имущества, с великой верой в бога и людей.

— Ха-ха-ха! — смеялся Исухер Броун. — Вы, оказывается, шутить мастер… Не испугаете!.. Без денег — так без денег! Не в этом счастье!

Напрасно он сомневается, у Шимшона действительно ни гроша. Как только ему повезет, он заплатит за все…

Фруктовщик все еще не верит. Улыбка на лице его поблекла, только морщинки около губ выражают еще сомнение.

— На «нет» и суда нет… Между своими не пропадет…

Без излишней нежности Исухер Броун выпроводил его из комнаты, хранившей фамильную реликвию — футляр со скрипкой, и указал ему на угол в кухне. Он был сердит и нисколько не скрывал этого. Кто мог думать, что человек с такой амбицией окажется нищим, без копейки денег? Говоришь с ним о комнате, о ширмах, о всякого рода удобствах, а он головой кивает, как миллионер… Не свинство ли?.. Кому он показывал Ицика? Что понимает в музыке человек без гроша за душой?.. Тьфу, как этот сопляк околдовал его!..

Шимшон сидит в своем углу и читает жирные заголовки на обоях. Он не догадывается о перемене, происшедшей с фруктовщиком, и жадно вычитывает новости с потолка и стен…

Вечереет. В соседней комнате зажигают огонь. Сквозь закрытую дверь слышно, как дружно стучат ложки и вилки и звучно сморкается маленький музыкант…

Неужели его не позовут? Он весь день ничего не ел. Крошки во рту не было… Никто его не обязан кормить, спасибо за приют и внимание… Прекрасный угол, отсюда виден весь двор… С ширмочкой это уже комната, совершенно отдельная квартира. Можно растянуться на кровати и обсуждать планы, размышлять…

Стены как будто прочные, толстые, щелей нет, а из соседней комнаты все слышно… Фруктовщик разрезает мясо, высасывает из костей мозг, и хлеб хрустит под его зубами… Еще не поздно, его могут еще позвать… Ему не много нужно: ломтик хлеба и пару картофелин… Ничего больше, ни крупинки… Мяса он не любит, пусть на здоровье сами едят…

Удивительная комната! Заголовки на обоях видны в темноте. «Капитан Дрейфус освобожден!» — сообщается над платяным шкафом. «Ложь торжествует!» — вторит косо срезанный угол «Московских ведомостей» на потолке. «Эстергази —

провокатор», — гнутой строкой запечатлено на подоконнике… Вся комната сочувствует капитану и клянет его врагов.

Мысль Шимшона переносится в Кайенну и оседает на Чертовом острове. Бедный Дрейфус, ему не повезло!.. Тысячи раз он ложился спать без ужина, никто не слышал от него ни стона, ни жалобы… Бедняга переносил испытания, как Самсон…

Будь здесь кровать, Шимшон разделся бы и лег спать. Пусть без ужина, надо привыкать к лишениям… Прекрасно бы дня два так не есть, спать, не раздеваясь, под чужим забором… О страданиях его рано или поздно узнают и скажут, как о Дрейфусе: «Вот у него надо учиться терпеть и надеяться. Никто не слышал от него ни стона, ни жалобы…» Только бы его не позвали к столу… Он откажется, поблагодарит и скажет, что сыт по горло. Его тошнит при мысли о еде…

В соседней комнате не слышно стука ножей и вилок, фруктовщик бормочет молитву, и маленький музыкант вторит ему… Теперь Шимшона уже не позовут, эти эгоисты не отличаются чрезмерным гостеприимством… Икают от пресыщения, поют, смеются и в ус себе не дуют, что рядом сидит голодный человек. Хоть бы из вежливости пригласили… Он отсчитает до ста, и если эти свиньи не перестанут икать и зевать, пусть пеняют на себя… Один… два… пять… семь… десять… двенадцать… «Вчера на углу Ришельевской и Троицкой с целью самоубийства бросился под трамвай юноша лет шестнадцати…» Пятнадцать, двадцать… тридцать… «В подворотне дома № 22 по Большой Арнаутской цианистым калием отравился неизвестный. Несчастный доставлен каретой скорой помощи в бессознательном состоянии…» Сорок… сорок пять… пятьдесят… Эти люди не знали испытаний. Кто хоть раз уснул без ужина, провел ночь на голой земле под забором, никогда этого не сделает… Пятьдесят восемь… шестьдесят. «Двойное самоубийство на почве голода…» Противный дом, глаза девать некуда. Какая глупость оклеивать стены газетами!.. «Несчастный случай с прохожим…» «Смерть от удушения…» Шестьдесят пять, шестьдесят восемь… Семьдесят три…

В дверях показывается фруктовщик. Яркая полоса света врывается вместе с ним, и Шимшону становится светло и радостно…

— Вы не легли еще? Пора… Занимайте свой угол, молодой патриот, и спите.

Дверь закрывается, и слышно, как щелкает крючок.

«Мсье Броун, Исухер Броун, — чуть не кричит ему вслед Шимшон — где ваша кровать и ширмочка?»

Он растягивается на полу, кладет под голову крошечный

сверток с багажом и думает, что испытания наступили… Луна освещает оклеенную газетами комнату. Аршинными буквами глядят на Шимшона жирные и полужирные заголовки: «Эстергази сознался в подлоге…» «Полковник Анри, автор подложных документов, покончил с собой…»

Острый запах яблок ударяет Шимшону в нос. Он глубоко вдыхает аромат и открывает глаза. Над ним висит пиджак и заплатанные штаны Броуна. Они пахнут сосновой стружкой и фруктами.

«Вставайте, молодой человек, — напоминают они ему, — пора! Собирайтесь, молодой патриот, идите искать счастья… Город большой, может быть, вам повезет…»

Шимшон протирает глаза и спросонья улыбается. Он бесшумно одевается и на цыпочках уходит.

Трудная задача искать свое счастье. Он выбрался из улиц, изрезанных переулками, и вышел к сверкающему потоку шума и красок. Волосы его были приглажены, картуз набекрень, и на щеке клеймом алел оттиск «подушки» — маленького свертка багажа.

Для начала надо осмотреть город, взглянуть на море, волнорез, на памятник Дюку… Еще рано, солнце едва коснулось земли, и улицы безобразны и серы. Порт медленно пробуждается. Трамвай суровым скрежетом будоражит его покой и мчится дальше. На рейде дремлют корабли, и пестрыми заплатами ложатся на бухту флажки и флаги…

Нужно наметить план, принять твердое решение, и счастье само полезет в руки. Сотни и тысячи людей таким образом находили его… Прежде всего выбирают направление. Это самое важное… Идти ли направо, налево или шагать, не спрашивая себя, куда?..

Солнце затопило улицы, и везде стало одинаково людно, всюду ослепительные витрины и нависающие этажи. Греческая, Дерибасовская, Екатерининская, Ришельевская, Пушкинская, Садовая, — какую из них выбрать? Или пересечь город зигзагами, пройти десятки улиц в одном направлении до городских ворот?.. А потом? Вернуться сюда, к морю?.. Нет, нет! О выборе направления не может быть и речи… Судьба сама ведет человека, ее не перехитришь… Другой вопрос — каким путем добраться до счастья. Это уж дело его. Вон Биржа, кафе Фанкони и Робина. Смахнуть с костюма пыль, зачесать пятерней волосы и поправить фуражку — дело одной минуты… В таком виде можно куда угодно войти… Что такое? Нельзя? Его выталкивают вон? Почему? Порядок?.. Что ж, порядок прежде всего…

Без плана у него ничего не выйдет… Надо собраться с

мыслями, прикинуть, где примерно может быть его счастье… Странно! Он в десятый раз повторяет «действовать», «предпринимать» — и не двигается с места… Что ему мешает подумать и пуститься в путь? Неужели голод?.. Виноваты витрины! Эти жареные гуси, телячьи котлеты и форшмаки отравляют ему существование. Можно поклясться, что стекла окон пропускают ароматы… От них кружится голова и рассеиваются мысли. Если бы он чуточку поел, самую малость, все пошло бы по-другому…

Или вот еще выход: он уйдет подальше от ресторанов… За гранью центра должны быть тихие улицы, без трамваев и многоэтажных домов, без гастрономических магазинов и кухмистерских… Вот где приволье — размышляй себе день и ночь!

Прекрасная идея! Скорей туда, к спокойному простору окраины, молчаливой тишине переулков. Немного терпения — и с трудностями будет покончено. Утихнет тошнота под ложечкой, голова прояснится, и от давящего чувства голода не останется следа…

Удивительно, как много здесь птиц… Откуда они залетают? Вот мелькнул воробей, за ним ласточка, другая. Над крышами носятся голуби… И муравьев хоть отбавляй, для этой твари везде щель найдется. Пробуравят в тротуаре дырочку и выползут. Через день наворотят бугор земли, смотришь — из трещины другие полезли…

Да, да, так оно и есть: последние дома, за ними — толкучка.

У каждого города свои странности. Толкучка здесь какая-то особенная. Люди топчутся на месте, лица грустные, голодные, глаза сверкают недобрым огнем. Никто не поет, не смеется, не видно нищих, играющих на бандуре слепцов и калек… Скорей отсюда к безмолвной шири околицы… Солнце уже высоко, ослепительная сила его стерла с земли топи, в пыльном воздухе разлит зной.

Толкучка осталась позади, улицы посерели, здания накренились, а кухмистерским и лавкам все еще нет конца… Усталость берет верх, ему необходимо присесть, хотя бы перевести дух.

Однако он забыл о самом главном, о своем счастье… Его могут окликнуть, счастье, может, идет рядом, а он уходит, глухой и слепой… Какая беспечность! Видели вы такое легкомыслие!.. Теперь ухо востро! Никто не знает, где притаилась удача, где ждет его успех… Вокруг него действительно много шуму, отовсюду слышны голоса. Девушка в короткой юбке громко ругается, лицо ее выражает злобу, кулаки крепко сжаты, зубы

стиснуты. Ей отвечает мужской голос, сиплый голос пьяницы. Из открытых ворот доносятся дикие вопли двух женщин. Они вцепились друг другу в волосы и, окровавленные, истерично воют… У каждого свои дела, свои заботы, никому нет дела до него.

Проклятый город! В каждом квартале, почти у каждого двора — столики с провизией: селедки, разрезанные на куски, арбузы и дыни ломтиками, хлеб ситный, ржаной, «докторский», на редкость пропеченный, с ярлыком на блестящей поверхности… В чанах варится кукуруза, и запах ее стоит над улицей… Все это дешево, почти даром.. За три копейки можно наесться до отвала. Насытиться на три дня… И хлеб, и селедка, и арбуз — высшего качества! Одуряющий запах орехов смешивается с ароматом жареной рыбы. На другом углу дымящиеся щи и тушеная капуста безраздельно господствуют надо всем…

Погодите! У него были деньги! Мать сунула ему на прощанье три рубля. Они должны быть где-то в кармане… Как это он мог забыть о них? Они лежали в маленьком бархатном кошельке… Видали такую память? Забыть о целом состоянии!.. Не нужно только торопиться, такую вещь, как деньги, нельзя искать с кондачка. Ощупать все уголки одежды, подкладку, рукава. Засунуть руки поглубже… Есть ради чего потрудиться…

В карманах — ничего, кроме записной книжки и носового платка.

Странно! Они потеряны… Во время сна кошелек мог выпасть из кармана и остался на полу… Исухеру Броуну повезло. Не сходить ли ему к фруктовщику, извиниться за беспокойство, поднять кошелек и уйти?.. Нет, нет, ни за что!.. Лучше потерпеть… Не может же так продолжаться вечно… Выход будет найден… Ему всего лишь нужны пока три копейки. Копейка на хлеб, копейка на селедку и копейка на ломтик арбуза…

Снова потянулись нарядные магазины, рестораны, булочные и паштетные… Неужели он обошел весь город и вернулся в центр?.. Что ж, легче переносить вид яств за стеклом, чем открытые столики с кукурузой и селедкой.

А не дать ли волю фантазии, устремиться к этой снеди за стеклами и пожирать ее глазами?.. Отец свидетельствовал как очевидец, что в одном таком случае окружающие наблюдали, как пища на блюдах заметно убывала… Голодный насыщался непостижимыми путями. Вот он погружает зубы в жирную селедку и глотает хлеб большими кусками. Там, где недавно ощущалась тошнота, ложатся пережеванные куски мяса и паштета… Он жадно ест арбуз, облизывается и глотает сладкий сок… Черные косточки падают на его тужурку, на брюки,

ботинки… Однако надо торопиться, впереди еще много дела… Противная слюна, она подступает к горлу, он задохнется, если не выплюнет ее.

Когда же этому будет конец: есть! есть! есть! — и ничего другого! Может быть, попросить? Хотя бы только хлеба? Евреи не дадут умереть своему человеку… Как вы думаете, Роза? Что же вы молчите? Осуждаете? Воображение его ослабело, оно не удерживает больше облика девушки. Лицо ее вспыхивает и гаснет, как падающая звезда…

Три копейки! Смешно подумать! Если хорошенько оглядеться, они под ногами найдутся… Пять минут, ни одной секунды больше — и у него будут эти деньги… Внимание! Один взгляд направо, другой налево… Не надо унывать, у него еще три минуты… «Три копейки сюда, три копейки сюда, три копейки скорей!..»

Какие хвастуны эти извозчики! Весь с иголочки, шляпа с пером, едет и знай покрикивает… На козлах еще туда-сюда, не разглядишь, а спустится на землю — чучело гороховое. Разговаривает басом, скупо, больше качает головой и важно поджимает губы… Крикнет кто-нибудь: «Ванько!» — и вся спесь с него слетит…

Удивительный город! Никто здесь, очевидно, не теряет денег. А может быть, прошел уже такой же неудачник и всю монету подобрал?..

Богатые дома с витринами отступили, на свет выползли лачужки, вонючие переулки и темные своды подворотен. В глубине двора по обеим сторонам помойной ямы тянулись двухэтажные коридоры со множеством дверей. Улицы, широкие, пустынные, с развороченной мостовой, упирались в море, стиснутые доком и волнорезом…

Счастье может прийти и через газету. У каждой редакции — он видел — толпятся люди. Мало ли миллионеров разыскивают своих наследников… У вывешенной газеты — толпа, всякий интересуется: не его ли ищут?.. Надо взять себе за правило просматривать газету…

Солнце перекатилось через город и снизилось в степи, на краю горизонта.

Шимшон стоит перед дверьми бильярдной с тайной надеждой найти здесь ночлег. Служитель слушает его, мягко треплет по плечу и рассказывает о своем сыне Ванюшке; руки его дрожат. Он набожно крестится, клянется, что ничем не прогневил бога, не за что его наказывать, лишать единственной радости… Они долго беседуют под треск шаров и резкие выкрики игроков.

Чувство голода исчезло, Шимшону легко и радостно. Он

сравнивает служителя с Исухером Броуном и мысленно возвышает христианина над евреем.

В бильярдной зажгли висячую лампу с абажуром, и солнечный диск упал на сукно. В углах застоялся мрак, и суровые тени заходили по стенам. Люди с длинными палками охотились за блестящими шарами, прицеливались в них, точно из ружья, и играли ими, как дети. Шары катились по зеленому полю, словно по траве, мягко ударяясь о борта, ловко вывертывались из-под ударов и тяжело падали в плетеные мешочки.

Ослепленные страстью игроки продолжают свое дело, не замечая, что по столу катятся человеческие головы. Одна из них, — крупная, с жирным лицом Уховского, — смеется, хохочет… Впереди несется другая… Мелькают длинные усы и лукавые глаза Федьки. Нищий пьяница бросает Авруму гривенники, и они бесшумно падают на сукно… Гром срывается с ясного неба, и молния зажигает лавку Ривки… Голова старухи долго катится по бильярдному столу и проваливается в лузу… Шимшон открывает глаза и видит, как разбитые шары обломками рассыпаются по зеленому полю. Тени носятся по стенам, шары двоятся, троятся, множатся. Игроки сбрасывают их на пол, они громоздятся кучами, заполняют помещение, и Шимшон уходит в них по колени, по грудь…

Тихий смех будит его. «Вставайте, — шепчет ему служитель, — ложитесь на стол. Все ушли…» Солнечный диск меркнет, ключ по ту сторону гремит, и кто-то шепчет: «Спите спокойно…» Жесткий сверток багажа кажется необычайно мягким, тело становится невесомым и плавно куда-то скользит.

Ночь унесла горечь ушедшего дня, чувство голода и тоску по счастью. Снова сияет солнце, и снова все впереди… Теперь он не будет больше толкаться по городу — из центра на окраину и обратно. Ни одного шагу лишнего, ни одной минуты зря… Первым делом — к редакции… Благоразумные люди приходят сюда чуть свет. Здесь собралась уже толпа… Все жадно читают объявления, записывают адреса и стремительно уходят… Ничего нового… «На фронте без перемен», «На Старопортофранковской трамвай сошел с рельсов», «На сцене театра Сибирякова ставят «Осенние скрипки», «Требуется мальчик в магазин на выезд…»

«Мальчик на выезд»? Что ж, неплохо, Шимшон согласен… Счастье — везде счастье: он может понравиться хозяевам, его возьмут «в дом», наделят богатством и выдадут за него дочь-красавицу со спокойными, точно заводь, глазами и голосом нежным, как у Розы.

ПОИСКИ СЧАСТЬЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В темноте сверкнул огонек, и показался сторож с фонарем в руках. Он подозрительно оглядел подводу, возницу и единственного пассажира, некоторое время помедлил и ушел. Близко лязгнули железные затворы, гулко упала массивная цепь, и тяжелые ворота раскрылись. Шимшон сбросил парусиновый балахон и прошел во двор. При слабом свете снующего фонаря он успел заметить клочок мощеной земли, стиснутый каменными строениями, такой же клочок черного неба и крепкий, высокий частокол. Воздух этой крепости был насквозь пропитан запахом кожи, дегтя и плесени.

Его провели по длинному коридору между ларями, напоминавшими гробницы, и дверьми с тяжелыми засовами и замками, как в тюрьме. Лавка с низким потолком и решетчатыми окошечками терялась в лабиринте за скобяным отделением. В этом универсальном магазине, где полки ломились от товара и кипы громоздились за прилавком, торговали всем — от носового платка до оглоблей, от золотых часов до свинцовых белил…

За конторкой сидела хозяйка в белом ситцевом платке со спущенными на грудь краями. На кончике ее толстого носа непрочно держалось пенсне, готовое при первом же движении свалиться.

— Позовите мне Залмана, — вполголоса проговорила она.

Из-за прилавка выскользнула тень и исчезла за дверью. Хозяйка, придерживая пенсне, посмотрела в книгу.

— Ты отпустил Марии Безродной товар без денег? — почти шепотом спросила она вошедшего. — На что ты надеялся?

Высокий, широкоплечий мужчина с атлетической грудью склонился над конторкой, хотел что-то ответить, но, встретив ее холодный, настойчивый взгляд, промолчал.

— В последний раз ты сегодня подходил к конторке…

Она беззвучно шевелила губами, точно щадила свой грубоватый, мужской голос.

— Послушай, мама…

Она махнула рукой, и тот замолк на полуслове. Он ушел растерянный, неверными шагами человека, у которого почва ускользает из-под ног…

Тишина обманула Шимшона, в лавке были люди. Они бесшумно ступали, переговаривались жестами и жались по углам.

— Иойхонон, — снова тихо протянула хозяйка, — иди сюда.

Молодой человек с холеными усиками и взором, не знающим дерзости, отделился от стенки. Он шел торопливо и в то же время

беззвучно, мягко подпрыгивая, как на рессорах.

— У нас кончились цветные маркизеты, о чем ты думал до сих пор?

Приказчик почтительно кашлянул в руку.

— Две кипы товара отложены у меня на складе. Фабриканты снова помирились, цены пойдут в гору. Лучше выждать…

Она испытующе взглянула на него поверх пенсне, пошевелила губами, как будто желая еще что-то добавить, но ничего не сказала.

— Я вам больше не нужен? — произнес он мелодичным голосом, полным внутреннего трепета и преданности.

Она перевернула страницу и, не поднимая глаз, спросила:

— Кто отпускал товар Безродной?

Приказчик оглянулся, потрогал свои усики и изобразил на лице смущение.

— Залман… собственноручно…

— Пекарь жалуется на тебя, ты пристаешь к его жене…

Она не сердилась, Иойхонон — славный малый, ему можно кое-что и простить.

Приказчик высоко поднял брови и широко развел руками. Уроки любительских спектаклей пошли ему на пользу.

— Помилуйте, мадам Гельфенбейн, к чему мне эта старая баба?

Перед ним была немолодая женщина, фраза могла показаться бестактной, и он поспешил оговориться:

— Иная старуха милей красавицы, но помилуйте, она безобразна…

В еврейской речи приказчика русское слово «помилуйте» было блестящим камешком, который эффектно украшал его мысль…

— Помилуйте, я многим нравлюсь, разве это моя вина?

Действительно, что поделаешь с неотразимой внешностью?..

Снова безмолвие. Люди стояли по углам — немые и неподвижные. Только часы безнаказанно нарушали молчание и ворчали, как цепной пес…

Где-то задребезжал стальной аршин и с шумом упал на землю. Хозяйка подняла голову, и лицо виновника вспыхнуло смущеньем. Какая неосмотрительность! Надо же было случиться беде!.. Он бережно положил аршин на место и слился с полумраком…

Шимшон тоскливо оглянулся и прислонился к двери. Хозяйка заметила его и отошла от конторки. Некоторое время взор ее блуждал вокруг, то останавливаясь на нем, то на пирамиде ящиков за его спиною. Затем она сняла пенсне и бесшумно

направилась к нему. Шимшон увидел, что она боком надвигается на него, и попятился.

— Как тебя зовут?

Она говорила, не раскрывая рта. Неживое лицо ее, жирное и дряблое, ничего не выражало.

— Шимшон… Меня зовут Шимшон…

— Шима, — сократила она его имя. — Будешь получать шесть рублей в месяц, жить в приказчицкой, спать на верхней койке…

Он едва улавливал ее шепот, ровный и однообразный, как дыхание.

— Ничего не красть и не шляться по поселку… Марш за прилавок…

Шимшон оказался здесь крайне нужным человеком. Назавтра рано утром, едва он переступил порог лавки, Залман отозвал его в сторону и сказал:

— Из мануфактурного отделения видна вся улица… Если заметишь девушку с длинными каштановыми косами, позовешь меня. Никому об этом не говори… Ее зовут Мария Безродная, она учительница. Моя невеста… Понимаешь?

Чего тут не понять? Ему доверяют секрет и просят быть другом. Он кивает головой и спрашивает:

— Может быть, показать ей дорогу в лавку?..

У Залмана скорбное лицо, две морщины — два рубца глубокой раны — тянутся к краям его рта. Он горько усмехается и откровенно говорит с Шимшоном как с приятелем:

— Она — русская… Мать слышать о ней не хочет… Мы встречаемся на стороне…

По ту сторону шоссе появляются две девушки. Медленно, как будто прогуливаясь, они обходят пруд, идут к лавке. Одна из них — высокая, стройная, с длинными косами каштановых волос.

— Это Мария, — упавшим голосом говорит он, — ты еще увидишь ее сегодня. Она придет посмеяться над мамой…

Едва хозяйка появляется за конторкой, девушки уже у дверей. Они разговаривают и громко смеются, не без расчета, чтобы она заметила их.

— Беги, Шимшон, — взволнованно шепчет ему Залман, — попроси ее уйти отсюда… Скажи — я на коленях молю ее…

Поздно! Хозяйка заметила учительницу и, неподвижно-каменная, смотрит на нее. В лавке все замирают, голоса спадают до шепота, и свои и посторонние следят за поединком. Старуха открывает рот, шумно вбирает воздух и бормочет:

— Где Залман?

Он является, растерянный, в лице ни кровинки, бледные уши

его просвечивают. Мать долго смотрит на сына и шепчет:

— Дорогой мой…

Уж это «дорогой мой»! У Залмана лицо перекосилось, как будто его кипятком ошпарили.

— Кто содержит Марийку, на чьи средства живет она и одевается?

Жестокая торговка вынудила Залмана собственными руками разбить свое счастье. Она грозила его выгнать, лишить наследства и добилась своего. Подкупленный инспектор уволил учительницу. Но Безродная не уехала. Девушка назло ей стала чаще появляться на улице, у лавки, подолгу останавливалась у дверей, громко разговаривала и задорно смеялась.

Старуха снова смотрит в окно, шевелит губами, и на короткое мгновение глаза их встречаются. Учительница вдруг умолкает и не смеется больше.

— Ты помогаешь ей моими деньгами… Я не верю тебе…

Залман еще больше бледнеет, падает к ногам матери, клянется и плачет. Она холодно отступает и не смотрит на него. Собственным унижением он должен поплатиться за дерзость учительницы. Пусть никто не обольщается, Сура Гельфенбейн пока еще еврейка и притом благочестивая. Мария Безродная не будет ее невесткой никогда!..

Девушка не смеется, она видит распростертого на земле Залмана и брезгливо отворачивается. Как можно уважать человека с атлетической грудью и крепкими, широкими плечами, ползающего пред старухой на коленях, готового отречься от своей любви, продать себя и других?..

На следующий день Шимшона отзывает в сторону Иойхонон. Он строг и серьезен.

— Ты видел Стешу, жену пекаря?.. У меня к ней важное дело… Покарауль у ее дверей, чтоб нам не помешали. Никого, даже самого пекаря, не пускай…

Кто подумал бы, что важность этого человека — фальшивая, одно притворство?.. Ломака! Вчера перед хозяйкой юлил и так и эдак, а перед мальчишкой гонор нагоняет…

— Долго вы с ней будете дела разбирать? — с притворной наивностью спрашивает Шимшон.

Лицо его тоже выражает спокойствие — пусть подлиза не очень зазнается.

Иойхонон вспыхивает, краснеет от злобы, но сдерживается и сухо говорит:

— Там видно будет…

Ему приходится сбавить спесь, он близко пригибается к Шимшону, и, поглаживая свои усики, тихо бормочет:

— Смотри хозяйке не проболтайся… Она у нас строгая…

Вот они, какие дела! Вчера лишь плут распинался: «Помилуйте, мадам Гельфенбейн, к чему мне эта старая баба?», изгибался в три погибели, расшаркивался: «Помилуйте», «Помилуйте», — и обязательно по-русски…

Прежде чем проскользнуть к Стеше, Иойхонон криво усмехается, игриво щелкает в воздухе пальцами и делает знак молчания…

Тяжелый пост, мучительно трудный караул!

Вот по двору идет экономка, она задерживается у квартиры пекаря, некоторое время размышляет и проходит мимо. Сторож дважды останавливается у окна, озирается и, не заметив ничего подозрительного, идет дальше…

Обильно покрытый мукой, в рваном колпаке и разодранных опорках, поднимается из пекарни пекарь Антон. Он скручивает козью ножку и не совсем уверенной походкой направляется домой.

— Здравствуйте! — Шимшон протягивает ему руку, заслоняя собой дверь. — Как живете?

Полупьяный пекарь останавливается, недоуменно оглядывает его с головы до ног и добродушно усмехается:

— Ты откуда? Новенький?

Он не привык здесь к переменам: тут люди живут годами, добровольно не уходит никто.

— Новенький… Вчера приехал…

Оба молчат, говорить им не о чем.

— Новенький так новенький… Мне что?..

Разговор не вяжется, Шимшон напряженно думает и вдруг спрашивает:

— Муки у вас много?

Антон почесывает бороду и прищуривает один глаз, словно прикидывает, сколько мешков у него на складе.

— Много.

«Теперь о чем? — мучительно думает караульный. — О погоде, что ли?»

— Хорошо бы теперь морозец ударил…

Пекарь широко раскрывает глаза, сосредоточенно чешет спину и, озадаченный, спрашивает:

— Зачем?

Этого Шимшон и сам не знает. У каждого свой каприз: кому слякоть по душе, кому мороз…

Пекарь делает движение к двери и, пораженный, останавливается: его не пускают в дом.

— Тебя кто тут поставил?

Не дожидаясь ответа, он опускается на крыльцо и, обхватив голову руками, шепчет сквозь слезы:

— Опять зачастил к ней!.. Что со мной делают?.. За что мучают?..

Шимшон смотрит на него, растроганный и смущенный. Он ожидал сопротивления и угроз. А пекарь сидит, большой, беспомощный, и плачет. Крупные капли падают из глаз на его руки, запорошенные мукой.

— Ты пойди поговори с ним, — несмело советует ему Шимшон.

Пекарь безнадежно машет рукою и вытирает глаза ладонью.

— Иди, Антон, я скажу — ты силой прорвался… Иди же, ну!

Пекарь уходит домой.

Они возвращаются оба: один — грустный и молчаливый, другой — взбешенный и злой.

— Поговори мне, поговори! Слово скажу — и духа твоего не будет!.. Дурак! — злобно шепчет Иойхонон Шимшону. — Разиня несчастный!..

Вечером хозяйка спросила старшего приказчика:

— Как вам Шима понравился?

— Несообразительный малый, — ответил Иойхонон, — серьезного дела доверить нельзя.

Она испытующе оглядела его и сказала:

— Мне кажется… он неплохо складывает товар… и умеет поговорить с покупателем…

Иойхонон сверкнул глазами и заискивающе улыбнулся.

— Совершенно верно… И товар неплохо сложит, и покупателя уговорит, а серьезного дела ему поручить нельзя: не справится… Будьте покойны, мадам Гельфенбейн, я уже сегодня убедился…

Так началась новая жизнь…

Чуть свет его будили, торопили и пугали тенью хозяйки. Сонные приказчики спешили на свои места: он и Иойхонон — к мануфактурным полкам, Иосиф со смеющимися глазами — за бакалейный прилавок, Залман — к себе. При свете лампы открывались двери, и по деревянным ступеням поднимались покупатели. С черного хода являлась экономка с выражением тоски на лице. Она выслушивала хозяйку и, бледная, уходила на кухню. В лавке никто не шутил, не смеялся. Приказчики, чопорные и строгие, как чиновники, держались степенно, говорили спокойно и сдержанно. Хозяйка бродила из угла в угол, шевелила губами и молчала. Одни глаза ее говорили: «Я все вижу… не спрячетесь. Не прикидывайтесь дурачками…» А Иосиф из бакалейного отделения действительно прикидывался дурачком

и назло «немой ведьме» (так называл он хозяйку за ее спиной) поступал наоборот.

— Я не понимаю намеков, — говорил он ей, — отец мой был квасником, а мать кухаркой. Меня этому не учили…

Она вскидывала на него глаза, и красноречию его наступал конец.

Единственный, кто хорошо понимал ее, — это Иойхонон. Она тоже угадывала его мысли, и они молча могли вести любой разговор… Понимал ее и Залман, но с тех пор, как он влюбился в сычавскую учительницу, мать стала утверждать, что они с сыном не понимают друг друга.

Однообразно тянулась жизнь в Сычавке. В полдень лавку навещал Яшка-горбун, юродивый паренек с огромной головой на тоненькой шее. Маленький, скрюченный, он оглушительным голосом произносил длинные речи, отвлекая покупателей и приказчиков. Его просили уходить подобру-поздорову, а он бранился и пророчествовал. Тогда хозяйка кивала сыну, шептала что-то про себя и уходила из лавки. Залман подзывал горбуна и, сверкая глазами, подносил к его носу кулак:

— Тихо… без шума… вон… Вдребезги расшибу, места живого не оставлю!..

Яшка крестился, смотрел на атлетическую фигуру противника и в суеверном страхе пятился к двери. Случалось, юродивый упорствовал. Тогда Залман одной рукой затыкал ему рот, другой высоко поднимал его и стремительно уносил, как дурно пахнущую посуду.

Один раз в месяц являлся урядник, богомольный старик с повадками попрошайки. Он собирал на одну бедную церковушку, драл с живых и мертвых, требовал, настаивал, грозил Страшным судом. Церковь ветшала и разрушалась, урядник с каждым годом становился жадней, жаловался на равнодушие к дому божьему и неизменно прикарманивал собранные средства.

Хозяйка тепло встречала «начальство», приглашала его в дом. Старик обычно отказывался. У него ни минуты свободной, сегодня ремонтируют клирос и расписывают царские врата. Гость подсаживался к конторке, открывал портфель и находил в нем все, что ему нужно: «грехи» и «грешки», «проступки» и «проступочки» Суры Гельфенбейн. Они лежали связанные — желтые, синие, белые бумажки: «доносы», «жалобы» и «рапортишки». Хозяйка кивала головой Залману и уходила из лавки… Уряднику вручался сверток, гость нащупывал в нем икру и портвейн и благодарил.

Надо ли было сорвать лишние проценты с покупателя, уволить служащего, будь он хоть старшим приказчиком,

пригрозить расправой конкуренту Гершковичу — без Залмана не обходилось.

— Я у тебя, мама, — сказал он ей однажды, — метла для грязных дел… Ты пускаешь меня в ход всюду, где можно замараться.

На это она ответила взглядом, от которого он съежился и замолчал…

Залмана все презирали, от мала до велика, от сторожа Герасима до первого приказчика Иойхонона. Да и было за что. Можно ли уважать человека, который в один прекрасный день позовет вас и скажет: «Личное и семейное должно быть сокрыто от постороннего взора… Вчера ночью вы тайком прогулялись по поселку. Ворота нашего дома — граница нашего государства; кто хоть раз переступил их, больше не с нами. Виновные удаляются из нашего общества… Через полчаса вас захватит подвода. Получайте расчет…»

Все это скажет вежливо, с грустью в голосе, как будто ему невыразимо жаль расстаться с вами…

Однообразно шли за днями дни.

В девять часов завтракали, в четыре обедали, в девять вечера ужинали. В семь часов закрывали лавку, а в восемь — ворота запирались на затворы и на тяжелую цепь… Развлекались каждый по-своему. Залман жил мыслями об учительнице, изнывал в тоске и жаждал свидания с нею. Он ночи проводил под ее окнами, молил и стучался, тщетно ждал, что она выйдет к нему.

Хозяйка тешилась любовью к сыну Геннадию — студенту художественного училища. Он часто наезжал в Сычавку, недолго гостил дома и возвращался в Одессу. Хозяйка в эти дни преображалась, проводила все время с сыном и не заглядывала в лавку. Домочадцы благоговели пред талантливым гостем. Еще в детстве он показал себя мастером переделывать цифры, исправлять и подделывать текст. Получит в школе «за прилежание» двойку, а домой принесет пятерку. Позже копировал подпись матери и раза два подмахнул фальшивые векселя…

После отъезда гостя хозяйка веселела, говорила громче и меньше шевелила губами. В такой момент легко было выпросить у нее прибавку, добиться всяких льгот, за исключением права уходить со двора. Такая поблажка не привела бы к добру: враги ее перепортили бы приказчиков, научили бы их красть и распутничать… Так куда спокойнее, пусть с нее пример берут: она никуда не ходит и чувствует себя вполне счастливой…

Осень нагрянула обильными дождями, тучи налегли над поселком и закрыли солнце — единственный источник радости. Пруд за окном пузырился, утки и гуси покинули его, тополя

растеряли листву. Поселок замер, только потоки воды бесновались в оврагах.

Дни становились холодными и сырыми, запах тления и осени проникал в лавку. Утро начиналось затемно, когда вспыхивал во дворе фонарь. За прилавком было зябко. Тени проносились по стенам; просыпались замки и запоры, скрипучие кожи на полках, дребезжащая посуда; дремали одни только ситцы да неподвижные с ночи весы.

Шимшон слонялся за прилавком, горевал и думал об утраченной свободе. Он часто видит «ее» — молодую, нежную, с косой длинных каштановых волос. Она бродит по безлюдным улицам, стучится в окна, зовет на простор, но никто не отзывается, один Шимшон рвется к ней… Она стала его подружкой, утехой в несчастье. Он видел ее у дверей, с обидой во взоре, гордую и печальную. Речь ее текла потоком в овраге, печаль ее струилась дождем…

Хозяйка поманила его пальцем и тихо буркнула:

— Сходи к Гершковичу, тебя там не знают… Посмотришь, как торгуют, много ли у них покупателей…

Одним прыжком он соскочил со ступенек. Земля после дождя была влажной и мягкой. Он мчался со своею подружкой, и коса ее мягко обвивала его шею…

Сколько приволья и простора! Какая радость бежать с пригорка вниз!..

— Счастливая, — шепчет он ей, — унеси меня отсюда!..

Она берет его нежно за плечи и летит с ним над морем. Мелькают суда, катятся волны, надвигается чудесный город…

— Надо возвращаться, — снова шепчет ей Шимшон. — Ворота нашего дома — граница нашего государства. Тот не с нами, кто хоть раз переступил их.

Он полюбил с той поры вечера́, с трепетом дожидался звезд на небе.

— Мадам Гельфенбейн, — шептал он, едва темнело, — я схожу к Гершковичу, меня там не знают… Я куплю у него иголок на копейку и разнюхаю, как идут дела…

Шимшон мчался к морю, долго слушал прибой и тоскливо смотрел на огни… Они дрожали, трепетали в воде и над водной далью… Чудесный город! Там широкие, длинные улицы, необъятные просторы — и никаких запретов!.. Бегай, наслаждайся свободой, дыши!..

У него отняли последнюю радость: кто-то проследил за ним и донес хозяйке. Уж не Иойхонон ли? Этот никого не пожалеет, цепной пес!.. Что было скрывать? Да, он взбирался на горку, смотрел оттуда на море, бегал по околице и мало думал о

Гершковиче… Зато у него сил теперь вдвое, вялость исчезла, руки сами просят работы. Что ей далась его неволя, к чему ей маленькие радости Шимшона?

Ему пригрозили и больше не пускали со двора.

Кто дал право хозяйке держать его взаперти? Где это слыхано, чтобы после трудового дня человек не смел поразмять кости, скажем, даже погулять?! Как можно запирать людей только потому, что у них нет собственных лавок и они вынуждены служить у других? Не много ли позволяете вы себе, мадам Гельфенбейн? Кичитесь своим богатством? Задираете нос пред бедными? Напрасно! Богатство дается для благих дел, обязанность богача — помогать бедняку… Кто поступает иначе — тот не еврей, и с ним можно обойтись, как с врагом Израиля… Сомневаетесь, мадам Гельфенбейн? Я не один, нас трое, хотите — четверо, ваш Залман не отстанет от компании… Вы не любите постороннего вмешательства? Обойдемся без чужой помощи… Повесим замок на ворота и никого не впустим, ведь вы так любите одиночество!.. Пригласим экономку, кухарку, горничную, пекаря и сторожа… Рассядемся в приказчицкой и средь бела дня закатим «дурака»… Не любите азартных игр? Уступаю, игра будет «без интереса». Экономка соснет часок-другой, она, бедная, сама на себя не похожа… Скажете, это забастовка? Никто вам не поверит. Среди нас нет ни «сознательных», ни социалистов, все мы евреи и требуем от вас одного: немного свободы… Не запрещайте Залману любить Марию, дайте экономке вашей выспаться, придержите аппетиты Иойхонона и верните пекарю его жену… Не мешайте Шимшону бегать к морю и издали любоваться городом, где всего вдоволь: и свободы, и роскоши, и паштетов. Не соглашаетесь? Не надо! Попробуйте одна вести хозяйство, торговать, давать взятки и увольнять людей!

Такие дела не откладываются, она сегодня же узнает Шимшона. Он проучит ее…

Вечером Залман вызывает Шимшона во двор и говорит:

— Сегодня лунная ночь… На небе ни тучки… Благодать…

Для кого благодать, а для кого несчастье.

— Прекрасная ночь, — соглашается Шимшон.

Нашел о чем говорить! Шимшону бы забыть о ней, а этот напоминает…

— Море волнуется, должно быть, к непогоде…

— Пора, — снова соглашается Шимшон, — хорошо бы морозец…

Тут он вспоминает пекаря Антона и спешит добавить:

— Впрочем, такая погода вредит хлебам…

Залману теперь не до пустых разговоров, у него важное дело.

— Ты пошел бы с приказчиком погулять, таких ночей больше не будет…

Что это ему вдруг в голову взбрело? Иди да иди…

— А матушка ваша? Узнает, чего доброго, — нагорит… Нет уж, спасибо, лучше не надо…

— Пойди, Шимшон, я прошу тебя… Уговори их… Она придет сегодня сюда… Я просил ее не делать этого, ждать за углом, подальше от лавки, плакал, молил — не помогло… Помоги мне, уведи их отсюда…

Лицо Залмана выражает скорбь. Так бы он и сказал. В беде надо помогать друг другу.

— Идите, я постараюсь. Смотрите, выручайте потом…

Сам бог его прислал: Залман поможет ему проучить старуху…

Вечером, когда собрались за чаем, Иосиф дурачился, смешил других и сам без умолку смеялся. Такой уж человек этот Иосиф: что бы ни сказали, он придерется и обязательно всех рассмешит. Попросит кто-нибудь чаю, он подхватит: «обязательно мокрого» — и всем вдруг станет весело. Или вдруг ни с того ни с сего вздохнет, зашевелит губами и прошепчет: «Да, сказали мы, Сура Гельфенбейн…»

Все поймут намек, и поднимется невообразимый хохот. Один Иойхонон при этом не смеется, он несколько раз повторяет «помилуйте», конечно обязательно по-русски, и нежно гладит свои усики.

Шимшон отозвал в сторону Иосифа и сказал ему:

— Залман гуляет сегодня с учительницей, пойдем накроем их. Я собственными ушами слышал, они уговаривались…

У него был план, подробно разработанный до мелочей. Хозяйка скоро убедится, что значит единство.

Иосиф сразу стал серьезным, хотел было рассердиться, прикрикнуть, но огляделся и спросил:

— Каким образом? Где ты их видел?..

Чего захотел! Этак все дело испортишь… Нет, нет, это останется при нем. Выдавать чужие тайны — никогда.

— Возьмем с собой Иойхонона, — предлагает Шимшон, — гулять так гулять, лишний человек не помешает…

Иосиф тут же все выболтал старшему приказчику. Не человек, а решето…

Иойхонон согласился. В самом деле, почему бы разок не пройтись? Хозяйка не узнает, а донесет кто-нибудь — не беда, посердится и забудет… Не увольнять же всех… Хитрая лисица — он думал о другом: наконец-то Залман будет у него в руках! Старуха не останется в долгу, подарит верному приказчику отрез

на костюм или набавит жалованья…

Они шли молча, изредка оборачиваясь. Иосиф ступал ровно и уверенно. Он наслаждался ночью и свободой без всяких расчетов и планов. Иойхонон подпрыгивал на своих упругих ногах — рессорах, довольно усмехался и подпевал себе под нос.

Далеко позади остались пруд, лавка Гершковича и кирпичное здание школы. Под луной блеснуло море, и встал скалистый берег.

Шимшон остановился и торжественно сказал:

— Вот здесь…

— Они придут сюда? — спросил Иойхонон.

Шимшон давно забыл о хозяйском сыне и учительнице. Вопрос его удивил:

— Кто?

Вмешался Иосиф:

— Где Безродная и Залман? Ведь ты обещал…

— Об этом в другой раз, — отмахнулся Шимшон, — есть более важные дела. Я хочу поговорить о единстве…

Его окружали союзники, и голос его звучал таинственно и вдохновенно:

— Послушайте, Иосиф и Иойхонон… Мы отлучились со двора без спросу, это даром нам не пройдет. Нас могут наказать, послать к Залману за расчетом… Не дадим же плевать себе в кашу, поклянемся отстаивать друг друга, не угодничать перед хозяйкой, не кляузничать, не доносить…

Они слушали его огорошенные. Вместо веселых приключений он преподнес им проповедь, полную оскорбительных намеков.

— Мы терпим тиранство и обиды потому, что нет между нами единства. Евреи побеждали филистимлян, амалекитян, персов и вавилонян, пока между ними царили мир и согласие… Будем же едины, не дадим Суре Гельфенбейн помыкать нами, держать нас под замком, как воров…

Иосиф притворно чихнул и ухмыльнулся. Увлеченный своей речью, Шимшон не заметил фальши и торопливо пробормотал: «На здоровье…»

— Созовем весь двор — кухарку, горничную, сторожа, пекаря — и закатим средь бела дня «дурака»… Хозяйка денек-другой потерпит и сдастся. Голод не тетка, без горячей пищи жить очень трудно… Чур, только держаться! Пошлет она кого-нибудь к Залману за расчетом — не зевать, обступить ее, совестить, доказывать, что порядочные люди так не поступают…

Иойхонон молчал. Хитрая бестия! Зачем ему торопиться? Он охотно уступит слово Иосифу. Быть последним не всегда плохо.

— Ты дурак, Шимшон, — сказал Иосиф, — мне все равно, что

будет с Сурой Гельфенбейн, но лучше бы ты держал язык за зубами.

Вот когда заговорил Иойхонон! Он кричал, топал ногами и неистовствовал, называл Шимшона сопляком и грозил перебить ему кости. Какая распущенность! Вводить людей в заблуждение, возводить на невинного Залмана поклеп!..

— Убирайся отсюда, — бесновался Иойхонон, — сейчас же уходи с глаз!..

Они возвращались домой различными путями. Шимшон миновал кладбище, овраг с журчащим на дне ручейком и остановился на околице, у глиняного домика с камышовой крышей. Здесь жила учительница. Упрямая девушка, она добилась своего, встретилась с Залманом у ворот его дома, назло старухе, чванливой мадам Гельфенбейн…

Шимшон обошел глиняный домик со всех сторон и прильнул к щели ставенки. За окном сидела она, с длинной косой каштановых волос…

В эту ночь с севера приползли тяжелые тучи, они обложили поселок и обрушились на него метелью. Схваченная стужей земля долго чернела на белом поле, рьяный ветер заносил ее снегом, и она беззвучно умирала.

Утром хозяйка вызвала Шимшона к конторке, оглядела его, пошевелила губами и прошептала:

— Дурак!

Одни глаза ее говорили:

«Я все вижу, не спрячешься… я стреляная птица!»

— Тоже бунтовщик — сопляк!

— Я стою за справедливость, — подняв голову, пробормотал Шимшон, — вы поступаете не по-людски…

Иойхонон хохотал на всю лавку. Хозяйка надела пенсне, открыла книгу и не поднимала больше головы.

— Пошел вон к Залману!

Так вот что означал его сон! Ему снилась этой ночью далекая степь, и его пылинкой носит из края в край.

Конец! Ему дадут расчет и отправят в Одессу. Может быть, Залман ему поможет, ведь он обещал…

Люди, к которым он обратился с чистым сердцем и добрыми намерениями, ему изменили. Они отвернулись от него. Один донес, другой назойливо усмехается, третий загадочно молчит…

Залман не сразу приступил к расчету. Некоторое время он медлил, затем пошел к матери и что-то долго шептал ей. Не оборачиваясь к нему, она отрицательно покачала головой. Жалко ли ему было Шимшона или благодарность обязывала его, но он заговорил с ним о совершенно постороннем:

— Ты, может быть, поедешь домой?.. Охота тебе страдать на чужбине… Родители, правда, бывают хуже врагов, но между своими все-таки легче… Мальчик ты хороший, умный, в Одессе тебе плохо придется… Мне жаль тебя, Шимшон… Я дам тебе лишних пять рублей, поезжай домой… Ты прекрасный мальчик, из тебя выйдет толк…

Нет, нет, домой он не поедет, он повоюет еще за свое счастье. Вернуться к своим ни с чем? Никогда!..

Сани неслись вдоль моря, Сычавка исчезала за снежным холмом, впереди вырастала равнина и город, где Шимшона ждали счастье и слава…

ШИМШОН ИДЕТ КО ДНУ

— Я хочу быть порядочным человеком и зарабатывать себе хлеб честным трудом. Вы понимаете меня?

В сапожной мастерской тихо. Егуда не слушает Шимшона. Он старательно обрезает подошву, прицеливается и щурит правый глаз. Шимшон забился в свой угол, сидит на кровати и бормочет:

— Надо же быть таким жестоким, ни слова не отвечать.

Сапожник гладит собаку, словно не Шимшон, а она с ним заговорила, хмурит брови и весело постукивает молотком.

— У меня сердце обливается кровью, — стонет Шимшон, — не томите меня!

Собака потянулась к сапожнику, перевела глаза на Шимшона и тихо заскулила. Жена Егуды, Квейта, не может больше терпеть; она кричит:

— Перемени свой характер, старый осел, он пристал тебе, как нищему корона!

Сапожник смеется.

— Дурочка Квейта, рваную обувь не обновляют, старого друга не меняют, характер мой дал мне славу доброго человека… Не так ли, Натан?

— Сумасшедший человек, — не унимается жена, — назвал собаку еврейским именем и ведет с ней разговоры, как будто в доме людей нет…

— У Натана, Квейта, еврейская душа, ты напрасно на него нападаешь… Это во-первых, а во-вторых…

Где уж им сговориться…

— Вы должны мне ответить, — настаивает Шимшон, — это несправедливо. Протянутую руку, говорится в торе, не отвергай…

Сапожник оборачивается, недоумевающе смотрит на него и задумывается:

— Чего тебе надо?

— Я спрашиваю: нет ли другого пути?

Егуда откладывает работу и слушает с закрытыми глазами. Так является на свет его мысль. Он вынашивает ее под сердцем, в тайниках души.

— Ты ребенок еще, Шимшон, не нужен тебе мой совет.

Он набирает полный рот гвоздей, и речь его шипит, точно выбивается из незримых глубин. У подбородка его ложится скорбная морщина.

— Путей в жизни много, каждый идет своим — к удовольствию и счастью. Каждый по-своему приближает час своей смерти… В подвальном этаже умирает от чахотки девушка. Через

месяц-другой ее не будет в живых… Кто-то сказал ей, что лучшее средство выздороветь — смеяться. Ей не хочется умирать, и она смеется. Ходит по двору и смеется, разливает покупателям молоко и смеется… Пойди скажи ей, что это глупо… К чему тебе мои советы, Шимшон? Тебе надо излить свое горе, доверить тайну — пожалуйста.

Собака смеется, кожа на ее морде собралась складками и обнажила зубы. Она порывисто дышит и щурит глаза.

— Я знаю одну счастливую пару…

Сапожник обращается к Натану, он не смотрит на Шимшона… Ничего не поделаешь! У каждого свои удовольствия, пусть любуется своим псом.

— Эта пара, мой милый, — сиделка и больной. Они бежали из слободки Романовки. Он вскружил ей голову своим бредом, страстью своей к искусству. Она трудится изо всех сил, а он переводит краски и полотно. Скажи ей, что муж ее сумасшедший, что мазня его никуда не годится. Сделай доброе дело, открой ей глаза…

Упрямый старик! Логика его сокрушительна. Два месяца они спорят, каждый ищет примеров, острых ответов — ярких и крепких слов.

Шимшон возражал: люди смертны, а добрые дела их вечны. Пути благочестия никому не заказаны. Счастье — милость предвечного… Против бога защита — молитва, против человека — слово, а против несправедливости — дерзость.

Но старик побеждал. Добро, говорил он, было злом и им снова станет, ложь выше правды, как преступление выше справедливости. Каждый дерзок по-своему, но стремятся все к одному — к золоту…

Два месяца они спорили, один опирался на Талмуд, на истины, освященные веками, другой — на жизнь, на людские дела.

— Вы говорите, реб Егуда, что самое важное на свете — это золото, все остальное покорно ему, как богу… А я вам заявляю — грош цена всем сокровищам мира: где нет благородства и совести, золотом не исправишь беды…

С ним лучше не спорить. Шимшон торопливо надевает свое ветхое пальтецо и с пачкой журналов под мышкой стремительно выходит на лестницу. Тянет сыростью и вонью отхожего места с галерей и площадок ветшающих этажей…

Дом ничем не отличался от своих сверстников по Внешней улице. Большими окнами смотрел он на толкучку, заваленную грязными перинами, железным хламом и тряпьем. За низкими деревянными воротами, всегда раскрытыми настежь, длинный

полутемный туннель вел в маленький дворик. Колоннада кирпичных столбов подпирала крышу. На галереях, окаймленных решетчатыми перилами, лепились друг к другу двери и оконца. Этажи сообщались открытыми лестницами, а внизу, под галереями, зияли дыры сараев без дверей и косяков и мрачный вход в толщу стены… В глубине двора на развороченной яме лежала решетка, обильно осыпанная кухонными отбросами. Всюду на веревках развешано белье: алые, белые штандарты нищеты развевались над этажами; траурно приспущенные, они повествовали о тяжелой доле, о горькой нужде.

Населяли этот дом униженные в своей гордости, страстные люди. Крепкие мускулистые биндюжники с грубым языком и жестокими кулаками; шарманщики со своим живым товаром — безродными детьми; торговцы, выброшенные на свалку Молдаванки; бледные девушки, исчезающие с вечера и возвращающиеся домой утром; шикарные парни, объясняющиеся мимикой и на непонятном для окружающих языке… Покорные и немые на службе и на промысле, они являлись домой озлобленные и дерзкие. Бури возникали внезапно, страсти вспыхивали пожаром, зажигая войной этажи. Схватка начиналась из-за мелочи. Галереи вдруг наполнялись жильцами, люди быстро сплачивались и делились на лагери. Нейтральных не было — в спор вступали все…

Шимшон спускается с галереи, замедляет шаги на тряской площадке и думает, что в доме этом собрались все те, кого жизнь обошла. Стиснутые за тонкими стенами, они живут в неразрывной связи, веселье и плач стучатся от соседа к соседу. Обиженные и обойденные, они в тайном единении добывают деньги: торгуют детьми и собой, свободой и страстями, любовью и честью. Тут каждая галерея — крепость, каждая квартира — очаг злобы и нужды…

Шимшон пересекает толкучку, сворачивает на Колонтаевскую улицу и с развязностью завсегдатая входит в трактир. Веревка с привязанным кирпичом взвизгивает на блоке, и дверь с грохотом захлопывается.

— Журналы всех сортов и мастей! — весело выкрикивает он. — Только две копейки штука!.. Стихи Городецкого, рассказы Писецкого, роман без начала и конца!

Он останавливается у столиков, расхваливает картинки и читает стихи. Его встречают смехом и шутками, как старого приятеля, предлагают чаю и выпивки… Некогда! Дайте ему расторговаться, на обратном пути — с удовольствием… Позади «Рим», «Париж» и «Марсель»; еще один трактир — и можно будет отдохнуть. Пачка журналов времен Цусимы и Бейлиса тает, в ход

идут последние, с портретом министра Столыпина и его убийцы Багрова.

Подвыпившая компания подхватывает Шимшона и насильно усаживает его. Тут несколько соседей по дому, студент Мозес со своей приятельницей и Мишка Турок. Шимшону наливают стакан водки, придвигают соленый огурец и приглашают выпить за здоровье Нюры. Отказаться нельзя, трезвость и малодушие расцениваются тут одинаково.

Со стиснутыми зубами Шимшон делает глоток и отставляет стакан далеко от себя. Он уступает это угощение кому угодно.

— Не могу больше…

Искривленное отвращением лицо и глаза, полные слез, молят о пощаде. Пусть испытывают его чем угодно: он слопает живую мышь, не побрезгает падалью… Водка застревает у него в горле, нутро не принимает.

По столу пробегает шепот. Шимшона решили споить.

— Бросьте, м-сье, эти штучки, — говорит Мишка Турок, — вы оскорбляете молодую мадам…

Деликатность прежде всего. Молодежи надо прививать высокие чувства.

— В самом деле, — надувает губки Нюра, — вы обижаете меня.

У него никогда не хватит сил выпить столько водки. Пусть она лучше не просит его.

— Я сделаю еще один глоток. Ни одной капли больше…

— Можешь вовсе не пить, — трещит Хаим-безногий, — будем знать, что ты плюешь на компанию…

Он притворяется возмущенным и ударяет клюкой о пол.

Хоть бы кто-нибудь явился на помощь!.. Эти жестокие люди его не пожалеют, они не остановятся пред тем, чтоб насильно влить ему в горло водку. Не в первый раз они потешаются над ним, водят его, пьяного, по притонам и, измученного, бросают у первых ворот… Воры и мошенники, сутенеры и шулера, им противен вид трезвого человека, они не терпят честных людей… И это — евреи! Дети избранного богом народа, о котором сказано в торе: «Вы будете все святыми!»

— Попросите их, Мозес, оставить меня в покое… Чего им от меня надо? Я не хочу быть пьяницей и вором, я найду свое счастье без них…

Студент поднимается из-за стола и отводит Шимшона в сторону. Никто их не останавливает. Возможно, так было заранее условлено… Может быть, и другое: Мозеса здесь уважают; он знает законы, пишет прошения, помогает советом. Со временем он станет адвокатом, первоклассным юристом, и они будут его

клиентами. У них будет свой защитник… Против Мозеса никто не пойдет, он осенью получает диплом…

— Не обижайтесь на них, — начинает студент с ноткой печали в голосе, — они — простые люди, малограмотные и притом пьяницы… Я вас понимаю и одобряю…

Он проводит языком по губам — точно слизывает медовый налет слащавой речи.

Шимшон кивает головой, он благодарен ему, тысячу раз благодарен за поддержку… Мозес — добрый малый, он сам был недавно в таком положении… Сын резника, бедного местечкового праведника, известного своим благочестием и ученостью… Трудно ему пришлось на первых порах. «Езжай, мой сын, — напутствовал его отец, — ты одолеешь все искушения и станешь великим человеком». Два года он провел по ночлежкам, нажил чахотку, а искушений не одолел. Маленькую Фейгу, которую все зовут теперь Нюрой, он уговорил стать помощницей его. Она тоже приехала учиться, тоже бедствовала, как и он… Третий год она ночует в гостиницах и деньги приносит ему… Он стал щегольски одеваться, сытно есть и гулять. Что ж, на здоровье, это ей не мешает. Еще год-полтора — и все пойдет у них по-другому, они поженятся, снимут квартиру в центре, обзаведутся дубовой мебелью и парой никелевых кроватей…

— С другой стороны, Шимшон, — продолжает Мозес, — их тоже винить нельзя. Они не любят порядочных людей… Порядочные люди — те же судьи, прокуроры, сыщики, тюремные надзиратели. К чему это вам? Не будьте, Шимшон, подвижником. Живите как все.

У Мозеса бледное, жирное лицо, большие черные глаза, высокий лоб и тонкие, белые губы. Он задумывается, проводит рукой по пышным волосам и некоторое время молчит.

— Уступите им, совершите маленький грешок. Я помогу вам в этом… Повторяю, не обижайтесь на них… Полезное и разумное им ни к чему. Хотите заниматься богоугодными делами — идите в «Общество вспомоществования бедным евреям». Здесь в почете воры и налетчики, мастера прятать концы в воду…

Он снова облизывает губы и, смущенный собственной откровенностью, опускает глаза.

Легко сказать «уходите»… Куда?.. Не торговать по трактирам? Но ведь и дома не лучше… Половина этих людей — его соседи. Они приходят, мучают Шимшона и не оставляют его в покое даже в постели… Переменить квартиру? Кто же за два рубля в месяц даст ему приют?.. Все точно сговорились погубить его…

Мозес снова задумался. Пред ним трудная задача: толкнуть

Шимшона на преступление, крошечное, почти незаметное… Он поднимает голову, встряхивает своей пышной шевелюрой и, самодовольно усмехаясь, говорит:

— Помогите хотя бы Люсе выкарабкаться из грязи. Она страдает у мадам Куниной, как негр… Протяните ей руку и будьте друзьями…

Всего лишь? Вырвать девушку из дома разврата? Какое же тут преступление?

— Ей трудно придется без мужчины… Сутенеры выпьют из нее все соки. Будьте ее опорой в жизни… Она все отдаст вам, гроша себе не оставит.

Зачем ему ее деньги? Он сочтет за долг помочь ей. Она может вполне положиться на него.

Мозес вздыхает и отрицательно качает головой… Неприятно говорить на такую тему, даже больно, но что поделаешь! Счастье куют не в белых перчатках.

— Вы не поняли меня, Шимшон… В том-то и заключается грех, что деньги у нее вы обязаны отбирать… Без средств вы ничего не сделаете и ей не поможете. Кое-кого надо подкупить, задобрить, мои труды тоже чего-нибудь стоят… Вы неопытны еще, подождите, я позову сюда Нюру, она лучше меня объяснит вам.

Нюру? Мозес с ума сошел… С девушкой о таких вещах? Никогда!

— Мозес! — зовет он. — Прошу вас! Вернитесь!.. На одну минуту!..

Но студент приводит свою подружку и усаживает ее рядом.

— Молчите!..

Шимшон знаками умоляет его не говорить при девушке, он на все согласен, только пусть это останется между ними.

Поздно. Мозес уже все ей рассказал. Она очень довольна, смеется, заглядывает Шимшону в глаза. И он вспыхивает решимостью:

— Постойте, Нюра, спасать — так спасать до конца. Я женюсь на ней…

Они переглядываются и смеются над ним.

— Вас не просят об этом, Шимшон, — говорит студент с ноткой печали в голосе. — Помогите ей заработать кусок хлеба, мужа она всегда найдет себе… Вы поняли меня? Вечером я зайду к вам, сходим к Люсе…

Он облизывает губы, вытирает их платком и любезно кивает головой.

У самых дверей Шимшона настигает Миша Турок и усаживает за первый попавшийся столик. Он нежно держит Шимшона за плечо, и пальцы его нервно вздрагивают.

— Этот супник надавал тебе обещаний, и ты поверил ему… Идешь в коты к Моське?

Изо рта его несет удушающим смрадом, и Шимшон невольно отодвигается.

— Не пугайся, котик, — ближе придвигается к нему Турок, — ты же не девочка.

— Мне так удобней. Вот так… Говорите…

Шимшон говорит по-еврейски, а важный Миша Турок отвечает по-русски. Он верит в безукоризненность своей речи и мысленно восхищается собой.

— А мне, кошечка, удобней вот так… Дай-ка я обниму тебя…

Миша Турок отлично сознает свою силу, он скорее удушит Шимшона, чем выпустит из рук.

— И не стыдно тебе, душенька, забирать у бедной девочки последние гроши? Для кого? Для жирного Моськи? Поступают так честные люди?.. Я сам обираю, но кого? Бедных? Для бедных я сам отец… Я кормлю бедную маму, дай бог ей прожить сто двадцать лет, учу сестрицу на акушерку… В субботу я без бедняка за стол не сяду… Благотворительные общества засыпают меня просьбами… Евреям нужны дрова, хлеб, яйца на пасху, воск на хануку, — одним словом, надо и надо…

Он немного отодвигается и дает Шимшону перевести дух.

— У тебя, мое золотко, подходящая мордочка, портрет маленького иолда[14], на такую приманку рыба сама идет… Мы пустимся с тобой в большое плавание, и через тебя бог мне поможет… Схватим куш, денежки положим на проценты и спокойно заживем.

— Это позор, Миша, я не могу. Вор — это последний человек…

Турок резко выпрямляется, шрам на лбу вспыхивает, точно его полоснули бичом.

— За такие слова у нас, Шимшон, кишки выпускают, хребет ломают с позвоночником… За кого ты меня держишь, за карманщика или маровихера? Ты имеешь дело с серьезным вором… Что значит — последний человек? Кто тебе сказал, что это позор? Покажи мне одного человека, который нас осуждал бы… Обойди все трактиры, все бильярдные, все кафе, всю биржу, всю Молдаванку и найди мне такого чудака… Нас благословляют: полгорода имеет около нас заработок… На нас свет держится!

Сапожник Егуда то же самое говорит. Каждому надо жить, каждый хочет иметь кусок хлеба… Богатых холера не возьмет, у них хватит добра.

— Вы не поняли меня, Миша, — оправдывается Шимшон, — я не то хотел сказать, моя цель — стать благородным человеком…

— Благородным?..

Турок делает жест неограниченной готовности. «Пожалуйста, — говорят его распростертые объятия, — прикажите только, я вмиг…»

— В чем дело? Благородство так благородство. Король котов Екл-безносый выше графа, пред ним князья снимают шапку… Благородства тебе никто не пожалеет, покажи только работу… Очистишь государственный банк — тебя признают бароном, потянешь за собой сотню юбок — бери себе чин короля… У нас есть Янкель Паж, Фроим Маркиз, Исруль Герцог, — пожалуйста, пусть будет еще Шимшон Дворянин…

Странные дела творятся на свете, все здесь шиворот-навыворот. «Добро, — говорит сапожник Егуда, — было злом и снова им станет». Грабь, обманывай — и ты станешь благородным… Порядочных осуждают, а о честности спорят с пеной у рта… Если уж на то пошло, он предпочитает Мозеса: за налет по головке не погладят, а маленькое преступление, крошечное, почти незаметное, могут и простить…

— Поговорим, Шимшон, начистоту. Все мы об одном мечтаем. Счастье — это деньги, и каждый бьется за них: проститутка мечтает о хорошем и богатом муже, домушник — о плохой задвижке и паршивом замке, я мечтаю на другой манер… Мне надоело страдать за кусок хлеба. Я имею большой план разбогатеть и бросить это дело… Ты и бог — моя надежда, и я не отпущу тебя…

Голос его вдруг заколебался и замер на очень низкой ноте. Пальцы на плече Шимшона ослабли, и рука соскользнула вниз.

Счастье — это деньги… Просто-напросто деньги! Вот почему оно представлялось ему так расплывчато и неясно… То в виде билета в театр, то в виде избранного общества, шикарного костюма, улыбки девушки, признания толпы.

— У меня, Шимшон, старая мама и сестра-невеста… Ты понимаешь, голубчик, свадьба может расстроиться… Жених не знает меня за такого, он знает меня за коммерсанта. Я уступаю маме, ее слезам и просьбам. Пусть радуется на старости. Я возьму свое счастье за шиворот! Или меня убьют прежде времени, или я узнаю настоящую жизнь.

Турок щурит близорукие глаза, улыбается и говорит:

— Не бойся греха, котик, плюнь на это, поставишь богу свечку, купишь тору, бархатную скатерть для амвона, и он все простит тебе, не поскупись только, старик любит жирный кусок…

Он выкладывает свой головокружительный план, шепчет все тише и тише. Они проникают через крышу в банк, спускаются в кладовые и блуждают между мешками золота.

— Ты будешь иметь, Шимшон, кусок хлеба с маслом. Дай бог мне так жить… Согласен? Га?

— Дайте подумать…

Сейчас он прикинет в уме и решит…

…Мелькают улицы, люди, Шимшон прыгает с крыши на крышу; с золотом над головой носится над городом, как ангел… Вот он спускается над синагогой. Здесь ему никто не страшен. Храм — убежище для всякого… Пред кивотом водружается восковая колонна — вечный светильник богу, благодарность за удачу. Мягко ложится бархатная скатерть на амвон, торжественно несут его подарок — маленькую тору в алой рубашке. Теперь пусть созывают нищих, он будет раздавать счастье. Довольно им мыкаться, искать свою долю, она у него в мешке.

— Ну что, Шимшон, идет? Ты слишком много думаешь, можно было бы за это время обокрасть казначейство…

— Я подумаю еще, Миша, подождите денек, другой…

Надо раз навсегда покончить с сомнениями… Какая это жизнь; вчера он умирал с голоду, пропадал в неволе, сегодня снова лишения. Никаких радостей — одни запреты.

— Думай хоть до пришествия Мессии, но одно я тебе скажу: не корчь из себя маленького. Святых у нас нет, все крадут… И ты уже, слава богу, грешил: проходил черной лестницей и, наверное, стягивал что-нибудь мимоходом… Но ты был до сих пор любителем, а теперь станешь мастером… На всякий случай зашнуруй пока свой рот и запрячь подальше язык…

Дома Шимшона ждало письмо от матери:

> «Глубокоуважаемый и высоколюбезный сын мой Шимшон. Первым долгом знай, что все мы живы и здоровы, чего и тебе от всего сердца желаем. Обливаясь слезами, я прочитала твое письмо и думала, что на свете нет справедливости. Чем я так провинилась перед богом, что он яркую звезду мою пустил по свету в изгнание, на радость врагам… Видит наш вечный судья и праведница матушка моя на том свете, что не по моей вине я страдаю, не иначе, как мы искупаем грехи наших предков… Гляжу, у других — все дома, сядут за стол — благодать. У меня же — несчастье, сплошной иом-кипур, точно нас прокляли. С тех пор как глаза мои не видят тебя, они не просыхают, сердце не успокаивается, болит и болит… Я ночами не сплю и думаю: кто тебе стирает белье, ведь ты так любишь аккуратно менять его… Кто тебя ночью укрывает? Ты спишь так неспокойно, и одеяло сползает с тебя. Представляю себе, как ты

выглядишь: волосы до плеч, на рубашке ни одной пуговицы, вместо шнурков на ботинках — веревки, каблуки сбиты, задник свернут, а на теле пуд грязи… Я посылаю тебе иголку, нитки и две дюжины пуговиц, попроси от моего имени хозяйку, чтоб она пересмотрела твое белье и, где надо, пришила пуговицы… Рубахи твои долго еще проживут, опасаюсь за кальсоны… Остерегайся есть соленые огурцы, от них у тебя всегда были колики в животе… Дела наши неважны, расходы большие, а приходы маленькие. Коллектор реб Иойль каждый месяц приходит за полтинником, отрываешь от себя и отдаешь ему. Пробовала не давать — отец твой встал на дыбы. «Сними с себя этот налог, — говорю я ему, — к чему он тебе?» Ты знаешь этого упрямца, он кричит, что я подбираюсь к его счастью. Врагам моим такое счастье… Все мы, Шимшон, беспокоимся о тебе, и папа в том числе. Он, правда, говорит, что судьба твоя его не трогает, но это ложь, сплошное притворство… Я оставляю иногда твои письма на столе и ухожу к соседке. Возвращаюсь — письма скомканы, конверты перепутаны (меня не обманешь, я все помню), одним словом, полный беспорядок, и кое-где видно — упала слеза…

Будь здоров и счастлив, пусть бог тебя не оставит.

Твоя несчастная мать Рухл.

Чуть не забыла тебе напомнить: ногти собирай и прячь их, ты имеешь манеру бросать их куда попало.

Еще раз будь счастлив, и дай бог вскоре встретиться с тобой здесь. Привет от Муни, реб Иоси и всех твоих родственников».

Шимшон вытащил из кармана листок скомканной почтовой бумаги и в один присест написал:

«Дорогая, высоколюбезная мама!

В первых строках моего письма сообщаю, что письмо и посылка твоя дошли до меня целыми и невредимыми. Я, слава богу, жив и здоров, хорошо зарабатываю и ни в чем не нуждаюсь. Город очень красивый, улицы мощеные, и грязи после дождя здесь не бывает. Людей много, очень много, все находят свое счастье, и никто не жалуется. Особенно красиво здесь море, оно начинается у городской думы на Николаевском бульваре и кончается где-то за Сычавкой. Я часто вспоминаю разговоры наши

и удивляюсь, как правильно ты обрисовала мне Одессу. Евреи здесь не похожи на наших: воры, грабители, коты и разбойники. То, что у нас считают позором, здесь, наоборот, восхваляют. Я никогда не представлял себе, что могут быть такие изверги во Израиле. Трудно тебе описать их, надо их увидеть. Со многими я знаком, мы часто встречаемся в трактире, закусываем и обмениваемся новостями. Они стараются меня совратить, но я тверд, как камень. Целыми днями уговаривают они меня, сулят золотые горы, грозят расправой и требуют, чтобы я шел с ними одной дорогой. Один просит меня сделать маленькое преступление, одолжение несчастной девушке, другой — помочь в большом плавании, ему хочется стать честным человеком. Ни первому, ни второму я ничего не обещаю. Говорят, здесь необходимо чем-нибудь отличиться, хотя бы маленьким проступком; я подумаю еще, может быть, обойдусь. Здесь очень не любят трусов; такого, как я, могут тихонько придушить… Мне советуют не водиться с ними. Легко давать советы, а вот попробуй, ведь это соседи мои. На одной галерее живем… Сегодня подбивает один сосед, завтра — другой, каждому я нравлюсь, и каждый тянет меня к себе.

Напиши мне, какая у вас погода. Здесь холодно, и морозы очень крепкие, а море не мерзнет. Как наша речка, тоже еще держится? Денег мне не посылай, у меня всего вдоволь. Одеяло у меня больше не сползает, его украли, и я укрываюсь моим пальто; белье мне стирает хозяйка Квейта. В пылу гнева она часто гонит меня с квартиры и называет карманщиком. К счастью, она очень отходчива и скоро все забывает. Огурцов я не ем, доктор запретил мне. Он говорит, что на почве недоедания у меня развился катар желудка. Недоедания бывают с каждым, особенно здесь, когда утром не знаешь, чем проживешь день, но в катар я не верю.

Будь здорова и счастлива и помни о своем сыне, который ищет свое счастье в Одессе.

Твой Шимшон.

Передай привет Нухиму… Пошли ему бог здоровья».

Не перечитывая письма, Шимшон заклеил конверт и сунул его в карман.

Ему вдруг стало не по себе, стремительно нарастала грусть, и

хотелось плакать… Только этого недоставало! Мало у него малодушия в мыслях, надо еще, чтоб другие увидели!.. В другой раз, где угодно, только не здесь, слезы тут не в почете…

Он подсаживается к сапожнику и, поглаживая Натана, рассуждает вслух как бы про себя:

— Допустим, что самое важное — это золото. Уступаю… Пусть добрые дела не вечны, счастье просто-напросто деньги. Согласен, хорошо. Но какое это имеет отношение ко мне? Почему я непременно должен стать вором? Есть же и другие пути…

Он устал спорить, пусть Егуда укажет ему выход.

Сапожник испытующе смотрит на него и молчит.

— Помогите, реб Егуда, меня хотят погубить!

Никогда ему не было так страшно… Неужели никто не откликнется?..

— Я не хочу быть налетчиком, я не хочу обирать бедную девушку…

Егуда усмехается.

— Слышишь, Натан? Святой завелся, он не хочет обирать… В добрый час!.. Кто тебя заставляет? Подохнешь на пустыре, как беззубый пес.

Суровый сапожник, ласковый к собаке и неумолимый к людям, он — судьба Шимшона, он укажет ему выход…

— Дорогой реб Егуда, я никого не хочу обижать, мне противно чужое…

Шимшон говорит тихо, слезы текут из его глаз:

— Выбрось дурь из головы, и порядочные и непорядочные одинаково лгут и обманывают, обирают бедных и душат слабых. Деньги заставят… У каждого свое удовольствие: один находит его в глупой и честной бедности, другой — в разнузданной жизни и роскоши за счет бедняка, третий — в смерти, искупительной гибели за благо других… Выбирай, что тебе больше по душе. Решай.

За дверью слышится шорох, и в комнату бесшумно входит Хаим-калека. Он комом опускается на табурет и мурлычет себе под нос:

— Трум-тум, тум. Тм, тм, тм… Туп, туп, туп…

У него испуганные глаза, они мигают и щурятся, как пред нависшей угрозой. Время от времени песенка обрывается, плечи Хаима вздрагивают частой дрожью, и губы искажаются насмешкой.

— Тут, тум, тум… Тм, тм, тм… — бубнит он. — Трум, тум, тум, тм, тм, тм… Взгляните на безобидного старика, тихого и невинного, как младенец… Тум, тум, тум… Не обижайте его, ничтожного и покорного, тм, тм, тм, тм, тм…

Хаим не любит шума, не делает никогда резких движений. Он предпочитает держаться у стен, у заборов, в тени деревьев и ступает, едва касаясь земли мягкой набойкой деревяшки. Зачем бросаться в глаза, обращать на себя внимание, давать врагам повод лишний раз подумать о тебе?..

— Трум, тум, тум… Тм, тм, тм… Я прошу вас, дорогой Егуда, замолвить слово Мишке Турку, он опять мне жить не дает.

Сапожник пристально смотрит на Хаима.

— Чем он тебя обидел?

— Он опять донес на меня. «Дешево, говорит, продал ты ногу. Тридцать рублей в месяц — все равно что ничего…» Что ни день — доносы, повестки и допросы. Снова и снова об одном и том же: как я попал под электричку, почему отрезало только одну ногу, не бросился ли я ради пенсии?.. «Разбойник, — плачу я перед Мишкой, — зачем ты меня губишь?» — «Торговать, — отвечает он, — надо чужой кровью, не своей…» Допустим, я на самом деле подсунул ногу под трамвай, чтобы обеспечить себе на старость кусок хлеба, — разве бельгийское общество от этого обеднело? Кости мои трещали под колесами, решеткой меня чуть не убило… Мало им этих страданий, они еще пьют мою кровь… Вам завидно? Кто вам мешает сделать то же самое? Мы не конкуренты, — пожалуйста… Выйдите поздно ночью на Ланжероновскую улицу, когда электричка несется в парк, и подставьте ей ножку. Один из вас сломает себе шею…

Он не поет больше, голова его опущена, руки беспомощно повисли.

Сапожник усердно орудует рашпилем, заглядывает внутрь сапога и как будто обращается к стельке, усеянной пупырышками гвоздей:

— Я поговорю с Мишкой, только при условии… — Он бросает взгляд на Шимшона, опускает глаза и снова работает рашпилем, — …если ты расскажешь нам всю правду. Мне надоели эти сплетни, я хочу знать: как было на самом деле?

Морщины на помятом лице Хаима складываются в бледную, вымученную улыбку.

— Вы хотите поднять меня на смех?.. И обязательно при свидетелях?.. Хорошо, я расскажу вам…

Он тревожно оглядывается и, убедившись, что дверь заперта, говорит:

— Вы хотите услышать от меня «да»? Пусть будет так. Что мне оставалось делать: ни детей, ни угла, ни пристанища на старости, только грыжа и одышка… Студент из подвального этажа говорил мне: «Потерпите, реб Хаим. Социализм излечит все наши болячки». Но где набраться сил терпеть? Студент умер с

голоду, а социализма нет как нет. Люди бросаются под электричку, чтобы умереть, я бросился, чтобы жить. Платит же бельгийское общество за отрезанные руки и ноги… Чем моя нога хуже?..

Голова Хаима еще глубже уходит в плечи, губы его вздрагивают, и веки закрывают глаза.

— Мальчиком меня отдали в ученье к столяру. Учили мало. Больше заставляли нянчить хозяйских детей. Дал бог — случилось несчастье: годовалый ребенок хозяина чуть не захлебнулся в тазу с водой. Взбешенная хозяйка ошпарила меня кипятком… Когда пузыри сошли и сползла с меня обваренная кожа, подмастерья задумали меня доконать — посадить голым задом на раскаленную сковороду. Я плакал кровавыми слезами, а они делали свое… Миша Турок напомнил мне подмастерьев. Мало я крови пролил на рельсах электрички, ему нужно еще мучить меня, доносить, что я бросился под колеса ради пенсии…

Он так же бесшумно исчез, как и появился. Никто не встретился ему на дороге. Хаим проскользнул со двора незаметно. Зачем бросаться в глаза, обращать на себя внимание, давать врагам повод лишний раз вспомнить о тебе…

Ночь темная, как пропасть. Редкие фонари с мигающими сквозь мутные стекла огоньками сверлят толщу мрака. Изредка послышатся шаги, прошуршит что-то рядом — и снова никого кругом. Внезапно тишину прорежет страшный крик, вспыхнут свистки, и стороной, невидимо, пройдет тревога.

Шимшон блуждает по тупикам и переулкам, огибает углы, пробирается ощупью и ускоряет шаги у фонарей. За ним едва поспевает Мозес, он сопит и задыхается. Бездельник так разжирел, что едва ноги волочит.

— Подождите… Вы не знаете дороги… Я пойду вперед…

Не видно ни зги. Шимшону кажется, что он ослеп и такой же, как он, слепой водит его вокруг пропасти; один шаг — и они сорвутся. Ему жаль себя, больно и грустно за свою судьбу.

Они идут сейчас к Люсе. Мозес сведет их и позже придет за ответом. «Ты еще мальчик, — сказал он Шимшону, — для такого дела нужен мужчина, не знаю, управишься ли… Главное — следить в оба, не оставлять ей лишнего гроша. Упустишь — пиши пропало, накупит себе тряпок и безделушек…» — «Как можете вы это мне предлагать, — хочет упрекнуть его Шимшон, — ведь мы евреи…»

— Жизнь всему научит, — продолжает Мозес, — приходится на все идти…

Бестия этот Мозес! Прежде чем задушить человека, он и

проповедь ему прочтет, и уронит слезу… Шимшон презирает этого жирного, откормленного кота, грабителя и обманщика бедных девушек. Он сделает вид, что во всем соглашается с Мозесом, проникнет в комнату девушки и откроет ей глаза. Она убедится в его преданности и доверится ему. Они покинут Молдаванку с ее кровопийцами и жертвами, будут трудиться и жить в честной бедности…

Над воротами висит фонарь, оклеенный красной бумагой, и глухо доносятся звуки фортепьяно. Мозес открывает калитку, и они вступают в узкий, тесный двор. На крыльце появляется старушка — добрая бабушка в ватной кофте; она кутается в платок и пристально разглядывает обоих. Они входят в большой зал, полный света и веселья. Тапер неистово бьет по клавишам расстроенного фортепьяно, вдоль стен на стульях сидят «гости», и «девушки» попарно кружатся пред ними.

Странная причуда: взрослые женщины, некоторые с сединой и морщинами на лице, — и в коротких, детских, до колен, платьицах! Как будто все сговорились вытащить из-под спуда свои давнишние платья. Они выросли из них, видны коленки с цветными подвязками, а у одной даже полоска оголенной ноги…

Может быть, тут представление, маскарад? Где же Мозес, куда он исчез?

Высокая, стройная девушка с длинной русой косой склоняется к молодому человеку и ласково шепчет:

— Яша, дорогой мой, посмотри на меня… Да ну же, Яшенька, взгляни на меня разок… Ты сердишься? Не надо, мой милый. Ну, улыбнись же. Подними голову…

Он сидит мрачный, со сдвинутыми бровями, веки опущены, губы сомкнуты. Она целует его глаза, разглаживает морщины на лбу, прячет пальцы в жестких его волосах.

— Ты молчишь. Слова не скажешь. Ведь это я, твоя Лия. Какой ты суровый… Ну, пойдем ко мне, посидим, посмотрим друг на друга…

Глаза ее блекнут, влажный туман застилает их.

Шимшон сидит рядом, запрокинув голову, пальцы его касаются ее платья. Ему жаль бедной девушки, молодой человек так суров с нею…

— Приходи, Яша, завтра, мы пойдем погулять… Не хочешь? Тебе стыдно показываться со мной? Отвечай же, родной, не томи меня. У меня будут деньги, накупим сластей, сходим в цирк, в кино «Слон» или «Победа» или поедем к сестре моей Анечке. Она родила чудесного мальчика…

Шимшону кажется это сном, никакого Яшеньки нет, стройная девушка с русой косой молит ласк и любви у него, Шимшона. Он

крепко стискивает край ее платья и желает, чтобы сон этот не прерывался никогда.

К нему подсаживается Мозес. Он успел уже хлебнуть, и губы его ярко-красны. Шимшон отворачивается, — до чего он противен!

— Не мешай им, — с усмешкой говорит Мозес, — это жених и невеста… Кивка-красавец испортил им счастье. Подхватил ее, поиграл и переуступил мне.

— Яшенька, — шепчет она, — пора тебе перемениться… Приходишь и молчишь. Что я тебе сделала? Тебе тяжело, а мне, думаешь, легче? Уж лучше совсем не приходи…

— Упрямый парень, — ухмыляется Мозес, — в Кивку-красавца стрелял… Тот чуть не убил его. Ребра, как ветки, обломал… Видишь шрам у виска — Кивкин стилет, тонкая работа… Ты его, Шимшон, не бойся, жених женихом, а в наши дела носа не суй… Погоди, сейчас я его спроважу… Яшенька, — вкрадчиво говорит он, — вас мамочка заждалась. Идите, голубчик, всему свое время. Девочке тоже надо жить…

Парень молча поднимается и, не глядя на девушку, уходит…

Снова они рядом. Рука ее ложится на руку Шимшона, и тело его покрывается испариной. Он где-то видел уже однажды эту стройную девушку с упрямым взором, непокорным подбородком и русой косой.

Пьяный Мозес хихикает:

— Снюхались, стервецы… Не смотри, что он маленький, — бедовый парень… Договаривайся, Люся, я буду здесь…

Так это Люся? Какое знакомое лицо! Где он ее встречал? У нее спокойные, как заводь, глаза и крошечные ножки в синих туфлях. Платье ее пахнет цветами, пряный аромат следует за ней… Эта грязная свинья Мозес всюду тычет свои лапы. Пусть сунется еще раз, пусть только осмелится!.. «Главное — не оставлять ей лишнего гроша…» Нет, дорогой выродок благочестивого резника, главное — спасти ее, вырвать из твоих рук…

— Давно вы здесь находитесь, Люся?

Шимшон зачесывает волосы за ухо и небрежно проводит ладонью по якобы вспотевшему лбу. Этот безукоризненный жест кого угодно приворожит.

Она здесь недавно, несколько недель…

И этого ангела он должен обирать, прикидываться ее покровителем и прикарманивать ее деньги… «Помогите хотя бы Люсе выкарабкаться из грязи…» Притворщик поганый! «Протяните ей руку и будьте друзьями…» Без вас обойдемся, без адвоката. Сегодня же Люся узнает всю правду. Слово в слово, как

было на самом деле… Но где же он встречал ее, эту девушку с длинной русой косой? Она похожа… Дайте вспомнить… Ну да, на сычавскую учительницу…

Люся ведет его по длинному коридору, отпирает маленькую дверь в розовую комнату, слегка задевает его платьем, обдавая запахом цветов.

Он никогда не видал такой стройной фигуры, гордо посаженной головы и таких тонких бровей. Не слышал такого смеха.

Она гладит его волосы, нежно треплет за ухо и говорит:

— Какой вы, однако, молодой…

И пальцы у нее белые, тонкие, отливающие розовым сиянием. Одно их прикосновение к глазам способно усыпить… Она обнимает его и прижимает к своей полной груди. Шимшон вздрагивает и решительно отстраняется. Это успеется, у него есть более важное дело.

— Скажите мне, Люся, почему вы здесь… то есть… почему не с ним, вот с этим, женихом вашим? Почему вы не уйдете отсюда, ведь вы его любите?..

Она опускает глаза и молчит.

— Он не возьмет вас теперь?.. Хотите, я поговорю с ним? Увидите, он согласится…

— Возьмет, не беспокойтесь, я за него сама не пойду.

Шимшон удивленно смотрит на нее и задумывается.

— Вы полагаете, — продолжает она, — что Мозес лучше Кивки? Они не выпустят меня из своих рук. Я приношу им хороший доход. Они убьют его, если он женится на мне… Он достаточно пострадал уже…

Она гладит Шимшона, прячет пальцы в его волосах и говорит вполголоса:

— Моя покорность спасает его. Яша думает, что я смеюсь над ним… Пусть думает. Мне жизнь его дороже его любви…

Шимшон сурово сдвигает брови.

— Мне нужно поговорить с вами, — холодно и решительно начинает он, — садитесь и выслушайте меня. Я знаю вас давно. Ваше имя не Люся, вы Мария Безродная, невеста Залмана из Сычавки…

Смущенная переменой и неожиданным допросом, она отодвигается от него.

— Неправда. По документам я Лия Файнгольд…

Какое это имеет значение, пусть называет себя как угодно.

— Я хочу спасти вас… Вам угрожает опасность…

Лицо ее искажается испугом.

Шимшон видит перед собой Мозеса, его кроваво-красный

язык, выползающий изо рта, и, исполненный омерзения к нему, шепотом говорит:

— Бежим отсюда, Мария. Они вытянут из вас все соки. Не смотрите, что я молод, у меня сил хоть отбавляй, я три пуда удерживаю на одном плече.

— Чего вы от меня хотите? — недоумевает она. — Какая опасность? Кто угрожает?..

Лицо ее бледно, глаза утратили покой.

— Подумайте, Мария, Мозес требует, чтобы я обирал вас, не оставлял вам ни копейки…

— А вы не обирайте. Какая же тут опасность?.. И зовут меня не Мария, а Люся…

Она не поняла его, ведь ей придется торговать собой. Как это ей объяснить?.. Ему стыдно, язык не поворачивается.

— Я не хочу этого, Мария, я люблю вас… Вы будете моей женой…

— Женой? — хохочет она. — Какой же вы муж?.. Бросьте глупости, раздевайтесь лучше.

Она быстро сбрасывает с себя кофточку, туфли и снова привлекает его к себе.

— Скорей же, голубчик, скорее… Мадам в любую минуту может постучаться… Раздевайтесь же, не один вы у меня сегодня.

Шимшон не двигается с места.

— Я люблю вас, Мария… Не делайте этого… Я буду ухаживать за вами, трудиться для вас…

— Хорошо, хорошо, ухаживайте, трудитесь… Откройте глаза… Что с вами?

— Мне стыдно, наденьте кофточку… Не смейтесь надо мной, Мария…

Она хохочет, кружится по комнате и смеется; раздетая, тянет его к розовой занавеске, закрывающей кровать, и шепчет ему нескромные слова.

Шимшон резко вырывается из ее рук и гневно кричит:

— Не смейте так разговаривать… Разыгрывайте мадам Гельфенбейн, не меня! Одевайтесь!..

Она пристально оглядывает его, плюет и грубо ругается:

— Фраер паршивый! Сопли вытри!.. Молоко на губах не обсохло!..

Крепкая рука выталкивает его за дверь.

Он сдвигает шапку набок, зачесывает волосы за ухо и спокойно уходит.

Теперь он, по крайней мере, ей ничем не обязан, пусть Мозес как угодно расправляется с ней…

ШИМШОН ПОЕТ «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ»

Гордая Ева надавала Кивке-красавцу пощечин и прогнала его. Оскорбленный любовник поклялся отомстить. В ту же ночь ее обокрали, унесли все пожитки и сбережения. Хозяйка отказала ей в квартире, и она без копейки оказалась на улице. Изнуренная и продрогшая, Ева стала часто заходить в трактир, согревалась чаем, молчаливая и неподвижная. Глаза ее слипались, щеки розовели, и с них медленно сходила синева. Кивка-красавец не знал пощады, он грозил придушить всякого, кто осмелится протянуть руку помощи. Она не могла больше появляться у гостиниц, встречаться с мужчинами, затравленная Кивкой и сворой его друзей.

Третий день в трактире только и говорят о Еве. Наконец-то ее сломили, гордую и кичливую красавицу. Заносчивая проститутка, она браковала мужчин, как девушка женихов, издевалась над богатыми людьми, словно не было женщины красивей ее на свете. Они ходили за ней табунами, выслушивали ее насмешки и исполняли ее прихоти. Теперь она пьет чай без сахара и едва держится от голода на ногах.

Мозес издали оглядывает Еву, черные глаза его впились в нее. Она не обращает на него внимания. Он облизывает губы и опускает голову. «Нет так нет, — говорят его опущенные веки, — подождем…»

— Она умрет, но не протянет руки, — шепчет Мишка Турок, — такие бросаются под поезд…

И Шимшон видит голую, выгоревшую степь, обложенную осенними тучами. Телеграфные столбы и рельсы уходят вдаль. На горизонте встает человек, одинокий в мертвой степи. Он растет и вытягивается, как вечерняя тень. Это — Ева. Она выходит на равнину, огромная и строгая, как монумент, медленно ступает наперерез дороге. Встречный ветер гонит ее прочь, треплет ее одежду, толкает в грудь и хлещет в лицо дождем. Шаг ее тверд, она опускается на колени и кладет голову на рельс. Ветер замирает, и над степью проносится поезд… Бегут мгновения, минуты, часы. Ева все еще на коленях, а поезду конца не видно. Тучи давно расступились, а по отцветшему полю все катятся вагоны…

— У нее гордые руки: такие женщины не просят, — говорит кто-то близко.

Шимшон вздрагивает, открывает глаза и видит Еву на прежнем месте.

— Свалится где-нибудь на улице, — качая головой, говорит

Турок. — Кивка ее никому не уступит…

…Поезд промчался, рассеченная степь слилась воедино, стянулась длинными стальными рубцами. Ева поднимает голову, встает и медленно отходит от дороги. Она идет по шумным улицам города. Все бегут, торопятся, одна Ева спокойно шествует по мостовой. Ее окликают; полицейский преграждает ей путь, обнажает шашку… «Расступись, — кричит Кивка, — сейчас она свалится. Не смейте трогать ее, она моя!..» Все трусливо разбегаются и уступают ее Кивке… Ева, бледная, стоит на мостовой, с упреком смотрит на улицу, на жестокую, холодную улицу, и валится, как колонна…

Шимшон вздрагивает и снова открывает глаза.

— Ничего, — говорит Мозес, — пусть поголодает. Правильно.

— Нет, Мозес! Или вы ей поможете или я это сделаю сам!

— Видели мы, как ты помогаешь, — жестко смеется студент, — перед девкой слюни распустил: «Я люблю вас… Буду трудиться…» Слюнтяй! Люся выставила его за дверь, — смеясь и кашляя, продолжает Мозес, — он не сумел ничего сделать с ней… Ха-ха-ха!

Турок хмурится, челюсти его сведены, губы сжаты.

Зараженный его решимостью, Шимшон встает и идет к прилавку.

— Дайте мне десять бубликов, — неестественно громко произносит он, скашивая глаза к своему столику.

Мозес облизывает губы и хихикает. «Попробуй, попробуй, — говорит его взгляд, — она тебя так отделает — не рад будешь… А не прогонит — еще хуже: к вечеру отведаешь ножа…»

Шимшон с бубликами в руке пускается в путь. Длинная, мучительная дорога… Он вспотел и задыхается. Ему кажется, что он должен пройти по одной половице. В трактире все вдруг умолкают, и сразу становится тихо. Шимшон кладет на столик связку бубликов. Он чувствует на себе множество глаз. На него смотрят с сочувствием и страхом, как бы сожалея о его безумном поступке. В ушах стоит звон, и — то ли ему кажется, то ли на самом деле — кто-то шепчет: «Остановись!»

— Вы не боитесь расправы? — спрашивает Ева. — Кивка таких вещей не прощает. Подумайте хорошенько…

К бубликам она не прикоснулась, они лежат там, где Шимшон положил их. Он еще может обратить затею в шутку и унести их с собой.

— Я никого не боюсь, ешьте на здоровье…

Обреченный на смерть! Ничто ему больше не страшно. Пусть эта гордая женщина не думает, что она одна способна на борьбу, есть люди, способные на большее, — на самопожертвование.

— Ну, как вы решили? — надменно усмехаясь, спрашивает Ева. — Вспомните, что вас ждет…

— У всякого свое удовольствие, — слово в слово повторяет он слова сапожника, — один находит его в глупой и честной бедности, другой — в роскоши за счет бедняка, третий — в смерти за благо других. Каждый выбирает то, что ему больше по душе…

Ее благодарный взгляд не дал ему докончить. Она протянула руку и принялась за еду.

Шимшон шел к своему столику как к эшафоту, сопровождаемый вздохами и насмешками. Ему было легко и весело, он был счастлив за себя.

Мишки и Мозеса он не нашел на месте, они бежали из страха разделить его участь. Напрасно! Он один во всем виноват. Здесь, за столиком, Кивка найдет его, он никуда не намерен бежать. Человек, отдающий жизнь за благо несчастных, не смеет быть трусом…

За столик садится солдат с георгиевским крестом и нашивкой вольноопределяющегося на погонах, снимает пояс, шинель и заказывает себе чаю. Шимшон пристально вглядывается в него и говорит:

— Я знаю вас, вы — Ицкович. Я встречал вас в «Альгамбре».

Солдат разворачивает газету, отчего на столе становится тесно, выкладывает на стол портсигар и вовсе оттесняет руку земляка.

— …Зовут вас Леонид Маркович… Вы жили на Болотной улице, в каменном доме с парадным ходом…

Ицкович оборачивается и глазами ищет полового. На лице его выражение нетерпения и досады.

— …Вы носили мантилью с золотыми застежками, а под мантильей скрипку в футляре…

Солдат ерзает на стуле, долго принюхивается к чаю и брезгливо отворачивается.

— Спитой чай к свежему подмешали… Уберите эту дрянь!

Половой божится, чуть не плачет и, взволнованный, уносит чайник. Ицкович тем временем берет ломтик лимона и разглядывает его на свет.

— Перемените и лимон. Тоньше не могли нарезать? С бедного солдатика шкуру долой?!

Половой бледнеет, просит не волноваться и стремглав несется к прилавку трактира.

— Пожалуйста, — шепчет он сердитому кавалеру, — из своих денег за чай заплатил. Зря придрались, чай — лучше не надо, первый сорт.

Ицкович вскакивает, зычно кричит: «Молчать!» — и, выпятив грудь с крестом, угрожающе поводит плечами.

— Я вас знаю, — шепчет Шимшон, — отец ваш содержит извозный промысел…

Он чуть не добавил: «Восемнадцать биндюжников, восемнадцать тружеников едят хлеб около своего благодетеля». Но кто знает, как легко им этот хлеб достается? Может быть, Ицкович не лучше Айзика Соломенского, который бьет своих биндюжников кнутовищем по лицу?

— А вы чем занимаетесь? — уткнувшись в стакан, спрашивает кавалер.

— Я торговал старыми журналами… Теперь они кончились, и я не знаю, что делать.

Ицкович вытирает потное лицо и впервые оглядывает соседа:

— Сколько вам лет?

— Семнадцать… Недавно исполнилось…

Он откладывает газету и теперь уже пристально смотрит на земляка. Взор его скользит по плечам, лицу и груди Шимшона.

— Исполнилось, говорите?

Шимшон робеет от настойчивого взгляда, ежится и прячет руки под стол:

— Исполнилось, восемнадцатый пошел…

— Превосходно. Счастливый возраст…

Он требует еще чаю и придвигает стакан Шимшону.

— Вы взволновали меня воспоминанием. «Альгамбра»… Фейерверк… Чудесное время, где оно?.. Закусывайте, мой друг, не стесняйтесь… Вы здесь с родителями или один?

Он расспрашивает Шимшона, пытливо заглядывает ему в глаза и участливо вздыхает:

— Как не понять… Бедность… Люди бессердечны…

Он знает Дувида-портного, реб Иосю, скорбит о Шимшоне и клянет его судьбу.

— Как жаль, что я так поздно узнал вас. Мы давно стали бы друзьями… Не унывайте, мой дорогой, вашим страданиям приходит конец…

Солдат придвигается ближе и, взволнованный, шепчет:

— Порядок вещей должен быть изменен, близится время великих событий…

Что он этим хочет сказать? Что за «время»? Чем оно отличается от нынешнего?

Ицкович мягко обнимает его.

— Довольно позора и бесчестья! Мир задыхается от страданий и насилия! — блестя глазами и дрожа от возбуждения, говорит солдат.

Трудно не согласиться, мир действительно задыхается от насилия; люди бьют друг друга кнутовищем по лицу, подкалывают невинных, не щадят бездомных… Слов нет, порядок вещей надо изменить.

Георгиевский кавалер улыбается и придвигает Шимшону закуску:

— Вы молоды, перед вами будущее… Широкое поле деятельности…

Когда он раскрывает рот, в уголках его встают прозрачные ниточки, они растягиваются, дрожат, обрываются. Шимшон не может отвести глаз от этих рвущихся струн.

— Нашему бесправию скоро конец! — говорит Ицкович.

— Это очень неплохо, но скажите, как мне добывать себе хлеб? Мне жить нечем…

— У вас всего будет: и хлеба, и славы, и почестей…

Ицкович ближе придвигается к Шимшону.

— Оглянитесь. Кругом — воры и убийцы, — шепчет он с жаром. — Они затянут вас в болото. Бегите! Спасайтесь!

Легко сказать «бегите». А куда? Кому он нужен, бедный неудачник?

— Зачем вы все это говорите? Я и сам прекрасно вижу… Но что же мне делать?

Ицкович улыбается. Рука его гладит обшлаг шинели, пальцы медленно скользят по серому сукну.

— Не стыдно ли вам отчаиваться? Взгляните на себя, вы — рослый и крепкий мужчина… Говорят, что нас, евреев, мало на фронте. Докажем, что это ложь, что мы идем туда добровольно… Советую вам, как другу: идите на фронт!

— Вы зовете меня на войну, — говорит Шимшон, смущенно оглядывая себя, — но ведь я еще очень молод… Меня не примут. Пожалуй, засмеют…

Ицкович привстает от удивления.

— Одумайтесь, бог с вами… Кто же это вас засмеет? Ведь вы — гвардеец, на редкость сложенный мужчина! Какие плечи, грудь, фигура!

Он разглядывает сутулую фигурку мальчика, впалую грудь, худые плечи и, восхищенный, всплескивает руками. Какая наивность — не знать самого себя!

Шимшон улыбается, вытягивает руки по швам и чувствует себя силачом. Ицкович любуется им и вдохновенно говорит, смеется, и крест подскакивает на его груди. Речь солдата течет ровно, гладко и торжественно. Чего ради скрывать, они стали друзьями. Единомышленники в великом деле, — ничто их не разлучит. Завтра отправляется маршевая рота, и они плечом к

плечу пойдут в бой. Шимшон вернется подпрапорщиком с широкой полоской галуна на погонах — у него будут два золотых и два серебряных креста.

Как мог Шимшон не полюбить Ицковича! Он первый назвал его мужчиной. Ну да, «рослый», «крепкий» — так оно и есть, нечего скромничать, но «гвардеец», «силач» — так искренне с Шимшоном никто еще не говорил. Посланник провидения пришел избавить его от Мозеса и Турка, ножа Кивки и указать истинный путь к счастью и славе. Это в честь их дружбы звучат фанфары на улице, раскатисто гремит «ура» и мерно шагают батальоны. Тысячи ног выстукивают: «Спасен… Шимшон спасен… спасен… спасен…» Пусть теперь Турок клянется, распинается — никто не поверит в его честность и благородство… Не трудитесь, дорогой Мозес, Шимшон за вами не пойдет, он останется порядочным человеком и будет зарабатывать свой хлеб честным трудом… Не смейтесь, реб Егуда, объясняйтесь с Натаном сколько угодно, вам не повезло: и обирать я никого не буду, и на пустыре не подохну, как беззубый пес… Они припомнят Шимшона, он вернется сюда, чтобы положить конец беззаконию и мерзости… Берко-дезертир не будет торговать больше белыми билетами, продавать «отсрочки» и воинские свидетельства. Вениямин-курносый перестанет фабриковать калек, делать грыжи, геморрой, вызывать шум сердца и глухоту…

Многое в тот день передумал Шимшон, многое пришло ему на память, только о смерти не подумал он.

Шимшон далек от мысли о ней. Сейчас его волнует жизнь. Он никогда не видел ее такой страстной, не ощущал так близко. Воздух распирает легкие. Все трудней и трудней ступать спокойным, размеренным шагом, не размахивать руками и стискивать зубы, чтобы не запеть. Какое наказание — видеть людей, провожать их сдержанным взглядом, казаться холодным и равнодушным, когда к каждому хочется подойти и дружески заговорить.

— Эй, газетчик!

Этот не обидится, с ним можно поболтать, он принадлежит всем.

— Как дела наши, дружище?

Он не совсем понял, морщит лоб и пожимает плечами.

Не сообразил? Ну, что нового на войне? Напираем? Десять тысяч пленных, три батареи и обоз в придачу? Нет, нет! Не в этом дело… Ему просто захотелось узнать… Перекинуться, словом — и ничего больше… Он недоволен? Напрасно! И отплевываться нечего. Нет так нет…

Суровый парень! Разносить такую весть — и не повеселеть ни

чуточки… Притворяется! Кто поверит ему?!

— Постой, земляк! Здравствуй, солдатик!

Бедняга! На нем грязная, в заплатах шинель, он хромает и опирается на палку. Лицо обросло рыжим волосом, воспаленные глаза недоумевают.

— Весело у вас на фронте, га? Здорово австрийцев потрепали, бегут без оглядки?.. Что такое, немец озлился? Еще бы, не поможет, разобьем… В Восточной Пруссии?.. Земляк шутит… Какой выдумщик… Нас кроют?.. Ого-го-го! Весельчак какой… Всего хорошего, желаю выздороветь и вернуться… Что такое? Вшей кормить?..

Город переменился, все нарядились в хаки, звенят шпоры и сабли. Рядом с бравыми вояками штатские — жалкие карлики… Всюду герои, кресты на лентах, золотое оружие, смелые и дерзкие лица. Они на витринах, на страницах журналов, ступают гордо, в серых папахах и червонного золота погонах… Он раньше не замечал их, не видел… Довольно! Он не желает быть больше посмешищем! Долой костюм окопавшегося дезертира, тыловика…

— Эй, Фишка! Как живешь, милый?

Здоровенный парень, косая сажень, стыдно ему отчаиваться.

— Плюнь на это… Нет денег — не надо… Отец болен — даст бог, поправится… Из квартиры выселяют? Ерунда — не посмеют… Махнем, милый, на фронт… Вернемся — все будет по-другому… Туда идут дураки? Круглые идиоты?.. А герои, слава, преобразование мира?.. Ты, кажется, был уже там, приехал в отпуск и задержался… Да ты не дезертир ли, сознайся?.. Куда ты?.. Не беги от меня, Фишка… Я не доносчик, стой!..

К черту этот позорный костюм! В кармане у него десять рублей. Ботинки и подушка ему больше не нужны. Сегодня он купит себе солдатский костюм… Скорее домой! С крыши высокого дома ему кивает трехцветный флаг, тянется к нему, вот-вот оторвется от древка…

Улица выглядит буднично, словно ничего не случилось. Дом огромными окнами смотрит на толкучку, заваленную грязными перинами, железным хламом и тряпьем. Во дворе тускло и серо, вдоль и поперек растянуты веревки с бельем: синие и белые, развеваются над этажами штандарты нищеты…

Толкучка напоминает поле брани, не хватает только брошенных пушек и зарядных ящиков. Гетры французской и английской армий, сапоги солдатские и офицерские, гимнастерки и френчи, шаровары и брюки галифе. Пояса немецкие, австрийские и русские, горы фуражек, шинелей, ранцев и фляг… На каждой вещи следы пули, комочек грязи или ожог. Запахи галлипольских поражений и галицийских побед, сарыкамышских

испытаний, отступлений и разгромов смешались в мощный аромат войны. Оттого так близки Шимшону эти трофеи, так дорога каждая царапина на них… Он трогает солдатский картуз, нежно гладит околышек неизвестного героя, примеряет пояс с орлом на медной бляхе и ищет на нем следов истории. Так и хочется сказать: подайте мне гимнастерку из-под Перемышля, шаровары из Мазурских болот и сапоги победоносной Кавказской армии…

Егуда-сапожник оглядывает его, одетого в военную форму, и ничего не говорит. Манера упрямца не изменилась.

— Я уезжаю завтра с маршевой ротой на фронт, — объявляет Шимшон. — Говорят, там мало евреев, я иду добровольцем… Зачем? Опять этот нелепый вопрос… Победоносная война положит конец нашим бедам… Что вы сказали? Еще одно заблуждение… Я скоро вернусь, чтобы пристыдить вас… Отсюда далеко не уходят? Деваться некуда? Посмотрим!..

В эту ночь ему снились батальоны и длинные обозы, нагруженные знаменами. Воинские колонны шли по вражеской земле…

Оркестр оглушительно гремит, толпы людей на тротуарах провожают солдат глазами. Увешанные мешками, лопатами, флягами и винтовками, с примкнутыми штыками, они зеленой массой стекаются к вокзалу. Вслед за ними вдоль тротуара плетутся женщины с детьми. Заплаканные и измученные бессонницей, они дневали и ночевали у полковых ворот, чтобы попрощаться со своими братьями, отцами и мужьями, перекинуться последним словом…

Музыка умолкает, и ритмичный стук сапог нависает над улицей. «Левой!» — командует молодой офицер из студентов, с подчеркнутой важностью озирая прохожих. «Левой», — вторит взводный. «Левой», — отчеканивает Ицкович. «Левой», — шепчет про себя Шимшон и ступает с правой ноги…

Слабый, дрожащий голос плаксиво затягивает: «Чубарики-чубчики…» Эхо откликается бодрой песней. Шимшон поет. Песня его звучит восторгом, радостью неведомого, но близкого счастья. Он напрягает все силы, чтоб вспорхнуть над гущей звуков и поразить улицу своим звонким голосом. Длинная, до пят, шинель затрудняет движения, фуражка надвигается на уши. Шимшон не унывает, шагает легко и уверенно, легче и уверенней остальных. Споткнувшись, он быстро выпрямляется, ловко отбрасывает назойливую полу и бодро ступает дальше.

Слева идет взводный, пожилой солдат с четырьмя георгиевскими крестами на груди. Глаза прохожих устремлены на него. Ему завидуют. Счастливейшие из них готовы с ним

поменяться, отдать ему все блага за право называться кавалером четырех степеней… Эти завистливые взгляды скоро будут устремлены на него, Шимшона. «Семнадцатилетний герой! Кто это?» — спросят прохожие у Ицковича. Он улыбнется и скажет: «Сруль Липский». Так и скажет. Что, если он в самом деле его так назовет? Ведь это не шутка, все ордена и заслуги Шимшона отойдут к какому-то Срулю Липскому… Странная причуда у Ицковича — окрестить его новой фамилией! Почему он должен откликаться на чужое имя? Как узнают его под этим именем друзья и враги?..

С правой стороны шагает молодой солдатик. Лицо его сияет, он восторженно улыбается, ноги подпрыгивают, сбиваются с ритма, а руки странно ходят взад и вперед… Вокзальные ворота раскрываются, оркестр играет «Боже, царя храни». Все поют. Один взводный не поет, стоит хмурый; губы сомкнуты, глаза суровы…

Железные ворота замыкаются; их осаждают женщины и дети. Они голосят, причитают, плачут навзрыд…

Поезд прорезает снежную равнину и с разбегу уходит в лес. Молодые дубки бросаются врассыпную, передние ряды — вправо, задние — влево. У поверженной березки мелькает серый зверек и тонет в снегу… За лесом снова поле, долгая волнистая степь, ведущая через холмы и долины к вершинам доблести и славы.

В теплушке все давно расположились на нарах. Одни лежат, другие закусывают, некоторые расселись вокруг чугунной печки, курят и разговаривают. Кто-то затянул песенку, и молодой солдатик пляшет под нее. Он устал, тяжело дышит, уши его пылают, крупные капли пота выступили на лбу и подбородке. Взводный снял шинель, расстегнул ворот гимнастерки и, сумрачный, следит, как солдат Кузьмичев прочищает решетку печи. Шимшон любуется своим командиром, георгиевским кавалером всех степеней: у него черная вьющаяся бородка, худое, бледное лицо и высокий белый лоб. Его зовут Израиль Бык.

Вот он смотрит куда-то вдаль, как будто сквозь стены теплушки; густая бровь почти закрыла его левый глаз. Лицо сосредоточенно, как у человека, решающего трудную задачу. Широким жестом он вытирает с лица пот.

Вот он — герой! Крепкая, волосатая грудь, широкие крутые плечи и большая львиная голова с космами черных волос. В движениях — сила, в голосе — решимость…

— Сукин сын каптер, ни одной тесемки на подштанниках, — говорят на нарах.

— Чего захотел! У меня вон штаны без единой пуговицы…

Шимшону нет дела до этих жалоб. Восхищенный его взор устремлен на взводного. Этому не до мелочей. Мысли его,

должно быть, на поле брани — там, где знамена реют в бою…

— Ложки щербатые, махорки не хватает, недодают, сволочи, на базар все тащат…

— Жиреют на солдатской кровушке…

Взводный поднимает голову, закрывает глаза и сильно закусывает губу.

Кузьмичев откладывает кочережку и тихо берет командира за плечо:

— Будет, Израиль, не надо…

Взводный поднимает тяжелые веки и устремляет на него злые, напряженные глаза.

Солдатик продолжает плясать, никто больше не подпевает ему, он прыгает, как исступленный, бледный, с вытаращенными глазами и заострившимся носом. Вдруг он останавливается, переводит дух и надрывно кашляет.

Пальцы командира вонзаются в собственную руку, они комкают, терзают ее, и розовые лунки выступают из-под ногтей.

Кузьмичев укоризненно качает головой и размыкает его сомкнутые руки:

— Будет, Израиль, говорят тебе, не надо…

Солдатик подходит к взводному и шепчет:

— Пошли плясать, вдвоем веселей…

Лицо командира гневно, кулаки сжаты. Солдатик смотрит на него и хохочет.

— Иди своей дорогой, — с деланной суровостью говорит Кузьмичев.

Упрямец не отходит, он держится за бока и хохочет. Взводный скрежещет зубами, брови его перекосились.

— Не слушай ты его, — умоляет Кузьмичев командира, — дай ему свое отплясать, горе свое высмеять… Видишь, не в себе человек…

Ласковая рука гладит руку взводного.

— Пусть его, Израиль, пляшет. Смеется — и ладно… Пусть радуется…

Поезд подходит к станции, с платформы доносится «ура», и зычный голос выкрикивает: «Да здравствует наша доблестная армия!» Снова снежное поле, долгая волнистая степь, ведущая через холмы и долины к вершинам доблести и славы.

Солдатик не унимается, как будто сам себя тешит. Взглянет на сурового командира и прыснет. Окинет взглядом Кузьмичева и начнет хохотать…

На нарах молчат, никто не остановит, не упрекнет его.

— Голубчик Израиль, — мягко просит Кузьмичев, — не слушай ты, не гляди… Пройдет это…

Взводный сильнее стискивает челюсти и прячет под нависшими бровями глаза.

Солдатик больше не смеется. Обессиленный пляской и хохотом, он только ухмыляется, скалит зубы и смотрит на командира. Кузьмичев тревожно следит за обоими и вдруг, словно чего-то испугавшись, уходит в дальний угол вагона. Так спасаются от грозы после первой вспышки молнии.

Взводный выпрямляется; высоко взлетают его руки и еще выше — оглушительный рев:

— Ма…л…л…л…ча…ть!..

Солдатик болезненно усмехается, склоняет голову и умолкает.

На нарах по-прежнему спокойно. Кузьмичев сокрушенно качает головой, но не двигается с места.

— У…у…бью!.. За…ду…ш…ш…шу!..

Теперь Кузьмичев возвращается и усаживает взводного:

— Ну ладно… Покричал — и хватит… Пусть его!..

Испуганный Шимшон отодвигается в сторону, со страхом смотрит на взбешенного командира и вдруг чувствует на себе его взгляд.

Гнев спадает, брови выпрямляются, разжимаются стиснутые зубы… Взводный долго молчит и, облокотившись, смотрит вдаль.

Кузьмичев прочищает печку. Потом находит оторвавшуюся пуговицу и, не говоря ни слова, начинает пришивать ее к рубахе взводного. Иголка медленно скользит в неторопливых руках. Головы друзей рядом, одна — мятежная, львиная, другая — трогательно благодушная.

Было время, когда в боях под Тарнополем взводный командир Израиль Бык подобрал раненого солдата Кузьмичева и на плечах доставил за три версты в лазарет. Кузьмичева уволили в долгосрочный отпуск, а Израиля Быка, георгиевского кавалера четырех степеней, послали на поправку. По дороге он натворил много бед, много всякого добра перепортил и чуть не попал в тюрьму. Взводный унес с фронта неотвратимую злобу. Она вспыхивает внезапно. В такую-то минуту Кузьмичев вмешается, упросит, уговорит.

Поправиться командир не поправился, со всеми перессорился, перепугал насмерть сестер и врачей и до срока попросился в армию. Примчался и Кузьмичев из деревни: куда уж друга пускать одного, набедокурит, а там и крестов лишат, а то и расстреляют, пропадать — так вместе, — и поехал обратно на фронт.

Шимшону тесно и страшно от внимания взводного, он прижимается к стене и беспомощно озирается. А Кузьмичев уже

уговаривает друга «отдохнуть, полежать», укрывает его своей шинелью и, озабоченный, возвращается к печке. С нар скоро раздается храп, Кузьмичев крестится, шепчет «слава богу» и подсаживается к молодому солдатику. Скручивает цигарку и подносит ему.

— Нехорошо так, Ваня, не по-братски поступаешь, — журит и поучает его Кузьмичев. — Знаем мы, что ты умом того… поколебался, видим твои страдания, только зря ты к нему пристаешь… Не его вина, что тебя забрали, понимает он твое положение, и нечего тебе, друг любезный, на невинном человеке обиду срывать… Обещает хлопотать, чтоб тебя на фронт не пускали, надо будет — все горой станем, только не мучь его. Сам видишь — человек не в себе.

Солдатик сидит на полу, тихий и задумчивый, курит и пускает дым между колен.

— Чем же я его обидел? — спрашивает он. — Не помню, Кузьмичев. Неужели буянил?

— Не помнишь, ладно. И вспоминать нечего… У меня вон у самого болячка, душит она меня, а только на других не стану валить…

Он оглядывается на спящего взводного, ближе придвигается к солдатику и вполголоса рассказывает:

— Жена у меня в деревне осталась, молодая, крепкая, работница, не сыщешь такой. Как позвали на войну, страсть до чего уходить не хотелось… Приезжаю домой на поправку — там за ней сосед, Стенька Беззубый, увивается, а бабе не сегодня-завтра рожать… Говорит: дитё мое, — а как его узнаешь?.. Вот я и загадал: ежели сынок — так мой, а девка, — значит, шлюха, его… Не пришлось только дождаться срока… Давеча письмо мне прибыло, никак Израиля не упрошу прочитать.

Молодой солдатик бросает окурок, плюет на него и спрашивает:

— А ежели она девку родила, что ты с ней сделаешь?

Кузьмичев отворачивается и молчит.

— Ты б кого другого попросил прочитать, грамотеев тут много…

— Куда там! — решительно машет рукой Кузьмичев. — Лучше его никто не прочтет. Другой такого начитает — беда. Ходишь потом сам не свой… А у Израиля рука легкая, всегда все в порядке…

День меркнет, край неба — в огне, и снег подергивается голубой поволокой. Поезд мчится навстречу ночи. Ветер приносит обрывки песни — стон тоскующей степи:

Прощай, жена, прощайте, дети.
Прощай, родная моя мать,
Я уезжаю на рассвете,
Зачем вам слезы проливать…

Звенят железные буфера, ритмично стучат колеса…

Взводный сбрасывает с себя шинель, потягивается и спрыгивает на пол. Он дружески хлопает по плечу Кузьмичева, подмигивает молодому солдатику, точно никогда на него не сердился, и заразительно смеется. Небо и земля мрачнеют, воздух стынет, сочится из множества щелей и колеблет огонь свечного огарка. Широкая тень взводного пляшет на стенах, замирает в углу и вытягивается до потолка.

Кузьмичев зажигает другую свечу, придвигает ее к командиру и заискивающе усмехается:

— Прочитай, голубчик, письмо, сделай милость… На душе у меня ровно мыши скребут…

Взводный надрывает засаленный конверт и вдруг передумывает:

— Потерпи немного, успеется…

Сейчас ему не до того. Надвигается долгая, скучная ночь, надо хоть капельку повеселиться.

— Как тебя звать? — спрашивает он Шимшона.

Этот не взыщет, над ним можно и посмеяться, парень еще молодой.

Шимшон доверчиво смотрит на него. Львиная голова с черными космами волос больше не пугает, вьющаяся бородка как бы кивает ему: «Не бойся, смелей…»

— Меня зовут Шимшон Гал… то есть… Сруль Липский…

Ну и память, третий раз он сегодня путает.

— Ка-ак?!

Командир проводит рукой по лбу и несколько раз повторяет:

— Сруль Липский… Липский… Да, да, да, рядовой второго взвода первой роты. Ха-ха-ха… Сруль… ха-ха-ха-ха… Липский… ха-ха-ха…

Чудесный смех! Он обнаружил сокровенное, невидимое, разрумянил лицо взводного весельем, зажег глаза.

— Как же мы, Сруль Липский, живем?.. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!..

Хохотал весь вагон, смеялись во всех углах, солдаты вознаграждали себя за молчание и скуку минувшего дня.

— Разрешите представить: Липский, отец — заводчик, дядя — знаменитый оптовик…

Смущенный и испуганный Шимшон с тревогой оглядывался,

искал поддержки и встречал насмешливые лица, многозначительные взгляды.

— Кто тебе сказал, что ты Сруль Липский?

Снова оглушительный хохот и топанье ног от восторга. Такое веселье выпадает не часто.

— Мне сказал это Ицкович… вольноопределяющийся Ицкович…

Взводный сразу становится серьезным, глубоко засовывает руки в карманы и крупно шагает по вагону:

— Что, Кузьмичев, потешимся?

Тот не отвечает. Какая уж там потеха? Опять ему не прочтут сегодня письма.

— Ну как, ребята, повеселимся, что ли?

Не узнать командира, другой человек: высокий белый лоб невозмутим, глаза возбуждены радостью.

Лица солдат выражают нетерпение, косые взгляды их недружелюбны, и все-таки Шимшону не страшно. Высокий и крепкий командир с крутыми плечами, распирающими гимнастерку, не даст его в обиду… Пусть на здоровье радуется, высмеивает Липского, — в этом нет ничего обидного, наоборот, он ему даже поможет.

— Я был уверен, что в армии все меняют свое имя и фамилию…

Взводный больше не смеется, он отводит Шимшона в сторону и заводит с ним разговор на еврейском языке:

— Мы, слава богу, свои, Шимшон, евреи, расскажи мне все, не стесняйся…

Близится полночь. Израиль Бык слушает невеселую повесть о мытарствах и скитаниях, слушает и расспрашивает, он хочет знать все, абсолютно все.

Кузьмичев прерывает их. Он трогает командира за рукав и с укором шепчет:

— Опять письма не прочитал… Третьи сутки пошли…

Он зажигает свечу, сует ее в руку Шимшону и начинает почему-то суетиться. Взводный осторожно расправляет письмо и, прежде чем читать вслух, пробегает его глазами. Кузьмичев быстро успокаивается, садится на пол, обхватывает коленки руками и устремляет на друга жадные, немигающие глаза. Свеча бросает яркий свет на густо исписанную четвертушку бумаги, и строки вытягиваются пред Шимшоном.

— «Здравствуйте, глубокоуважаемый муж мой Ипполит Иваныч. Шлет вам низкий поклон жена ваша Степанида Федоровна и желает вам благополучия и в делах ваших всякого успеха. Низко кланяется вам ваша тетушка Лукерья Павловна, и

еще кланяется сосед наш Иван Галактионыч. Сообщаем вам, Ипполит Иваныч, что все мы живы и здоровы, чего и вам желаем. Еще кланяется вам бабка Серафима Тимофеевна и шлет вам низкий поклон. Еще просил вам кланяться братец ваш Андрей Иваныч. Сообщаем вам, глубокоуважаемый муж мой Ипполит Иваныч, что родился у нас сын, как того вы сами желали, в полном здравии и счастье. Что касаемо соседа нашего Стеньки Беззубого, то мы его с божьей помощью отвадили, не показывается боле. Корова наша Пеструшка и кобылка Гнедая в полном здравии и благополучии…»

В письме всего этого не было. Шимшон прочитал другое:

> «Еще сообщаю вам, глубокоуважаемый муж мой, что наказал нас бог за грехи наши и родилось у нас мертвое дитё — девочка… Что касаемо соседа нашего Стеньки Беззубого, то сладу с ним нет. Пристает, душу выматывает, и нет у меня сил больше терпеть… Прахом идет наше хозяйство. Пеструшка занемогла, молока более не дает, а кобылку Гнедую ликвизировали. Заместо лошади квитанцию оставили…»

— Хорошо! — сияет Кузьмичев. — Спасибо, Израиль Матвеевич, обрадовал ты меня…

Он заворачивает письмо в газетную бумагу и сует его в патронташ.

— Сделай милость, Израиль Матвеевич, напиши ты ей несколько слов… Опять неделя зря пройдет…

Взводный не заставляет себя просить, растягивается на скамье и, не прислушиваясь к диктовке Кузьмичева, бегло пишет:

> «Здравствуй, Степанида Федоровна!
>
> В первых строках моего письма сообщаю тебе, что я жив и здоров, чего и тебе от всего сердца желаю. Письмо твое я получил, и больно было мне узнать о смерти нашего любимого дитя. На все господня воля. Что касаемо кобеля Стеньки Беззубого, мой тебе совет — не поддаваться, а в случае нужды бей коленками промежду ног, враз охота отпадет. Не больно с ним ссорься, не то, сволочь, хату спалит…»

Кузьмичев в сотый раз повторяет «хорошо», хвалит супругу и желает ей много лет здравия, а отделенный пишет:

> «А свяжешься с ним, сука, на свою погибель, приеду — убью, в живых не оставлю… С солдата не

взыщут, еще похвалят…».

— Готово, давай конверт.

— Постой, постой, — просит Кузьмичев, — припиши еще: «Что касаемо до Израиля Матвеевича, друга нашего, то решил я не покидать его до последней минуты… Даст бог, война кончится, и приедем с ним в деревню…»

Взводный приписывает:

> «Главное, не давай мужикам повода, чтоб не срамили меня пред народом… Береги себя, и помогай тебе бог… Снилось мне прошлой ночью, что мы в нашей речушке рубахой пескарей ловили, должно быть, к добру…»

В вагоне все спят. Солдаты лежат рядами на нарах. За спиной Шимшона громко храпит взводный, часто ворочается Кузьмичев. Впереди лежит молодой солдатик — неугомонный плясун. Он вскакивает, бормочет, вскрикивает и снова засыпает. Свеча погасла, в печке догорают угли, холодный ветер сочится из щелей. Шимшон не спит, кутается в шинель и ждет утра. Ночь тянется, гнетет мраком и тоской.

Шимшон лежит с открытыми глазами и думает. Почему они смеялись над ним? Что бы это значило?

Приходит утро. Первым вскакивает командир. Веселым окриком он будит солдат и смеется. На стоянке он трет лицо снегом, кроша белые глыбы жаркими руками. На печке вскипают бачки. Кузьмичев развязывает свой мешок, выкладывает кусок сала и подзывает взводного и Шимшона. От раскаленной печки становится жарко, и кто-то раскрывает дверь. В широкую щель зима врывается легкой и прозрачной дымкой. Из вагона видны заснеженная станция, заиндевевший колокол и неторопливо разгуливающие солдаты.

Неожиданно взводный срывается с места, бежит к двери и громко кричит:

— Господин вольноопределяющийся! Господин Ицкович!

Он выпрыгивает наружу, и они возвращаются вдвоем.

— Не откажите с нами позавтракать… У Кузьмичева сало первый сорт…

Взводный сам отрезает ему кусок хлеба и придвигает сало. Никто не верит в искренность его радушия. Этот Израиль кого угодно проведет, над кем угодно посмеется. Солдаты делают вид, что не обращают внимания, а на самом деле не сводят с них глаз.

— Далеко с нами едете? — набивая рот хлебом и салом,

спрашивает взводный.

Ицкович немного смущен. Лучше бы окружающие думали, что он направляется на фронт. Командир мог бы спросить его об этом наедине.

— Прекрасное сало, — вместо ответа восхищается Ицкович, — во рту тает.

Он нисколько не сердится на взводного, ему просто хочется поговорить о чем-нибудь другом, пусть о сале, этим никого не обидишь.

— Счастливая жизнь, — вздыхает командир, исподлобья кивая Шимшону, — тебя осыпают цветами, тобой восхищаются, а ты себе махнул до фронта — и назад… Дешево и сердито… Сопровождающий маршевых рот! Сопровождающий!..

— Спасибо за угощение, — торопится Ицкович, — меня ждет командир.

— Посиди еще, чайку выпьем… земляка твоего послушаем… Расскажи нам что-нибудь, Шимшон… то бишь Сруль Липский…

В вагоне поднимается хохот и свист, сидящие на нарах в восторге стучат ногами по доскам. Они благодарны командиру за представление, за маленькую возможность потешиться.

Лицо Ицковича леденеет. Молодой солдатик ни с того ни с сего пускается вдруг в пляс. Он подпевает себе, щелкает пальцами и свирепо молотит ногами пол.

— Окопались в тылу и пакостите! — высоко взвивается голос Израиля Быка.

Львиная голова в вихрах черных волос пугает своей решимостью. Одна бровь перекашивается и почти закрывает левый глаз.

— Мальчишку в петлю затянули, а здорового паренька домой отпустили? Липский в бегах, а Шимшон за него голову клади?.. Наш брат, серая скотина, вывезет… Сволочь! На фронте я тебя, подлеца, расстрелял бы!..

Ицкович молчит. Он смотрит с упреком на Шимшона и опускает глаза.

Кузьмичев решается действовать. Он осторожно берет взводного за рукав и пытается его успокоить:

— Хватит… Обругал — и бог с ним…

В вагоне вдруг становится тихо, никто не шевельнется, даже плясун замирает на месте. Взводный мягко отводит руку Кузьмичева и язвительно смеется:

— Очки втираем, господин вольноопределяющийся! Патриотические речи по трактирам произносим! Крестиком козыряем… А крестик за триппер получили… Пороху и не нюхали… Вот он, герой! Царица Мария Федоровна раненым

кресты раздавала, ну, и он из венерического отделения подоспел… Не так, скажете, было? Га? Отвечай сволочь!..

Молодой солдатик пляшет и вытирает с лица пот. Взводный смотрит на него с сожалением, спокойно, как будто и не было ночной вспышки.

Ицкович, не поднимая глаз, уходит. Командир опускается на скамью и продолжает есть. После завтрака он подзывает Шимшона, привлекает его к себе и крепко ущемляет его коленями.

— Тебя обманули, мой мальчик, ты слышал? К полку ты не приписан, к маршевой роте тоже… Сруль Липский в бегах, и ты его не заменишь… Возвращайся домой.

У них будет длинный разговор, серьезный, надо выбросить из головы патриотическое вранье Ицковича, Шимшону нечего делать на фронте, незачем зря погибать…

Шимшон вскипает гневом. Кто дал взводному право так разговаривать с ним? Лучше бы он посоветовал это себе… Сам спешит до срока на фронт да еще Кузьмичева за собой тянет… Спасибо на добром слове, но советы его излишни…

Взводный сконфуженно молчит, пожимает плечами и даже краснеет. Ему не хочется ронять себя в глазах солдат, и он заговаривает по-еврейски:

— Ты напрасно сердишься, я хотел тебе помочь… Мне просто жаль тебя. Дома у меня остался братик одних лет с тобой. Я тоже был когда-то человеком, мог жить среди людей. Теперь это мне не по силам. Злоба делает меня бешеным… На фронте за это похвалят, а в тылу иное дело… Я слишком честен для тыловой жизни и еду на фронт переждать войну…

Странно было, что человек, который держит в повиновении взвод солдат, свирепый и неукротимый, так мягко уговаривает его, Шимшона, и конфузится.

— Я не хочу отставать от других, — менее резко говорит Шимшон, — я такой же доброволец, как Кузьмичев, Петренко, Слободов и Иваненко…

Взводный усмехается и снисходительно шевелит бровями.

— Нет, не такой. У каждого свой интерес в войне… Кузьмичев не отстает от меня, он уговорил себя, что обязан лечь костьми рядом со мной. Петренко бежит от сварливой жены, он все перепробовал, осталось одно средство — фронт. Слободов едет за «Георгиями», ему хочется в деревне мужиков пугать. Иваненко спит и во сне штыковые атаки видит. Скучно, говорит он, на свете, охота ему запустить в человека штыком… Э-э-ох! Крестики вам голову вскружили… А знаешь ты, Шимшон, за что их там получают? Вот этот мне дали «за удачную разведку»,

разнюхал и доставил полковому начальнику бочку вина… Отбил батарею у врага — никто не отличил, обнаружил мину под нашими окопами — спасибо не сказали… Я ношу эти кресты, чтоб показать их цену…

Больше он не проронил ни слова. На станции Подволочиск взводный явился с жандармом.

— Прощай, Шимшон, — сказал он, — всего хорошего… Не сердись на меня… На фронте тебе делать нечего… Не забывай нас…

Шимшона приводят в арестантскую. Щелкают затворы, скрипит дверь, и суровая рука вталкивает его в камеру… Точь-в-точь как в романе «Каторжники»: враги торжествуют, жертва под замком. Теснота и грязь, спертый воздух и надписи узников на стенах, предсмертные стихи и вместо подписи пронзенное стрелою сердце. Заключенные молча встречают его, оглядывают, перемигиваются. Сейчас они бросятся к нему, и начнутся издевательства… Он отдаст им все, что у него есть, но им этого будет мало. Тюремщики с одной стороны, арестанты — с другой, они до смерти замучают его.

Через решетки окон виден вокзал и военный эшелон на путях. Вдали сереет шинель у вагона. Может быть, это Кузьмичев, молодой солдатик — неугомонный плясун или взводный… Добрый человек! Мог ли он подумать, что невинного Шимшона посадят в тюрьму, в камеру воров и убийц? Если бы ему дали знать! Только намеком. О, жандармам не поздоровилось бы! Взводный Израиль Бык прежде всего любит справедливость. Ему ничего не стоит собрать свой взвод, подступить к тюрьме, окружить ее и повести правильную осаду…

Эшелон трогается с места и словно нехотя пускается в путь. Ему нечего спешить, он оставил здесь пассажира, обрек его на страдания и одиночество. Зеленый флажок — последняя надежда — рвется, трепещет и, насильно увлекаемый, исчезает вдали.

Шимшону обидно и тяжело. Как легко люди покидают друг друга в беде, бросают в несчастье… Где человечность, сочувствие и отзывчивость? Жандармы теперь могут делать с ним что угодно… Он — бездомный и одинокий… Кто за него заступится? Его оденут в грубый арестантский халат, закуют в цепи, запрут в одиночную камеру. Там он будет томиться, молить о пощаде и плакать. Раз в месяц к нему будут приходить на свидание родные. Отец заплачет и все-таки скажет: «Мои пророчества сбылись, я говорил, что он окончит жизнь в тюрьме…»

Из глаз Шимшона бегут слезы. Окно мутнеет, все сливается перед глазами. Он напрягает зрение, чтоб разглядеть людей, —

напрасно. Слезы закрывают свет, между ним и миром встает туман…

В камере одни евреи, оборванные и искалеченные, с жалким скарбом и множеством детей; они говорят по-еврейски со странным акцентом, употребляя непонятные слова. Кто они? Как попали сюда? У стены сидит девушка с большими черными глазами. Платье ее изорвано, и она стыдливо кутается в рваный платок. У нее полные, розовые руки и раздвоенный подбородок. Что она сделала, какое преступление совершила? Убила? Ограбила? Нет, нет, ей не место здесь… Сосед ее справа, старик с длинной бородой, — этот, несомненно, фальшивомонетчик, один из тех, кто в тайном подземелье чеканит монету… Другой, со шрамом на щеке, — типичный дезертир, должно быть, бежал с фронта… Лежащий в углу молодой человек, конечно, из компании Мишки Турка или Мозеса. Видно по всему… Судьба к нему немилостива. Он рвется к свету и славе, жаждет счастья, а она тянет его на путь бесславия и позора…

— Что с вами, молодой человек, — спрашивает старик, — почему вы плачете?

Шимшону противен этот старый злодей. Он отворачивается от него.

— За что они вас арестовали?

Неожиданно вмешивается молодая девушка с полными, розовыми руками и раздвоенным подбородком:

— Зачем тебе, отец, допытываться? Человек не хочет говорить, и не надо…

С нею бы Шимшон с радостью поговорил, только бы она к нему обратилась.

Старик широко разводит руками и высоко поднимает брови. Недоставало только, чтобы еврей еврею не доверял.

Шимшон думает, что отец этой милой девушки не может быть преступником, и решается ответить ему:

— Я страдаю невинно… Бог им судья, они несправедливы ко мне…

— Хорошо! — соглашается старик. — Но все-таки, что вы сделали?

Девушка вопросительно смотрит на Шимшона, и он не в силах отказать ей.

— Я — доброволец… Моя маршевая рота ушла на фронт…

— А вы отстали?

— Нет, меня сняли с эшелона. Я не приписан к полку и не имею права следовать на фронт…

— Ну? — недоумевают окружающие. — Дальше?..

— Вот и все…

— Только-то? — с мрачной улыбкой спрашивает старик. — И вы потому плачете, что вас туда не пускают?

Все переглядываются и улыбаются, только девушка почему-то краснеет и нежно смотрит на него. Старик гладит ее руку, и глаза его наполняются слезами.

— Не надо, отец, успокойся, — нервно кутаясь в шаль, просит она, — пора уже забыть…

Он стоит посреди камеры, высокий, прямой, как патриарх, с головой, опущенной на грудь; худые его плечи часто вздрагивают.

Как легко иногда ошибиться, несправедливо заклеймить человека! Что в этом старике дурного? Несчастный окаменел от горя, сейчас он поднимет руки, устремит к нему глаза, и прозвучит пророческая речь…

— Доброволец, — печально усмехаясь, говорит он, — доброволец… Э-эх, дети, дети, зачем вы жизнь свою отдаете нашим врагам?!

Шимшон хочет возразить, что нет большего счастья, как умереть за родину, но, прежде чем он успевает раскрыть рот, в помещение входит жандарм. Он окидывает всех строгим взглядом, делает Шимшону знак следовать за ним и приводит его в небольшую светлую комнату.

Первое, что Шимшон видит пред собой, — это большой портрет царя в багетной раме, карту военных действий и трех жандармов вокруг стола. Двое из них сидят по бокам, третий, в форме жандармского офицера, в пенсне, склонился над бумагами.

— Садитесь сюда, поближе, — приветливо приглашает его офицер, — не стесняйтесь.

Почему он должен стесняться? Он не заставляет себя просить и садится. Судя по всему, тут знают, как обращаться с людьми.

Следуют обычные вопросы: имя, отчество, фамилия, возраст, вероисповедание и отношение к воинской повинности. После каждого ответа офицер поднимает голову, и молния вспыхивает на стеклышках пенсне.

— Еврей… Доброволец… Очень приятно… Похвально… Ваши воинские документы…

У него их нет… Все произошло так быстро… В два дня… Ицкович ему никаких бумаг не дал…

— Допустим… может быть… — соглашается допрашивающий. — Человек проникся вдруг чувством, внезапно решил… Очень вероятно… Вот только скажите мне, какие выгоды видели вы для себя в армии?..

От него требуют правды, и ему нечего скрывать ее. Евреи должны заслужить доверие русского народа, доказать преданность родине кровью своей…

— Правильно, правильно, — искренне доволен офицер, — рассуждения вполне патриотические… Гарантий только мало…

Манеры офицера безукоризненны, в голосе звучит едва уловимый укор.

— Царя иудейского вы распяли, — совершенно серьезно говорит офицер, — где гарантия, что царя православного не казните?

Нет, нет, на этот счет он может быть совершенно спокоен, евреям ничего, кроме равноправия, не надо… И что стоит воля человека рядом с волей всевышнего, разве не он руководит судьбами царей?.. Впрочем, Шимшону все это глубоко безразлично. Его сняли с эшелона и лишили возможности следовать на фронт. Пусть господин офицер сейчас же распорядится…

Господин офицер настаивает на своем:

— Нет, вы согласитесь, что это было чудовищно… Казнить спасителя, которого мир веками ждал!..

Еще раз Шимшон уступает. Он не только принимает на себя вину римлян, но и сурово осуждает невинных предков. Только бы ему дали догнать маршевую роту.

— То дело старое, — вдруг вмешивается другой жандарм, — а зачем вы, жиды, кровь нашу пьете? Христианскую душу на пасху губите?

Это недоразумение, честное слово, недоразумение. Он, Шимшон, ручается — крови христианской они не пьют…

Какое ему до всего этого дело? Разве в этом его обвиняют?.. Он оглядывается и видит четвертого свидетеля их разговора — царя в багетной раме. Четыре головы дышат на Шимшона ехидством и злобой. Электрическая искра зажигает стеклышки пенсне жандармского офицера, и Шимшон видит себя в них раздавленным и жалким…

Печальные дела повторяются… Солнечный осенний день. Школьный двор народного училища. Стройное и строгое здание, обнесенное камнем и железом, с высокими, густыми кленами и душистой акацией вдоль стены. На лестнице — высокая, полногрудая начальница Мария Ивановна Целяриус. Она мило улыбается маленькому Шимшону, гладит его по голове и шепчет ему ласковые слова. «Дети, — сзывает начальница детвору, — идите сюда…» Вокруг нее — ученики; еще возбужденные игрою, они медленно затихают и с нетерпением ждут, что она скажет им. «Детки, — звучит ее ласковый голос, — к нам поступил еврейчик… Смотрите любите его, не обижайте!» Она уходит, а Шимшон робко спускается по лестнице во двор. Ученики четвертого класса обступают его, увлекают в дальний угол двора

и кричат ему в ухо: «Ой, вей мир!», «Сруль, Круль, Мошка-вошка!», «Жид, жид, жидюга, приходи ко мне сюда!» Шимшон не совсем понимает, чего от него хотят, и просит их говорить по очереди. Тогда Полишвайка, здоровый мальчик в алой рубахе, подставляет ему ножку. Повиляев, рослый парень в сапогах, плюет Шимшону в лицо. Герман запускает в него камнем. А тихоня Петров все это с насмешкой наблюдает.

Шимшон смотрит на лица жандармов, и ему кажется, что один из них — Повиляев, другой — Полишвайка, третий — Герман, а четвертый, что в багетной раме, — Петров… Они выросли за эти годы, окрепли и возмужали, их гнев будет ужасней, месть страшней…

— Полишвайка! — командует вдруг жандармский офицер, и стеклышки его пенсне мечут молнии.

Жандарм вытягивается и опускает руки по швам.

— Доставь арестованного по назначению!

— Слушаюсь.

Поворот на носках… Жандарм ставит Шимшона лицом к двери и сильным пинком в зад выталкивает из помещения. Шимшон проносится через коридор. Еще пинок — и он со всего разбега влетает в камеру. Он тяжело переводит дыхание, в голове шумит, а перед глазами неотступно стоит четвертый свидетель, в багетной раме, с ехидно-злобным выражением лица…

Евреи окружают его. Старик с длинной бородой горестно качает головой, другой, со шрамом на щеке, усмехается, девушка протягивает к нему розовую руку и забывает закутаться в свой рваный платок.

— За что это они вас?

— Вам больно?

— Сядьте, отдохните… Дайте ему воды…

Точно старые друзья, они суетятся, подносят ему табурет и с сожалением смотрят на него.

— Наверно, поспорили из-за Христа? — спрашивает молодой человек с распухшим лицом.

— Разве вы слышали? — недоумевает Шимшон.

Ему отвечают со смехом:

— Он со всеми об этом говорит. Соглашаешься с ним — плохо, не соглашаешься — еще хуже.

— Этот жестокий человек, — жалуется девушка, — отцу моему в лицо плюнул…

Старик кладет руку на плечо Шимшону и печально говорит:

— Я сказал ему, что два сына моих добровольцами в армии… Он рассмеялся и не поверил… Так вот, молодой человек! Отдаешь им детей, кровь свою, а они плюют нам в лицо!

Он умолкает и машет рукой. Еврей с шрамом на лице с жаром восклицает:

— Говорите, реб Ишика, облегчите свое сердце… Говорите, пусть знает, кто мы и как мы живем!

Старик качает головой. В другой раз… не теперь… Но его тесней обступают и настойчиво просят:

— Не отказывайтесь, реб Ишика, пусть добровольцы знают, за кого они идут умирать…

Он пожимает плечами и неохотно уступает:

— Что я ему скажу? Он сам должен это знать… Им нужны жертвы, надо же на ком-нибудь выместить свои неудачи… Они говорят, что мы прячем на кладбищах золото и серебро, а в погребах — немецкие эскадроны, в гусиных шкварках пересылаем деньги немцам, в бородах наших носим телефоны для связи с врагом… Они выселяют нас из прифронтовой полосы, из наших местечек, где мы родились и выросли, гонят, как злодеев, этапом. Сыновей забирают по мобилизации, а жен выселяют. Они убивают нас, не щадя детей и стариков, насилуют наших дочерей…

Девушка отворачивается и прячет лицо в платок.

Наступает ночь. Мимо вокзала проходят эшелоны, они останавливаются, роняют и подбирают одетых в серое людей.

Шимшон сидит около черноглазой девушки и слушает ее грустную повесть.

В полночь стучат запоры, скрипит дверь, и камера наполняется жандармами. Узников ведут на вокзал и, прежде чем посадить в вагон, читают постановление. Они обречены на изгнание… «Шимшона Галаховского, — объявляет жандарм, — еврея, не имеющего правожительства в прифронтовой полосе, направить с проходным свидетельством на родину…»

Шимшон бережно складывает свидетельство, прячет его за пазуху и неожиданно находит там почтовую марку, синюю юбилейную марку с изображением царя. Согретая на груди, она тепла, как живая. Шимшон смотрит на жестокий лик, на ядовитую улыбку своего исконного врага и думает, что пригрел на своей груди змею…

ШИМШОН ПЛАЧЕТ, СМЕЕТСЯ И СОМНЕВАЕТСЯ

Со свертком под мышкой, в сапогах и солдатской шинели Шимшон является домой. Дувид отводит глаза от работы, мельком оглядывает гостя и снова шьет. Рухл всплескивает руками, отстраняет от себя сковородку и спешит навстречу сыну. Она обнимает его, целует, осматривает с головы до ног и снова целует. Она не изменилась, все такая же, с большими грустными глазами и темной родинкой на щеке. Руки ее трепещут, касаются его плеч и, обессиленные, падают. Она видит низко склонившегося над работой мужа, равнодушного и холодного, смущенные взгляды сына и с деланной веселостью восклицает:

— Посмотри, Дувид, кто к нам пожаловал! Боже мой!..

Дувид поднимает голову и как будто чего-то ждет.

— Здравствуй, отец! — протягивает ему Шимшон руку. — Как здоровье?

Старой неприязни как не бывало… Они дружно беседуют, расспрашивают друг друга, смеются над минувшими невзгодами. Рухл покидает их: канун субботы, ее ждет дело. Счастливая, она любуется ими, радуется их теплой, сердечной беседе, и единственное ее желание — чтоб мир этот не прерывался никогда.

— Ты кстати приехал, — говорит отец, — у меня дивный отрез на костюм для тебя… Пора сбросить тужурку, ты уже не мальчик.

Он склоняет голову набок и опускает глаза.

— Не стоит, отец, тратиться, — возражает сын, — бог даст, я устроюсь на службу, купим готовый костюм, подешевле…

Он заглядывает отцу в глаза и делает открытие, что они добрые, серые…

— Пора стать для семьи подспорьем. Полный дом едоков, а кормилец один.

Отец и слушать не хочет, глупости какие!

— Не собираешься ли ты объявить меня стариком?.. Рано, сынок. Я поработаю еще — и на славу.

— Ты не понял меня, отец… Нет нужды ждать, когда ты из сил выбьешься. Ты достаточно потрудился на своем веку.

Молчание. Отец и сын переглядываются.

«Вот ты какой, — говорят глаза родителя, — чужая сторона научила. И слава богу, мир в семье — божье благословение».

«А я не знал, — отвечают глаза сына, — что так сильно

люблю тебя. Сердце мое радуется, точно я впервые нашел тебя…»

Как в праздничный день, на столе появляются фисташки. Рухл берегла их для гостей, но может ли быть гость более желанный, чем Шимшон? В глухих тайниках своих она находит тонкий ломтик медового пряника, сохранившийся с давних пор. Сын рассказывает о большом городе, о евреях-извергах, населяющих его, о Мозесе, о Турке и Егуде-сапожнике. Дувид-портной заслушался, забыл обо всем на свете, глаза его сверкают, чудесный рассказ о неведомом мире взволновал его до слез… Как страстно он любит новости, забавные и трогательные истории!.. Этот Шимшон порядочно изменился, так приятно послушать его.

Фисташки съедены. Темнеет. Зажигается в небе первая звезда, и наступает праздник. В доме убрано, все углы чисто вымыты. Отец встает из-за стола и спрашивает:

— А теперь чем ты думаешь заняться?

Разве он не сказал уже, что готов на все, на всякий груд, чтобы стать для семьи подспорьем?

— Не все ли равно, кем быть? Конторщиком, переписчиком, приказчиком…

Отец надевает белую крахмальную манишку и гуттаперчевый воротник, повязывает галстук и становится неузнаваемым. Никакого сходства с Дувидом-портным. Его пригласили петь сегодня в синагоге, блеснуть своим искусством. По этому случаю он надевает свой черный сюртук с атласными отворотами…

— Мой тебе совет, Шимшон, пойти к Иосе и добиться у него прощения. Он выведет тебя в люди… Через год ты и себе и нам поможешь. Пора выбросить из головы книжную дурь…

К Иосе-пьянице на толкучку? Как будто свет клином сошелся.

— Бог с ним, я к нему не пойду. Уж лучше поступить в контору. От главного бухгалтера до компаньона фирмы — один шаг.

Отец насмешливо смотрит на сына и не удерживается от резкости:

— Не надо фантазировать и завидовать другим. Довольствуйся малым. Зависть до добра не доводит…

На себя посмотрел бы. «Не завидуй»… А сам чужого успеха не переносит…

— Я могу, наконец, стать приказчиком. Приказчик — будущий коммивояжер, доверенное лицо, а там — и собственник фирмы. Все коммерсанты были раньше приказчиками. Они скромно жили, копили гроши и богатели… К Иосе я не пойду…

Отцу не нравится упрямство сына, он дергает галстук и роняет на пол булавку с поддельным камешком.

— Одесса тебя, видно, ничему не научила. Ты был упрямцем

и им остался… Можешь делать что хочешь, хоть головой о стенку биться, меня это не касается…

Рухл появляется на пороге, в глазах ее ужас, за спиной мужа она жестами умоляет Шимшона молчать.

— Ты напрасно сердишься, отец, — едва владея собой, говорит сын, — я не хотел тебя обидеть…

Еще одно резкое движение — и булавка снова на полу. Дувид-портной долго ищет ее, с шумом отодвигает стулья, задыхается от гнева и усталости. Булавка точно сквозь землю провалилась. Не дом, а могила, упадет что-нибудь — лучше не ищи… «К Иосе я не пойду…» Какое чванство, сколько гонора!.. Ничего не знает, ничему не научился, а самолюбия на барина хватит… Не хотел меня обидеть… Какая милость, добряк нашелся! Не повезло мне с детьми… Наказал бог… Подумать только, где застряла эта проклятая булавка, — за ножкой шкафа… Три года цельсь в такую щель — не попадешь…

Рухл, бледная, как свечи, которые она собиралась зажечь, все еще жестами умоляет сына не доводить дела до ссоры. Но Шимшона уже не удержать.

— Чего ты взъелся? — говорит он резким, дрожащим голосом. — Разве я что-нибудь сказал? Пять лет только и слышишь: Иося да Иося… Будь он проклят, этот старый пьяница… Я слышать о нем не хочу!..

Булавка водворена на место, а гнев отца не утихает. Вслед за булавкой взбесился сюртук: паршивец рукав вздумал в прятки играть, руку никак не проденешь…

Дальше все идет по-старому. Отец неистовствует, обзывает сына дармоедом и гонит его вон. Рухл плачет, просит Дувида замолчать, успокоиться ради праздника… Шимшон громко всхлипывает и в порыве отчаяния бросается вон из дома, с тем чтобы никогда больше не возвращаться туда…

У самых ворот дорогу ему преграждает сосед Зейдель Дейчман. В одной руке у него связка книг собственного сочинения, которыми он сам торгует, в другой — толстая суковатая палка. Несмотря на свои тридцать с лишним лет, поэт горбится, ходит тихим, ровным шагом, как человек, которому спешить некуда и незачем. Дело его требует спокойствия и ничего больше: войти в дом, снять шляпу и вежливо, с сознанием собственного достоинства, обратиться к хозяину: «Разрешите предложить вам книжечку моих стихов, издание третье, исправленное и дополненное…»

Куда и зачем ему спешить? Человек с туберкулезом в последней стадии может позволить себе роскошь не торопиться, наслаждаться покоем и одиночеством.

Он ходит, понурив голову, опираясь на палку, но его знают и другим: пылким, страстным оратором, произносящим жаркие речи протеста. Люди всех направлений восхищаются его способностью решительно выступать за добро против зла, за истину против лжи. Всякий раз, когда Шимшон слушал его, он думал: как много накопилось зла на свете и как много еще надо Дейчману протестовать…

Поэт не щадил никого. Виноваты были и Платон, и Сократ, и Аристотель, и Иосиф Флавий, иудейские синедрионы, христианские еретики, Макиавелли, Шпенглер и Отто Вейнингер. Одни затмевали истину, другие выслуживались пред знатью, третьи угнетали слабых и возвеличивали тиранов. Трибун справедливости, он обращал свой гнев к прошлому. Как было представителям всех направлений не восхищаться им!..

Дома у него собиралась молодежь, длинноволосые серьезные юноши в косоворотках и тужурках. Они засиживались до глубокой ночи; взволнованные, обсуждали новости литературы, протестовали и возмущались, выносили приговоры векам. За тонкими стенами в соседней квартире был слышен голос поэта. Шимшон льнул к стене, напрягал свой слух, но ничего любопытного не улавливал. Доносились имена Бисмарка, Гейне, Магомета… Имена неведомые для мальчика, не замечательные для него ничем…

— Кого я вижу? Шимшон! С приездом!

Дейчман протягивает ему руку и крепко пожимает ее.

— Откуда? Какими судьбами?

Он привлекает Шимшона к себе и вдруг замечает его возбужденное состояние.

— Что с тобой? Куда ты, постой! Говори, что случилось? Пойдем ко мне, побеседуем. В таком виде я тебя никуда не пущу!..

Дейчман уводит его к себе, в маленькую комнатку со множеством книг на полках, усаживает в мягкое глубокое кресло и, откашлявшись, опускается рядом.

Из кухни выходит маленькая, щупленькая женщина с такими же, как у сына, светлыми глазами и полными пунцовыми губами. Она издали ему улыбается, нежно трогает его лоб и молча уходит, словно только за этим и пришла. Поэт удобней располагается и, усталый, зевает.

— Что же ты, Шимшон, не спросишь, чем я собираюсь удивить мир?

Он добродушно смеется. Ему понятно смущение Шимшона.

Мальчик совсем растерялся, близость знаменитости, видимо, волнует его.

— Я пишу, мой друг, книгу против Отто Вейнингера… Ты слышал, конечно, о нем… Безумец создал карикатуру на женщину, написал памфлет «Пол и характер» и застрелился. Против этой книжки протестуют все культурные люди, и я присоединяю свой голос возмущения. Мировое общественное мнение будет на моей стороне.

— Обязательно будет, — из вежливости соглашается Шимшон.

Поэт давно уже забыл, зачем привел с собой мальчика.. С той же страстностью, с какой лишь недавно клеймил Макиавелли, он негодовал и возмущался Вейнингером… Не видеть подлинной причины, не слышать голоса истории. Виноваты жестокие предки, основатели культа Вакха и Диониса, храма Венеры, лупанария, виновата Книга Вед…

Шимшон давно уже не понимает своего собеседника, из всего произнесенного единственно запомнилось ему слово «лупанарий». Это красочное слово его занимает, и он не дождется, когда узнает значение его.

Мать снова появляется из кухни, чтоб перебить сына на самом важном месте. В руках у нее дымящаяся чашка кофе, на губах теплая улыбка.

— Зейделе, дорогой мой, успокойся… Оставь их, бог с ними… Как видите, — обращается она к Шимшону, — каждый день у него новый враг. То был Платон, носился с ним, горячился, нервничал, пока кровь горлом не пошла. Потом явился Сократ… Чем он ему насолил — один бог знает, но пролежать Зейделе пришлось недельку в постели. Недавно только разделались с Макиавелли, и уже в добрый час новое несчастье — Вейнингер… Я говорю ему: «Брось их, будь они неладны, ты в тысячу раз умнее всех Сократов и Платонов…»

Старуха и сын улыбаются. Она вовсе не сердится на него. Ей просто приятно таким маневром распечь его, потрогать за лоб и уйти. Пусть знают люди, какое у нее сокровище, с какими великими людьми ее Зейделе запанибрата.

Когда она уходит, поэт нагибается к Шимшону и многозначительно шепчет:

— Одно притворство… Она все одобряет. Положительно все… Сама пламенеет огнем протеста… Знает все промахи Платона, осуждает Сократа, терпеть не может Макиавелли, — притворяется ворчливой…

Шимшон смотрит на близко склонившегося к нему Дейчмана, и он кажется ему прозрачным. На висках просвечивают голубые жилки, они извиваются вкривь и вкось, как дождевые потеки на стекле. Светлые глаза его глубоки и бездонны; пристально

заглянуть в них — и все откроется: мысли и желания.

«Кристаллический человек», — говорят о нем в городе. «Прозрачный», — думает Шимшон.

Дейчман долго еще говорит.

— Вся наша жизнь должна быть посвящена протесту… Пусть ничего не ускользнет от нас, наш долг — обнаружить зло и восстать против него…

На память Шимшону приходят события вечера: оскорбления, обиды, протесты, возмущение, — и он неожиданно чувствует себя соратником поэта. Годы — свидетели: жизнь его — вечный бунт, непрерывная борьба за справедливость. Мозес и Турок, Егуда и взводный Израиль Бык, друзья и совратители, — разве он не отстоял себя, ценой протеста и возмущения не добился торжества правды?

Новая идея вдруг осеняет Шимшона. Он набрел на счастливую мысль. Дайте ему только обдумать, обсудить, такие вещи сразу не делаются… Ну да, конечно, эта идея — сокровище! Дейчману недолго осталось жить на свете, городу грозит опасность остаться без поэта… Это не вакансия раввина или кантора, доступная каждому еврею, такого не всякий может заменить. Впереди слава, независимость и верный заработок! Надо только протянуть к ним руку… Голова Шимшона полна мыслей, если изложить их на бумаге, хватит на целую кипу книг. Какой сокрушительный удар для врагов, и в первую очередь для упрямого, бесчувственного отца! Бывший цирюльник, никому не ведомый Шимшон — преемник Зейделя Дейчмана! Речи его полны протеста, они сокрушают, приводят в восторг и в трепет сограждан. Он никому пока ничего не скажет и будет днем и ночью писать.

— Извините меня, м-сье Дейчман, за дерзость, я хочу вас кое о чем спросить. Как вы думаете, вышел бы из меня писатель?

Вместо ответа поэт неожиданно спрашивает:

— Вы, Шимшон, паспорт свой держите при себе?

— Еще бы! Кто расстается с таким важным документом!

— Оставьте его мне на несколько дней.

С удовольствием… В сущности, он ему сейчас почти не нужен.

Поэт вдруг задумывается, берет Шимшона за плечо и говорит:

— Всякий, мой друг, чья совесть не заплыла жиром, чье сердце всегда готово к протесту, — поэт!

В таком случае все обстоит как нельзя лучше: и сердце и совесть Шимшона подготовлены к новой деятельности вполне….

Шимшон снова под крылышком матери и неусыпным оком Дувида-портного. Все идет по-старому, он ходит без дела, обивает

пороги лавок и контор и клянчит: «Не нужен ли вам мальчик?.. Примите меня на службу». Хоть бы один уступил, пусть из вежливости, из жалости… У всех одинаковый, короткий и хлесткий, как пощечина, ответ.

Каждый день он подводит итоги:

— Что будет дальше, Шимшон?

И отвечает себе:

— Увидим…

Приходит весна, за ней — лето, жестокий гнев, злоба томят Шимшона. Он останавливается у лавок и контор, клянет бездушных хозяев и страстно желает им гибели… Отомстить, обрушить на них казни египетские, терзать их, как они терзают его! Пусть трещина на карнизе лавки змеей изовьется по стене, клином расколет ее пополам. Пусть прогнивший фундамент рассыплется в прах и крыша задавит этих сытых злодеев.

Он стоит сейчас пред дверьми большого магазина, повторяет про себя обидное «нет» и думает, что населяют этот дом людоеды.

— Даю голову на отсечение — это сумасшедший Шимшон!

Мунька оглядывает его с головы до ног и, разочарованный, кивает головой.

— Ну, господин путешественник, какие вы страны открыли, где ваш Пятница, фантазер?

Нечего сказать, теплая встреча, спасибо и на этом.

— Почему «сумасшедший»? Что я тебе плохого сделал, обманул, ограбил?

Муня не перестает оглядывать Шимшона, улыбается и говорит:

— Где твои удачи, где золотые горы? Что-то не вижу я твоих богатств.

Шимшон полагает иначе:

— Я видел, Муня, свет, я много перетерпел и перестрадал. В Одессе столько нового, что ты и представить себе не можешь. Подумай только — в доме моем было триста квартир, и я знал только трех соседей. Полный двор воров, и никто друг у друга не крадет.

Муньку не удивишь сказками, Шимшон часто выдает сны за действительность.

— Фантазеры, Шимшон, хуже разбойников, они губят себя и других. Таких людей надо держать под замком.

— Одесса полна воров… Но что это за странные люди! Они не прячутся, и никто не клеймит их позором. У них жены, матери, как у самых благородных людей. Они студенты, ученые и в то же время воры. Видел ты что-нибудь подобное?

— Что же, там полиции нет? — ехидно спрашивает Муня.

— Как нет? Есть… Говорят же тебе: они все там заодно и не выдают друг друга.

Терпение! Уж он этого лгунишку Шимшона припрет!

— А богачи в Одессе тоже воры?

— Только не богачи…

— Значит, — торопится Муня с выводом, — бедняки все грабители, а богачи — святые люди? Ну чем ты, Шимшон, не черносотенец? Чем ты лучше Пуришкевича? Крушевана? Они то же самое говорят.

Тут уже Шимшон теряет терпение:

— Кто тебя сегодня накрутил, граммофон? Придержи свой язык, торговка!

— Так-то ты разговариваешь со старым другом… Загордился. Одесса-мама научила.

— Я не горжусь, Муня. Я прошу тебя только не смеяться. То, что я видел в Одессе, в неделю не перескажешь. Об одном только Израиле Быке на сутки разговора хватит. Не называй меня черносотенцем, никакой разницы между мною и тобой нет.

Муня хмурится, лицо его становится серьезным, и голос звучит высокомерно:

— Разница между мною и вами — огромная! У меня имеются принципы, а у вас их нет, вы принимаете взятое напрокат за свое, а я строго отделяю свое от чуждого…

Кто это «мы», какие «принципы», что с ним?

— Так… вообще… — оправдывается немного смущенный Муня. — Это вроде поговорки…

«Поговорки? — про себя иронизирует Шимшон. — Подслушал у Нухима и приплел…»

Незаметно они уходят за черту города, пересекают зеленое поле возле кирпичной тюрьмы и спускаются к валам старинной, елизаветинской крепости. Здесь они растягиваются на траве, отдыхают и смотрят в небо. Муня все еще распекает своего друга, ворчит, огрызается и то и дело прерывает его страстную речь.

Муня изменился за время разлуки. Ни шагомера, ни компаса у него уже нет, — с этим ребячеством покончено. Задумываясь, он держит корпус прямее, говорит по-прежнему холодно и монотонно. В носу не ковыряет, чаще прибегает к платку, встряхивает его и, развернув, прикладывает к носу, точно затем, чтобы закрыть на это время лицо.

— А ты где служишь? Все еще в лавке Уховского?

Ответ несколько задерживается, Мунька задумался и не расслышал вопроса.

— Три месяца хожу без дела, но на днях отлично устроюсь…

Даже отлично! Очередь торжествовать за Шимшоном.

— Так-то, Мунечка, друга распекаешь, а сам тротуары шлифуешь. По улицам шатаешься… И кто это тебя на днях подхватит?.. Я хоть свет повидал, а ты что успел?

Муня проявляет вдруг необычайное легкомыслие:

— Я и тебя устрою. Через две недели нас будут рвать на части. «Сюда», — скажет один; «Сюда», — потянет другой… Хотите быть главным приказчиком, бухгалтером, конторщиком, кем угодно? Милости просим! Я обошел, Шимшон, все лавки и переписал, кто когда призывается. После первой же мобилизации город положительно опустеет. Две недели терпения — и мы будем на коне…

День подходит к концу, давно забыты недавние споры, неприязнь первой встречи. Все уже пересказано. Над городом простерлась ночь, бледный свет мерцает в окнах тюрьмы.

Речь заходит о каторжниках, о невинно осужденных, о повешенных и замурованных в этой темнице. Муня говорит страстно — он повествует о людях, брошенных в подземелье, о мучителях и жертвах, о пытках и казнях. Шимшону жутко и любопытно, он закрывает глаза, забывает о ночи, о каменных мешках за тюремной оградой и о самом себе…

— Осторожно, Шимшон, обойдем это место… Здесь лежит Хаим-слесарь… Он в день рош-гашоно пристрелил богатея Аврума Барского. Его повесили…

Маленький бугорок, каких здесь много, — ни виселицы, ни могильного памятника.

— А ты не ошибся? Присмотрись лучше.

— Не дури, Шимшон, я знаю каждую травинку здесь…

Всходит луна. На пути ее собрались седые облака. Точно искра в соломенной скирде, она то вспыхивает, то угасает.

Друзья возвращаются домой.

— Две недели — и мы будем счастливы. Сходим пока в экономию Бродского, подработаем, а там — и на службу.

— Он не возьмет нас, Муня, я ночи проводил у ворот его завода в Одессе.

— Времена переменились, все ушли на фронт, люди теперь нужны…

Имение Бродского не за горами. Но как пуститься в путь без денег? Шимшон долго думает над тем, где раздобыть рубль, и вспоминает о бабушке Ривке. Скупая старуха иногда давала ему мелочь — две-три копейки… Времена меняются, кто знает, не возвысится ли ее щедрость до рубля?..

Он является на толкучку и, склонив голову, останавливается у дверей лавки. И поза и движения его рук — невольное

подражание Дувиду-портному.

Из-за прилавка выходит старуха. Она вытирает руки о фартук и заговаривает тонким, девичьим голоском:

— Что скажешь хорошего?

Длинная, тщательно обдуманная по дороге речь — где она? Ни следа ярких, убедительных слов. Шимшон вспоминает, как поступал в таких случаях отец, и хватается за всплывший в памяти пример, как за спасательный обломок:

— Мне нужен, бабушка, рубль. Хоть кровь из носу…

Рука его вращает брусок свинца, глаза опущены. Она смотрит на него исподлобья.

— Тебе нужен рубль, а мне — сто… Может быть, ты скажешь мне, где их достать?

Начало сулит мало хорошего.

— Ты и отец твой думаете, что я рубли под прилавком чеканю.

Сейчас посыплется брань, она будет над ним издеваться и созовет соседей, чтобы на глазах у всей толкучки швырнуть ему рубль.

— Непутевый ты, Шимшон, человек… Шлялся-шлялся, а что толку? Голым уехал и голым вернулся.

— Я, бабушка, не виноват, мне не везет…

Отец в таких случаях склонял голову набок и бледнел… Как это сделать? Разве представить себе старуху тигром?

— Что ты уставился на меня, неудачник? Думаешь испугать? Как тебе не стыдно! Одумайся, возьми себя в руки.

Она долго и горячо поучает его, вернее — ест его глазами и терзает языком.

Судя по тому, как сокращается между ними расстояние, можно опасаться всяких неожиданностей.

— Отец твой лентяй, бездельник, и ты не лучше его. Зачем тебе рубль, что ты с ним сделаешь?..

Он забыл приготовить ответ… Ему надо постричься, сходить в баню и… купить себе пару носков…

— Всего лишь?

— Да, да… Ничего больше, — отвечает Шимшон, готовый всеми средствами защищать свою ложь.

— Зачем же тебе рубль? Постричься, — откладывает она на пальцах, — пять копеек… Да что я говорю, по старой памяти реб Иосл пострижет тебя даром… Баня — десять копеек… Уж не думаешь ли ты сходить в «дворянскую», принять ванну, нанять банщика?

— Нет, нет, — делает он успокоительный жест.

— С меня бери пример, — с уверенностью опытного человека

рекомендует старуха, — я плачу гривенник, прохожу в «общую» и «случайно» попадаю в чужую ванну… Поймали — так я ошиблась. Что с голого возьмешь?.. Дедушка твой никогда в бане не был… Сходит в микву[15], окунется в холодной воде, и с него достаточно. А носки я тебе припасла. Прекрасные, прочные, в десять лет не сносишь…

Она вытаскивает из-под прилавка пару старых, изношенных носков, рябых от множества штопок, и сует их ему в руки, сует нехотя, как бы отделываясь от него навсегда.

— Живешь как в аду, в беготне, в хлопотах, хоть бы кто-нибудь помог… Стоит на дороге гиря, как ее перетащить? По силам это мне?

Шимшон спешит убрать гирю и кучу железа вокруг нее.

— Или на чердаке у меня два пуда свинца застряло, а покупателям приходится отказывать…

И свинец, и медь, и два мешка рубанков занимают новые места.

— Видишь, сколько хлопот, — говорит бабушка. — Ну, кажется, все. — И она жадно ищет глазами, что бы еще взвалить на него…

Он уходит от нее усталый и разбитый, с парой штопаных носков в одной руке и двумя пятаками в другой… Кажется, он до мелочи скопировал отца. Чем объяснить неудачу? Десять копеек на баню, — скупая ведьма!.. Пред глазами его маячит тесная «общая» и бабушка, осторожно выглядывающая из чужой ванны.

Проведенные в имении дни запомнились надолго. В памяти засели: кислый запах хлеба, дышащий жаром локомобиль, нагайка смотрителя и ноющее от работы тело. Надежды не сбывались. За «краснобилетниками» ушли «синебилетники», поговаривали о призыве «белобилетников», а Шимшон и Муня все еще оставались без дела. Никто их не рвал на части, не предлагал им должностей бухгалтера и главного приказчика. Товаров в городе становилось все меньше, лавки закрывались, появлялись безработные.

В это время случилось в городе странное событие: Дейчман со своим другом Рафаилом, захватив деньги богатея Красновского, бежали. Их поймали в Николаевке. У Рафаила нашли паспорт Шимшона. Вмешалась еврейская община, дело замяли, но звезда Дейчмана погасла. Он слег и тяжело заболел. Шимшон учел это и решил торопиться. Под видом поисков работы он уходил из дома в городской сад и, забравшись в кусты, усердно писал.

Что это были за произведения! Самые разнообразные: повести, рассказы, романы и пьесы. Враг многотомных сочинений,

Шимшон любой сюжет укладывал в десять — пятнадцать страниц. Работа шла легко и плавно, без черновиков и помарок. Шимшон мог с полным правом сказать, что писал кровью своего сердца: трагические положения вызывали у него слезы, юмористические страницы оглашались неистовым смехом — он восторгался собственной выдумкой, открывал в себе редкие чувства, неутомимую жажду справедливости и недюжинную страсть. В романе «Пугачев», весьма напоминавшем «Капитанскую дочку», торжествовали беспристрастие и добродетель. Гринев был повешен жестокой рукою автора, а капитану крепости оставлена жизнь и возможность по-прежнему муштровать своих солдат. В рассказе «Где любовь, там и бог» исправлена была еще одна несправедливость: Лаврецкий и Лиза «соединили свои сердца». Герой Шимшона Иван Пузырь, не в пример Тарасу Бульбе, произнес наставительную речь и вернул заблудшего сына в свои объятия. В пьесе «Контролер» мошенника Хлестакова хватали и на глазах публики вешали: справедливость выше всего!..

Всякого рода пейзажи, описания времен года и природы, все, что не относилось к делу, рука автора душила в корне. Таков гений — он лаконичен и прост.

За одним из таких произведений застал его в кустах Мунька. Обиженный друг долго молчал, прикидывался равнодушным и даже пытался напевать песенку, но не выдержал и заговорил. Прежде всего он должен сознаться, что Шимшон никогда не отличался порядочностью: избегать близкого человека, не показываться на глаза в течение месяца!.. Шимшона одолевают фантазии… Что ж! Никто без причин с ума не сходит! Но к чему было скрывать?

— Напрасно ты кипятишься, — следовал ровный, вразумительный ответ. — Я решил стать писателем и стану им во что бы то ни стало…

— Подумаешь, важность — писатель, — иронизировал Муня, видимо считавший литературу последним делом. — Не собираешься ли ты сделаться Тургеневым, Лермонтовым, Гоголем?.

— А почему бы и нет?

— Ну? — усомнился Мунька.

— Посмотришь, — заверил его Шимшон, мысленно сталкивая классиков с пьедестала и расчищая место для себя.

Они молча оставили сад и зашагали рядом, без слов, как чужие.

— На заводе Израиля Гомберга набирают чернорабочих. Шестьдесят копеек в день…

Тоже новость! Муньке, очевидно, говорить не о чем!

— Не хочешь ли ты стать маклером?

— Шестьдесят копеек — хорошие деньги, надо соглашаться, пока не поздно…

Шимшон прижал к сердцу рукопись своего романа и отрицательно покачал головой.

— В своем городе заниматься черной работой? Носить грязный, замасленный костюм, ходить по улицам с лицом, измазанным сажей, как у трубочиста? Чтобы прохожие тыкали в меня пальцами? Никогда!

Чваниться нечего, Муня докажет ему свою правоту:

— Труд, Шимшон, не позор, честное слово… Все порядочные люди вышли из рабочих.

Это не новость: великий Эдисон — изобретатель граммофона — был простым рабочим. В Америке все дозволено… Здесь совсем иное дело.

— Не уговаривай меня, Муня, ты бросаешь слова на ветер.

— Быть теперь рабочим — одно удовольствие. Сотни и тысячи рублей платят, только бы приняли на работу.. Посмотри, какая горячка пошла на заводах. У Гомберга работают одни коммерсанты, коммивояжеры и бухгалтеры. Все известные люди стоят теперь у верстака…

Шимшон прищурил один глаз и недоверчиво покачал головой. Муня считает его дурачком, круглым идиотом.

— Не скажешь ли ты мне, откуда взялась эта мода? Я что-то о ней не слыхал.

Муня сделал вид, что не заметил иронии.

— Заводы дают отсрочку от военной службы. Все резники и сыновья раввина работают на оборону…

Допустим! Но у него еще одна причина не торопиться с ответом. Слово еще за Дейчманом.

— Я подумаю, — прощаясь, сказал Шимшон. — Завтра дам тебе ответ.

Он ждет, пока Муня свернет за угол, и стучится к Дейчману.

Поэт, бледный, с глубоко запавшими глазами, сидит за письменным столом и вытирает вспотевший лоб. Он кивает гостю головой и придвигает ему стул.

— Садись. Как живешь? Нашел службу или все еще ищешь?

«Какой он прозрачный», — думает Шимшон и невольно закрывает глаза.

Он рассказывает о своих неудачах, о бездушных хозяевах, бессердечных людях и только об одном умалчивает: о жестокой своей мечте, о том, что он ждет, когда придут к нему и скажут: «Умер поэт, ступай, замени его…»

Дейчман слушает, кивает головой, и две слезы выкатываются

из его глаз. Что это, жалость к Шимшону или что-нибудь другое?

— Я хотел вас расспросить об одном деле, не знаю только, с чего начать… Допустим, что вы… Или нет… Скажите, это не зазорно — быть чернорабочим? Мне важно знать…

Поэт улыбается и снисходительно треплет гостя по плечу.

— Чем ниже, мой друг, социальный уровень человека, тем менее омрачена его душа… Общественная лестница увенчана эгоизмом и жестокостью… Ясно?

— Ясно, — отвечает Шимшон, ничего не поняв.

Короткое молчание — и разговор продолжается.

— Возьмем к примеру вас: согласились бы вы стать чернорабочим?

— Будь у меня силы — с радостью.

Даже «с радостью», — странно!

— Как же это? Поэт — и вдруг чернорабочий! Вас осмеяли бы…

— Это легче всего, мой друг. Можно и гения осмеять… Давно ли надо мной потешались, да как — всем городом… Стоило мне покуситься на их деньги — и они забыли, что я поэт… Протестуй, возмущайся, порицай предков, воспевай потомков, но ползай, живи, как все… Я мечтал взлететь, оторваться от болота. Мне опротивели слова…

Поэт как будто говорит о другом.

— Я встретил в детстве слепого. Он шел смело и уверенно, вытянув вперед руки, счастливый и улыбающийся. Кругом — шумная, многолюдная улица, все озабочены, торопятся, бегут. Один слепой высоко держит голову и улыбается… О чем он думал и чему радовался — я не знаю, он напоминал мне ребенка с завязанными глазами: ему слышится голос матери, руки тянутся к ней, вот-вот настигнут… «Его убьют, затолкают», — думает каждый и проходит мимо.

Я пошел за ним, полный страха и тревоги. «Осторожно», — предупреждал я его. Но он не слушал меня, чутьем улавливал опасность и следовал дальше, счастливый и улыбающийся. Тогда я дал себе слово уподобиться этому мужественному слепцу. Не омрачать свою жизнь злобой и с улыбкой идти своим путем. Пусть я слепой, пусть мрак и хаос кругом. Выше голову! Истина все равно придет…

Он, усталый, откинулся на спинку кресла, долго кашлял и вытирал вспотевший лоб. Мать принесла из кухни воды и любовно погладила сына по голове.

— Зейделе, почему тебе не сделать перерыв? Эти разговоры так тебя утомляют!..

Поэт выжидает, когда она уйдет, и протягивает Шимшону

рукопись:

— Возьмите ваш рассказ, я прочитал его… Пришлось немного переделать, исправить…

Он нагибается к Шимшону и шепчет ему на ухо:

— Ведь вы это обо мне писали, сознайтесь… Тут и мать моя, я узнал… Замысел интересный… Пишите…

Шимшон читает свое произведение и с трудом узнает его. Как сильно оно изменилось! Как будто рассказ подменили. Остались одни имена да несколько фраз… Что бы это могло означать? Неужели поэт догадался прийти на помощь своему преемнику, решил поставить его твердо на ноги?..

Шимшон пробрался в сарай, подальше от глаз отца, и долго читал и перечитывал сочинение, которое отныне принадлежало ему…

ШИМШОН ПОВТОРЯЕТ ИСАЙЮ И АМОСА

Середина марта. Улицы покрыты грязью, деревья стоят еще нагие. В просветы туч выглядывает солнце, зажигая в лужах тысячи солнц. Напоенный сыростью воздух заметно теплеет.

В недостроенном помещении просторного цеха завода Гомберга звенит железо и верещит штамповочный пресс. За рядами наковален выстроились странно одетые люди с молотками в руках. Смесь времен и мод, богатства и бедности: сюртуки, визитки, немного поношенные, намеренно испачканные. Чесучовые, крахмальные и батистовые сорочки, рваные пиджачишки, ситцевые блузы и лоснящиеся, в заплатах штаны. Белые лица, холеные бороды и руки, непривычные к труду. Неловкие движения — манеры статистов на провинциальной сцене. Эти люди шумно смеются, жестикулируют и без умолку болтают. Дайон Авремл и сын раввина Янкеле, оба рыжие, с завивающимися пейсами, рассказывают друг другу анекдоты. Для виду они постукивают молотками и даже утирают пот.

Авремл и Янкеле — старые, заклятые враги. Их много раз мирили, но вражда неизбежно вспыхивала снова. Янкеле подозревал дайона в намерении захватить место раввина вопреки закону о «престолонаследии». Дайон утверждал, что тот зря позорит его и винит в тяжких прегрешениях… Легко ли при таких чувствах находить анекдоты противника интересными? Пока Авремл рассказывал, Янкеле рылся в памяти, чтобы собственной выдумкой превзойти врага.

— Как, полагаешь ты, откликнулись немцы на назначение царя главнокомандующим? — берет реванш Янкеле.

— Испугом?..

Где этому дураку догадаться!

— Нет.

— Радостью?..

— Осел, протестом! «Мы не вороны, — заявили они, — не выставляйте нам пугала…»

Это еще не все, он покажет ему, как хвастать!

Мастер Дворниченко давно нацеливается на «рыжих». Дурной пример заразителен, им подражают другие. Его удерживает только солидность этих людей — сын раввина и дайон! Сам Гомберг не осмеливается делать им замечания. И мастер избирает окольный путь:

— Как вы держите, Янкель, молоток! Два года я учу вас…

Авремл не упускает случая лягнуть своего врага:

— Я говорю ему то же самое: «Как ты держишь молоток!»

— А вы, Авремл, — настигает и его рука правосудия, — когда-нибудь убьете себя. Молотком раскроите себе череп. Не нагибайтесь так низко…

Оба делают вид, что не поняли намека мастера, и продолжают разговор.

Рядом перешептываются Бенцион Смоляров, владелец яичного склада, и бывший приказчик его, Эля. Они однолетки, но оттого ли, что хозяин — полный, стройный мужчина, с чисто выбритым лицом и пышными, расчесанными волосами, а приказчик — маленький, коротконогий, обросший заметными пейсами, кажется, что он значительно старше хозяина. Голос Смолярова — уверенный, твердый; голос Эли — мягкий, вкрадчивый. Во время разговора он становится на кончики пальцев и перегибается, как бы для того, чтобы все, до мельчайшей интонации, донести до хозяйских ушей.

— Я люблю бывать во дворе присутствия, — говорит приказчик, — зайдешь, посмотришь: кого приняли, кого забраковали, почему, за что?.. Все мы в руках бога, сегодня пользуешься отсрочкой, а завтра надевай шинель — и марш.

Он озабоченно морщит лоб и вздыхает.

— Что же вы там видели и слыхали? Говорят, там настоящее гулянье… Бедняки забросили свои дела и околачиваются во дворе присутствия.

Смоляров улыбается. Уж он их знает, эти нищие ужасные болтуны.

— Я пожелал бы моим врагам такое гулянье. У одного сын, у другого брат, зять, шурин призываются. У старухи Геси взяли единственного сына, она шла по улице и причитала: «Боже мой, боже мой, я надеялась на покойницу бабушку… Я просила ее заступиться пред богом… Сорок постов не помогли…»

Хозяин хохочет:

— «Сорок постов не помогли», ха-ха-ха-ха! «Надеялась на покойницу бабушку»…

— Почему вы смеетесь? — обиженно, но все еще почтительно говорит приказчик. — У бедняков одна надежда — на бога.

— Бросьте философствовать, — раздражается Смоляров, — расскажите еще что-нибудь.

Эле не до смеха, он никого не обязан веселить.

— Что вам рассказывать? Плохо… Режут, косят, отдают подряд всех. Марш на фронт — и никаких.

Чтобы сделать приказчика разговорчивей, хозяин прикидывается огорченным:

— Режут? Скажите пожалуйста!

— Никого не щадят: с пороком сердца принимают, с

трахомой…

— Неужели с трахомой?

— Даже с чахоткой.

— И никаких отсрочек?

— Где уж, на испытание не посылают… Забирают всех…

Хозяин снова хохочет. Бестолковые люди, почему они не устроились, как он, на заводе? Прозевали?

— Не все же, м-сье Смоляров, богачи…

Ответ почему-то бесит хозяина, и он кричит, точно они на яичном складе:

— Замолчите, пустая мельница! Много вы понимаете!

Проходит немного времени, и Смоляров снова заговаривает:

— Что вы замолкли, Эля, воды в рот набрали?

— Вы же приказали мне молчать…

На заводе они в равном положении, нет больше ни приказчика, ни хозяина, но никогда Эля не осмелится ответить Смолярову дерзостью на дерзость.

— Как дела вашего зятя?

— Ничего, слава богу, выехал на геморрое.

— Все-таки выехал…

Смоляров опять хохочет. Эти бедняки — сущие комики, с ними веселей, чем в театре.

— Это, конечно, большое счастье. А племянник ваш?

— У племянника грыжа…

— Слава богу за грыжу, — потешается Смоляров, — шестьдесят шестая статья — кошерная статья, с нею ходят в синагогу.

Эля молчит. С него довольно, пусть этот хохотун потешает себя сам.

Шапочник Меер-Бер и Юдель-комиссионер, работающие на прессах, рассказывают друг другу:

— Мой Гершка совсем не плохо выглядит. Кашляет изрядно, по ночам задыхается.

— А мой Семка — покойник, краше в гроб кладут. Они испугаются в присутствии.

— Вам можно, Меер-Бер, позавидовать. Что делал себе ваш мальчик?

— Ничего особенного, не ел, не пил, не спал, глотал кофеин и нюхал серную кислоту… А ваш?

— Мой налегал на хинин. Говорят, очень хорошо действует на сердце, вызывает настоящий порок…

Потолковав о детях, шапочник и комиссионер начинают говорить о хозяине и сразу теряют спокойствие. Бессильный гнев душит их.

— Подумайте, Юдл, в чьих руках наша жизнь, кто нами командует — Мотель-жестяник, выскочка!

— Оставьте, какой он Мотель-жестяник? — со злобной иронией возражает Юдель. — Его зовут Марк Израилевич Гомберг.

Он высоко поднимает брови и с деланным изумлением выкатывает глаза.

— Помните, как этот Марк Израилевич с женой ссорился? Вся толкучка сбегалась… Теперь его «мадам» уже не Двойра, а Вера Константиновна.

Юдель смеется, но лицо его при этом сохраняет сердитое выражение. Смех рвется изнутри, точно его загнали вглубь и крепко стиснули там.

— Я говорю ему: «Гомберг, голубчик, спасите моего Гершку, примите его на завод…» Знаете, что он ответил мне? «Я не могу пригреть детей всех евреев». — «Не можете? Почему же вы пригреваете детей богачей?» — «Дайте мне, — говорит этот злодей, — триста рублей, и ваш Гершка останется дома…» Прихожу к раввину, умоляю, плачу, прошу помочь мне. Он разводит руками и говорит: «Не могу!» — «Почему?» — «Одно дело — братство, а другое — коммерция…»

— Сознаюсь вам, Юдл, как отцу родному: три года я обманывал евреев, таких же бедняков, как и сам… Драл с них проценты, подсовывал им гнилой товар и накопил так сто рублей. «Возьмите их, — говорю я Гомбергу, — пощадите моего Семку, он один у меня…» Разбойник этот швырнул мне деньги в лицо: триста рублей, ни копейки меньше!..

У каждого свои мысли и заботы, всякий печалится по-своему. Шимшон стоит за бормашиной, в руках у него рычаг с прикрепленной подковой. Рычаг упирается в бедро, метчик вгрызается в отверстие железа, оставляя за собой нарезку для винта. Работа медленно подвигается, патрон не в порядке, метчики — плохой закалки — ломаются, где уж там сдельничать, выгнать бы свои шестьдесят копеек в день.

Муне повезло, он достал старый метчик, отточил его и уже нарезал кучу подков. Ему надо теперь стараться, показать себя молодцом, за ним следят во все глаза. Мастер Дворниченко немало потрудился, пока разнюхал, в чем дело. О, Муня умеет быть осторожным! Кого угодно обманет. Без треска и хвастовства. Провалится — вида не подаст, тихонько начнет сначала. Редкий парень этот Муня, говорит медленно, думает долго и тяжело, зато скажет — кончено, ничего лучше не придумаешь… Напортил ему Моська Смоляров, сопляк, прикинулся простачком, выведал все и донес мастеру. Подковы эти никуда не годятся, отточенный

метчик дает негодную резьбу. Дворниченко отозвал Муню в сторону, подступил к нему с кулаками и бросил ему в лицо: «Бунтовщик, крамольная сволочь», — и тут же помчался к Гомбергу. Гомберг явился в цех, заложил руки в карманы и спокойно стал поддевать Муньку. Он смеялся, отпускал колкие словечки по адресу Нухима, и казалось, ему ничего не стоит проболтать так три дня. Но Гомберг не довел игры до конца, он потерял терпение.

В самом деле! Обращаешься к мальчишке, а он спокойненько стоит у бормашины и нарезает подкову за подковой… Что здесь, представление, театр?..

— Почему ты молчишь, сучий сын? Говори, бес твоей матери!

— Вы мне мешаете, — спокойно сказал Мунька, — я не выгоню из-за вас поденки.

Гомберг затопал ногами и сразу же утратил свою важность. Он метался, грозил всех разогнать, вызвать фабричного инспектора, носился взад и вперед. Крикнет что-то и побежит, крикнет и опять понесется. Привычку эту он принес с собой с толкучки, — скажет, бывало, покупателю цену, махнет рукой — и марш в угол: дескать, кончено, ни гроша не сбавлю. Он кипятился, смотрел на одних волком, а дайону, сыну раввина, и торговцам улыбался: извините, мол, за беспокойство, господа… Кончилось тем, что Гомберг остановил бормашину, вырвал из рук Муньки подкову и крикнул: «Убирайся вон!» Тогда и Шимшон снял свой замасленный фартук, остановил бормашину и стал вытирать руки. «А ты куда собираешься?» — спросил его хозяин. «Я с Мунькой поступал к вам, вместе мы и уйдем…» В ту же минуту остановился токарный станок и перестал верещать штамповочный пресс. С Муней уходили Элка-токарь, ловкий парень, мастер на все руки, и Земка-механик — лучший слесарь. Гомберг некоторое время стоял как столб, затем рассмеялся и долго держался за бока, хохотал до упаду. Была у него такая манера — в тяжелые минуты хохотать, пускать пыль в глаза, вы, мол, как хотите, а мне весело.

— Ай да Мунька! Ведь ты главарь целой шайки… Ха-ха-ха! Так и быть, на первый раз прощаю тебя.

С тех пор прошло много дней, а с той ночи, когда они впервые явились сюда, — больше двух лет. Неласковая ночь! Их ввели в длинный темный цех, без полов и стекол в окнах. Пахло дымом, горелым маслом и сырой, непросыхающей землей. Холодный ветер, застрявший здесь, видимо, с зимы, забирался под рубашку, в складки одежды и при каждом движении леденил тело. Шимшона поставили за ручной пресс — один подкладывал подкову, а двое налегали на рычаг и продавливали в ней дыру. От

работы с рычагом болели руки, ныли плечи, и невыносимо хотелось спать… Одиннадцать часов, пять минут двенадцатого — в эту пору о постели и не думаешь, а тут, как назло, тяжелеет и клонится на грудь голова. Пусть пресс расплющит руку, пусть бранят, пусть… Сон победил все страхи. Холодная струя воды вернула Шимшона к яви — это Гомберг подшутил над новичком.

Потянулись месяцы…

За летним днем приходит долгий вечер. По ту сторону окраины шумит город, сверкают огни. В дворянском собрании концерт, в театре спектакль, в саду оркестр Цодикова. Каждая витрина — кунсткамера, на каждой скамейке — друг. Они улыбаются, смеются, не вспоминают о нем, забыли. В темных аллеях шепчутся парочки, знакомые голоса, знакомые лица… Как это случилось, что все покинули его?

В цехе сыро и мрачно, пахнет болотом и гарью… Как хочется ему туда, по ту сторону окраины! Взглянуть на разодетых людей, вдохнуть запах расцветающей акации. На одно только мгновение… Он спрячется за воротами, не омрачит их веселья видом своей пропитанной маслом рубашки и заскорузлых штанов. Мерзкое масло! Оно и на белье, и на ногтях, и глубоко под кожей. Стоит ему появиться среди людей — все спешат от него прочь. Отверженный и забытый, он не читает больше, не пишет, связка книг заброшена в чулан, время строго рассчитано на сон, еду и работу. Он гибнет… Эта черная, вонючая яма убьет его…

Однако Муне везет, куча нарезанных подков растет, в ней не меньше семисот штук. Пусть хозяин знает, какого работника он чуть не лишился. Хотя Гомбергу ничего не стоит сегодня расхвалить человека, а завтра выгнать его. Давно ли он ставил всем в пример Айзика-кузнеца — внука Иоселя-цирюльника? Айзик такой, Айзик сякой, золотые руки, дельная голова… Но стоило парню сунуться к фабричному инспектору — и кончено… Айзик — живодер, аферист, лентяй. Он попросту выгнал его за ворота. Ни просьбы, ни уговоры не помогли.

Боже, как меняются люди! Мотель-жестяник никогда так не поступил бы. Это был добрый и честный труженик. Слово даст — векселя не надо, из кожи вылезет, а выполнит в срок. Старуха Ривка, эта скупая торговка, давала ему взаймы без отказа. Признательность свою он изливал на Шимшона. Увидит мальчика — обязательно остановит и сунет ему в руку бублик. Этого добра у Мотеля всегда были полны карманы. Работает за верстачком, постукивает и жует. И на заводе этой привычки не оставил: ходит по цеху, а рот битком набит. Пройдет мимо Шимшона, подмигнет ему и сунет рогалик или баранку.

Когда первую партию подков сдали и построили каменный цех, Гомберг пристрастился к изюму. Полные карманы прозрачной коринки. Но Шимшона он больше не угощал. Похлопает парня по плечу, подмигнет, а изюма не даст. Когда вывели стены новой кузни, хозяин надел костюм из английского шевиота и перестал трепать Шимшона по плечу, чтобы не запачкать рук.

Столкновение с Мунькой совсем рассорило Гомберга с Шимшоном. Он стал внука своей благодетельницы называть «забастовщиком». «Здравствуй, забастовщик, как живешь, забастовщик?» Самодовольный, с быстро отрастающим брюшком, он становился невыносим — придирался ко всякой мелочи, точно не было у него другого дела. И Шимшон искал случая сцепиться с ним, выложить ему все, что накипело у него.

— Гомберга, — настаивал Муня, — надо проучить, только не в одиночку, нужна компания. Элка, Земка, я, ты и еще дюжина таких, как мы, — вот сила. Тогда можно и рисковать…

Когда в майские дни шестнадцатого года в армию призвали девятнадцатилетних, все, кто работал у Гомберга, получили отсрочку. Вот когда он почувствовал себя счастливым! От него зависело теперь отправить к воинскому начальнику и Шимшона, и Муньку, и Земку, и Элку, — одним словом, любого из компании бунтарей. Он стал выше держать голову и делал вид, что позабыл имена молодых призывников: «Эй, ты, как тебя? Отзовись, чего молчишь?»

Как будто он никогда не знал Шимшона, не дарил ему бубликов и не хлопал его по спине.

За наковальнями все еще ведутся разговоры, свободно разносятся выкрики и смех. Гомберг притаился и наблюдает за весельем. Эффектный момент! Сейчас его заметят, все засуетятся, и, как по команде, заработают молотки. Куда делся Дворниченко? Где глаза его? Бездельники, жир нагоняют, ничего не делают, а присмотра за ними нет!

— Что, работнички, болтаете? Шуточками пробавляетесь? Далеко на вас уедешь!

На одних хозяин волком смотрит, другим улыбается: извините, мол, за беспокойство, господа… Нельзя же всех стричь под одну гребенку.

— Что с нас возьмешь? Бы же знаете, Марк Израилевич, кто мы… Беда и горе привели нас сюда.

Шапочнику Меер-Беру лучше бы помолчать, ответ его не нравится Гомбергу.

— Не болтайте глупостей, простак! Интендантству до вас дела нет… Работать надо с тем же усердием, с каким вы

молитесь.

Авремл-дайон не возражает, каждое слово Гомберга — истина. Он говорит:

— Я каждый день молюсь за вас…

— И я, — вторит ему Янкеле.

Гомберг не слушает их:

— Собаки давно растаскали бы ваши кости. Могилы никто не нашел бы…

Такого хозяина не уважать, — есть ли на свете справедливость!

— Делами вашими вы обрели себе место в раю…

Юделю-комиссионеру не нравится болтовня Меер-Бера, и он тихо шепчет ему:

— Придержите ваш язык, смажьте его клейстером, чтоб не выскакивал.

Шимшон и Муня продолжают работать. Им подобное слышать не впервой.

— Все вы хороши, — продолжает Гомберг, — и в молитве не откажете, и место в раю уступите, а в контору являетесь, как разбойники: «Давай! Плати!..»

— Какое свинство! — только и может произнести Смоляров. Он потрясен. Эти нищие хуже грабителей. Боже мой, какая черная неблагодарность! Требовать плату — за что?..

— Скажите нам, кто они… Назовите их имена… Уж он поговорит с ними, научит их приличию!

Нет, нет, пусть они не обольщаются, Гомберг не назовет этих людей. Ни за что… Отдавать на растерзание виновных, простите, не в его характере.

Он отрицательно мотает головой, затыкает уши и в то же время пристально смотрит на Юделя и Меер-Бера. Как тут не догадаться?

Мотель-жестяник не поступил бы так…

Гомбергу этого мало. Дерзкие люди, они порядком напугали его, у него нет оснований быть снисходительным. Кто посмеет еще оправдывать их?

— Молчишь, забастовщик! Почему твоего голоса не слышно?

Вопрос звучит ласково, он приглашает Шимшона осудить злодеев.

— Мне кажется, Меер-Бер и Юдл ничего плохого не сделали. У них нет лавок, как у других, нет родителей раввинов, нет ничего, кроме большой голодной семьи… Когда машина у шапочника не стучит, а дети требуют хлеба, ничего другого не остается. Не все же могут даром работать. Почему вам не дать им по полтиннику в день?

— У тебя доброе сердце, дай им из своего кармана.

— Когда вас объявят несостоятельным, — слышится вдруг голос со стороны, — мы соберем Меер-Беру на хлеб.

Это вмешался Ефим Исакович Гер. Инженер проходил мимо цеха, услышал разговор и вставил свое слово.

Гомберг прячет за улыбкой свое раздражение:

— Какое вам дело до Меер-Бера? Вы, кажется, ремонтировали динамо…

Инженер тоже улыбается, он ни чуточку не изменился за это время. Скажет слово — и улыбнется, потрогает пуговицу своей куртки — и снова улыбка на лице.

— Мне нет дела до Меер-Бера? У меня давнишние счеты с толкучкой, вы это отлично знаете.

Еще бы, кто не помнит его фантазии! Слава богу, крепко тогда посмеялись над ним.

— И какой толк? Они всучили голове взятку и выставили вам шиш. Донесли, что вы социалист, и вас выгнали из управы.

— Бывают ошибки, — улыбаясь, говорит Ефим Исакович, — они приняли меня за врага, а вас за друга. Оказалось наоборот…

Шимшон пускает бормашину на холостой ход, она мешает ему слушать. Какая неожиданность! Гер никогда так не говорил, никогда… Смелей, Ефим Исакович, смелей, не останавливайтесь на полпути!

— Как вам нравится мой инженер?

Хозяин оглядывает всех и ждет.

Нет, нет, он им не нравится, Гомберг может это видеть по их лицам. Порядочные люди не одобряют нахальства и самовольства. Человек должен быть почтительным к своему благодетелю.

— Поздравляю тебя, Шимшон, ты уже, слава богу, не один. Можешь пожать ему руку… И Мунька тоже…

Здорово же его разобрало, если он и Муню приплел. После памятной ссоры, когда Элка, Земка и Шимшон чуть не ушли с завода, хозяин избегал связываться с Муней. Опять могла вспыхнуть неприятность. Шимшон спешит водворить мир:

— Напрасно вы, Марк Израилевич, все принимаете так близко к сердцу. Это останется между нами, мы все здесь евреи.

— Молчи, дурак, — шипит Муня, — лучше инженера ты не скажешь, только напортишь.

Ничего не поделаешь, начал — надо кончать:

— Я хотел сказать… евреи между собой поладят.

— Что ты тычешь мне своих евреев? — злится Гомберг. — Думаешь, подкова становится кошерной оттого, что ее сработал еврей, а не татарин? Один толк.

На помощь Шимшону приходит Меер-Бер. Очень уж ему хочется загладить вину свою пред хозяином:

— Евреи — братья… Мы должны помогать друг другу.

Лучше бы он и на этот раз смолчал. Гомберг, как помешанный, забегал взад и вперед.

— Должны? Обязаны? А я не хочу! Братья? Так Меер-Бер мне не брат. Не дадут мне за это места в раю? Братья! Братишечки! Строчат друг на друга доносы полицмейстеру, губернатору, воинскому начальнику, клевещут, дерутся, как собаки…

Гомберг наконец устает и умолкает. Он морщит лоб, забота отражается на его лице.

— С вами заговоришься, — произносит он как бы про себя, но достаточно громко, чтобы быть услышанным. — В конторе меня ждет фабричный инспектор. Черт его прислал! Кто-то донес ему, что у меня скрываются от мобилизации резники и торговцы. Он хочет собственными глазами увидеть вас.

Вот когда они присмиреют. Маневр Гомберга с фабричным инспектором имеет свою мораль: «Думайте лучше, ребятки, о другом. О том, как трудно мне уберечь вас от беды, как много испытаний выпадает на мою долю. Ох как тяжело быть хозяином…»

Едва отзвучали шаги Гомберга, Меер-Бер отложил молоток и приблизился к Юделю:

— Объясните мне, Юдель, что он сказал…

Комиссионер покосился на дайона и сына раввина, почесал затылок и спокойно ответил:

— Ничего особенного, придет фабричный инспектор, посмотрит на нас и даст нам адрес воинского начальника.

Меер-Бер испытующе заглядывает в лицо Юделя, и глаза его наполняются слезами.

— Бог с вами, мой друг, разве поступают так с людьми?

Янкеле насторожился. Он забыл, что дайон соперник, смертельный враг его, и обратился к нему, как к другу:

— Вы слышали, Авремл? Донос!

В одно мгновение и Авремл забыл старую вражду свою к сыну раввина. Он взглянул на него с любовью и простонал:

— Нам перерезали горло!..

Меер-Бер сидел за прессом и вздыхал:

— Горе мне! Что будет с моими детками?.. Кто накормит голодных пташек?..

И Смоляров присмирел. Ему больше не до шуток, он виноват пред своим приказчиком, что же, грешен, как говорится, пересолил…

— Вы молчите, реб Эля?..

За двадцать лет Смоляров впервые приукрасил имя приказчика почтительным «реб». Как не откликнуться на такую ласку? Эля по привычке встает на кончики пальцев и перегибается.

— Все утро у меня ныло сердце… Черный день…

Янкеле и Авремл нежно шепчутся. В глазах дайона любовь, сын раввина растроган. Друзья познаются в беде.

— Мы пропали, Янкеле.

— Мы как стадо овец на бойне, придет резник и перережет нас.

— Помогите, — всхлипывает Меер-Бер, — помогите, Ефим Исакович, нас убивают!

Снова, как в тот день, когда он явился к ним на толкучку, они окружают его и молят о помощи:

— Спасите нас от гибели!..

— Не дайте нам умереть!..

— Сжальтесь над детьми!..

Инженер стоит растерянный и бледный. Он больше не улыбается, глаза его широко раскрыты.

— Не просите меня, я ничего не могу сделать. Успокойтесь, прошу вас…

Авремл вдруг стучит по столу, строгий голос его требует внимания. Грудь выпячена, голова запрокинута — облик дайона, будущего раввина… Разом умолкают машины, молотки, скрежет и лязг.

— Тише, рабойсай[16], я скажу слово!

Люди собираются, молчаливые и покорные, и, затаив дыхание, обступают его.

— В торе нашей сказано, — звучит торжественная речь, — сыны Израиля отвечают пред богом друг за друга. Грехи одного — грехи всей общины, позор его — позор всего народа. Из-за Ионы-отступника бог обрушил гнев свой на корабль с людьми… Кто из нас тот Иона, из-за которого мы погибаем? Отзовись!

Никто не шевелится.

— Не будем упрямиться, за спиной нашей смерть! Откроемся в наших грехах. Милосердие и покаяние спасают от гибели.

— В каких грехах каяться? — спрашивает Янкеле.

На него устремляются недобрые взгляды. Он ничем не лучше других и не смеет возражать.

— Во всех грехах к ближнему, — отвечает дайон. — Сегодня иом-кипур, день небесного суда. Кого там осудили, тот здесь уже мертв…

— Боже мой, — шепчет Эля, — нас вовсе не считают евреями. Ни субботы, ни рош-гашоно, ни иом-кипура… Как только господь

терпит нас…

Совершенно очевидно, это — расплата за прегрешения. Они поплатятся своей жизнью за нарушение святого дня.

Снова Авремл стучит по столу, строгий голос его требует внимания:

— Не будем медлить, евреи!

— Покаяние так покаяние, — соглашается Янкеле. — Кто первый?

Он напомнит еще Авремлу о себе, дайте срок.

Никто не спешит каяться, каждый уступает очередь другому.

— Бросим жребий, — предлагает, завязывая узелок, Эля. Благодарный хозяину за недавно оказанное внимание, он предоставляет ему первому эту честь.

— Дурак, — тихо шепчет ему Смоляров и вытягивает узелок.

Он бледнеет, закусывает губу, озирается и видит кругом довольные лица.

— Поменьше спеси — ты пред богом, — предупреждает его Авремл.

Смоляров еще больше бледнеет, стискивает челюсти и, ударяя себя в грудь, тихо шепчет:

— Я буду правдив, как пред господом богом. Я грешил, был вероломен, грабил, обвешивал бедняков, скупал краденое, давал деньги в рост, не жалел вдов, обижал сирот… Звал умирать за царя, лгал, что война — конец голуса.

— Сознайся в своем чванстве, — прерывает его Янкеле.

— Я был высокомерен, заносчив, кичился родством своим с любавичским ребе… Я был груб с простым народом, надменен с беднотой…

Признания Смолярова смущают Элю-приказчика. Он впервые видит хозяина униженным. Наконец-то он сознался в самом главном: «Я был груб с простым народом, надменен с беднотой…»

Выражение удовольствия сменяется тревогой, никто больше не улыбается. Кому теперь нести бремя признания? Узелок в руках дайона. Нет пророка в своем отечестве! Суровое молчание. Один Янкеле не скрывает своей радости. Наконец-то и на его улице праздник!

— Прости, господи, мои прегрешения… — начинает дайон.

Авремл зажмуривает глаза и не раскрывает их. То ли полон он благочестивого трепета, то ли стыдно ему глядеть людям в лицо.

— Я злословил, лгал, враждовал, обманывал… Я желал смерти раввину, жаждал его гибели, чтобы занять его место… Я чернил сына его Янкеле перед общиной, возводил на невинного ложные обвинения, позорил и унижал его…

— Вспомни о доносах, подкупах и ходатайствах, — напоминает ему Янкеле.

— Я доносил губернатору, — искренне кается дайон, — полицмейстеру, приставу, городовым, что Янкеле враг царя Николая, скрывает у себя социалистов и творит беззакония… Господи, прости меня, я ходатайствовал перед министром, чтобы расправились с врагом моим, убрали его из города и сослали в Сибирь.

— Тише! — предупреждает кто-то у дверей. — Инспектор идет!..

В одно мгновение цеха не узнать. Шимшон пускает бормашину, метчик впивается в железо. Прессы взмахивают рычагами, стая молотков обрушивается на подковы, и встает оглушительный звон.

— Набросьте на меня, Эля, вашу грязную тужурку, — говорит Смоляров, — вы и без нее похожи на водовоза.

— Спрячьте бороду, Авремл, — шепчет ему Янкеле и проводит грязной пятерней по своему лицу. Ладонь отпечатывается на лбу. Чистота в таком деле скорей помеха, чем добродетель.

— Что вам говорит ваше сердце, Юдл? — спрашивает Меер-Бер. — Мое разрывается на части.

Комиссионер грозно сдвигает брови и отвечает:

— Погибель так погибель, лишь бы со Смоляровым…

— Побойтесь бога! — пугается шапочник. — В такую минуту желать ближнему несчастья!..

— Это враги наши, Меер-Бер. Как вы этого не видите? Завтра окончится война, и они снова нас запрягут.

— Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..

Гомберг разрывается на части; он хохочет, хватается за бока и локтем подталкивает инспектора:

— Оглянитесь, Иван Иванович, посмотрите на них… Рабочие, труженики с пеленок. Можно сказать, с утробы матери… Откуда вы взяли, что у меня здесь торговцы и резники?..

Легко сказать «оглянитесь, посмотрите»… Фабричный инспектор едва держится от выпитого вина на ногах. Форменный картуз сполз на глаза, а из-под козырька виднеется один нос — крупный, синеватый, с воспаленным кончиком. Гомберг держит инспектора за талию и с жаром говорит:

— Вы насмешили меня, Иван Иванович! Можно сказать — уморили…

— Гм… Гм… — хмыкает инспектор. — С утробы, говорите… с пеленок?..

Он может еще повторять слова Гомберга, но вникать в их

смысл свыше его сил.

Лицо хозяина сияет восторгом, щеки пылают, взгляд откровенно говорит: «Вот она, ваша опора — фабричный инспектор. Видели? Что захочу, то и сделаю…»

Руки Шимшона скользят по патрону, он не глядя вставляет в него метчик и надевает подкову на рычаг. Глаза его устремлены на Гомберга, поддерживающего фабричного инспектора. Гнев застилает их.

Руки Шимшона трепещут от напряжения, они не чувствуют, как накаляется несмазанный метчик, как больно жалит горячая стружка. Нагретая подкова дымится, запах гари распространяется сильней и сильней. Раздается треск. Перегретый метчик ломается и застревает в подкове. Шимшон отстраняет от себя рычаг, как будто только и ждал этого, останавливает машину и спешит к наковальням. Он быстро обходит работающих и останавливается около инженера.

— Вы хотели мне, Ефим Исакович, что-то сказать?

— Нет, ничего.

— Странно… Неужели это мне послышалось?

— Должно быть…

Шимшон сжимает и разжимает кулаки, пальцы его при этом разгибаются и выпячиваются.

— Погодите, Меер-Бер, — кричит он вдруг, подбегая к шапочнику, — у вас ничего не выходит! Дайте молоток…

Его руки набрасываются на подкову, как на врага.

— Довольно, Шимшон, — останавливает его инженер, — Меер-Бер уже понял…

Смущенный и усталый, Шимшон откладывает молоток, оглядывается и бормочет:

— Бить надо в меру. Ни одного лишнего удара.

— Ни одного лишнего, — подтверждает, улыбаясь, Ефим Исакович.

Шимшон возвращается к бормашине, долго силится вытянуть метчик и глухо стонет:

— Я не могу больше, Мунька! Слышишь, не могу!..

Муня делает вид, что не совсем понимает его. Ничего, фантазер порядком надоел ему своей болтовней.

— Чего тебе надо?

— Я задыхаюсь, у меня сил нет терпеть!..

— Не кричи, здесь не глухие.

— Если я не буду кричать, сердце мое разорвется.

— Ничего, выживешь…

Мимо проходит инженер; Шимшон бежит, догоняет его:

— Почему вы молчите, Ефим Исакович? Как он смеет так

поступать!

Инженер искоса оглядывает Шимшона, точно видит впервые.

— Вас ведь не трогают. На кого вы, собственно говоря, жалуетесь? На все святая воля бога. Он возвысил Гомберга и унизил других.

Гер смеется над ним. Противный Мунька, это его работа, успел уже, собака, наболтать, выложить все инженеру.

— Бог тут ни при чем, Гомберг просто дурной человек.

Голос Ефима Исаковича отдает холодком:

— А дурное разве не свыше?

И этот туда же… Они сговорились сегодня извести его!

— Зачем вы надо мной смеетесь? Думаете, время ничему не учит?

— Что вы, что вы, — горячо защищает инженер, — время — наш лучший союзник…

— Я видел, как топчут веру, оплевывают святыню, оскверняют праздники… Я ждал грома с неба…

Шимшона душит отчаяние. Так крепко верить, так долго ждать!

Ефим Исакович сочувственно смотрит на него и наконец улыбается:

— Вы ждали, а теперь?

— Я не жду больше.

Инженер отводит его в сторону, прячет руки в карманы и пристально на него смотрит.

— Погодите, Шимшон, вы как будто говорите дельные вещи. Неужели вы стали думать иначе?

— Нет, Ефим Исакович, я верю, что евреи — дети одного отца, кровные братья, и враждовать им незачем.

Ах, незачем? В таком случае тысяча извинений, у инженера много дел, его положительно на части рвут.

Куда он умчался? Они ведь еще ни до чего не договорились. Напрасно Ефим Исакович ускользает. Так никому ничего не объяснишь…

Он долго ищет инженера и находит его у динамо-машины, беседующим с Гомбергом. В мастерской безлюдно, никого поблизости нет, они громко, непринужденно говорят.

— Вы начитались всякой дряни, — с покровительственной фамильярностью откровенничает хозяин, — набрались вредных мыслей и сеете их на каждом шагу. Вы сваливаете в одну кучу евреев и их врагов. Запомните, чудак вы этакий: мы — это мы, а они — они. Не может быть никаких сравнений. У них вспыхнет забастовка — запахнет порохом, польется кровь. Между братьями вы этого не увидите. У нас бедные уважают богатых, младшие —

старших. Оплошал хозяин — не беда, придет время, он образумится и исправит ошибку.

Этот изверг осмеливается говорить о братстве… Уж не думает ли он, что братство придумали для него?

— А если старший брат не образумится?

Молодец Ефим Исакович! Он угадал мысль Шимшона.

— Ничего не будет, — успокаивает его хозяин, — евреи умеют терпеть.

Они долго маячат. Один занят машиной, другой напряженно думает.

Вдруг Гомберг берет инженера за руку, притягивает его к себе и шепчет ему:

— Выбросьте дурь из головы, пора! Живите со мной в мире. Я нужен вам, а вы мне. Какое вам дело, как я обхожусь с рабочими? С меня за это взыщут на небе.

Инженер мягко освобождается от объятий хозяина и сухо отвечает:

— Не делайте меня соучастником ваших гадостей. Расправляйтесь с бедняками без меня.

Вот он какой, этот Ефим Исакович!

— Вы просто ненавидите богатых, — корчится от злобы Гомберг.

Ей-богу, он угадал! До чего прозорливый человек!

— Мне некогда спорить. В цехах никого нет. Вы поставите стрелку часов на место, и мы помиримся.

— А если я не послушаюсь?

— Я предупрежу рабочих, что вы перевели стрелку часов назад.

Гомберг хохочет, хватается за бока, перестает и снова хохочет. Инженера этим не удивишь, он знает штучки хозяина наперечет. Сейчас смех его сменится беготней взад и вперед, уверенная речь — выкриками.

Они расходятся, словно высказали наконец друг другу все…

Шимшон работает за бормашиной. Голова его полна мыслей, у него есть о чем подумать, что-то как будто надо решить! От подслушанного разговора осталось чувство стыда и раскаяния. Так мучительно разделять страдания других, страстно желать им помочь — и вдруг увидеть себя их врагом… Есть ли что-нибудь позорнее? Как друзья и союзники, он и Гомберг нападали на инженера, терзали его одними и теми же словами, бросали ему один и тот же упрек. Как это случилось, что он, честный Шимшон, стал другом и единомышленником злодея? Разве он трусил в минуты опасности, не срамил Гомберга на глазах людей?

В трудные минуты судьба посылает ему утешителя, вот он

идет, приближается, кивает ему головой:

— Здравствуй!

— Здравствуйте, реб Иося, как ваше здоровье?

Он машет рукой, и печаль кривит его губы.

— Спасибо Мотелю Гомбергу, утешил старика. Угнал внука на фронт. Живи, Иосл, одинокий, как верстовой столб.

Что ему ответить? Натравить на Гомберга? Всунуть ему нож в руку и сказать: «Иди, Иосл, убей врага твоего внука…»

— Не унывайте, все в руках бога…

Старик презрительно усмехается и поднимает глаза к небу:

— Не надо, Шимшон, надежда плоха.

Цирюльник уходит в контору, остается там некоторое время и выбегает оттуда с отчаянным воплем:

— Эля! Меер-Бер! Что творится на свете! Небо рушится, еврей предает еврея! Он выгнал меня, вы слышите, выгнал, как собаку… «Где справедливость? — спрашиваю я его. — Где правда?» — «Поищите ее, — говорит он, — в другом месте, мы здесь делаем только подковы…» — «Гомберг! — кричу я ему. — Вы разговариваете как капиталист! Одумайтесь, еврей-заводчик — отец родной для рабочего». — «Убирайтесь, — говорит он мне, — старый дурак, вы в жизни ничему не научились! Идите морочьте людей на толкучке, паршивый лекарь!» Я, Иосл-кантонист, — паршивый лекарь!..

Он опускается на земляной пол посреди цеха и плачет, склонив голову на грудь.

— Так мне и надо! Поделом!.. Не насилуй свое сердце, не обманывай себя, не притворяйся и не криви душой. Ты подружился с богачами и духовенством, забыл обиды и горе. Забыл, что тебя ребенком схватили твои же соседи, братья-евреи, сдали, как овцу, под зачетную квитанцию вместо сына богатого Гурвича — отца Авремл-дайона…

Умолкают молотки, замирают голоса людей, все глаза устремлены на старика.

— Забыл?.. Сердце твое от них отворачивалось, душа их не принимала, а ты льнул к ним, якшался с живодерами, пиявками и кровососами бедноты… Так тебе и надо, Иосл. Гомберг тебе напомнил. Ой, как напомнил…

Старик встает, вытирает глаза и торжественно возвышает голос:

— Я выйду на середину толкучки и прокричу на весь мир, что у евреев народился враг, какого еще не было. Пусть знают, что Мотель Гомберг, подобно фараону, убивает детей евреев, обращает в рабство их отцов и строит пирамиды из подков. Создатель вселенной, куда делись твои глаза?! Земля

наполнилась нечистью, а ты панствуешь там, на небе!

Он уходит, и снова по-прежнему верещит пресс, стучат молотки и растет гора подков у ног Муни. Голова Шимшона полна мыслей, сердце — чувств. Но как разобраться в них?..

— Суждено было огорчение, — тяжело вздыхает Авремл.

— Предупреждение свыше, — поправляет его Янкеле. — Нельзя безнаказанно нарушать праздники. Осквернение иом-кипура — смертный грех.

— Глупости, — вмешивается Юдель. — Единственный смертный грех — это бедность.

— Молчите, безбожники!

Дайон всюду пастырь, даже здесь, за наковальней.

— Не в постах и молитве дело. Нужна человечность.

Это сказал Шимшон. Кто поверил бы, что он способен на такой шаг?

— Слышали, евреи? — радуется Янкеле грехопадению юноши. — Слышали?

— Вы готовы уже придраться, — перебивает своего врага Авремл. — Шимшон вовсе не то хотел сказать…

— Не защищайте меня, — возражает Шимшон, — реб Янкеле правильно меня понял.

Всем становится вдруг весело. Улыбаются Юдл, Меер-Бер, Мунька и даже Ефим Исакович, радуются Смоляров и Янкеле, — точно они невесть сколько времени ждали этих слов.

— Мазлтов[17], — торжествует Смоляров, — родился безбожник.

— Молодец, Шимшон! — одобряет его другой лагерь. — Наконец-то!..

— Фе, Шимшон, — не сдается дайон своему врагу, веселье Янкеля коробит его. — Я не ждал этого от вас… Что значит «не в постах и молитвах дело»? А в чем же?

— В человечности, — уверенно отвечает отступник.

— Правильно, — соглашается Юдель. — Не дело одну руку простирать к богу, а другую запускать в чужой карман.

— У нищих, — усмехается Смоляров, — общий язык.

— Не чваньтесь, реб Бенцион, своим богатством, — вступается за нищих Шимшон. — Я знаю вас… Вы из тех, кто правого продает за серебро, а бедного — за пару сандалий. Вспомните слова Амоса: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв ваших… Удали от меня, Израиль, шум песней твоих, ибо звуков гуслей я не буду слушать!.. Пусть, как вода, течет суд и правда, как сильный поток…»

Его слушают со вниманием, одни с тайной, другие с явной радостью. Он стоит перед ними, возмущенный и гневный, в

стремительном движении высоко подняв руку… Он не видит, как лица одних вытягиваются, других зажигаются злорадством, не слышит за своей спиной шагов хозяина. Еретик и пророк, — что ему до них?..

— «За то, что вы попираете бедного, — продолжает он, — вы построите дома из тесаного камня, но жить в них не будете… И придет на тебя, Израиль, бедствие, ты не узнаешь, откуда оно, нападет на тебя беда, которой не в силах ты будешь отвратить, придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь!..»

— Ты неплохой проповедник, — прерывает его Гомберг. — Кто тебя научил этому? Отец твой простак, невежда, раввинов среди родни твоей тоже нет, откуда это у тебя?

— Каждый еврей обязан знать это.

— Не находишь ли ты, что сын Дувида-портного стал слишком дерзким? Произносит возмутительные речи, черт знает какую мерзость, и еще кичится! Понимаешь ли, несчастный, что ты говоришь? За такие слова один путь — на виселицу!

Шимшон не возвращается к бормашине, он смотрит прямо в глаза хозяину и спокойно отвечает:

— Это — слова Исайи и Амоса. Я только повторил пророков.

Пророков? Гомберг опускает глаза и глубоко засовывает руки в карманы.

Юнец этот здорово пристыдил его.

— Пророков? Гм… гм… Хорошая у тебя память на пророков, я в хедере еще перезабыл их. Как бы там ни было, нам надо, Шимшон, расстаться. Болтать о братстве, о чепухе, о справедливости хорошо на синагогальном дворе. Не спорю, в торе у нас написано, что все евреи — братья, дети одного отца… Но если это уже написано, зачем повторять всуе? Люди могут это принять за призыв к мятежу. Таких людей, как ты, лучше всего направлять к воинскому начальнику.

Гомберг поднимает глаза и ждет одобрения. Но все, даже болтливый Янкеле, молчат.

— Лучшего учителя вы ему не посоветуете?

Это вмешивается Ефим Исакович.

— Вы уже тут как тут! — еле сдерживаясь, говорит хозяин. — Будьте спокойны, вам эту школу пройти не придется. Вы, правда, тоже изрядный фантазер, но что разрешается вам, то нельзя позволить сопляку.

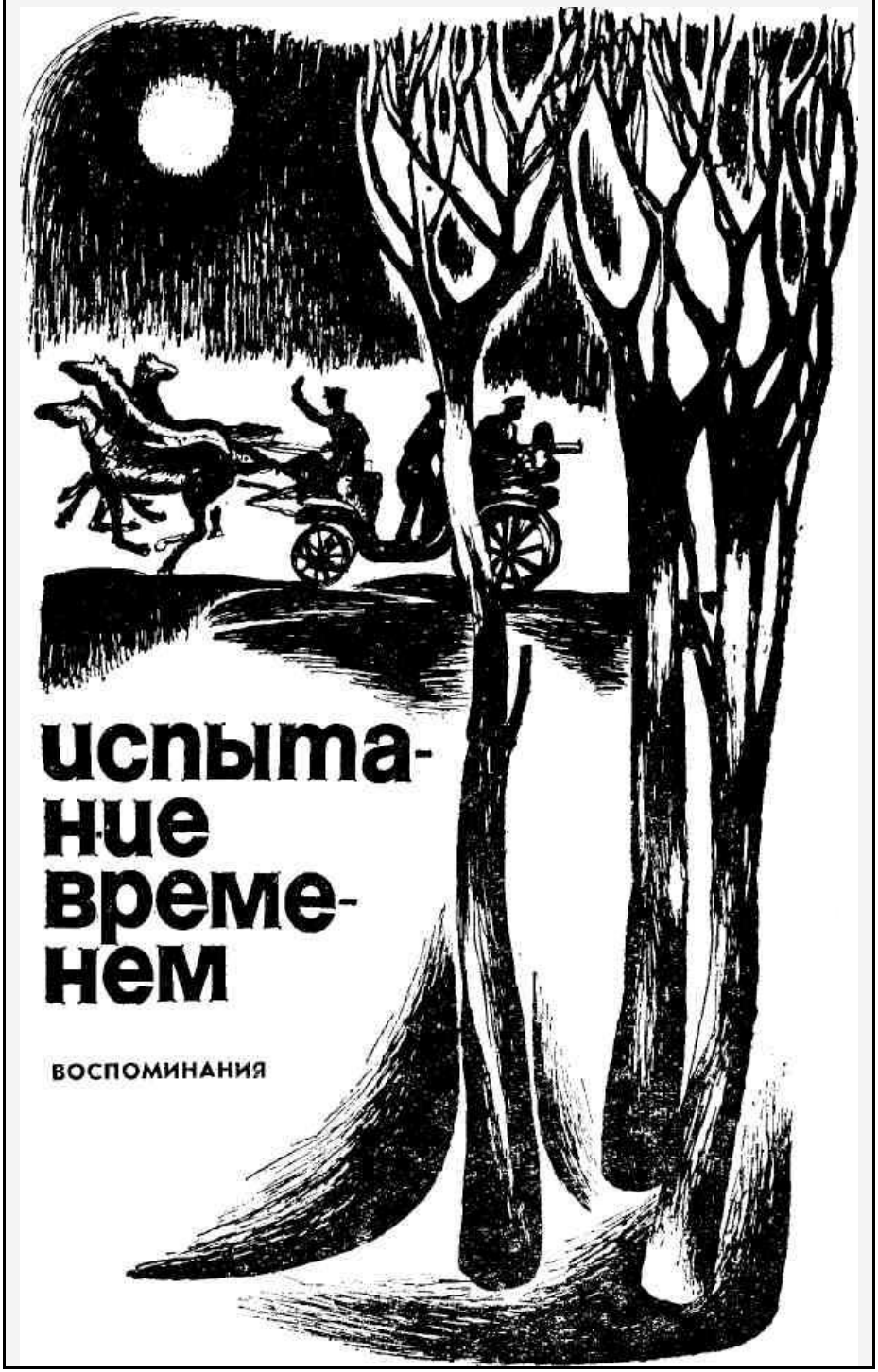
— Послушайте, Марк Израилевич, — горячо говорит вдруг инженер, — мудрствования Талмуда о справедливости и братстве меня не занимают. Я не хочу больше быть свидетелем ваших гадостей. Вы перевели сегодня стрелку часов на полчаса и потребовали, чтобы подлость эту разделил и я. Рабочие

предупреждены… Я не могу больше у вас оставаться… Пойдемте, Шимшон, к воинскому начальнику…

У ворот их догоняет Мунька:

— Погодите, Ефим Исакович, и ты, мечтатель, мне с вами по пути.

ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Воспоминания



Испытание временем

ВОСПОМИНАНИЯ

1

Пути мечтателя неисповедимы!

Судьба увела Шимшона из родных мест в большой, клокочущий непокоем город, сотрясаемый благодатной грозой революции, и возложила на юнца нелегкое бремя судить и рядить во имя грядущего. Для неискушенного сердца и ума, напоенного мудростью толкучего рынка и сообщества Юделя-комиссионера, Авремла-дайона и шапочника Меера-Бера на заводе Гомберга, пришла пора испытаний.

У революции свои призывные колокола, вещие силы, зовущие отстоять славу и благо человечества. Они намечают пути прямые и окольные к истине и справедливости, но где мечтателю их разглядеть, узреть в пурге дали, в грозном трепете моря — границы неба и земли? У революции нет догматов, и творится она в кои веки душой и сердцем самоотверженных людей. Легко ли неопытной душе это почуять и не оступиться, ведь новичку в революцию шел двадцать первый год…

Кому дано было окунуться в поток народного гнева, в водоворот веками подавленных сил, не забудет ту пору тревог и надежд. В мыслях будет жить великое смятение, памятное для близких и дальних потомков. Быть свидетелем революции, ее понятым, быть вправе сказать, что великий вихрь страстей не оставил тебя безучастным, — немалая честь, но где уж мечтателю донести до потомков всю правду без изъяна. Его ущербленному кругозору дано судить о победах и поражениях лишь по вздыбленному прибою и отголоску далекой волны.

Автор предвидит справедливые укоры современников, упреки читателя: «Не так, — скажут они, — не таким был облик революции». Не спорю, иной она выглядит сейчас и для меня, но не так ее разглядел и осмыслил Шимшон в свои двадцать лет.

1917 ГОД, ОДЕССА

2

Двор, как и многие другие на Госпитальной улице в Одессе, трехъярусные этажи с открытыми лестницами и железными перильцами. Посреди двора прикрытая решеткой помойная яма, клочок неба над домом и развевающееся белье на протянутых веревках. Но что за необычный шум царит там сегодня? Почему жильцы высыпали во двор, виснут на перилах этажей и, возбужденные, шлют кому-то угрозы и проклятия?

— Выходи, Нусон, хуже будет!

— Покажи свою трефную морду, ханжа!

— Не прячься, грабитель, все равно найдем!

— Дом твой по кирпичу разнесем!

Во двор вливаются толпы людей, озлобленные и беспощадные, они требуют к себе злодея. Он должен умереть. Страна очищается от грязи и преступлений, ему не уйти от наказания, собственной кровью искупит он вину.

Нусон рядом со мной, на третьем этаже. В соседней комнате лежит его умирающая жена, ей бы лучше не знать, что ждет мужа. Я наклоняюсь к его уху и говорю:

— Как могли вы на это решиться? Мир преображается, наступают светлые времена, без царя мы заживем как у бога за пазухой, — и вдруг вы, честный разносчик, становитесь вором. На что вы надеялись? Дня не проходит без самосуда, улицы залиты кровью воров и грабителей. Вчера убили одного на Прохоровской, позавчера — другого на Ближних мельницах. Милиция не смеет вмешиваться, народ хочет очиститься от темного прошлого, кто смеет ему помешать? Где была ваша голова, неудачник, почему вы раньше чужого добра не трогали? Впервые вам голодать? Нужды испугались? Зачем вы навлекли на себя позор?

Нусон спокоен, бледное лицо печально, веки спущены, и чуть склонена голова.

— Я не боюсь их, дорогой учитель, напрасно вы беспокоитесь, — говорит он. — Я крепко верю в моего бога, он не даст мне долго страдать. Жена остается на ваших руках, она вас долго не обременит.

Сумасшедший человек, какой дьявол толкнул его на грех! Как успокоить разъяренных соседей?

— Хотите знать, как это случилось, — начал он, — я вам скажу! На прошлой неделе я продал последнее добро — наши медные подсвечники. Они больше не нужны, жена умирает, и некому больше свечей зажигать. Работать я не могу, не на кого оставлять больную. Вы живете у меня третий месяц и видите, как

мы страдаем. Я пожаловался соседям, — думаете, они отвернулись? Наоборот, каждый хотел мне помочь, но какой ценой! Фрейдл-акушерка, которая делает у себя в чулане аборты, предложила искать ей клиенток. Мог ли я на это согласиться? Разве я не слышу стоны несчастных женщин? Как только она выносит стол в чулан, я уже знаю, что она на рассвете искалечит одну из них. Пусть не смущает вас ее спесь, она только бабка и нигде ничему не училась.

Толпа взбирается на третий этаж, сквозь топот по лестнице слышатся злобные выкрики.

— Захар Арнольдович предложил мне вербовать ему зрителей с половины заработка. Он где-то раздобыл разбитый киноаппарат, починил и показывает за плату картину «Ложная клятва». Вид у него, как вы знаете, приличный: на нем сюртук, модные ботинки и котелок, как такому человеку не поверить, когда он уверяет, что картина — любовная, сто́ящая. Из-за полтинника никто спорить с ним не станет, и до поры до времени это сходит ему с рук… Вы не раз говорили мне, что мир очищается от преступления и грязи, мог ли я пойти на обман?

Кто-то стучится в дверь, сперва осторожно, затем все настойчивей. Нусон молчит и горько улыбается.

— Выходи, подлец, все равно убьем! — доносится резкий голос.

— Что его упрашивать, ломайте дверь!

— Бейте стекла!

Нусон спокойно продолжает, он закладывает руки назад и медленными шажками прохаживается по комнате.

— Мне оставалось только красть. Я знаю, что брать чужое грешно, но сдоить у коровы бутылки две молока не такой уж тяжкий грех. Чтобы не слишком обижать одного хозяина, я каждый раз брал у другого. Часть молока я отдавал больной жене, а остальное вам. Я ведь не слепой, вижу — сохнет человек, тает на моих глазах добрая душа. Пропади моя голова, сказал я себе, были бы вы и моя старуха живы.

Мне становится жутко, судьба Нусона — моя судьба, мы делили с ним добычу. Они придут и растерзают нас обоих. Что им до бедного учителя, которому не хочется так рано умирать, ни за что ни про что быть убитым. Бог однажды проявил уже ко мне свою милость, неужели он не сжалится и сейчас?

Это было давно. Помнится бледное осеннее утро. Ставни в доме заперты, двери на запорах, на столе с ночи горит лампа, в маленькой спаленке пламенеет свеча. До меня доносится запах жареных пирогов и стук ухвата на кухне. Хочется встать, скорей отведать пирожка с капустой, и жаль расстаться с постелью. В

ставне три дырочки, три круглых отверстия, утро вливается в них светлыми струйками. С улицы доносятся глухие удары и редкое щелканье, словно камешками и булыжником запускают в соседние крыши. Дедушка останавливается у окошка, долго прислушивается и что-то шепчет бабушке. Все ходят на цыпочках и, кажется, плачут. Тревога охватывает меня, и я забываю о пирожках. Из кухни слышится стук, хлопает дверь, и врывается громкий голос матери. Ее о чем-то расспрашивают, уговаривают остаться, шепот дедушки, бабушки сливается и в спаленку доносится протяжным «шу-шу-шу». Шаги мамы приближаются, она спешит ко мне. «Вставай, пойдем домой!» Она поднимает меня с постели, быстро одевает, кто-то сует мне в руку пирожок, и мы уходим. Давно уже день, а улицы безлюдны, ни души. Где-то швыряют камни по железным крышам, и слышится цоканье подков о мостовую. Мама ускоряет шаги, я едва поспеваю за ней. Мне трудно бежать, грудь словно обручами сковало, и больно колет в боку. Хочется плакать, сердиться, оторваться от руки матери и не трогаться с места. «Собери свои силы, — шепчет мама, — в городе погром, слышишь, стреляют… Нас могут убить… Казак налетит и шашкой изрубит».

Я бегу, ковыляю, прячусь за спиной матери от казаков и пуль. И сейчас, как тогда, грудь скована словно обручами, и угроза нависла за спиной.

— Я выйду, Нусон, и выложу им всю правду. Они поймут нас. Я — ваш соучастник — разделю вашу судьбу. Страна наша начинает новую жизнь, если признают нас виновными, пусть сметают с лица земли.

Нусон усмехается, губы его бледнеют, и кажется, что на мертвом лице доцветает улыбка.

— Это вам не поможет, учитель, я буду отрицать все с начала до конца. Вы должны жить, на кого я оставлю свою бедную страдалицу… Хоть бы вы меня пожалели.

Голоса за дверью умолкают, и в окно раздается спокойный стук.

— Откройте, Нусон, это я, Иойлик.

Иойлик-контрабандист широко открывает дверь и забывает ее закрыть. К порогу устремляются люди, облепляют окно, теснятся, кружатся, но в дом войти не смеют. Он входит, высокий, широкоплечий, с длинными мускулистыми руками, тяжело ступая в своих грубых смазных сапогах. Пол на шаги откликается скрипом, толпа под его взглядом редеет. На нем синяя китайковая блуза и сдвинутый на лоб картуз. Рядом с ним маленький Нусон со впалой грудью и серыми печальными глазами кажется карликом.

Иойлик засовывает правую руку в карман, пальцем левой поддевает козырек, и фуражка спадает на затылок.

— Поздравляю, реб Нусон, вы стали в добрый час вором. Где ваша совесть, паскудный человек? Как вы еще смеете в глаза людям смотреть, я провалился бы на вашем месте сквозь землю. Думаете, это вам сойдет? Ошибаетесь, не знаете Иойлика-контрабандиста. Мы не дадим позорить наш дом, кончился старый режим, мы сами расправимся с вами.

Он орет во всю глотку, каждое слово ядром вылетает из железной груди и эхом разрывается во дворе. Нусон смотрит на него без тени страха, не сводит с него глаз и улыбается.

— Не баюкайте себя сладкими песенками, — продолжает он, — этот номер вам не пройдет. Никто вас не пожалеет, а я — меньше всего. Когда вас будут рвать на части, топтать ногами, я тоже ткну в вас сапогом. Будь у меня револьвер, я пристрелил бы вас без тарарама. Подохли бы и без музыки. Важная персона, устрой ему самосуд в присутствии всей улицы.

Он озлобленно плюет и сердито растирает плевок сапогом.

— Я предлагал вам, трефная душа, кусок хлеба, честный заработок, просил вас помочь мне расторговаться, — что вы мне на это ответили? «Времена царизма прошли, пора стать честным человеком…»

Печальный взгляд Нусона изводит Иойлика, он отплевывается и сдвигает картуз на глаза.

— Не смотрите на меня детскими глазами, не прикидывайтесь ребенком, Нусон, вы этим меня не разжалобите… Да, да, я честнее вас. Тысячу раз честнее. Я не краду у бедняков последнюю каплю молока, я торгую своим товаром. Тружусь, и тяжко тружусь. Пройдитесь вы между русской и румынской пограничной охраной, попробуйте, — может быть, вам повезет. Что значит «стать честным человеком», разве контрабанда — моя профессия? Я пролетарий, мое дело — взять быка за рога и свернуть ему шею. На бойне большего не требуют. Но один раз в месяц имею я право повидать мою жену? Она не хочет выезжать из Бессарабии, русский рубль ей не по душе, подай ей лею. Не разводиться же из-за этого, едешь к ней. Даром тебя никто не обслужит: солдатам плати, офицерам дай, расходы немалые, — спрашивается, почему мне не взять с собой немного товара? Это вы называете контрабандой?

Нусон берет великана за пуговицу и еще глубже заглядывает ему в глаза.

— Дорогой Иойлик, — говорит он, — у меня к вам просьба. Возьмите меня за руку, выведите на двор и дайте им разорвать меня на части. Бейте, топчите, пока не вышибете из меня дух. Но

здесь не кричите, моя жена уже шестые сутки умирает… Не меня, ее пожалейте…

— Квейта умирает? Что же вы молчали?

Он стремительно отбрасывает картуз на затылок и широко разводит руками.

— Язык у вас отнялся, не могли мне раньше сказать, или Иойлик уже последний человек, бандит без сердца? Передайте ей эти мятные лепешки, в Бухаресте врачи отпускают их на вес золота. Десять лей коробка! Что ж вы стоите, нате, возьмите.

Я незаметно выхожу из комнаты и через перила заглядываю во двор. Трехэтажное каре квартир с открытыми лестницами сплошь усыпано людьми. Они виснут на балконах, свешиваются с окон, кучками толпятся у ворот. Несмолкаемый гул голосов пеленой нависает над домом. Я долго не могу собраться с мыслями, понять Иойлика-контрабандиста. Что ему надо? Убить Нусона или посмеяться над ним? Он начал с угроз и кончил подарком. С каждым словом спадал гнев, и грозные крики сменялись сочувствием.

Откуда у бедняги Нусона такое спокойствие? Он не просил пощады и лишь слабо усмехнулся. Не этим ли смутил он Иойлика?

Я гляжу сквозь перила на двор, и кажется мне, что там ждут, когда я выложу им правду, но как заговорить, когда кружится голова? Это, должно быть, с непривычки, я никогда не произносил речей с третьего этажа.

Внизу кто-то вопил во все горло:

— Что его жалеть, не человек он, а американская змея! Есть такая гадина на свете, подберется к корове и до капли высосет все молоко.

Нельзя дольше молчать, враги Нусона должны узнать правду, я не скрою от них ничего. Все подняли головы и слушают меня.

— Я, квартирант Нусона, частный учитель и к тому же бедняк, свидетельствую перед богом и людьми, что Нусон переступил закон революции не от счастливой жизни: умирает его жена…

Головокружение и робость прошли, я говорил и удивлялся, откуда у меня взялись силы и твердость. Речь моя лилась свободно, уверенно, как у завзятого оратора. Не помню уже, что я тогда наговорил, — меня прервал один из соседей. Он высунул из окошка изрытое оспой лицо с рыжими обкусанными усиками, сложил руки трубочкой и раздельно прокричал:

— Довольно воровать и фальшивить, республика требует благородства и святости! К позорному столбу врагов нового строя!

Все согласны с ним, зло надо душить в самом начале, не дать ему разрастись. Смыть позор, чтобы следа не осталось.

Я набираюсь храбрости и продолжаю. Не может быть, чтобы бедняки не поняли друг друга.

— Я понимаю вас, граждане обновленной России, вы проклинаете свое прошлое, ополчаетесь против всяческих пороков и провинностей.

— Да-да, — подтверждает мой рябой сосед с обкусанными усиками. — Пусть с меня берут пример: посадили, наказали, теперь я чист.

Он был агентом страхового общества и разорил его. Вкупе с инспектором составлял фальшивые акты о пожарах и богател. Революция вернула ему свободу задолго до отбытия наказания, и он поверил, что искупил свою вину.

Жилица третьего этажа, немолодая акушерка, надевает пенсне, подбоченивается для важности и выставляет свою полную грудь. Красный чепчик на макушке довершает ее сходство с индюшкой.

— Я тоже имела доходное дело, — кается она, — недурно зарабатывала в моем чуланчике. Клиенток хватало, дело, слава богу, не новое, пятнадцать лет практикую. Обрабатывала за день двух-трех девочек и на этот честный заработок могла воспитывать моих детей. Довольно, сказала я себе, что похвально при царизме, не годится для республики. Если я какой-нибудь несчастной и помогу, то только из любезности. Делать одолжение мне никто не запретит.

Я не мог с ней не согласиться, она права. Революцию надо беречь как святыню, но как быть, если выхода нет? Когда надо спасти жизнь жены? Неужели ради счастья и благополучия человека нельзя поступиться долгом и даже совестью?

Я стал вдруг заикаться, слова застревали, точно встречали препятствие на пути. С чего бы это? Уж не рябой ли агент с обкусанными усиками мешает мне? Да, да, он, один лишь его взгляд путает мои мысли, и речь иссякает.

— Флюгер несчастный, куда ветер подует, туда и вы, — бросает мне квартирантка первого этажа. Ее презрительный взгляд и угрожающе вскинутый кулак еще больше лишают меня уверенности. — Почему вы этого не говорили, когда я спасала свое счастье? Мне вы читали мораль, несчастный балбес!

Виновником ее счастья был сосед, которому она отдалась, обеспечив себя свидетелями. Мнимый насильник должен был выбирать между браком и тюрьмой. Парень просил моего совета и помощи, и я вступился за него.

Екл-грузчик тоже против меня.

— Бросьте эти штучки, — гнусавит он, — нашел чем удивить… Что значит «нет выхода», надо умереть, но не сдаваться!

Екл вправе так говорить, он честный труженик и притом с амбицией. Из-за этой амбиции он остался без носа… Случилось это за карточным столом. Играли на щелчки, и грузчик проиграл двести щелчков. Партнер соглашался простить проигрыш, если Екл трижды пропоет петухом. Напрасны были уговоры, не таков Екл, он настаивал на честной расплате. После первого щелчка кровь хлынула носом, последние удары наносились по клочьям окровавленного мяса.

Неужели у этих людей нет сердца, им чуждо сострадание? В таком случае пусть узнают правду до конца.

— Вы требуете головы Нусона, а если бы оказалось, что он невиновен, молоко доставалось не ему, а умирающему от голода человеку?

Меня не слушают больше, они презрительно усмехаются, кто-то вынул из кармана платочек, сейчас махнет им: дескать, довольно, пустая мельница, болтать. Другой снял шапку и обмахивается ею, уверяет, что вспотел от глупых басен учителя.

— Раскровенить его! — слышатся выкрики с разных сторон. — Кости переломать! Легкие отбить!

Толстогубая Ида кричит:

— Нам не нужны ходатаи! С виноватым надо расправиться!

Сама она образец решительности и непоколебимой твердости. Дни она проводит на консервной фабрике, а вечерами сторожит мужа. При ней железная палка, ножницы и серная кислота — пусть попытаются отбить ее легкомысленного красавца мужа. Она срежет виновнице косу, зальет ей глаза кислотой и изувечит палкой. Свое надо беречь, а чужое не трогать.

Все словно забыли об учителе. Пьяная Чихериха расхаживает по двору, звякает в кармане серебром и пристает к соседям: «Давайте сгадаем». При этом она прищелкивает языком и бесстыдно подмигивает. Мне становится не по себе, и двор и люди куда-то исчезают, я вижу себя на вершине горы, предутренняя синева окрашивает мир полумраком. Я брожу в тумане, кто-то мне здесь нужен, но кто именно — не знаю. Еще мне кажется, что я на палубе корабля, затертого людьми, как льдами. Они образуют плотину, и судну не двинуться с места. Единственный выход — двинуть наперерез, только так, и я решаюсь.

— Вы этого хотели, извольте! — кричу я, надрываюсь с балкона третьего этажа, — узнайте же правду: он вашим молоком кормил меня, своего квартиранта, бедного, голодного учителя. Я

не знал, где и как он его добывал, но уж если расправляться, так заодно и со мной!

Судно рванулось вперед, препятствия расступились и сгинули. Иойлик подхватил меня, усадил и стал опрыскивать холодной водой.

— Эй вы, паршивцы! — прогремел над этажами голос контрабандиста. — Что вам сделал этот мальчик? Кто вам пятки поджигает? Почему вы воете? Это вы, Фрейда, обидели учителя? Прищемите свой язык, я вас слушать не хочу. Не разыгрывайте из себя девочку, в чуланчике у вас сегодня стонала красотка. Не ищите чужих грехов, у вас своих полна пазуха!

Он устрашил их своим ревом, грозно вытянутой рукой, тяжелой, как молот.

— Вам нездоровится, Захар Арнольдович? Отчего у вас рожа кислая? Справедливости захотели? Плевать я хотел на ваши модные ботинки, вы пятки Нусона не стоите. Перенесли свой аппарат на Степную улицу и думаете этим глаза нам замазать? Берегитесь, я напущу на вас честных людей, всю жизнь будете плакать.

Он переводит глаза с группы на группу, буравит их своим взглядом, опаляет и давит. Люди ежатся, умолкают и беззвучно расходятся.

— А ты что скажешь, агент по пожарам?

Иойлик ухватывается за перила и как прутик из метлы выламывает толстый железный прут. Рябой субъект с обкусанными усами исчезает, окно захлопывается.

— Не спрячешься, босяк, за все ответишь. Фрейде-акушерке вербуешь клиенток, а Арнольду Захаровичу фраеров. На бедного человека набросились, зверье! Расходитесь, чтобы я голоса вашего не слышал. Ногами не топать, у Нусона жена умирает. Уходи и ты, Ханци, крепче держись за своего красногвардейца, не забудь, что я твоя опора, одно мое слово — и твой фраер сотрет тебя в порошок… Доставьте мне удовольствие, — обращается он ко мне, — зайдемте ко мне, посидим немного, отдохнете. У вас очень плохой вид…

Мы спускаемся этажом ниже и входим в маленькую квартирку, украшенную множеством картин и фотографий. На передней стене висит во весь рост портрет высокого остроглазого старика. Губы его плотно сомкнуты, рука, опирающаяся на столик, сжата в кулак.

— Это мой папа, знаменитый контрабандист Янкель Пелехов. Слышали? Нет? Весь мир исколесил, без всякого паспорта и вида до самой Швейцарии добирался. Кого ему было бояться? Силач! Подкову руками ломал, пятаки гнул. Разгуливал по белому свету,

как по бульвару. Его любимая поговорка: «Граница — проходной двор, иди не останавливайся». Таких людей, как мой папа, на свете больше нет.

Иойлик говорит с литовским акцентом, как артисты на еврейской сцене. Он хвастливо раскладывает предо мной турецкие ковры, румынские шали, нежно гладит их, руки его замысловатыми движениями призывают меня восхищаться заморским добром, хорошенько разглядеть товар. Слушая его речи, я не мог отделаться от мысли, что Иойлик вовсе не контрабандист, а актер из труппы Фишзона. Он сыграл свою роль у Нусона, затем у перил на третьем этаже, теперь дома у себя.

— Я простой, малограмотный человек, — продолжал он, — но ваша речь, учитель, растрогала меня. Пропади все ораторы мира, вы настоящий клад. Кто вы? Кто ваши родители?.. Вот как, наш брат бедняк! Это я понимаю. Дела ваши, я слышал, неважны, уроков нет. Трудно, в особенности когда надо еще самому учиться… Завидую вам, ох как я хотел учиться! Зубами землю грыз. Покойный папаша не допустил. «Ученье, — говорил он, — ослабляет человека». И должно быть, верно, ничему он не учился, а сил было — пропасть. Не хотелось мне идти наперекор, папашу я уважал. После его смерти я все-таки стал подучиваться и второй год уже читаю вот этот роман. Не встречали, книга историческая, умная, больше половины одолел. Память слабая, забываю прочитанное и путаю имена. Приходится частенько сызнова начинать. А вы, разрешите узнать, кем хотите стать?

Я не мог ему признаться, что расстался с мечтой стать зодчим после того, как невзлюбил архитекторов и заодно строительное искусство. Один из них усомнился в моих способностях учителя, другой утверждал, что педагог из меня не выйдет, и советовал заняться чем-нибудь другим. Сухие, холодные люди, и дело их, должно быть, такое же бездушное, лучше держаться подальше от них.

— Думаю заняться медициной.

— Доктором? Хорошо сделаете. У нас в Бессарабии врачей на части рвут, очень нужны, позарез. Будьте спокойны, Иойлик не оставит вас без пациентов, полгорода людей к вам приведу. Живите и практикуйте. В Бессарабии каждый камешек знает меня, люди за Иойлика в огонь и воду пойдут. Свистну — и два полка готовы… С оружием, лошадьми и продовольствием прискачут.

Я не совсем понял, зачем Иойлику войско, — контрабандисты как будто действуют в одиночку.

— К чему вам полки, вам и воевать приходится?

Иойлик ответил не сразу, он почесал затылок и неуверенно проговорил:

— Это так говорится… Покойный папаша мой часто повторял: «Живи в одиночку, а дерись скопом…» Я хотел вас спросить, дорогой учитель… обратиться к вам, как к человеку образованному и умному. Сам я, как видите, дурак, только сила у меня медвежья. Как вы думаете, что получит наш брат бедняк от этой власти?

Как можно задавать такие вопросы!

— Нам, евреям, жаловаться нельзя, — говорю я, — мы многое получили: правожительство, равноправие… Нет больше процентной нормы, черты оседлости… Еврей может быть офицером, генералом, министром, кем угодно… жить в Петрограде, Москве, Киеве…

Иойлик кивает головой, это, конечно, большое счастье, евреям просто повезло.

— Я не то имел в виду. Евреи сами по себе, а мы сами по себе. Что получит наш брат бедняк, такой, как вы и я? Мой папаша, когда случалось прикончить пристава, офицера или богатого дядю, говорил: «Нашему брату бедняку все равно, кого душить — барина или барскую собаку». Как вы думаете?

Я не сразу понял, куда он гнет, и повторил:

— Я уже сказал вам, нам, евреям, не на что жаловаться.

— А крестьянам? Они тяжело работают, сердце болит, глядя на их бедность. Рабочим тоже не сладко живется.

Лицо Иойлика преобразилось, оно стало суровым, морщины, словно трещины, рассыпались по лицу, и в глазах сверкнул подозрительный огонек.

— Вы правы, всех, конечно, жалко, — ответил я. — Не сердитесь, я не то хотел сказать.

— Покойный папаша меня учил, — останавливает меня Иойлик, — важно не то, что человек проговорил, а на чем он проговорился… Я не сержусь, но, по моему маленькому разумению, нашему брату бедняку надо иметь свою власть. Слово за вами, учитель.

Легко сказать «слово за вами», а вдруг ему не угодишь?

— Я думаю, — скрепя сердце отвечаю я, — что беднякам от этого хуже не будет.

Иойлик хлопает меня по плечу, улыбается и говорит:

— Так бы сразу и сказали. Я вижу теперь, кто вы такой… В добрый час, вы в нашей компании… Мы такие с вами дела натворим — ого-го-го-го!

До меня не сразу дошла причина его радости, я, кажется, ничего особенного не сказал.

— Какую компанию имеете вы в виду, контрабандистов? Простите, я вам не компаньон.

— Успокойтесь, дорогой учитель, не туда я вас зову. И вовсе я не контрабандист, а такой же честный человек, как вы. Прогуляйтесь на бойню, и вы увидите мою работу. Папаша мой говорил: «Граница — мама, она накормит, профессия — друг, она не выдаст». Я плюю на румынские шали и турецкие ковры, у меня более важное дело. Не верьте слухам, я сам распространяю их. Лучше слыть контрабандистом, чем политическим… Я говорил уже вам, в Бессарабии у меня два полка, в любой момент я — генерал. Эти люди пока действуют словом, убеждают румынских рабочих нас поддержать, когда вспыхнет вторая революция… Понимаете?.. Это чистое, святое дело, никакой фальши, можете мне верить.

Так вот он кто такой — мастер расставлять сети. На этот раз Иойлик промахнулся.

— Не трудитесь, Иойлик, я не вашей компании человек. С меня хватит одной революции. Больше того, что мы получили, никто нам не даст. Ваша затея приведет нас к самодержавию.

Он молча оглядел меня, засунул руки в карманы и с независимым видом замурлыкал себе под нос песенку.

— Это ваше последнее слово?

— Да.

— Тогда идите и держите язык на привязи. Мой покойный папаша говорил: «На дураках границы держатся».

3

Я вернулся в свой закуток на квартире Нусона, сел за алгебру и склонился над задачей с двумя неизвестными. Я решил ее уже однажды и где-то вывел, чему равны икс и игрек. Напрасно силюсь я вспомнить, заглядываю в учебник, пытаюсь что-либо понять, моя бедная голова занята другим. Времена царизма а бесправия прошли, но почему моя жизнь не стала лучше? Никогда еще нужда так не томила меня, никогда голод так долго не тянулся. Легко ли решить, чему равны икс и игрек, когда кружится голова и хочется есть. Революция обратит землю в рай, всем будет хорошо, исчезнут несчастья, бедность, и терпеть осталось недолго. Ничего, говорят, сразу не делается, с таким делом торопиться нельзя, но как быть с тем, что силы иссякают, кости от истощения выпирают наружу, как пружины из старого матраца? Я никогда не представлял себе, что костей этих так много… Моя жизнь идет под уклон, ни быстро ходить, ни взбираться по лестнице нет мочи. В детстве я засыпал с ощущением полета в бескрайнюю высь, теперь мне видится бездна, и я камнем падаю вниз. И все же благословенна революция, она вернула мне надежды на радость и счастье. Что бы ни говорили о политике, о строе, программа моей жизни принята — я буду врачом, знаменитостью. Таков ответ на задачу с двумя неизвестными: икс — врач, игрек — знаменитость. Немного мужества и благоразумия — все, что необходимо сейчас. Надо себя убедить, что я вовсе с каждым днем не слабею и слезы не так уж часто бегут из глаз. Придут недобрые мысли, и они порой увлажняются, велика ли в этом беда? В трудные минуты мне действительно хочется петь, песней вытеснить печаль. Мало ли что при этом в голову придет, засядет мысль, что с последней песенкой и душа моя изойдет, замрет последняя капля жизни. Все это пустое, революция повернет все на новый лад, не придется выпрашивать хлеба, жаловаться на голод и нужду. Только бы выжить, перетерпеть… Больше мужества и веры, начать хотя бы с того, чтобы сейчас же достать денег на обед, раздобыть их без отлагательства. В столовой могут не поверить в кредит, а случись отказ — не беда, у тебя припасен двугривенный. Когда старый Паис в недобром настроении, ему ничего не стоит отказать. «Не упрашивайте, учитель, — скажет он, — сегодня мне не до вас… Я в ваши годы неделями обходился без обеда…»

Боже, до обеда уйма времени, какими пустяками полна моя голова! В алгебре непочатый край, до утра не управишься, о какой еде может быть речь, никто без денег меня не накормит.

Задача решается просто: икс — минус обед, игрек — минус ночной сон.

Решение верное, хоть и неприятное… Возможно и другое: отложить голодовку до следующего дня. Сытно пообедать — и шабаш. После утренних треволнений надо хоть немного поесть, чуть подкрепиться…

Дверь комнаты открывается, входит Идл-переплетчик и его помощник — отпускной солдат Либензон. Оба возбуждены и на ходу обмениваются резкими замечаниями.

— Рассудите нас, учитель, человек вы умный, образованный. Мы спорим с ним вторую неделю, скажите ваше веское слово.

От переплетчика несет запахом кухни, селедки и картофеля, от солдата разит махоркой и пóтом.

Я жадно вдыхаю аромат пищи и отшатываюсь от солдата.

— Вы не видели еще, учитель, такого упрямца. Я говорю ему: «Не играйте им, Либензон, на руку, не помогайте немцам, они наши враги. Как можно бросать фронт, немцы разве оставили наши земли? Распустили свое войско? Свергли своего императора? Кого вы спасаете, Вильгельма?» Жена моя говорит мне: «Побойся, Идл, бога, сын твой третий год страдает на фронте, к чему тебе война, пожалей свою кровь». Я ей вот что говорю: «У меня паршивая нервно-воспалительная грудь, но если бы на это не посмотрели, я сам надел бы шинель. Воевать — так воевать до победного конца!»

К аромату пищи примешивается запах клейстера, противный запах! Я отворачиваюсь от переплетчика и сразу же об этом жалею. Идл мог бы дать мне взаймы, двадцать копеек не большие деньги, у всякого бедняка найдутся.

— Выслушайте теперь мнение старого солдата, — возражает Либензон. — Мы сидим уже в окопах год. Мы истощали, заживо гнием на вонючей соломе, вши нас поедом едят. Стрелять нечем, снарядов подвезти не на ком. Днем роешься, как крот, в земле, ночь проводишь без сна. Враг душит, бьет без пощады. Не смерти боишься, страшно подумать, что этой каторге нет конца. Одно из двух — либо мир, либо братание, мы тоже люди, тоже жить хотим.

Неужели Идл не даст двадцати копеек? — тревожит меня опасение, я никогда не обращался с такой просьбой к нему.

— Разрешите, учитель, ответить ему, — лицо переплетчика сияет, у него солидный козырь припасен, Либензону не поздоровится. — Почему вы не доверяете правительству? Там шесть социалистов, вам этого мало? Не верите им — поверьте Учредительному собранию. Молчите? Хорошо делаете. Мы должны свернуть Вильгельму шею, как свернули Николаю.

Теперь, учитель, решайте.

Трудный вопрос, как на него ответить? Народ страдает, нелегко и мне. Войну, конечно, следовало бы закончить. Дороговизна растет, калек и сирот все больше и больше. Надо, надо, пора. Переплетчик с этим не согласится — и тогда… Надо уступить, что поделаешь.

— Что вам сказать, революция в опасности, ее надо спасать. Ради такого дела ничего не жаль. Погубим одно поколение, не пожалеем и другое.

Либензон бросает на меня недобрый взгляд, уходит и с силой хлопает дверью. Переплетчик потирает руки от удовольствия.

— Вы умница, учитель, у вас голова министра.

— Простите, реб Идл, у меня к вам тоже просьба. Одолжите мне двадцать копеек, я сегодня еще не ел.

Переплетчик недоверчиво машет рукой, отделывается шуткой и спешит уйти.

Кто знает, Либензон, возможно, был бы щедрей…

Последняя надежда на хозяина кухмистерской, почтенного Паиса.

Хозяин ресторации меня не замечает, и я не спешу бросаться ему в глаза. Нам предстоит серьезный разговор, нет нужды преждевременно его беспокоить. Сейчас старик бодро расхаживает взад и вперед, руки заложены за спину, голова опущена. Движения тверды, решительны, пытливый взгляд скользит по сторонам, ищет, на ком бы остановиться. В груди его клокочет и рвется наружу не то хрип сдавленного дыхания, не то брюзгливое ворчание. Звуки эти никогда не обрываются и не затихают. Гладит ли Паис свою бороду, оглядывает ли с гордостью свое заведение — ряды столов от прилавка до дверей, ряды кроватей в смежной комнате для приезжих, — сердит ли, доволен, ворчание идет своим чередом. В счастливые часы оно переходит в мурлыканье, в несчастные — возвышается до рева.

Ресторация и приезжая имеют свою историю и существуют, как гласит вывеска, с тысяча восемьсот девяностого года. Останавливаются здесь купцы, их приказчики, известные и почтенные люди. Нежеланные гости тут долго не задерживаются, их переводят в прекрасно убранное помещение, откуда несчастные, едва дождавшись рассвета, бегут. Чудесная комната оказывается ловушкой — ужасным клоповником.

Паис заметил уже меня и спешит навстречу. Он любит поболтать о политике, медицине. У него множество всяческих сведений: как питаться, двигаться, работать, чтобы сберечь себя. Он скажет вам, что сердце — главный кухмистер, нельзя ему отказывать ни в смазке, ни в покое. Безумие ездить на поездах, на

коньках, на лодке, — это приводит к пороку сердца. Паису можно поверить, он был у лучших профессоров, прочитал много книг по медицине. Жизнь стоит того, чтобы ради нее потрудиться. И устные и письменные источники сходятся на том, что его, Паиса, сердце непрочно и только покой может это сердце спасти.

Я слышу этот вздор не впервые и не раз давал себе слово прерывать болтуна, едва он станет повторять свои басни, но обидеть его — значит остаться без обеда, и я с притворным интересом слушаю и сочувственно киваю головой.

Паис вдруг умолкает, его ухо уловило подозрительный шепот, и он взглядом приглашает меня следовать за ним. За жидким чаем беседуют два еврея: один в ермолке, со следами нюхательного табака на бороде и усах, другой в шелковом картузе, с папиросой между пальцами.

— …Одним словом, мой конкурент меня зарезал, — жалуется один другому, — он согласился платить домовладельцу лишних сто рублей в год и оставил меня без лавки. Контракт мой истекал, меня ожидало разорение и нищета. Прихожу к моему конкуренту домой, Напоминаю ему между делом, что все мы дети одного отца, и спрашиваю: «Что вы ко мне имеете, почему разоряете мой дом?» — «Убирайтесь, — говорит он, — я вас знать не хочу». Вызывает его раввин для примирения, он не является, совестят люди, он смеется, — одним словом, разбойник. Посоветовали мне отправиться к златопольскому ребе. Пути господа неисповедимы, еду в Златополь. Ребе Цалык, древний старик лет восьмидесяти с густыми, заросшими бровями и суровым лицом, напомнил мне, простите за сравнение, Ивана Грозного. Слыхали об этом царе-разбойнике? Рассказываю старику печаль моей души с начала до конца. «На какой срок, — спрашивает он, — заключил ваш конкурент договор?» — «На три года», — отвечаю я. «Займитесь на это время чем-нибудь другим». — «Реб Цалык, — кричу я не своим голосом, — я мебельщик и другого дела не знаю!» Старик подумал и говорит: «Зайдите к вашему конкуренту и спросите, почему он это сделал?» Слыхали мудрость?! Двадцать тысяч раз задавал я ему этот вопрос, теперь изволь сначала. Делать нечего, в субботу после обеда иду к моему обидчику домой. Застаю его с семьей за дубовым столом, под сенью дубового шкафа, добротного дубового буфета, и сам он высокий и крепкий, как дуб. «Что вы скажете?» — спрашивает он меня. «Я пришел вас спросить, — повторяю я слова реб Цалыка, — почему вы отбили у меня лавку?» — «Верните мне мои расходы, — отвечает этот верзила, — и берите себе контракт». Вот что значит реб Цалык! Теперь я, слава богу, торгую в своей лавке, имею верный кусок хлеба и других не обижаю.

Противный Паис обязательно вмешается.

— Вы спросите, конечно, — начинает он своим ворчливым голосом, — чего ради я к вам пристал, что надо этому надоедливому ресторатору? Я вам отвечу.

Он не обращает внимания на их лестное заявление, что знакомство доставило им удовольствие, они даже мечтали о нем. Ведь не в этом дело.

— Я пристал к вам, прошу вас, не защищайте меня. Никому в прошлом не было дела до того, кто чем промышляет или о чем говорит и думает, — живи себе каждый, как твоей душеньке угодно… Теперь мы должны стать порядочными людьми. Не правда ли, пора? Как вы думаете? А раз так, всякий имеет право заглянуть в душу соседа и спросить: все ли у тебя как следует? Правильно я говорю, учитель?

Паис солгал, у него свои недобрые расчеты, и я когда-нибудь их выложу ему, обязательно это сделаю, в другой раз.

— Вы правы, господин Паис, слишком много врагов у революции, надо быть бдительным.

Хозяин тянет меня к другому столику. Вот уж где он развернется, блеснет своим знанием политики и медицины. И Эля-фотограф и Хаим Котляр его поймут. В последний раз они встретились здесь три дня назад. Фотограф пришел пообедать в кредит, а Котляр чинил тут медный куб. Старые друзья и даже, кажется, родственники разговорились, выпили по стакану чаю и разошлись врагами. Вначале трудно было понять, что рассорило их, Хаим называл Элю помещиком, а Эля Хаима — грабителем и вором. Выяснилось, что ссора возникла на политической почве: Котляр настаивал на конфискации помещичьих земель и предупреждал, что будет драться за реформу до крови, а фотограф твердил, что собственность священна, у него ничего, кроме аппарата, нет, но справедливость прежде всего.

Сейчас они сидят за столиком, пьют чай и жарко беседуют. Паис предлагает мне подсесть, будет интересное представление.

Эля-фотограф, — коротконогий человек с большими светлыми глазами — два туманных окуляра, обращенных в мир, голос у него мягкий, женственный, едва слышный.

— Не спорьте со мной, Хаим, мы не доросли до социализма. С нас хватит конституции.

Котляр — хмурый человек без голоса. Ему страстно хочется кричать, вопить, но тщетно. Дается же таким людям, как Эля, звучная глотка, к чему она им, гнусавить он мог бы и без нее.

— Паршивец, вас надо отправить на слободку Романовку, запереть в одну палату с Родзянко и Милюковым. Где вы слыхали, чтоб фотограф-бедняк был кадетом? Сумасшедший! Где ваши

фабрики и имения, дворянский титул и чин? Или вы купец первой гильдии? Выбросьте этот хлам из головы, ведите себя как настоящий пролетарий.

Брань смущает Элю, сконфуженный, он съеживается и говорит тише:

— Не будем спорить, Хаим, я умру кадетом. Мои убеждения останутся при мне. Я предчувствую, что ваши большевики разнесут все в прах, ничего не пожалеют, даже Учредительного собрания.

Паис больше не слушает их, вниманье его привлекла фигура Элиши-кожевенника. Этот опасный паренек повадился сюда ходить, собирать вокруг себя таких же, как он, головорезов и устраивать в столовой митинги. Вот он подсел к мебельщику, что-то шепнул ему, настороженно оглянулся и уже перешептывается с другим. Число единомышленников растет, — трое, четверо, пятеро… Тут уж не до шуток. Ворчание старика нарастает, вот-вот вспыхнет скандал. Паис вспыльчивый человек, берегитесь в минуту его гнева не угодить ему. Он выпрямляет спину, высоко вскидывает голову и с наигранным достоинством спрашивает:

— Вы будете обедать или вам нужна комната?

Элише ничего не надо, он немного посидит и уйдет.

Совершенно очевидно, что он явился митинговать. Молодой человек расстегивает воротник, становится в позу и говорит. О чем? Конечно, о второй революции, ему мало одной, вонючему кожевеннику. Паис испортит ему торжество, не беспокойтесь, фирма существует с тысяча восемьсот девяностого года.

Я слушаю речи бледного молодого человека в черной рубашке и удивлен: до чего они схожи с тем, что говорил Иойлик-контрабандист. Неужели это друзья из одной компании?

Паис уходит и возвращается повеселевшим, в глазах коварные огоньки, он гладит бороду и шепчет:

— Не уходите, учитель, мы устроим сейчас такое представленье — пропади все театры мира.

В столовую вбегает девочка, она ищет кого-то глазами и устремляется к Элише. Она шепчет ему что-то на ухо, он вздрагивает и говорит ей:

— Беги к Иойлику, скажи — Мендель в опасности.

Я не ошибся, они одной компании.

Элишу слушают со вниманием, множество глаз с сочувствием обращены к нему.

— Я понимаю вас, товарищи, — гулко раздается его голос, — заблуждения не занавес и не вуаль, одним махом не сорвешь. К заблуждениям возвращаются с любовью, как к старым друзьям. Нужны великие усилия, чтобы расстаться с тем, что въелось в

нашу плоть и кровь. Я верю, вы встанете на нашу платформу.

Дверь открывается, и входит Нухим, сын старого Паиса. Он одет в хаки и опирается на костыли, на вид ему не больше двадцати восьми лет. Он выходит на середину помещения, устремляет на оратора тяжелый взгляд и некоторое время молчит. Старик был прав, настоящий спектакль: и поза, и движения, и презрительная усмешка — неповторимо театральны.

— Разрешите познакомиться — Наум Августович Паис, рядовой самсоновской дивизии, раненный у Мазурских озер. Вы кто будете?

Чем не артист? Осанка, презрительно выпяченная губа, голос звучный, речь четкая, с пафосом. Таков Нухим! Всегда с позой.

Я с отвращением отвожу глаза от комедианта, этот симулянт не видел фронта и не стоит подметки Элиши.

— Что ж вы, господин штатский, знакомиться не хотите? Прошу вас.

Нухим оскорблен в своих лучших чувствах, во взгляде гнев и недоумение, — так выглядит высокородный офицер, непристойно задетый унтером. С ним шутки плохи, под угрозой честь его мундира.

— Зачем вы ломаетесь, Нухим? — миролюбиво говорит Элиша. — Мы знаем друг друга десять лет.

— Прошу объясниться официально, — следует холодный ответ. — Я вам не земгусар и не дезертир. Я кровь свою пролил на фронте. Именем Временного правительства — ваше воинское удостоверение.

Старый Паис пригибается ко мне и шепчет:

— Вы не знаете Нухима, он вышибет из Элиши дух. О, это отчаянный человек!

— «Именем Временного правительства», — усмехается Элиша, — ух как страшно! У вас, говорят, Нухим, большая коллекция протоколов за хулиганство, уж не хотите ли вы еще одним обзавестись?

Он спокоен, на бледном лице слабая улыбка, не то от усталости, не то от обиды.

— Молчать, тыловая сволочь!

Нухим потрясает костылем, лицо перекосилось и стало отталкивающим. Старый Паис не сдерживается:

— Что ты тянешь, Нухим, кончай с ним.

Кожевенник неуязвим, он равнодушно оглядывается и одергивает рубашку.

— И еще говорят, Наум Августович, что вы на радостях в первые дни революции стреляли по улице собак. С возгласом: «Да здравствует свобода!» приканчивали дворняг.

— Пропади земля с пятью частями света, — сквозь зубы произносит Нухим, вплотную подступая к Элише, — вы немецкий шпион! Следуйте за мной.

Старый Паис жестом предлагает перенести игру на улицу. Столовая не место для политических распрей. Завсегдатаи кухмистерской тем временем ввязываются в спор, одни подталкивают Элишу к выходу, другие удерживают его. Столики пустеют, возбужденные люди устремляются на улицу.

— Оставайтесь здесь, учитель, — советует мне старый Паис, — вы отсюда все увидите.

Вокруг спорящих собираются люди, они запружают тротуар и мостовую я сразу же вступают друг с другом в спор.

Все точно обрадовались поводу дать знать о себе, вступить друг с другом в перебранку. Это не митинг, не диспут, ничего похожего на мирную беседу, страсти прорвались наружу, и, казалось, никому их не унять. Веками стиснутая мысль скачет, и не поймешь, кому что надо. У каждого своя правда, он потрясает ею, как знаменем, зовет взглянуть на нее.

— Должна быть дисциплина, — истошно кричит один, — война не окончена, нужна крепкая власть!

Истина единственно у него, никакая другая невозможна.

— Армия должна быть в стороне от политики, — надрывно повторяет другой подхваченную где-то фразу, — с толпой политиканов немцев не победить.

Кто-то уверяет любителя дисциплины:

— Мы немцу спуску не дадим, но и права придержим. Дисциплина нужна не барская, а народная!

— Керенского не тронь, — тычет свой кулак в лицо собеседникам маленький юркий старичок в рваном, потертом сюртучке, — он жизнь за нас кладет, в думе страдает и от тебя, сволочи, терпит…

Мелькает револьвер, гремит выстрел. В шуме голосов доносятся обрывки выкриков:

— Пломбированные вагоны!.. Бейте контру!

— Что случилось? В пом дело? — спрашивает торговка ягодами.

Паис шепчет ей:

— Вора поймали! Бедную женщину ограбил.

— Господин Паис, — не сдерживаюсь я, — что вы делаете, они убьют его.

Торговка ягодами протискивается сквозь толпу и тычет железной палкой в Элишу.

— Бей его, сукиного сына, вора и грабителя! — вопит она.

Убийственные силы обрушиваются на ни в чем не повинного

Элишу.

Я сделал все, что мог: смолчал, когда надо было звать на помощь, солгал и предал Элишу.

— Дайте мне, господин Паис, пообедать, я завтра уплачу вам… Получу за урок и расплачусь.

Паис неодобрительно оглядывает меня.

— Сегодня не грех и поголодать… Шива осор бетамуз — большой пост. Учитель должен был бы это знать. Потребуйте себе тарелку супа, большего кредита вы у меня не получите. Вы, слава богу, не фабрикант.

1919 ГОД

4

Спуститесь вниз, еще, еще, подвал глубокий, зато сухой и теплый. Сверните влево, еще немного, последние ступеньки немного сломаны, но все еще крепки. За этой дверью живу я. Внутри темно, окон нет, комната освещается фитильком, окунутым в масло. Жилье неважное, зато вечерние курсы для взрослых рядом, публичная библиотека в пятидесяти шагах. Конная улица в Одессе — почти центр города, тут и столовка для студентов и любимое кафе «Идеал». Дома почти не бываешь, дни проходят на работе: за уборкой типографии, в переноске мешков на мельнице или вовсе в буфете за изготовлением мороженого, точней — за верчением мороженицы, обложенной льдом. Надо же как-нибудь перебиться, до аттестата зрелости три года ждать. Вечера проходят на курсах, а часы до сна — в кафе. За чашкой простокваши не так уж тягостно готовить урок.

Близится полночь. По улице маршируют белогвардейские патрули, из подвала я вижу их сапоги и слышу топот. Я вполголоса зубрю стихи Овидия Назона. Мерцающий огонек фитилька кружит голову, занятия не подвигаются. На кровати лежит мой школьный товарищ Кисилевский. Он рассказывает о милой девушке по имени Белла, мысленно любуется ею.

— В партии она берет на себя самые трудные задания, — говорит он, — прежде чем заговорить, она, как школьница, поднимет руку и попросит слова. Мы вчера провели с ней весь вечер. Сперва бродили по Манежной, потом пошли к «округу» и дальше к обрыву, на виду у слободки Романовки.

На этом обрыве я недавно в первый раз ее поцеловал. Мы сидели на самом краю, и голова моя так сильно кружилась, что Белла должна была меня поддержать. Это наша тайна, и Кисилевскому до этого дела нет.

— На обратном пути, — продолжает мой сосед, — Белла стала меня теребить: расскажи ей что-нибудь о любви. «Не помню, не знаю, — говорю я, — отцепитесь». Пристала с ножом к горлу — молодые люди должны уметь говорить о любви. До тех пор дергала меня за куртку, пока не оторвала пуговицу. Надо знать Беллу, ей ничего не стоит оторвать остальные. Пришлось подчиниться.

Любопытно, что он ей ответил. Просить его рассказать нельзя, Кисилевский из упрямства промолчит. А какой мастер излагать легенды и предания, и сколько их у него… Мой друг укладывается удобней в постели, закрывает глаза и начинает полушепотом:

— Много лет назад жил в Сатанове бедный ешиботник-сирота. Ни одной родной души у него на свете. Кормился у добрых людей, донашивал обноски богачей, дни и ночи просиживал над Талмудом. Была в том местечке безродная девушка Рахиль, дни и ночи проводила она в тяжком труде, ходила в отрепьях и дичилась людей. Полюбилась она сироте-ешиботнику, возмечтал он о ней, а сказать об этом цадику не посмел… Шли годы, юноша возмужал, начал стариться, по-прежнему кормился у добрых людей, дни и ночи проводил в молитвах и учении. Состарилась и Рахиль, прошла жизнь в чуланчике без радости и любви.

Нагрянула на местечко моровая болезнь. Ни лекарства, ни посты не помогали, люди возносили богу молитвы, жертвовали деньги на богоугодные дела, а мор не убывал. Одна надежда была на благочестивого цадика, на близость его к небесному заступнику.

Старец делал все, что повелевал закон: объявлял посты, запрещал веселья, раздавал милостыню и, наконец, приказал обвенчать двух сирот — искупить грехи добрым делом. Выбор пал на безродную Рахиль и сироту-ешиботника. Три дня и три ночи пировали в местечке, такой свадьбы никто не запомнил.

Широкое лицо Кисилевского бледнеет, на щеках проступает желтизна, он взволнованно дышит, но как нежно звучит его речь. Она сочится из-за сведенных губ, приглушенная и теплая.

— В час, когда жених надел невесте кольцо, умер раввин. Испуганный народ бежал со свадьбы, оставив новобрачных под балдахином. Цадик снова обратился к богу, и в душу праведника вошло откровение: небо требовало жертв. Безродная Рахиль и сирота-ешиботник должны были искупить чужие грехи, стать козлом отпущения. Так угодно богу, такова его воля. В ту же ночь жених и невеста взошли на крышу синагоги, обнялись и бросились вниз. Поныне у синагоги высится холмик — скромная могила влюбленных.

Кисилевский умолкает, молчу и я. Оба далеки от Конной улицы, подвального жилья и фитилька, окунутого в масло. У каждого своя легенда перед глазами, свое сверкающее солнце.

— Белла выслушала меня, — продолжает он, — и спрашивает, что я этим хотел сказать. Что это — библейское предание, поучение или притча талмудиста? Странный вопрос, мне даже стало не по себе. Я просто удовлетворил ее желание, не помышляя ни о чем другом. Она берет мою руку и не оставляет меня в покое. «Не думаете ли вы, — спрашивает эта удивительная девушка, — что мы, бедняки, не имеем права любить и быть любимыми? Что удел наш — приносить себя в жертву другим?»

Мой друг смущен, ему неловко перед воображаемой собеседницей, она смутила его своей настойчивостью.

— Да, да, — говорю я, не менее взволнованный, — Белла редкая девушка. Когда она гладит мне руки или обнимает мою голову, у нее этих причуд сколько угодно, мне кажется, что я не стою ее.

— Безусловно не стоите, — уверяет меня мой друг, — большевичке не пристало ласкать белогвардейца. Это измена рабочему делу.

Бешеный человек! Как быстро он теряет равновесие, теперь уже его не удержишь.

— Подумайте хорошенько: что в вас хорошего? Я спрашиваю ее вчера: «Как вам нравится мой сосед по квартире?» — «Ничего, — отвечает она, — славный малый…» — «Славный, — соглашаюсь я, — но белогвардеец». Скажете, что я наклеветал?

Он вынимает из кармана серебряные часы — фамильную реликвию Кисилевских — и медленно заводит их крошечным ключиком. Лицо выражает довольство и гордость.

— Попробуйте отрицать, — ехидно подмигивает он мне, — не вы ли говорили, что кровь нельзя проливать? Грех лишать человека жизни. Кого вы обманываете? Добрую, милую девушку? Частная собственность вам тоже дорога, она священная, и потому преступно обирать кого бы то ни было… В вещах, говорили вы, заключена частица нашей жизни, труд и надежды… Я запомнил отлично каждое слово.

Взгляд его обращен к незримо присутствующей Белле, он даже подмигивает, — пусть знает, с кем судьба ее свела.

— В наше время так рассуждать! — сокрушается Кисилевский, и голос его становится торжественно-строгим. — Четырнадцатого декабря белогвардейцы расстреляли восемь человек за то, что они расклеивали воззвания. Что такое воззвание? Какое кому до этого дело: клей, зови, призывай до седьмого пота. В февральском бою под Тирасполем большевики убили француза и ранили шестерых. Мало ли французов легло на Ипре, на Марне, у Вердена. У нас французское командование расстреливает за это восемьдесят девять пленных большевиков. Почему они у себя не убивали пленных немцев? Разве мы вне закона? Скажите командующему союзным десантом и начальнику добровольческой контрразведки, что кровь проливать нельзя. Нам ваша проповедь не нужна, мы никого не убиваем.

Таков он, мой друг и приятель, несносный клеветник и лжец! Разве я не отрекся от своих заблуждений? На кого рассчитана эта неправда? Когда весть о расстреле облетела город и толпы устремились к родным мертвецам, я направился к

контрразведке — туда, где свершилась казнь. Над берегом моря — серое здание, учреждение как всякое другое: часовой у парадных дверей, на примкнутом штыке пирамидой листки пропусков. Точно тут не пытали, не гноили в подвалах людей, часовой равнодушно глядит на прохожих. И все-таки тут неспокойно. Офицерские лица пугливы и злобны, в движениях тревога, окна плотно закрыты, у входа пулемет, словно пес у дверей, за ним пулеметчик и ворох лент у его ног. Я ходил вокруг здания, возбужденный и гневный, с накипающей яростью в груди. Офицер меня спросил, как пройти на Полицейскую улицу. На погонах врага три звездочки, — мне чудятся три алых капли крови. Я дерзко усмехнулся и молча прошел. Страстно хотелось, чтобы меня задержали, повели на допрос, на пытку, на смерть. Я в последнюю минуту плюнул бы убийцам в лицо.

Упрямец и болтун. Словно он, Кисилевский, один страдает на свете, одному лишь ему тяжело.

— Не отмалчивайтесь, дружок, — не устает мой сосед меня донимать, — о рабочих вы отзывались с презрением, над социализмом смеялись и протрубили мне уши еврейским народом.

Он все еще воображает, что беседует с Беллой, взволнованная речь выдает его чувства.

— Кстати, милостивый государь, м-сье «частная собственность», не собираетесь ли вы с французами в путь? Могу вам дать справку: на черной бирже франк котируется четыре шестьдесят чеком в Париж, наличными — пять рублей. За тысячерублевую керенку дают тысячу двести семьдесят украинками, за пятьсот романовских — тысячу украинских.

Змея, кажется, насытилась, он наконец умолк.

В комнату входит сосед-водопроводчик, он садится, и они подолгу перешептываются.

Противный ешиботник, взгляните, как строго и степенно он беседует с рабочим, от ехидства не осталось и следа. Они шепчутся, спорят, Кисилевский откладывает на пальцы довод за доводом. На мертвенно-бледных щеках вспыхнул румянец, выпуклый лоб заходил, как гармонь. Почему он со мной так не беседует? Для водопроводчика у него и любви и терпенья пропасть.

Пора с этим покончить, нам не о чем спорить. «Собственность — кража», — отлично, не спорю. «Будущее принадлежит рабочему классу», — и это бесспорно. «Буржуазия неминуемо катится в пропасть», — таков закон, трудно с ним не согласиться. Остальное касается меня одного…

Кисилевский и его гость все еще шепчутся, прячут свои

мысли от меня. Напрасно, товарищи, напрасно, я такой же, как и вы. Час за часом растет моя вера в победу, я отдаюсь этому чувству, рад и счастлив, что обрел долгожданную правду.

Меня сжигает страстная жажда стать смелым, великим. Вот жаркий поток из глубины сердца меня обдает — это вспыхнуло новое чувство. «Назови себя, кто ты?» — спрашиваю я. Мне слышится: «Я жалость». Прочь, жалость, ты мне не нужна! Революционер должен быть беспощадным! Горячая струя рвется в груди, туманит голову. «Стой!» — напрягаю я последние силы, никаких компромиссов, сознание выше всякого чувства…

Какой я белогвардеец! Пора моему соседу раскрыть шире глаза.

Помнится декабрь, залитый солнцем холодный день. В порт входит броненосец «Мирабо». Французский экипаж дефилирует по городу. Матросам рукоплещут, их приветствуют выкриком: «Вив ла Франс!» Я сдержанно оглядываю враждебное воинство, и кто-то шепчет мне: «Они здесь ненадолго, их скоро уберут. Не уйдут — хуже будет». Напрасно искал бы я шептуна, это меня предупредил мой друг — здравый смысл…

В тот же день матросы французского воинства разбили погребок, напились и орали во всю глотку на улице: «Долой интервентов! Ура, большевики!» Бестии, притворщики, они затем и напились, чтобы смелее горланить революционные пароли. Мне захотелось вместе с ними кричать: «Долой интервентов, ура, большевики!», но кругом — белогвардейцы, мелькали погоны.

Так росли мои чувства, так крепла вера.

Под кроватью Кисилевского спрятаны газеты, он приносит их под рубахой, и они смочены его по́том. За ними приходят рабочие, и сам он разносит их по городу, рассовывает друзьям и знакомым. Однажды он заболел, и газеты залежались под кроватью. Я роздал их украдкой верным людям, на другой день снова, — так и пошло. Первым делом я газету прочту, кое-что вырежу на память, а остальные раздам. Кисилевский это видел и все же твердил, что не верит ни одному моему слову, газеты я пачками в море бросаю.

Так и жили мы врозь, больше в спорах, чем в мире. Стану читать «Одесские новости» — сразу же посыплются насмешки: «Дорвалась свинья до родного корыта. Уж это свое, сразу видно… В Совдепии голод… Матросы насилуют жен и детей…» В этой газете я вижу другое: у белогвардейцев топлива нет, стоят поезда и пароходы. Последний уголь сожгли, электрические станции встали. Приятная новость, хорошо, так и надо. Не убивайте людей, не стреляйте в рабочих, не мните себя хозяевами… Сколько важных новостей, а поделиться не с кем, противный

человек, ядовитая змея, все переврет по-своему.

Водопроводчик уходит, и Кисилевский улыбается, он доволен новыми вестями.

— История крепко работает на нас, — не может он больше сдержаться. — Добровольцы разбили петлюровцев и подняли в городе трехцветный флаг. Украинские националисты не остались в долгу, заняли пригород и лишили победителей связи. Контрреволюция ослабляет друг друга, нам только остается ждать. Греки разбили петлюровцев, Григорьев изменил им и разгромил французов, остальное доделывают наши. Они раздавили союзников под Вознесенском, взяли в Беляевке пленных французов. История, как видите, наша союзница!

Наконец-то он вразумительно заговорил, конечно, союзница, возможно ли иначе.

— Белла редкая девушка, — вспоминает он внезапно о ней, — с ней говорить одно удовольствие. Чего только не знает она! Я взял ее под руку, и мы долго так бродили. С ней никогда не заскучаешь. Какие у нее губы, впервые вижу такой маленький рот.

Странная у него манера говорить — он водит пальцем по лицу, гладит пушок на щеках и весь насторожен, точно вслушивается в шуршание каждого волоска. Так всякий раз, когда речь заходит о Белле.

— О чем же вы вчера говорили? — спрашиваю я.

— О чем? О партийных делах.

Он вынимает часы и заводит их ключиком, — у одного Кисилевского такое сокровище, один он на свете ведет партийные дела.

В пику ему, я сразу же соглашаюсь:

— Белла милая девушка, ее нельзя не любить. Она сощурит глаза и так рассмеется, что все на свете забудешь.

— Это верно, не спорю, — отвечает он, — не пойму только, о чем она с вами толкует? Революции вы чужды и с нашими врагами заодно. Белла говорит, у вас доброе сердце, вы чуткий товарищ, редкий умница — кто это ей о вас нашептал?

Его лицо выражает неподдельное изумление: какое легковерие, подумать только!..

— Поверьте, Кисилевский, — покраснев от удовольствия, говорю я, — она часто говорит мне: «Вы изумительны, из вас выйдет со временем большой человек». Скажет и крепко поцелует меня в лоб.

В этом признании не все верно до конца, напрасно мой сосед так негодует.

— Вас нельзя допускать в порядочный дом! Вы донжуан,

соблазнитель. Стыдитесь обманывать бедную девушку!

Снова резкие крики, ругань и брань. Откуда эта злоба? Рука его треплет брелок на часах — стальное сердечко с прозрачным камешком в центре. В брелочке под камнем изображение львицы.

Он треплет сердечко и точно колеблется, раскрыть ли ему клетку и выпустить зверя…

У нас не будет ни мира, ни дружбы, пока не исчезнет причина нашей розни. Пора объясниться.

— Вы напрасно, Кисилевский, меня обижаете, нам не из-за чего ссориться, по убеждениям я — большевик!

Сосед мой притворно усмехается и таращит глаза. Он сейчас заговорит, надо поспешить, пока не поздно.

— Мы могли бы договориться…

— Не болтайте лишнего, — прерывает он меня, — я с квартиры не съеду, вам тесно — переселяйтесь на улицу Маразли, там белогвардейцы обосновались.

Вот и мирись с ним, упрямым ослом.

— Почему бы нам не поговорить по душам? Почему вы с рабочими завода Гена внимательны и любезны и так суровы ко мне? Чем я хуже других людей, или вы и за человека не принимаете меня?

Кисилевский скривил физиономию, я мог бы поклясться, что никто так искусно не изобразит презрение и брезгливость.

— Они пролетарии, а вы мелкий буржуа! Не тратьте попусту времени, вам не выжить меня.

Снова у него в руках серебряные часы — фамильная реликвия Кисилевских, — лицо выражает довольство и гордость.

— Зачем мне выживать вас? Наоборот, я хочу заслужить вашу дружбу, слушать умные речи, рассказы и легенды.

Он задумывается и с неожиданным благодушием говорит:

— Я расскажу вам легенду, мне поведал ее служка нашей богадельни.

Во время оно в сатановской синагоге молились и бедные и богатые, знатные и простолюдины, но у знати была привилегия засучивать во время молитвы рукав до плеча. Шли века, обычай нерушимо чтился, как заветы торы. Бедняки мечтали хоть раз в своей жизни пройтись по синагоге с засученным рукавом.

Однажды праздничным днем сапожник Перец — острожник — на глазах у молящихся засучил свой рукав до плеча. Нарушителя традиции обступили, призвали подчиняться порядку, грозили, просили, но ничего не добились.

Делом сапожника занялся цадик. Старец всех опросил и вынес решение: человек, не прикрывший платьем руки, либо рукой не дорожит, либо рукав ему не нужен. Одно из двух надо

отсечь, но так как дети Израиля крови не проливают, отрезать у буяна рукав.

Недовольные аристократы местечка в синагогу не вернулись. Владеют ею с тех пор одни лишь сапожники — племя Переца-острожника, первого сатановского большевика.

Вот и все. Не надейтесь, мой друг, на меня, я не последую примеру аристократов, я скорей поступлю, как Перец-острожник, и останусь здесь…

Таков Кисилевский, с ним мир невозможен, нечего с этим брюзгой возиться. В награду за мои напрасные муки бог послал мне чудесную старушку, милую, добрую. Откуда я ее знаю, где мы познакомились, — не все ли равно. Бабушка известна всей Одессе, и она знает всех. Ее принимают за мать, сестру, за подругу. Она и адвокат, и нотариус, и няня. Всякого выслушает, согласится, поддакнет и сделает по-своему. Не нравится — не спрашивайте совета. Попробовал и я в первый день нашего знакомства ей возразить, не слишком резко, но обидно. Она промолчала — покладистая старушка.

— Значит, вы согласны? — спросил я.

— Конечно согласна, спасибо, сагитировал, я уже в добрый час белогвардейка.

— Почему белогвардейка?

— Надо толком сказать, в какую партию приглашаешь, — в Одессе их пять, начиная с пеликановской и кончая большевистской.

Бабушка свой век провела на кладбище. У нее там важная обязанность — обряжать покойниц. Снять саван с умершей, аккуратно его сложить, чтобы не смять, налить воды для обмывания, в меру теплую, не слишком горячую. Обмыть покойницу и снова одеть. Сделать это надо любовно и ласково, мертвые не бранятся, но пользоваться этим нельзя.

— Здравствуйте, белогвардеец, деникинец несчастный, — со знакомой присказкой приветствует она сегодня меня. — Я приготовила рыбу на обед. Не спрашивайте только, где я добыла ее. Впрочем, скажу, так и быть, выболтаю до конца. У моих знакомых громадная ванна. Я забросила в нее сети и вытащила карпа. Ешьте на здоровье. Трефное, конечно, ничего не попишешь, придется поесть.

Я пытаюсь отстоять свое доброе имя, и она не остается в долгу, прикидывается огорченной, клянется Деникиным и его доблестным воинством, что против меня в мыслях у нее ничего-не было и нет.

На столе расставлены масло, яйца и хлеб, на рынке всего этого и в помине нет.

— Где это вы, бабушка, добыли столько добра!

— Где?

Мало ли какие у нее доходы.

— Д'Ансельм мне помогает… Раньше гайдамаки, петлюровцы, теперь добровольцы дают заработать. Много ли, мало ли — двух-трех женщин в день пришлют. Сегодня пришла французская часть, вчера пришли греки, немного есть сербов, польских легионеров, зуавов — каждый старается по мере сил. Только от флота пользы мало, стоит на рейде без толка, без дела.

Один глаз у притворщицы шире другого, веко его раскрыто, и кажется — плутовка подмаргивает другим.

— Я спрашиваю вас совершенно серьезно.

— Ах, серьезно? Так бы и сказали. Помогают мне банкиры Марголины и Вольфзоны. Они финансируют петлюровцев, те устраивают погромы и дают таким образом бабушке заработать. Еще приносят мне доходы сто десять картежных домов. Женщину-другую доставят — и снова у бабушки хлеб.

Добейтесь у нее толку, легче выжать из камня ответ.

— Так и быть, расскажу, — неожиданно соглашается она. — Досталось это мне без единой копейки, даром. Стоит мне показаться на базаре, и все торговки бегут мне навстречу, умоляют, чуть не плачут: «Пожалуйста, бабушка, берите, что душеньке угодно. За полцены возьмите, даром». Знают, хитрюги, что без меня им не обойтись, кому охота, чтоб его после смерти в зад ущипнули или надавали как следует розог. Меня обступают, а я капризничаю: дайте мне то, не желаю того, да смотрите, без денег. Для кого беру, не скажу, сама есть не буду.

Лицо ее серьезно, без тени улыбки, разберись, когда она шутит и говорит всерьез.

Бабушка подпирает голову рукой, и лицо ее становится грустным.

— Вчера повезло нам, ой как повезло… Пришла с утра на кладбище, а у стены лежат одиннадцать большевиков… Вся военная коллегия… Постарались добровольцы — расстреляли и штабелем сложили. Пришлось и мне поработать, была среди них женщина.

Она скорбно качает головой, из груди вырывается вздох. Не узнаешь ее, грустит, печалится старушка матушка, нет ей покоя на старости, пытают, мучают родных и близких…

Тем временем приходят люди. Они являются в одиночку, реже вдвоем, опасливо оглядываются и исчезают с бабушкой в соседнюю комнату. Одни что-то оставляют или уносят, другие садятся за стол, торопливо обедают и тотчас уходят. На пороге стоит бедно одетая женщина, глаза ее слезятся, она не в силах от

волнения заговорить.

— Здравствуйте, Роза, проходите, что вы стали, как нищая, — приветствует ее бабушка, — не портьте глаза, вытрите слезы. Все в порядке, ваш Шлёва доехал благополучно, живет в Москве и ест каждый день калачи. Вот вам деньги и посылка.

Она выпроваживает огорошенную женщину и начинает сердито брюзжать.

— Покоя от них нет, поесть не дадут. Вертятся с утра до ночи, словно на постоялом дворе. Из дому не выберешься. Надо бы к толстой Гене зайти, у дуры денег куча, черт ее не возьмет, если уделит немного большевикам. У Лейкаха надо вырвать гостинцев для детей, у Цыбульского — пар пять обуви. Начинается весна, дети ходят босиком.

Какие дети? Мало ли их на Пересыпи и Молдаванке. Отцы погибли или ушли с большевиками, кто о малышах позаботится…

Входит соседка, за ней хвост из котят. Бабушка холодно кивает головой, ей не до гостей, заботы, заботы и заботы.

Не верьте ее строгому виду, это одно озорство.

— Вы пришли за кишочками? Возьмите их скорей, терпеть не могу падали в доме.

Соседка разворачивает сверток и смеется от радости: куриные головки, кишочки, лапки — целое сокровище. На три дня корму для кошек и котят. Чудесная бабушка, вот уж спасибо!

— Где вы достали? Тут фунтов десять, пятнадцать.

— Какое вам дело? Я церковь ограбила, Гришина-Алмазова обобрала. Оставляйте пять рублей и идите.

Пять рублей? Соседка смущена, — как дорого! Не следовало бы, пожалуй, брать… Она вынуждена отдать последнюю пятерку.

— Вернитесь, — зовет ее бабушка, — я вам сдачу дам.

Плутовка выкладывает пять рублей мелочи.

— Что это значит?

— Берите, мне это добро досталось задаром. Я обошла мясников и обложила их налогом по куриной головке и аршину кишок. Хотели откупиться — не помогло.

Соседка грозят ей пальцем:

— Напущу я на вас моих кошек и котят, отучат они вас над людьми смеяться.

Не отучат! Бабушку не исправишь.

Снова приходят люди, они спрашивают адреса, передают старухе приветы, что-то шепчут и спешат уйти. Она принимает их с деланной строгостью, обрывает на полуслове, выталкивает за дверь и приказывает не являться. Кто ей поверит, неутомимой притворщице бабушке!

Мне становится грустно. Почему меня не отводят в соседнюю

комнату, не шепчутся, как со многими другими? Пусть бы поручили какое-нибудь дело и судили потом обо мне. Кто им дал право прятаться от меня, говорить шепотом, с опаской?

— Послушайте, бабушка, я хочу вам сознаться кое в чем.

Она поймет меня с полуслова, простит, и с прошлым будет покончено.

— Вы по старой привычке все еще зовете меня «белогвардейцем». Надо вам знать, что многое изменилось за последнее время…

Старушка вдруг вспоминает, что у Ханы Кушнер ни гроша за душой, детки остались без хлеба.

— Куда делась моя память, — сетует она, — такое дело забыть…

Она заговаривает о другом, смеется, сердится и тотчас успокаивается. Я продолжаю начатое признание:

— Я, бабушка, ошибался, глубоко был неправ…

— Дорогой мой, — снова обрывает она меня, — сходите в лавочку, купите соли, ни крупинки в доме.

Я возвращаюсь и застаю ее за швейной машиной — она чинит белье. Теперь ничто не помешает выложить мою печаль до конца.

— Благодаря вам, бабушка, я увидел свет истинной правды…

— Ай! — вскрикивает она, присасываясь к пальцу. — Заслушалась болтуна и весь палец исколола. Минуты человек не промолчит, болтает, болтает, — сладу нет, голова заболела.

Что же, в другой раз поговорим, дело терпит, не сегодня-завтра обсудим.

Проходит немного времени, бабушка откладывает работу, подсаживается ко мне и спрашивает:

— Вы Беллу видели?

— Когда? Где? — недоумеваю я.

— Не знаю, где молодые люди встречаются, говорят, на свидании.

Наперсница Беллы, она знает о нашей любви. Каждый из нас открыл бабушке свою тайну. Мы приносили ей свои радости и горести, печаль и восторги. Бабушка мирила и улаживала, журила и хвалила, растила молодую любовь. Оттого так дороги ей эти чувства, что они родились здесь, у нее на глазах.

— Я давно не видела Беллу, вы привели бы ее сюда, — просит она меня.

Глаза бабушки сияют и как бы говорят: «Я сама когда-то любила и радуюсь вашей любви, как своей».

— Скажите ей, что я скучаю по ней. У меня она редко стала бывать.

Она так долго говорит о своей любимице, что та незримо

вырастает возле нас. Мы слышим шорох ее тихих шагов, трогательно-нежный голос и чувствуем, как осеняет нас ее улыбка. Шаги Беллы едва слышны, она маленькая, почти крошка. Я выше ее на целую голову, хоть она и старше меня на два года. Ее певучая речь иссякнет и сверкнет, вспыхнет и угаснет, чтобы вновь засиять. У нее белое-белое лицо и веснушки — золотые крупинки густо осыпали нос. Пышные волосы на ее голове точно туча над куполом храма.

— Я люблю ее, бабушка, и завидую собственному счастью. Я мог бы ради нее от всего отказаться.

Она молчит, закрывает глаза и долго сидит неподвижно.

— Любовь бывает различная, — задумчиво произносит она, — родителей к детям, кровных братьев между собой, старых друзей, супругов, но самая сильная и несокрушимая — любовь молодой девушки.

Почему именно девушки? Кого она имеет в виду? Не свою ли былую любовь, мертвую и живую под бременем лет?

— Сегодня воскресенье, найдите Беллу и приведите ее сюда.

Бабушка кивает головой и ласково выталкивает меня за дверь.

Удачный день, вот и Белла. Глаза ее устремлены вдаль, лицо спокойно, ни улыбки, ни радости. Мы поравнялись, она прошла мимо, унесла надежды, трепетную жажду любви. Девушка не видит меня, взор ее блуждает по небу, глаза жмурятся от солнца.

Я следую за ней, радуюсь ее ровному шагу и легкому подергиванию плеч. Она никогда не оборачивается, можно так бесконечно следовать за ней. Она спускается с тротуара, переходит улицу и продолжает свой путь. Она смотрит по сторонам, но ни за что не обернется назад. Я как-то сказал ей:

— Надо оборачиваться, мало ли что бывает позади.

— Я не люблю того, что прошло, — ответила она.

Кто знает, что она хотела этим сказать. Может быть, пошутила или намекнула на что-то, в чем признаться нельзя.

Она вдруг замедляет шаги, останавливается и, внезапно обернувшись, строго смотрит на меня.

— Это вы три раза наступили мне на ногу? Не очень вежливо, дружок.

Певучий голос звучит упреком и грустью. С ней что-то случилось, она словно сама печаль. Тоска в лице, в уголках рта, где вьется слабая улыбка. Грусть сочится из глаз, губы смяты скорбью. Что с ней? Арестовали ее друга, заболели родители?

Она качает головой: нет, не то, не то.

— Не случилось ля что-нибудь в городе? Ах, да, добровольцы расстреляли военную коллегию.

— Странный вы человек, у меня свое горе… Моя жизнь на исходе, врачи нашли у меня вторую каверну.

Вчера на собрании, во время доклада, кровь хлынула у нее горлом. Она жалуется, скорбит, тихо-тихо шагает, ежится и прячет свои бледные руки.

— Вторая каверна? Какое несчастье! Откуда она взялась? Привяжется же к человеку беда.

— Я не знаю, откуда это взялось, мне очень плохо. Я хочу еще жить, мне только двадцать один год.

— Не надо отчаиваться, болезнь может пройти… — Я долго думаю, чем бы утешить ее, и не совсем удачно добавляю: — Природе все под силу.

Однако быстро пролетела дорога, вот и ворота университетского морга. Белла некоторое время стоит в раздумье и круто поворачивает назад.

— Я не пойду на занятия, пошли гулять.

Она берет меня под руку и уводит прочь. Мы идем вверх по Торговой, минуем Садовую, Полицейскую, Нежинскую, следуем дальше и дальше. Смеркается. По столбам пробегает струя огней, и город заливает светом. Вот и старая церковь, место наших свиданий. Мы садимся между колоннами на гранитную ступень, скрытые от мира статуей Христа.

— Здесь прекрасно, — говорю я. — Эта церковь мне дороже родительского дома.

Она тихо кашляет и торопливо прячет платочек в карман.

— Когда вас зачислили вольнослушателем, вы то же самое говорили о своем институте.

Не удивительно, то был лучший день моей жизни. Немалая радость сбросить затасканную фуражку и надеть новый студенческий картуз. Мне казалось, что прохожие на улице смотрят на меня во все глаза. «Студент!» — сколько надежд и радости в самом слове! Правда, я только вольнослушатель с шестиклассным образованием, но на фуражке ведь ничего не написано. Меня могут принять за выпускника Института международных сношений, почти дипломата — будущего сотрудника Министерства иностранных дел.

— Не будем возвращаться к тому, что прошло, я вам, Белла, расскажу нечто важное.

Она снова кашляет и тихо стонет.

— Гранитная ступень может мне повредить. У меня закололо в спине.

«Гранитная ступень», — полно выдумывать, ничего с Беллой ие случится.

— Вы слишком прислушиваетесь к болезни, думайте о чем-

нибудь другом. Я должен открыть вам важную тайну, дайте я раньше вас поцелую. Теперь можно начинать. Впрочем, я еще раз вас поцелую, разговор долгий и важный.

— А вы воздержитесь.

— Здесь?

— Не надо быть расточительным.

— Не знаю, кто изобрел расточительство, воздержание, — говорят, придумали старики. Так вот, Белла, на улице Пушкина, против Биржи, стоит большая типография. Я работал там нумеровщиком, моей обязанностью было нумеровать чековые книжки и страницы банковских квитанционных накладных. Вдвоем со старым мастером стояли мы в подвале у окна, дышали испарениями красок и штемпелевали книжку за книжкой. Я так мало зарабатывал, что мне не хватало денег прокормиться, а ведь надо было еще платить за обучение. Тяжелая пора, и я невольно мечтал. «Опять вы пропустили номер, — укорял меня мастер. — О чем вы думали?» Я думал о Бирже, которую видел из окна. Это прекрасное здание, красивее его в Одессе не найти. «О Бирже, — высмеивал меня мастер, — какое вам дело до Биржи?» Я думал тогда, что люди выигрывают и теряют там столько, сколько я не заработаю за всю мою жизнь. Из типографии я ушел и поступил к адвокату переписчиком. Я пригляделся к тому, что творится у него, как ловко он орудует обманом и подкупом, — и подумал: справедливо ли, чтобы вокруг меня так широко текло золото, а я так мучительно бедствовал?.. Когда вы однажды мне сказали: «Вам не место среди наших врагов, вы должны быть большевиком, и обязательно одним из лучших», — мне припомнились типография с окном на Биржу и кабинет адвоката Цимбопуло.

Белла сильно кашляет, торопливо прячет платочек и стонет.

— От этой холодной гранитной ступени мне становится худо.

— Подождите, Беллочка, подождите… Безрассудная молодость, что ей до печали, когда сердце исполнено нежности.

— Не надо, мой милый, я заранее знаю, что вы хотите сказать. Вы переменились, вы стали другим, добрым, прекрасным. И бабушка и Кисилевский это знают. Они шутят, разыгрывают вас. Приходите, я сведу вас с хорошими людьми, познакомитесь с ними, будете нам помогать.

— За эту весть я еще раз поцелую вас. Спасибо за честь, я буду верным товарищем… Надо вам знать, что я всю жизнь промечтал о славе и величии, то видел себя именитым ученым, то директором банка, торговцем, писателем и даже фабрикантом. Я понял теперь, что нет большего счастья, как служить пролетариату, нет большего счастья, как умереть за свободу. Должен ли я рассказать нашим товарищам о моих заблуждениях?

Как вы думаете, Белла, они не осудят меня?

Она гладит мои плечи и шепчет:

— Нет, нет, не осудят.

Белла кашляет, платочек в крови, и все трудней это скрыть от меня. Она иззябла на гранитной ступени, дрожит и жалуется.

Не беда, пройдет, все дурное проходит. Я смеюсь, шучу, целую и ласкаю ее… Я забыл о второй каверне, о печальном предчувствии смерти, забыл обещание привести ее к бабушке. Все забыто, я целую мою возлюбленную за мраморной спиной Христа.

5

Раннее апрельское утро. Белые ушли, и григорьевцы заняли город. Студенческий отряд несет охрану города. Начальник командует: «Стой!» — и тихо стучится в ворота. Щелкают затворы винтовок, нетерпеливо стучат о камень приклады, безмолвно здание Английского клуба на Думской площади. Снова сдержанный стук и минуты ожидания. Командир прищелкивает каблуками и украдкой заглядывает в замочную скважину калитки. Звенят ключи, выбивают дробь в неверных руках. Перед отрядом стоят два лакея. Фраки безукоризненны, ни единой морщинки, на белых манишках крахмальные воротнички и черные бантики. Тот, кто постарше, дрожащим голосом уверяет, что господа уехали, никого в клубе не осталось. Они готовы проводить нас, но просят вести себя как следует, персонал еще спит, к утру лишь уснул. Командир понимает их, они могут быть спокойны, ничего дурного не случится. Студенческий отряд — дисциплинированная часть, вполне беспартийная. Среди студентов нет большевиков, их долг — поддерживать порядок, и ничего больше…

«Ничего больше», — повторяю я про себя и первый прохожу в ворота. Мне противен этот былой офицерик, омерзительно его заискивание перед холуями буржуев. Пусть фыркает, хвастает своим благородством, большевики обломают его, шута горохового. Назло ему я громко стучу сапогами. Я не чета этим сынкам толстосумов, они караульные, охранители порядка, защитники имущества их отцов, а я здесь по праву победителя. Со мной все те, кто борется за благо всего мира: и Кисилевский, и бабушка, и Иойлик-контрабандист. Пусть знают эти маменькины сынки, что я им не товарищ, не может быть дружбы между господином и его челядью. Они — челядь, и только. Их восхищает роскошь клуба, его картины, зеркала в богатых рамах, огромные буфеты, полные яств и напитков, зеленые столы, набитые картами. Мне омерзительно тут все, что напоминает врага-тунеядца, противно дышать его воздухом, касаться всего, что хранит следы его рук. Я еще свирепей буду топтать эти ковры, стучать сапогами, никто не смеет мне перечить, как не смеет перечить хозяину прибитая собака.

Меня послали за провизией. На торопливо сколоченных полках в здании Биржи лежали свежеиспеченный хлеб и банки молока. Всего этого можно брать сколько угодно, но отрядов много, всем надо есть, расточительность здесь неуместна… Студенты встретили меня с раздражением: иные приносят по

десять банок на душу, что у меня, рук не хватило? Я спокойно ответил: «Хозяин всегда взвесит и рассчитает, только враг не дорожит народным добром». Меня прозвали большевиком, — что ж, очень приятно, спасибо.

На площади за окном толпится народ, он ждет Красную Армию. Слышится далекая песня, она нарастает ближе и ближе, слышен топот и гул, победитель вступает на Думскую площадь. В свитках, шинелях, кто в рваном пальтишке, в лаптях и сапогах, с красными лентами на шапках и картузах — шагает боевой авангард. В открытом автомобиле, заломив казацкую шапку, держит речь Григорьев. Толпа целует его руки, он милостиво улыбается, кивает головой. Победитель французов и добровольцев, ему ли не выглядеть героем. Рабочие приветствуют бойцов, подносят им подарки. Братские объятия и нежные взгляды, они едины в своей воле к борьбе. Счастливцы пролетарии! Жили себе, трудились и умирали, никто их за людей не признавал, — и на вот вам наследство: будущее ваше, одним вам принадлежит.

Однако где армия? Где шеренги гвардейцев в ладно скроенных шинелях и в начищенных касках?

За моей спиной кто-то брезгливо бросает:

— Шантрапа!

Он вытирает руки, словно прикоснулся к чему-то нечистому.

— Красное войско! — вторит с улыбкой второй студент.

Я краснею, словно обида нанесена мне.

— Бандиты в ленточках, — слышится со стороны.

Я оборачиваюсь к ним и приказываю:

— Именем революции — молчать!

Снова раннее утро. Отряд спускается к морю. Синие студенческие шинели равномерно колеблются, блестят золотые наплечники, медные пуговицы. Студенты шутят, пересмеиваются, узнают прохожих и здороваются. «Какой прекрасный день, — говорят их приветствия, — и как мы отважны». «Смотрите, — слышится в уверенном шаге командира, — как мы молоды и благородны». Мы проходим пустынный порт и вступаем в таможню. Нас встречают пальба и пьяная ругань григорьевцев. «Победители» лежат у винных бочек, палят из винтовок, визжат и горланят: «Вся власть Советам без коммунистов!». «Долой коммуну!» — орет пьяный григорьевец. Кто держится еще на ногах, шатается по пакгаузам, набивает карманы и сумки товарами, распивает коньяк. Склады взломаны, ящики разбиты, на полу рассыпана коринка, пуговицы, дамские гребни и кошельки. Шелка и бархат залиты вином, соусом из-под консервов, истоптаны, измазаны сапогами. Вдоль пакгаузов

бродят патрули военной комендатуры города с маузерами в руках, они выслеживают отбившихся громил, хватают и уводят неизвестно куда.

Недавние победители, былая опора Петлюры, как они жалки! Я лежу в цепи, и сокрушительная злоба раздирает меня. Так изменить революции, пробраться к ее хранилищам и разворовать добро! Петлюровское отребье! И этих пропойц я принимал за Красную Армию! Пьяное кулачье, погромщики и насильники! Чего еще ждать, почему нет команды стрелять? Не вздумал ли командир и здесь извиняться, кланяться в пояс врагу? Мой палец тянется к собачке, вот-вот грянет выстрел. Я глаз не свожу с командира, жду приказания. Люди с маузерами в руках смелеют, они группами бросаются на громил, обезоруживают и пинками гонят вон из таможни. Молодцы! Браво, комендантская команда! Они донесут своему начальнику, коменданту города Домбровскому, что студенты отлежались в цепи. Упустили случай доказать свою верность революции.

Григорьевцы уведены, но что это значит? Студенты взламывают ящики, пьют вино, обжираются. Одни мародеры заменили других. Благородные дети именитых родителей, беспартийные стражи города, не стыдно ли вам набивать карманы чужим добром? Никто друг друга не остановит, не упрекнет, точно их сюда за этим привели. Где командир, почему он молчит? Я разыщу его, — пусть любуется делами отряда. Громите, голубчики, я начеку, не ждите милости, бандиты, вас поведут в трибунал, расспросят, перепишут и расстреляют. Туда вам, негодяям, и дорога.

Командир дезертировал, он бросил свой пост и бежал. В таком случае я, солдат Революции, обязан его заменить.

— Что вы делаете, студенты! — обращаюсь я к ним. — Опомнитесь, мне стыдно смотреть вам в глаза!

— На вот тебе, большевик, заткни платком себе глотку.

Они смеются надо мной, набивают карманы чем попало.

— Не корчь из себя дурака, грабь награбленное.

— Ты пойди донеси, — советует мне кто-то, — орден получишь.

Охрана громит революцию, что делать? Спокойно смотреть или выпустить по врагу обойму патронов?

Я взбираюсь на насыпь, выше крыши пакгаузов, на обласканный солнцем бульвар, вскидываю винтовку на плечо и направляюсь в штаб. Мне не место среди врагов пролетариата, я отрекаюсь от сообщества громил.

За трудным днем — ночь, вторая бессонная ночь. Студенческий отряд бродит по улицам города, останавливает

пеших и конных, преграждает путь автомобилям. Кругом безлюдье, в непроглядном мраке горят редкие огни. Из предосторожности отряд жмется к домам, укрывается в подворотнях и по команде высыпает на мостовую. На окрик командира машины замедляют ход и останавливаются. Мы рассматриваем людей и подолгу их расспрашиваем. Враг ли, друг ли пред нами, его надо хорошенько разглядеть. Я беру в руки пропуск, вижу красную звезду на белом фоне бумаги и добрым словом провожаю уезжающих. Я устал, руки и ноги мучительно ломят, но явись угроза революции, я буду драться до последнего вздоха. Жалкие студенты, золотая молодежь, им недоступно сознание высокого долга, непонятна моя радость. Мне доверили историю, покой грядущих поколений, поставили на великом перекрестке мира, и мне все оттого дозволено. Я могу постучаться в любые ворота.

Светает. Отряд стучится в ворота греческой церкви. Нам открывает привратник в долгополом сюртуке.

— Отряд устал, — говорит командир, — мы должны отдохнуть. Впереди долгие, тяжелые сутки.

— Пожалуйста, — следует любезное приглашение, — госпиталь пуст, французы увезли раненых греков. Там тихо и спокойно, никто не помешает вам поспать. Безопасно ли? Совершенно.

Нас встречает острый запах лекарств и повязок. На полу валяются грязные бинты и склянки из-под медикаментов. На кроватях смятые подушки и сброшенные одеяла. Постели словно еще теплы, согреты больными. Никто не ждет команды, мы бросаемся на кровати и сразу же засыпаем.

Блеклый рассвет встает за окном, истомленные студенты лежат неподвижному каждого чудесный сон перед глазами и винтовка в уснувших руках.

Нас будят отчаянные крики:

— Мы погибли, спасайтесь!

— Вставайте, товарищи, нас предали!

— Бегите отсюда, это тифозный барак!

Встревоженные студенты вскакивают и, сонные, суетятся.

— Куда вы бежите, остановитесь! — кричу я им вслед. — Хватайте виновника, негодяя в длиннополом сюртуке. Где командир, почему он упускает преступника!

Холеный офицерик в третий раз предает революцию — холуям Английского клуба, громилам таможни и убийце в церковном дворе.

Отряд возвращается в штаб. За каждым шагом эхо и гнетущий отзвук тревоги в груди. Я гордо озираю встревоженных

соратников, их испуг вдохновляет меня. Я жаждал опасности, звал ее, и она пришла. Добро пожаловать, давно жданная гостья!

Снова утро. Заведующий пропагандой военного комиссариата напутствует меня:

— Зовите народ в партию, расскажите о социализме, о Ленине. Не упускайте самого важного, расскажите рабочим о наших трудностях.

Битком набитый инструкторами и агитаторами, грузовой автомобиль несется по городу. Закрытый парусиновым верхом, он напоминает санитарную повозку. На перекрестках и площадях, где заметно скопление людей, в очереди у лавки, на базаре, у водопроводной будки машина останавливается, агитатор произносит жаркую речь и заканчивает вдохновенным призывом: «Да здравствует Советская власть!».

Моя очередь выступать. Я становлюсь на краю машины и словно падаю в пропасть. В себя я прихожу от рукоплесканий и криков «Ура!». Погодите, погодите, упущено самое главное, я словом не обмолвился о трудностях революции. И продолжаю: «Позор тем, чья фантазия заслоняет им действительность, кто ждал Красную Армию в ладно скроенных шинелях и начищенных звездах, чья жадность ведет к спорам из-за банки молока и куска лишнего хлеба! Проклятие разбивающим ящики в таможне, навертывающим на себя кружева, атлас и шелка! Они самые страшные враги революции, источник всяческого зла».

Вот и все, ничего больше не прибавишь. Какие еще трудности могут быть у революции?..

Мне снова рукоплещут, криком выражают свое одобрение. Вот она, долгожданная слава, мной восхищаются как героем, опорой и гордостью страны. Растроганный, я соскакиваю с машины, жму руки рабочих и взираю на каждого с благоговением…

Уходят дни и ночи, но не исчезают, им уготована вечная память в сердцах человечества.

В тупике Канатной улицы, там, где железная решетка у обрыва высится над морем, в широкий двор ведут ворота, привешенные на каменных столбах. С правой стороны тянется глухая булыжная стена, слева одиноко стоит домик с вьющимся над окнами виноградом. Дальше, у круто спускающегося к морю обрыва, в одноэтажном строении, издавна разместился штаб Одесской пограничной бригады. Где-то внизу неспокойно суетятся портовые поезда, оглашают гудками морские просторы суда, по ту сторону волнореза все еще стоят корабли Антанты, а в штабе царит милый полумрак, тишина, прерываемая шелестом бумаг и негромкой деловой речью. Низенькие потолки штаба от

старости покривились, полы прогнулись, образуя в каждой комнатке свои профили. Ничего похожего на штаб. Милый семейный домик, ветхое жилище славного прадеда. Все тут знают друг друга, взаимно помнят дни ангела и именин. Письмоводители женятся на делопроизводительницах, переписчицы выходят замуж за каптенармусов, а командиры тайно влюбляются в машинисток.

Чудесное местечко, редкой доброты люди. Я пришел сюда агитатором, но сотрудники и сотрудницы, комендант и комбриг решили иначе. Едва стало известно, что при командирах назначаются политические комиссары, на эту должность приказом был назначен старший письмоводитель Бондуровский, а меня поздравили с высоким званием помполиткома.

Прекрасная часть, все от ординарца до командира преданы делу пролетариата. Комбриг, милейший старичок, бывший полковник царской армии, подарил мне новую кобуру для нагана. Я надел ее, и все, поглядывая на меня, усмехались. Оказывается, кобуру носят не так и не на той стороне. Политком Бондуровский сделал кое-кому замечание и потребовал уважения к комиссарскому составу, но я без труда его убедил, что эти шутки исходят от доброго сердца и нисколько не роняют наш авторитет.

Командир сделал мне еще один подарок, преподнес кортик с перламутровой ручкой. Кто-то попробовал и над этим подтрунить, но другие его осадили: пограничная бригада обороны Черного моря — почти морская часть, и в ношении кортика ничего зазорного нет.

Смеются — и пусть, сейчас бы только и радоваться. Трудное время миновало. Народ верен революции. Иное дело за кордоном, оттуда добра не жди. У днестровского лимана, где расположены части бригады, румыны все чаще совершают набеги, но так и должно быть. Гибнущий мир всегда поражал своей подлостью. Там, где воды разделяют Россию и Румынию, с вражеского берега на лодках бегут в Советскую страну. Из Бессарабии уходят рабочие и крестьяне, покидают родные места. Иногда покажется румынский корабль, оглушительной стрельбой заявит о себе, и лодки повернут назад.

Буржуазии теперь трудно, а нам только радоваться, шутить и смеяться.

Политком Бондуровский пригласил меня в свою крохотную комнатку и сказал:

— Мы с командиром обсудили положение на границе и решили послать вас проведать посты. Дорога нелегкая, от Одессы до Скадовска путь немалый, возможны всякие неожиданности, придется лошадьми и пешком пробираться. Ваша задача —

восстановить с частями нашу связь. Мы дадим вам мандат на право проезда на поездах, на паровозах и даже дрезинах. В помощь пошлем ординарца Ваньку Ручьева, он находился при командире бригады и знает расположение постов.

Был май тысяча девятьсот девятнадцатого года — пора великих ожиданий и надежд, и мы пустились в дальний путь.

Ординарец Ванька из Сибири оказался спутником трудным. Он извел меня в дороге расспросами и на всякую глупость требовал ответа. «Политком, — твердил он, — обязан все знать». Скажи ему: почему люди не так высоки, как дома? Правда ли, что тучи опускаются в море, вбирают в себя воду и проливаются дождем? Его рассказы о счастье, об удаче, о везении и невезении заканчивались сентенцией: богатство и бедность не в нашей власти, надо родиться под хорошей звездой. Я вначале не стерпел и сказал:

— Выходит, беднякам в нищете подыхать, с буржуями не тягаться?

Болтун смутился и стал что-то мямлить.

— Не повторяй этих глупостей, — посоветовал я ему, — в чьих руках богатство, тому и везет. Прочитай Карла Маркса, у него, говорят, на этот счет толково написано.

Парень промолчал, как будто согласился, и все-таки спросил, почему один из его соседей стал в сутки богачом, а другой век в земле копается и с голода пухнет. Спорь не спорь, а сразу видно: кого бог любит, того награждает, а невзлюбит — хоть в воду бросайся.

Я приказал болтуну замолчать. Он всплакнул и отказался подчиниться. Помощник политкома не старше всех на свете, настаивал ординарец, командир бригады верит в счастье, в звезду, в бога, а раз верит командир, верить должен и его ординарец. Отречется начальник — отречется и он.

Двое суток мы спорили, всех в теплушке взбудоражили, и верх взял не я, а упрямец Ванька. Обступят его мужики в серых шинелях и жадно слушают его басни о счастье и богатстве.

— И во сне и наяву не хозяйство и скотину, а золото вижу, — рассказывает он, — глаз с земли не поднимаю, всюду кажется мне желтый песок. Корову не кормлю, навоз не убираю, пашню забросил. Мысли ровно блохи скачут, к одному льнут. И от матери и от братьев мне доставалось. Отец ходил по мне ногами и с притопом, ребра как выдержали, не знаю. Покаешься, за дела примешься, старателей сторонишься, только и знаешь, что свое хозяйство. Так день-другой пройдет — ничего, спокойно, а как завижу кайло или вороток, пойдет у меня в голове бродить… Руки в хозяйстве, а мысли в лесочке, где золото роют. Прямо

колдовство. Одна думка: край наш богатый, не по земле, по золоту ходим, чего ради век свой губить, с мужицкой долей связываться? Горькая она — сума да рубища.

Мужики в серых шинелях головой кивают; кто крякнет, кто вздохнет, не к добру свою долю вспомянет. Лицо Ваньки озарено мечтой, рыжая стерня на голове иглами торчит, глаза блестят, радуются.

— Не помогло родне, мужик из меня не вышел.

Они подмигивают друг другу: вот он, счастливец, добился своего. Не надо было и им дедов своих слушать, каторжного хозяйства держаться.

— Так и началась моя золотая пора. Выйдешь из дома с зарей, ни зайца на пути не увидишь, бабу с пустыми ведрами не встретишь, никто дорогу не перейдет. Сядешь в лощинке на пенек, щуп в землю запустишь и ждешь, что бог пошлет. Попался песок — промой его в ковшике и гляди, каков он. Не блестит — иди дальше. Лучшее золото под водой в речке хоронится.

Он поднимает на своих слушателей голубые глаза — два голубых источника с золотыми искрами на дне.

— Золото мыть не дрова рубить, — оправдается, — стерпеть только надо. В старину, бывало, из-под моха золото мыли, теперь не то, деды все раскопали, живого места не оставили. Встал копать — не отходи, рой, пока доберешься. Счастье — оно такое, бросишь рыть — уйдет. Иной старатель дом продаст, добро проест, семью по миру пустит, а сам в рваном зипунишке, голодный, холодный копает. Случается, что жила под домом залегла, жалко, а приходится до основания ломать, до точки добираться.

— Конечно, надо, — согласны они; каждый хоть сейчас готов избенку снести, землю перепахать, только бы эту жилу найти, дойти до точки, которая всю жизнь ускользала от них.

— Зато, ежели ты набрел на свое счастье, гуляй, матушка, пируй, братва!

Ванька издает протяжный свист, вскидывает руки и застывает с широко открытым ртом. Сейчас он гаркнет во всю глотку, проревет на всю Русь: «Сюда с Волги и Яика, к нам гулять-пировать!»

— Пьянствовать так пьянствовать, — упивается Ванька воображаемым счастьем, — старатель закупит всю лавку товара, лавочника в сани запряжет — и знай погоняет, друзьям и приятелям гостинцы развозит. Да мало ли что кому в голову взбредет. Возьмет да улицу сукном выстелет, в стакан золота насыплет, а поверх для фасона пива себе нальет. Дескать, воля моя, хочу — пью, хочу — золото глотаю.

Ванька умолкает. На голубые глаза пал туман, золотые искры погасли. Мерцает его улыбка, добрая усмешка волшебника. Он прищуривает левый глаз и вдруг резко свистит: дескать, вот я какой, любите и жалуйте доброго молодца.

Завороженные его речами, люди в серых шинелях не трогаются с места. Он взволновал их, расшевелил давно улегшиеся страсти, взбаламутил кровь. Каждому припомнились его удачи и неудачи, всякое бывало, счастье само лезло за пазуху, стучалось в окно, лежало на дороге, только бы руку протянуть. То ли ума не хватило, люди отсоветовали, родные не пустили. Вот он счастливец, без помехи радости пригоршнями черпал.

Никто не спрашивает, где его богатства, куда делись золотые горы? Из тех ли он, кто семью по миру пускает или улицы сукном выстилает?

Поезд останавливается у маленькой станции. Внизу, под насыпью, виден мостик над извилистым ручьем. Ванька крадучись выходит из теплушки, некоторое время делает вид, словно прогуливается, и стремглав бросается к реке. У берега он присаживается, пускает в воду щуп и жадно разглядывает добычу. Ничего отрадного, жизнь его — сплошная неудача.

Я встречаю его с укором и насмешкой, — нашел где золото искать, противный фантазер и болтун, — он снова, распустит язык, будет сказками упиваться и возбуждать надежды и мечты.

— Выходи, — слышатся снаружи голоса, — дороги нет, линия разобрана!

Теплушки пустеют. Я на платформе маленькой станции. Вчера была тут перестрелка, и неведомо чьи войска разобрали линию. Пассажиры обступили коменданта и начальника станции, тревожно допытываются, что делать, как быть. Я прихожу на телеграф и предъявляю свой мандат.

— Вызовите Помощную для переговоров.

В мандате так и значится: «Предоставляется право вести переговоры по прямому проводу».

Пока телеграфист отстукивает: «Пмш… пмш… пмш…», я озабоченно шагаю взад и вперед по крошечному помещению, не слышу шепота телеграфисток, мысли мои не здесь, и никому нет дела до того, где именно.

— Говорите, Помощная отвечает. Кто вызывал?

— У провода помощник политкома Одесской пограничной бригады обороны побережья Черного моря.

Я произношу это громко и четко: пусть знают эти хихикающие девицы, что не всякому встречному и поперечному дозволено говорить по прямому проводу.

— Что угодно? Я требую к проводу коменданта… Комендант

Байстрюков?.. Мне надо проехать до станции Знаменка. Я направляюсь в Скадовск… Можно? Ответственных работников и коммунистов здесь порядочно… Вышлете паровоз со специальным вагоном? Хорошо, будем ждать на пятой версте.

В помещении раздается оглушительный смех.

— Поторопитесь, товарищ политком, опоздаете.

Молодой человек в рваном пиджачишке, со стертой звездой на рубашке громче всех смеется.

— До пятой версты недалеко, — говорит он, — паровоз заждется. Эх вы, товарищ политком, с вами говорил петлюровский комендант. Они заняли вчера станцию и могут каждый час нагрянуть сюда.

Я должен это проверить и направляюсь к коменданту станции. Высокий, с растопыренными ногами и притаившейся усмешкой под пышными усами, он с недоброй улыбкой встречает меня. На шапке у него красная ленточка, на среднем пальце руки кольцо червонного золота. Сними он ленточку — и не узнаешь, кто он: петлюровец, махновец, григорьевец?

Он останавливает свой взгляд на моих новеньких сапогах и спрашивает, что мне надо.

— Говорят, петлюровцы близко, — немного смущенный этим взглядом, говорю я, — дорога не в порядке, пока уладится, я съезжу в деревню-другую. Проведу несколько митингов, потолкую с мужиками о коммуне.

Комендант не спешит с ответом, снимает шапку и медленно срывает алую ленточку. Лицо его становится вдруг суровым, глаза неспокойными, из рук сыплются наземь подсолнухи.

Он вынимает из кармана новенькую звезду, долго примеряется и прикрепляет ее к груди. Никто сейчас не усомнится, он — советский комендант.

— Вам, значит, подводу? Сейчас доставим.

Он уходит и возвращается с рыжим теленком.

— Придет мужик спрашивать, — говорит он мне, — никаких с ним разговоров, пока до села вас не довезет, теленка не отдавайте.

Надо бы и Ваньку с собой захватить, но что с болтуном возиться. Увлеченный разговором ординарец не заметил, как я оставил его.

Мы рядом на мягкой соломе — рыжий теленок и помполиткома пограничной бригады. Теплый, солнечный день. Голубое небо несется вслед за подводой, зеленая земля убегает назад. Кругом тихо, благодать. Никого на пути, хоть кати три дня и три ночи. В рощице тропочкой, словно улица проложена, по сторонам частоколы, уходящие в небо; справа ольха, слева орех, а

на пригорке сторожами стоят дубы. Лошадка весело бежит, никакой помехи на пути, сорока прокряхтит и слетит с куста: дескать, уступаю дорогому гостю; по земле пронесется легкая тень — то птица над головой пролетела.

Теленок сосет мой палец, таращит глаза и облизывается. Он пробует облизать ручку кортика, кожаный ремень, носок ботинка и фыркает: нет ничего вкуснее пальца. Упрямая соломинка щекочет ноздри, лезет в нос, ни отвернуться, ни смять ее, теленок чихает, обдает меня брызгами. Я досадливо вытираю лицо, — вот и дружба врозь.

Рощица редеет, по ту сторону оврага показалась деревня. Возница прячет кнут и скручивает цигарку. Голубое небо бежит, несется за подводой к тихой деревеньке, где нет ни бед, ни опасностей и вечно царит спокойствие и мир.

Мы въезжаем во двор сельсовета. Нас окружает толпа — взгляды недобрые, шепот враждебный. К нам приближается парень с пышным чубом на лбу. На нем синий жупан немецкого сукна и новые лакированные сапоги. Он кружит на пальце металлическую цепочку, кружит без отдыха взад и вперед.

Парень ощупывает теленка, заглядывает ему в рот и движением бровей приказывает взять.

— Порезать и зараз варить.

Резать? Мне становится не по себе. Я отвожу руку от рыжей головки, жадный рот все еще сосет палец. Нас разлучают, теленка уносят. Очередь за мной, чубатый злодей в гайдамацком жупане может так же распорядиться и мной: «Порезать и зараз варить».

— Куда везешь? — спрашивает парень возницу.

Голос суровый, крестьянин пугливо озирается. Ключик взлетает, цепочка кружится, ложится перстнями на палец и змеей разворачивается вновь.

— Комендант приказал до деревни довезти.

— Дело есть? — допытывается он.

— Не знаю.

Во двор въезжает подвода, нагруженная винтовками. Сверху лежит знамя не красного цвета. Парень в синем жупане оборачивается и сквозь зубы цедит:

— Сережка! Сукин сын, подводу соломой накрой!

Двое бросаются исполнять приказание.

— Откуда, куда едешь? — обращается он ко мне.

Парень впервые взглянул на меня. Нижняя губа его презрительно выпячена, кроваво-красные доены окаймляют изжелта-белые зубы-клыки. Такой не пожалеет, не остановится ни перед чем.

Ему я правду не скажу. Держу путь на Елисаветград, чтобы в

старой крепости опыты делать, пожары вызывать на расстоянии, тучи разгонять, снег растапливать на лету.

Я вычитал это в какой-то книжонке. Такими словами пройдоха бродяга чуть ли не насмерть испугал шерифа.

Подобного ответа никто не ждал. Ключик взлетел и свалился, металлическая цепочка повисла.

— Как это так, — не без тревоги спрашивает парень, — ты что же, фокусник?

И голос не тот, и уверенность не та, бандит растерялся.

Я напряжением воли подавляю нарастающую тревогу. Парень должен поверить в мое искусство, иначе мне несдобровать.

— Наставлю два стекла на вашу деревню — и нет ее. Дотла сгорит. Нажму кнопку вот здесь, на поясе, — того хуже будет.

Что, милый, выкусил? За мной водятся и не такие дела. Такое придумаю — хоть со свету беги.

Кто-то подбирается к моему чемодану, пробует замок сломать. Я прикидываюсь спокойным и замечаю ему:

— Осторожно, братишка, нарвешься.

Парень в синем жупане гневно смотрит на вора, и тот исчезает в толпе.

— Как фамилия? — пытается он усмешкой одолеть свое смущение, прячет руки в карманы и исподлобья оглядывает крестьян. Ему трудно решить: бояться ли меня или одарить презрением?

— Фамилия моя известная — Эдисон. Слыхали?

Вот незадача, впервые им встречается такой человек. По правде говоря, хорошо, что впервые. Рассердишь его — несчастье нашлет, не угодишь — того хуже.

Я готов показать свое искусство. Вон на пригорке стоит стог соломы, наставлю стекла — и баста, в момент запылает. Не ручаюсь, что огонек не пойдет дальше.

Кто мне в деревне это позволит? Не надо, не надо, они верят на слово.

— А на поясе что за кнопка у тебя? — бессильный скрыть свое любопытство, спрашивает главарь.

Хорошо, что я пристроил ее, сейчас она мне пригодится. Я машу рукой: ерунда, магнитное поле, не подступишься, любого свалит с ног. Главный аппарат у меня здесь, на плечах, можно пощупать, это электрическая линия. Я сжимаю локоть, и слышен короткий треск.

И помочи пригодились, давно их выбросить пора, да лучших все не было. Пришлось проводом скрепить, веревок не хватило. Я берусь за чемодан, и все передо мной расступаются. Пусть его со стеклами, скорей бы уезжал.

Первым исчезает парень в синем жупане, за ним уходят другие. Перепуганный возчик садится на телегу, и мы продолжаем свой путь.

— Кто это? — спрашиваю я возницу.

Вместо ответа тот опасливо оглядывается на чемодан:

— Верно, что опасная штука?

— Опасная, — на всякий случай убеждаю я его, — не захочу — ничего не будет, хоть прыгай на нем.

Крестьянин доволен. Он ударяет лошадку кнутом и уверенно дергает вожжи.

— Время какое пошло, — видели, теленка забрали. Только купил, хотел вырастить коровку. Кто они? Известно кто — бандюги. Никто им не страшен, и комендант из своих… Видали на шапке красную ленточку, — это у них, у повстанцев, вроде кокарды. По-всякому себя называют: и махновцы, и петлюровцы, и григорьевцы. Тот, что в синей поддевке, у гайдамаков был.

Дорога идет полем, кругом пустынно и печально, тучи нагрянули, и солнца как не было. От теленка осталась смятая солома и чувство тоски в груди. Снова деревня по ту сторону оврага — белые мазанки и колючая изгородь вокруг каждого гнезда.

Возница осторожно снимает чемодан и стремительно отъезжает. Издали видно, как по широкой дороге катится, несется опустевший возок.

Вечереет. У дверей сельского Совета сидят крестьяне. В накуренном и грязном помещении старик с длинной бородой щелкает на счетах.

Я сдвигаю фуражку набекрень и небрежно снимаю плащ. На куртке алый бант со звездой, на поясе наган, сбоку флотский кортик с перламутровой ручкой.

— Вы председатель? — спрашиваю я.

Старик молчит, продолжает свое дело. Снова вопрос и снова шелест бумаг и стук счетов.

— Говори, что надо.

Он проводит рукой вдоль бороды и растирает конец между пальцами.

— Соберите людей, я буду говорить о коммуне.

Председатель исподлобья оглядывает меня.

— О коммуне, говоришь?.. Хорошо… Соберем. Может, про другое расскажешь?

Вот еще советчик нашелся!

— Народ у вас темный, — говорю я, — надо ему объяснить.

— Ну, ну, в добрый час, — уступает председатель.

Меня отводят на квартиру. Хозяйка ставит на стол кувшин

молока. Я ем и обдумываю свою речь о коммуне. Неспокойное время, кругом снуют банды, нужна пропаганда, нельзя сложа руки сидеть. «Убедить мужика, доказать ему на деле», — учит Ленин. Я так и поступлю. Они узнают сегодня, что такое коммуна.

За коротким вечером приходит темная ночь. Фитилек, опущенный в масло, горит слабым светом. Школа густо набита людьми. Тьма слила их в единую глыбу. Кто не уместился внутри, пристроился за окном. В переднем ряду сидит председатель, напротив, за столиком, — я. Из открытой двери несет вечерней прохладой.

Все толпятся и шумят, каждый хочет увидеть меня, услышать правду о коммуне. С тех пор как это слово впервые прозвучало, стало твориться неладное, друзья и родные вставали друг против друга…

Я рассказываю о первобытном коммунизме, о дружбе и любви давно минувших тысячелетий, когда все трудились сообща, никто ничего не считал своим. Шли века, народы утратили свободу, и заглохла память о счастливых временах. Идею воскресили первые христиане. Не было у них ни богатых, ни бедных, имущество принадлежало общине. Возрождается былая слава коммунизма. Трудовому народу собственность — вред. Все будет общим.

Моя уверенная речь вдруг становится порывистой и нервной. Виноват старик председатель: борода его повисла, как облако. От нее словно исходит туман, в глазах лукавая усмешка. Бестия! Он что-то затеял. В сельсовете прикидывался простачком: «Толком говори», «Может, про другое расскажешь».

Заученная лекция забыта, выпорхнула из головы без следа. Как это случилось? Я ведь прекрасно запомнил ее. Ненавистная борода закрыла свет, затмила память, стелется серой дымкой. Я избегаю смотреть в его сторону и вовсе от него отвернулся. Так, пожалуй, нельзя, он обидится. Председатель кому-то подмигнул и плюнул, губы вытирает платком. Ничего уже не исправишь, надо кончать. Знать бы, кто выступит первым? Неужели председатель? Конечно, он. Старик поднимается, проводит рукой вдоль бороды и растирает конец ее между пальцами.

У него к лектору два-три вопроса.

В школе тихо. Старик говорит не спеша, без тени ехидства. Я отвечаю. Снова вопрос и ответ. Еще одно сомнение, но до чего трудно ответить на него, — кто мне скажет, что значит «землю лущить», что такое трехполье и многополье, яровой и озимый клин, поздние и ранние пары? В книжке о коммуне ничего об этом не сказано. Написано только, что все будут трудиться сообща и продукты поровну делить.

— Выходит по-моему, — заканчивает председатель, — не

знаешь ты, парень, нашего дела.

В школе сразу становится шумно, меня больше не слушают. Я кричу, возмущаюсь, — напрасно. Школа пустеет. Один лишь председатель остался. Он нисколько не сердится на меня.

— Лошадь здесь, — говорит он, — хоть дальше езжай те, хоть тут оставайтесь. Можете ночевать у подводчика — его черед приезжих возить и кормить.

Нет уж, лучше уезжать. Я сейчас же уеду, ни минуты здесь не останусь. Скорее на станцию.

Я сижу на тендере паровоза. Новенький плащ испачкан и в двух местах порвался, лицо покрыто копотью, пеплом запорошило глаза, и они слезятся. Слезы бегут, заливают щеки и падают на руку, а сердце замирает от радости. Скоро Одесса — город моих грез и надежд, где чтут звезду на груди, верят в силу мандата и твердого голоса.

6

Студент Мозес склоняется надо мной, облизывает губы и шепчет:

— Студенты вас любят, как отца родного, пойдут за вами куда прикажете. Скажите слово — и они, как тигры, бросятся на ваших врагов. Свет подобной преданности не встречал. С таким батальоном делают мировую революцию.

Я не во всем с ним согласен, не все в батальоне примерные люди, но многие, вероятно, ценят меня.

— Мы с вами знакомы не первый день, — продолжает Мозес нашептывать, — я говорю вам лишь то, что вижу и знаю. Ваше имя у всех на устах. «Способный политком», — скажет один. «Очень способный», — подтвердит другой. «Что такое «способный»? Большего одолжения не придумали? Талантлив! Гениален! Он родился полководцем, трибуном революции». Таковы студенты, они умеют чувствовать и понимать.

Голос Мозеса стелется и уводит меня прочь от действительности.

У каждого времени свои капризы, меня назначили комиссаром студенческого батальона. Маменькины сынки, холеный офицерик и старый знакомый Мозес стали моими подчиненными. В первый же день я собрал батальон и напомнил студентам минувшие дни: наши встречи в Английском клубе, в таможне и в тифозном бараке. Знаю каждого в лицо и вижу их насквозь: холеный офицерик трижды предал интересы рабочего класса, второкурсник технолог Федор Иванов унес из таможни штуку атласа, Яков Лебедев, будущий врач, напился допьяна. Студент с бакенбардами назвал красную часть «сбродом», сосед его слева дважды дурно отозвался о большевиках. Никому я ничего не простил.

Нелегкое дело воспитывать студентов, вдохнуть в них ненависть к белым и любовь к социализму. Я заставлял их выслушивать длинные речи, красочно описывал зверства деникинцев, говорил о Москве, о Кремле, о большевизме. Студенты не дети, пора им понять. Не все еще изжили буржуазные иллюзии, не без греха, немного терпенья, поблажка-другая, два-три разговора — и батальон станет лучшим отрядом в стране.

— Покажите студентам, — продолжает Мозес, — что вы им не чужой. Они просят заступиться за Круглика, — заступитесь. Спасите бедного мальчика, не допускайте, чтобы его расстреляли. Командир, который не щадит своих солдат, теряет их. Я хочу

пойти к ним и сказать: «Политком клянется, что не даст вас в обиду».

За любовь надо платить любовью, они признали его превосходство, оценили талант, долг платежом красен, он оправдает их надежды, Круглик будет спасен. Не строгостью, не наказанием воспитывается дух советского воина, а добротой и снисхождением. Взять бы к примеру Мозеса, — кто бы узнал в нем прежнего кота, сообщника Кивки-красавца и Мишки Японца? Оказанное ему доверие не было напрасно, он жизнь отдаст за революцию.

— Так и скажите им, Мозес, — снова заверил я его, — Круглика я не отдам. Подержали его в тюрьме, напугали, — довольно.

Мозес облизывает губы, отдает под козырек и, повернувшись на носках, уходит.

На очереди Гольдшмит, один из неподдающихся, в десятый раз вызываю — не исправляется.

— Вы звали меня, товарищ политком?

Одна и та же поза, тот же небрежный костюм — грязная рубашка неопределенного цвета, протертые штаны и студенческая фуражка, вконец изодранная и засаленная. То, что у него на ногах, не поддается определению. Для сапог голенища коротки, для ботинок чрезмерно высоки. Заплаты густо легли на носках и на заднике.

— Садитесь, товарищ Гольдшмит.

Он некоторое время продолжает стоять, заложив руки назад, вытягивает из кармана грязный платочек и шумно сморкается.

— От командира роты поступил рапорт, что вы агитируете против большевиков, именуете себя «свидетелем по делу о растлении России»…

Студент запускает руку за пазуху и долго чешет обросшую грудь.

— Я просил вас уволить меня. Я не буду служить революции. Я никогда не признаю ее.

Немного терпения — и упрямец заговорит по-другому.

— Вы пролетарского происхождения, Гольдшмит, история обязывает вас.

Он вынимает из-за пазухи газету, обрывает уголок и сворачивает цигарку. Между нами вырастает вонючее облако.

— Я люблю все красивое, — уверяет он меня, — благородное и чистое. Мне чужды ваши идеалы и ваш пролетариат.

Во рту у него два ряда прокуренных зубов, пальцы пожелтели и под ногтями грязь. Он затягивается махоркой и тает в сизом тумане. Несуразный человек, он должен служить революции,

должен признать ее.

— Отец мой всю жизнь сдавал экзамен на нотариуса, — продолжает он, — и умер на улице нищим. Двадцать два раза его назвали молодцом и, как еврею, не дали диплома. Пролетарское происхождение не заслуга, а несчастье.

Глаза его злые, насмешливые, он презирает всех и вся: студенческий батальон, революцию и белый свет, в котором из-за религии губят людей, а бедность — повод для привилегии.

— Но ведь так было в прошлом, — пытаюсь я смягчить его раздражение, — в Советской стране евреи свободны, никто не теснит их в черте оседлости. У нас евреи министры, ученые. Я не понимаю вас, Гольдшмит, — начинаю я сердиться, — вам ли говорить о красоте и благородстве? Взгляните в зеркало — вы выглядите босяком. Несчастный фантазер, где ваша голова? И чем это вам полюбились богачи и спекулянты? Вы бы ногти почистили.

Он прячет руки в карманы и пожимает плечами.

— Я опустился. Тому, кто скитается по мусорным ящикам, чистота не нужна. Вы не пробовали ночевать в этакой штуке, наполненной мусором? Жаль, любопытно. Расскажу вам забавную историю.

Он плюет на окурок, бросает его на пол и скручивает новую цигарку.

— Прошлой осенью, не то в сентябре, не то в конце октября, брожу я вечерком по Молдаванке, присматриваю себе ящик для ночлега. Нашел как будто неплохой: без щелей, с плотной крышкой. Спать еще раненько, надо бы немного подождать, но ветер лютый, дождь сильный — пробираюсь на покой. Вытягиваю из-за пазухи простыню — полотнище сыроватых афиш (после дождя они легко отстают), стелю «постель», ложусь и закуриваю. Только я вздремнул, вдруг кто-то кричит мне на ухо: «Это что за ночлежка, вон, бродяга, отсюда!» Он меня за шиворот, я его за грудь, кончилось тем, что я втянул его в ящик и крышку захлопнул. «Пикнешь, — говорю, — убью». Проходит час, другой, лежит мой гость рядышком тихо и спокойно. «Долго вы меня здесь будете томить?» — спрашивает он. «До утра», — отвечаю. «В таком вонючем ящике?» — «Чем богат, тем и рад». «Возьмите мои деньги и отпустите меня, переночуете лучше в гостинице». — «Полежите, — говорю ему, — я посмотрю». Беру у него деньги, запираю его извне и обещаю скоро выпустить на свет. Стучусь к дворнику: «В мусорном ящике лежит ваш хозяин, не случилось ли с ним что-нибудь?» — «Проспится, — ворчит он, — катись, пока цел». Пришлось бедняге в ящике ночь провести.

На верхней губе Гольдшмита табачно-желтый налет — яркий

мазок на суровом лице. Как будто улыбка там притаилась, сидит, а показаться не смеет.

— Я не понимаю вас, Гольдшмит, зачем вы это мне рассказали? Не вздумайте хвастать подобными делами, грабителей я немало перевидал на своем веку.

Терпенье терпеньем, нужна и дисциплина, нельзя же во всем потакать.

Я еще раз оглядываю его костюм и обувь. Неказистый наряд, не похвастаешь им, ничего нет на свете одинакового, даже бедность и та различна.

— Я много лет надеялся, верил, что когда-нибудь выйду в люди и мусорный ящик достанется другому. Уж так повелось, коль одному хорошо, другому несладко. Вы лишили меня этой награды. Вы всех уравняли: и тех, кто страдал, и кто не страдал, спал на мягкой перине и в мусорном ящике. Вы украли мою привилегию. Увольте меня, отпустите отсюда, или я взбунтую батальон.

В комнату входит молодой кудрявый парень. Он садится в углу, достает книжку из кармана и начинает читать.

— Что поделаешь, Гольдшмит, — говорю я, — так истории угодно. Восставать против этого смешно. Так же бессмысленно, как восставать против солнца, лучи которого светят и выжигают поля.

Вовсе не то хотелось мне сказать, у меня другой, более удачный ответ, но кудрявый политработник сбил меня с толку. При нем надо быть осторожным, слово скажешь не так — придерется и не отстанет.

— К чему вам, Гольдшмит, чужие страдания? Вам было трудно, вы бедствовали, пожалейте других. Как можно желать привилегий, ведь это значит урвать у меня, у соседа, у друга. И чем так пугает вас равенство? Вы верите, что у каждого своя судьба, одни осуждены на нищету и мучения, другие — на радость и счастье? Откажитесь, мой друг, бог с ней, с привилегией.

Я кладу руку ему на плечо и заглядываю в его грустные глаза. Еще одно слово, пожатие руки — и Гольдшмит уступит.

— Кому, как не нам, стоять за революцию, вам надо молиться на нее.

Мне хочется обнять горемыку студента, по-братски утешить его, но кудрявый политработник все слышит и видит, чтение книжки сплошное притворство.

Гольдшмит встает, его губы кривятся. Он хочет заговорить и не может. Жестокая икота потрясает его, он сжимает кулаки, стискивает зубы, тело содрогается от внутренних спазм. Я спешу

поднести ему воды, он резко отталкивает стакан, ничья помощь ему не нужна.

— Не тратьте времени, товарищ политком, я не буду служить революции, увольте меня из батальона.

Несносный человек, он сковывает своей короткой усмешкой.

— Что ж вы молчите, я жду!

— Дайте подумать, — говорю я, — потерпите. Есть у вас свободная минута?

— Через минуту я забуду о вас, — дерзко отвечает студент.

За такие слова сажают на гауптвахту, но с этим успеется.

— Вы забудете обо мне, — спокойно отвечаю я, — что ж, я вам напомню.

— Не трудитесь, ради бога, это не доставит мне удовольствия. Я лучше уйду.

— Погодите, Гольдшмит, я не все еще сказал вам. Мне привелось видеть однажды, как крестьянин убивал своего друга — собаку. Пес был сильный, дородный, с ним что-то случилось, он слег и захирел. Хозяин гнал его в болото и швырял в него камнями. Животное свалилось, уткнуло голову в грязь и стонало. Каждый раз, когда камень причинял ей страдания, она открывала израненный рот и словно шептала упрек. В кого вы, Гольдшмит, камнями швыряете? Чем не угодили мы вам? Мы расправим натруженные спины. Это наше избавление, где ваши глаза? Я такой же бедняк, как и вы, дайте мне руку, будем друзьями.

Гольдшмит уходит. У дверей он опять повторяет:

— Отпустите меня из батальона, не толкайте человека на крайность.

Я устал, как после долгой и тяжкой борьбы. Словно собственные заблуждения, давние и забытые, встали вдруг предо мной, чтобы испытать мою твердость, нерушимую верность новому символу веры.

— Что вы скажете, Шпетнер? Вы слышали?

Кудрявый политработник откладывает книжку, ничего он не слышал, не видел, у него свое дело к политкомиссару.

— Вы о ком говорите? О Гольдшмите? — не скрывая улыбки, спрашивает он.

— Да, да, о нем. Вы как будто не знаете.

Он пожимает плечами, не сводит с меня удивленного взгляда. Книжка словно закрыла ему свет. Давно пора его призвать к порядку. С ним чувствуешь себя точно связанным, только и жди выверта: то уставится на тебя, лукаво усмехнется и разведет руки. Кто дал ему право всюду совать свой нос? Выслушает приказание и обязательно переспросит, как бы с тем,

чтобы обратить внимание на мой промах, — не так я поступил, не так обошелся. Какое ему дело до политкомиссара, кому нужен его совет?

— Гольдшмита я давно отдал бы под суд, — спокойно замечает Шпетнер, — он отравляет студентов вредной агитацией.

Какая способность увиливать!

— Я не спрашиваю вас, что с ним делать, хотелось бы знать, кто в этом виноват?

Пора Шпетнеру понять, что в упорстве Гольдшмита доля вины политрука. Не его ли обязанность наставить студента, когда тот сбился с пути?

Кудрявый политработник молчит, дерзко взглянет на политкома и все-таки молчит.

— Отвечайте, товарищ политрук!

Я верну себе независимость и заодно проучу этого самоуверенного паренька.

— Кто виноват? — пожимает плечами Шпетнер. — Должно быть, мы с вами. Не уделили студенту внимания… Теперь уже поздно, его надо убрать.

Хватает же дерзости бросать комиссару обвинения.

— Вы забываетесь, Шпетнер! Вы валите с больной головы на здоровую. Я отправлю вас на гауптвахту.

Шпетнер неуязвим, угрозами и криком его не возьмешь.

— Говорят, вы хлопочете за бандита Круглика? Студенты возмущены. Это надо обсудить на партийном собрании.

Я решительно отклоняю чье-либо вмешательство в дела комиссара. Круглик рядовой студенческого батальона, и долг командира не дать в обиду солдата.

— Командира? — переспрашивает он.

— И комиссара, — не уступаю я ему.

Таков его стиль. Он переспросит, чтобы вызвать у меня сомнения.

— Почему дело Круглика вас занимает? — любопытствую я.

— Поговорим как мужчина с мужчиной. — Он опускается на стул, движения его свободны, точно этим заявлением он развязался с дисциплиной. Только голос его по-прежнему тверд и спокоен. — За короткое время, товарищ политком, вы натворили много ошибок. От студентов ничего не скроешь. Мозес именем политкома орудует в батальоне, Гольдшмит безнаказанно творит безобразия, Круглик находит защиту у политкома. Из порта не ушли еще французские крейсера. Враг всюду! Честолюбие закрыло вам свет.

Его настойчивость подавляет меня, кто мог от него ждать такого наскока…

— Мы воспитываем народ, — продолжает он, — кого убеждением, кого обещанием, приходится быть и крутым, иначе нельзя. Во всем этом надо хорошенько разобраться, а вы забились в уголок и никого, кроме себя, не видите.

Он тяжелой рукой ерошит свои кудри, колечки никнут и встают, как волнуемая нива.

— Завтра мой полк уходит на фронт, я пробыл в нем год. Там мои товарищи по гражданской войне. Мне было трудно с ними расстаться, со мной не посчитались и направили к вам. Откомандируйте меня, прошу вас, будьте другом, товарищ политком. Встретимся с вами — отслужу…

Руки Шпетнера уходят за пояс, голова его вздернута, взволнованный взгляд просит, настаивает.

Я не спешу отвечать. Он прочитал мне нотацию и за это поплатится, посидит на гауптвахте! Никакого снисхождения, зло надо с корнем рвать, поблажки портят людей. И парню будет полезно, и мне благодать. Говори что хочешь, делай что угодно, ни тебе контролера, ни наставника. Лучше бы, конечно, от него вовсе отделаться, привыкнешь к свободе — потом будет трудней.

Не впервые уже просится он на фронт. Что ему там надо? Заговорит о боях — точно порохом его начинили, вот-вот взорвется. И чего только не распишет, и на что только не отважится, чтобы на фронт ускакать.

Взбалмошный парень! Надо, конечно, защищать революцию, но не лезть, как медведь, на рожон. Вздорный человек, шальная голова! Мозес уверяет, что студенты отказываются слушать его доклады и наставления. Он всем надоел, и этот чудак осмеливается заявлять своему комиссару: «Вы забились в уголок и никого, кроме себя, не видите». Да знает ли он, что из своего батальона я вижу весь содрогающийся в муках мир, зрю грядущее бесклассовое общество? Счастливого пути, сумасброд, пусть едет за славой, его тут раскусили, никто по нем плакать не будет.

— Хорошо, я отпущу вас, но вы мне скажите дружески: что вас влечет так на фронт?

Шпетнер краснеет, словно коснулись его интимного чувства. Он ерошит свои кудри, щелкает пальцами, признание дается ему нелегко.

— Об этом сразу не скажешь… Вы будете смеяться… Мне кажется порой, что революция словно застряла. Случается, что грузовик вдруг встанет на подъеме. Люди бьются, надрываются, а он стоит, не трогается с места. Придет свежий человек, подставит плечо в нужном месте — и машина выйдет на дорогу. Не хватало, как говорится, еще одной силы.

Весь разговор был вскоре забыт, а вот притча о грузовике и

плече, подставленном в нужном месте, запомнилась по сей день. Сказ ли о недостающей силе растрогал меня, или Шпетнер вдруг предстал в новом свете, я, прощаясь с ним, в душе пожелал ему удачи.

7

Рабочий день окончен. Я покидаю штаб батальона и направляюсь домой. Кто-то из студентов по привычке козыряет, некоторые перешептываются. Придерживая одной рукой кобуру, я киваю им на ходу. На мне новый френч с золотыми пуговицами, на верхнем карманчике звезда, по давней привычке в нем гребешок, фиксатуар и маленькие ножницы. Все это иногда необходимо.

Внешняя улица, деревянные ворота настежь раскрыты. Длинный полутемный туннель, каре кирпичных столбов и галереи, окаймленные перилами. В глубине двора на развороченной яме — решетка, осыпанная кухонными отбросами. Над мусорным ящиком тучи мух и зловоние.

В доме оживленно. За дверью слышны голоса и звон бокалов. Хозяйка, Шейндл-красотка, встречает меня тостом, она пьет за здоровье большевика-квартиранта:

— Честь и место. Садитесь вот здесь.

Прекрасная компания, я в кругу пролетариев: Мэня — работница консервной фабрики, Симха-калека — старый слесарь, Юзик востроносый — грузчик порта. Они навеселе, — тем более приятно, революция дана людям на радость. Довольно жалоб и слез, все должны быть счастливы.

Меня сажают рядом с моей женой Мэней. Белла умерла — чахотка сгубила ее. Шейндл-красотка подмигивает гостям, те смеются, хохочут.

Мне нечего скрывать. Да, я студент международного института, политком батальона, избрал себе женой пролетарку. Сыну мелкого буржуа, портного, мне нужна опора, верный спутник с пролетарским чутьем. Пусть Мэня немолода, всеми отвергнутая старая дева, — неважно. Она — дочь рабочего класса, подлинная хозяйка страны.

Я пью за товарищей по классу: за слесаря Симху, грузчика Юзика и Мэню, за их счастливое будущее и за победу революции во всех частях света. Жизнь моя посвящена пролетариату, и я клянусь остаться верным ему.

— Дорогой квартирант, уважаемый политком…

Шейндл-красотка — мастерица изготовлять чудесные мази для лица — поднимает бокал, ее накрашенные щеки почти естественного цвета, напудренный нос кажется отмороженным.

— Сегодня у нас праздник. Оставьте, мой друг, свои дела, пейте и веселитесь с нами. Наш дорогой Юзик попросил моей руки. Три года, как вам известно, он ухаживал за мной, но на

небе, как говорится, не очень торопились. Мешало маленькое «но». Вы все знаете, что я имею в виду. Говорили, жених метит не в невесту, а в «вечную красоту». Ему бы только добраться до секрета, как готовить эту мазь, и муж в добрый час станет конкурентом. Юзик понял мои опасения и внес триста рублей залога, малейшая фальшь с его стороны — и эти деньги мои. Теперь, как говорится, можно и под венец.

— В добрый час, — поднимает тост Симха-калека, — дай бог пить на вашей свадьбе из сорокаведерной бочки. Вы получаете, Юзик, девушку-сокровище. Не подержанную — настоящую. Она любому из нас покажет среди улицы зад, обругает так, что биндюжник покраснеет, — бесстыдство следов не оставляет, — зато товар первый сорт, нераспечатанный.

Шейндл розовеет от удовольствия.

— Спасибо, Симха, за комплимент. Юзик меня еще не хвалил.

Грузчик улыбается и кивает головой. Он вообще никого не хвалит и не бранит, он предпочитает молчать. Мне нравится этот крепыш с неизменной улыбкой на добром лице, но почему Юзик так упорно молчит? Симха утверждает, что он двух слов не свяжет, улыбка ничего не выражает, «так себе, просто приклеена». Симха шутник и сочинитель. Кто ему поверит, что Юзик три года грамоте учился и все еще вместо подписи крестики ставит? Юзик хитрит, он когда-нибудь выкинет такое, что всех удивит. Кто молчит, тот двух научит.

Симха продолжает свой тост:

— Жена у вас, Юзик, будет дай бог такую моим лучшим друзьям. Ради семьи на что угодно пойдет: обманет, ограбит, но с пустыми руками домой не вернется. Себя в обиду не даст и вас отстоит, никого при этом не пожалеет: кипятком ошпарит, волосы выдерет, искалечит. Дай вам бог жить в мире, состариться и вырастить дюжину богатырей. Аминь!

Юзик молча кивает головой. Шейндл глядит на него с недоброй усмешкой. Видали, чтоб мужчина рта не раскрыл, — он весь вечер так промолчит. Сощурит глаза и сидит истуканом. У них будет серьезный разговор, не теперь, после свадьбы, она вышибет из него эту дурь.

Симха закладывает руки назад и ходит по комнате. Ему не сидится, так и подмывает выкинуть коленце, но не сегодня и не здесь. Шейндл склоняется к Мэне и подмигивает ей в сторону Симхи. Обе хихикают, жеманно опускают глаза и все-таки слушают друг друга. Похабная женщина, она пичкает Мэню противными сплетнями. Мэня ей подражает: покрывает щеки румянами и пудрит добела нос. Что, казалось бы, смешного в Симхе? Чистокровный пролетарий: и дед его и прадед стояли за

наковальней. Плотный, широкогрудый, с большими, сильными руками, он всегда одет с иголочки. Сапоги на нем блестят, сорочка накрахмалена, брюки заглажены, ни перышка на нем, ни пылинки. Одежда на Симхе не старится: сапогам десять лет, пиджаку столько же, брюкам пошло седьмое лето. Шейндл говорит: он не касается земли и знать ее не хочет. Наплевать ему на всех, чище его нет человека. Аккуратность этого самолюбца, твердит она, омерзительна, каждое движение как бы говорит: «Я вам не чета».

— Дорогой мой Симха, — ласково обращается к нему Шейндл, — почему вы ничего не едите? Ешьте на здоровье, пейте. Угощайте Мэню, вы не ухаживаете за ней.

Мне не до жены, она опьянела, и язык ее бойко скачет, несется.

— Разок я заставила его таки быть кавалером, — рассказывает она подруге обо мне, — он стоял на коленях и, как графине, целовал мои руки.

— Вот как, расскажите, это очень интересно, — неожиданно вмешивается в беседу Симха-калека.

Шейндл-красотка толкает Юзика в бок и ухмыляется окружающим. Любопытная история, они с удовольствием послушают.

Я сердито отодвигаю свой стул. Какое им дело до всего этого?

Мэня выпивает две рюмки водки, засовывает в рот огурец и смеется.

— Когда мой милый вселился к Шейндл на квартиру, я снимала комнату рядом. Сосед понравился мне с первого же взгляда. Вечерами делать нечего, подсяду к его двери и заглядываю в щелку. Ой, люблю подсматривать, пропади все на свете. Вижу, мальчик мой зачитывается книгой. Сидит день и ночь, рукой головку подопрет, не отрывается. На что это, думаю, он глазки пялит? Пробираюсь к нему в комнату, раскрываю книгу — стыд и позор. Голые женщины, паскудные бабы, — тошно смотреть. Надо парня спасти, пропадет мой «авангард» ни за что ни про что. Являюсь к нему и прямо выкладываю: «Хоть я и девушка, все это знают, и говорить об этом мне неудобно, но если уж так сильно приспичило вам, возьмите женитесь. Больше проку, чем портить себе кровь…»

Шейндл низко склонилась над столом, ноздри ее вибрируют, глаза широко раскрыты. Манжета ее кофты утонула в желтом соусе, золотая струя бежит, расползается. Симха плотно закрыл один глаз, зубами захватил край бородки, жует и обсасывает ее. У Юзика на лице все та же улыбка.

— …Мой парень смутился, давай придумывать басни. Мужчины — не мужчины, женщины — не женщины, это так просто, для чтения, учебник анатомии… Назавтра та же история, на третий день то же самое. Нет больше терпения, прихожу к нему и заявляю, что разврата не допущу. Только я ушла — сокровище мое опять за свое. Время позднее, скоро рассвет, врываюсь к нему, кладу книгу на стул и сажусь на нее. Он и глазки свои прячет, не знает, от стыда куда деться. Просит, умоляет, я в один голос: «Не уйду!» — «Тогда, — говорит он, — ложитесь на постель, я посплю на полу». Мне этого только и надо.

Болтовня Мэни раздражает меня, и я прошу ее замолчать, постыдиться людей. Мэня пьяная, смеется, хохочет. Будьте спокойны, она доскажет историю до конца.

— Лежу себе и думаю, как мне дурака на путь наставить. «Укройте мне ноги!» — капризничаю я. Он укрывает и уходит к себе…

Хохот заглушает последние слова. Даже Юзик смеется. Он раскрыл большой рот и гогочет, ржет протяжно и весело, как застоявшийся конь.

Я снова прошу Мэню замолчать, гнев душит меня, руки готовы в нее вцепиться. Она еще громче смеется. Видали муженька? Сколько страсти и пыла, взбудораженный лев! Историю она все-таки доскажет.

— Ты фабричная дура! Противная торговка! — вскрикиваю я, готовый уйти, но Симха и Шейндл удерживают меня.

— Опомнитесь, бог с вами… вы расстраиваете наш праздник, — повторяют они наперебой. — Не уходите, останьтесь, мы просим…

Симха ходит по комнате взад и вперед. Гуттаперчевый воротничок «композиция» подпирает его гордую голову, крупный рубин сверкает на груди, затмевает искру желтого галстука и алую гвоздику в петлице.

— Поздравляю вас, Шейндл, от чистого сердца, — говорит Мэня и целует ее.

Бледная и растерянная, она поднимает полный до краев бокал, вино по ее руке стекает на скатерть.

— Дай бог, Шейндл, — скорбно звучит голос моей жены, — чтобы ваша жизнь сложилась лучше моей. Дело прошлое, я горько ошиблась.

На глазах ее слезы, она тяжело опускается на стул.

— Как вам, Мэня, не стыдно, что вы говорите… — совестит ее Шейндл. Она отмахивается от Мэни и заговаривает о ценах на вазелин. Что ни день — повышение, цены бешено скачут, если дальше так пойдет, «вечная красота» будет стоит два с

полтиной…

Мэня плачет, заливается, никто ее не пожалеет, что за свет настал, друзья — не друзья, муж хуже чужого.

Так ей и надо, внутренне торжествую я, пусть держит язык за зубами. Как можно рассказывать такие вещи на людях? Царский режим не дал ей должного воспитания, но все же надо знать меру всему. Следовало бы, конечно, и мне удержаться, не оскорблять ее… Обзывать жену «фабричной дурой» — на что это похоже? И Юзик и Симха уже, вероятно, осудили меня. Надо извиниться, попросить прощения, пока не поздно.

— Не сердись, Мэня, я не должен был так выражаться.

— Уйди от моих глаз, грабитель, — истошно вопит она, — несчастный трепач! Доля моя горькая, печальная. Провались ты с бандитами-большевиками, чтоб памяти о вас не осталось!

Это Шейндл ее научила. Торговка мазью ей не подруга, надо их разлучить.

— Кого ты мараешь, Мэня? Своих же друзей пролетариев?

— «Пролетариев»! Погибель на вас, котовьё! Несчастные мазурики! До вас только люди и жили. Начальник был начальником, хозяин — хозяином. Хорошенькая власть, погибель на нее: Иван Цюрупа — директор, а мой красавчик — офицер.

Не очень умно, зато откровенно. Так рассуждать способен лишь тот, кто видит мир сквозь замочную скважину.

Я не тороплюсь с ответом, тут без меня пролетариев достаточно. Они за свой класс постоят.

— Что правильно, то правильно, — говорит Симха, — паршивая власть! — Он отворачивается от меня и переводит взгляд на Шейндл. Она его слушательница, к ней обращена его речь. — Ни одной честной души. Босяки, жулики. Обобрать бедняка, лишить его последней копейки ничего им не стоит.

Он стряхивает с манжета приставшую крошку и не кладет больше рук на стол. В такой обстановке мудрено не испачкать себя.

— Мы избавимся от них, — не остается в долгу Шейндл и переводит на Симху глаза. В мою сторону она избегает взглянуть. — Чужое добро впрок не идет. Мы увидим еще их с веревкой на шее. Есть в Одессе фонари, есть бог у евреев.

— От вас, Симха, я этого не ждал, — не могу я дальше сдержаться. — Вы, чистокровный пролетарий, повторяете слова глупых женщин. Мне стыдно и больно за вас. Вы сами себя оплевали. Кому вы этими речами доставили удовольствие?

Симха закусывает край бороды и, как козырную карту, выбрасывает на стол свою руку.

— Замкнитесь, товарищ! Не морочьте людей! Таких, как вы,

дураков три на свете: один в Киеве под мостом, другой у лошади под хвостом, третий у нас за столом. Кому вы врете, кому втираете очки? Мне, первосортному революционеру? Я буржуям в копейку влетел, они меня не забудут. Вы шлепали языком, как калошей, а я их грабил и душил. Вот где мои доказательства!

На руке у него не хватает двух пальцев, ладонь стянута рубцом изнутри.

— Заводчики платили мне дань, — с нескрываемой гордостью продолжает он. — С Фальцфейна я брал десятку в месяц, с Гена — пятнадцать. Вайнштейна наказал на двадцать, переплетчика Соловьева — на четвертной билет. Я тянул из них соки. Работать я буду на них? Капиталы растить им? Гену я оставил толстый палец без ногтя — сам подложил под пресс. Пустил в ход другой — не признали увечьем. У Фальцфейна я расстался с мизинцем — присудили десятку, спасибо. Душа с них, с грабителей! Деньги шли ко мне ручьем, а я лежал на боку. Учитесь, как с буржуями дело иметь. Теперь с них ничего не возьмешь, ограбили хозяина и рабочего заодно. Прихожу в исполком, говорю: так и так, завод реквизировали, платите по счету. Требую свои кровные денежки. Что, вы думаете, отвечает мне босая команда? Революции можно служить без руки, приходите работать. Слыхали? Иди, Симха, страдать, клади пальцы под пресс. Болячку вам в горло! Нате, разбойники, давитесь!

Он швыряет на стол пачку грязных документов и, гневный, встает. Я тоже встаю, мне здесь нечего делать, я угодил в чужую компанию. Что еще скажет Юзик, за ним слово. Грузчик спокоен, Симха был прав, улыбка его «так себе, просто приклеена».

С волками у меня другой разговор, они попомнят эту встречу.

— Вы не слишком забывайтесь, — бросаю я им, — будьте осторожны, здесь не так далеко до Чека. Не думайте, что наган у меня для проформы. «Паршивая власть»? Вы не стоите ее! Сами вы жулики и босяки! Я презираю вас, Симха-калека! И вас, Шейндл-красотка! Пожалейте себя, свою девичью голову. Вы плохо нас знаете, да и откуда вам знать! Кого вы пугаете веревкой на шее? Пусть мне скажут: «Иди ляг на дорогу, труп твой задержит врага», — и я с восторгом умру. Ведь это честь, и какая! Не всякий из нас ее стоит. Висеть на фонаре, высоко над людьми, развеваться, как знамя, в тылу у врага — весь свет обойти, не найти такой чести. Я не стою ее!..

Жалкие люди, погодите, революция вспомнит о них, с ними еще потолкуют…

В дверях появляется Мозес. На нем косоворотка в заплатах, заношенная тужурка с красным бантом на груди и алая звезда в

петлице. Движения его неуверенны, голова ушла меж плечами, лицо озарено любезной улыбкой.

— Я за вами, товарищ политком. Начальник штаба обороны у себя. Судьба Круглика в ваших руках…

Он говорит, как на параде, торжественно-громко, пусть знают эти люди, с кем судьба их свела.

Напрасно Мозес старается, моего честолюбия ему не разжечь. Маскарад со звездой и красным бантом не вяжется с рыщущим, лукавым взглядом.

Я все еще у стола, среди недавних друзей, отныне чужих и далеких. У дверей стоит Мозес, тень далекого недоброго прошлого. Что ему надо? Я не верю теперь никому. Довольно с меня, пора взяться за ум! Батальонный комиссар забыл свое высокое звание, раскрыл душу врагам революции.

— Нас ждет автомобиль, товарищ политком…

Мозес догадывается, что я чем-то расстроен, и, озадаченный, умолкает.

Смущение его длится недолго, он вдруг обнимает меня, притворно смеется и, как старого друга, уводит с собой. Я чувствую его сильную руку и покорно следую за ним.

Мы сидим в автомобиле друг против друга, один притворно печальный, другой смущенный и растерянный. Мозес жалобно плачется, рассказывает о Круглике чудесные вещи и бьет себя кулаком в грудь.

— Несчастная мама обливается слезами, рвет на себе волосы и стонет. Она охрипла от плача, искусанные губы распухли, как подушки. Сестра, писаная красавица, почернела, как земля. Она рвет на себе платье, кричит, умоляет: «Дайте мне умереть! Такого брата у меня больше не будет, к чему мне на свете жить!»

Занятый собственными мыслями, я не слушаю Мозеса. Я спрашиваю себя: почему меня так часто обманывают, платят горечью и обидой за добрые чувства? Неужели жизнь не научит меня распознавать людей? В пограничной бригаде надо мной посмеялись: мне виделись родные, милые лица, домашний очаг. «Очаг» оказался белогвардейским гнездом. Судом трибунала командование бригады как врагов революции расстреляли.

Симха, Юзик и Мэня, — сколько их было! Возможно, и Мозес такой. И кто этот Круглик? Я никогда его не видел, ни разу не спросил, в чем его обвиняют.

Мозес навязчиво твердит об одном: Круглик такой, Круглик сякой, он на скрипке играет, у него доброе сердце. Машина назойливо воет, прохожие и проезжие дают ей дорогу. Всем просторно, одному мне тесно, и некуда деться, чужие колени стиснули меня.

Вот и Пироговская улица, здание штаба. Машина бесшумно подходит к подъезду. Я не спешу войти, надо подумать, не поздно еще…

— Позвольте, дорогой мой, взять вас под руку.

Мозес шутит, смеется и цепко тянет меня за собой. Мелькают ступеньки, этаж, второй. Робкий, растерянный, я все еще не знаю, идти ли мне дальше или вернуться. Я мог бы бросить Мозеса и уйти, но я не все еще продумал. Минута-другая — и решение будет готово.

Еще одна ступенька, вот и площадка, за ней штаб. Мне немного осталось додумать, но Мозесу не терпится, и он неожиданно вталкивает меня в открытую дверь.

За столом сидят двое: высокий, со строгим выражением лица и решительными движениями, начальник штаба Краевский, и его секретарь. Он диктует приказы по телефону, разглядывает бумаги и снова звонит. Лицо его, словно задернутое мглой, то прояснится, то померкнет в тумане, и мне трудно решить, красив ли, стар или молод Краевский, сколько ему лет.

— Что вы хотели? — не отрываясь от своих дел, спрашивает начальник штаба.

Поздно раздумывать, надо начинать.

— Я политический комиссар студенческого батальона. Студенты волнуются, они требуют помилования товарища Круглика.

Мелькание в глазах все еще не прошло. Мне кажется, что начальнику едва ли больше тридцати лет.

— Надо им уступить, — набравшись храбрости, добавляю я.

Ему, пожалуй, не больше двадцати пяти лет. Когда он улыбается, это более чем бесспорно.

— Волнуются, говорите? В чем обвиняют вашего Круглика?

Какая оплошность, я забыл расспросить Мозеса.

— Не знаю. Говорят, в чем-то очень неважном.

Краевский насупился и молчит. Он не так уже молод, как вначале казалось. Ему, пожалуй, за сорок, если не больше…

— Круглик — мошенник, вымогатель и вор, подделыватель фальшивых документов, — с недоброй усмешкой говорит начальник штаба обороны. — Вы хлопочете, не зная, в чем его обвиняют. Студент Иона Гольдшмит у вас в батальоне?

— Гольдшмит?

Неужели и этот что-нибудь натворил? Какое трудное время!

— Да. У меня…

— Он бросился в море и переплыл через зону к французским судам. Одним эмигрантом стало больше.

Не глядя на меня, он тут же диктует приказ:

— «Студенческий батальон влить в отдельный полк… Комиссара батальона перевести политработником в харьковскую маршевую часть…»

— Можете идти, вы плохой политком!

Мозес скорбной усмешкой встречает меня. Он все подслушал за дверью. Ему жаль политкома, студенты никогда не забудут его.

— Жестокое время, люди без сердца, — говорит он. — Я поеду к бедной маме и сестре. Они ждут не дождутся меня. Спокойной ночи, политком. Домой вы дойдете пешком, тут недалеко.

Я гляжу вслед уходящей машине, стою и думаю об ошибках, о своем легковерии, печальных заблуждениях всей жизни. Их было много, сколько еще впереди…

8

В памяти сохранилась короткая встреча. В полковой канцелярии сидит Мишка Японец, на коленях у него обернутый в тряпку горшок. Он черпает ложкой суп, шумно ест и сопит. Впечатление, что рокочет насосная машина. За спиной стоит его жена, маленькая, широкобедрая женщина с золотыми зубами и массивными серьгами в ушах.

— Не беспокойся, политком, твоим студентам в моем полку будет неплохо. Они пройдут хорошую школу. Мои мальчики выведут их в люди.

Он скребет ложкой по дну горшка и жадно глотает куски мяса и картофеля.

— Для этих буржуйских сынков карманщик не человек. Бедный труженик, который жизнь проводит на каторге, для них — тьфу, негодяй! Немного воспитания, и они запоют по-другому. Я научу их уважать пролетариев. Будь спокоен, они остаются в верных руках.

Студенческий батальон и полк воров Мишки Японца — какое причудливое сочетание!

— Жаль, ты уезжаешь, мне бы такого политработника, как ты. Надоело мне ссориться с моим. Сегодня я ему руку чуть не испортил, связки немного растянул. Даст бог, пройдет.

Он закуривает и благодушно играет с женой, щекочет ее под мышкой и смеется.

— Было время, — говорит он, — когда я думал бросить свое паршивое дело и зажить по-другому. Как ты думаешь, кто испортил мне жизнь? Хаим-безногий. Он рассказал жениху моей сестры, ушному доктору, что я вор. Свадьба расстроилась. «Зачем ты это сделал?» — спросил я его перед смертью. «Это тебе за сплетни!» — отвечает он. Паршивый калека, из-за такой мелочи портят девушке счастье? Мы похоронили его без шума, он при жизни не любил рекламы. Ребята спели ему «Трум, трум, тум, тум, тум, тум» и поставили, как полагается, памятник.

Мишка Японец рассказывает историю своей славы: он вооружал революцию, снабжал оружием подполье, укрывал большевиков…

Еще припоминается:

Обширный двор штаба батальона, студенты прощаются со своим политкомом. Я благодарю их за любовь и внимание, призываю защищать революцию.

Меня грубо обрывают, они выкрикивают дерзости, точно никогда не тянулись предо мной.

— Вы не смеете посылать нас на фронт! Мы обязались нести караульную службу!

— Мы беспартийные! Революционные дела не касаются нас!

— Распустите батальон! Мы требуем свободы!

Они никогда не уважали меня, это было одно лишь притворство.

Харьковская маршевая часть привела меня в штаб армии, оперирующей против бандитов. Здесь встретились, я, разжалованный политком, и мой прежний политработник Шпетнер. После короткого совместного пребывания нам дали по отряду и завтра направляют в районы, захваченные бандами Махно.

Красноармейцы у штабного вагона слушают грустную повесть бородатого пулеметчика с бледным, изможденным лицом. Он томительно тянет, говорит едва слышно, чуть ли не шепчет. Никто не шелохнется, одному Лешке-конюху не сидится. Слыхали, как мямлит? Сил не хватает!

— Громче, Тихон, ничего не слыхать. Пару поддай, чего тянешь!

На Лешку устремлены грозные, встревоженные взгляды.

Нам видится деревня на берегу спокойной реки, за изгородью домик с прогнившей крышей, пустой овин и амбар без дверей. В горнице под образами сидят два брата. На одном слинявшая гимнастерка и красный бант на груди, на другом — френч и гетры.

— Сил нет, Тиша, отлежаться бы мне, голод доконал, — жалуется старший брат — Андрей.

— А потом что? — спрашивает младший, Тихон.

— Поеду к своим. Кому присягнул, тому и служить.

— К кадетам?

— Кто куда. И ты слово держишь, к красным идешь.

— Одно дело — к своим, другое — к чужим.

В бедной хатенке страдают два брата, один — от жажды и голода, другой — от горя и тоски.

— Что, Андрей, передумал? — снова и снова спрашивает Тихон.

Губы больного пересохли от жажды, — третий день его морят без пищи, второй день не дают воды.

— Кому присягал, за того и умру.

— Решай, Андрюша, скорей. Мне завтра в часть ворочаться.

— Сил нет, Тиша, терпеть, убей! Кончай, ради бога! Ударь меня в грудь, изойду я кровью внутри, и никто не узнает об этом.

— В часть опоздаю, — твердил младший брат, — под суд пойду, а тебя уломаю.

Еще день лишений, брат снова молит брата:

— Убей меня, Тиша, сделай доброе дело.

— Покорись, Андрюша, нельзя мне в тылу врага оставлять. Богом прошу, покорись.

Брат ложится пред ним и грудь подставляет. И Тихон плачет, жаль себя и Андрюху, но нельзя ему кадета в тылу бросать. Брат укором стоит перед глазами, куда ни обернешься, все он да он: и на стене, и на двери, и на дороге. Растет в Тихоне злоба, терпенью приходит конец, он замахивается и бьет по наваждению тяжелой скамьей. Андрей закидывает голову, не стонет и не дышит больше.

Мне чудится деревня на берегу спокойной реки, за изгородью домик с провалившейся крышей и покойник, распростертый на полу.

Я разглядываю пулеметчика, его широкую ладонь и думаю об Андрее. Жутко и тревожно за Тихона, за страшную твердость его, но разве только смерть примиряет врагов?

Красноармейцы молчат, один Лешка жует и хохочет. Нашли что послушать, туда ему, кадету, дорога…

— Цыц, малоумный! — останавливает кто-то его.

— Распустился, обжора! — сердится другой.

— Сопля малосильная! Усы стал брить, чтоб росли.

Не сметь глумиться над их скорбью и восторгом!

Лешка бреет усы, что в этом зазорного? Ему только семнадцатый год, было б здоровье, за усами дело не станет, пойдут. Главное, с голоду не умереть. Его недавно схватили бандиты, заперли в сарай и забыли о нем. Два дня пролежал он с затычкой во рту, без пищи и воды. С той поры страшный голод пугает его. Он носит с собой мешочек со снедью, тянет хлеба по крошке, жует и жует…

Сейчас Лешка добьется прощения, всех до одного рассмешит.

— Загадаю вам, братцы, загадку. Что нужнее нашему брату — доска или стекло?

— Ну и дурак! Что нужнее? В хозяйстве всему свое место.

— Не в хозяйстве, — торжествует загадчик, — на фронте?

На фронте — дело другое. От пули, конечно, стеклом не прикроешься, доска — она верней.

— На липе четыре ветки, по два яблока на каждой. Всего сколько?

Опять он торжествует. Не восемь, нет, нет, зря они кричат, надрываются!

— Всего-ничего. Яблоки на липе не растут.

Красноармейцы смеются, и громче всех Шпетнер. Он балагурит, смешит их и сам хохочет. Он отказался от штабного

вагона, бархатные диваны не для него. Ему нужна рота, да что рота, батальон красноармейцев, чтоб слушать их рассказы, дышать их воздухом, смеяться и заботиться о них.

Шпетнер знает всех, кто ждет писем, откуда и когда, у кого дома жена, невеста, дети. Живи я, кажется, с красноармейцами век, они бы меня так не любили. Я не умею, как Шпетнер, балагурить, угадывать, что у кого на душе. Наконец, стыдно сознаться, так желанна мягкая постель в вагоне первого класса, что сил нет уйти в теплушку… Поздно я Шпетнера разглядел. Времени ли не было ближе узнать и подружиться, терпения ли не хватило глубже вникнуть в помыслы и чувства его или голову вскружило высокое звание? Вернее всего, ни то, ни другое. Я медленно зрел и, мечтатель от природы, не усваивал уроков жизни.

Все вдоволь насмеялись, Тихон закурил, Лешка бросил жевать и задумался, пошли, поползли другие мысли. Я отзываю Тихона в сторону и, разглядывая его широкую ладонь, спрашиваю:

— Ты об Андрее вспоминаешь?

Тихон склоняет голову, и борода на его груди топорщится.

— Как не вспоминать, почитай, он мне родная душа.

Мне и этого мало:

— Жалко его?

— Как не жаль, сердце болит, как вспомню.

— И что убил, жалеешь?

Тихон пожимает плечами, — странный вопрос!

— Какой толк жалеть, не я его убью — он меня, не сам — друзья ему помогут. Не меня убьет — товарища моего. А не убьет — какой он белогвардеец?

Мне придется об этом еще подумать.

Шпетнер рассказывает о Григорьеве. Царский офицер, прежний соратник предателя Петлюры, он изменил революции, повел армию румынского фронта громить советский тыл. Заодно с Махно он натравливает крестьян против большевиков.

Красноармейцы разделяют его возмущение, они это запомнят, никогда не забудут.

— Неизвестно, товарищи, где тыл и где фронт, враг всюду, — продолжает Шпетнер, — Соколовский, Ангел, Чепель… А в нашей армии всего батальон войск. Оттого карта нашего штаба — без флажков. Никто не знает, где мы будем сражаться, с кем и когда. Придется — не подгадим. Сколько бы их ни было, будущее — наше, знамени не отдадим.

Тихон нежно кладет руку на плечо Шпетнера и ничего не говорит, молчит и улыбается.

Разверстка окончена, я с отрядом ухожу в Малую Виску, Шпетнер с красноармейцами — в Ново-Украинку. Распоряжение командарма: держаться осторожно, избегать столкновений, извещать штаб армии о продвижениях противника. Драться только с малочисленным отрядом. Вербовать добровольцев, поддерживать в населении порядок.

Отправка отрядов назначена на утро. До отъезда командирам проверить документы в станционных зданиях и подозрительных доставить в штаб.

Долгий день угасает, уходит в темную ночь. На небе сверкают россыпи звезд, они мигают, сливаются, чтоб ярче сиять, и все же луны им не заменить. Кругом потемки и мгла, только и света, что из окна телеграфа.

Отряды бесшумно идут по путям, в одиночку обходят станционные здания. Изгородь штыков замыкается, выходы заняты караулом. Мы со Шпетнером входим в помещение вокзала. В руках револьверы, за поясом ручные гранаты. На цементном полу спят мужчины и женщины, крошечная коптилка, как одеялом, укрыла их сумрачной тенью.

— Ваши документы! — звучит строгий окрик Шпетнера.

Зал оживает, сонные люди встают, раскрывают корзины, роются в карманах. Никто не знает, что за власть опрашивает их, и некоторые боязливо оглядываются. Мелькают паспорта, свидетельства, посвидчення, удостоверения на бумаге всех цветов и окрасок, на картоне, на вощанке, на оберточных обрывках, с гербами гетмана, Петлюры, Деникина и сибирского правительства.

— Взять! — командует Шпетнер. — Документы подозрительны, в штабе проверят.

— Документ устарел, в другой раз арестуем, — предупреждает он другого.

Проверка идет плавно и гладко. Шпетнер разглаживает бумажку, взгляд на человека и на его документ, пауза — и готово решение. Так уверенны движения его рук, столько твердости в сказанном слове, что кажется — ошибка невозможна. «Вы были неправы, несправедливы ко мне, — слышится мне в окрике «взять!», — я не тот, за кого вы меня принимали».

— Больничный рецепт мне не нужен. Где ваш документ? — сердится политработник. — Взять!

Никаких объяснений, он знает, кого миловать и уводить, мольбы и просьбы напрасны.

— Ваш документ! — вдруг мягко звучит голос Шпетнера.

— Здоров, Зема, как живешь, друг-приятель? — следует ответ, и вместо документа ему протягивают руку.

Шпетнер тоже узнал друга детства и протягивает ему свою.

— Здравствуй, Ехиил, откуда едешь?

— Из дома. Видал твоих стариков. Все живы, здоровы.

— Спасибо. Где твой документ? Дома оставил? Жаль. Взять!

— Погоди, Зема, ведь мы земляки! — не верит своим ушам Ехиил.

— Взять, — повторяет Шпетнер, — у меня нет земляков.

Он словно дает мне урок, учит охранять революцию, в каждом движении скрытый упрек, молчаливая горечь за прошлое. И мучителен каждый новый пример и безмерно дорог. Взволнованный, я крепко сжимаю револьвер и про себя повторяю: «Извините меня, Шпетнер, я перед вами виноват».

Из памяти встают далекие годы, давно забытые, сглаженные жизнью. Прогнивший частокол на задворках — уголок детских игр. Я мальчиком играл здесь с Гесей. Покорная и тихая, с косичками и бантиком, она моя утеха, рабыня и жена. То, подражая отцу, я сержусь, бранюсь, то сдуру гоню вон. С Гесей все дозволено, она даже не плачет. «Я осчастливил тебя, — кричу я подружке, — ты должна мне ноги мыть и воду пить!» Девочка стоит понурив голову, слушает, безропотная и немая. Кончилась ссора, пора за дело: шить и кроить, петь веселые песенки. Гесе надо заняться хозяйством, спечь пирог из песка, сварить суп из ромашки. «Скорей, жена, обедать пора!» — тороплю я ее. Вдруг Геся краснеет, растаптывает ножками печь, бросает оземь посуду и бьет меня кулачком по лицу: «Это тебе за ноги мыть и за воду пить!»

Какая отвага! Мальчику стыдно и радостно до восторга, до боли. И мучителен каждый новый удар, и безмерно дорог…

Сейчас, когда судьба нас вновь разлучает, пришло время со Шпетнером помириться. Взять его за руку и попросить не сердиться за прошлое. Виноват, что поделаешь, в жизни всякое бывает…

Шпетнер меня опередил, он кладет мне руку на плечо, и мы оба заговариваем одновременно.

— Вы хотели мне что-то сказать? — спрашивает он.

— Говорите вы первый, — уступаю я ему.

— Я хотел вас просить об одном одолжении…

Ночь стоит над вокзалом в суровом молчании — грозным судьей человеческих дел. Она осудит виновных и примирит друзей.

— Уступите мне Малую Виску, отправьтесь в Ново-Украинку вместо меня.

Всего лишь? Как жаль, что услуга столь незначительна.

— У вас в Малой Виске родственники, друзья?

Как и в тот раз, в батальоне, когда я спросил: «Что вас так тянет на фронт?» — он густо краснеет.

— Там более оживленно. Махновские банды рвутся к заводу, к сахарным складам. Попробуем завод отстоять.

Мы отправляемся в штаб. В купе за свечой сидит командарм. Он выслушивает Шпетнера с закрытыми глазами. Переспросит и опустит усталые веки.

Перемещение по службе? Не слишком ли скоро? Его не проведешь, он все знает — Шпетнер куролесит, рвется к фронту, в бой. Что ж, в добрый час. Пусть другой едет в Ново-Украинку.

Командарм хочет спать, он взбивает подушку и между делом говорит:

— Среди арестованных двое бандитов. Они участвовали в елисаветградском погроме… Сознались в убийствах и грабежах… Там были уничтожены три тысячи семей… Григорьев разрешил им грабить и убивать. Этой ночью их расстрелять. До рассвета покончить. Об исполнении донести.

Он снова взбивает подушку и натягивает до подбородка шинель.

— Слушаюсь! — лихо произношу я, и сердце от страха замирает.

«Этой ночью», «до рассвета покончить», — все еще слышится мне приказ. Какая нелегкая задача!

Луна мертвым светом окропила поля и спящий станционный поселок, холодное сияние сверкает, блестит, и в этом мерцании не заметишь рассвета…

Я отправляюсь к осужденным, — нельзя же, не повидав, не выслушав людей, «до рассвета покончить».

Их двое. Один коренастый, с мускулистой шеей и длинными космами волос. Он собирает их за уши, треплет, рассыпает и снова отбрасывает назад. Это были послушные кудри, с ними что-то случилось, они лезут на лоб и закрывают ему свет. Ни убрать их, ни спрятать, каждый волосок упрямо тянется к глазам…

Зовут его Тимохой. У него грубый, отрывистый голос. Он из сил выбивается, чтобы его смягчить, но даже шепот звучит как низкие ноты тромбона. Тревога волнует его крепкие руки, он протягивает их мне, просит покурить и беспрерывно ворошит ими волосы. Рассыплет космы по лбу, соберет, разметет — и снова за то же.

— Гро́ши оддасте? — тревожно спрашивает Тимоха и ждет напряженно ответа. — Вони мої зароблені… Вы ж власть християньска, хліборобів не забижаете… Га? Шо мы, дурні, розумієм, кличуть — ідемо, а хто знае, куди? Сгубили людей, що правда, то правда, так вони ж не наши, без хреста на шеи… — Не

деньги сейчас беспокоят парня, тревожит другое: что будет с ним, какова его участь…

Другой парень — невысокий и юркий, в куцем пиджачишке, с надвинутым на лоб картузом. Пред ним ведро и железная кружка, он пьет много воды, шумно глотает и обливается. На вопросы отвечает неохотно, чуть обернется и еще ниже надвинет картуз. У него достаточно причин прятать глаза, в них вся его жизнь, все мысли и чувства. Глубоко-черные, судорожно-нервные, они пугливы, робки и напористы. Как будто крепкое тело отказалось служить и им, маленьким, слабым, приходится за всех быть в ответе. За прищуренными веками, как паук в паутине, таится пугливая мысль, и нет ей, одинокой, поддержки. Никто не подскажет, как спастись, уйти от возмездия и смерти. Надо бы раскинуть умом, хорошенько обдумать, и на него наседают усталость и жажда.

Вокруг них оживленно, не скажешь, что теплушка — арестантский вагон. Полукругом сидят деревенские парни — загорелые лица, грубые руки, темная шея и пушок на губах. И речи об обычном: о деревне, дворе, пахоте, урожае. Спокойный вопрос, такой же ответ, снова и снова о том же. Нет здесь, в вагоне, ни старших, ни младших, иное дело — за дверью, где на часах стоит караул и ждет меня воля начальника. Она вложит в мои руки оружие и скажет: «До рассвета покончить!» Легко приказать, а как это сделать? Будь у меня на руках веское слово суда, я бы сказал: вот вам, добрые люди, приговор, — и баста, но как без злобы и обиды сказать: «Умри!», какими словами подступиться.?

Три часа. До рассвета недолго, ночь коротка. Я бужу отряд и отдаю приказ готовиться. Наган проверен, обойма полна. Луна низко нависла над штабом, ночь уходит в мертвом сиянии. Новый день спешит, приближается. Надо и нам торопиться «до рассвета» и ни мгновеньем позже…

Вдоль насыпи по склону скрипит песок под ногами, слышен плач и ворчание, крики и топот сапог. Гнетущая тишь в беспощадной ночи, блеск штыков и рыдания. Так только шествует смерть! Тихон и Лешка ведут под руки Тимоху, идут не спеша, осторожно. Два нагана в руках, две винтовки за спиной. Парень стонет, трепещет, тело изнывает в страшном предчувствии.

— Що ви робите, браття, ой, брати голубчики? Пожалійте, браточки. За що це, боже мій, за що вы душу губите? Боже мій, убьють! Ой, не можу, пожалійте, не можу…

Тимоха упирается, плачет, хочет пасть на колени. Он шагу больше не ступит, это немилосердно. Руки треплют рассыпанные космы, собирают и откидывают их.

— Что ты кричишь? — сердится Тихон. — Горланишь, как баба, а еще бандит! Не резать же будем, совесть имеем. Чего слезы льешь? Сказано же — не всем до социализма дожить. Не тебе, дураку, другим лучше будет — детям, жене. Ну, тише, поплакал — и хватит.

Другой идет молча, все больше умеряя шаги. Внезапным рывком пытается бежать, скалит рот и хищно кусается. Глаза его сверкают, бегут, кружатся. Трудно им, слабым и маленьким, быть в ответе за всех…

Я иду вдоль железнодорожной насыпи, слышу стоны Тимохи и думаю: живут люди на свете по-разному, а страдают одинаково. Снова и снова спрашиваю я себя: только ли смерть примиряет врагов?

Тихон и Лешка спускаются с насыпи к зреющим полоскам ржи. Высокие колосья гнутся, шевелятся под грузным сиянием луны.

— Становись на колени! — начинает сердиться Тихон. — И охота тебе людей изводить! Полагается встать — подчинись! Не выводи ты меня из себя, хуже будет.

Я вытираю холодеющий лоб и скорбно склоняю голову. Общественное бытие определяет сознание, люди — только дети среды, почему же те, кого среда обманула, должны жизнью платиться?

Слышится выстрел — и вслед голос Тихона:

— Давай другого.

Парень вспугнутым зверем бьется в руках, кусает людей и что-то бормочет. Лешка смеется, — чего захотел, воды ему дай. Потерпи, обойдется.

Под насыпью навзничь разметался Тимоха, руки раскинуты, ноги врозь, только русые космы, словно причесанные, ровно лежат.

— Стой, сволочь, стреляю!

Выстрелы сыплются один за другим. Раненый бежит и тонет во ржи. Ночь, пронизанная пулями, никнет, и предутреннее небо встает. Рассвет спешит, приближается…

— Сволочь, — сердится Тихон, — думал, степенный человек, а он жулик.

Люди топчут высокую ниву, ищут бежавшего врага. Кровавый след уходит глубже и глубже, хлеб ложится шире и шире. Встает новый день, веселый и довольный, — не зря он спешил, мир молод, жизнь хороша и прекрасна…

Тихон склоняется над раненым и говорит ему с укоризной:

— Дурная голова, людям хлопот наделал и себе мучений.

Он спускает курок и отходит. Парень остается лежать с

широко открытыми глазами. Трупы сваливают в яму на виду у ясного солнца. Лешка пляшет и топчет ногами, сравнивает могилу с землей.

— Иди, иди, малоумный, — сердится Тихон, — небось люди лежат, не собаки…

Никто не заметил мужичка на дороге. Он стоял у межи, согбенный, печальный, роняя слезы в истоптанную рожь.

Я опускаюсь на пень срубленного дерева, закрываю глаза, и видится мне снежная равнина, окутанная метелью, вдали опушка леса, за лесом городок. Мороз несется по открытому полю, сковывает меня, мальчишку, холодит стынущее тело. Окоченевшие ноги едва ступают, слезы закрыли свет, мысль бьется, как сердце в груди: никакой передышки, бежать и бежать. Мороз хватает мечтателей, усыпляет и душит их. Мороз ложится на пути, предо мной встают видения, они зовут присесть, отдохнуть и подумать. «За лесом городок, в каждом доме печка и пузатый чайник на ней. Прислонись, мальчик, к дереву, вообрази, как там уютно…» Нет, ни за что, он не должен, не смеет. Вот и город, победа, лес позади, можно думать, мечтать… Но кто желает того, что имеет?

И сейчас у меня такое же чувство: я, солдат революции, исполнил свой долг, гнал сомнения, неверие. Пусть только смерть примиряет врагов. Кого среда обманула, должен жизнью за это платиться. Никаких колебаний, я не должен, не смею, но где конец лесу? Придет ли крепкая, вера, чтоб не жалеть того, что имеешь?

— Приговор исполнен, — рапортую я.

Нелегко это сделать впервые. Командарм понимает. Он желает отряду успеха. Я благодарю и прощаюсь со Шпетнером. Мы будем соседями, наши станции рядом, и в минуту опасности друг другу поможем. Пожатие руки — и мы расстаемся. Вслед за отрядом я взбираюсь на «броневик».

Непрочное убежище! Ни бронированных стен, ни прочной защиты над головой, обычная угольная платформа, обшитая бревнами, с простенками, заполненными песком, одна легкая пушка и два пулемета. Первый орудийный снаряд разнесет «броневик» в щепки.

На открытой площадке лежат рельсы и инструменты, по дороге предстоит еще восстановить разобранный путь.

Паровоз, тоскливо вздыхая, уходит в голую степь, к черным грудам прошлогоднего хлеба. Вереница подвод уныло ползет по широкому шляху вдоль железной дороги, в неведомую даль. Тяжелое утро. Тимоха и паренек в куцем пиджачишке не лезут у меня из головы. В селе у них такие же крестьянские дворы, как те,

что по ту сторону шляха, белые мазанки с одинокой скирдой у гумна. Может быть, это и есть деревня Тимохи, а хатенка на отлете — его гнездо. Нужда выгнала парня из деревни, он мечтал вернуться поправить хозяйство. Надо будет у Шпетнера спросить: какая нужда людей убивать, когда есть столько средств их исправить?

«Броневик» едва ползет по взорванной крестовине. По обеим сторонам насыпи черными змеями врозь расползлись рельсы. Их разворачивали шесть пар запряженных волов.

Дорожники принимаются за работу, красноармейцы им помогают, звенит сталь, стучат молоты в степи, эхом отзывается далекая роща. Мы с Тихоном обследуем местность, срываем со столбов листовки врага. Они поблекли от дождя, но отчетливо видна подпись начальника григорьевско-махновского штаба.

Высокий парень щипцами держит болт, другой, низкорослый, завинчивает его. Они без шинелей, дружно бьют по костылям, меняют шпалы и рельсы. Работа у них спорится, высокий парень болтает без устали, маленький молчит. Они явились однажды в штаб к комиссару, назвались петлюровцами и попросили принять их в советскую часть. Им поверили и не ошиблись. Не одна, видимо, кровь примиряет врагов.

Мы с Тихоном сидим на пригорке, вспоминаем минувшую ночь. И чувствует каждый по-своему, и мысли у каждого свои…

— Жаль тебе, Тихон, этих людей? — как бы невзначай спрашиваю я и тут же раскаиваюсь, что спросил. Мало мне собственных сомнений, надо еще других смущать. Я дал себе слово не вспоминать, и на́ вот…

— Людей всегда жалко, — говорит Тихон, и в голосе его слышится грусть. — Особенно за первого сердце болит, парень видный, должно быть работящий. Другого не жалко — жулик…

Выходит, и он неспокоен, душа не на месте.

— С чего мне беспокоиться? — недоумевает Тихон. — Не из корысти я человека убил. Одно дело — для себя, а то для порядка.

— И нет другого пути? Справедливо это и правильно? — допытываюсь я.

— В большом деле не без греха. Нельзя нам врага за спиной оставлять. Пожалеешь, а он сзади прикончит тебя. Революция не шутка — ты меня или я тебя, какое там правильно, неправильно… Взять хотя бы сейчас: нагрянут махновцы — нам несдобровать, тех будет меньше — им конец.

Он некоторое время испытующе смотрит на меня и, словно в назидание, говорит:

— Революцию делать — не пшеницу растить: в год посеял и

скосил. Революция раз в сотни лет бывает, и провести ее надо как следует…

Как просто! Ему все ясно: революция! Делать ее надо на славу, потому что бывает она раз в сотни лет.

Отряд прибыл на место и разместился у станции, «броневик» оставлен на запасном пути.

Сейчас пройдет поезд по исправленной дороге. Отряд осмотрит пассажиров, проверит документы и багаж.

Потом пойдут будни: разведать, где враг, судя по всему — недалеко. Хорошо бы уснуть, отоспаться и забыть обо всем.

Раздается гудок паровоза, еще и еще раз, поезд подходит к вокзалу. Красноармейцы занимают места у дверей.

Тихон останавливает смуглую девушку в белой косынке:

— Где документы?

Она не понимает его:

— Кого?

— Ты кто такая?

Руки ее завязывают косынку и затягивают тугой узелок.

— Кто мы?

Она его раздражает.

— Как тебя звать?

— Кого? Нас?

Видали такую тупицу? Зарядила в один голос: «мы» да «нас».

— Не вертись, чертова девка, говори, — трясет ее Тихон за плечо.

С ним шутки плохи.

Теперь она вовсе умолкла, развязывает узел косынки, чтобы сделать такой же другой.

— В кутузке ты у меня заговоришь!

Он берет ее за руку, но девушка не дается, ухватилась за дверь, хоть убейте, она не пойдет.

Я приказываю отправить ее ко мне на квартиру. Я эту упрямицу сам допрошу.

На подножке вагона стоит мой добрый друг детства — Мунька. Он показывает красноармейцу документ и хочет пройти, но я крепко его обнимаю.

— Мунька! Здоров! Тебя ли я вижу? Как ты живешь?

Он в серой шинели, в юфтевых сапогах. Лицо хмуро, немного смущенно.

— Зайдем ко мне, Муня, другим поездом поедешь…

Мы одни в кабинете начальника станции. Я сразу веселею, смеюсь: какая удача — встретить в такой день старого друга! Усталость пропала, точно ее не было совсем.

— Я много успел, Муня, теперь ты не скажешь, что я

фантазер. Мне часто приходит на память твой брат, как он был прав… Где он сейчас? Что такое? Убили?.. В погроме? Мы отомстим за него… Не горюй, Муня, те, кто знал Нухима, его не забудут…

Я снова обнимаю своего друга, треплю по плечу и нежно шепчу:

— Ты настоящий медведь, большой, косолапый. Ты здорово изменился. Как выгляжу я?

Мунька сбрасывает шапку, и вихор стремительно ложится на лоб. И вихор и голубенькие ручейки на виске знакомы мне издавна.

— Ты все такой же, — неласково оглядывает он меня. — Картуз набекрень, волосы за ухом, гребешок и фиксатуар в верхнем карманчике. Рассказывай, что у тебя?

Какой он степенный, лишнего слова не скажет. Холодный, сухой, с ним как-то даже неловко. Откуда эта серьезность на лице — от ранних ли морщин на лбу и вокруг глаз или от бороздок у плотно сомкнутых губ?

— Что тебе сказать? Я начальник отряда. Наш штаб — в Помощной. В Одессе я занимал большие посты: я был помполиткомом пограничной бригады, инструктором горвоенкомата, комиссаром батальона. Неужели ты не слышал обо мне?

Мунька чуть улыбается. Опущенные веки прячут усмешку.

— Не слыхал. Впервые узнаю, что ты в Красной Армии.

— А дома ты в последнее время бывал? — Любопытно узнать, дошла ли молва до родного города.

— Два раза бывал, — загадочно улыбается Мунька.

— И никто ничего обо мне не слышал?

Улыбка выглянула, теперь не скроешь ее. Этот Мунька сущее сокровище.

— Не повезло, — говорит мой друг, — слава о тебе еще туда не дошла.

Он распластывает платочек, вытирает вспотевшие руки, и я узнаю давнюю привычку моего друга. Неловкость исчезла, теперь у нас пойдет на лад.

— Не знают — не надо, — утешаю я себя, — наш город не за горами, придет время — узнают… Хочешь, я покажу тебе моих людей? У меня пулеметчик прекрасный человек, умница дядя. Зовут его Тихон.

Муня не хочет, ему охота послушать, как я живу, — ведь мы давно не видались.

— Я всегда в своих мыслях видел тебя, ты служил мне примером. Что бы я ни делал, я спрашиваю себя: что скажешь ты?

Одобришь ли меня? Ты был моей совестью, Муня!

Друг в солдатской шинели нисколько не тронут, он хмурится и прячет руки в карманы.

— Иногда мне хочется совершить исключительный подвиг, сделать нечто такое, что вызвало бы твое одобрение. Ты скажешь, конечно, что такие мысли большевику не к лицу, его долг — быть готовым возможно дороже и красивей отдать свою жизнь. Оставить потомству славную память о себе.

— Ну, ну, продолжай, — великодушно соглашается он, — красивей, говоришь, отдать свою жизнь?

Просто и искренне звучит голос Муни, как не раскрыть ему свою душу.

— Мысли о подвиге, — продолжаю я, — не меня одного беспокоят. Является ко мне красноармеец, немолодой, неглупый, и говорит: «У меня созрел план покончить с войной и добиться победы. Эти мелкие стычки, драки с бандитами к успеху не приведут. Мы их, они нас — это не выход. Нужно врагу свернуть шею, лишить его руководства». И вот как этот план видится ему. Он под видом крестьянина темной ночью пробирается к противнику. Прикидывается другом, входит в доверие к нему и убивает Деникина. Тем же манером кончает с Дроздовым, Красновым и Врангелем. Что значит войско без командиров? Его хватает разъяренная стража, ведут на допрос. Он признается во всем. Обличает перед народом белых и спокойно выслушивает приговор. Его выводят на площадь, кругом толпы народа, жандармы и войско. Он смело всходит на лобное место и умирает на фонарном столбе… Не правда ли, молодец?

Муня усмехается странной усмешкой.

— Такого фантазера мы встречали у себя. Он, как и ты, любил революцию, и мы все-таки предали его трибуналу. Ему вверили полвагона белья и ботинок — последнее, что было у нас. Мы ждали подкреплений и держали обмундирование для раздетых бойцов. Отряды пришли, а в вагоне ничего не оказалось. Он роздал запасы проходящим частям, пожалел командиров в рваных штиблетах, красноармейцев в сгнившем белье — как им не дать? Жаль было парня, уж больно хороший, пришлось…

Муня все еще не садится, ходит взад и вперед. На лице у него ничего не прочтешь, не то ему скучно, не то он размышляет…

— Когда будет поезд? Как бы мне не опоздать. Отпуск у меня на семь суток…

— А ты кем теперь? — спрашиваю я его.

— Я следователь армейского трибунала.

Так вот почему он так строг и суров. Следователь армейского трибунала!

— Мне очень жаль тебя, — неласковым тоном говорит Муня, — ты такой же фантазер, как и был. Я думал, революция отрезвит тебя.

Ей-богу, он шутит, кто ему поверит?

— Тебе не стыдно смеяться? — нежно укоряю я его. — Какой я фантазер? Я ощущаю революцию как светлый праздник на земле.

Муня упрямо шагает взад и вперед. Он разглядывает карту железнодорожных сообщений, трогает телефон и медные пуговицы на своей шинели.

— Светлый праздник на земле, — с недоброй усмешкой повторяет Муня, — это верно, но только праздник для тебя. И революция, и социализм, и советская власть — все это уготовлено для твоего удовольствия, для тебя одного…

Какие обидные слова и каким оскорбительным тоном! С каждой встречей его не узнать…

— Я, Мунечка, провел ужасную ночь, мы расстреливали опасных бандитов. День был тоже нелегкий. Не говори так со мной.

Холодный и сумрачный Муня нисколько не тронут мольбой. Он продолжает спокойно, точно не свои, а чужие слова повторяет:

— Ты герой другой революции, не нашей, такие, как ты, действительно кончают на фонарном столбе.

Меня этим не напугаешь: храбрая смерть равносильна победе. Она ввергает в ужас врага и объединяет друзей. Революция — дело чести, нечто вроде дуэли. Она требует и мук и душевных терзаний. Она бывает раз в сотни лет, и провести ее надо как следует.

— Не спорю, — охотно уступает Муня, — но надо при этом видеть и цель. Не себя одного, а весь истекающий кровью народ… Все поле сражения… На таких кирпичах, как ты, фундамента социализма не построишь.

Жестокий друг в серой шинели так и не нашел для меня доброго слова.

— Пора взяться за ум, — продолжает Муня, — не фантазируй, не мечтай, не выдумывай! Не воображай себя сильным, огляди себя лучше: ты слабый, худосочный паренек! Надолго ли хватит тебя? Страдания не пряники, от них устаешь.

Это уже слишком. Он не смеет говорить так с командиром, безнаказанно оскорблять меня!

— Легче, Муня, осторожно! Думай больше над своими словами! Кем бы я ни был, никто не скажет, что я чужими идеями промышляю. Это ты повторяешь слова несчастного Нухима. Они легко тебе достались. Ты пачками мог их собирать. Я каждую

истину горбом добывал. Платил за нее нуждой и слезами. Ты бездушный человек, убеждения сидят у тебя в голове и до твоего сердца не доходят. Нам не о чем спорить, поезд подходит, можешь уезжать!

Мы расстались врагами. Навсегда.

Трудный день подходил к концу. Я обхожу красноармейские квартиры, с каждым побеседую, расспрошу, дам совет. Так ведет себя Шпетнер, так буду поступать и я.

Тихон что-то пишет. Лешка жалуется, что ему пайка не хватает, и просит отпускать больше хлеба. Он может и от врача принести записку. Хорошо, он получит хлеба вдоволь сейчас.

— Что ты делаешь, Тихон? — спрашиваю я.

Тихон смущенно прикрывает бумагу.

— Не сто́ящее это дело, товарищ командир. От скуки, можно сказать…

Шпетнер не упустил бы случая завести разговор. Ему все покажи, расскажи, как и почему, и обязательно подробно.

— Не стоящее, говоришь? Может быть, и я в компанию пристану?

— Да вот, чтоб мысли зря не растекались, я записываю их. Выходят стишки. Меня ежели разберет после такого дня, как сегодня, одно спасение — писать, на этом только и успокоюсь. Дурость, конечно. У каждого свое…

Я иду к себе на квартиру, голова полна мыслями о Шпетнере, о Тихоне, о Муньке, все запомнилось, ничего не упущено. Забыты только: девушка со смуглым лицом и косынка с тугим узелком.

Я застаю ее у себя. Девушку охраняет дежурный.

Я отпускаю красноармейца и спрашиваю ее:

— Как тебя зовут?

Руки ее быстро завязывают косынку и затягивают тугой узелок.

— Кого? Нас?

— Да, да, тебя.

Она испуганно оглядывается и почти шепотом отвечает:

— Маруся.

Маруся? Очень милое, хорошее имя, откуда она?

— Кто? Мы?

— Конечно, ты.

Девушка задумывается и ничего не отвечает.

Я хочу ее усадить и отскакиваю, словно ужаленный, — она больно укусила меня.

Так вот она какая, эта мерзкая девчонка! Рот ее оскален, ноздри раздуваются, острые зубы блестят.

— Не смей! — кричу я ей над самым ухом. Она с тем же

простодушием спрашивает:

— Кто? Мы?

— Да, «мы».

Я кладу ей руку на плечо, хочу уверить в моем миролюбии, убедить, что никто ее здесь не обидит, и снова острые зубы кусают меня. Оскаленный рот грозит защищаться. Взбешенный, я отталкиваю ее, и вдруг рука моя замирает, — девушка забинтована, и шея и грудь ее в марле.

В дверь стучатся прикладом.

Взволнованный Тихон приносит скорбную весть:

— Махновцы ночью напали на Малую Виску, всех дочиста порубили и ограбили завод.

Малая Виска? Дайте очнуться, погодите, — ведь там Шпетнер с отрядом!

— Что ты, Тихон, сказал? Откуда ты знаешь?

Девушка уставилась на красноармейца, губы плотно сомкнуты, ничего оттуда не должно прорваться, платок одним краем соскользнул с плеч. Она спешит склонить голову, разговор словно не касается ее.

— Откуда я знаю? — глухо произносит Тихон. — С железнодорожного моста всю банду видно, она по Бобринской линии на Знаменку идет.

Я бегом направляюсь к мосту, девушка следует за мной. Тихон берет ее за руку и молча уводит с собой.

Глубоко внизу, под вокзальной площадью, блестят рельсы на солнце, и тянется рядом широкий шлях. В этот ранний час слишком шумно на нем, стучат тачанки, скачут верховые, и следует буйная толпа людей. Одни раздеты, другие в помещичьих бекешах, с винтовкой, кто с пулеметом на плечах. Идут нестройно, вразброд.

Убийцы Шпетнера празднуют победу! Они на радостях пьяны, хмельны от удачи. У каждого нож, омытый кровью, сабля с алым налетом и зазубрины до самого клинка.

Я спускаюсь под мост, взбираюсь на шлях, где прошло бандитское отребье, и спешу на Малую Виску.

Всего, три версты, а как труден путь. Препятствия встают на каждом шагу. Тени деревьев ложатся на шлях, и надо зорко следить, чтобы не споткнуться. Мне мерещится истерзанное тело Шпетнера на дороге.

Вот и Малая Виска. За вокзалом, во дворе станционного сторожа, толпа. Я протискиваюсь к настежь открытому амбару и вижу груду изрубленных тел… Кто-то сказал, что командир отряда спасся.

— Что вы сказали, товарищи, повторите! — подступаю я,

взволнованный, к железнодорожнику в парусиновом балахоне. — Командир, говорите вы, жив?

Он видел, как махновцы стреляли в него. Его нашли потом раненым за околицей.

Шпетнер жив! Где больница? Прямо и влево? Я несусь как ошалелый по улице, по щербатым ступенькам, пугаю сестер, ищу врача.

— Как Шпетнер? Что с ним?

Они просят меня успокоиться, подождать, потерпеть. Ничего страшного, нужна маленькая операция, пуля застряла в животе.

— Вы не знаете, доктор, что это за парень! У меня было два друга, с одним мы расстались навсегда. Кроме Шпетнера, у меня никого не осталось. Подумайте, доктор, я обязан ему жизнью. Меня отправляли с отрядом сюда…

Отлично, прекрасно, это будет учтено. Больного спасут, немного терпения. Белый халат закрывает мне дорогу, не дает пройти к Шпетнеру, друзьям положено ждать в приемной.

— Простите, я никому не доверю друга, пусть это проделают у меня на глазах. Нельзя? Предрассудок! Теперь не старый режим, все можно!!

Больного кладут на большой белый стол, он стонет, шевелится и что-то бормочет. Лицо покрывают маской, пропитанной эфиром. Шпетнер хрипит, задыхается, рука сестры ложится на маску. Вдруг грустная песня раздается в тиши, больной запел о девушке по имени Оля. Песня обрывается, доктор режет, сечет, ищет вражескую пулю.

Мне кажется, что под маской моя судьба, ей закрыли лицо, чтобы я себя не узнал. И боли, и движение ножа, и руки врача под желудком я чувствую в собственном теле.

Я снова на той же дороге, тени деревьев лежат на шляху, но нет больше препятствий. Перед глазами амбар, груда тел в алом озере крови и на операционном столе — мертвое тело друга… Шпетнера я им не прощу. Борьба так борьба, беспощадно жестокая, до последнего вздоха! Глядите, не кайтесь! Посмотрим, кто дрогнет!

* * *

Тихон приезжает из штаба армии, отводит меня в сторону и затевает длинный разговор. Он без разрешения захватил с собой девушку и сдал ее под расписку в штаб. Там ее обыскали, и нашли под бинтами донесения повстанцев. В них сообщалось о расположении штаба армии и вооруженных сил. Она везла

материалы Григорьеву, спешила к съезду повстанцев в село Сентово. Двадцать седьмого июля махновско-григорьевский штаб собирает представителей трех губерний — Херсонской, Екатеринославской и Таврии.

— Вот тебе и девка! — закончил он. — Верить нельзя, товарищ командир!

Упрек заслуженный, но откуда у Тихона этот дар прозрения и твердость духа?

Опять неудача, врага проглядел, и какого… Где были мои глаза и чутье большевика? Так можно прозевать революцию. Не слишком ли часты промахи и ошибки? Не потому ли их так много, что нет меры моему воображению и вижу я не цель, а самого себя… так, кажется, говорил Мунька?

Шпетнер не упустил бы, он сразу почуял бы врага.

— Девку пустили в расход, — говорит Тихон. — Кусачая девка, пришлось руки вязать. Что делать голубке, надо спасаться. Так и не пикнула, молчком умерла.

Эта гибель не трогает меня, но и не рождает сомнений. Борьба без пощады, повторяю я себе, до последнего вздоха, до смерти. Посмотрим, кто дрогнет!

9

Мастер завода Эльворти Андрей Иванович Гордеев опять пришел к дочери Маше. Завидев его, красноармейцы разбрелись по углам: кто вдруг делом занялся, кто вовсе собрался уходить. Тихон обернулся к стене, опущенные веки закрыли ему свет. В последнее время с ним так часто бывает. Размышляет ли он или от мыслей спасается, кто его знает? Кудрявая Маша, секретарь комячейки и политрук отряда, сует руки в карманы и плюет. Она вскидывает плечами, топчется на месте и накручивает на палец курчавую прядь. Что за порядки, сердится она, в помещение отряда пускать посторонних людей! Лешка жует свою долгую жвачку, ждет с нетерпением: согласится ли Маша с отцом говорить или, как в тот раз, сбежит? Я роюсь в карманах, нахожу бумажку и деловито что-то рисую на ней.

Впервые Гордеев явился сюда, когда дочь его Маша вступила добровольцем в отряд. Высокий и крепкий, чуточку сгорбленный, с палкой в руке, он спросил командира. С ним был дочерин крестный — крестьянин с рыжей бородой, коренастый и плотный, с волосами под скобку. Из жилетного кармана спускалась цепочка, и на пуговице привешено пенсне. Маша отказалась видеть отца, ни с тем, ни с другим не стала объясняться. Они зашли ко мне и долго у меня оставались. Мужик с рыжей бородой непрерывно болтал, хмурился и теребил карманчик жилета. Гордеев грудью налегал на палку, приближал и отдалял от меня скорбью измятое лицо. Он говорил не спеша, взвешивал каждое слово; ему хотелось знать, что будет с заводом, как быть дальше. Отряд сюда прибыл недели две назад, какие у нас планы.

Я говорил о партийной программе, о задачах Советов и большевиков. Гордеев молча слушал, не сводил с меня глаз и ждал. Возражений было не много: мастер опасался новых порядков, они перевернут все вверх дном. Завод кормит весь город, нельзя с этим шутить.

— Какие сеялки, плуги выделывали мы, — печалился Гордеев. — Цехи — гордость страны, и дошло до чего — топоры, сковородки готовим…

Убытки растут, власти грабят завод. Маруська забрала сто тысяч, ревком угнал лошадей на фронт, Григорьев увез двадцать тысяч. Заседания, митинги, совещания, комиссии — за все надо платить. Одной контрибуции взяли полмиллиона. Большевики воевали, а завод пострадал — артиллерией разбило два склада…

Крестный подпрыгнул на месте.

— Бога побойтесь! Кого обижают? Кормильца?

Гордеев жестом приказал ему замолчать:

— Не то говоришь, Алексеич…

Крестный замолк и спрятал пенсне.

Я не сразу понял, почему эти расходы тревожат их: им жаль заводчика или их интересы задеты?

— Что вам до убытков, не из вашего же заработка взыщут? Эльворти ответит своим капиталом.

Алексеич снова пошел тараторить, и снова Гордеев его оборвал. Он сам ответит командиру. На лице его усмешка, не поймешь даже сразу, что ею Гордеев хочет сказать.

— И белые, и красные, и Петлюра, и Григорьев, — по-прежнему, взвешивая каждое слово, продолжал он, — одним миром мазаны: пропадай все на свете — было б им хорошо. Им нет дела до рабочих. А ведь завод — наша надежда и спасение. Крепок он и цел — нам хорошо. Нигде так рабочим хорошо не платили, как у нас, нигде не помогали так в беде. И кто его разберет, где рабочий и хозяин у нас? Семь процентов всех акций у нашего брата. Через десять годков заводчика обгоним. Не мы — наши дети завладеют добром.

Вот они, утопии, химеры и мечты! Так им Эльворти завод свой уступит, с кресла хозяйского уйдет! Я говорил о великом обмане, о погибших надеждах поколений людей, о лукавой западне кровососов народа. Иллюзии, иллюзии, они все еще сильны!

Оба умолкли, каждый думал про себя, о своем. Алексеич снова вмешался:

— То же самое, ежели о деревне сказать. Всего у нас вдоволь — и земли и хозяйства, некому только нас защищать. Банды грабят, воруют, уводят с собой сыновей. Крепкая власть — вот что нам надо. Какая бы ни была, только бы сильная, за нее хоть в огонь, хоть в воду пойдем.

Гордеев налег грудью на палку, две глубокие морщины сошлись на лице. Волнение зыбью покрыло морщинистый лоб.

— Два года уже завод защищаем. Обзавелись арсеналом. И сабель и пушек, пулеметов и бомб — на всю войну хватит. Дрались с Марусей, с Петлюрой и гетманом, Махно и Григорьевым. Устали. Руки зудят, подай нам работу. Ждем не дождемся порядка. Не видали вы нас за станками. Какие плуги, молотилки готовили! На все руки способны; потребуется — и снарядов, и бомб, и трубок запальных наделаем.

Вот они, командармы, хозяева сытой земли и тысячной армии! Амбары хлебом полны, склады — амуницией и всяким добром. Революция рушила все на пути, шла кровавая битва за душу России. Люди умирали «за самостийную владу», «за

Антанту», «за Советы», «за землю», «за свободу», «за единую, неделимую Русь». Умирали, как гибнут от страшного мора. И жестокая злоба, и жажда свободы, и буйные страсти — переплелись. В одном лишь углу не пылало, не тлело, людей ничто не манило: ни страстные речи, ни кровью омытые знамена, ни пылкие идеи, — они охраняли завод. В вагоне-теплушке решался вопрос: какой власти позволить в город войти, с какой воевать, уступить, обмануть, уничтожить? Обсуждали спокойно, без жара, без веры, — не все ли равно, не грабили б только завод. Загрохочет ночью набат — и вооруженные люди хлынут на станцию, к штабу-теплушке. Каждый знает заранее свой пост: бойцы и врачи, артиллеристы и сестры, — привычное дело, не впервые им воевать. На постоялых дворах пекут и варят картофель, подводами грузят на фронт. Все избраны и назначены раз навсегда, даже мирная делегация неизменно одна: с белым флагом на белом древке…

В тяжелую пору отзывались деревни, мужики шли на помощь родне — братьям, дядям и зятьям, шли против общего врага.

— Товарищ Гордеев, — сказал я ему, — Деникин подходит, он занял Полтаву, от Кременчуга рукой к нам подать. Давайте рядом драться. Народ у вас боевой, дело не новое, за два года привыкли. Навербуйте красноармейцев. Вы ищете опору, твердую власть, — нет власти сильнее советской. Встанем общими усилиями врагу на пути, не дадим ему двинуться дальше. Рабочему полку не страшна белая дивизия. Внезапно обрушиться, задержать, а там подоспеет подмога. Завидная честь — стать барьером для врагов революции!

Крестный сразу замолк и отвернулся. Гордеев промолчал и ничего не ответил. Перед самым уходом он обещал потолковать со своими, послушать, что скажут они.

О дочери отец ничего не сказал, даже имени ее не упомянул.

С уходом отца Маша тотчас пришла ко мне. Она сунула неспокойные руки за пояс и больно прикусила губу.

— Не верьте ему, товарищ командир! Его дело — обмануть вас, завод отстоять, на революцию ему наплевать. Он ради Эльворти сына родного убил.

Был у Гордеева сын. Он мечтал кончить школу и стать инженером. Заберется, бывало, в укромное местечко и за книжкой проведет весь день. Отец со школой его разлучил — ему ученый не нужен, надо завод укреплять своими людьми. Вдвоем работа пойдет веселей, лет через десять у них всего будет вдоволь — и акций, и денег, хватит детям и внукам. Пришлось сыну встать за станок. С февральской революцией Гордеев стал «командиром». Собрал рабочих и селян из ближайших поселков, роздал им

оружие и стал штабом-теплушкой командовать. Суровый отец отправил сына с одним из отрядов на фронт. Тот было отказался, задумал бежать! Отец его отхлестал и послал под надзором. Парень поплакал, ушел и не вернулся…

Мне померещилась победа, захотелось верить, что судьба революции в моих руках. Именно тут, у скрещения путей, мы дадим белым бой. И наступать здесь раздолье, и отступать есть куда — рядом черный лес. Полк партизан стоит корпуса регулярного войска. Медлить нельзя, враг у ворот, все зависит теперь от Гордеева. Я привязался к нему, следовал за ним по пятам, просил, убеждал и доказывал. На пылкие речи Гордеев отвечал с холодком:

— Люди говорят, что красные разнесут все до гайки. Им бы только грабить, завод им ни к чему.

Неправда! Кого же красные грабят? Пусть приведут пример.

— Завод отберете, рабочих поденкой задавите, — стоял Гордеев на своем.

— Ложь! Клевета! Фабрики — рабочим, земля — крестьянам, — пусть заглянет в декрет.

Я упорно шел к цели. Лешка видел нас в Казенном саду, где мы с Гордеевым разбирали партийную программу. Тихон встречал у своего поста на рельсах, заросших травой. Я твердил о великих делах, о том, что полк из рабочих сильней белой армии, бывало в истории, что кучка смелых людей спасала страну от позора…

Маша осмеивала доверчивость командира и сурово обличала отца. Она знала все, что творится в штабе-теплушке, друзья передавали ей речи отца.

— Не лги командиру, — бросала она Гордееву, — вы решили остаться нейтральными, нам против белых не помогать. Ты первым на этом настаивал.

Гордеев молчал, с дочерью не спорил, взглянет ей в лицо и опустит глаза. Я не требовал от него объяснений, а ей напоминал, что не ее дело подменять собой командира.

Деникин наступал, в деревнях нарастали мятежные страсти, уезд за уездом становился «зеленым», толпы обманутых крестьян шли сражаться с коммуной. Красная Армия терпела от повстанцев, они громили обозы, нападали на части, отрезали пути отступления.

Из штаба прибыл нам приказ оставить район, отряду отойти на Киев. Я не спешил, тем временем штаб отступил, и мы остались без снабжения и связи. Тогда Маша потребовала от меня объяснения. Ей, секретарю комячейки, я обязан ответить, почему не исполнен приказ.

Кольцо восстаний становилось все туже, опасность росла, а я упорно стоял на своем. Ни восстания крестьян, ни белая армия меня не пугали — у нас будет полк, какого нет в мире, для войска уже заготовлены квартиры. У Гордеева раздобыли снаряжение, фураж. Я наставил на карте флажки и стал строить победные планы. Одно время решил было дать бой вблизи леса, потом передумал: полк прорвется сквозь фронт и белый тыл и вынудит врага к отступлению. Наша разведка так и не выяснила силы и расположение врага. Красноармейцы вернулись ни с чем — дозоры повстанцев их едва не схватили.

Я сам попытался кое-что разузнать, исчезал из отряда на несколько дней.

Я собрал наконец свой отряд и изложил свои планы: у нас будет полк, своя артиллерия, эскадрон кавалерии, пулеметы, обоз. Подробно изложил им план наступления, тактику и стратегию борьбы. План сражения у леса, прорыв белого фронта сменились новым расчетом: вызвать врага в поле и дать ему бой. Усталый победитель почует свежие силы и сразу отхлынет назад. Тогда окопаться и ждать подкрепления. Откуда его ждать, кто придет к нам на помощь — этого мы не касались…

Полководцу шел двадцать третий год — пора, когда победы достаются без излишнего раздумья и расчетов.

Маша плюнула и растерла плевок.

— Зря ты нас убеждаешь, — возразила она, — мы Гордееву не поверим (она не называла его, отцом). Наслышались, знаем, довольно. Полка у нас не будет, верьте слову, не будет. Никому мы теперь не нужны, никто нам в беде не поможет. Вчера Луневка восстала, на Шестаковке неладно. Нас всех перебьют до последнего.

Тихон ничего не сказал, — не то не решил, не то вовсе не думал. Маша подступила к нему:

— Чего молчишь? Язык проглотил? Отвечай, если спрашивают.

Она накрутила на палец свою курчавую прядь и резко ее потянула. Тихон снял шапку и бросил на скамейку.

— Не пойму, что и сказать, выходит у нас вроде затмения… — со вздохом произнес он. — Полагается младшему старшего слушать, мы — командира, он — своего, тот — высших и высших, до самого Ленина. А вот ежели командир из подчинения выходит, как быть? Приказ — отступать, а сидим пятые сутки на месте. Что делать, самим уходить? Или приказа командира дожидаться?

* * *

Гордеев явился в рабочем костюме, прямо с завода. Маша спокойно встречает отца, они садятся и мирно толкуют. Лешка глаз с них не сводит, чего-то ждет. Тихон стоит, обернувшись к стене, я деловито рисую фигурки на листке бумаги и мысленно утешаю себя: у нас общее дело — защитить завод, дать стране диктатуру рабочих. Не все в отряде нас понимают. Говорят: «Вам завод глаза застилает, за вашей спиной два поселка да город, а за нашей — страна, миллионы людей… Гордеев не друг нам, а враг». «Война не пирушка, — думается мне, — приходится иной раз и врагом дорожить, бок о бок с ним драться. Революция — великое дело, ничто не зазорно ради нее…»

Мирный шепот отца витает, колышется, как дымок над родительским кровом. Они снова друзья — непокорная дочь и суровый отец.

Вдруг Маша встает и язвительно громко смеется:

— Не жалей ты меня. Я без тебя обойдусь…

Гордеев чуть шепчет, она кричит, задыхается:

— Командиру говоришь, что ты наш друг, наш помощник, а секретаря комячейки к дезертирству склоняешь! Ты себя пожалей: хозяину душу запродал, в иго пошел ни за грош…

Отец тоже встает; бледный, смущенный, он опирается грузно на палку. Скорбь в каждом движении, в глазах под заросшими бровями, в томительно сжатых губах. Какая пора! Как тяжко, как трудно ладить с детьми!

— Одна ты у меня, — стонет он, — никого во всем доме. Не с кем душу отвести, словом подчас обменяться…

Глаза его опущены, он не смеет поднять их, ему горько и больно.

— Не надо было Сашку гнать на погибель. Для Эльворти — так сына не жаль, а для революции — так тоска одолела. «Не с кем словом обменяться», «душу отвести»!

Она плюет и ногой растирает плевок, сует руки в карманы и крупно шагает взад и вперед.

— Обидели большевики — мастера убрали. Притеснили вас коммунисты! Плевать мне на вас, буржуйская челядь!

— Не надо, Маша, плевать, — просит ее Гордеев, — мы все пропадем без завода. Токарей не хватает, слесаря разбрелись.

Она неправа, так не привлекают людей к себе.

— Никто твоему слову не верит, — тычет она ему пальцем в лицо. — Зачем командира подводишь? Обещаешь помочь, а обманешь, как обманывал бандитов. Помнишь, как поступили с отрядом Маруськи? Посулили ей помочь, а потом всех перебили… Запахло восстанием, нам некуда податься, и ты тянешь дочку домой… В нору, да поглубже…

Ему не дают возразить красноармейцы, его обступили, и, не будь здесь командира, круто бы с ним обошлись.

Маша сурово берет отца за руку и указывает пальцем на дверь:

— Счастливой дороги! Нечего тут без дела болтаться!

Я увожу к себе Гордеева, а мы молча стоим друг перед другом. О чем говорить? Каждый знает мысли другого. Угрозы бойцов тяжелой обидой легли между нами.

— Они вам не верят, товарищ Гордеев. Всюду обман, друга от врага не отличишь. Где ваши люди? Что слышно с вербовкой? Нельзя так тянуть! Красноармейцы перестанут мне подчиняться. Восстание растет, каждый день поднимаются новые села. Если помощь не подоспеет, все тут ляжем костьми.

Гордеев грудью ложится на палку, сжатые губы прикушены, мрачная тень легла на лицо.

— Людей у нас много, у них и орудия, обозы и ружья. Все припрятано в крестьянских дворах. Деревни Лелековка и Компанеевка не похуже других крепостей. Только бы нам мужиков уломать. Не верят, упорствуют. Говорят: коммунисты землю отберут, людей загонят в коммуну. Без крестьян и рабочие не тронутся с места. Два года шли рядом, врозь не годится. Вдруг пойдут мужики против красных, как быть заводским? Против брата стрелять? Против зятя идти?

— Как хотят пусть решают, — напутствую я его, — но горе тем, кто против нас восстанет. Мы не банда, мы — советская власть! Вернемся — со всеми разочтемся, по головке врагов не погладим!

Гордеев уходит, и я спешу к красноармейцам — вновь объяснить им и серьезность момента, и трудность борьбы, и важность поддержки рабочих. Отряд должен верить своему командиру, не слушать наветов, хотя бы и политрука — секретаря комячейки. С ней я объяснюсь в первую очередь. Политрук должен быть примером для других, а она панику разводит в отряде. И без нее все трудней поддерживать дух у людей, одни недовольны, что отряд оторвался от штаба, другим не по душе, что Гордеев сюда зачастил.

В караульном помещении я Машу не застаю, — говорят, она у себя на квартире. Я пересекаю станционную линию, обхожу стороной вокзал и останавливаюсь перед настежь раскрытыми дверьми большого каменного дома. В длинном коридоре пустынно и тихо. Где-то сочится придушенный шепот. Маша — на кухне, она тревожно шагает взад и вперед, курит, свистит, накручивая на палец вьющуюся прядь. В ведре на плите вскипает вода. Политрук ходит, стучит сапогами, шагает, как часовой.

Растерянная и бледная, в кухню входит хозяйка, она шепчет жилице: «Все будет по-вашему, не беспокойтесь!»

— Гады! — жалуется девушка. — Заслышали о Деникине и распустились! Единственную мебель — мою кровать — унесли.

У нее верное средство против упрямства буржуев. Она ставит ведро воды кипятить, а сама принимается шагать взад и вперед. Каждый шаг ее рождает тревогу в сердце хозяйки, каждый взгляд — беспокойство и страх. Ужасная девушка в красноармейском костюме, мастерица сквернословить, топать ногами и расстреливать портреты хозяев на стене, — кто знает, на что еще отважится!

Маша садится на стул и, подражая до мелочи Тихону, высоко вскидывает ногу на ногу…

— Нам надо, Маша, обсудить серьезное дело, — говорю я и опускаюсь на табурет.

Я сижу перед ней, сунув руки в карманы, сердитый и строгий. Пока она молчит, мне приходит в голову, что независимый вид мне теперь не к лицу, лучше руки сложить на колени. Мы ведь с Машей друзья — надо как-нибудь теплее и проще. Я даю рукам волю и тут же сую их в карман.

— Отвечай мне прямо и честно, — дружелюбно оглядывая ее крупную фигуру, полное лицо и милый вздернутый нос, говорю я, — какую обязанность несет политрук в отряде?

Она закидывает голову на спинку стула и делает вид, что задумалась.

Я терпеливо повторяю вопрос:

— Отвечай же, я жду.

— Дай раньше подумать, — не спешит она с ответом. — Политрук — товарищ комиссара, первым делом — боец-большевик. Он ведет агитацию среди красноармейцев в бою и в тылу.

— Всё?

— Всё.

— Неверно. Политрук первым делом — помощник комиссара, а где начальник-большевик, поддерживает его авторитет в глазах красноармейцев…

Она делает вид, что согласна, и тут же спрашивает:

— А если командир свой авторитет потерял, что остается делать политруку?

Мне не до шуток, я пришел не шутить.

— При всех обстоятельствах обязан поддерживать, а ты ссоришь меня с красноармейцами!

Она берет с окна хлеб, отламывает кусок и набивает им рот. Поддерживать авторитет она готова, а поднимать его — ни за что.

— Поговорим, Маша, о Гордееве, — предлагаю я. — Тебе известно, что я немало над ним потрудился… При мысли, что революции угрожает опасность, я ни перед чем не остановлюсь. Пусть Гордеев наш враг. Мне до этого дела мало, он обещает нас поддержать! Кто нам позволит отказаться от помощи? Революция, Маша, сурова и требовательна. Подай ей всего и помногу — и геройства, и бескорыстия, — она щадит нежные чувства и растит величайших людей. Суровая штука, но стоит, ей-богу! Честное слово, она стоит!

Маша делает сразу два дела: она вычищает засевшую под ногтями грязь и с пальца стирает табачный нагар.

— Наши свежие силы дадут бодрость бойцам, передышку измученным людям. Мы двинем наш полк с трех сторон. Одну колонну обходом, на север…

Новый тактический план! Я вчера лишь его разработал. Маша слушать его не хочет, — довольно этих планов, откуда они только берутся?

— Странный ты человек, командир, не пойму я тебя. Говоришь очень складно, слушать приятно. Ударишься в планы — хоть со света беги. Словно вне себя человек…

За поясом у меня ручная граната — круглая лимонка со стальной чешуей — и финский нож в деревянных ножнах. Возбужденные руки лежат на гранате, теребят финский нож, шнур нагана, бьются, тоскуют — места себе не найдут.

Ладно, отлично, согласен без планов. Дело не в них…

— Это будет крепкая схватка, я предвижу ее. Нас мало — полк храбрецов против полчища войск. Бой жестокий и страшный до последнего вздоха. Пусть победа на их стороне, но мы покажем себя. Пусть видят враги, как большевики умирают. Мы сразим их бесстрашием, твердой верой в торжество революции. Суметь умереть — большое искусство, не правда ли, Маша? Ты должна объяснить это красноармейцам. Один у нас путь — лечь врагу на пути, сломить его дух нашей смертью. И чем больше нас будет, чем сильнее удар, тем значительней наша победа. Вот и весь расчет. Люди Гордеева — наши друзья, мы должны их принять как своих, ни обид, ни намеков, просто, сердечно, по-братски…

Упрямая девушка, так ее и проймешь. Маша вытерла вспотевшее лицо, вытерла руки и до боли зажала платок в руке.

— А как бойцам объяснить, почему мы застряли, не ушли по приказу штабарма? — спрашивает она.

— Опять тот же вопрос. Как я мог отступить? Куда и зачем? Пятиться за штабом подальше от фронта? Армия разбита — и в такую минуту бежать? Спасать свою шкуру, не ввязаться в борьбу?

Пальцы ее хрустнули, возбужденные руки обрушились на

них. Это не злоба, нет, нет. Надо ж разрядить напряжение мышцы.

— Поверь моему опыту, — уговаривает она меня, — я старше тебя на два года…. Не верю я Гордееву, не верю и кулаку. Я встретила их намедни в поселке, пошли крутить, лебезить так и этак. Плюнула я на них и смоталась. Ну их к чертовой матери! Почему ты с рабочими не потолкуешь? Мы разве чужие? Зачем нам посредник?

Вопрос за вопросом, сколько их еще впереди? Сидит на стуле, крутит свой чуб и допрашивает меня, как преступника. Я снова беру себя в руки и сдержанно говорю:

— Что я значу для них? Они Гордеева знают всю жизнь. Нам нет дела до его расчетов, мы идем на союз именем самой революции. Я с чертом сдружился бы ради нее. Рабочие нас не оставят. Им советская власть ближе всякой другой.

— Эти гады не помогут, — не унимается она, — Эльворти их бог. Я сама к ним схожу, пусть покажут людей. Где у них этот полк.

Никто ее не просит, без нее обойдутся.

— В таком случае я…

— Довольно! — обрываю я ее. — Приказ исполнить! Объяснить красноармейцам. Призвать их к спокойствию! Панику не разводить!

Она бледнеет и шепчет сквозь зубы:

— Слушаюсь, товарищ командир.

Я хочу уже уйти, но она вдруг хватает меня за плечо. В лице ее ужас и злоба. Рука моя ложится на ручку нагана.

— Что тебе надо!

Голос строгий, сухой, приказано — надо исполнить. Маша молчит, стиснутые зубы подавляют тревогу.

— У меня наболело, товарищ командир, нас обманули, — кому, как не мне, это знать. Жаль не себя, за других болит сердце, ни за что погибает народ. Отец ради меня эту бучу затеял. Ходит за мной день и ночь, домой меня тянет, просит вернуться. Чтоб время оттянуть, он с отрядом связался и полк посулил. Он только вчера на собрании сказал: «У каждого свое, одни воюют, ломают, другие строят, добро берегут. Властей будет тысяча, за всех голову класть — жизни не хватит».

— Ты слышала это? — недоверчиво оглядываю я ее.

Кто ей поверит, она просто не любит отца.

— Мне друзья говорили…

— Так бы и сказала… Слухами и сплетнями дышим, панику сеем, подменяем собой командира. Я свое дело знаю, а ты не своим занялась.

Она вдруг разражается криком, машет руками, бьет ногами,

как взбешенный конь:

— Пусть меня расстреляют за самовольную отлучку, я бегу в Компанеевку, — они там. Я сама все разнюхаю, своими глазами увижу. И Гордеева и крестного на месте убью!

— Я тебя расстреляю, — кричу я ей вслед, — берегись!

Я был уверен, что знаю, где друг и где враг. И город и завод — моя родина. Я тут вырос и запомнил хозяина Эльворти, знал Гордеева раньше. Напрасно Маша так горячилась. Все до мелочей было обдумано…

В семидесятые годы прошлого века Роберт Эльворти приехал в Россию представителем фирмы земледельческих машин. Он снял небольшую контору, поставил в сарае два горна и нанял двух кузнецов. В мастерской занимались ремонтом и ковали попутно плужки. Рядом с горном появились вагранка и литейщиков пять человек. Раз в неделю — по средам — шла плавка, вызывали извозчиков с Биржи и впрягали лошадей в привод. В пору русско-турецкой кампании англичанин закупил привокзальные постройки и на их место поставил завод. Рабочих стало пятьдесят человек, лошадей заменили локомобилем. Работали с шести до семи, взрослым платили шесть гривен, мальчикам — двадцать копеек, а туркам-военнопленным — три копейки в день. Перемены шли чаще и чаще: локомобиль отступил перед силовой станцией, мастерские — перед цехами, множились корпуса и машины. Эльворти вступил в борьбу с метрополией, оттеснил конкурентов, своих и чужих, число рабочих достигло трех тысяч, продукция — восьми миллионов рублей. Возникли отделения на Дону, на Кубани, на Кавказе, в Сибири, на Волге.

Порядки на заводе сложились особые. Людей принимали по знакомству, своих. Приезжих, без семьи и оседлости, без двора и хозяйства, на работу не ставили. Учеников обучали ремеслу и благонравию. На свете, внушали им, семь смертных грехов: высокомерие, скупость, гнев и распутство, чревоугодие, безверие и леность. Им противостоят семь добродетелей: умеренность, храбрость, справедливость и мудрость, вера, надежда и любовь. Еще им внушали: на завод поступать — не в лапту играть, все одно что женился — до конца своих дней…

Хозяин ценил самородков, рабочих выдвигал мастерами, модельщиков — конструкторами и ставил заведовать цехами. Рабочие боялись своих мастеров — покровителей и благодетелей, одаряли, кто чем был богат: деньгами, подарками, живностью. Носили новички в надежде на милость, старики — пред надбавкой или перемещением. Мастерам и любовь и почет: они посаженые отцы, крестные, гости желанные, и случалось, что

крестники больше походили на крестных, чем на законных отцов…

В день святого Николая, покровителя завода, хозяин и рабочие собирались за городом, гуляли и угощались, невзирая на чины, запросто, как равный с равными. Торжество начиналось с утра. На заводе служили молебен и святили цехи, Эльворти обращался к собравшимся с речью и заканчивал ее словами: «Пусть между нами сияет любовь». Ему отвечали мастера и конторщики, хор и оркестр заводского кружка. Затем раздавали награды деньгами, каждому по заслугам, в закрытом конверте.

Заботы хозяина росли с каждым годом. Он то изучал бюджеты рабочих, выдавал женам книжки для учета расходов, то вызывал городских акушерок, договаривался о дежурствах на рабочих окраинах; то выписывал из Англии цветочные луковицы и конкурс объявлял на лучший цветок… В заботах на случай болезни и несчастий он придумал спасительный выход: пять копеек с заработанного рубля оставались в конторе и приходили на помощь в нужде. Хозяин ссудил всех деньгами и кредитом, звал строить дома, обзаводиться хозяйством, огородом и садом. Так выросла Ново-Николаевка.

Супруга хозяина жила своими заботами: сама шила платья, раздавала их бедным, навещала больных, содержала приют для бездомных ребят. В сочельник на заводе для детей убирали елку. Дети рабочих плясали и пели, ели сласти и уносили игрушки домой…

По почину хозяина и его доброй воле завод стал собственностью акционеров. Часть акций ссудили рабочим с рассрочкой на длительный срок. Росли долги, обязательства, крепла сила хозяйства, поселок срастался с заводом…

К Эльворти однажды явился Гордеев — конструктор, бывший модельщик, талант, самородок.

— Я пришел вам сообщить, что ухожу с завода, — сухо и решительно заявил он.

— Хорошо, превосходно, — ответил хозяин, хотя хорошего в этом не видел. — Куда вы уходите? Оставляете город?

— Я уезжаю в Киев.

— Почему именно в Киев?

— Мне предлагают там более высокий заработок.

— И вы бросите свой дом, семью и знакомых, поедете бог весть куда?

Эльворти забыл, что сам он из Англии и в России живет лишь зимой. От семьи и друзей его отделяет расстояние более далекое, чем заводской поселок от Киева.

— Подумали вы, что вас ждет? Мне жаль вас, Гордеев.

Роберт Эльворти не в шутку испугался. Уж очень Гордеев нравился ему.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил конструктор.

— Я думаю о вашей семье. Они продержат вас в Киеве некоторое время, выведают секреты нашего дела и уволят.

— Неужели прогонят? — поверил Гордеев. — Спасибо, я не поеду туда.

— И прекрасно, мой друг. Я решил вас назначить старшим конструктором. Вы — не хуже иного инженера.

Три знамени было у Эльворти: одним был он сам — бедный конструктор, трудом и усердием достигший богатства; другим — Мышаков, бывший плотник, управляющий заводом; и старший конструктор из рабочих — Гордеев.

В тысяча девятьсот пятом году хозяин собрал рабочих, прочитал им манифест и поздравил с милостью царской. К заводу пришли демонстранты из города с «Марсельезой» и долгим «ура». Их встретили рычанием, злобными воплями: «Долой!», «Бей крамольную сволочь!» Красное знамя истерзали в лоскутья, знаменосца убили. На заводском дворе лилась кровь и творилась расправа. Так мстили врагам акционерного общества, посягателям на строй, на милость хозяина, на милость царя. С пением «Боже, царя храни» эльвортовцы ринулись в город, спасали Россию от крамолы.

В телеграмме царю питомцы Эльворти писали:

> «Молим тебя, государь, как помазанника божия и верного сына православной церкви, не слушаться думского большинства, не губить Россию. Тебя хотят окружить революционерами, вместо мира и порядка извести страну. Амнистии не давай и не удаляй испытанных слуг. Смертную казнь сохрани, революционеры сами применяют ее к верным сынам нашей родины».

Так вырастил Эльворти себе верных слуг.

Я все это знал, напрасно Маша так горячилась. Нас окружали враждебные силы, страшная, гибельная рать, и я вздумал ее взнуздать, сделать пособником революции. На карте стояла наша жизнь, но что она значит, когда армия гибнет и в опасности советская власть…

Я спокойно обошел вокзал и не спеша отправился к штабу отряда. В караульном помещении никого не было, один дневальный стоял у закрытых ворот.

Гаснул солнечный день, в тревоге отшумели еще одни сутки. Враг приблизился на двадцать верст, труднее стало жить со

своими — в отряде нет прежнего согласия.

Неуверенным шагом с порога спускается Тихон. Он ставит в угол винтовку и безмолвно садится на стул. Не узнаешь его: шаги робкие, тихие, веки опущены, крепкое тело застыло. Прорвется вздох — он вздрогнет и снова замрет. Не болен ли он? Не случилось ли дома несчастье?

— Что с тобой, Тихон? — спрашиваю его.

Он открывает глаза — дает выход тревоге, гладит бороду — седеющие нити.

— Со мной ничего, — отвечает он. Голос глухой, речь неровная, точно спросонья.

— А вздыхаешь почему?

Тихон разводит руками и молчит.

— Не без того, когда и вздохнешь… Грудь заложило от простуды… Старость подходит, пятый десяток отстучал…

Вместо улыбки дрожание губ и глубокий, болезненный вздох.

Он что-то скрывает, не хочет сознаться. Неужели и Тихон против меня? От этой мысли мне становится не по себе.

— Как ты думаешь, Тихон, подведет нас Гордеев?

Снова Тихон разводит руками, опять морщит лоб:

— Гордеев? Какой? Не должен как будто. Свой человек, заводской.

Веки снова сомкнулись, крепкое тело застыло. Ему все равно, пусть будет что будет, он желает лишь одного — покоя.

Проходит минута, другая, Тихон вдруг открывает глаза. В них все та же тоска, глубокая, тайная.

— Обманет не обманет, все равно тут конец. Не выбраться нам отсюда. Это нам в наказание. Штабу армии видней, он зря не прикажет, а мы приказа не исполнили, остались.

Снова пауза и вздох, долгое, скорбное молчание.

— В деревнях восстают, — звучит его грустное признание, — многие рабочие вон куда смотрят, хозяйское добро стерегут. Деникина ждут не дождутся. Протрезвится народ, генералы научат, дай срок. Жаль, нас тогда не будет…

Почему не будет? Какое неверие! Надо его разубедить.

— Рано, Тихон, нас хоронить… Повоюем еще…

— Затянули вы нас, командир, видно, тут пропадать… Жаль, время теперь не такое. Жить бы да воевать.

Ну и причуда! С чего это вдруг? У нас будет полк, отборное войско. Мы повоюем еще. Надо взять себя в руки.

— Подвел бы чужой, а то свой командир, — вслух горюет Тихон.

Он умолкает, гладит бороду, усы, ему не страшно умирать, жаль дело бросать на полдороге.

Странный день, точно все сговорились. Одним мерещатся измены, другим видится смерть. Эх, люди, вояки! Ничего, все пройдет, устоится. С Тихоном что-то случилось, уж не захворал ли он?

Ночь приходит внезапно — долгая, черная ночь. И в ночи, как и днем, караулы сменяются, одни ложатся, другие встают. Я сплю крепким сном, вдыхаю покой и выдыхаю тревогу. Мне надо быть сильным, здоровым и трезвым за всех…

Снова, как в тот день, когда махновские банды изрубили отряд в Малой Виске, меня будит стук приклада о дверь. Маша, бледная, входит с кровавой повязкой на лбу. Она садится и чуть слышно стонет:

— В городе тревожно, из Компанеевки вышли вооруженные отряды. Крестный руководит восстанием. К вечеру ждут белых, разведку видали в пятнадцати верстах. Ты, кажется, обещал меня расстрелять? Кончай, я пришла за этим.

Она хватается за голову, скрежещет зубами и стонет.

Я вижу запекшиеся губы, струйки пота и крови, — они змейками сползают со лба.

И еще вижу разорванный ворот рубашки и солнцем сожженную грудь.

Я встаю, не спеша одеваюсь, — какой смысл теперь торопиться. Можно разгладить портянки, вдоль и вкось растянуть их, сапоги хорошенько почистить, кстати, и вакса тут, под рукой.

— Что случилось, они тебя ранили? — спокойно спрашиваю я.

Она все еще сидит, обхватив голову руками, раскачивается, как маятник, и стонет:

— Они заперли меня. Гордеев приказал им меня залучить. Схватили и всю ночь под замком держали. Я прыгнула с чердака и бежала. Голову разбила, руки ободрала до крови.

— И рабочие примкнули к восстанию? — с прорвавшейся тревогой спрашиваю я.

Маша молчит, она стирает кровавую змейку со лба.

— Заводские не пошли… Винтовок повстанцам не дали…

— Я был прав, Гордеев меня не обманывал.

Она срывает повязку и возбужденно кричит:

— Твой Гордеев подлец! Рабочие к нам чуть не примкнули. Он, змея, нашептал им: «Куда вы пойдете, красным завтра отсюда уходить. От белых покоя не будет…» «Я был прав, — издевается она, — Гордеев меня не обманывал!» Штаб приказал отступить, почему ты остался? Как ты смел не исполнить приказа? Полк тебе снился! Победа! Ура! Что ж ты молчишь? Я тебя оскорбила,

защищай дисциплину! Стреляй!

Слышны дальние выстрелы и отрывистый стук пулемета.

Я затягиваю ремень на гимнастерке и надеваю картуз набекрень. Я иду по поселку размеренным шагом. Ночью был дождь, всюду лужи и грязь. Маша рядом ступает, широко ставит ноги и машет кровавой повязкой. Пулеметная дробь все ближе и ближе, кажется — стреляют из окон домов.

Красноармейцы в сборе, они ждут командира. Я набиваю подсумок патронами, беру в руку винтовку и спокойно командую:

— Вперед!

Не глядя на лужи и грязь под ногами, я бегу впереди. Тихон тянет за собой пулемет. Маша спешит, поспевает за Лешкой. Цепь рассыпается за составом товарного поезда. Нас заметили вооруженные люди с алыми значками на груди. Это коммунисты завода бегут на помощь отряду. Из-за вокзальных построек валят толпы крестьян с соломенной повязкой на правой руке. Наступают по флангам без команды, ватагой.

Сквозь треск пулеметов слышны крики: «Ура!» Ружейная стрельба идет залпами, ближе и ближе. На паровозе у станции взвивается знамя царя. В единственном вагоне три пассажира, три делегата с серебряным блюдом, хлебом и солью Деникину. Из города идут вооруженные толпы. И, точно все это только театральный спектакль, без крови и смерти, я туже затягиваю ремень и сдвигаю картуз набекрень.

— Пли! По врагу! — бодро звучит мой голос.

Люди в соломенных повязках падают замертво, их сменяют другие.

— По правому и левому флангу, крой!

Рядом со мной Тихон с пулеметной лентой на груди, слева Лешка стреляет с колена. Одна Маша носится назад и вперед, стоит на виду и стреляет:

— Чепелев, сволочь! Ляшенко, подлец! Погибай, собачье отродье!

— Не выскакивай, Маша, — кричу я ей, — становись за вагон!

Она бешено скачет, бранится, стреляет.

— Ванька Чечора, бандитское отребье! Вот тебе, получай!

— Режь, Лешка, по центру, — командую я, — не давай накопляться. Скорее же, ну!

Лешка, мертвый, сидит, прислонившись к вагону, пальцы замерли на пулемете. Во рту недожеванный хлеб, на усах чуть колышутся крошки.

Оглушительный треск, пулеметная дробь крошит, разбивает людскую стену. Враг бежит, рассыпается. Маша все еще стоит на виду, обзывает бранными словами прежних друзей, бьет по ним.

— Эй, Степка, браток, белогвардейский холуй! Помяни меня в царствии божьем!

Вчерашний дневальный разводит руками и валится на пулемет.

— Оттащите его, несите ленты скорей!

Снова треск пулемета, редеют вражьи ряды, новые толпы закрывают просветы.

— Товарищ командир! — кричит Маша. — Вон крестный и Гордеев, крой в них пулеметом!

На самом виду, под ружейным огнем, стоит знакомая фигура, чуть сгорбленная, с палкой в руке. Он идет на огонь, тоскливо смотрит вперед, ищет кого-то глазами. Ему кричат: «Берегись!», знаками указывают на опасность. Кто-то пытается его оттащить и падает мертвым. Крестный суетится у товарного склада, посылает людей, рвется на помощь Гордееву.

— Товарищ командир, ты щадишь врага? — чуть не плачет Маша. Она взводит курок, наставляет винтовку и медленно вдруг оседает…

— Эй, Вася, где ты! Живей! — зову я пулеметчика, закладывая в винтовку последний патрон.

Вася споткнулся, запутался в лентах, лежит неподвижно.

— Прощай, командир, — шепчет Маша.

Гордеева увели. Крестный суетится у товарного склада, левый фланг продвигается вперед.

Я выпускаю по крестному последний заряд.

— Я покончил с ним, Маша, ты слышишь, покончил…

Ее глаза чуть открыты, на губах замирает улыбка.

Пора отступать, силы тают. Еще один взгляд на родных мертвецов — и в путь. Кашевар, бледный, лежит, распростертый. Ветер треплет широкую бороду, гладит седеющие нити. Лешка руку прижал к груди, из простреленного сердца струйкой все еще сочится кровь. Суровые лица, недобрые, они не простили врагу, не простили и своему командиру. Одна Маша — с улыбкой, спокойная, точно во сне. Кто знает, чему она улыбалась? Весть ли командира обрадовала ее или весть запоздала, улыбка и смерть осенили ее раньше?..

Отряд отходит, рассыпается, кто застрянет в ближайшей деревне, кто последует в изгнание, жить надеждой на лучшие времена. Со мной рядом Тихон. Он медленно шагает, глаза задумчиво устремлены в даль, спина, словно под тяжестью пережитого, согнулась. Мы долго идем вдоль линии железной дороги, движемся молча, временами касаясь друг друга плечом.

Тихон вдруг останавливается, медленно снимает винтовку с плеча, устремляет на меня недобрый взгляд и говорит:

— Надо бы тебя, командир, расстрелять… К стенке поставить и расстрелять. Никто меня за это не осудит… Вот только рука не поднимается, роднее ты мне брата-белогвардейца, роднее Гордеева, хоть и рабочий он… Как-никак своя кровь, в пекле революции родились и в ней, верно, сгинем… Разойдемся, командир, пока бес меня не попутал…

Не подав руки и не взглянув на меня, словно опасаясь передумать, Тихон решительно сворачивает в сторону.

В те трудные дни незрелой молодости я не оценил великодушия Тихона. Лишь много лет спустя я пришел к заключению, что мой друг согрешил против собственной совести и революции, не учинив справедливого суда.

10

Красная Армия отступала, эшелоны с губкомами, земельными отделами и исполкомами уходили из Киева. Дорогами и тропами шли разбитые отряды, остатки обозов, отдельные бойцы партизанских частей. Они ручьями вливались в отходящую армию, уходили потоками на север. Их преследовал топот казацких коней и несмолкаемый рев канонады. Город задыхался от обозов и войск. Нельзя было держать их, некуда и отправлять. Штаб Двенадцатой армии раздавал назначения в застрявшие части, расположенные где-то на запасных путях Святошино, Киев-товарная. Командиры, комиссары, бойцы обивали пороги штаба армии, требовали направлений на фронт. Куда отправлять? Пути забиты, отрезаны. Покинувшие город военкоматы, парткомы и штабы охраны оставались на путях, пока орудия белых не возвестили о разгроме последних частей — военных курсантов и войск гарнизона…

Глухими тропами и кружными дорогами отступали разбитые части.

Я добрался до станции Святошино и под гул канонады отправился в Киев, в надежде добраться сквозь фронт к своим. Запомнился разрисованный агитпоезд на путях, загаженные рельсы и теплушки — временное жилище с геранью в окне. Святошинский лес стонал от пальбы, от ружейного и пулеметного треска. Я снял звезду со студенческой фуражки, наган с кобурой и закопал это в яру, под дубком.

Знамя врага развевалось над городом, пехота и кавалерия шли с пением по улицам, а я бродил по глухим закоулкам, искал пристанища у добрых людей. Город, вчера еще принадлежавший мне, стал сегодня чужим и враждебным. У окон, у дверей, у калиток собирались люди, у каждого был угол, свой дом, я один оставался без пристанища. Так пробродил я до позднего вечера, пока у Подола меня в темноте не окликнул деникинский солдат:

— Откуда? Документы!

Часовой осмотрел меня несколько раз, потрогал паспорт с печатью и двуглавым орлом и велел убираться, но вспомнил инструкцию и строго спросил:

— Русский? Еврей?

Конечно, еврей, из паспорта это видно.

Он подзывает солдата, и под наставленным сзади дулом винтовки меня сводят к Днепру. Справа, у берега, распростерты два трупа, слева, из-под навеса, слышится говор и мелькают в темноте огни папирос.

— Подозрительный задержан, — рапортует солдат, — приказано доставить.

Слава богу, он не назвал меня евреем. Впрочем, все равно конец.

На меня не обращают внимания, офицеры продолжают разговор.

Так вот они, белые! Я слышу их речи, их смех. Нас разделяют два шага, не больше. Любопытство затмило и страх и волнение. Интересно послушать, о чем они говорят.

Напрасно я ждал торжественных слов, восторгов и радостей победы, страшных рассказов о жизни и смерти, о ненависти к большевикам, — ни слова об опасностях, точно их не было вовсе. У одного конь поскользнулся и подкову сломал, другой ремень потерял, пришлось брюки супонью подвязывать, третий остался без папирос и нашел в кармане убитого портсигар с табаком…

Утомленные переходом, они говорят что попало, только бы время убить. Если б солдаты им не козыряли, не выкрикивали: «Слушаюсь!», «Господин подпоручик!», «Господин капитан!», — можно было бы забыть, что это белогвардейцы. Все обычно, спокойно, нет и трупов уже у реки.

Офицеры устали и мечтают уснуть. У кого-то семья здесь, хорошо бы ночь провести у своих. Снова шутки и смех, точно люди вернулись с каникул или после веселой попойки.

Вспомнили и обо мне. Кто-то из-под навеса спрашивает, кто я, откуда родом и как сюда попал.

Затем их интересует другое:

— Красный?

Мне приходит забавная мысль: да, «красный», вернее, почти. На прошлой неделе чуть не стал «красным». В оперном театре выступал большевистский докладчик, нельзя было ему не поверить и не согласиться с ним, но тут об ораторе стало известно такое, что речь его сразу оттолкнула меня. Вот и верь людям. Кто бы подумал… Дайте мне чистых и светлых людей — и я за ними пойду на край света. Ложной шумихой меня не возьмешь. Я не стану называть себя убежденным потому, что убеждений у меня пока еще нет, но если случай уже свел нас сегодня, почему бы офицерам не ознакомить меня с программой Деникина? Я сумею это оценить и внимательно усвоить…

Я был доволен собой. Какая непринужденность! Голос звонкий, уверенный, вдохновенная речь легка и свободна. Только бы они слушали, уж я расскажу им.

Нелегкое дело обзаводиться собственным политическим мнением, жалуюсь я, одно в программе прекрасно, другое неважно, третье совсем нетерпимо. Пусть товарищи офицеры не

посетуют, но у каждой партии свои недостатки…

— Товарищи?!

Окрик резкий, насмешливый, они мне не товарищи!

Что значит привычка! Конечно, «господа»! Это вырвалось случайно. За «господин» мне однажды влетело от «красных», я едва привык к слову «товарищ»… Не надо быть строгим, с привычкой расстаться нелегко.

Вот что значит суметь увернуться. Упоенный собственной игрой, я забыл об опасности, дайте срок, не то еще будет.

Снова «товарищ», снова ошибка.

— Убирайся, дурак, пошел вон, домой!

Задержать человека и гнать его ночью домой, где это слыхано! По пути меня схватит другой караул, третий, четвертый, — так всю ночь объясняйся. Пусть проводят или позволят здесь остаться до утра.

Рядом с навесом деревянный заборчик и домик на горке. На скамейке скучают две подружки. Всегда в эту пору к ним приходят друзья, сегодня никто не явился, я подсаживаюсь к девушкам и рассказываю им историю о веселой пирушке, где приятели меня задержали. Домой возвращаться поздно, куда приятней с ними посидеть. Я сочиняю еще одну смешную историю, другую и третью, выкладываю ворох сплетен и шуток. Девушкам весело, какой милый студент!

Давно уже за полночь, близится утро, а неутомимый рассказчик говорит и говорит. Чудесная ночь, никто не заметил, куда она делась, ни заводские гудки, ни сирены катеров не разлучили нас.

Снова день, и снова я на обезлюдевших улицах города. Сумрачно, тихо, былая столица словно замерла. Только у здания коменданта на много кварталов вьется длинная лента людей. Она растет с каждым часом, огибает подъем и нескончаемой линией уходит вдаль. Точно все население покоренного города явилось за визой на выезд. Мне некуда деться, ни пробиться через фронт, ни связаться с теми, кто в подполье поведет с белой гвардией борьбу. Подальше от города, где контрразведка рыщет по улицам, охотится за командирами и коммунистами Красной Армии.

Мне здесь нечего делать, эта очередь не для меня. Я владею искусством устраиваться проще. Плохо ли я провел господ офицеров? Или девушки узнали, с кем судьба их свела? Незабываемая ночь! Вспомнишь — и такое чувство, точно тебя ветром несет с высокой горы, несет все быстрее и быстрее, и ты паришь на расправленных крыльях… И приятно и страшно… Коменданты вокзалов — те же офицеры. Я расскажу им небылицу, изображу себя жертвой несправедливости и добьюсь своего.

Никакой подготовки, все придет, как наитие, само собой. Я верю в удачу и в свое мастерство. Беда меня обойдет, найдется бревно в бушующем море…

Я стучусь в дверь к коменданту вокзала, переступаю порог и с измученным видом опускаюсь на стул. Ворот рубашки разодран, студенческий картуз изломан, измят, на лице печать отчаяния. Взгляд мой падает на стол, и я стремительно хватаю из объедков ломтик хлеба. Спасибо. Только бы добраться до Крыма, там близкие и знакомые у меня…

История моих страданий, принятых от большевиков, достигает цели, мне дают булку, пропуск на выезд и бесплатный железнодорожный билет.

* * *

Снова я в местечке, где некогда отец мой, подмастерье Соловейчика Дувид-портной кружил девушкам головы чудесными песнями, в той самой хатенке, где отец впервые увидел свою будущую жену.

Дедушка Тодрис сидит над Талмудом, ждет от внука ответа, вдохновенных речей. Здоровье дочери Рухл дело последнее, дайте раньше взглянуть, кого взрастила она?

Позор Израиля! И это его внук! Невежда и грубиян, не смыслящий ни слова в Талмуде! Что творится на свете, Содом и Гоморра! Женщины ходят без париков, юноши не знают Талмуда!

На меня надели узду: я был вынужден вести благочестивую жизнь. Куда деться, что делать? До Красной Армии далеко, она отходит к Орлу. Белыми заняты Харьков и Курск. Ни домой, в Елисаветград, ни в Одессу не попасть.

Время идет. Конец сентября, пал и Орел. Деникин дал слово к октябрю быть в Москве. Чего еще ждать?

Ранним утром осенью под черными знаменами ворвалось в местечко «воинство» Махно.

В рессорных тачанках сидели и полулежали крепкие и сильные бойцы в шубах, макинтошах, в помещичьих бекешах, кто в шапках бараньих, кто в картузах или вовсе с черной повязкой на голове. Сзади защищали их ручные пулеметы, спереди — горячие кони. За поясом наганы, гранаты, ножи и кинжалы, сбоку сабли офицерские, за спиной карабины. И сабли и гранаты кажутся привешенными без нужды, для баловства.

Чудесное зрелище! Драться так драться: и колоть, и стрелять, и рубить — все в борьбе пригодится. Для революции ничего зазорного нет. Эта лента тачанок мертвой петлей обвивает шею

врага, громит его тыл, ломает и крошит белое войско. Где еще, как не здесь, мое место? Надо взять стихию в сильные руки. Это сделают большевики, их тут должно быть немало. В таком случае и мне быть среди них. Кто бы подумал, что наш союзник станет позже нашим врагом.

С дверей комендатуры срывают знамя царя и вывешивают мрачный символ безвластья. Страшный взрыв потрясает местечко — царский памятник осыпает осколками площадь.

Новая власть утверждается в комендатуре. Там, где прежде сидел подпоручик с галунной нашивкой на рукаве, сел комендант из махновцев. Его окружают бойцы, у каждого свои нужды, срочное дело, а он не спешит, у него дела поважней, — вычистить шубу, расчесать свой запыленный чуб. Блестящий и пышный, он широкой струей ниспадает на лоб и гривой ложится на правое ухо. С таким чубом не скоро покончишь, его надо взбить, вновь и вновь расчесать, без горячки, осторожно. На плечах коменданта лисья шуба, крытая сукном вороньего цвета, из-под вздернутых брюк виден дамский чулок и алая подвязка.

С чубом покончено, теперь его занимает пулеметная лента, надетая через плечо. Он смотрится в зеркало, сдвигает ее вправо и влево, заполняет патронами полые гнезда и снова любуется собой. Каково украшение! Каков комендант!

Они скоро узнают, кто перед ними сидит. Дайте срок, надпись будет такой, каких мало. Пока он выводит: «Комендант Тарас Б…», его осаждают расспросами: где размещаться, кому что делать? Остаются ли части здесь или дальше пойдут? Комендант не отвечает, он занят. Когда ему досаждают — стучат по столу или гаркнут над ухом, он сердито кричит: «Молчать! Ты не вовремя пришел, жди, что скажут!» Еще одно затруднение: зовут его Тарасом, фамилия Болиголова, бойцы прозвали его Бульбой. Вот и вопрос: писать «Тарас Бульба» или по документу — «Тарас Селиванович Болиголова».

Я подхожу к коменданту и говорю, что желаю стать повстанцем, служить у Махно. Тарас подозрительно оглядывает меня, чуть-чуть щурит заплывшие глазки.

— У белых служил?

— Нет, был у красных.

— Ага!..

Ему не нравится этот парень с заносчивой манерой совать руки в карманы, держаться с комендантом как с равным.

— Будем знакомы, товарищ! — не глядя на меня, говорит Тарас. — Мы с вашими белых на пару громим. Побратались, а надолго ли — время покажет.

Больше он сейчас ничего не скажет. Парень подождет, без

него дел прорва.

В комендантскую доставили пристава и безусого парня-урядника. Их схватили неподалеку, в немецкой колонии.

Тарас бросает дела и становится в позу — он будет решать их судьбу. Движением плеч поправляет лисью шубу вороньего цвета, пулеметную ленту, глубже втыкает за пояс наган и в последнюю очередь нежно касается офицерской сабли на боку. Расступись-ка, братва, дайте ему разглядеть пленных. Он гладит свой чуб, ухмыляется. Пристав-старик опускает глаза, урядник жмется к стенке.

Кто-то выкрикивает: «Батько идет!» — и комендант спешит ему навстречу.

Торопливой походкой входит Махно. Он невысокого роста, во френче, в сапогах и барашковой шапке. Бритое лицо его землистого цвета, впалые щеки в угрях, черные волосы длинными прядями спадают на плечи. Ничего грозного — повстанец, как все, только глаза необычны, глаза со слухом и чутьем, проницательно-острые. Они не меняют своего выражения, оттого так нестерпим их колющий взгляд. Вот взор их случайно ужалил мальчишку, тот вздрогнул, бледнеет от испуга. Вот заерзал другой, отвернулся стремительно третий.

Вокруг Махно жмутся сильные парни — смелая ватага его личной охраны.

— Ты, Тарас, комендантом? Расклеить приказ, чтоб были хлеб и продукты. Чтоб деньги принимали без разбору. Всякие. Бить виновных на месте, как врагов революции. И только…

Голос звучный и резкий, слова падают камнем, веско и грозно.

— Сегодня дальше поедем, — отрывисто бросает Махно, — на свое место посадишь другого. Еще что?

— К нам просится парень… из красных, — он не дает себе труда повернуть голову в мою сторону, указать на меня.

— Где он? — спрашивает батько, бросая взгляды по сторонам.

Он шарит глазами, точно сам его хочет найти. Я делаю шаг к нему и не отвожу от него глаз.

— Я здесь.

— Коммунист? — спрашивает Махно.

Он склонил голову набок и как бы рассматривает меня со стороны. Тяжелый взгляд, пытливый, не каждому под силу его вынести. Я уверенно отвечаю:

— Да, коммунист.

— Связан с ячейкой?

— Нет.

— Посмотрим, какой ты повстанец, — с недоброй усмешкой

говорит Махно. — Приглядишь за ним, Тарас, и доложишь.

— Слушаюсь, батько, — с улыбкой говорит комендант. Для тех, кто знает Тараса, эта улыбка красноречивей всяких слов. — Еще одно дело, — вспоминает комендант, — ребята поймали урядника и пристава.

Махно надвигает на лоб шапку и решительно машет рукой:

— Порубать их… И только… Митинг собрать. С вечера двинем на Гуляй-Поле, Мариуполь и дальше… Пока белые очухаются, мы к Деникину в ставку заглянем… И только…

Тарас очень доволен. Он гладит свой чуб, чудесную гриву повстанца.

Махно уходит, а с ним ватага его. Тарас снимает шубу, вынимает наган и командует пленным: «Вперед!»

— Пойдем, коммунист, — бросает он мне, — стал повстанцем — учись!

Мы уходим со двора, подальше от жилья, в высокие заросли бурьяна. Тарас снимает с себя пулеметную ленту — в таком деле не должно быть помехи — не размаху бьет саблей урядника и пристава. Они падают без звука в траву. Он неистово рубит, сечет и кромсает их. На лице его улыбка, истинная радость, он запляшет сейчас от восторга.

Я стою в стороне. Ни пристава, ни урядника мне не жаль, исступленный убийца тоже не новость. Такая же рука изрубила отряд в Малой Виске…

Меня обдает чем-то липким, я вытираю лицо, и видится мне амбар и груда изрубленных. Кто знает, не этой ли саблей там чинили расправу? Не сам ли Тарас убивал?..

По местечку расклеили первый приказ: «Батько Махно приказал, чтоб было всего — и хлеба и продуктов. За неисполнение — расстрел». «Предлагается принимать всякие деньги, без разбора: романовские, керенские, советские, украинские, думские, донские, купоны всех образцов и купюр. Нарушителей приказа расстреливать на месте».

К шести часам вечера еврейское кладбище затопило людьми, явились крестьяне из ближайших селений, кто разведал, приехал издалека. Прибывали пешком, верхами, на подводах. Все тесней становилось живым среди мертвых. Люди взбирались как можно выше — на монументы, на мраморные урны, на гранитный налой, на крылья серафимов…

Из-за облаков пыли показались тачанки: спереди и сзади телохранители, а между ними тачанка Махно.

У старой могилы, заросшей травою, из столов воздвигают трибуну. Кто-то криком сзывает народ. Я выхожу на первую линию, мое место здесь, ничто не должно ускользнуть от меня.

Шум мгновенно смолкает, никнет к земле, точно скошенный. На трибуне Махно. Он отбрасывает рукой шевелюру, пьет воду и шарит глазами вокруг. Голос резок и тверд, речь отчетливо ясна. Он говорит о городах, пророчит им гибель, запустение и смерть. Свободному народу города не нужны, горожане и рабочие — несчастье народа. Кто не враг революции, пусть уходит в леса и строит новую жизнь. Села и степи ждут горожан, пусть станут за плугом, займутся хозяйством, честным трудом. Долой ученую знать, долой тунеядцев, да здравствует мужик, кормилец народа! «И только…»

Они охмелели от его страстных речей, от решительных жестов, похвал и призывов. Он первый вознес их так высоко, первый возвысил над городскими… Тысячи рук голосуют за волю, за свободную жизнь в лесах, далеко от городов, от банков-пиявок, кровососов-ростовщиков и разбойной шайки чиновников…

Проповедник, пророк и герой, он повествует о своем чудесном походе от далекой границы сюда. Они застряли между желтым Петлюрой и белогвардейцем Деникиным. Ни вперед, ни назад не пройти. Повстанцы бросились на белых и дали им бой. Взяли в плен целиком полк и разгромили бригаду. Генералы и офицеры бежали в леса.

Дорога усеяна трупами белых. Они двинулись на юг. Завтра будут в Гуляй-Поле, а дней через семь падет Таганрог — в их руках будет ставка Деникина. Рано белые задумали его, Махно, хоронить, рано возрадовались. Они попомнят его, непобедимого батьку Махно! Он будет белогвардейцами топить паровозы, кормить ими рыбу в Днепре…

В этом я верный попутчик. У Таганрога наши пути разойдутся: один пойдет влево, за революцией, другой — под черными знаменами громить вражеские тылы… Другой возможности добраться до своих у меня нет.

11

Миновали летние дни, росистые утренники, насыщенные прохладой. В безлюдном поле — стерня, в лесах — мертвая листва под ногами. По небу стелются осенние тучи. Кони в тачанках бегут легкой рысью. Обоз растянулся на несколько верст. Позади Большой Токмак, Волноваха, Гуляй-Поле и Бердянск, повстанцы спешат к Мариуполю, к ставке Деникина, в Таганрог. На каждой тачанке под брезентом пулемет, под ковром — самогон, бочонок вина или водки. Все веселы и пьяны. На радостях затрещит пулемет, застонет гармошка, парни в шубах, макинтошах, помещичьих бекешах затянут украинскую песню.

Лихо несется махновская ватага, кони бегут как шальные. В день их сменяют по нескольку раз. Бросают одних и набирают других. Так и движется армия на мужичьих конях, от села до села, налегке, без артиллерии и штабов, без лазаретов и интендантства. На стоянках закупают продукты, прибирают, что непрочно лежит. К штабу являются девки и бабы, приносят для виду масло и творог, смеются и тихонько доносят, где белые части, сколько пехоты, много ль орудий, куда держат путь. Под видом торговок они везде побывали, им можно поверить — это жены повстанцев, зазнобы, невесты…

В соломе у них припрятаны винтовки и закопаны в огороде пулеметы. Оружие охраняли верные люди, ждали повстанцев, чтоб в руки отдать.

У батьки свои встречи с доверенными и друзьями. Уйдет вдоль по речке, к лесу, к оврагу, а то и вовсе в степь. Встретит дозорных, расспросит о здоровье больных, кто из раненых выжил. В прошлый раз тут застряло их семь или восемь. Еще дозорный расскажет, сколько золота осталось в земле, план передаст, где клад расположен, сколько денег ушло, кому и на что…

Учителя и агрономы ему донесут: чем крестьяне недовольны, что говорят меж собой, сколько проведено бесед с мужиками, сколько роздано «положений о вольных советах».

Так и едут они налегке: каждая деревня — продовольственная база, конский запас, лагерь для войск, лазарет; дома́ — штабы разведки; земля — казначейство, склад и арсенал. В армии нет штаба, ни стратегии, ни тактике никто не учился, ее заменяет мужицкая хитрость. Заставы и разведки белогвардейцев ищут повстанцев где-то в округе, а они под видом рабочих прибыли в город в товарном составе и на вокзале повели бой… В форме гетманских войск, австрийцев, немцев и красных

разъезжают по чужим тылам. В алых лентах и звездах минут Красную Армию, с красноармейским паролем уходят из Крыма сквозь фронт. Вероломство не в счет: настигнутые конницей, бросают винтовки и сдаются. Едва верховые отъехали, тем же оружием стреляют в них, хватают коней и бегут.

Так большаками, шляхами и тропами носится мужицкая рать. Властей нет, одни разбежались, другие прячутся где-то вблизи.

В занятых селах и городах махновцы оставляют своего коменданта, пять-шесть пропойц — и следуют дальше утверждать власть батьки Махно…

В черном воинстве много тачанок, и все одинаковы, одна лишь особого рода. Нет на ней пулемета, бойцы без винтовок, нет ковров и сундуков с «барахлом». Нас четверо на тачанке: я, Мишка Катков по кличке «Поэт», девушка Надя и бывший студент Август Наполеон Рокамболь, попросту Август.

Мишка самый молодой среди нас, ему двадцать лет. Он бросил завод в Большом Токмаке и ушел прошлым годом к махновцам. Во время переходов пишет стихи, рвет их в клочья и пускает по ветру. Надя слезно его просит не портить добро, стихи отдавать ей на память. Мишка твердит, что стихи никуда не годятся, бесталанный писака, он ни на что не пригоден, ему только и место в этой шайке убийц…

Август — другой человек. Он и старше и ростом всех выше. Тарас называет его каланчой. На худых, узкокостных плечах сидит небольшая головка. На бледном лице — вялые губы и сонные глаза желто-серого цвета. Он уверен в себе и неизменно спокоен. Голова его занята решением важных задач. Он мало говорит, не видит того, что творится кругом, не вспомни о нем Надя — три дня не будет есть…

У Нади одно дело — с утра до вечера петь грустные песни. На лице ее скорбь, в глазах тлеет тоска и что-то еще, чего не поймешь. Думает ли она, поет ли, смеется — печаль не сходит с лица. В грустную минуту расплетет свои косы, расчешет, сплетет и вновь их распустит. Так часами сидит она за русой завесой волос…

Мишка сунул за пазуху тетрадку стихов и мечтательно смотрит на небо.

— Скажи мне, Август, — спрашивает Поэт, — что такое любовь?

Август достает табакерку — жестянку из-под ваксы — и набивает нос табаком. Вокруг ноздрей остаются темные пятна — зеленая цветочная пыль. На серьезный вопрос он охотно ответит. Особенно теперь. Сегодня, видимо, что-то случилось, все, словно немые, молчат.

— Что такое любовь?

Немного терпения, над этим надо подумать. Проблема серьезная, он еще раз подкрепится табачком. Торопливость к добру не приведет.

Люди думали прежде, что все болезни происходят от простуды…

Август начинает издалека, такая у него манера.

Боялись сквозняков, холодного ветра, носили фуфайки, шерстяные чулки, чтоб не простудиться. Открыли ученые микробов — и что же? То, что принимали за единую болезнь, оказалось десятком разных тифов. То же и любовь, ее напрасно считают единой. Разве похожи чувства мужа и жены на любовь родителей к детям? Девичье чувство — на мужское? Любовь к родине, к другу, к собрату по классу — разные чувства. Тут одним словом не объяснишь, любовь надо анатомировать.

— Неправда, — отзывается Надя, — любовь — одна. Ее как хочешь кроши, но на всех и на все одного сердца не хватит. Какая мать детей крепко любит, обязательно к мужу холодна. Кто родину любит, на девок не взглянет…

Август думает уже о другом. Мишка улыбкой одобряет Надю. Он запомнит ее слова, сделает их темой для стихотворения.

Надя полулежит на сиденье, голова запрокинута, русые косы свисают. Она тревожно посматривает на заднюю тачанку — в ней Тарас. Лошадьми правит Яшка. С утра этой тачанки не было здесь. Тарас, пьяный и веселый, догнал их и не отстает. Опять будет над людьми потешаться. Оттого все молчат, никто рта не раскроет. Точно несчастье их обгоняет, сама смерть идет позади. Один Август спокоен, — что ему Тарас, он занят решением какой-то важной проблемы…

— Здорово, ребята! — слышится голос возницы. — Тарас Селиванович приказал быть готовыми. Сейчас подъедут к вам.

Яшка сияет, на нем алая рубаха из шелка, штаны синего сукна и счастливая улыбка до самых ушей. Края тканого пояса алыми лампасами лежат по бокам. Рыжие кудри червонными кольцами трепещут на голове.

Надя сдвигает свои тонкие брови, точно с тем, чтобы слить их суровой чертой. На пути им встает морщинка-преграда, и, не дотянувшись, замирают они.

Тачанка уже здесь, они едут рядом. Тарас в лисьей шубе сидит на матраце; лицо перекошено, губы обвисли, как в параличе. Рядом спит его друг Алексей. На нем серая шинель офицерского покроя, смушковая шапка и новые лаковые сапоги. Тарас держится ровно, не без достоинства, хоть и выпил изрядно.

— Батько приказал за тобой наблюдать, — предупреждает он

меня, — вот я и блюду. Коммунистам-собакам верить нельзя. Хочу тебе сделать первый экзамент, посмотреть на тебя, какой ты повстанец. Видал ты валюту, которую в Америке за деньги считают?

Он показывает мне засаленный доллар:

— Сколько тут денег? Тысяча, сотня или миллион?

Надя полулежит неподвижно, Миша что-то настойчиво шепчет, не то себе говорит, не то другому подсказывает.

Экзамен несложный.

— Тут, Тарас Селиванович, всего два рубля.

— Где же ты двойку увидел? Тут цифра «один», — начинает Тарас сердиться.

— Скажи — тысяча рублей, — шепчет мне Мишка, — он любит, чтоб его за богатея считали.

— Спроси ты его, Яшка, меня он не любит, — кивает вознице Тарас.

Я делаю вид, что припомнил, и спешу исправить ошибку:

— Ваша правда, Тарас Селиванович, — одна тысяча рублей.

— То-то, сучий щенок…

Яшка хочет погнать лошадей, но Тарас не дает:

— Куда прешь, собака? Сказано — скучно, дай душу отвести. Начинай, Яшка, как я тебя научил.

Тарас откидывается на спинку сиденья и с пьяной усмешкой смотрит на Надю: дескать, вот я какой.

Яшка смешно приседает и с дурашливым видом спрашивает:

— Почему, Тарас Селиванович, на этой самой тачанке нет пулемета, люди все как один без винтовки?

Нет больше веселого Яшки, на козлах — петрушка с большими глазами, с визгливым, назойливым криком. Тарас отвечает, нахохлившись, напыщенным тоном:

— Они потому без оружия, что им воевать не положено.

— Что им делать прикажете? — спрашивает Яшка.

— Меня потешать.

— Чем, Тарас Селиванович, потешать? — согнувшись в три погибели, паясничает возница.

— Каждый своим: Рокамболь — умом и ученостью, Мишка — стишками, коммунист — рассуждением, Надька — дамскими штучками. Сворачивай в поле, на ходу не выходит. Веселися, братва! Вставай, Алексей, у нас представление. Вставай же, пора начинать!

Тот храпит, не трогается с места.

Они стоят среди поля, мимо с грохотом проносятся тачанки, черная цепь бежит, извивается, последнее звено, и шум умолкает.

На потешной тачанке томительно тихо. Уж этот Тарас, вчера

лишь буянил, измывался над ними, одного из них чуть не сгубил.

Он удобней садится, кулаком подпирает пьяную голову — можно начинать.

— Вот что я спрошу тебя, Рокамболь… Чего человек всего больше должен бояться?

Август отрывается от своих размышлений и достает из кармана свою табакерку — жестянку из-под ваксы.

— Стой! — жестом останавливает его Тарас. — Ты без табаку отвечай. Принюхиваться мастер! Одним махом сыпь!

Можно и так, но спешить он не будет.

— Толково ответить, Тарас Селиванович, не голову снять, раз — и готово. Всего опасней на свете показаться смешным. Владыки, управлявшие миром, дрожали при мысли, что их осмеют.

— Вот он, сучий щенок! Выпалил враз! Ой, голова! А все-таки врешь. Хотел бы я видеть, пусть бы кто надо мной посмеялся… Голову снесу — и молчок! Ты пришел после того, как опоздал! Правильно, Надька?

Она не глядит на него, голоса ее опущена, русые косы лежат на груди.

— Толкни ее, Яшка, пускай отвечает. Ишь похудела, верно живет с двадцатью.

Мишка бросает строгий взгляд на возницу, и тот легонько толкает ее. Она еще ниже голову клонит, прячет от Тараса глаза.

— Не раздражай меня, Надька! — распахивая шубу и вытаскивая нагайку, привешенную к поясу, предупреждает он.

— Тарас Селиваныч, — просит его Мишка, — послушайте лучше стихи. Помните, крымские, они нравились вам.

Глаза парня в тревоге, на грустном лице печаль.

— Плевать я хотел на стихи, дай ей, Яшка, кнутом!

В крик Тараса вплетаются пьяный визг и раздражение.

Мишка предостерегающе смотрит на возницу, тот бьет кнутом по тачанке, чуть ударяет Надю.

— Что зенки поднимаешь? Дай, Яшка, ей в рыло!

Снова Мишка умоляюще смотрит на парня, тот медлит, не трогается с места.

Тарас сходит с тачанки, взбивает свой чуб, поправляет пулеметную ленту. Он глядит на себя в зеркальце, любуется собой, своим пышным нарядом.

— Видела, Надя? Ворот соболий. Сукно «маренго». Шелковыми нитками сшито. Нравится шуба? Говори!

Надя вскидывает глаза, в них укор и усмешка.

— С живого стащил? — спрашивает она.

Тарас недоумевает:

— Зачем повстанцу тащить, взял — и баста. Батька что говорит: у города взять — не грабеж, а расплата. Насосались нашей кровушки, теперь отдавай. Верно, Алешка? Век бы тебе, злыдне, такой шубы не видать. Что, Мишка, не так? Ну разве я не лучше тебя, чего ради Надька нос от меня воротит?

Мишка виновато пожимает плечами, ему словно и в самом деле непонятно ее упрямство.

— Я вам не чета, Тарас Селиванович, — отвечает Поэт, — я червяк против вас, но зачем вы это все говорите? Мы с Надей приятели, не муж и жена…

Так ему Тарас и поверит.

— Твой батько злыдня, — с презрением бросает он Мишке, — голь, батрачня, мой — хуторянин, хозяин! Ты повстанец без ружья, а я батькин советник. Гляди сюда, Надька, экое добро…

Он отворачивает брюки, показывает ей шелковый дамский чулок:

— Тебе бы их носить. Выкладывай, Яшка, что схоронено у нас для нее.

Рыжий парень точно этого и ждал. Он встряхивает кудрями и откладывает на пальцах:

— Туфли «кантес», лаком и шелком отделанные. Туфли желтые с серебряной пряжкой, туфли красные на бархатных застежках. Полушалков и шалей без счету. Штука шелка чистой сирени, японских гребней две коробки…

Тарас ухмыляется: какую ж это девку таким добром не возьмешь?

— Жених, Надька, что надо, — прельщает он ее, — не то что злыдни твои…

Она тихо смеется.

Тарас умолкает, кусает губы от гнева, ищет, на ком злобу сорвать.

— Мишка, пока я буду за Надькой ухаживать, скачи на одной ножке, смотри мне, без отдыха…

Он ходит, прохаживается, щеки надуты для важности. Мишка, бледный, усталый, скачет взад и вперед. Тарас про себя усмехается. Ни Надя, ни Миша ему не нужны, он жаждет чужого унижения, зрелища страха и мук. Потеха так потеха. Каждый по-своему душу отводит…

Время идет, Надя сидит неподвижно, голова ее опущена, бледные руки лежат на коленях.

Тарас что-то вспоминает и вдруг будит соседа:

— Голубчик, Алеша, милый браток! Вставай же скорее, Мариуполь видать.

Он и впрямь озабочен, захвачен новой идеей. Алексей

поднимает измятое лицо с налитыми кровью глазами.

— Дай, Яшка, ему опохмелиться. Надо важное дело решать.

Парень приподнимает персидский ковер, наливает из бочонка водки. Алешка залпом выпивает водку, морщится, плюет и слезает с тачанки. Он бьет хлыстом по шинели, едва стоит на ногах.

— Что случилось?

Речь нечистая, с просвистом, брызги слюны летят во все стороны. Спереди у него не хватает зубов, Тарас их выбил ему в пьяной драке.

— Задумал я, Алеша, суд устроить над Надькой. Пусть решают, кто прав и неправ. Ты, Алеша, у меня за свидетеля, как мы с тобой земляки. Коммуниста судьей назначаю. Что, хорошо? Давай, Яшка, звонить!

Парень оправляет алую рубаху, тканый пояс шевелится взад и вперед.

— Дзинь… дзинь… дзылынь… Дзинь… дзинь… дзылынь… — мелодично вызванивает он языком. Звон затихает, растет и вновь глохнет, словно тонет в просторах степи.

— Тишина и порядок, я докладаю! — объявляет Тарас. — Толком слушай, судья, и решай.

Взбитый чуб повис над глазами, пулеметная лента, словно судейская цепь, свисает на шее, шуба, как мантия, лежит на плечах.

— Братишка, судья! Надька наша родная, землячка. У брата служанкой была, у Алеши по хозяйству служила. Не смотри, что он помещиков сын, не мужицких кровей, — парень сердцем повстанец. Ну вот… И считали ее в деревне за шлюху. Верно, Алеша?

Тот с трудом отрывается от кружки:

— Что верно, то верно. Шлюха.

— Выходит по-моему. Пришла она до армии батька нашего Махна и просилась сестрой. Мать твою так, сестра так сестра. Говорю с ней о деле — она такую мне штуку пускает: «Хочу в честь революции и себя сохранить и прочего ни с кем не желаю». Не верю я бабе, погляжу, что с ей будет. Смотрю, она снюхалась с Мишкой. Подарки ей слал, женихом разоделся — она носом крутит, как барыня. От благородных людей отвертывается, а к злыдням и к голытьбе льнет. Рассуди нас теперь, не потакая батрачке. Дай ему, Алексей, для аппетита. Яшка — сволочь, ему доверить нельзя, он со злыднями спелся, бьет больше для виду…

Нагайка врезается в спину «судьи». Я молчу, словно не меня полоснули. Он никогда не увидит моих страданий, ими все равно его не смягчишь.

— Стервец, не поморщился. Хвастает, сволочь: вот я какой, меня не возьмешь. На стороне поплачет, а в глаза пыль пускает. Уже и ребята пошли толковать: «Слыхали, герой, режь, полосуй, с места не сдвинешь». Шельма! Хвастун! Дай ему, Алеша, другого…

Героев в ту пору что богатырей на Руси, что ни банда — батька, одному лишь дьяволу ровня, ни огню, ни мечу не подвластен.

Нагайка со свистом бьет по плечу. Ужасная боль.

— Поморщился, сволочь! Попомнишь Тараса, коммунная погибель!

Он шушукается с Яшкой, подмаргивает ему и хохочет.

— Ну, судья, давай приговаривай.

Я с трудом выгибаю разбитую спину, оттягиваю от раны рубашку и, собрав последние силы, спрашиваю:

— Сколько раз вы, Тарас Селиванович, в Надю стреляли? Говорите чистую правду, вы на суде.

— Сколько, Алеша? Не помнишь? Не то раз пять, не то шесть, — припоминает Тарас.

— Сколько раз ее били? — допытывается судья.

— Не считал. Почитай, каждый день.

Я чувствую вдруг, как огонь меня опаляет, и бросаюсь наземь, валяюсь в траве, срываю с себя горящую рубаху. Я стою обнаженный, весь в рубцах от побоев. Вдоль спины и у плеч легли свежие полосы раны. Я подавляю мучительную боль и все же молчу, моя слабость не смягчит его сердца.

— И спасибо не скажет. В люди его выводишь. Намедни воду прошел, зараз — огонь, только и осталось — медные трубы.

Вчера он толкнул меня в омут. Я начал тонуть. Надя прыгнула в воду, обхватила и едва дотянула до брода.

— Дай ему, Алексей, пусть скорее решает…

Август вдруг не стерпел. Он встает во весь рост, такой же, как я, костлявый, худой, и удерживает руку Алексея.

— Зачем вы, Селиваныч, с парнем связались? И нагайкой стегали, и жгли, и топили, — что толку? Не трогайте его больше при мне, не хочу я этого видеть. Посмеете еще раз ударить — на глаза не являйтесь: я вам больше не друг!

Он не кричит, не бранится, речь спокойная, голос сдержан и сух, и этого довольно, Тарас машет рукой, уступает.

— Решай, коммунист. А ты, Рокамболь, успокойся.

Владыка смущен, Август впервые так строго с ним обошелся. С ученым он спорить не будет, — как-никак голова, не мужицкое быдло. Все тачанки обойди — такого человека не сыщешь.

Я закрываю на мгновение глаза, стискиваю зубы от боли.

— Дать Наде трое суток подумать, — дрогнувшим голосом

объявляю я приговор, — не уступит — расстрелять без пощады.

— Слышала, Надька? — уже без прежней уверенности говорит он. — Судом трое суток тебе отпущено. До послезавтрева срок, а там не пеняй. Гайда, Миша, читай нам стишки!

Яшка напоминает, что пора в путь, кони пристанут, далеко догонять. Недовольный Тарас грозно сверкает глазами:

— Цыц! Сучий щенок! Я тебе слова не представлял. Валяй, Миша, смотри с выражением, ручкой бей себя в грудь. Голос подай, рявкни, как надо.

Мишка закидывает голову и нараспев читает:

Праздный ветер приволок тревогу
И тоской дохнул в мое лицо,
Разбудил ушедшую дорогу,
Голых гор вертлявое кольцо…

В голосе грусть и обида. Он смотрит в синее небо и словно шлет ему упрек. Трудно под его бесчувственным кровом.

Замелькали сморщенные скалы,
Взвилась вверх сиреневая высь,
И холмов зеленые овалы
Чередою мимо пронеслись…

Он рассказывает об одинокой тропинке к дальней деревне, жалуется небу, тропинке в лесу, жалуется на жестокость людей:

О вершину солнышко споткнулось,
Острым краем въевшись в синью муть.
Кровью брызнув, медью вдаль блеснуло
И повисло краешком чуть-чуть…
Усмехнулась мглистая долина,
Разметалась саклями внизу,
Солнца луч вдоль зубчатой плотины
Распылил багровую росу.
Загрустила в сумраке дорога
Об ушедшем солнце и тепле,
Тьма ночная — хмурая сорока —
Распростерла крылья по земле.
Задремало море сном ленивым,
Растянулось у подножья скал,
И в истоме серебром игривым
Гладит берег невысокий вал.

Месяц взвился и застыл, усталый,
Истекая золотым огнем.
Задрожал в глубинах пояс алый,
Осыпая искрами излом.

— Чтоб тебе в неглубоком месте утонуть, — расстроенный, произносит Тарас. Он смахивает слезу, улыбается Мише и приказывает Яшке трогаться в путь.

Тот взмахивает кнутом и кричит, заливается:

— Эгей, лошадушки, лошадки, лошаки! Эгей, жеребцы сиволапые!

Яша оглядывается назад, кивает головой, и тачанка исчезает за высоким бугром.

Я лежу, растянувшись на траве, не то сплю, не то впадаю в забытье. Обожженное тело пылает, жар разливается шире и шире.

— Вот еще мученик! — про себя шепчет Надя. — Взъелся на парня, бандит!

Она отвязывает ведро, хочет принести воды для примочек, но Август останавливает ее:

— Посиди на тачанке, я с ним займусь. С Мишей побудь, он полчаса на одной ноге проскакал.

«Я с ним займусь», — не верит ушам своим Надя. И о Мише вдруг вспомнил. То, бывало, не видит и не слышит ничего, убей при нем человека — не шелохнется…

И воду и сундучок Август ставит на траву, окружает себя банками, свертками, рвет простыню на полосы, свертывает из них бинт и натирает его мылом. Спокойно и уверенно он делает эмульсию, смешивает мази, готовит компресс. Не спеша, мешкая, точно не страдает живой человек, спутник и друг по несчастью.

Я чуть-чуть открываю глаза и шепчу:

— Спасибо за ваши заботы.

Август накладывает на раны компресс, на ожоги тертое мыло и достает из сундучка новую льняную рубаху.

— Теперь полагается немного соснуть, — говорит он, — ничего, успеем, у нас добрые кони.

Август склоняется у моего изголовья, следит за дыханием, одну руку кладет мне на лоб, другой отгоняет букашку. Ничего нет противней паучков, хоть палкой от них защищайся. И ветер вдруг нагрянул холодный, чего доброго, дождик польет…

Он протягивает руку в сундучок за манеркой, дает мне глотнуть, и я засыпаю.

Я просыпаюсь и вижу Августа, склоненного надо мной, чувствую его пристальный взгляд на себе. Он долго сидит так,

глаза, освещенные внутренним светом, горят переменным огнем; то зажигаясь, то вновь угасая. Вялые губы собрались и ожили. В нем словно проснулись новые чувства. Кто знает, что с ним?

Я поднимаю тяжелые веки, и Август тотчас встает и отходит к тачанке.

Мишка сидит за открытой тетрадью, рисует покойницу с сухим, острым носом. Надя обнимает и целует его.

— Прости меня, Миша, — шепчет она, — прости, мой голубчик. Убил бы он меня поскорей. И мне и тебе облегчение…

Он краснеет и просит ее замолчать.

— Брось, Надя, выдумывать. Какие страдания? На ножке попрыгал? Я всю жизнь на одной ноге проскакал…

Навстречу в пыли к нам несется тачанка. Озверелые кони идут вскачь. Черноволосый мужик выпрыгивает на ходу и тревожно бросается к нам.

— Что с ним? Как здоровье? — спрашивает он. — Не больно зашибли? В трех верстах остановка, ночью придем…

Август кивком отзывает его. И что-то таинственно шепчет, черноволосый его одобряет. Они жмут друг другу руки, и лошади несутся назад.

Мишка все еще рисует покойников, Надя расплетает свои русые косы. Я лежу на траве. Каждый чем-нибудь занят, одному Августу не по себе. Пробовал думать — ничего не выходит, да и, кажется, оно ни к чему. Он достает табакерку — жестянку из-под ваксы, привычным движением запускает два пальца и вдруг швыряет ее на дорогу. Он срезает длинный ноготь, лопаткой загребавший табак, и выметает из-под ногтя въедливую зелень.

Хороша компания, не с кем слово сказать: один рисует мертвецов, другая к волосам привязалась.

— Кого спрашивал Цыган, — не отрываясь от работы, говорит Мишка, — коммуниста или вас?

— Зачем я им дался? — отвечает Август. — Подходит ко мне вчера этот черноволосый и спрашивает: «Верно, что с вами коммунист разъезжает?» — «Верно», — отвечаю. «А верно, что он от Тараса страдает, за-ради революции мучение принимает, дивизиями командовал, герой человек?» — «Правда», — говорю. Вчера только расспрашивал меня, а сегодня примчался: «Что с коммунистом, жив ли, здоров?» Вот какие друзья у него! О каждом рубце узнают, о каждой обиде на тачанках толкуют.

— Значит, стоит человек, если слава пошла такая, — говорит Надя.

— Ему бы только слово сказать, — продолжает Август, — и бедам его конец. Подходят ко мне недавно ребята: «Ты с потешной тачанки? Передай коммунисту, что двадцать тачанок

пойдет за ним, пусть только гукнет. Нам такой командир милей милого. У батьки Махно кулаков развелось, офицерни понаперло, бедняку дороги закрыты, шагу ступить не дают. Пусть только прикажет, завтра Тараса на свете не будет…» Рассказываю коммунисту — он и слушать не хочет. «Не время еще», — говорит. Должно быть, не верит и боится подвоха. Донесут батьке — голову снесет.

Опять эти ребята меня подзывают: «Что сказал нам командир?» — «Не время», — отвечаю. «Пусть скажет, что делать, боимся его подвести и прямо к ному не подходим».

Мишка печально смеется, не то его душу разбередили, не то вспомнилось парню недоброе.

— Вот это человек, не то, что я, дурень, жизнь на одной ноге проскакал. Молча терпит, — значит, доволен собой, а я вот собой еще не был доволен. И не один я такой…

Он, видимо, хочет о себе рассказать, но Августу не терпится договорить:

— Не ждал я от него столько прыти. Думаю, парень невидный амбицию разводит, прибьют дурака — мягче станет. Тарас не таких гнул в дугу. Смотрю, чем больше его гнешь, тем крепче его гордость. И что они нашли в нем хорошего? Какой он герой? Одна кожа да кости. Как увидел я его — без рубахи, в синяках, обожженный, разбитый, — меня до боли пробрало.

Кто мог подумать, что Август способен так бить себя в грудь, так нежно и тепло рассказывать? Запоздалая страсть кипела и бурлила, как поток у разбитой плотины…

Он вдруг вспоминает обо мне и вновь садится у моего изголовья, щупает пульс и меняет на спине повязки.

Мишке еще трудно уняться, разогретый мыслью о своих страданиях, он жалуется Наде:

— Вся семья у нас такая. Отец мой при людях не садился за стол. Его кто-то уверил, что он ест некрасиво, сидит не так, как другие. Брат от невесты отказался, так и умер холостяком, все твердил, что не стоит ее, она, мол, святая, а он дурак дураком. Сестра на людях рта не раскроет, красавица девка, заикается иной раз, — подумаешь, какая беда. И я такой же, несмелый, тревожный. Помню себя с пяти лет — стою в углу у дверей, на столе мать в сосновом гробу, и нос у нее долгий и острый. В школе, бывало, знаю урок назубок, а спросит меня учитель или вызовет к доске — конец. Толком не отвечу. Все не доверяю себе, сомневаюсь. Так и теперь, напишешь стихи — как будто неплохо, сам поверишь, и другие похвалят, казалось бы, ладно. Пройдет неделька-другая — и прежней уверенности нет, хоть бросай. На людях говорить не умею, так и буравит мысль, что я глупость

скажу. Молчишь целый день, рта не раскроешь, а на душе все равно неспокойно, кажется, я кому-то что-то сболтнул. И что бы я ни делал, о чем бы ни подумал, выходит, что я хуже других, не так говорю, не так рассуждаю. Тарас меня доконал. Издевается, мучает, как после этого себя уважать…

Он умолкает и долго сидит в раздумье:

— И так всякого груза хоть отбавляй, надо же было, чтоб белые меня заочно присудили к расстрелу. Где-то я случайно сболтнул, не подумавши, — живи, страдай, Мишка, под новым страхом. Думал от этого страха уйти, в повстанцы записался и попал, на беду, к Тарасу.

Вот он сколько о себе рассказал, а Наде-то и вспомнить не о чем. Жила в людях, было горько, кто хотел — измывался, вышла замуж — муж бил. Мать утешала: «Потерпи, обживется». В детстве влюбилась в портрет цесаревича — красивый мальчишка, она не встречала таких. Вот и все. Уговорил ее Мишка сестрой поступить — помочь революции. Задумала новой жизнью зажить. Пошла, а что толку, бабой так и осталась, никто и человеком ее не признал.

Некоторое время длится тягостное молчание.

— Вы сказали, Миша, что белые приговорили вас к расстрелу, — спрашиваю я, — вы будто что-то сболтнули, как это произошло?

Парень вздрогнул от неожиданности. Мое ли внезапное пробуждение или самый вопрос смутил его, он ответил не сразу и невнятно.

— Никому я ничего не сболтнул… Это я только так говорю. Было не так…

Последовал грустный рассказ о жестоком искусе для юной души, о горькой обиде, гонениях и преследовании.

Он родился в станице у самого Дона. Чудесный край! Теплое, яркое солнце не покидает там синего неба. Нагрянет тучка, прольется дождем, станицу опояшет цветистая радуга — и снова свет и тепло… Справа за околицей Карташов лог — зеленая долина на много верст, слева шпалерами тополя стоят… Жизнь привольная, с коня не сходишь: и к друзьям на гулянки и к казачкам в гости. А кони какие! Рыжие, лысые, белоногие — своя, донская порода. Спутаешь коня за хутором, а сам гуляй, веселись. Казачки, обряженные во все праздничное, парами ходят по шляху, любо глядеть, — на каждой по три юбки, чтобы выглядеть дородной, по две кофты с вышитыми нарукавниками, черевики покрасней, монисто, яркий шелковый платок и кружевной подъюбочник, щегольски выпущенный из-под юбки…

Не поладил молодой казак со строптивым дедом — властным

хозяином дома, не угодил его заносчивой натуре. Высокий, широкоплечий, неизменно затянутый в синюю казацкую куртку, он в поддевке шагал, точно в строю, лихо отстукивая каблуками. Голову, вздернутую, как у породистой лошади, он держал высоко, отчего взгляд его прищуренных глаз казался насмешливым. Истинным украшением деда был его чуб. Сдвинутая набекрень фуражка открывала пышные кудри русых волос, едва тронутых сединой. Обычно чуб набивался резкими движениями руки, а в праздничные дни нагревались щипцы, и завивка выходила на славу…

Заметив подпаленные волосы у старика, Миша с деланным простодушием спрашивал:

— Что это у вас, дедушка, перед рыжий, а зад черный?

На это следовая спокойный ответ:

— Поздней осенью и дуб рыжеет… — Или: — Бурьян к старости чернеет, а человек светлеет.

Невзлюбил дед внука и однажды свирепо отделал его кнутом. Причиной послужило следующее.

У старика были свои правила, как скот пасти. Корову на пастбище не ударит, не обругает, без клюшки, одной хворостинкой обходится — и то затем лишь, чтобы скоту ею дорогу указывать. На боку у него гармошка или балалайка, коровы жуют, а он тем временем играет. Звучит на выпасах веселая музыка, и верится старику, что скот от того скорей жиреет, телки быстрей растут.

Внук отказался следовать поучениям деда и был больно наказан. Не нашел паренек поддержки у слабовольных родителей, не стерпел обиды и задумал бежать из станицы.

Стояли последние теплые дни. Дыхание близкой зимы белым инеем лежало по краям дороги. Там, где недавно зеленела пшеница и ходуном ходила серебристая рожь, ранней сединой встала стерня. Кое-где уже плуг содрал со степи мертвый облик бесплодия, обнажив тучные недра. Местами желтел увядающий кустарник, и рдела осень в вишневой листве. Слабые лучи солнца растопили росу на плетне телятника, и легкий пар струился в воздухе.

С грустью взглянул Миша на широкие мощеные улицы, ряды белых домов под железными крышами, на родной дом с пристройками, на деревянный курень, на соломой крытые подвал и пекарку, на вербы и тополя, осеняющие леваду, — и пустился в путь. По дороге встретилась ему казачка в алой сатиновой юбке и кофте — знакомая из соседнего хутора. Длинные края широкой ленты, опоясывающие кофту, при движении развевались. Миша уступил ей дорогу и печальным взглядом проводил ее.

В Большом Токмаке, куда судьба привела его, он поступил на завод. Прошло полгода — и снова ему не повезло, город заняли белые войска, и его мобилизовали в армию. Командир ли обидел его или офицеры опостылели — он бежал из своей части и скрывался в деревне у добрых людей до прихода махновского воинства. Позже он узнал, что его, дезертира, белые заочно приговорили к смерти…

12

Я лежу на траве, все вижу и слышу. Кто-то шепчет вблизи: «Он из нашего теста, душа у него повстанца… У красных полком, а то и дивизией командовал. Народ стороной разнюхал…» Ничто не ускользнуло от меня: и приезд черноволосого друга, и нежное внимание Августа, и жалобы Мишки, и страстные речи друзей на тачанке. Их всех обманули, они приняли банду за друзей революции, доверились своим те врагам. Бандитское племя, что им до народа, каждый занят своими делами, собой.

Тут бедных не любят, слабых не терпят, честных стирают с земли. Некому жаловаться, некого на помощь призвать. Грабители и распутные насильники, они заражают собой почву народа — деревню, оседают у невест, зазноб и солдаток ради веселья, вина. Спрячут пулемет под мякиной в амбаре, тачанки схоронят под сеном, в стогах, в реке, на погосте, а сами гуляют. Уйдут и вернутся, никто их не спросит, откуда и куда.

При первой же стычке с вражеской силой отважные громилы бегут, таятся у крестьян по дворам; поздно ночью соберутся, разузнают, где враг, и тайком удирают. Захваченным краем не дорожат, побед не закрепляют. Обобрав население, не мешкают зря, идут дальше за легкой наживой. В городах с их приходом вырастают притоны, вертепы и картежные дома. Махновцы в манишках и дамских чулках швыряют деньгами, все спускают до последней рубашки…

В горячую пору похода Умань — Волноваха — Мариуполь — Таганрог затеяли праздник в честь основания своей республики. Три дня в Гуляй-Поле кутили и пили. Батьку избрали президентом, столицу назвали Махноградом. Тем временем белые перегруппировались и разбили черное воинство.

Махновцев ждет гибель, революция без них обойдется, но умереть среди них, среди этого сброда, — что может быть более бесславным?

Я все еще лежу на траве, забытье сменяется явью, давно пора встать и поехать. Вчера после такой же расправы мне пригрезился сон, будто стою я на тропинке в лесу и меж деревьями вижу девушку в белом. Лицо ее закрыто, не то вуалью, не то тенью березы. Она ходит за мной, вдруг исчезнет за деревом и вынырнет рядом. Она играет со мной; должно быть, ей скучно. Но почему голова ее склонена, точно под бременем скорби? Может быть, это мне показалось, девушки не было вовсе. Солнечный луч скользнул между соснами или ветвистая липа покачнулась. В лесу, где так мрачно, любая березка покажется девушкой… Но

почему она словно порхала, то здесь, то там?

Вот и сейчас мелькает ее белое платье. Она подходит ближе и ближе и, как другу, изливает свою печаль. Она искала в лесу, кому бы поведать ее.

Она словно отмыкает мое сердце, и признание льется через край. Мне трудно живется, мучительно трудно. Нет большей чести, как служить революции, нет большего счастья, как страдать за нее, — но в двадцать два года так тяжки лишения, так горька обида и муки. Я сознаюсь ей, и с каждым признанием мне становится легче, дурное уходит далеко-далеко…

Я встаю, и тачанка пускается в путь.

Мы едем недолго, из-за холма поднимаются купола, колокольня и ряды тополей. И площадь и шлях за церковной оградой затопили тачанки и люди. Из деревни пришли девчата и парни, заиграли гармошки. Запели, пошли дружно в пляс. Завертелось веселье, «земляки» и «приятели» сели за карты, за водку, за «орел и решку».

Август и Надя ушли на квартиру, Мишка куда-то исчез, Я бросаю тачанку и теряюсь в гуще людей. Мне хочется шума и криков, я устал от безмолвия степи, от бездушной тиши необъятного неба.

Безусый повстанец с гранатой за поясом встретил родных. Они любуются им, целуют, отходят — не наглядятся. Глаза старика увлажнились от слез, старуха смеется и плачет. Сын смущенно спешит запахнуть свою куртку, прячет гранату и атласный жилет. Он ведет их к тачанке, раскрывает сундук и сует им подарки — мантилью с прошвой, серебряные ложки, шелковое дамское белье. Некстати мелькнули цветные корсеты, подвязки зеленые, с бантом, туфли с крошечных ног. Это, конечно, не для деревни, он краснеет и прячет сундук. Для них у него нечто другое: для отца — портсигар из чистого золота, матери — серьги и кольцо. Теперь они сели рассказывать сыну о родне, о знакомых, о заботах в хозяйстве…

С завистью гляжу я на них, ничто уже, казалось, не обрадует меня. Во мне словно что-то вскипело, застыло и окаменело, сквозь эту преграду ни радости, ни горю не пройти к моей душе.

Вот еще один счастливец — Васька-красавец, балагур и танцор, хохотун и забавник. Он нашел себе зазнобу, не отстает от нее. Она щурится, смеется, дразнит его. Он шепчет ей тихо, вкрадчиво-нежно: «Ой, гарні зуби, не бачив николи такіх…» — «Які ж вони гарні, — не понимает девчина, — вони доброго слова не стоють…» Настойчивый парень шепчет, юлит, одаряет девку подарками. Васька мастер, делец, лицом в грязь не ударит…

Вокруг махновца Алешки собралась толпа, в криках и шуме

не поймешь, что случилось. Он бабу свою побил за распутство, забыл под пьяную руку, что они давно разошлись, и ввалился к ней в дом, как к жене. Алешка отметает ее утверждения. Верно, что они скоро год, как развелись, что в селе у него другая зазноба, но честный повстанец обязан следить, чтобы не было блуда в народе. Дай бабам волю — распутству не будет конца.

Знакомые сцены, нового мало, на каждой стоянке те же забавы, родители, дети, «друзья» и «приятели», любят, играют, пьют и дерутся.

Я брожу в толпе, отдыхаю от мыслей, чувств и желаний. Забавно наблюдать за весельем и как бы отдыхать от себя. Меня тут не знают, никому я не нужен, тем приятней быть незримо всюду и везде. Вот пьяный повстанец голосит и рыдает на груди паренька: «Ой, кохаю рідну неньку Украину…» Хмель отбил у него память, он забыл, что ушел из петлюровской части, сбросил синий жупан, шапку с золотым оселедцем. «Ой, поганют, добрі люди, рідну мамку Украину…» Я знаю паренька, к которому он прильнул, его зовут «кузнецом». Никто, как он, не умеет гвоздями приколачивать пленным офицерам погоны. Обиженный друг отвернулся: «Иди к турку, петлюровский гад!» Недавние друзья берутся за шашки, блестит обнаженная сталь. Они готовы друг друга изрубить. «Сам ты сволочь и гад! — кричит пьяный повстанец. — Глаза твои, сука, — комиссарские звезды!» Озверелый приятель чуть не рубит его: «В глазах твоих, подлюга, золотые погоны, царский холуй!» Их едва разнимают, уводят в разные стороны. Чуть вдали, на пригорке, беседуют мирно три голых повстанца. Они побились об заклад, у кого родинок больше, и бесстыдно ворочают друг друга, нескромно заглядывают во все уголки. «Не рожаются они у меня, — сожалеет один, — есть вон пара на ляжке, да и те не растут. А в них счастье большое. Вот бы твоим да ко мне перейти…»

Я чувствую вдруг чей-то пристальный взгляд на себе. Группа махновцев с любопытством меня озирает. Вон и другие, я давно их заметил, они ходят за мной по пятам. Один даже пальцем ткнул в мою сторону. Еще группа зевак потянулась за мной. Все новые лица, откуда они знают меня? Скоро шагу не ступишь, чтоб тебя не оглядели, не пошептались вслед. Разок бы подслушать их разговоры. Не сделать ли так, как батько Махно? Надеть сермягу и шапку, пройтись по тачанкам и послушать, что они толкуют обо мне…

Неожиданно предо мной вырастает Яшка.

— До коменданта пришли мужики, — избегая моего взгляда, произносит он, — жалуются батьке, требуют разбора. Тарас приказал коммуниста назначить судьей, только не бить. Слово,

говорит, Августу дал…

Он делает вид, что спешит по другому, важному делу, поправляет алый кушак и смущенно исчезает в толпе.

Цепкая рука хватает меня за ворот рубахи:

— Ты чего, сукин сын, не на месте? Народ пришел до судьи, а его дома нема…

Предо мной Алексей со своей неразлучной нагайкой. От него разит вином и вежеталем. Он каждый день выпивает две кружки водки и выливает флакон духов на себя.

— Эгей, запрягай! Куда делись ребята? — кричит Алексей на повстанца, который только что одарял подарками родных.

Парень усмехается и многозначительно подмигивает ему:

— Скоро придут. Пошли галок стрелять…

Ответ нравится Алексею. Что бы он ни значил, ему достанется его доля. Добро ли притащат, девок приведут — все пригодится.

Васька-красавец хлопочет возле коней. Где же его зазноба? Неужели бросил?

Вопрос этот парню не по душе, и он заговаривает о другом:

— Надіваю кобыли хомут, а вона собі зараз гадае: «Чо це мене запрягають?» Це ж такий хитрый предмет, його раз вдаришь, а вин по гроб не забуде. Коняка це то же що класс, вона така ж горопашна, як ми. Я так и зову ее «класс»…

Меня приводят к раскрытым воротам большого двора. У амбара группами стоят мужики. При виде Алексея все умолкают, одни шапку снимают, другие кивают головой.

— Судье полагается высокое место, — ворчит Алексей, — полезай на насест, оттуда виднее.

Я взбираюсь на куриный насест, оглядываюсь, нет ли знакомых. В просторном амбаре много селян, они сидят на полу тесно, друг подле друга. В стороне сбилась группа повстанцев. Среди них черноволосый и Август.

— Почтенные батьки и браточки, — поигрывая плеткой, начинает Алексей, — перед вами судья, который справедливо будет судить всех, кто имеет просьбу до нашей власти. Именем батьки Махна заседание объявляю открытым. Выходи, кто желает.

В центре круга два крестьянина: один босой, в ситцевой слинявшей рубахе и в заплатанных нанковых штанах, другой в пиджачке и в сивой папахе. Волосы первого растрепаны и свисают на лоб, у другого аккуратно подрезаны под скобку. Солидный мужик опирается на палку, в руках у босого пастушеский кнут.

Первым начал пастух. В голодную пору он отдал соседу своего паренька. Славный мальчишка, и грамоту знает, к работе способен, куда пошлют — справится, что прикажут — исполнит.

Сосед — хозяин богатый, а приемного сына не пожалел. Плохо кормил, тяжелой работой замучил, — мальчик не стерпел и сбежал. Сосед затеял судиться. Коммунисты отказали, не дали ребенка. Белые присудили — отобрали мальчика у родных. Пришла мужицкая правда — власть батьки Махно, и пастух просит вернуть ему сына. Жаль своей крови, замучает парня сосед.

Богатый с усмешкой озирает крестьян: дескать, слыхали? Что с дураком толковать?

— Голодранец поганый, — исступленно кричит Алексей, — на кого наступаешь, против кого суд ведешь?! С хозяином споришь, голь, батрачня!

Речь нечистая, с присвистом, брызги слюны летят во все стороны. Лицо багровеет от злобы.

— Ну-ка, судья, там, решай!

Сейчас только разглядел я группу повстанцев в правом углу амбара. Знакомые лица, они встречались мне сегодня, ходили за мной по пятам. И черноволосого узнаю, и друзей его видел однажды.

— Трудно без свидетелей решать, — объявляю я, — надо бы их вызвать на заседание суда.

— Плевал я на суд! — обрывает меня Алексей. — Решай без людей!

В спор вступают повстанцы, черноволосый сложил трубкой ладони и кричит:

— Неправильно! Свидетелей надо!

Другие поддерживают его:

— Не по закону! Пусть решает судья!

— Зазнался, помещиков сын!

Голоса звучат настойчиво, твердо, их не так уж мало. Это придает мне решимость. Алексей затихает, окидывает взглядом враждебную группу и повторяет:

— Решай!

— Именем народной повстанческой армии, — провозглашаю я, — именем батьки Махно, объявляю решение: «Паренька вернуть пастуху, с соседа взыскать за два года службы деньгами один миллион…»

Алексей разражается матерной бранью, бьет нагайкой по серой шинели, кричит что есть сил:

— Тянешь руку своих голодранцев! Коммунное дерьмо, сукин сын! Попомнишь меня, малосильная гнида!

Он не видит, как сзади вскипают махновцы, лица их гневны, движения беспощадны. Руки лежат на нагане, на сабле. Я взглядом прошу их разойтись. Группа свирепых и буйных

повстанцев, не знающих удержу, покорно оставляет амбар. Алексею ясно и без слов — затею надо кончать:

— Расходись по домам! Как судья порешил, так и будет. Гайда, расходись, представления не будет!

Август без слов берет меня за руку и торопливо уводит. Дома он за стенкой тихо с кем-то спорит и возвращается встревоженный, бледный, длинные руки, сбитые с толку, не находят места себе: то повиснут, как плети, то прильнут к кушаку, сплетутся и вовсе замрут.

— Как ваше здоровье? Вам стало легче? — участливо спрашивает он меня.

По всему видно, что не в этом дело, предстоит другой разговор.

— Да, мне хорошо. Все как будто прошло.

Это не совсем верно, и ожоги и удары дают себя знать, но Августу не терпится что-то мне сообщить, и я умолкаю.

— У меня неприятная новость. Мне доверил ее штабной адъютант. Мишуха Петренко собрал против вас материал, хочет батьке докладывать. Адъютант спешит с этим делом, боится — его опередят. Он расспрашивал меня: кто вы? Откуда? Правда ль, что вы агитацию ведете, хотите место батьки занять? Верно ль, что вы комиссаром служили, пришли к нам бойцов разлагать? Веселого мало, батька не стерпит. Он союзника из ревности не пожалел — с атаманом Григорьевым прикончил, сам при этом чуть голову не сложил. И у Яшки есть новости, он тут, я его позову…

Яшка сбросил свой пышный наряд, вместо алой рубахи тесная куртка, рваные, в заплатах штаны, на босые ноги надеты опорки, — не узнаешь его. Даже рыжие кудри и те полегли.

— На Тараса напала хандра, — доверительно шепчет он, — собирался прийти сказки слушать. Похвалялся сегодня с Надькой покончить. Коммунист положил ему трое суток терпеть. Еще говорит — батько дознался про вас, к утру приказал в штаб доставить. Народ рвется с Тарасом покончить. Ухожу из этой банды, пойду по хозяйству батрачить. Бросил Тарасу его барахло, пусть петрушит другой. К вам прощаться пришел и просить, чтоб не гневались… Если и приходилось идти против вас, так не по доброй воле. И рубаху я подпалил против воли. Не хозяин я себе, и свободы у меня никакой не было. Уйду ночью домой. Уйду и забуду, что был у Махно, бандиту прислуживал, петрушку из себя представлял. Прошу еще раз, товарищи, прощения…

Я ласково обнимаю его.

— Приходи к нам вечерком, попозже. Смотри не забудь.

Август тем временем уходит, и снова из-за стенки доносится

говор людей. Гневный голос упоминает имя Тараса, кто-то стучит по столу, кричит и бранится.

Яшка ушел, я один сижу у окна. Начинает смеркаться, за околицей плывет лунный серп, закатную гладь осенила звезда. Она дважды мигнула и исчезла за тучкой. Ночь приходит не одна, за ней толпы теней, мрак закрыл небо и землю, густо залепил окно.

Тихо, едва слышно, открывается дверь, и в дом входит Надя. Она садится на стул и вздыхает. Проходит минута-другая в молчании. Она встает, открывает корзинку и связывает вещи в узелок. И ботинки и чулки она прячет, — в пути износятся, других не достать, за душой у нее ни гроша.

— Ты б соснула, — советую я ей, — чуть свет выезжаем.

Вместо ответа долгий вздох и молчание.

— Что ж ты молчишь? — спрашиваю я.

— Бросаю тачанку, ворочаюсь домой. Нашей сестре хватит горя везде. Давно бы ушла — Мишку жалела. Теперь без отсрочки. Тарас непременно убьет.

Она вновь умолкает, прячет корзинку под стул.

— Не пойму только вот что, — с горькой усмешкой произносит она, — за какой грех вы к расстрелу меня присудили? Трое суток только позволили жить.

Во мраке за окном золотой острый серп повис над деревней небесным знаменьем. Его несет по волнам, он тонет, всплывает, режет, кромсает бледное небо, угрозой висит над землей.

— Не торопись уходить, — говорю я, — сегодня все разъяснится. Я и словом и делом отвечу тебе, потерпи немного.

За стеной вдруг становится тихо, разговор умолкает. В комнату входят черноволосый и душ десять повстанцев, Август и Мишка. Они теснятся у дверей и молча поглядывают друг на друга. Надя тревожно встает и испуганно озирается.

— Садитесь, ребята, занимайте места, — предлагаю я.

Деловой тон возвращает Наде спокойствие.

— Мы, товарищ, пришли, — начинает черноволосый, — напрямик говорить. Не хитрить, не кривить, правду-матку резать.

Широкий в плечах, коренастый и плотный, с черной бородкой на смуглом лице, он похож на цыгана. У него черные как уголь глаза и белые ровные зубы. Он был бы красивым, если б не губы, кривые и бледные, способные, казалось, выражать лишь иронию и злобу.

— Не хотим мы под батькиным началом ходить, — продолжал он, — не желаем оставаться в повстанцах. Обрыдли нам бандюги махновские, холуйская офицерня, кулачье и прочая сволочь. Хотим к коммунистам пробиться, с тачанками к ним

перейти.

Он окидывает взглядом друзей, и они одобрительно кивают головой.

— Парень ты вроде стойкий, — говорит цыган, — муки принял за правду, — значит, свой человек. И нам с тобой сподручней, не поверят красные, что мы доброй волей переходим, примут за банду и пустят в расход. С тобой, красным командиром, посчитаются, поверят, что мы с чистым сердцем пришли… На тебя, выходит, вся наша надежда. Давно бы повернули туда, да не на кого было положиться…

Голос нежный, певучий, а на лице точно замерла ирония, обидная, злая усмешка. Только взгляд перекликается с речью, добрый, решительный взгляд.

— Вот и просим тебя к себе командиром. С Рокамболем поладили, дело теперь за тобой.

Снова Цыган оглядывает друзей, и снова они молча соглашаются.

— А вы, Август, что решили? — не трогаясь с места, спрашиваю я.

Странный вопрос, — как все, так и он.

— Теперь медлить нечего, надо уходить, нельзя дольше ждать ни минуты.

В окно кто-то стучит тихой настойчивой дробью.

— Узнай, что случилось, — говорит черноволосый одному из парней, — расспроси толком, а в случае чего самого приведи.

Я все еще сижу у окна. Лунный серп затерялся в лесу, зацепился рогами за сучья и низко повис над землей. Надя ласково трогает меня, нежно шепчет: «Это все парни надежные, обрыдла им банда, соглашайтесь. Убьет вас Тарас, пропадете без пользы». Я киваю ей: ладно, спасибо.

Парень возвращается с ответом: Тарас в гостя идет к Рокамболю.

Черноволосый сверкает глазами, выпускает на свет ряды острых зубов.

— Отвечай нам, товарищ, — торопит он меня, — время идет.

— Погуляй часок, я подумаю. У меня тут еще одно дело. Управлюсь — поговорим.

— Не гневайся, товарищ, — заявляет Цыган, — мы отсюда не уйдем. Слишком много мы тебе рассказали, позволь нам по соседству побыть.

Цыган просит и грозит, возражать бесполезно, он не уступит.

Они уходят, и вскоре появляется Тарас. Он без шубы, без ленты через плечо, чуб не приглажен, и весь он словно обмяк. Пьяный и мрачный, он садится в углу и молчит. Август сел рядом,

готовый рассказывать сказки.

— Что с вами, Тарас Селиванович? Нездоровы? Поссорились с кем?

Ни то и ни другое, Август не угадал, у Тараса другие заботы.

— Расскажи мне, Рокамболь, почему мы деникинцев белыми зовем? Это первое дело. И правда ль, что ежели человеку впрыснуть кокаин, он засохнет, как ветка?

Не эти вопросы привели его сюда. Тарас не слушает даже ответа.

— Белый цвет, Тарас Селиванович, — глубокомысленно говорит Август, — самый подлый на свете. Никто его в природе не любит. Солнечный луч и тот отскакивает от него. А что до кокаина, так это неправда.

Тарас сидит неподвижно, голову уронил на грудь, на лице мелькают выражения гнева, испуга, веселья и грусти, точно толпы видений проходят перед ним.

— Скажи, Рокамболь, откуда у человека берется хандра? Почему мне Колька кривой всюду видится? Днем — ничего, а стемнеет — хоть в омут бросайся. Гоняется за мной с топором. Мало ли кого пришлось порубать, так всем после смерти буянить?

Он не гладит свой чуб, не рисуется больше, голос мужицкий, печальный. В глазах глубоко запала тревога, она таится в широких зрачках.

— И Луша туда же, с ножом за мной ходит, что ей надо, никак не пойму. Батькин приказ — расстрелять, пусть бы к батьке являлась. Ой, баба-ведьма, свет такой не видал. Веду ее к околице, чинно и мирно, прощения прошу, чтоб зря не сердилась, где мне против батьки идти. Вдруг моя Луша посередь улицы ложится. «Не пойду, хоть убей. Стреляй тут, на месте. Устала, говорит, чего ради даром томиться…» — «Не стыдно ль тебе, — прошу я ее, — партизанка, друг и товарищ? Своего человека подводишь, кто ж людей гробит у всех на виду? Меня не жалеешь, мать твою так, батьку Махно не позорь». — «Не пойду, стреляй хоть сейчас». Уважил я ей, влепил из нагана, и, видно, не в точку. Она меня, сука, всего оплевала, так и харкнула в рожу. «Злодей ты, подлец, говорит, катюга, холуй!» За что? Революции служу, с батькой все время рядом воюем. У красных признан бандитом, приговором отмечен: «Считать элементом в эрэсэфесерском масштабе». Вроде как чин для нашего брата.

Я отодвигаюсь от окна и вплотную подхожу к Тарасу:

— Вы, Тарас Селиванович, все время при батьке, не пришлось вам в Малой Виске бывать? Там красные станцию и сахарный завод охраняли.

Тарас морщит лоб, щелкает пальцами и вдруг вспоминает:

— Еще бы не помнить, командир, сукин сын, убежал. Этой шашкой дочиста всех порубил. Баня была первый сорт!.. Что ж ты молчишь, Рокамболь? К тебе за советом приходишь, а ты идолом сел и сидишь. Расскажи что-нибудь, чтоб хандру с меня сняло и слезы пошли. Честью прошу, расскажи…

Он закрывает глаза и плачет. Ему жалко себя, он устал от страданий. Что нужно Кольке и Луше от него, почему ему жить не дают? Все злыдни копают, хотят его погубить…

— Подам батьке список, пусть как хочет решает, хоть всех перебьет… И ты, коммунист, мне покоя не дашь, с ножом будешь ночью гоняться. Хоть ты меня прости, слово дай, что прощаешь.

Я протягиваю ему левую руку, а правую опускаю в карман.

— За себя я, Тарас Селиванович, прощаю, но за Шпетнера и отряд не могу. Там были святые ребята, вы не стоите их…

Я вытаскиваю из кармана револьвер, Цыган, появившийся в дверях, опережает меня и спускает курок.

Тарас разводит руками, вздыхает и с грохотом валится с ног.

Из спящей деревни за полночь выходят в поле тачанки. Они идут в одиночку, тихо, без шума. В степи за бугром они строятся в ряд, беззвучно идет перекличка. Их семнадцать тачанок при двадцати пулеметах и тысяче лент.

— В дорогу, вперед! Рысью, тачанки! Да здравствует Советская власть!

13

Дождь. Слякоть. С померкшего неба льет уже пятые сутки. Яшка сидит над бумагой и, отдуваясь, пишет приказ. Каждое слово ему стоит страданий, каждая буква — большого труда. Ручка в пальцах не держится, то выскользнет вдруг, то застрянет на месте, хоть кнутом подгоняй. И с пером не так ладно, — то гладко скользит, любо смотреть, то невесть откуда возьмется ворсинка, пушок, волосок — и пойдет мазня. И такой страшный труд не ценить! Напишешь приказ, подашь командиру — он возьмет и вернет: «Не надо писать, своими словами скажи». А ежели тот отвертится, скажет — не видел, не слышал, — чем его прошибешь? Документа нет, чем докажешь? Сколько раз так случалось! Командир говорит: «Быть комендантом — не только приказы писать». А дисциплину, порядок чем, как не приказом, поддерживать? Одна лишь глупость и упрямство!

Что толку отпираться, Яшка любит командовать, пусть в маленьком деле, каком бы то ни было, только бы ему заправлять. Кто знает, с чего это у него, — натура ль такая, привычка или горечь былого никак не уймется… Так сидит он с утра, другой раз до ночи, строчит приказ за приказом. Брови нахмурены, губы поджаты, и в письме что-то властное: буква на букве, будто старший над младшим, стоит, — тяжелые, колкие буквы.

За тем же столом мы с Августом щелкаем семечки и ведем разговор. Он горстями бросает семена в рот, жует и выплевывает серую кашу, я не спеша кладу семечко в рот и словно о нем забываю.

— Не надо правды бояться, загляните ей в лицо, — говорит Август. — Вы командир, а вся власть у Цыгана. Прикажи он им броситься в омут — и кинутся все как один. Второй год рядом дерутся, все земляки, мужик он неглупый, не дает себе в кашу плевать. Годованный, Гмыря, Пробейголова — те в петлю пойдут за него…

Хлопает наружная дверь, в сенях раздаются шаги, и, мокрая от дождя, входит Надя. Август спешит ей навстречу. Я тоже встаю и сразу сажусь, щелкаю подсолнухи и выплевываю с шелухой семечки. Надя сбрасывает мокрую кофту, вытирает лицо, промокшие косы.

— Что там нового? — спрашивает Август, он жадно ищет в ее лице ответа.

— Что толкуют ребята? — спрашиваю я.

— Что толковать, — недоумевает Надя, — дождь, говорят, перестанет, и поедем. Марфушка нас не забыла, за командира

крепко стоит. «Не допущу, говорит, до раскола, миритесь — и все». И Цыган от командира не отходит. Ребята на него наседают, а он им свое: приказы исполнять, командиру подчиняться — и никаких.

Ничего больше она не знает, одна сейчас забота у нее — обсушиться и расчесать промокшие волосы.

Август доволен вестями, не время спорить, надо уступить.

Он по старой привычке сует руку в карман, ищет табакерку — коробку из-под ваксы, не находит и машет рукой.

— Не время, товарищ командир. Сзади Махно, спереди белые, банды на каждом шагу. Затравили нас и те и другие, две недели не знаем покоя. Где тыл и где фронт — не поймешь, сам черт ногу сломит. А застукает нас красная конница — милостей не жди. На фронте слову не верят, скорей примут за банду и пустят в расход. Ребята решили пробиться к своим, трудно, опасно, и все же лучше, чем здесь погибать…

Я слушаю Августа с той доверчивой кротостью, с какой люди внимают расчетам детей. Как будто неглупо, просто и ясно, а согласиться нельзя.

— Вы стали рассуждать как Цыган. Кто ж из нас прав — я или он?

Наружная дверь приоткрылась, Мишка бесшумно вошел и так же тихо попытался скользнуть в соседнюю комнату, Август окликнул его:

— Иди сюда, Мишка!

Поэт, смущенный, вернулся и с притворным спокойствием спросил:

— Вы звали меня?

— Рассказывай, какие там новости.

Ответ можно было прочесть у Мишки на лице, а он прикидывался, что не понял вопроса. Я вспылил:

— Ты был на разведке, где донесенье?

Какая разведка? Он был у ребят, гулял и плясал.

— Говори, что решили в отряде! — еще строже спрашиваю я.

Нелегко Мишке ответить, он бледнее стены, веки дрожат частой дрожью.

— Многие просят Цыгана быть командиром, оставить вас здесь и двинуть самим через фронт. Цыган не согласен, хочет с вами еще говорить.

Я с упреком взглянул на Августа: все ли еще он будет стоять на своем?

— Надо бросить по тылам шататься, — коротко отвечает он, — и двинуть на север.

— Вот как, — удивился я, — и вы, значит, с ними?

Мы не щелкаем больше семечек, обоим взгрустнулось, мысли где-то витают над гранью жизни и смерти.

— Вы напрасно вспылили, — оправдывается Август. — Я лишь вам одному это сказал, с Цыганом у меня другой разговор. Я вчера распекал его за то, что он бойцов разлагает, боевого командира позорит. Знаете, что он ответил? «Не в храбрости дело, от дурости это у него».

Август вдруг умолкает и робко опускает глаза. Он немного сболтнул, выдал Цыгана, — не надо было этого делать.

— Дело не в том, кто и что скажет, — спешит он исправить ошибку, — говорить можно все, что взбредет… Мы застряли у двух большаков, один ведет к красным, другой — к белым в тыл. Задача — кто куда повернет. Хотите знать мое мнение — я не скрою, извольте. Есть люди — мастера из мечты творить жизнь, из фантазии — великое дело, есть и такие, что действительное превращают в мечту. Вы опасный мечтатель, и все-таки я за вами пойду, из вашей тачанки меня живым не возьмешь.

Яшка выпрямляет затекшую спину, протирает глаза и вздыхает:

— За нами никто не пойдет, их водой не разольешь, топором не разрубишь. Для виду приказы читают, власть признают, а моргнет им Цыган — перестанут.

Август хочет что-то возразить писаке несносных приказов, но со мной происходит вдруг непонятное: голова склонилась, смыкаются веки, и я засыпаю. Пройдет минута, другая — и сна точно не было. Август терпеливо ждет моего пробуждения и сочувственно спрашивает, что со мной. Я в последние дни кажусь рассеянным и задумчивым, временами точно не вижу людей. Он не ошибается, это все оттого, что мне ночью не спится. Началось это со смертью Тараса, во сне стали видеться ножи: длинные, короткие, всяких форм и размеров, — они кошмаром душили меня. Их сменили назойливые мысли — неотвязные спутники ночи. Ненужные, мрачные, они виснут надо мной до рассвета. В остальном я здоров, бодр и крепок по-прежнему…

Я смотрю на Августа, вспоминаю дни нашего знакомства и удивляюсь, как обманчиво первое впечатление. Эта синяя родинка на носу казалась мне противным придатком на лице. Сейчас эта родинка мне близка и мила, я не то что погладить — готов расцеловать ее…

Я не все сказал Августу, не во всем открылся ему.

В бессонные ночи я садился за стол, писал длинные, жаркие письма. Вкладывал в них свои тайные чувства и думы, падал, усталый, засыпал ненадолго, а утром все письма сжигал…

Странные мысли, непонятные чувства, откуда они? Где

бодрость, былое веселье? Меня словно отлучили от жизни, раздавили, рассекли, и я — рассеченный червь, извиваюсь в муках.

— Тебе, командир, до рассвета не спится, — говорит Яшка, — а мне, чуть забрезжит, видится телка и сонный паренек позади. Меня сызмальства подпасок будил коров выгонять. Так и засело оно у меня, чуть откроешь глаза — видишь телку и паренька.

Яшка продолжает свое трудное дело, Мишка встал у окна и назло хмурой осени, дороге, заплывшей дождем, читает Наде стихи о степи, о холмах, далеком сверкающем поезде. Она закрыла глаза, сплела руки, как косы, и слушает его…

Мчится поезд быстроногий
По зеленым берегам,
Скачет, пляшет по уклонам
И вздыхает по горам.
Поезд мчится полем спелым,
Раздирая ветра грудь,
Громыхает грузным телом,
Устилая страхом путь.
Поезд мчится полем сжатым,
Копны рыжие скользят,
Пашен дальние заплаты
За долинами летят.
Поезд мчится, поглядите,
Ускользает долгий ров,
Телеграфа ветви-нити
Потянули сеть столбов.
Поезд мчится, поезд мчится,
Эхо голосно поет,
Холм с оврагом хочет слиться
И хребет дугою гнет.
Поезд мчится, даль глотая,
День да ночь, что степь да лес,
Даже звезды светлой стаей
Разметались вдоль небес.

Из-за стихов разгорается спор, опять он порвет их, развеет по ветру и не подарит ей. Он не смеет, не должен, у них был уговор. Мишка не хочет, она просит, умоляет его. Наконец-то она добилась, реликвия в руках у нее.

В избе скучно и уныло. Дождь льет беспрестанно. Из окна видна степь и две дороги — одна на север, другая — на восток.

Все умолкли, каждый занят собой, все давно пересказано,

нового нет. Мишка лежит, растянулся на лавке, грустит, подпевает «Разлуку».

— Вот что я, Август, надумал, — говорит Поэт. — Таким людям, как я, бесталанным, ни к чему не способным, одна в жизни надежда — сойти с ума. Большая это награда для нашего брата. То, что в здравом уме не дается, сумасшедшему стоит только руку протянуть. Захотел — и готово: стал царем, мудрецом и гением, сам себя наградил, низвергнул и снова возвысил. Вот уж когда вся жизнь твоя, бери, наслаждайся, никакого отказа.

Август все так же сидит за столом, перед ним куча семечек, он горстями бросает их в рот, жует и выплевывает серую кашу.

— Я думал над этим однажды, — говорит Август, — сел даже книгу писать. По лечебницам слонялся, персонажей из больных подобрал. Все гладко и чинно, работа шла как по маслу. Вдруг являются мне во сне мои герои, шумят, негодуют: «Ты нас исковеркал, не так было дело, наврал про себя, а нас тянешь к ответу…» Не вышел роман — дай, думаю, напишу научную книгу. Стал изучать головную механику, и вдруг это меня осенило: для иного человека безумие — одна благодать, вроде спасения. Случилось, что человеку не повезло, кроют его несчастья справа и слева. Одна беда не ушла — другая стучится, вот-вот задавит беднягу. Были раньше надежды, мечты подпирали. Как бы там ни было, все-таки помощь. Настало время — и нечем больше обманывать себя. Выход один — погибать. Тут мозг берется за дело, распускает фантазию, дает волю мечтам, одна краше другой: ты и такой и сякой, всех лучше на свете, красивей и умней. Величию твоему нет предела, благородства и чести хоть отбавляй. Охота, мол, тебе с чернью равняться, мелкоту всерьез принимать. Не признали? Не надо. Морят голодом? Пусть. Тебя история помянет, твоими монументами покроется страна. Пошло и пошло, — смотришь, свихнулся. Помешался — и радуйся, счастье твое…

— Замолчите вы, дурни! Пустомели! Сороки! Какой вздор развели, трепачи!

Надя, гневная, встает, рвет стихи и бросает их на пол. Кулаки ее сжаты, — она, чего доброго, вытолкнет их вон.

— Вы б заместо брехни руки помыли, лицо ополоснули водой, третий день не умывались. Тоже человек, еще зовется ученым! То был табак, все зельем загадил — и ногти, и губы, и нос. Дал бог, бросил и с ногтем расстался, — мыться не стал, не приучишь его. Хоть бы командир приказал. Товарищ командир! Товарищ командир!

Я с трудом открываю глаза, все мне кажется странным,

нездешним, точно я прогрезил целую вечность. Надя искоса смотрит на Мишку и на Августа, чуть-чуть смеется и облегченно вздыхает: «Ничего не слыхал, слава богу, в другой раз наука — язык придержать, чтоб случаем не рассердить командира». Оба поняли ее и молчат.

— Ну что, командир? — спрашивает Надя. — Скоро пойдем?

Словно в ответ, раздаются шаги, и в дверях появляется Цыган.

— Здоров, командир, здоровы, ребята! — весело трезвонит он. — С дождичком вас! Чего стоишь, Надя, потчуй меня, принимай!

И острые зубы и черные как уголь глаза сверкают, смеются.

Она хочет поставить на стол угощение, но гость не дает ей шагу ступить, — погоди, не надо, он пошутил.

— Ты погоду попотчуй, может, толк какой выйдет, — забавляется он.

Цыган хохочет, еще одна веселая шутка, снова смех. Август усаживает гостя, бесшумно уходит и уводит с собой остальных. Командир и Цыган остаются одни.

— Как живем-можем, товарищ командир? Грызем семена? И то дело, скушно, девать себя некуда. Может, двинем вперед? Га? Три дня просидели, обрыдла стоянка. Белые нагрянут, а то банда какая. Дождик стихает, разгулялась погода, прикажи запрягать.

— А каким большаком поедем? — спрашиваю я. — Их тут два. — Я чуть поднял голову и вопросительно гляжу на Цыгана.

— У нас с тобой, командир, дорога одна: через фронт — в штаб революции. Прикажут вертаться, по тылу гулять — оглобли назад и в дорогу. Им видней, где нам быть и что делать.

Неверная стратегия, на этот счет у меня свои планы. Я щелкаю семечки и спокойно качаю головой.

— У меня тракт другой — к шахтерам, в тыл Краснову и Врангелю. Там рабочие за нами пойдут. У нас будет армия в миллион человек. Мы поднимем народ против белых. Легко ли сказать: через фронт белых на Курск, — а сколько нас ляжет в пути?

Цыган молчит, про себя усмехается. Опять то же самое, ни на грош не сдал человек. Что толку воду толочь, он лучше присядет к столу, с командиром семечки щелкать.

— И охота была дрянь эту грызть! Отведай лучше мои: кабаковые, жирные, только изжарили. Ешь, не жалей, нам хозяйка мешок подарила.

Он насыпает горку семян.

— Не сердись, командир, так не выйдет у нас. Мы ребятам обещали до красных уйти, а ходим по белому тылу. Надоело им

бандой по свету таскаться, охота по-людски в армии служить, чтобы их за людей принимали. Ты слово свое позабыл, ведешь себя ровно Махно, совета не спросишь, бойцов за людей не считаешь. Ты говоришь: «Мы Красная Армия!» Так вот в этой армии командиров сажают по выбору. Ребят не уважишь — они ссадят тебя, возьмут в командиры другого.

Он говорит мягко, без тени угрозы. Бледные губы, способные, казалось, лишь на гнев и иронию, тронуты дружеской лаской. И все-таки меня раздирает гнев, рука цепко хватается за ручку нагана.

— Бунтуешь, Цыган! Копаешь под своего командира! Я пристрелю тебя!

— Стреляй, хоть сейчас.

Мы стоим рядом, один — худой, изможденный, со сверкающим взглядом, другой — широкий в плечах, коренастый, как кряж. Черная борода резко оттеняет страшную бледность лица.

— Тебе убить человека — раз плюнуть. Сережку Кравцова из-за девки убил. Стреляй и в меня, покуда у власти, валяй!

Сережка Кравцов получил по заслугам, я нисколько не жалею его.

В ранний утренний час к командиру вбегает крестьянская девушка — полногрудая, белая, с темными родинками на губах. С глаз ее падают тяжелые слезы, она дрожит от обиды и горя: «Ой, лишенько, боже мій, що він зробив!» Сережка выгнал из хаты ее жениха и, пьяный, ее изнасиловал. «Ой, боже ж мій, боже, як зараз людям в очі я гляну!» Она открывает шею и спину, руки и ноги, они в синяках, исцарапаны, — пусть видит народ, как над ней насмеялись. Она оголяет свое тело, точно после того, что сегодня случилось, нет у нее больше стыда. Сережка спокойно рассказывает, как было дело. Он явился к ней в гости со своей полбутылкой и своей же закуской. Чужого ему дай — не возьмет. Хозяйка его ни на грош не уважила, обозвала мучителем и хулиганом. От досады он водку оставил, не выпил, закуску свою не доел. «Ты девушку обесчестил, — как ты смел ее трогать?» Сережку удивляют слова командира. Это у батьки за грех не считали, и дело ли при бабе конфузить бойца? «Ты позором покрыл наш славный отряд, первый отряд мировой революции. Мы не махновцы, мы — Красная Армия, ни Махно, ни порядки его ни при чем! Отступи, милый, к стенке, скорей шевелись, не заставляй повторять приказание». Пять человек — Годованный, Гмыря, Убейволк, Фортуна и Пробейголова — потребовали ответа за Сережкину смерть. «Нигде из-за баб людей не убивают», «Воюет народ не ради милости божьей». Людей надо уважать, возражал я,

женщин щадить, быть готовым на смерть ради блага народа…

Цыган отодвигает кабаковые семечки и терпеливо продолжает свое:

— Куда ты нас тянешь? На верную гибель? Что значат семнадцать тачанок против армии белых? Ни разведки, ни помощи, хоть разорвись. За Махном идет слава его, ему каждая баба разведчик, а мы тут ровно чужие, кто мы такие — толком не скажешь.

Одной рукой он гладит плечо командира — смуглая, крепкая рука, — другой отводит пальцы, прильнувшие к нагану.

— Мы первый отряд коммунизма! — отвечаю я ему. — Первый отряд мировой революции!

— Ну и все. Кроме названия, ничего больше. Уступай, командир, не артачься, никто не пойдет твоим большаком.

Я стою на своем, революция везде, по ту и по эту сторону фронта. Надо набрать побольше людей и тачанок, создать советский повстанческий отряд.

Как можно такое выдумывать! Сейчас у них крепкие, верные люди, вместе страдали, решают все заодно. Придет мужицкая братия, и их захлестнет. Тем бы только пограбить и гнев — огонек свой — рассеять.

— Не мы ими командовать будем, — кричит-надрывается Цыган, — они нас запрягут! Будет то самое, что у Махно: мы им — одно, а они нам — другое, батько — про анархию, а они — про грабеж, про отруба́, про хозяйство. И батько это давно понимает, прикидывается только, ровно не видит ничего. Давай кончать, командир, охота была переть на рожон. Ну что ж, по рукам?

Рука командира на ручке нагана, не сманишь оттуда ее.

— Не хочешь — не надо, выпей со мной. Злоба спадет, и мне и тебе легче будет. Якось столкуемся, дай нам, Наденька, клюнуть, — зовет он ее, — дай душу отвести.

На столе появляются масло и сало, холодный пирог, самогон. Цыган наливает два полных стакана, мелко режет на ломтики доброе сало и густо посыпает его перцем и солью.

— В добрый час, командир, за наши успехи, за погибель Деникина, за победу рабочего класса…

Он осушает стакан, я делаю только глоток.

— Давай теперь миром кончать, пошли через фронт, поможем себе и ребятам.

— Не выйдет, Цыган, у меня своя мерка. Что решил, то и будет.

Цыган приходит в свирепую ярость, швыряет посуду на пол.

— Врешь! Не обманешь! В пекло лезешь и нас тянешь с собой.

Тебе не победа нужна, нет в тебе этой жилки живой. Думали мы, ты за правду страдаешь, на крыльях с тобой полетим, а ты ползаешь на корячках, выпрашиваешь смерть у врага. И будешь ты один, народ за тобой не пойдет…

Он садится на стул, разводит руками и стонет. Вот незадача, — то шли неразлучно одним большаком, то вдруг разошлись. Что делать, хоть бросай и уходи.

Я спокойно сажусь за стол и как ни в чем не бывало щелкаю семечки. Кабаковые семена — подарок Цыгана — я от себя отстранил.

— Какой же это народ за мной не пойдет? — спокойно усмехаюсь я. — Годованный, Гмыря, Убейволк, Фортуна и Пробейголова? Те, что о батьке сказки сплетают: «Пуля его не берет, пика не колет, сабля как о камень тупится. Ничто ему не страшно, батьке Махно, потому что за крестьянскую свободу дерется».

На мою лукавую усмешку и прищуренный глаз Цыган ехидно отвечает:

— Не от Махно они ушли, а от его банды, ему уже с ней не управиться. И ты ведь от батьки далеко не ушел, его привычку тайком чужие байки подслушивать не бросил. Эх, командир, был конь, да изъездился. Ладно, прощевай, чуть дождик перестанет, поедем, не заставляй нас отсюда без командира уходить.

Он сурово оглядывает Надю и Мишку, дружески кивает Августу и торопится уйти.

Вслед за Цыганом ухожу и я. Отправляюсь на шоссе, долго разглядываю школу и церквушку справа и слева от дороги, отмеряю шагами расстояние между ними. Вернувшись, отдаю Яшке и Мишке приказание пристроить пулеметы на крышах школы и церкви, Августу — спрятать свой «максим» у дороги. Всем оставаться у пулеметов и ждать команды. Если спросят повстанцы, сказать, что приказано быть готовым на случай налета.

Мишка и Яшка скоро уходят, один Август сидит у «максима», собирается с духом что-то сказать. Я делаю вид, что чищу винтовку, и между делом упорно слежу за ним. Вот Август встает, сделал шаг, задержался, махнул рукой и покатил пулемет за собой.

Я снова ухожу, на этот раз в сторону волостного правления, где квартирует Цыган и отряд.

Дождь перестал, северный ветер подул холодком, пробил в тучах брешь, и серые лоскутья расползлись по небу. Земля, покрытая ручьями, сплошным болотом тянулась к реке. Вязкий омут, перемешенный множеством ног, жадно засасывал все в свои

недра.

По узенькой тропке, у мостика, навстречу шла крестьянка. В мужских сапогах, в телогрейке и шали, она ступала уверенно, легко. Я остановился, чтоб ее пропустить, и она вдруг застряла на месте.

— Проходи, молодая, не стой на дороге.

«Молодая» и не думала трогаться с места. Она засунула руку за борт телогрейки и сердито сказала:

— Проходи, командир, не дурачься.

Я узнал ее и смутился.

— Здравствуй, Марфуша, куда ты?

Она отбрасывает на плечи ковровую шаль и надвигает на лоб ситцевый платок.

— К тебе, упрямому, шла толковать. А ты куда? Глаза у нее серые, зоркие, взгляд решительный, колкий, подбородок упрямо заострен вперед. Угловатая, резкая, она шутя говорила, чуть кто за ней приударит: «Полегче, смотри, плечами проткну, наколешься на подбородок».

— Что ж ты молчишь, — не терпится ей, — говори!

Смущенно опускаю глаза и неуверенно ей отвечаю:

— Я к ребятам… по делу.

— Так бы и сказал, пошли.

Мы вначале идем рядом, оба молчим, она по-мужски широко ставит ноги, и я скоро от нее отстаю.

— Не спеши так, Марфуша, постой!

Она стоит, ждет меня, смотрит на небо, на землю и ни разу не обернется ко мне.

— Цыган вернулся сам не свой, — сердито рассказывает она, — стала его расспрашивать — он кипит, не дается. Отозвала я его в сторону, обругала как следует — он и давай мне выкладывать. Просил — ребятам ни слова, не ронять командира, — может, одумается еще. Рассказывай, что у тебя.

Она ступает легко и уверенно, я едва поспеваю за ней.

— Опять воды в рот набрал. Говори, командир! Ты не важничай больно, нужен ты нам, без тебя боязно к красным идти, а неверной дорогой за тобой не пойдем.

В ее манере журить, выговаривать есть сила непостижимая. И в речи и в тоне ничего особенного, а спросит — не скроешь, так и потянет правду сказать. «Железная девка» называл ее батько. Нагрянет она, бывало, к нему на квартиру, отделает его, разнесет и уйдет. Махно посмотрит ей вслед, плечами пожмет и промолчит. Марфуша при всех ему однажды сказала: «Уйду в Красную Армию, буду на советской машине летать и плевать на вас с высокого неба». И на это Махно промолчал.

Марфуше не терпится, она дергает меня за ворот шинели:

— Не упрямься, говори.

— Рассказывать нечего, — сухо отвечаю я, — Цыгану все известно, ваше дело — решать, за кем пойти и от кого отвернуться.

— Погоди, командир, не отвиливай и меня не конфузь. Я обиды тебе не прощу! Что значит «все известно»? Ты мне расскажи: как, почему и отчего?

И серые зоркие глаза, и подбородок, упрямо заостренный, и взгляд, решительный, колкий, настойчиво требуют признания.

— Мне нечего больше прибавить… — так же сухо отвечаю я.

— Слышала, хватит! Дай мне слово сказать!

Она гневно меня обрывает. До чего несносен этот упрямый человек!

— Ты знаешь меня, я люблю справедливость и ничью руку не стану тянуть. Мне правда всего милее на свете. Меня этой правде с колыбели учили. Была у меня советчица — матушка. Не было еще такой справедливой души. До могилы ее не забуду. Высокая — на голову выше меня, — не то что я, мелюзга. Гордая, смелая, против любого пойдет. Архиерею на попа донесла — бесчестным при всех его обозвала. Поп не стал ее причащать, она в церковь перестала ходить. На солнце молилась, на тучи, на звезды. Терпела от свекра, от мужа, от отца, век свой отстрадала за правду. Сил не хватит — уйдет к братьям верст за тридцать, за сорок. Денька два подождет, отляжет у нее от сердца — и вернется домой терпеть, изнывать. И в крови и в веселье одно повторяла: «За справедливость умру хоть сейчас». Такая и я, командир, в нее вся пошла… Понял ты сказ? Теперь о тебе потолкуем. Человек ты хороший, революцию любишь, а вот не пойму: что тебе надо? Открой мне, что у тебя на душе. Твоя правда — бери людей и командуй, веди нас, куда совесть велит.

Ей можно поверить, она не обманет, в трудную минуту покажет себя. Было время, в боях под Бердянском махновская разведка наткнулась на белый отряд. Было их двое — Марфуша и парень лет двадцати. Засели у кузни за локомобилем и стали отбиваться, чтоб ползком пробраться к лошадям. Машина стояла без передних колес, на поленьях, и надо же было случиться, чтобы она обрушилась на ногу парню. Придавило, ни туда, ни сюда, хоть бросай человека. И медлить нельзя, белые их окружают. Марфуша хватает саблю из ножен, рубит ногу у парня и увозит его с собой на коне.

Запомнились и Надины слова: «Марфуша нас не забыла, за командира крепко стоит», «Не допущу до раскола, миритесь — и все».

— Вот что, Марфуша, тебе одной признаюсь, — говорю я ей. — Ты много страдала за правду и меня поймешь. Крепко я думал над этим, и вот она, правда, вся перед тобой…

Она не сводит с меня напряженного взгляда и жадно торопит:

— Ну, ну, говори!

— В нашей борьбе мы бьем врага не одной только пулей и саблей. Мы бьем его духом, верой и страстью, чистотой наших чувств. Мы умеем отдавать свою жизнь, приносить ее в жертву для счастья других. Мы покажем примеры бесстрашия, пусть враги наши видят, как умирают большевики. Много грязи еще… Мы собственной кровью смоем ее…

— Погоди, погоди, это ты в самом деле?

Она засовывает руку за борт телогрейки, ее щеки горят, гнев сводит губы и брови.

— У нас грязи нет, где ты видел ее?

Голос резкий, недобрый, глаза едкие, злые. Напряженная, ярая, она сейчас развернется, налетит ураганом на меня.

— Пусть белые смывают ее своей кровью, у них этой грязи поток! Порют крестьян деревнями, жгут и громят. Что у них в тюрьмах творится! Насилуют, до смерти бьют. Как они, варвары, меня изводили: выжгли звезду на груди, булавки под ногти пускали, — скажи им, где партийный билет. Дуру нашли — проглотила, пусть ищут. Крошку хлеба давали и ничего больше, как хочешь живи. На прогулке, бывало, только и ищешь, чего бы поесть. Шелуху от картошек, бумагу, гнилушку — все лопаешь, только бы жить. Как лошадь кормушку, я подоконник изгрызла. Им своей кровью и смывать эту грязь. Нашу надо беречь, уж если пролить, так для правого дела, чтобы народу польза была. Кому вздумал доказывать! Для белых одно доказательство — пуля и штык! И что за люди у вас на тачанке, намедни Мишка такую же чушь отпорол. «Хорошо, говорит, при наших делах голову свою о камень разбить!» Тьфу, вы какие, с ума ровно спятили. Ты мне вот что скажи: тебе советские законы по душе?

Странный вопрос, — конечно, по душе.

— И ты без всякого готов им покориться?

Не задумываясь, я ответил утвердительно.

— Так вот сказано в уставе Красной Армии: «Воля большинства воинской части для командира обязательна».

Допустим, что так. Что дальше?

— Дай мне слово этому закону подчиниться.

Я догадываюсь, к чему ведется речь, но против ее доводов не нахожу слов.

— А если большинство ошибается, — спрашиваю я, — или находится под чужим влиянием, как быть тогда?

Она некоторое время пристально разглядывает меня и с поразительной мягкостью, которую трудно было ждать от нее, кладет мне руку на плечо и говорит:

— Вас рассудит время… Закон дается для миллионов, грех его подрывать. Наш долг — беречь его, иначе наступит столпотворение.

Возрази-ка ей, скажи, что не так…

Мы входим в просторную, светлую хату. Навстречу несутся звуки гармоники. Внутри дымно и жарко, туча махорочного дыма висит над людьми. С нашим появлением гул затихает и шепот встает из углов. Меня оглядывают точно чужого, никто не подходит, все держатся в стороне. Марфуша о чем-то толкует с Цыганом. Должно быть, обо мне. Послушаем бойцов, за ними последнее слово.

Все умолкли, ждут, что скажет командир.

— Товарищи красноармейцы! — начинаю я. — Говорят, вы мной недовольны, прямо отвечайте, чем я нехорош, кто нас с вами разлучает.

В избе поднимается шум. Каждый спешит о себе заявить и заглушить криком соседа.

— Развешивай уши, будет волынку тянуть! — слышится чье-то злобное ворчание.

— Насчет чего говорить? — ехидно спрашивает другой. — Каким большаком отправляться?

— Дайте мне слово, братишки! — срывает с себя рубаху былой красноармеец и обнажает глубокий шрам на разбитой груди. — У меня три раны, командир, общая контузия. Всего на хозяйство пять процентов боеспособности. Желаю их сдать Красной Армии, положить жизнь за советскую власть… Не хочу умирать на чужбине, прошу направление к своим…

Его одобряют.

Точно в насмешку, кто-то запел под гармонику:

Эх, яблочко
С чужого садочка!
Откомандирил — и пора
До папы, мамочки…

— Не галдите, ребята, — слышится голос Марфуши, — дайте слово сказать!

Из табачного дыма встает ее крупная фигура. Она сбросила телогрейку и ковровую шаль, черные волосы, сколотые в пучок, резко оттеняют ее бледность. Голоса умолкают, все глаза устремлены на нее.

— Дайте слово, ребята. Есть у нас уговор с командиром все споры решать большинством голосов, по законам Советской Республики. Кто за то, чтобы двинуться на север, прорваться к Москве, поднимите руку… Опустите. Кто за то, чтобы пойти другим большаком?.. Никто… Командир благодарит вас, — торжественно провозглашает она, — и подчиняется, скажем ему спасибо!

Глаза ее светились радостью, и я с благодарностью пожал ее протянутую руку. Сиял от счастья и Цыган.

— Разное я про тебя думал, командир, — сказал он.

Еще одна у меня забота, еще один долг перед собственной совестью.

Я призываю к себе Надю и Мишу, усаживаю их и говорю:

— Незачем вам ехать с нами, возвращайтесь домой или перебудьте смутное время где-нибудь здесь. Тебе, Надя, вверяю будущего поэта, без тебя он пропадет. Вы любите друг друга, а где любовь, там и счастье. Береги Мишу, я спрошу с тебя… Смилостивится судьба, и я выживу — обязательно найду вас… Я ведь тоже пописываю стихи, встретимся, Миша, и вдвоем попытаем счастья. Согласны?

Миша пытается возразить, но Надя строго его останавливает:

— Спасибо, командир, за доверие, приказ ваш выполню… Счастливой вам дороги.

Мы обмениваемся рукопожатиями, и тачанки трогаются в путь.

С неба уходят последние тучи, они тают под солнцем, плывут друг за другом стаей причудливых птиц. По земле пробегает легкая тень, она затмевает светлое поле, разрастается вширь до зеленой каймы камыша. Тень спешит дальше, поле мрачнеет — солнце затерто глыбами туч.

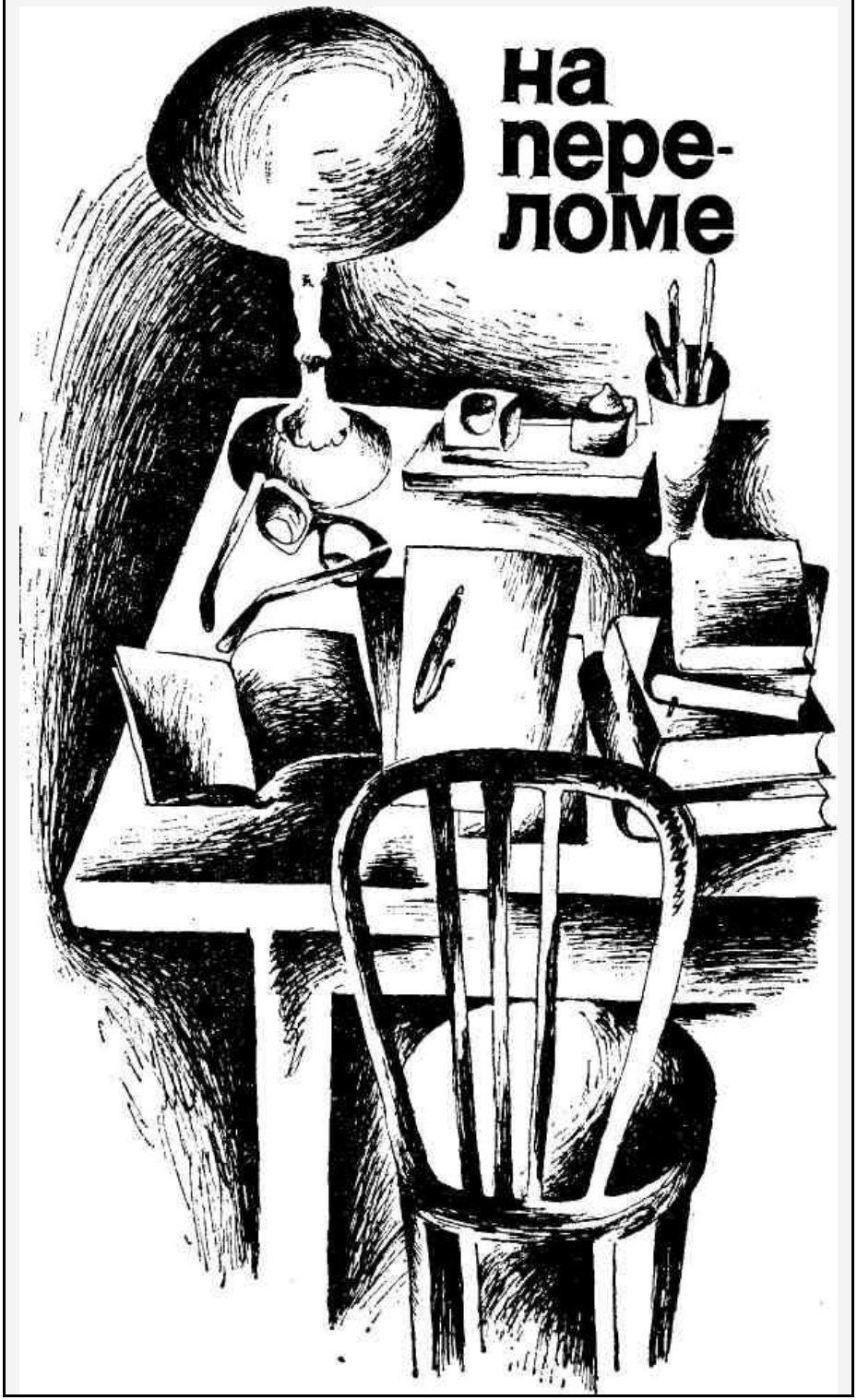
Вдруг краешек земли озаряется сиянием, тень несется назад, тянется вспять и тает где-то вдали.

Осеннее солнышко греет, смеется, разливается нежным теплом.

НА ПЕРЕЛОМЕ

Из трех основ сплетена наша жизнь: из лишений, привязанностей и наслаждений. Нет большей привязанности, чем любовь, нет больших лишений, чем смерть, превыше всех наслаждений муки вдохновенного труда.

Восточная мудрость


на
пере-
ломе

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У каждого возраста свои затаенные горести, слабости, предрассудки и причуды. Старость горюет о том, что с ней в вечность уйдут искусство и знания, добытые нелегким трудом. Исчезнет мастерство, рождавшее восхищение и зависть у искушенных умов. Неужели оно больше никому не понадобится? Как примириться с бессмысленной утратой, забросить ухоженную ниву и зреть, как смерть пожирает ее? Старость жаждет спасти свои подлинные и кажущиеся сокровища, отстоять все, что пригодится живым, не дать тлению поглотить нетленное.

Так ли животворны твои сокровища, чтобы продлить их век? — сомневается вечно бдительное благоразумие. Смерть и забвение порой более благодетельны, чем бессмертие, занесенное в анналы истории… Кто знает, обрадует ли наследников этот дар? Ведь потомкам не впервые платить предкам неблагодарностью.

Быть достойным наследодателем — немалая честь, но всякое ли наследие плодотворно? Сколько лучших побуждений великих умов обращалось в оковы для человеческой мысли? Кто позавидует славе Птолемея, чьи заблуждения затмили разум потомков на тысячу лет, навязав им учение о неподвижной земле — центре вселенной? Сколько откровений, изжитых временем, все еще осаждают сознание людей, хоть давно пробил час их забвения. Всегда найдутся умы — робкие или корыстные, — которым мертвая истина милее живой, готовые высоко вознести пережиток. Им ли не знать, что тело, низвергнутое с большой высоты, ничего от своего падения не выигрывает.

Не лучше ли довериться времени? Ему дана власть воскрешать забытое, возвращать человечеству утраченные сокровища. Правда, иное воскресение порой затягивалось на века и не часто поспевало к смертному ложу творца… Сколько неправедно обойденных имен и дел, навеки забытых! Время, конечно, хранит память о минувшем, бережно отделяет семена от плевел, и все же не грех и времени напомнить о себе. Долг человека — из гостеприимного дома ничего с собой не уносить. Пусть за гробом решают, каково наследие. Такова цель, — лишь выполнив ее, мы вправе спокойно расстаться с собой.

Снова сомнения: о какой цели идет речь? Чьей непререкаемой волей она отпущена нам? Уж не природа ли об этом позаботилась? Мы свое назначение с ней понимаем по-разному. Человек не сын полей и лесов, не обитатель океанов

земного и надземного, он — порождение людей, и лишь те его цели хороши, которые полезны человечеству. Обделенный природой врожденной целью, человек ищет и находит ее, чтобы, следуя ее заветам, не отстать от своего времени и устремлений эпохи.

И у моей старости свои капризы и слабости. Одно время она тешилась тем, что у каждой поры свои радости, а больше всего их у зрелости. Великое просветление осеняет старцев, все ясно и продуманно, загадки разгаданы, и блужданию пришел конец. Благодатные годы! Катон восьмидесяти лет изучал греческий язык, Бернард Шоу в девяносто писал свои комедии. Поделиться тем, что мы в жизни обрели, никогда не поздно, а не доведется — кто из ушедших в вечность не посетовал на то, что многое, увы, не завершено.

Моя покорность року сменилась непокорством и раздумьем. Не рано ли зашла о старости речь? О ней судят по записям в метрической книге, по морщинам на лице, а ведь корни ее глубже. Исподволь хиреет тело, старятся руки и ноги, стройность сменяется сутулостью, где эти спутники увядания: упадок телесных и умственных сил, неуемная жажда покоя, безразличие к судьбам своих и чужих и даже всего человечества? Я по-прежнему тружусь, и не потому, что домогаюсь запоздалой славы, и даже не затем, как уверял Моэм, чтобы облегчить бремя души и тоску по зримой красоте.

Одно время казалось, что с памятью моей неладно, слишком многое от нее ускользает. Верный друг и хранитель словесных богатств мне более не верен, что-то будет? И этому нашлось утешение: в продолжение нашей жизни, рассудил я, умственная деятельность проходит различные состояния: пора юности — когда впечатления осаждают ум и трудно направлять мысли по нужному руслу; другая, более счастливая, — ум постиг искусство отбирать нужное и отсеивать излишнее; наконец, третья, — зрелость и старость, — механизм, приученный чинить отбор, начинает действовать по собственному произволу. Не мы решаем, что следует запомнить и сохранить, за нас решает он, обедняя сокровища нашей памяти. Остальное довершают руки, они хозяйничают на свой лад. Где уж нам запомнить, куда делись нож и очки, когда их прибрали безответственные руки.

Утешившись мыслью, что до преклонных лет далеко и с наследством торопиться незачем, я порадовался и тому, что при жизни еще увижу, сколь долговечен мой дар, завещанный людям. У всякой истины свой короткий век, непогрешимое сегодня спустя пятнадцать лет себя, возможно, изживет, и нечего будет наследовать.

Убеждение долго не продержалось. Из черного хода сознания поползли лукавые советы. Спасать нетленные сокровища действительно рано, но почему историю творческих исканий не написать для себя? Никто, кроме меня, эту летопись не прочитает, я буду единственным читателем ее. Кто знает, не послужит ли она мне на пользу? Взглянуть на прошлое, чтобы заново осмыслить его, — нет лучшей школы на свете. Не значит ли это одной рукой торжественно излагать посмертные надежды, а другой, забавы ради, перелистывать былое, уподобиться Моэму, который, подводя итоги, написал: «Пусть читатель не сетует, если в книге ничего полезного не найдет, писателю нет дела до требования читателя». Неправомерный расчет! Свобода предполагает исполненный долг, возмещение обществу издержек за преподанные знания, за совершенство разума и чувств. Писатель не орел, витающий в облаках, его творчество не праздная разрядка энергии. Его священная обязанность — хранить верность своему времени и взмахом бича или страстным призывом увести заблудшего от ложного пути. И в дни молодости и в старости никто за него не исполнит его назначение.

Не радость зрелых лет удел старости, не самодовольная память о заслуженной славе, а долг отстоять все, что пригодится живым, не дать тлению поглотить нетленное.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В ночь под рождество тысяча девятьсот двадцать четвертого года в одном из клубов Ростова-на-Дону антирелигиозный кружок отмечал наступающий праздник. Огромные афиши у входа и на дверях оповещали, что в семь часов вечера будет инсценирован суд над христианством по литературному сценарию руководителя кружка. Обвиняемые: апостолы Петр и Павел, Мартин Лютер и историк Иосиф Флавий, свидетели — император Нерон и папа римский Павел Третий. Группу свободных пролетариев исполнят статисты.

Действующие лица были подобающим образом загримированы и облачены в духе эпохи. Председательствовал на суде автор своего литературного первенца.

Было зачитано обвинительное заключение, списанное со страниц «Азбуки безбожника», и отмечено в протоколе, что обвиняемые виновными себя не признали. Первыми допросили Петра и Павла. Апостолы утверждали, что никакого Христа они не знали и о делах его не ведают. Судя по обвинительному заключению, это был лжепророк, каких в ту пору встречалось немало. Никаких посланий римлянам, колоссянам и Тимофею они не писали, предпочитая устной проповедью общаться с верующими.

Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола после речи апостолов впал в отчаяние, осудил свои дела, достойные геенны огненной, и назвал себя богоотступником, проклятым во веки веков.

Мартин Лютер разразился проклятиями, призвал громы и молнии на головы иезуитов и их покровителей — римских пап. Да, он содействовал подавлению еретиков-гуситов, альбигойцев, таборитов — вождей движения за свободу — и не раскаивается в этом.

Историк Иосиф Флавий торжественно уверял, что в его книге «Иудейские древности» нет упоминаний о богочеловеке. Он не видел его и ничего о нем не слышал, только отступники и враги Иеговы могли подобной ересью очернить его книгу.

Нерон подтвердил, что велел обезглавить апостола Павла за мятежные призывы к рабам. Ни он, ни какой другой император не поступил бы с врагом олигархов и государства иначе. Казнь свершилась по воле богов.

Крайне вызывающе повел себя пана Павел Третий. Да, он учредил орден иезуитов, такова была воля господа. Во имя Христа и его славы свершались казни, ибо сказано в святом

Евангелии: «Не мир пришел я принести миру, но меч», «…Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью».

Речи папы вызвали раздражение прокурора, и он потребовал, чтобы суд взял под стражу папу и заодно Нерона, дело выделить в особое производство и покарать их, чтобы другим неповадно было.

Когда свидетель Тецель стал уверять, что Мартин Лютер юродивый, судебно-медицинская экспертиза определила, что, хотя обвиняемый и одержим острой формой истеро-невро-психастении на религиозной почве, он все же может нести ответственность за свои действия. Суд был скор и справедлив, апостолы были оправданы, Лойолу и Лютера приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Исполнение приговора было возложено на пролетариат. Под звуки «Интернационала» статисты увели приговоренных.

Продолжительными аплодисментами вознаградили зрители автора инсценировки. О первенце будущего писателя тепло отозвались газета и журнал совета профессиональных союзов. Успех был очевиден, от автора ждали новых свидетельств его дарования.

Следующее сочинение я посвятил временам средневекового папства.

Успех ли вскружил мне голову или скандальная жизнь тиароносцев, насыщенная преступлениями и изуверством, пленила мое воображение, — трудно сказать, героем сценического произведения я избрал папу Иоанна Двенадцатого, убитого после долгой и бесславной жизни супругом, вступившимся за честь жены. Интерес к нему вскоре был оттеснен ярким образом Бонифация Восьмого, любителя отроков, сожителя замужней женщины и дочери одновременно. И его оставил позади папа Урбан, покончивший с двумя соперниками кардиналами и прах иссушенный хранивший в мешках. Всех превзошел первосвященник римский Александр Борджиа Шестой, любовник родной дочери Лукреции, сгубивший двенадцать кардиналов и не меньшее число епископов и мирян.

Трудности для автора начались задолго до того, как кардиналы-заговорщики заодно с ведьмой отравили святого отца. Меня озадачил неизменно повторяющийся словесный ритм в пьесе, схожий со стихотворным. Вот как выглядел диалог ведьмы с римским папой:

> «В е д ь м а. Меня стыдить еще ты смеешь! Ты, тот, который окружен пятнадцатью врачами и аптекой, чей зов покой тревожит всех медиков империй мира, ты

смеешь бедняков лишать врачей своих извечных. Ты нас за то клеймишь позором, что в бедные конуры мы помощь медика несем. Вы недовольны тем, что свой трудом добытый грош бедняк не вам несет, дабы устроили ему молебен вы ненужный…»

Надо же было так плохо подготовиться к высокому званию писателя, чтобы в скверной прозе не распознать белые стихи.

Сознание, что произведение написано белыми стихами, внушило мне тщеславную мысль, будто рукой моей водил сокрытый во мне талант. Сдержанные и холодные оценки пьесы, откуда бы они ни исходили, не могли поколебать моей веры в успех. Истинное творение искусства распознается не сразу. Свидетельств тому более чем достаточно. Счастье не напрашивается в гости, его надо найти и даже поспешить к нему навстречу. Здесь, на Дону, такие люди редки, их естественная среда — столица.

Презрев советы и наставления добрых и недобрых людей, я увез свою пьесу в Москву.

Столица приняла меня, как мне казалось, радушно. Малознакомая женщина приютила на хорах ресторана «Прага», в ту пору еще пустующего, и указала дорогу к Малому театру. Директор любезно взял из моих рук пьесу — в те годы не было еще заведующих литературной частью, — похвалил за старания и обещал через недельку дать ответ.

В условленный день и час я переступил порог заветного кабинета. Директор поспешил встать, ласково усадил рядом и сказал:

— Пьеса недурна. И знаний истории и пафоса эпохи немало, стиль приподнятый, но так и должно быть. Жаль, что мы не сможем эту вещь поставить, она не нашего жанра. Камерный ждет не дождется ее, смело идите к Таирову, только, чур, не говорите, что я вас послал… Это может отразиться на судьбе пьесы.

В Камерном театре директор, не вставая с места, сухо проговорил:

— Я прочел ваш опус, вы не предлагали его Малому театру?

Я вспомнил свое обещание не выдавать директора и покривил душой.

— Сходите туда, такого рода вещи им больше по душе.

Я готов был примириться с отказом, только бы услышать себе похвалу.

— Вам моя работа понравилась? — спросил я.

Он немного подумал и осторожно произнес:

— Я написал бы ее иначе.

Возвращая мне рукопись, директора театров и режиссеры спешили воздать хвалу прекрасному языку и острым драматическим положениям пьесы, которых, увы, и в помине не было, укрепляя мое и без того неуемное самомнение.

Во все времена молва осуждала самодовольство, взывала к скромности и воздержанию. Истинное дарование не рождается на шумном перекрестке и обходится без колокольного звона. Его колыбель должна походить на подземелье алхимика. Одно лишь молва замалчивала: всегда ли неумеренное любование собой — зло? Нетерпимо ли оно и тогда, когда ему счастливо сопутствует воля к труду? Ведь для этого спутника нет преград на свете. Он окрылит надеждой неважное дарование и придаст ему столько твердости и сил, что скованному скромностью таланту не угнаться за ним. Мы никогда не узнаем, кто из прославленных художников кисти и пера явился в этот мир с одним лишь пламенем в груди и кто с тлеющей искрой и неугасимой страстью к труду.

Я поныне не знаю, чего во мне было больше — подспудного дарования или безграничной веры в себя. Достоверно лишь, что с тех дней и поныне я снедаем страстью писать, могу работать всюду и всегда: в поезде, в трамвае, в театре между действиями, непрерывно и с урывками. Прочие радости отодвигались, пока не отошли далеко. Ничто мою страсть не подогревало, ни вино, ни табак, ни веселье в приятельском кругу. И пища, и сон, и спортивные занятия служили одной цели — позволить мне трудиться не двенадцать — четырнадцать, а шестнадцать часов в сутки.

Пока пьеса бродила по издательствам и театрам, я читал лекции на антирелигиозные темы, писал комедии, драмы и заодно компиляцию о правовом положении женщины во всех религиях прошлого. Книжка с рекомендательной надписью Московского губполитпросвета вышла в свет под названием «Женщины и религия».

Последующие пьесы были крайне разнородны и не всегда умещались в рамках религиозных идей или в пределах эпохи. Одни посвящались коварству белогвардейцев и славной деятельности чекистов, другие — эксплуатации рабочих в странах капитала, «заговору равных» времен Великой французской революции и павшему от рук Каляева великому князю Сергию Александровичу.

Эта пьеса, поставленная в одном из театров Москвы, убедила меня, что ни блестяще разодетые царедворцы, ни благородный образ Каляева и его соучастников не могут вдохнуть жизнь в беспомощное творение неопытного сочинителя.

С драматургией было покончено, я дал себе слово не писать больше пьес. Любезности режиссеров и директоров отныне не укрепляли, а расшатывали мою веру в себя. Милая улыбка, поощрительное похлопывание по плечу и словесная болтовня, призванная обмануть бдительность того, кому хочется верить и доверять, — не трогали больше меня.

Почему же пьесы не удались и, разосланные театрам, мало кого пленили? Прежде всего потому, что я занялся делом, не будучи к нему подготовленным. Будь у меня хоть малейшее знакомство с драматургией, я не отважился бы эти пьесы кому-либо предлагать. Из всей гаммы красок на моей палитре были две — всеутверждающая розовая и беспросветно мрачная. Верный худшим традициям, я писал свои пьесы по неуязвимому трафарету борьбы двух начал — добра и зла. Благим — была исполнительная власть, а ее антитезой — бездушный враг революции. Первые выглядели безукоризненными, их настоящее и прошлое взывало к подражанию, тогда как в мрачном обличий вторых сквозили ненависть, злоба и явные признаки душевного распада. Зрителя звали любить носителя благих начинаний и ненавидеть врага революции.

Схематично, конечно, но что поделаешь, я не знал еще тогда, что на авторах пьесы, на артистах, декораторах и осветителях сцены лежит и другая не менее важная задача — увести зрителя от самого себя и его повседневного окружения в мир иных интересов. Краски, звуки и сияние светил, чаще нежный полумрак настольной лампы призваны расположить его к мыслям и чувствам, моральным идеям и новой вере, возможно чуждым ему. Все силы слова и игры направлены к тому, чтобы не дать зрителю уйти из заколдованного замка, где справедливость и истина ждут его участия. Настанет час — и занавес опустится, исчезнет завороженный мир, очарованный странник вернется к себе, но семя брошено в душу и должно прорасти.

Велика заслуга драматурга, утвердившего замок на крепком фундаменте, разбудившего фантазию и благие намерения не для праздных дел. Только людские дела, близкие правде жизни, разумно совмещающие добро и злонравие, позволяют уверовать в себя.

Я многого не знал и долго еще бродил вокруг да около цели. Немудрено, — дольше всех проходит тот, кто не знает, куда идет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мои неудачи в литературе не были случайны. Я недостаточно знал жизнь, вернее — представлял ее себе по-своему. Молодости не дано глубоко осмыслить и познать действительность, и ей остается лишь создавать себе житейские схемы, наиболее близкие ее пониманию. Они несложны, удобны и не оставляют места сомнениям. Какой смысл заглядывать в душу того, кто оплошал, свихнулся или совершил преступление, когда в кодексе чести и законов всему этому уготована расплата? Не мы ли сами предрешаем свою казнь, переступая пределы дозволенного?

Спасительные схемы не оставляют места ни милосердию, ни снисхождению, приговор незрелого сердца неотвратим и жесток. Так соперничают в юной натуре бездушие и легковерие, попеременно замещая друг друга. Как все в этом мире, неустойчивы и схемы, где им устоять под натиском желаний, печалей и страстей. Они восполняются исключениями — детищами опыта, — вместилище становится тесным, не выдерживает напора, и на обломках утверждается широкое и глубокое мировоззрение. Жестокость и милосердие, легкомыслие и постоянство найдут свои места, границы между ними обозначатся раз навсегда.

Эти мысли приходят мне на память, когда я вспоминаю далекие годы гражданской войны и многое такое, о чем хотелось бы забыть, — о собственной жестокости и легкомыслии — неизменных спутниках незрелого ума.

1920 год. Вторая Конная армия под командованием Жлобы после короткого перехода осела в маленьком городке Александрия, вблизи Елисаветграда. Военный трибунал развернулся в небольшом двухэтажном домике, где отдельных комнат было достаточно лишь для председателя Прохватилова, членов трибунала и секретаря. Мы, следователи, разместились где попало по два и по три — в прежних столовых, кухнях и альковах. Дел много, число арестованных растет, и некуда их девать, маленькую городскую тюрьму заполнили до нас проходящие части.

— Вот что, товарищ военслед, — обратился ко мне председатель трибунала, — надо расчистить тюрьму для наших подследственных. Получайте мандат и сегодня же выполняйте приказ.

В документе значилось, что я «председатель тройки по разгрузке домов лишения свободы», однако никого из тех, кто эту «тройку» составляет, я никогда не видел.

Администрация тюрьмы, или допра, как ее именовали, радушно приняла меня, представила осужденным, и началась процедура, о которой сейчас, спустя десятилетия, я не могу вспомнить без стыда. Короткий взгляд на осужденного, два-три вопроса: осознает ли он свою вину, обещает ли в будущем честно служить революции — и недавний грабитель, мздоимец, предатель, убийца, насильник получал свободу. Так как все обитатели тюремного замка были готовы осознать свою вину и посвятить себя служению революции, то спустя несколько часов тюрьма опустела. В одной лишь камере оставались пожилой крестьянин и трое его сыновей. Безразличные к тому, что творилось вокруг, они сидели особняком и о чем-то беседовали.

— Вы что, решили отбыть срок наказания? — шутя спросил я.

— Обязательно, — сказал отец, — пяток лет не вечность, даст бог, отсидим.

Начальник тюрьмы успел мне шепнуть, что заключенные — баптисты. Я не придал этому особого значения и с привычной интонацией повторил свои вопросы: осознают ли они свою вину, обещают ли исправиться и честно служить революции?

Некоторое время длилось молчание, затем один из сыновей — рослый, крепкий, с выгнутым вперед подбородком и огненным взглядом больших черных глаз — не спеша проговорил:

— Вины за нами никакой, стало быть и каяться не в чем. Что касаемо революции, мы не против, как своей земли не было у нас, больше исполу работали.

Странно, подумал я, вины за собой как будто не знают, а срок наказания готовы отбыть. Надо бы их освободить, но как отпустить людей, которые об этом не просят и не проявляют раскаяния?

— В чем вас обвинили? — догадался я спросить.

На этот вопрос ответил отец:

— В солдаты позвали, а мы не пошли. Закон наш не позволяет людей убивать… Против Христова Евангелия не пойдешь.

Предо мной были дезертиры революции, и я не сдержался:

— Вы что ж, белогвардейскую сволочь за людей считаете?

— Все мы дети божьи, — последовал короткий ответ.

Я обошелся с ними как с заклятыми врагами пролетариата, оставил их в тюрьме.

1922 год. Мне предложили вести следствие по делу участников бандитских нападений на советские хозяйства. Бандой руководил офицер царской армии Орлов, сподручными были немецкие колонисты и молодой паренек лет двадцати.

При первом же допросе Орлов отказался от своих показаний в

уголовном розыске, жаловался, что агент спаивал его и в состоянии опьянения предлагал подписывать какие-то бумаги. Что в них значилось, он не знает. Никто протоколов не зачитывал ему.

Я вызвал агента с твердым намерением проучить его, а понадобится — предъявить обвинение в злоупотреблении властью.

Предо мной предстал красивый молодой человек, выше среднего роста, лет двадцати. На нем был щеголеватый, искусно сшитый костюм и модные по тому времени ботинки, начищенные до блеска. Густая темная шевелюра, зачесанная назад, придавала его лицу выражение деловой строгости. Впечатление это продержалось лишь до тех пор, пока обладатель приятной внешности выжидательно молчал. Внезапно прорвавшаяся страстная речь, быстро сменяющаяся мимика и безудержная жестикуляция дочиста смели мое первоначальное представление о нем. Из-за солидной наружности выглянул облик славного малого, весельчака, мастера смешить окружающих, сохраняя неуязвимое благодушие.

— Обвиняемый Орлов заявляет, — начал я, — что вы на допросе спаивали его и в нетрезвом виде вынуждали подписывать протоколы. Верно ли это?

Агент перегнулся ко мне через стол и, не сводя с меня испытующего взгляда, вкрадчиво спросил:

— Вам как ответить, официально или… — последовал жест, который я не сразу понял.

— Выкладывайте правду, я слушаю вас.

— Хорошо, — согласился он, — с Орловым мы действительно выпивали. Мне, конечно, за ним не угнаться, он осушит штоф и не поперхнется, а я тем временем едва со стаканом совладаю. В общем бочонок бессарабского вина мы с ним распили.

Его милая, самоуверенная улыбка меня разозлила.

— Вы всегда так поступаете?

— Как придется, — последовал спокойный ответ. — Признался человек, выложил все без канители, и тратиться на него нечего, заупрямился — и ни в какую, тогда приходится. Опять-таки на всех вина не напасешь. Хорошо, если он после первого стакана заговорил, а ведь другому надо больше.

Его откровенность удивляла и злила меня. За кого этот парень меня принимает? Признаться в преступлении и панибратски усмехаться, — как бы он, чего доброго, не похлопал меня по плечу.

— Вот что, товарищ Катаев, — с недоброй интонацией проговорил я, — по долгу следователя я обязан предъявить вам

обвинение в злоупотреблении властью. Статья, надеюсь, вам известна.

Он вскочил и яростно замахал руками, на лице его отразилось такое изумление, что я невольно подумал, не имело ли место недоразумение.

— Ведь я спросил вас, — с обидой в голосе произнес он, — как вам ответить, вы говорите «выкладывайте правду», — значит, по душам. Как вы легко шьете дела! Когда Женька Катаев голыми руками, один на один, брал Орлова, все было законно. Прикончил бы он меня, прежде чем я показал ему свой шпайер, опять было бы все в порядке. Воткнул бы мне паренек или немец Шмальц ножик в спину, сказали бы: так ему, дураку, и надо, не лезь к бандиту, он не джентльмен, на дуэли без секундантов прихлопнет. Легко вам, следователь, законом прикрываться, а как заставить бандита душу свою выложить? Бить его нельзя, пытки запрещены, не в ножки же ему кланяться.

Мне стало жаль отважного агента, и я прибегнул к моей давно ставшей привычной формуле:

— Я вижу, вы осознали свою вину и в будущем, надеюсь, исправитесь.

Он лукаво меня оглядел и насмешливо отчеканил:

— Рад стараться, товарищ следователь.

Прежде чем отпустить его, я снова его предупредил:

— Узнаю, что вы спаиваете арестованных, — обязательно посажу.

На это последовал ответ, который, увы, оказался пророческим:

— Ни за что, разве только если вы прикажете.

В моем производстве среди прочих было одно дело изрядной давности. Сменявшие друг друга следователи сдавали его преемникам в том же виде, в каком приняли. Из протоколов дознания было известно, что ранней весной двадцать второго года собаки на околице села Ясски отрыли трупы двух женщин. Население опознало в них недавно исчезнувших медицинскую сестру Трауберг и санитарку Соскину. Они прибыли в голодную пору из Одессы и добывали себе средства к жизни шитьем.

Молва приписывала убийство уволенному из ЧК Згаме и некоему подпольщику Боровчуку, однако прямых улик не было. Мне, как и моим предшественникам, не хотелось прекращать дело «за необнаружением виновных», и я решил посоветоваться с мужественным и смышленым Катаевым.

Он выслушал меня и сказал:

— Берусь накрыть виновных в три дня при условии… — он многозначительно усмехнулся и добавил: — В Ясских мой

осведомитель приберег бочонок вина, прикажите его распить — и мы заполучим виновных. Згаму вином не возьмешь, а Боровчука, искалеченного белыми, за стаканом вина уговорим.

Нравственное правило, которому я был так верен, не устояло под напором речей Катаева. Я мысленно себя видел обласканным начальником следственной части и председателем суда, в центре внимания тех, кто считал дело безнадежным, и уступил.

— Ладно, — согласился я, — но уговор: вы ни о чем не спрашивали меня, и я ни на что не соглашался…

— Как принято у нас говорить, — вставил он, — разговор был без слов на «бенемуныс»[18].

Затем последовал уже знакомый мне жест.

Из села Ясски мы возвращались не одни, за нами на подводе следовали участники убийства.

Следствие раскрыло печальную правду. Появление двух женщин у границы Румынии лишило Згаму покоя. Слежка за ними длилась недолго, невинная прогулка их у Днестра, высказанное ими предположение о ширине реки и всякого рода расспросы у населения убедили его, что под видом медицинской сестры и санитарки действуют опытные шпионки. Ретивый Згама образовал «революционную тройку», куда вовлек Боровчука. Приговор был вынесен заочно, без допросов и прочих формальностей…

С тех пор прошло почти полвека, многое не запомнилось, исчезло без следа, а судьба одного из участников нападения на советские хозяйства — молодого паренька — живет поныне в памяти суровым упреком моему легкомыслию и жестокости.

Я приступил к следствию с особым рвением и, хотя все обвиняемые сознались в своих преступлениях и были материалами дознания достаточно изобличены, без всякого повода рассадил их в одиночные камеры. Мне незачем было их щадить, задумываться над тем, хорошо ли, плохо будет им в сырых каменных мешках, — им все равно не уйти от расстрела. Они покусились на завоевания революции, и никому на белом свете не должно быть дела до них. Жалость и сочувствие было бы равносильно соучастию в их преступлениях.

Ко мне стала приходить мать паренька. Она застенчиво стучалась в дверь и, не смея взглянуть на меня, много говорила о сыне. Каждый раз у нее был повод на что-нибудь жаловаться. У ее мальчика слабое здоровье, ему ведь только двадцать лет, и то неполных. По существу, он еще ребенок. Его соблазнили, сбили с толку, где ему разбираться в политических делах… Одиночная камера убьет его, нельзя ли перевести его в общую камеру? Нельзя ли ей взглянуть на него, хотя бы издали?.. Нельзя ли,

нельзя ли… и снова о том же. Я отказывал ей, и она уходила, пожелав мне сил и здоровья. Я не желал в нем видеть паренька, соблазненного и обманутого немецкими колонистами. Предо мной был бандит, посягнувший на благо социализма.

Я не был в ту пору дурным человеком, друзья отмечали мое добродушие и готовность всякому помочь в беде. В театре я с горечью и не без слез следил за судьбой обманутого страдальца; завидев на улице мальчишку с рогаткой, спешил ее отнять. Птицы в ту пору были слабостью моей. Я любил детей и мог подолгу их забавлять, придумывая разнообразные игры. Иным я становился в камере следователя. Верный страж революции, я не мог себе позволить сочувствия к заключенному. Уму моему и сердцу была единственно доступна логическая связь причин и следствий — материалы дела и статья нарушенного закона, — словно за проступками людей не было душевных побуждений и самой судьбы человека.

С той же куцей меркой я воспринял в те годы дух революции, ее глубокую сущность и живительный источник великодушия. Тот, кто проникся ее гуманной сущностью, не сказал бы матери заключенного: «Было бы большей честью для вас отречься от вашего выродка, чем продолжать заботиться о нем».

Много раз в своей жизни я спрашивал себя, почему моя молодость мирилась с жестокостью и легковерием, почему я, чувствительный к преступникам в александрийской тюрьме, так безжалостно повел себя с молодым пареньком.

Спустя много лет я встретился с Катаевым в Москве. Было в этой встрече много утешительного. Я узнал, что осужденный паренек давно на свободе и написал свою первую повесть. Стараниями прежнего агента уголовного розыска начинающий писатель переехал в Москву.

О себе мой знакомый коротко добавил:

— Я больше не Катаев, моя литературная фамилия Петров. Работаю в газете «Гудок» и пробую заняться сочинительством. Профессия мирная, спокойная.

Славы Евгений Петров добился полной мерой. Он стал соавтором таких прославленных книг, как «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» и «Одноэтажная Америка».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В те годы у меня возникло убеждение, что литература должна отражать современность. Как и что именно отражать, я не знал. Действительность, видимо, надо отображать такой, какая она есть, возможно детальней, хотя бы пришлось переступить грани, запретные для печатного слова. Не беда, что произведение будет смахивать на фотографию, на плоскость, лишенную известной глубины, — важно, чтобы объектив не упустил в окружающем ростки здорового будущего. Чем больше таких книг — отпечатков реальности, тем шире выбор назидательных примеров, как жить во славу революции. Трудящиеся усвоят из книг разумное, полезное и, в силу классового чутья, отметут негодное прочь.

С тем же рвением я устремился творить комедии и драмы, писать так называемые производственные очерки. Давались они мне легко и весьма походили на многие подобные сочинения.

Чаще всего из-под моего пера выходили произведения, исполненные революционного энтузиазма, с благополучным началом и счастливым концом. Они свидетельствовали, что огни в сердцах рабочих с большой силой разгораются. Наряду с легким сочинительством среда и время подсказали мне тему первого рассказа. Верный привычной манере и своим убеждениям, я списал его с натуры.

Некоторые обстоятельства привели меня в небольшой городок Хмельник на Украине. Как и многие другие поселения прежней черты оседлости, он был замечателен своим шумным базаром, ежегодной ярмаркой и прославленным замком. Жители не без гордости рассказывали, что здесь некогда высилась окруженная с трех сторон Бугом крепость и турки выдерживали долгие осады украинских казаков. Твердыня со временем стала опорой украинцев против турок и поляков. Упраздненную крепость приобрел владетельный феодал, а после неудачной русско-японской войны ею владел адъютант генерала Стесселя. Этот взбалмошный помещик вздумал воздвигнуть здесь замок в стиле раннего средневековья. В короткий срок за высокой каменной стеной вокруг парка выросло гигантское строение с башнями и бойницами. В нем пережил свой позор разбитый под Порт-Артуром генерал Стессель, тут он умер и похоронен своим адъютантом.

После революции прежний замок стал сельскохозяйственным техникумом, и здесь я услышал от одного из учителей скорбную повесть, ставшую темой моего первого рассказа. Был тысяча девятьсот двадцать шестой год. Я привожу его целиком.

«МАТЬ»

Ее звали «Сура Мудрец». Это была маленькая сорокапятилетняя женщина с живыми чертами лица и неспокойными иссиня-черными глазами. Она всегда торопилась, говорила скороговоркой и, слушая, щурила глаза, точно жмурилась от яркого солнца. Мудрецом ее называли за умение улаживать житейские споры, разрешать нелады между супругами, родителями и детьми, давать советы торговцам, роженицам, брачащимся и больным. Она заменяла в местечке адвоката, доктора, акушерку и раввина.

Ей не платили за труды. Евреи принимали ее услуги как должное. В их глазах она была ниспослана богом для облегчения земных страданий людей. Как некогда пророки, она обходила дома евреев и собирала доброхотные даяния, принимала без благодарности, как награду за общественную службу.

Сура жила на краю местечка, у самой реки, в черном, покосившемся доме, крытом камышом. Сорок лет в этом просторном помещении был хедер, еврейские дети изучали здесь Библию и Талмуд у ее деда, отца, мужа и сына. На бурьяном поросшем дворе ребята резвились, подхлестывали кнутом юлу и воевали с помощью самодельных луков. Отец и муж Суры давно лежат на маленьком кладбище, она часто навещает их и не забывает оставить на могиле цадика записку с просьбой продлить жизнь ее любимого сына. Никто этого знать не должен, и она прячет записку под грудой выцветших бумажек, накопившихся за много лет.

Сына звали Нухимом. В те годы, когда он разучивал с детьми Библию в хедере, а по пятницам заливался нежными мелодиями праздничных молитв, к имени его почтительно прибавляли «реб», но с тех пор, как он распустил учеников и занялся бог весть чем, его зовут Нухим или «сумасшедший Нухим». Некоторые извлекли на свет божий его фамилию и с насмешкой называют «товарищ Дрейкоп».

Напрасно прежнего меламеда пытались вернуть на путь истинный синагогальный староста, кантор и раввин, члены общины, почтенные евреи, правнуки цадиков. Он был непреклонен. Никто толком не знал, чем занимается прежний меламед. Поговаривали, будто он злоупотребляет кабалой и по ночам связывается с потусторонним миром, ищет одну из семи тайн, известных только богу. Досужие люди пытались выведать у матери, над чем мудрит Нухим, — и тщетно. Сура вскидывала руки к небу и горько улыбалась.

— Откуда мне знать, разве он скажет? Боже, за какие грехи

послал ты мне сына — разбойника и кровопийцу! Знал бы отец, что стало с его любимцем, — он перевернулся бы в гробу. Дедушка, да откроются пред ним врата рая, был набожным и честным евреем, отец — безгрешной душой, а он сущий сатана, петля на шее бедной матери. Я говорю ему: брось, больше того, что сделали наши цадики, ты не сделаешь, грешный человек, где тебе до чудес, — а он…

Евреи выражали ей свое сочувствие, внутренне довольные, что их дети не похожи на отступника Нухима.

Таинственная деятельность прежнего меламеда заинтересовала заведующего школой. В маленькой комнатке, тусклой и тесной, он увидел смущенного Нухима за столом, уставленным инструментом, коробочками с винтиками, колесиками, и рядом горестно плачущую мать.

Сколько местечковые проныры ни подглядывали, они ничего не узнали, потому что Сура была мудрее их. Завидев кого-нибудь у своих дверей, она с горькими причитаниями бросалась ему навстречу:

— Войдите, прошу вас, взгляните на человека, который заживо родную мать в могилу гонит. Так целыми днями и ночами сидит он, не про вас будь сказано, словно в болячках. Что ему мать и люди, я святая, если все выношу.

Непрошеный гость уходил, Сура закрывала дверь и нежно-нежно, словно про запас у нее был другой голос, упрашивала сына.

— Сердце Нухим, ты ничего еще сегодня не ел, отведай куриную печеночку. Покушай, родной, я прошу.

Пока сын ел, мать извлекала из своих тайников огрызок яблока, остатки компота или сушеную сливу. Осторожно, едва слышно, точно опасаясь вспугнуть его аппетит, она придвигала тарелку, бесшумно уходила и возвращалась.

— Я просила тебя, душенька, надеть чистые носки, твои уже очень износились. Штопка вышла на славу. У тети Рейзл я достала такого же цвета нитки, и, поверишь, носки будто новенькие. Переодень, сынок.

Голос матери спадает до шепота, никто не должен ее услышать, не то, храни бог, ее перестанут уважать и кормить. Тете Рейзл она сказала, что нитки нужны ей самой, у мясника выпросила печеночку для больной.

После обеда Сура собирает со стола объедки и отдает их любимице сына — беленькой кошке, иначе, не ровен час, молчаливый добряк отдаст белой обжоре свой ужин.

На долю Суры выпало тяжкое испытание. Скрывать любовь к сыну нелегко, но что поделаешь, людей трогают слезы вдов, сирот

и не радует счастье ближнего. Напрасно только друзья и недруги считают ее несчастной, она счастливей других, и, возможно, самого Ротшильда. Да будет им ведомо, она, Сура, не променяет свой бедный домик на графские палаты. Десять миллионов евреев ежегодно молят бога не оставлять их без утешения на закате дней, — ее, Суру, это не страшит, она без горя проживет свой век. Много ли надобно женщине, похоронившей пятерых сыновей и мужа? Любви? Славы? Ей нужен сын, который любил бы ее. Молодежь все больше разбегается из местечка. На чужбине они забывают своих отцов и матерей, родители старятся от горя и забот, умирают, и некому произносить заупокойную молитву. Что стало бы с ней, если бы Нухим покинул ее? К счастью, этому не быть… Так думать грешно, но бог должен ей простить.

Сура не походила на нищенку, всегда чисто одетая, вымытая и причесанная, она многим нравилась, и будь на то ее желание, давно была бы замужем, но зачем? Мало ей любви сына? Есть ли большая радость на свете, как слушать его речи, планы, надежды… Наивные люди и впрямь поверили, что она не знает, чем занимается ее сын. Нухим хочет изобрести часы, которые, раз заведенные, никогда бы не останавливались. Текут же реки сотни лет без остановки, не выходит же море из берегов, вертится же земля спокон века вокруг солнца.

Провизор Яков Моисеевич все пронюхал своим длинным носом и не оставляет Нухима в покое, называет фантазером и еще каким-то чудным именем. Нухим горячится, умоляет, сердится, а провизор повторяет, что перпетуум мобиле доведет парня до сумасшедшего дома. Суре больно это слушать, но она виду не подает, что поддерживает сына. После ухода провизора Нухим, бледный и возбужденный, долго шагает по комнате, доказывает не то себе, не то четвероногому другу, что Яков Моисеевич неправ, роется и тычет пальцами в отдельные части механизма.

Когда провизор впервые закрыл за собой дверь, сердце матери не вытерпело:

— Прошу тебя, Нухим, выслушать притчу.

Не ожидая его согласия, она рассказала:

— Когда бог создал свинью, она взроптала: «Господи, льва узнают по страшному хвосту, волка по зубам, медведя по лапам, как распознают меня?» — «По одному звуку твоего голоса, — ответил бог, — повадкам твоим позавидуют многие, и склад твоей натуры станет примером для них». Якова Моисеевича я узнала по голосу и повадкам, по натуре разгадай ты его.

На следующий день Сура явилась к провизору и сказала:

— Позвольте мне рассказать вам притчу… Когда бог создал свинью, звери взроптали: «Господи, зачем ты создал это грязное,

отвратительное животное?» — «Люди, созданные по образу и подобию моему, — ответил предвечный, — нередко предпочитают мразь и блуд добру». — «Запрети им!» — завопили звери. «Зачем, — ответил бог, — пусть каждый радуется жизни, как ему вздумается». — «А если они вздумают отступиться от тебя?» — «Если это доставит им удовольствие, — сказал всемогущий, — пусть…»

Аптекарь несколько раз потрогал свой нос и многозначительно произнес «понимаю». Это была их первая и последняя беседа, Яков Моисеевич как ни в чем не бывало продолжал навещать и терзать Нухима. Сура уверила сына, что, даст бог, все уладится и назло врагам имя его прославится на весь мир. Она приводила примеры из жизни мудрецов, доказывала и убеждала. Мятежный сын успокаивался и со счастливой улыбкой уверял ее, что анкерный спуск уже готов, маховик баланса заканчивается, осталось скопировать ходовое колесо, и вечные часы готовы. В мечтах его дивное творение сияло всеми цветами райских садов, носилось в межпланетном пространстве, прорезало миры, океаны, служило путеводной звездой человечеству.

Сура радовалась и смеялась, целовала сына, а он, счастливый, мечтал о том, как откроет мастерскую, купит матери атласное платье, а себе костюм. Они переедут в большой город, подальше от Якова Моисеевича и других завистников. Ей не придется жить на чужих хлебах…

Она улыбалась, делала вид, что мечтает о том же, но думала при этом другое. Богатые дети забывают родителей и только в беде вспоминают о них. Лучше, когда дети живут щедротами отцов и матерей… Ее не обмануть, она мудрец. Сура знала, что сын вечных часов не изобретет, но пока он будет над ними трудиться, нужда крепко и надолго привяжет его к ней. В этом заключалась ее тайна.

* * *

Случилось это в конце лета. Солнце растаяло под безнадежно серым небом, и местечко захлебнулось в дождях. Изрытые канавами улицы тонули под мутной жижей, стекавшей со дворов и переулков. Евреи озабоченно выглядывали из своих окон и думали осеннюю думу. Преподаватели и преподавательницы с выводком учениц жались под распахнутыми зонтиками, едва вытягивая ноги из размякшей почвы. Перед лицом ненастья несколько многосемейных петухов забыли свою извечную

неприязнь и столпились у разбитого сарая, грустно взирая на обезлюдевшую землю.

В дом Суры постучались, и вошла промокшая от дождя девушка в мелких хлюпающих галошах, с малиновым зонтиком в руке.

— Нухим дома? — спросила она.

— Дома, — ответила Сура, — разденьтесь, иначе вы, избави бог, простудитесь.

Девушка сняла галоши, тряпкой вытерла мокрые ботинки и прошла в спаленку, где Нухим работал.

Глупое сердце, почему оно томится и трепещет, разве сын ее монах и к нему не могут приходить девушки?

Сура смотрела из окна на бледный, безжизненный день, на небо, тяжестью нависшее над землей, и дома евреев казались ей болячками, покрытыми струпьями. Какие дурные мысли одолевают ее, не лучше ли подумать о боге. Близятся праздники рош-гашоно и иом-кипур, предстоит дать отчет за прожитый год, раскаяться в грехах… Она обманывала, лгала, творила зло, допустила, чтобы Нухим стал безбожником… Этот грех падет на нее.

Разве мыслям прикажешь? Ей мерещится уже выбеленный, празднично убранный дом, ситцевые занавески на печке и окнах, дорожки на глиняном полу. Она сидит с Нухимом за столом и ест пахучую рыбу. Он слушает ее новости, смеется и радует сердце матери… Весна, пасха, она в почти неношеном платье, а он в новом шелковом картузе. Ей кажется, что они королевская чета и дом их полон слуг. Далеко за полночь их навещает пророк Илья, и в сладкой тиши пасхальной ночи душа мужа и отца витает над ними.

Девушка ушла. Сура приоткрыла дверь и застала сына в глубоком раздумье. Кошка, свернувшись на стуле, дремала.

— Кто эта девушка, Нухим?

Он не ответил. Мать сделала вид, что вытирает пыль с поблекшего комода, и добавила:

— Тебе передавал привет Хаим… Он обещал побывать у нас.

И на это не последовало ответа.

— Я уйду, Нухим, тебе ничего не надо?

— Нет.

На следующий вечер, когда хмурое небо все еще покрывало землю мутно-грязными ручьями, девушка снова пришла со свертком книг под мышкой.

Заметив, как плотно она прикрыла за собой дверь, Сура вспылила.

«Какая дерзость, перед самым носом хозяйки хлопать дверью.

Мало того, что она отрывает Нухима от дела и наносит грязи в дом, она топает ногами, как в трактире. Бесстыдница!» Хоть бы матери постеснялась, лезет, как солдат, напролом. Боже, какое счастье, что у нее сын, ведь дочери сущее испытание.

Пока за дверью велся едва уловимый разговор, извечный враг евреев — дьявол вел борьбу с добрым ангелом-хранителем Суры. Они спорили за душу матери по всем правилам небесной диалектики.

— Ты не должна с ума сходить, Сура, и пятнать честь твоего дома. Сын твой чист, как голубь, никакая скверна не коснулась его.

— Ты хочешь быть умней самого бога? Тебе ли судьбу переиначить, если такова его воля? Смотри и молчи, никто не может знать, где его счастье.

— Хороши рассуждения! Богу нечего больше делать, как смотреть за твоим сыном. Разве он не передал свою власть родителям?

— Не придавай этому значения, Сура, ни один волос не упадет с головы Нухима без воли всевышнего.

— Если ты забудешь назначение матери охранять сына, господь не замедлит за твои грехи покарать его.

Почему она так беспокоится, что с ней? Если бы все матери так дрожали над своими детьми, никогда не пришел бы Мессия. Почему бы им не встречаться, какая в этом беда?

Прошел месяц. По дому Суры блуждали тучи. Кладбищенская тишина внедрилась в его углах, даже кошка целыми днями дремала. Нухим непрерывно читал книги, а Сура томилась, стискивала зубы, чтобы не застонать. Девушка, как скорбное знамение, стояла перед ее глазами. Она разворошила отстоявшееся спокойствие семьи и посеяла горькие сомнения.

Зима пришла с морозами, умертвила и схоронила то, что взрастило лето. Сура подолгу смотрела на землю, саваном окутанную, грезила о солнце и весне. Ей казалось, что она словно тает, последние силы покидают ее. За что ниспосланы ей эти муки? Нухим почти не ест и не спит, сидит с рассвета до поздней ночи за книгами, изредка возьмется за инструмент и тут же оставит его. Она часто застает сына в раздумье, но в таком глубоком, словно душа разлучилась с телом. Грустные глаза, разве их поймешь? Проходят дни, недели, по-прежнему в доме тихо, Нухим молчит.

Зато в вечерние часы, когда приходит девушка, сквозь прикрытую дверь доносится его голос, он взлетает то высоко, до небесных, казалось, чертогов, то падает на землю, как грешный ангел. В дом словно повадился дьявол, голос ее крепок и вертляв,

она душит Нухима своей твердостью и бесовским спокойствием.

Ты обманываешь себя, Сура, не дьявол она, а учительница, знаешь, что она многому училась и не заслуживает твоих упреков. Тебе обидно, что она отнимает у тебя Нухима.

Допустим, но к чему ей мой сын, мало ли юношей в городке, зачем ей счастье бедной матери? Она упадет перед ней на колени и будет молить оставить Нухима в покое. Почему бы не уступить, так ли это трудно?

Нет, Сура этого не сделает: в городке узнают, и ей несдобровать.

Бывает, что в морозный день, когда весь мир словно замер, вдруг выглянет солнце. Оно не греет, едва светит, а обрадованные мысли бог весть куда забредут. Они напомнят о веселой пасхе, зеленой троице, запахнет яркой и сочной травой… Когда Нухим подсел к матери и положил ей голову на плечо, бедной Суре пригрезилось, что от зимы не осталось и следа.

— Мамыню, не сердись…

Сура почувствовала, что сердце ее вырастает и сама она вытягивается, как весенний день.

— Что ты, Нухим, с чего это ты взял?

Они сидели так до петухов, и ей чудилось, что возле нее умерший Ушер — добрый и любимый муж. Она глотает сладкий сок его речей, и несказанная радость греет ее. Уже не впервые, когда она прижимается к сыну и внимает его речам, ей слышится голос покойного мужа… Это очень большой грех, но ведь думает она не по своей воле, разве мысли ее не от бога?

Однажды, очень давно, она сидела так с сыном в облаках вечерней мглы, и припомнилась ей длинная скамья возле печи, Ушер рассказывал о великих мудрецах, их деяниях, и вдруг склонился и поцеловал ее. Это был первый поцелуй. Супруги стыдились своих чувств… Воспоминания согрели сердце Суры, и она крепко поцеловала сына. Дьявол толкнул ее, он и никто другой. Так она привыкла около сына мечтать о муже.

На этот раз Нухим ее огорчил. Он долго каялся, целовал руки и лоб мамыни и тихо, тихо говорил, словно шептал молитву. Он должен ее огорчить, но дело решенное, работу над часами надо бросать, из этого ничего не выйдет. Мешает сопротивление среды. Он еще молод и сумеет исправить ошибку. Надо учиться.

— Это испытание, Нухим, господь испытывает тебя, держись.

— Нет, мамыню, против сопротивления среды сам бог бессилен.

— А чудо? Мало их было во Израиле?

— Чудо, милая, уже свершилось — я прозрел.

— Чем же ты займешься? — с дрожью в голосе спросила Сура.

— Хана Яковлевна советует мне поехать в большой город учиться.

— Хорошее дело поехать, разве мы Ротшильды? Может быть, твоя Хана Яковлевна даст тебе денег?

— Она нас не оставит…

Значит, подозрения ее не были напрасны: эта сорока с малиновым зонтиком собирается ее обворовать. Боже, что будет с ней, несчастной Сурой, если Нухим променяет вечные часы на простор большого города! Он забудет ее или едва будет терпеть в доме. Уехать из городка, променять хлеб на камни, — нет, ее, Суру Мудрец, не обманешь, она поборется еще.

Всю ночь напролет мать убеждала сына не верить людям, осыпала его притчами, поговорками и пословицами, упрекала, хвалила. Можно ли завистникам людям, этим худшим из псов, доверять? Сколько предательств знала история, сколько подлости видела она сама… Подумаешь, Хана Яковлевна, какая пророчица. Кто еще знает, каково ее происхождение и прошлое… Она, Сура, не будет злословить, но неприлично подобным образом искать женихов.

Мать долго еще чернила девушку, пугала сына туманными фразами, но когда стенные часы пробили пять, Нухим поднялся, мотнул головой и коротко сказал:

— Решено, мы едем.

* * *

Сура легла спать, как отступница, без молитвы и до рассвета исходила думами. Утром она, не молясь, позавтракала, молча оделась и целый день пробродила по улицам городка. Вечером — была пятница — Сура не зажгла свечей и не склонилась над ними, чтобы произнести традиционное благословение. В день субботы квартира оставалась неубранной, и евреи видели ее в будничном платье, она тащила из колодца воду, выносила наружу тлеющий пепел и колола дрова. Сура не собирала больше доброхотных даяний и с утра до поздней ночи не выходила на улицу. Уста ее, словно скованные обетом, замкнулись, добрые глаза погасли, как звезды в ненастную ночь. Безразличная ко всему, она целыми днями просиживала в углу. Нухим пробовал заговаривать с ней, но мать отворачивалась или уходила.

Хаим-водовоз, здоровый и плотный еврей, с черной как смоль бородой и горбатым носом, распухшим от нюхательного табака, все чаще останавливался у ворот и голосом, отчетливо слышным по ту сторону реки, начинал приблизительно так:

— Что это значит, Сура, ты хочешь, чтобы твои родственники и друзья сгорели от стыда и позора? Если ты с ума сошла, мы тебя на общие средства отправим в губернию к сумасшедшим. Тебе нравится быть безбожницей, головой об стенку, но зачем делать беззаконие на виду? Жги себе дома огонь, ешь свинину, провались с твоим Нухимом, но не позорь наш городок. Я предупреждаю тебя от имени всего еврейства, что, если не исправишься, мы предадим тебя анафеме и ты крошки хлеба от нас не получишь. Свинье свинячья смерть.

Сура выслушивала водовоза и молча возвращалась в дом. Хаим со злобой отплевывался и вымещал обиду на лошадке.

Иногда в лесу запахнет гарью и повалит дым. Это еще не пожар, сырой валежник может долго тлеть, нагрянет дождь, и огонь погаснет. Бывает и так: ветер из озорства принесет запах гари, а с ним и тревожное опасение — не зреет ли за спиной огонь. Но вот вспыхнуло пламя, взвилось вверх, его очертания пред глазами — и страхи исчезли. Хаим-водовоз не испугался, когда Сура вдруг приблизилась к нему и точно плеснула в него ведро ледяной воды:

— Давно ты, черная ворона, стал божьим стряпчим? Защищаешь его, всесильного, от слабенькой женщины.

Она повернулась к востоку и, словно обращаясь к восходящему солнцу, устремила кверху сжатые кулаки.

— Ты стряпчих присылаешь, старый злодей! Да исчезнет память твоя во Израиле! Пусть слезы евреев падут на твою голову, кровопийца! Грабитель! Разбойник! У меня, несчастной вдовы, оторвать последнего сына, последнюю радость, за что? «Не убий», — а сам убиваешь, «люби ближнего», — а калечишь тех, кто почитает тебя. Убирайся, Хаим, и скажи евреям, что я отступница и от небесного злодея отрекаюсь.

Вечером Сура позвала торговку Гинду и бабку Хаву и вверила им тайну: Хана Яковлевна уже несколько ночей спит в одной постели с заведующим школой и шляется под мостом со старшим братом ксендза. К утру об этом узнало все местечко, и в первую очередь Нухим.

На следующий день Хана Яковлевна как ни в чем не бывало пришла к Нухиму, и снова из-за плотно прикрытых дверей слышался шелест страниц и звон срывающегося смеха.

* * *

Когда дверь комнаты сына поздно ночью открылась, Сура отозвала в сторону Хану Яковлевну, долго рассматривала ее руки

и сказала:

— Оставь мне, Ханеле, твои ногти и несколько волос. У глупой женщины свои приметы.

Девушка рассмеялась, поцеловала ее и оставила маленькие обрезки ноготков и три длинных волоса. Три — не больше и не меньше.

Когда послышалось пение первых петухов, Сура встала с постели, развела в печке огонь и, сжигая маленький сверток, бормотала:

— Господи, пусть сгорит ее сердце, как сгорели ногти и волосы.

За обедом мать склонилась к сыну и сказала:

— Мне снилось, Нухим, что ты снова занялся часами.

— Нет, мамыле, на будущей неделе мы уезжаем. Нас ждут в городе.

Весь следующий день Сура шила себе саван. Когда Нухим ушел, она примерила его, свернула и положила на стол.

. . . . . .

Ее нашли на чердаке мертвой, она повесилась».

Рассказ встретил весьма сдержанный прием.

— Что вы хотели этим сказать? — спрашивали меня.

— Я отразил современность, показал без прикрас самую жизнь.

— Зачем? — домогались узнать дотошные люди.

Издатели хотели узнать: каково отношение автора к персонажам? На чьей стороне его симпатии?

Я смело заявил, что объектив моего фотоаппарата отразил все: и уходящий мир с его мелкими семейными интересами, и ростки нового, порывающие последние связи с мещанством. Но совсем четко обрисована судьба юной смены, но так ли это важно?

Понадобились годы, прежде чем я понял, что объектив должен быть обращен лишь к событиям, характерным для современности. Долг творца — вовремя их увидеть, чтобы не слишком поздно произнести веское слово, приободрить правых и осудить неправых. Не будь я тогда напичкан литературными проповедями не слишком проницательных наставников, мне следовало бы также знать, что художественное произведение должно быть в первую очередь поучительным. Красочные описания природы, персонажей, их характер и внешность, как и замысловатый сюжет, — лишь спутники творческой идеи. Их назначение — примирить непреклонного читателя с целями авторского замысла. Искусству поучения много веков, его

средства обширны и многогранны: и гнев, и смех, и печальные признания одинаково служат ему. За внешней занимательностью и фантастическими упражнениями неизменно следует трезвое назидание.

Первой попыткой следовать этому пути был роман «Буревестник», изданный в 1928 году.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В середине двадцатых годов в стране, оправившейся от послереволюционной разрухи, шло обширное строительство, заработали фабрики, заводы, шахты, сельское хозяйство преодолевало последствия недородов и голода, — и художественной литературе предстояло выявить положительный образ советского земледельца, рабочего, хозяйственника, отразить лучшие начинания самоотверженных людей, выращенных революцией.

Это не было единственное направление, но в ряду других именно оно привлекло мое внимание. В новом типе романа помимо производственных проблем решались и нравственные, семейно-бытовые и религиозные. Мне казалось заманчивым показать современность со всеми ее внутренними противоречиями, со всем тем, что сокрыто от постороннего взора.

Следуя избранному мною направлению, я опубликовал роман под названием «Три дня». Он отвечал всем требованиям, казавшимся мне обязательными для этого жанра: шахтеры, добывающие медный колчедан, трудились что есть мочи, разоблачали в своей среде белогвардейца и напряжением всех сил потушили пожар, грозивший шахте обвалом. Автор вылепил положительный образ женщины — начальника горноспасательной станции, развернул конфликт между сознательными и недостаточно передовыми рабочими. Был в романе и нигилист. Эта печальная роль досталась заведующему рудником, человеку во всех отношениях приятному.

Вот один из диалогов с начальником горноспасательной станции:

> «— В камне, Ольга Ивановна, больше души, чем в нас. Это мы безжизненны, мы, люди! Камни поют, камни учат, камни мудрее нас. В них больше тепла, чем в человеке.
>
> — В вас много юмора, — сказала Ольга Ивановна, — предпочитать камни людям может только каменный человек.
>
> — Камни прекрасны, всмотритесь в них ближе: агат, халцедон, яшма, хризопраз, роговик, аметист… Какое разнообразие красок и свойств! Жирные, розовые, молочные, дымчатые… Полюбуйтесь корундом, после бриллианта это самый твердый минерал.
>
> Боровик забыл обо всем на свете; глаза с таким

жаром устремились на предмет его страсти, словно он намеревался растопить камни силой своего внутреннего огня.

— Между мной и минералом мост, я понимаю его, он мой союзник.

— С чем и поздравляю вас, мой союзник — человек, и притом трудящийся человек».

Следующая книга, «Анна Калымова», была посвящена судьбе ткачихи, вернувшейся с фронта гражданской войны, чтобы руководить фабрикой.

Новый поворот в моем творчестве наступил в 1933 году. На смену сценическим произведениям и прозе, насыщенной воинственной гражданственностью или волнением мирного строительства, пришел черед заглянуть в душевный мир человека. Не знаю почему, но из всей гаммы человеческих чувств меня особенно привлекла дружба. Именно о ней — бескорыстной, искренней и доброхотной — хотелось рассказать читателю. Так ли уж мало ее — целомудренной, самозабвенной, величественной в своей первобытной чистоте?

Кто знает, как далеко завела бы меня эта проблема, не будь мое сознание уже в ту пору прочно связано с намерением посвящать свои творческие устремления государственной и общественной целесообразности. Произведение, свободное от этого правила, казалось мне немыслимым.

Поиски идеальной дружбы в трудовой среде казались мне делом несложным. Всюду было более чем достаточно прекрасных людей, готовых испытать любые лишения ради блага других. Я и сам неоднократно наблюдал, как самоотверженно друзья помогали друг другу, отказывая себе в самом насущном. Сложней было найти счастливое сочетание производственной обстановки и дружбы, сохранившей свою первозданную чистоту.

Местом действия я избрал завод для обработки никеля и олова, персонажами — рабочих и мастеров. Здесь, у ватержакетных печей, должна была возгореться истинная дружба, чтобы достигнуть необычайной высоты. С техникой производства, ее сильными и слабыми сторонами я быстро освоился, сказался опыт прежних лет. Оставалось выяснить некоторые подробности, весьма и весьма незначительные. Сюжет был мысленно готов, и все-таки я не сумел достичь своей цели. Неожиданно подоспела поддержка мастера цеха. Пожилой рабочий, участник гражданской войны, пригласил меня к себе в конторку, усадил и сказал:

— Дружба — птица редкая, и водится она в глухих местах.

Пришлось мне побывать на высокогорных лугах, где пастухи с весны до глубокой осени пасут свои стада. Не жизнь, а сущий ад, того и жди, что бандиты тебя в пропасть сбросят, а овец угонят, или хищник скотину загрызет. Сунешься овцу спасать — головы не снесешь. Вот где я видел дружбу, другой такой не сыскать. Туда и поезжай, побудешь с пастухами на джайляу — спасибо скажешь.

Ранней весной я скакал уже верхом по горам Киргизии, взбирался по кручам, виснул над пропастью в поисках дружбы и нашел.

Жили-были два пастуха, два друга — Токтосун и Эдигам. Оба мечтали привести в долину овец с обильным весом и приплодом. Молчаливый Эдигам любил слушать мечтателя и поэта Токтосуна, его удивительные легенды и сказки. Так велика была их любовь, что Эдигам, чей долг был по закону кровной мести убить своего друга, дважды спасал дорогую ему жизнь от смертельной угрозы. Напрасно клеветники пытались разъединить друзей, вражда и опасности лишь сближали их. Вопреки всем испытаниям, друзья были признаны лучшими пастухами и награждены подарками.

Повесть «Дружба» была напечатана в журнале «Красная новь» в 1935 году и вышла в свет отдельным изданием.

Снова судьба привела меня в Киргизию, на этот раз по приглашению председателя Совета Народных Комиссаров Исакеева. Снова я искал здесь дружбу и нашел ее на пограничной заставе.

Было время, когда командир отряда Краснокутов Степан и боец Джоомарт в тяжких лишениях изгоняли врага из страны, утверждали у Май-Баша советскую власть. Джигиты из-за кордона ранили Краснокутова, искалечили на всю жизнь. Отгремела гражданская война, друзья снова на заставе, прежний командир — тут начальник заставы. Джоомарт — председатель пограничного колхоза. Не по душе эта дружба врагам советского колхоза, и всходит недоброе семя клеветы. Лжесвидетели неутомимы, подозрения Краснокутова растут, испытанной в борьбе дружбе грозит печальный конец, а Джоомарту — обвинение в предательстве. И все же дружба побеждает. Это было лишь испытание.

Исакееву не привелось эту повесть прочитать. Не увидела повесть и света ни в русской столице, ни в киргизской ее не поддержали. Она была опубликована двадцать семь лет спустя в Москве…

Моему следующему роману «Мечтатель» предшествовали долгие философские размышления о нравственном мире

человека, и всего больше — о природе совести и чести. Как и чувство дружбы, эти моральные категории заинтересовали меня не случайно. Я твердо уверовал, что «общественное бытие определяет сознание», нравственные представления носят печать классового характера и различны у эксплуатируемых и эксплуататоров. У природы этой двойственности нет, слишком односторонни, суровы и убоги ее нормы. Во всем примат силы и ловкости, ни милосердия к слабому, ни верности велению совести. Не позаботилась природа, чтобы моральные основы, подобно инстинктам, стали наследственными.

Мы являемся на свет свободными от нравственных обязательств, хоть и склонны полагать, что совесть — голос наших сокровенных чувств и убеждений. Даже вынужденные под влиянием среды изменить своим правилам, мы не сомневаемся, что остаемся верными себе.

Мало кто еще верит, что наши нравственные представления безначальны и вечны. Слишком часто они обращались в свою противоположность. Никто свою честь не защищает больше с оружием в руках, дуэли забыты, уязвленная обидой девушка не ищет утешения в стенах монастыря, цивилизованные люди не связывают честь женщины с ее целомудрием, — а как дорого эти предрассудки стоили человечеству.

Верные своим понятиям морали и чести, мы не задумываемся над тем, кто их в нас заронил, почему, рожденные одной эпохой, они умирают, чтобы воскреснуть и утвердиться в другой? Наш ли это внутренний голос, отголосок ли извне затмил наше сознание?

И совесть, и честь, и прочие плоды цивилизации благоприобретенны. В них отчетливо прослушиваются голоса матери, бабушки, учителя, наставниц и наставников. Как достались им эти нравственные нормы?

Трофеи были добыты в трудной борьбе задолго до того, как они стали истиной для матери, бабушки и прочих наставников.

Мне показалось интересным проследить за временем и средой, где разуму и чувствам человека внушаются моральные основы, разглядеть их наслоения в движении и противоречиях. Задача была бы по плечу Достоевскому, моего искусства хватило бы лишь на то, чтобы записать чужое признание или стать доверенным того, чья жизнь прошла где-то подле меня. Но где он, этот близкий и вместе с тем далекий подопытный объект? Да и много ли узнаешь от него? Так ли уж часто приходится заглядывать в лабиринты чужих мыслей и чувств? Способны ли мы беспристрастно судить о них? Да и хорошо ли копаться ради собственного удовольствия в чужой душе?

Единственно, кого я в жизни разглядел, чьи правила

поведения мне известны, — был я. В лабиринт моих собственных дум никто так глубоко не проникал, но не ставить же опыт на самом себе? И кому интересна повесть о днях моего детства и юности? Так ли замечательны они? Пусть с ними связаны радости, которые больше не повторялись, но стоит ли к ним возвращаться? Были и горести, слишком тягостные для слабых плеч юноши, надо ли ими омрачать сердца неискушенных читателей?

Сомнения длились долго, и, как всегда, когда желания велики, нашлись веские доводы в их пользу. Ведь не ради восхваления собственных заслуг и славы будет проведен эксперимент. Чем вымышленная история лучше подлинной, достоверность которой бесспорна?

В 1940 году мой литературный самоанализ под названием «Мечтатель» вышел в свет. Он обнимал период от начала начал моих нравственных представлений, заимствованных дома и в школе, до вмешательства внешней среды и первого бунта на стороне сил, враждебных поучениям матери, бабушки и наставников. Вторая часть книги, где события и время привели меня в лагерь революции, лишь спустя четверть века нашла своего издателя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Когда редактор журнала «Наши достижения» Бобрышев предложил мне написать очерк о Всесоюзном институте экспериментальной медицины, он несказанно этим обрадовал меня. Прежде чем я успел согласиться, он поспешил указать, что командировка в Ленинград будет оплачена, а очерк без промедления напечатан.

— На этом материале настаивает Горький, — добавил редактор, — это его инициатива… Я назвал ему вашу фамилию, и он тепло одобрил ее.

Я был еще сравнительно молод, искал встреч со значительными людьми, верил, что общение с ними обогатит мой ум, раскроет неведомые тайны. Наконец, новые знакомства послужат, возможно, запалом для будущего романа.

Дотошный редактор не спросил меня, знаком ли я с той наукой, о которой собираюсь писать. Этим заинтересовались другие, и далеко не из добрых побуждений. Принимая из моих рук командировочное удостоверение, секретарь института, как бы между делом, спросил:

— Вы, надеюсь, врач или научный сотрудник?

Я поспешил разуверить его:

— У меня нет медицинского образования. Думаю обзавестись.

Мой легкомысленный ответ вверг его в недоумение.

— На это понадобится пять лет.

Я повел себя неосторожно, сославшись на Леонардо да Винчи и Пастера, которые счастливо обошлись без медицинского диплома.

Профессор, к которому судьба меня привела, был более категоричен.

— Вы не вправе писать о науке, с которой незнакомы. К добру такая работа не приводит. И зачем это вам? Пусть присылают специалиста, подпишется под статьей кандидат или доктор, и никто пикнуть не посмеет.

Он был уверен, что ученость включает в себя и художественное мастерство.

Некоторые ассистенты, чтобы поставить меня в невыгодное положение, пользовались в своих объяснениях греческой и латинской лексикой. Наиболее честолюбивые излагали успехи лаборатории как свои, не упоминая помощников. Им в голову не приходило, что я обращусь к специальным журналам и тщательно проверю их заявления.

Институт принял меня холодно, тем приятней было в день отъезда из Ленинграда получить от будущего академика Алексея Дмитриевича Сперанского сборник его трудов с трогательной надписью:

> «Александру Даниловичу Поповскому, удачно разрешившему задачу литературного охвата идей и трудов ВИЭМа, от редактора. 5/2-34 года».

Двадцать пять лет спустя, когда моему перу принадлежало уже много книг о различных ученых, почтенные профессора все еще не упускали случая посетовать на то, что у меня нет систематического медицинского образования.

Очерк о Всесоюзном институте экспериментальной медицины был напечатан и послужил новым поворотом в моей литературной судьбе.

Трудно сказать, что больше тогда вскружило мне голову, удачный ли дебют в журнале или приятное сознание, что ученые недооценили моих способностей. Я решил писать биографии замечательных физиологов моего времени. Это тем более льстило моему самолюбию, что никто из писателей до меня, и кстати сказать — после, об этом разделе биологии не писал. Научно-популярная литература ограничивалась трудами микробиологов, хирургов и агробиологов. Оно и понятно, — легче описывать манипуляции с разводкой микробов, поведать о чуде на операционном столе или рассказать о растениях, покорных воле экспериментатора, чем занимать читателя повестью о выделениях желчного пузыря и состоянии собаки с перерезанным блуждающим нервом. Были тридцатые годы — время расцвета физиологической науки в стране, и автору недавних производственных романов нельзя было уклониться от своего долга — не поведать об этих успехах читателю.

Я поставил себе целью проследить, как характер ученого предопределяет форму и содержание научного творчества, и как это сплетение и трудовая среда в свою очередь преображают исследователя. Профессия — вторая природа человека, никому как ей свойственно сокрушать привычные навыки, изменять поведение, давать новое содержание моральным правилам. Хотелось, чтобы это взаимодействие наглядно выступало на страницах книги.

Я вскоре мог убедиться, что писать о современниках нелегко. Не все черты характера и далеко не вся биография ученого — к моим услугам. Кое-что относилось к интимной стороне его жизни, некоторые подробности, иной раз немаловажные, освещали ученого с невыгодной стороны. Малейшая

неосторожность могла повредить репутации. Легко ли мириться с подобными ограничениями? Довольствоваться чертами пристойности, силы и мужества и пренебрегать слабостями и малодушием персонажа, — разве то и другое в характере делимы? Мог ли я пройти безучастно мимо известного ученого, пристрастившегося к вину? Он несколько раз прерывал нашу беседу, чтобы удовлетворить свою жажду из замаскированной в шкафу склянки. В прежние годы он прославился интересными и смелыми теориями и справедливо был избран в Академию наук. Сейчас он не мог больше похвастать успехами. В его лаборатории царил разброд, помощники легкомысленно строчили недостаточно проверенные статьи, а сам ученый все реже экспериментировал.

Другой исследователь, упоенный славой, деспотично обходился с сотрудниками, используя свое высокое звание для подавления их малейшей независимости. Из этого важного научного учреждения не вышел ни один замечательный ученый, и только в отделении института, которым руководил тот же исследователь, выделились интересные люди.

Третий обнаружил склонность к романам со своими ассистентками. Счастливицы сразу же занимали командные места и задавали в лаборатории тон.

Первые же попытки углубиться в характерные особенности ученых вызвали протест и напоминание, что в таком виде рукописи не получат визы для издательства. По правилу, увы, сохранившемуся поныне, персонажи моих произведений должны были собственноручно свидетельствовать, что они находят свой портрет вполне подходящим для публикации. Я все же решил не уступать. В этом меня укрепляла мысль, что почетное звание летописца науки обязывает писателя искать счастливую линию, которая примирит и сблизит литературное и научное начала.

* * *

Есть жизни, невольно напрашивающиеся на сравнение. Их внешний и внутренний мир словно связаны силой незримого единства. И характер и манера творческих исканий, целеустремленность и нетерпимость ко всему, что отводит ученого от цели, удивительно схожи. Та же безудержная страстность, беззаветная верность избранному делу. Годы словно не старят их; как в дни ранней молодости, они полны сил, не чужды радостям любви и знают вкус истинного счастья. Далекие от мысли о смерти, они словно не предвидят ее. Такими были

Тимирязев, Пирогов и Иван Петрович Павлов.

Знаменитого физиолога я в живых не застал. Из рассказов друзей, помощников и письменных признаний ученого я узнал, что с детства и до конца дней своей жизни он питал страсть к физическому труду, привязанность к земле, к просторам степи, любил, как его отец, копаться в саду, в огороде, в хозяйстве, охотно столярничал, токарил и неохотно учился. Воспитанный в неограниченной свободе, он рано полюбил улицу и ее игры. Азартный, подвижной, с сильными руками, как бы созданными для труда, он решительно сторонился душной лаборатории, пропитанной запахами животных. Ему трудно посидеть за книгой, его подмывает схватить лопату, броситься в сад, играть в городки. Где он найдет в себе силы часы проводить за микроскопом? Он будет агрономом, геологом, землемером, кем угодно и ни за что не замкнется в скучных стенах лаборатории.

И этот человек на закате своей жизни признается:

> «Я ничем не интересовался в жизни, кроме лаборатории. А ведь я имел возможность встречаться с учеными, интересными людьми…»

Ни богатство, ни слава, ни радости, доступные другим, Павлова не привлекали. Он бывал в Европе, Америке, в столицах Франции, Англии, Италии, но знакомился ли он там с искусством, памятниками архитектуры и техники, заглядывал ли в музеи, слушал ли оперу, посещал ли театры? Нет, нет, ни Парижа, ни Рима, ни Берлина, ни Лондона Павлов не знал. Эти города для него были единственно тем замечательны, что в них происходили конгрессы физиологов.

Какие же причины привели к такой перемене?

Началось ничем не замечательным событием: мальчик увлекся книгой Льюиса «Физиология обыденной жизни» и возмечтал стать физиологом. Два препятствия встали на его пути: то, что он называл «слепой инстинкт», — неуемное тяготение к физическому труду, неусидчивость, и страсть к подвижным играм, — и второе — он левша. Пока с этими недостатками не будет покончено, о желанной профессии и думать нечего.

Война длилась долго и небезуспешно. В пику «слепому инстинкту» он часами просиживал около подопытных животных, учился терпению и наблюдательности. Физиолог-левша не работник, и Павлов приучал правую руку к делу. Его усидчивость и пунктуальность поразительны. Вся жизнь как бы расписана по часам и минутам, и отход ко сну, и пробуждение, и появление в аудитории и приход в лабораторию. За десять лет работы в Военно-медицинской академии он пропустил одну только

лекцию, и то по болезни. История знала лишь одного столь же пунктуального ученого — философа Канта. Его появление на улице Кенигсберга служило сигналом для жителей подводить стрелки часов. И с преимуществами левой руки было покончено, оперировал он правой рукой. Взявшись левой рукой за скальпель или пинцет, он тут же отдергивает ее, чтобы уступить первенство правой.

Навязав себе терпение и усидчивость наперекор неспокойной натуре, Павлов невольно сделал основным методом исследования наблюдение над животными. Процессы пищеварения выяснялись путем отсчета капель сока, выделившихся из фистулы желудка, закономерности высшей нервной деятельности — измерением выделяемой собакой слюны. Ни в одной физиологической лаборатории подобный метод не сделали бы основным. Противникам Павлова он дал повод утверждать, что прием этот чужд физиологии и скорей характерен для биологии, черпающей свои знания об организме животного из наблюдения.

Еще одно обстоятельство, на первый: взгляд маловажное, предопределило способ и средства исследования ученого. Он страстно любил животных, особенно собак, и, прежде чем стать физиологом, дает себе слово щадить их, обходиться с животными как с людьми: и оперировать и опыты ставить, не причиняя им мук. Это нежное чувство ученый сохранил на всю жизнь. Случится, что у ассистента погибнет от плохого кормления или скверного ухода собака, и возмущению Павлова нет предела.

— Манкируете, милостивый государь, собак изводите! Ламарк из вас не выйдет, — пророчит он испуганному помощнику, — не ослепнете от напряженного труда. Старайтесь пересилить момент, когда вам не хочется работать. Потом будет легче… Не поддавайтесь искушению манкировать обязанностями…

Больных, состарившихся собак почтенный академик лечит сном. Когда старый пес Джой, чей портрет украшает лабораторию, доживал последние дни, Павлов выслушал его, усыпил и ухаживал за ним во время сна. Пять-шесть дней отдыха, сна без передышки, — и Джой встал, словно обновленный. Пролежни зажили, истощенные нервы окрепли. Друзья познаются в беде: старый Джой мог убедиться, что Павлов умеет быть благодарным.

Это трогательное чувство, как и «слепой инстинкт», было причиной того, что наблюдения велись над организмом, в котором жизненные процессы не нарушены жестокой травмой.

Особенности натуры ученого не только предопределили форму и содержание творчества, но и сама она под влиянием

своего детища стала иной. Страсть к подвижной деятельности была покорена, хоть и не совсем.

> «Удовольствие, испытываемое мною при физическом труде, — признавался Павлов, — я не могу сравнить с трудом умственным, хоть все время и живу им. Это, очевидно, оттого, что мой прадед еще сам пахал землю».

Мне оставалось лишь проследить, чтобы преображенный трудом образ и его творческие достижения следовали на страницах моего произведения рядом, наглядно выступая в своей взаимосвязи.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Константин Михайлович Быков многим напоминал своего учителя, — та же, казалось, целеустремленность, страстное влечение к науке, свой «слепой инстинкт», с которым надо ладить и нелегко преодолевать. Твердый, уверенный, не отступающий перед трудностями, он заботится о своих помощниках, слабых поручает сильным, сам готов помочь тем и другим. Он никого не подавляет, каждый делает то, что близко ему. Своими мыслями ученый делится охотно, как и Павлов, он легко раздражается и в пылу гнева всякое наговорит. «Надо работать и верить, — бросает сердитый профессор сотруднику, — сомнение неважный помощник».

И ученик и учитель подвержены были увлечению ранних лет. Одному молодость внушила страсть к химии, столь малопопулярной в опытах Павлова, другой возмечтал о физиологической науке, чуждой его подвижной натуре. Именно в этом общем, как ни в чем другом, сказалось их коренное различие. Ученик не сумел всего себя подчинить желанной цели. Влекомый страстью искать в химии ответы на сложные явления жизни и влюбленный в физиологию павловской школы, он оказался на распутье. Раздвоенность эта нисколько, однако, не тяготила Быкова. Нельзя не побывать на выставке живописи, и обязательно сегодня, завтра состоится музыкальный концерт или станет известно об оригинальной находке библиофила, о новом экспонате в обширном альбоме «Ex-libris». В таких случаях он оставит начатый опыт, чтобы поспеть к букинисту, купить уникум, украшенный редким автографом. Коллекционеры знают его, они не раз убеждались, что за деньгами он не постоит, отдаст последнее за сущую безделицу.

Оттого, что его чувства так обогащены, ему недостаточно содержания без яркого облачения формы. Удачный эксперимент удачен вдвойне, когда результаты добыты остроумной методикой. Форма должна восхищать, рождать любовь и внимание к делу. Во время операции приборам положено блестеть, лежать на столике ровно, по ранжиру. Рабочая комната сотрудников и сами они должны производить приятное впечатление, и чем больше в этом вкуса, тем лучше.

О таких людях говорят, что они двойственны, это неверно, не двойствен он, а множествен.

Много мыслей, много дел, надо всюду поспеть, везде справиться. Он не всегда управляет вещами, они часто господствуют над ним. Ученый рвется к труду, к незаконченной

работе, начатой еще в студенческие годы, дает себе слово предоставить помощников их судьбе, насладиться общением с природой. День ускользает в суете и заботах, приходит вечер и с ним — грустное сознание, что мелочи поглотили еще один день его жизни.

Что делать, как быть? Когда мысль об этом становится невыносимой, он усилием воли запрется в лаборатории, подальше от тревог и забот, и на короткое время прорвется его неуемная страсть. Опыты окончены, выводы сделаны — и он легко расстается с тем, что стоило ему многих усилий. В этой частой смене труда и забот нет возможности обобщить и запечатлеть результаты многолетних исканий. Не потому ли Быков за всю жизнь написал одну только книгу? И по стилю, по форме и содержанию она далеко отстоит от «Двадцатилетнего опыта» учителя.

Из лаборатории Быкова вышло много замечательных работ. Было установлено, что внутренние органы и все системы организма образуют с внешним миром временные связи и безразличный для животного раздражитель может подчинить себе его жизнедеятельность. Это был истинный переворот в науке, и на Международном конгрессе физиологов в Москве заслуга ученого была всеми признана.

На первый взгляд непонятно: как мог Быков, раздираемый влечением к химии и физиологии, бессильный целиком отдаться раз избранной науке, добиться столь значительных успехов? Как ему удалось не затеряться в сонме безвестных помощников и продолжателей Павлова? Уж не набрел ли он на клад и сравнительно легко добился удачи? Нет, успех дался ему нелегко, понадобились годы и десятилетия экспериментов, тяжелого и жестокого труда.

Вот как это происходило.

Быков вовремя понял, что от своего влечения к химии ему не отделаться, надо расстаться с Павловым. Иван Петрович давно убедился, что интересы помощника не совпадают с задачами школы, увлечение химией порой уводит его далеко. Жаль потерять ассистента, превосходного физиолога, но у Ивана Петровича было твердое правило — никого не удерживать.

Педагогический институт, где Быков читал лекции, стал местом его научных исканий, а студенты — сотрудниками. В этом были свои неудобства: будущий школьный учитель в роли исследователя внутренних органов животного — неважный помощник. Единственная надежда, что студенты полюбят новую науку и предпочтут ее педагогике. Профессор привлекает не только студентов, но и медиков. Они готовы опыт лаборатории

применить в своей практике. Для себя Быков избирает тот раздел физиологии, где безраздельно господствует химия. Кровеносная система, выделения почек и печени, сокращения селезенки и кишечного тракта привлекли его внимание на долгие годы. Химия шла рядом с физиологией и служила ей верным подспорьем.

Трудней было подчинить свои увлечения творческой задаче — всем пренебречь ради нее. Этого ему не удалось. Недостаток был восполнен искусством находить себе способных помощников, отличать их среди множества других, внушить им любовь к физиологии и химии. История о том, где и как ученый собрал и создал свою удивительную школу, небезынтересна.

Свою первую ученицу Быков отобрал из студенток педагогического института. Молодая девушка недурно знала литературу и педагогику, меньше зоологию и менее всего физиологию. Ей первой он поведал свои далеко идущие планы.

— Вам известно из курса физиологии, что у внутренних органов своя автономная нервная система, независимая от коры головного мозга — органа, формирующего наше сознание. Допустим, что все это неверно, никакой автономии нет, внутренние органы покорны большим полушариям головного мозга. Попробуем это с вами доказать.

Дерзкие планы ученого не очень удивили помощницу, она была молода и решительна.

— Изучим с вами процесс отделения желчи.

Быков-химик остался верным себе, он недавно лишь установил ряд важных закономерностей, обследуя химические процессы мочеотделения, и следовал далее по намеченному пути.

С другой студенткой была выявлена зависимость селезенки от больших полушарий мозга. Молодой студент, бывший педагог, установил, что кровеносная система образует временные связи с явлениями и предметами внешнего мира через кору головного мозга. Случайное знакомство Быкова со студенткой на ее защите дипломной работы обогатило лабораторию новой сотрудницей. На ее долю выпало изучить химические процессы газообмена в организме и доказать зависимость дыхательной системы от коры головного мозга.

В лаборатории появились биологи, врачи, учителя, хирурги, они приходили решать здесь собственные задачи, приезжали издалека, наслышавшись о чудесах павловской школы, и, как правило, оставались у Быкова.

То, с чем не справился бы беспечный и неусидчивый ученый, воплотила в жизнь школа, воодушевляемая его обаянием и искусством. Для нее у него всегда хватало времени.

* * *

Константин Михайлович Быков принял меня без предубеждения, любезно и просто, познакомил с сотрудниками, стажерами и охотно рассказал о себе, нисколько не приукрашивая всего того, что я уже знал о нем. Предо мной сидел высокого роста, статный мужчина лет пятидесяти с ласковым взглядом больших добрых глаз, и я невольно залюбовался им.

— Я готовлю книгу к печати, — сказал он, — назовем ее условно «Кора головного мозга и внутренние органы». Это чисто научный труд, своего рода трактат. Вам он ничего не даст, попытайтесь сами нас разглядеть…

На вопрос, когда мы встретимся снова, он улыбнулся.

— Свидание это ни к чему, сотрудники расскажут вам больше того, что я смогу вам сообщить.

Его приятная усмешка поощряла меня именно так и поступить. Я вспомнил, с каким воодушевлением и теплом помощники о нем говорили, и понял, что меня ждут его друзья и единомышленники.

Полгода спустя мы снова встретились. Я передал ему свою рукопись и сказал:

— Наибольшее впечатление в ваших исследованиях на меня произвел раздел, истолковывающий механизм действия подсознания и внушения. В какой-то мере и учение Фрейда теперь становится понятным.

Он внимательно меня оглядел и нехотя произнес:

— То, что вы у нас открыли, очень интересно, но мы этим никогда не занимались. Оставьте рукопись, — уже более, сухо добавил он, — посмотрим, что вы написали.

Спустя несколько дней мне вручили ее с надписью Быкова: «Ошибок нет, печатать можно». В книге ученого, вышедшей в свет через несколько лет, о внушении и гипнозе было немало написано.

Двадцать лет спустя я снова вернулся к очерку, посвященному Быкову, на этот раз с иной целью. Мне казалось несправедливым умолчать о прекрасной когорте помощников ученого. Не умаляя значения учителя, хотелось воздать должное тем, кому он был обязан своим успехом. Книга вышла под названием «Пути, которые мы избираем». Ее одобрил в своем предисловии академик Павловский.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

На трибуне Дома ученых стоял среднего роста профессор, лет пятидесяти, с преждевременно состарившимся лицом, изрытым множеством морщинок и ямочек. Он сутулился и нервно подергивал плечами. Роговые очки под высоким, выпуклым лбом закрывали его живые, блестящие глаза, и он казался оттого еще старше. Левая рука лежала на пюпитре, а правой он часто ерошил подстриженные ежиком волосы. В печатные листы доклада он почти не заглядывал. Четкая и ясная речь его, немного суховатая, без достаточной смены интонаций, напоминала лекцию с университетской кафедры. Наставительный тон и спокойствие говорили о многолетней привычке произносить речи перед аудиторией.

Профессор выступал пред высоким собранием ученых и врачей столицы, окруженный президиумом из академиков и известных людей медицины. В ложах сидели писатели и артисты, художники и зодчие, а за отдельным столом — корреспонденты центральных газет. Не всех приглашенных вместил переполненный зал, многие остались за дверью, следя за ходом диспута у рупора громкоговорителя.

Ни торжественность обстановки, ни блестящий круг знаменитостей вокруг трибуны не могли ослабить чувство досады и недоумения слушателей. Докладчик утверждал, что болезнь не извне проникает к нам, наша плоть и кровь сама создает ее, нередко уготовляя себе гибель. Туберкулезом болеет и тот, кто к этой болезни уже невосприимчив. Возбудитель сифилиса может быть обезврежен, а болезнь будет нарастать; прогрессивный паралич не связан с пребыванием спирохеты во внутренних органах и в мозговой жидкости. Холерные вибрионы сами по себе решающей роли в заболевании не играют…

Все это излагалось методически-размеренной речью, без ученых отступлений и ссылок, как если бы эти истины насчитывали тысячелетнюю давность.

Его слушали внимательно, но по шепоту, пробегавшему в зале, и по усмешке на лицах легко было предвидеть, что профессора ждут немалые упреки. Докладчик видел немилость во взорах, недобрые улыбки, пожимания плеч и спокойно продолжал. Только тон его речи стал еще суше, тверже.

— Не будет преувеличением, если я скажу, — разносилась по залу его четкая, ясная речь, — что во все времена люди не были довольны своей медициной. Порой вспыхивала надежда, что вот все прояснится, и, в самом деле, от этих смелых начинаний в

умах и в руках оставалось нечто расширяющее наши познания о болезнях и менялись формы вмешательства у постели больного — не больше. Я объясняю, это беспорядком, царящим в хранилищах медицинских знаний. Мы имеем дело не только с болезнями людей и животных, но и самой медицины. Мало того, что она не все уловила, не везде нашла верные пути, — это не ее вина. Научная медицина не может расти самостоятельно, вне связи с ростом других дисциплин своего века, беда в том, что, раздираемая противоречиями, блуждая в потемках, она на данном этапе неполноценна. Поправимо ли ее состояние или судьба ее скатиться с рельсов науки в область ремесла, искусства или техники — кто знает…

Речь прозвучала как вызов не только науке о врачевании, но и аудитории, заполнившей зал. Это они, знаменитые люди, — неполноценные медики, запутались в противоречиях, в их знаниях царит беспорядок и произвол. И это осмеливается сказать человек, считающий туберкулезных больных иммунными к коховской палочке, а сифилитическую спирохету — безвредной в прогрессивном параличе.

Не меняя тона и манеры выражаться, профессор продолжал:

— Наука довольно быстро преодолевает свои маршруты, но иногда бесконечно долго задерживается на этапах. Чтобы сдвинуть паровоз с места, недостаточно включить рычаг движения, надо еще растормозить колеса. Этого в нашем и во всяком другом деле одной словесной критикой достигнуть нельзя. Необходима работа, и работа особого рода.

Он поучал их, в каждом слове им чудилось назидание, в жестах — самоуверенность. Какая безапелляционность, он смеет задавать им уроки! Ничего, они с ним поговорят, отчитают по заслугам.

— Нашей целью являются не правила, а исключения. С последними, как известно, мы главным образом встречаемся по линии регистрации… Природа не знает исключений и незакономерных актов. То, что мы числим под рубрикой исключений, говорит о неполноценности знания в каждый данный момент.

Зал волновался, большинство отвергало доклад. Никто не считал, что его дела так плохи. Признаться в собственной несостоятельности? Кто торопится с подобным признанием! Нет, нет, никаких тупиков, никаких! Старая история, — всякий раз, когда у медика портилась печень, он объявлял медицину больной и спешил к ней со спасательным кругом. Не без греха, у них бывают ошибки, есть много неясностей в самой дисциплине, но надо видеть и достижения: совершенство диагностики, новые

методы лечения — серотерапию, лизатотерапию, лечение электричеством, ультракороткими волнами, массажем, грязями, переливанием крови, психоанализом, внушением. Он не видит общеизвестных фактов: долголетие человека растет, эпидемии не опустошают больше мир. Если реформы уж так необходимы, то не усилиями этого теоретика медицина будет спасена. Его идеи неверны, необоснованны и лишены достоверности. Тот, кто утверждает, что сам организм навязывает себе болезнь, — неподходящий для науки-человек.

Профессор собрал листы бумаги, привычным движением взъерошил свои ежиком подстриженные волосы и опустился на стул. Он снял очки, протер усталые глаза и, словно сбросив с себя непосильную тяжесть, вздохнул.

Один за другим поднимались врачи и ученые, чтобы оспорить неверные утверждения, резко осудить их. Им рукоплескали единомышленники, недостаточно смелые, чтобы выразить свое мнение с трибуны. Оттого, что две кафедры стояли друг против друга и протесты на одной вызывали немедленный отклик с другой, атмосфера становилась все более напряженной. Профессор не сутулился, держал голову прямо, голос звучал сарказмом и гневом. И жесты не те, в размахе руки, сжатой в кулак, непреклонная воля и сила.

— Эта теория безнадежна, — слышался с левой трибуны голос известного врача, — никакого спасения, выздоровление невозможно! От болезни остаются следы, ранимое место для новых бедствий… Такая медицина не нужна человечеству, она бесполезна!

— В природе много скорбных вещей, — следует иронический ответ с правой трибуны, — одна смерть чего стоит! Никто, однако, из соображения полезности не пытается ее отрицать.

— Это абстракция, — горячится другой оппонент, — не факты, а понятия, чистейшая спекуляция. Ничего реального!

Ответ не заставляет себя ждать, профессор задет обидным замечанием. Столько лет напряженного труда, мучительного раздумья и надежд, — и этакое сказать…

— Помилуйте, о какой абстракции идет речь? Разве мы философы? Мы из трупов животных наворачивали горы, чтобы выскочила мышь…

Возбуждение его нарастает, речь утратила методичность, академическую ровность, стала порывистой и напряженной. Они требуют от него невозможного: показать им процессы, самый субстрат, плоть и кровь того, о чем идет речь. Но разве это вещь из домашнего обихода — банная мочалка, ключ для замка или садовая лопатка? Конкретность можно не видеть и не знать,

достаточно убедиться, что она вытекает из прошлого. Все ли они видели своими глазами? Все ли ощупали? И сущность эфира, и атома, и энергии, и живого белка? Упраздните эти факты: их нельзя видеть и ощущать.

Ему кто-то советует не торопиться с выводом, его труд не закончен, исследование надо довести до конца. Он хлещет противника жестокой иронией, красочным сравнением, умным и беспощадным:

— Что значит доводить поиски до конца? До полной невозможности разобраться в противоречиях и деталях, которые неизвестно когда и для чего пригодятся? Трудиться, хотя бы и бесплодно? Когда на мельнице нет помола, вода течет через ворота плотины и своим равномерным шумом производит в окрестности впечатление рабочего благополучия.

На меня выступление профессора Сперанского Алексея Дмитриевича произвело иного рода впечатление. Не слишком искушенный в сути научного спора, я дал волю своим чувствам. Мне понравилась смелость, с какой ученый отстаивал свои позиции, сама теория, ниспровергавшая основы медицины, и, наконец, облик ученого. Печать оригинальности лежала не только на его научных идеях, но и на нем самом. Наконец, в моем расположении к Сперанскому и решении посвятить его творчеству книгу маячила память о недавней встрече с ним, его великодушный подарок и трогательная надпись на сборнике…

Вот что предшествовало диспуту в Доме ученых.

В 1923 году лабораторию Павлова стал навещать преподаватель Военно-медицинской академии Алексей Дмитриевич Сперанский. В штате он не числился и, как многие другие, с разрешения Павлова, приходил ставить опыты. Было известно, что он работал в Казани прозектором при кафедре нормальной анатомии. Тридцати двух лет его избрали в Иркутске профессором. Через два года он внезапно оставил университетскую кафедру и уехал в Ленинград. В новой среде его приняли не очень ласково, нашли много странностей и между собой объявили чудаком. Карманы иркутского профессора были набиты записками, которые он писал на ходу. По этому поводу шутили, что карманы его содержат идей на целую вечность. Изъяснялся он красочно и остроумно, как будто повторял придуманные на досуге выражения и остроты. В школе, по его словам, он товарищам писал девять сочинений на одну тему, и никто его руки не узнавал. На научных конференциях иркутский профессор охотно цитировал Пушкина, говорил о стиле и даровании поэта, точно выстрел Дантеса еще не прозвучал и неведомый автор нуждался в рекомендации. Спустя много лет,

когда имя Сперанского стало известным, к нему обратился молодой физиолог с вопросом:

— Посоветуйте, Алексей Дмитриевич, литературу, чтобы приблизиться к вашим идеям.

— Читайте Пушкина, — последовал совершенно серьезный ответ.

Не нравилась окружающим порывистость профессора, говорил он и делал все рывками, точно внутренняя напряженность сотрясала его. И еще вызывала улыбку необычная манера выражать удовольствие: чуть усмехнется, вскинет плечами и сделает несколько энергичных телодвижений, напоминающих движение пловца или человека, которому тесно в собственной шкуре.

Стало известно, что у молодого ученого два Станислава и две Анны за военные отличия в бытность врачом перевязочного отряда. Узнали также, что он играет на виолончели и в трудные годы гражданской войны музыкой добывал себе средства к жизни. Киновладелец Донателло, он же Дон Отелло, пригласил в свой ансамбль профессора-виолончелиста, доцента-скрипача и студентку-пианистку.

Поступок этот нашли несовместимым с традициями университета.

— Согласитесь, Алексей Дмитриевич, — убеждали его, — студенты перестанут вас уважать. Профессор топографической анатомии и оперативной хирургии в роли сотрудника увеселительного заведения!

Этический спор был разрешен профессиональным союзом, он снял ученое трио с подмостков кино, как лиц, непричастных к союзу Рабис.

Иркутский профессор понравился Павлову. Он увидел в нем мастера изобретать операции, искусного хирурга-экспериментатора. Даже порывистость, манера внезапно и решительно впрягаться в работу, ставить острые проблемы, не подготовив к ним путей и подхода, нравилась Ивану Петровичу. Он и сам был такой — бурный, увлекающийся, но в свое дело не вносил такой напряженности. Не могло Павлову не понравиться и другое: помощник склонен был видеть в центральной нервной системе основной рычаг благ и бед организма. Присвоение этой системе болезнетворной роли в заболевании впоследствии дорого обошлось Сперанскому.

Диспут в Доме ученых был не первым публичным столкновением противников. Он повторялся всюду, где для этого возникал малейший повод. До известного пункта оба лагеря клялись, что остаются верными общепринятым канонам

медицинской науки. Они согласны, что пребывание возбудителя болезни в тканях организма не всегда предвещает болезнь; что у больного, перенесшего дифтерию, долго еще из зева выделяются дифтерийные палочки; есть немало бациллоносителей, которые не болеют от собственного заразного начала. Верно также, что органы и ткани, перенесшие страдания, в будущем уязвимы и могут вновь переболеть, как бы далеко от них ни отстоял новый очаг болезни.

Из этих бесспорных положений Сперанский делал еретические выводы. Спокон века считали нервную систему чувствительным стражем человеческого здоровья — и вдруг вчерашний друг объявлен союзником болезнетворного микроба. Возбудитель болезни не столь уж опасен, он только зачинает страдание, дальнейшее развивается по особым законам. Иммунные тела, антитоксин могут устранить причину болезни, но не помешать ее дальнейшему развитию. Уязвленная нервная система продолжит то, что начато возбудителем страдания. Этим не ограничится добрая услуга былого стража, он сохранит след недавней болезни и при малейшем неблагополучии повторит минувшее заболевание.

Спорная доктрина обретает немало друзей, лаборатория Сперанского становится отделом и, наконец, институтом экспериментальной патологии. Сюда стекаются ученые и клиницисты, чтобы разрешить свои сомнения, усвоить новое учение. Сперанский взбудоражил страну, заронил беспокойство там, где царили уверенность и порядок. Число его сотрудников растет, многие готовят диссертации во славу нового учения.

Блистательный взлет научной фантазии продержался недолго. Легче оказалось низвергнуть старые методы диагностики и лечения болезней, чем найти им достойную замену. На невинный вопрос, как новым способом лечить больных, следовал туманный совет: вклиниться в замкнутый круг возбужденной нервной системы и прервать пути болезненных рефлексов. Одно время заговорили, что такой прием удался, введенный в организм углекислый висмут прерывает злосчастные пути болезни рефлексов и даже излечивает туберкулез. Эти слухи, как и подобные им, оказались неверными.

Наступило отрезвление. Институт преобразовали в отдел, а когда автор нового учения тяжко заболел, отдел был вовсе ликвидирован.

Книга была написана и опубликована, но я своим трудом был недоволен и никогда его не переиздавал. Восемь раз книга «Законы жизни» выходила новым изданием, но уже без раздела «Механизмы страданий».

Как объяснить неудачу Сперанского? Или рано судить, наука вернется к оставленному учению, чтобы, обогатив его новыми идеями, заново утвердить?

Есть ученые — подлинные мученики. Им неведомы радости творчества, наслаждение от сознания завершенного дела. Они знают лишь муки, беспредельное чувство тоски. За каждой задачей им видится другая, еще более трудная, неразрешимая. Как можно быть счастливым ничтожной удачей, когда так много возможно неудач.

— В течение всей моей жизни, — говорил Сперанский, — я не знал удовлетворения от работы. Я боялся удач, хотя страстно желал их…

Оставленный прозектором при университете, он вскоре разочаровался, анатомия обманула его надежды, никаких тайн ему не открыла. Жизненные процессы надо изучать на самой жизни. Не расставаясь с анатомией, к которой он привязался, молодой искатель уходит в клинику. Живая ткань ему откроет то, чего уже нет у мертвой. Самое трудное — поставить себе цель, природа сама позаботится, чтобы искомое было обнаружено. Он стал превосходным хирургом. Двадцати шести лет он вызывает восхищение ученых, но и клиника перестает его увлекать, жажда понять глубинные процессы нормы и патологии, жизни и смерти не утолена. У Павлова Сперанский нашел то, чего искал, Иван Петрович вдохнул в него веру, поразил своими ясными планами.

В этой удаче таилась грядущая неудача Сперанского. Он оказался в плену у идей, сковавших его предприимчивую мысль. Исключительный интерес Павлова к господствующей роли нервной системы в процессе пищеварения, в сокращениях сердца и в общении организма с внешним миром так овладел помыслами помощника, что он пренебрег другой универсальной системой — гуморальной: током крови, лимфы и секретов желез. Даже изучая циркуляцию этих жидких сред, Сперанский не столько имел в виду выяснить степень их участия в заболевании, сколько — непричастность. Так ли уж важно, много ли, мало возбудителей болезни в крови? Они сделали свое, уязвив нервную систему, дальнейшее уже с ними не связано.

И все-таки труды русского ученого не канули в вечность. Прошли годы — и до меня дошли вести о работах канадского исследователя Ганса Селье, весьма близких идеям Сперанского. Новое учение обошло весь мир, книги ученого перевели на все языки культурного мира, автора провозгласили реформатором медицины.

Одну из этих книг я прочитал и, несколько озадаченный, написал автору письмо. Я просил его сообщить кое-что о себе и

указал, что имею в виду написать о его интересном учении. Из ответа, написанного на русском языке, я узнал, что Селье родился в Вене в 1907 году, отец и прадед были врачами, родитель — венгр, мать — немка из Австрии.

В отдельном пакете я нашел большой портрет ученого с очень любезной надписью. Автор просил выслать ему несколько моих книг. «Несмотря на то, — писал он, — что я не могу хорошо говорить по-русски, я достаточно легко могу читать».

Следующее его письмо было такого содержания:

> «Дорогой г-н Поповский.
>
> Я весьма польщен тем, что вы намереваетесь включить меня в вашу коллекцию биологов и медиков. Посылаю вам отдельной бандеролью мою книгу «Stress of life». Две другие книги — «Профилактика некрозов сердца химическими средствами» и «Очерки об адаптационном синдроме» — переведены на русский язык… Могу вам выслать фотокопию рукописи моей будущей книги «От мечты к исследованию», в ней я суммировал свое философское кредо…»

Я попросил его сообщить мне, известны ли ему труды советского академика Сперанского, весьма близкие учению о стрессах. Ни в следующем письме, ни во многих прочих я ответа на этот вопрос не получил. Время от времени я узнавал, что ученого ждут летом во Франции, Италии и Германии, и что я оказал бы ему честь, написав его биографию.

18 апреля 1966 года Селье сообщил мне, что, по приглашению академика Краевского, проведет четыре дня в Москве, и просил встретить его на аэродроме.

И встреча и беседа состоялась, и на этот раз мне было сказано, что о трудах Сперанского он лишь недавно узнал.

Что же так удивило меня в работах Ганса Селье?

До известного предела они повторяют смелые утверждения Сперанского, что возбудитель болезни только зачинает заболевание, последующее воспроизводится уязвленным организмом, который уготовляет себе страдания и нередко смерть. Что же понуждает его так ущербно действовать против себя же? Неужели неумение отстаивать себя? Или, как полагал Сперанский, болезнь — своего рода рефлекс, которым откликается уязвленная нервная система?

Тут начинается новая страница в истории медицины. Селье доказал, что секреты надпочечника и гипофиза, чье назначение — поражать врага, изливаются не в меру и защита обращается в свою противоположность. Трагедия разыгрывается в гуморальной

системе, но так ли она независима от нервной системы?

Селье начал там, где смерть прервала изыскания Сперанского. Русскому ученому было за семьдесят, пора, когда со старостью приходит и мудрость. Кто знает, не нашел бы и Сперанский в себе сил освободиться от того, что держало его в стороне от гуморальной системы, и бросить пытливый взгляд на гипофиз и надпочечники…

Селье значительно продолжил исследования Сперанского. Но нам все же трудно поверить, что почтенный канадец так ничего и не знал о трудах советского ученого, они ведь печатались за рубежом… Уж слишком схожи основные положения Селье с тем, чему русский исследователь посвятил свою жизнь.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С Александром Гавриловичем Гурвичем мы близко не познакомились. Уж очень он этого не хотел, пришлось его биографию писать заочно. Профессор, положительно, делал все, чтобы отвадить писателя от своей лаборатории. Он строго-настрого приказал сотрудникам не пускать будущего биографа на порог и даже предпринял серьезный демарш в Союз советских писателей. Седьмого мая 1939 года туда поступило его письмо такого содержания:

«В правление Союза сов. писателей

Прошу принять от меня следующее заявление. Несколько времени тому назад писатель Александр Поповский обратился к ряду моих бывших учеников и сотрудников за информацией о моей научной деятельности и личной жизни, заявив, что собирается писать обо мне «книгу».

На просьбу, обращенную ко мне через одного из моих сотрудников, принять его лично, я ответил отказом, подчеркнув при этом, что я протестую против его намерения писать мою биографию. Тем не менее он сумел добиться короткого разговора со мной, причем я снова в самой категорической и резкой форме повторил свой протест и указал на всю недопустимость и неэтичность намерения дать литературный портрет лица насильственно, т. е. при его ярко выраженном нежелании. Выслушав меня, А. Поповский заявил, что тем не менее решил выполнить свое намерение.

О характере его проектируемой книги можно судить по тому, что он собирал у моих сотрудников данные о моей частной жизни, преимущественно анекдотического характера. Мало того, после разговора со мной он выразил свое полное удовлетворение тем, что составил себе ясное представление о моем характере и записал все мои слова и т. д.

Я считаю себя вправе повторить перед Союзом писателей свой протест против бесцеремонного, недопустимого намерения сделать меня, вопреки моему желанию, объектом литературного произведения и надеюсь, что правление Союза не откажется принять меры, чтобы предотвратить выход в свет проектируемой книги.

Профессор Гурвич.

Ленинград, 7/V—39 года.

Ленфилиал Всесоюзного института экспериментальной медицины, ул. Павлова, 12».

Это письмо было переслано мне с запиской Фадеева:

«Тов. А. Поповскому

Посылаю вам для сведения и соответствующих выводов копию письма профессора А. Гурвича…»

Вряд ли кому-нибудь из биографов приходилось нечто подобное решать. В самом деле, вправе ли персонаж будущего произведения отказаться присутствовать на страницах его книги? Отстаивать свою личную жизнь от клеветы и обиды вправе каждый, но разве подозрение, для которого нет еще причин, — повод расточать недовольство и угрозы? Разве обществу не дано, а писатель не обязан знать, что творится в кругах науки, и кто, и как обогащает нас знанием?

Должен ли я был в самом деле считаться с желаниями Гурвича? Разве историкам нужна добрая воля современников, чтобы поведать о них потомкам? Писателю дано право обличать и оправдывать, награждать памятью и предавать забвению.

Я обратился за советом к одному из помощников ученого — врачу-психиатру. Мы встретились в помещении клиники. Врачебная комната выглядела крайне скромно: простой столик, накрытый газетой, два-три стула — и ничего больше. Из палат доносился шум, где-то бесновался маньяк, его унимал надзиратель.

Мы никогда до того с ним не встречались, и он принял меня за родственника больного.

— Вы хотите кого-нибудь проведать, — спросил он, — или вам нужен ординатор?

— Нет. Я пришел с вами поговорить о лучах Гурвича.

Психиатр кивнул головой и внимательно меня оглядел.

— В каких целях интересуют вас митогенетические лучи? Вы клиницист?

— Нет. Я писатель.

— Вряд ли я смогу вам быть полезным, — не без участия произнес он, — нам запрещено давать какие-либо сведения неспециалистам.

— Странно. В научном мире много говорят и пишут об удивительном открытии Гурвича, всем дозволено, — недоумевал я, — почему писателю запрещено?

Психиатр колебался. По натуре это был человек быстрых решений, живой и суетливый, теперь он стоял озадаченный, со смущенно разведенными руками.

— Александр Гаврилович убежден, — признался он, — что литератору нечего делать в лаборатории ученого.

Заблуждение профессора было так же старомодно, как и нелогично.

— Иначе говоря, — не сдержался я от упрека, — наука — достояние специалистов, обществу нет дела до нее?

— Вы напрасно это мне говорите, — защищал ученик себя и учителя, — у каждого свое мнение на этот счет. Профессор считает, что художнику отведена область чувств и образов, в науке его вмешательство бесполезно.

— Бесполезно? И это говорите вы…

— Нет, нет, — перебил он меня, — мои личные взгляды тут ни при чем.

Психиатр невольно выдал себя. Он смутился, хотел что-то добавить, но махнул только рукой.

Надежд на успех становилось все меньше, и я с твердой почвы логики перешел к зыбким доводам сердца:

— Подумайте только, тысячи людей узнают об открытии ученого и проникнутся к нему благодарностью. Его жизнь послужит для некоторых примером. Молодые люди, не помышлявшие о биологии, изберут эту область знания, станут, возможно, учениками и последователями вашего учителя.

— Простите за откровенность, — заметил он тем деликатно-снисходительным тоном, каким пользуются в совершенстве психиатры, — я не думаю, чтобы профессора прельщала подобная перспектива. Последствия литературной сенсации, полагает он, не окупаются десятком увлеченных сердец.

Другой помощник — профессор гистологии — принял меня в ветеринарной академии, где со стены на нас глядел портрет человека лет шестидесяти, в очках, с высоким лбом, быстрым непреклонным взглядом и плотно сжатыми губами. Удивительное лицо, — раз на него взглянув, его нельзя уже забыть. Широко открытые глаза на худощавом лице с жидкой неровной растительностью источали пламень, неуемную страсть и силу. Лицо аскета, фанатика, человека, исполненного нравственной мощи.

Профессор гистологии выслушал меня, сочувственно кивнул головой и сказал:

— Взгляните на этот портрет, мне кажется, что Гурвич весь здесь. Поставьте его перед собой и вообразите, что перед вами живой человек. Его книги, статьи и то, что вам уже известно о

нем, помогут вам гипотетически воспроизвести его облик и в творчестве.

Гипотетический образ! Как далеки иногда ученые от понимания искусства! Ученик одинаково плохо разбирался в средствах художественной изобразительности, как учитель в отношениях между литературой и наукой.

— Чтобы написать книгу об ученом, — не очень дружелюбно заметил я, — надо вникнуть в его внутренний мир, характер, нужна личная и творческая биография.

Мой собеседник сдержанно улыбнулся, я, видимо, не представлял себе болезненную скромность ученого и его нерасположение ко всякой публичности.

Я обратился к директору Института экспериментальной медицины. Тот сочувственно отнесся к моему намерению и поручил одному из сотрудников профессора Гурвича показать мне лабораторию и ознакомить с научными работниками.

В пять часов того же дня меня ввели в помещение, где незадолго до того трудились ученый и сотрудники. Сейчас там никого не было. Тишину нарушали лишь лягушки в обширном аквариуме.

— Что это значит? — спросил я, — Вы привели меня обозревать пустующую лабораторию?

— Время для вашего прихода назначил профессор Гурвич. Он дал мне также указание не проводить вас к нему и, если понадобится, помочь вам советом.

Каким именно советом, он умолчал.

Я не мог доставить Гурвичу удовольствие и скрыть от читателей дело, достойное быть названным великим. Мне помогли его сотрудники, особенно те, кто не сочувствовал его нерасположению к представителям печати, ученые, близко знавшие его, кое-что мне рассказали статьи и книги исследователя и выступления, на которых я присутствовал, будь то на кафедре или в научной среде.

Его лекции студентам неизменно проходили с успехом, давно в стенах университета не слышали таких увлекательных речей, предельно ясных, чеканных формулировок. Правда, голос у лектора не из блестящих, тонкий фальцет, настойчиво рвущийся перейти в крик, слова несутся безудержным потоком, мысли теснятся и обгоняют их. Профессор не очень жалует слушателей, насыщает лекцию гипотезами, не всегда доступными их пониманию. Та же стремительность в выводах, без остановки и промедления. Как блестят его глаза, с каким искусством и воодушевлением спорит он с невидимым противником. Для наглядности лектор не отходит от доски, рисует обеими руками

одновременно. Ему не стоит труда набросать между делом живую картину с безупречными линиями. Он истомил своих слушателей, надо бы остановить этого страстного человека, попросить передышки, непосильно столь многое запомнить, и все же молчание, студенты не ропщут, все искупается яркими идеями, горячей любовью к науке.

Молодой препаратор вспоминает свою первую встречу с беспокойным профессором.

Занятый своим делом в университете, он рассматривал стекла на свет и приклеивал к ним ярлыки, когда неожиданно услышал торопливые шаги по крутой лестнице. Кто-то стремительно поднимался по ней. Для чопорных нравов Московского университета этот топот, лишенный всякой степенности, был весьма необычен. Препаратор оставил работу и выглянул за дверь. Навстречу ему шел незнакомый человек лет пятидесяти, среднего роста и весьма тщедушного сложения. Он спешил, точно между ним и конечной целью лежали километры.

— Здравствуйте, я ваш профессор гистологии. Покажите, что у вас тут есть, — протянув руку студенту, скороговоркой произнес он.

Ученый бегло осмотрел помещение, пофыркал, — то, что он увидел, видимо, мало удовлетворило его, — и спросил:

— Что предполагалось читать сегодня студентам?

Все в этом человеке было необычно, ни внушительности, ни благообразия. Стремительный, подвижной, он жестикулировал, не оставаясь ни минуты в одном положении. Казалось, все в нем до мельчайшего мускула пребывает в беспокойном движении. Мысли его перескакивали с одного на другое, препаратор не успевал отвечать.

— Тема сегодняшней лекции — кишечник.

— Отлично. Когда начало лекции?

— Через пять минут.

— Хорошо, я буду читать.

Странный человек, он будет читать не подготовившись, выступать перед аудиторией экспромтом, о, этот профессор изрядный чудак!

Когда один из студентов явился к нему и предложил себя в качестве помощника, Гурвич в тот момент выполнял в кабинете несколько дел одновременно: вытирал объектив микроскопа, выяснял у сотрудницы результаты эксперимента и мельком заглядывал в какую-то рукопись. Если бы из соседнего помещения, откуда звучала музыка, донеслась фальшивая нота, он, несомненно, успел бы и на это откликнуться. Гурвич был незаурядным пианистом и художником, рисованию он учился в

Италии и ушел из академии, усомнившись в своих способностях. По тем же соображениям он отказался от карьеры музыканта.

Мельком оглядев будущего помощника, профессор задал ему сразу четыре вопроса, не прерывая три собственных дела.

Гурвич и его неизменная помощница жена всегда селились при учебном заведении, институте или лаборатории. Это удобство было необходимо, так как рабочий день начинался у него задолго до лекций, опытов и официальных часов занятий. Независимо от времени года и всего прочего, в восемь часов утра раздавался стук его пишущей машинки. Свои статьи он писал на английском, французском и немецком языках, без черновиков и единой помарки. Диссертации сотрудников он сам переводил, не доверяя переводчикам. При этом собственные мысли Гурвича нередко оставляли глубокий след на страницах рукописи.

Сорок лет мысль Гурвича была обращена к одному и тому же вопросу: что такое жизнь? Где границы ее? Какие импульсы, где и кем порожденные, дают начало этому неведомому процессу? На каких путях формируется жизнь из мертвой материи? Какие силы управляют делением клетки, созидая из капельки протоплазмы сложный организм? В каких тайниках хранится стандарт превращений, которые клетка проходит от бесконечно малого до бесконечно сложного?

Пройдут века, прежде чем последует ответ на все эти вопросы, но то, что Гурвич открыл, не случайная находка, рассчитанная на короткий век. Он установил, что делению живой клетки предшествует вспышка коротких ультрафиолетовых лучей, подобная тем, какие обильно излучает солнце. Далекое, но закономерное родство между ничтожно малым и безгранично великим, как между силой притяжения, сообщаемой янтарю трением, и громом… Вспышка способствует самозарождению и пробуждению жизни вокруг себя. Умирающая клетка вернет природе этот заряд лучистой энергии, чтобы призвать к жизни новые поколения клеток.

Выделение лучей оказалось универсальным явлением: излучают яйца лягушки, костный мозг, сосудисто-волокнистые пучки картофеля, пульсирующее сердце, первые листья подсолнечника, лимфатические узлы позвоночных, кровь человека и животных и многое, многое другое. Всюду, где возникает жизнь, зародыш выбрасывает ультрафиолетовое знамя рождения.

Открытие проникло в клинику, и было найдено, что кровь усталых людей почти не излучает, короткий отдых этот процесс восстанавливает; кровь, облученная митогенетическими лучами, изменяет течение болезни у психических больных; наконец, русло

крови раковых больных не излучает вовсе, ее гасит тушитель, образующийся в организме. Иначе обстоит с раковой тканью, она превращается в мощный источник лучистой энергии.

Ученые Европы и Америки дружно откликнулись на открытие советского ученого, отовсюду шли вести о новых и новых успешных опытах. Открытие Гурвича было признано всем миром. На конгрессе радиобиологов председатель конгресса Маркони торжественно ввел в зал заседаний советского ученого, чтобы продемонстрировать свою приверженность к новому учению и его автору. Гурвич произнес речь на безукоризненном французском языке, и когда газеты воспроизводили его портреты и восхищались докладом — виновник торжества, равнодушный к прелестям Венеции и Рима, мчался уже в Советский Союз. Для него это была лишь хлопотливая поездка, временный переход из одной лаборатории в другую — чужую и непривычную.

Великое счастье делать открытия, но творить их лучами, которых увидеть нельзя, методом недостаточно совершенным, — труд невообразимо сложный. Всегда найдутся причины усомниться и заново проверить себя и других. Ни здоровье, ни годы не позволяют ему медлить, впереди работы на целую жизнь. Помощники разбредаются, оставляют исследования над митогенетическими лучами и следуют за фактами в смежные науки. Нет преемника с твердой рукой и сильного опытом. Словно предчувствуя, что дело, за которое отдана жизнь, может захиреть, он торопит себя и других. Еще стремительней поток его идей, обильней проекты и гипотезы. Не вышло — не беда, и гипотезу перестраивают на ходу. Ни секунды промедления, никаких остановок. Страстный, взволнованный, — ему некогда терзаться сомнениями.

Сотрудник докладывает:

— Я открыл, Александр Гаврилович, что бактерии излучают во время деления.

— Расскажите об этом микробиологам, — следует невозмутимый ответ, — я только гистолог… Советую впредь заниматься собственным делом.

Все, что выходит за пределы его интересов и не укладывается в гипотезе, занимающей лабораторию в данный момент, лишено для него значения.

На этот раз сотруднику повезло, французский ученый из института имени Пастера сообщил Гурвичу новость: он открыл, что в процессе деления бактерии излучают. Профессор не мог допустить, чтобы первенство помощника досталось другому, и забракованную работу направили в печать.

Многолетняя сотрудница, посланная в клинику для

диагностирования раковой болезни средствами митогенетических лучей, усомнилась в том, что кровь таких больных утратила способность излучать, и сообщила об этом профессору. Ее срочно пригласили в лабораторию. Холодно поздоровавшись и не предложив ей сесть, ученый сказал:

— Ваши эксперименты нас не интересуют. За консультацией обращайтесь к кому-нибудь другому. Мы вас у себя не задерживаем.

Ни малейшей попытки указать на ее ошибку, переубедить, дать время опомниться и передумать. Суровый учитель этим не ограничился, во все лечебные инстанции последовали письма с предупреждением, что прежняя сотрудница не заслуживает доверия, она извратила методику и доказала свою некомпетентность.

Две черты характера Александра Гавриловича Гурвича предопределили заслуженный взлет его славы и печальный конец научной деятельности.

И в университете и в Институте экспериментальной биологии, куда его пригласили директором, он, фанатично верный своим идеям, убежденный в их непогрешимости, легко восстанавливал инакомыслящих против себя. Беспощадный к себе и к другим, отказывался от малейшего компромисса, когда благоразумие подсказывало не настаивать сегодня на том, что со временем займет достойное место в науке.

Не будучи идеалистом, он охотно распространялся о своей дружбе с Дришем — автором современного витализма, причислял себя к виталистам, хотя никогда им не был; публично дарил свои симпатии генетикам, причислял себя к ним, когда это направление в науке подвергалось осуждению. Противники всего этого не прощали ему и с особой силой обрушились на его новую теорию клеточного биологического поля. Это невинное учение о законах перемещения зародышевых клеток и силах, господствующих в них, — было провозглашено чистейшим механицизмом. Гурвич отказывался давать какие-либо объяснения, отстаивать свою правоту, и в 1948 году его освободили от занимаемой должности директора.

Напрасно новое руководство института предлагало опальному профессору другое место у себя, зачисляло консультантом без несения каких-либо обязанностей, — Гурвич отказывался подписывать денежную ведомость и принимать назначенный ему оклад. Каждый месяц бухгалтер являлся на квартиру ученого, выкладывал ему деньги и уносил их назад.

До конца своей жизни Гурвич продолжал работать у себя на квартире. Сейчас эти труды продолжают его дочь с двумя

сотрудниками в Институте физиологии и внук на кафедре университета.

* * *

В 1940 году научно-биографические повести о Павлове, Быкове, Сперанском и Гурвиче после опубликования их целиком в журналах «Красная новь» и «Молодая гвардия» вышли отдельной книгой, с предисловием ближайшего помощника Павлова профессора Подкопаева Н. А. под названием «Законы жизни».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

24 марта 1937 года я получил лестное для меня письмо от замечательного хирурга и человека Вишневского Александра Васильевича. Вот что значилось в нем:

> «Прочитав недавно книгу Поль де Крюи «Охотники за микробами», я подумал, как много в нашей действительности интересного, заслуживающего внимания, и как хорошо, если бы у нас нашелся писатель, который познакомил бы публику с научными достижениями нашей медицины и физиологии. Прочитав вашу работу «Павлов», я подумал, что значительный пробел в нашей литературе восполнен. У нас имеется автор, который может в советских условиях делать то же, что делает Поль де Крюи в американских. Книга, главным образом, понравилась мне тем, что она ярко освещает облик замечательнейшего человека нашего времени, одновременно дает читателю полное представление о научном предмете средствами литературно-художественной занимательности.
>
> *А. Вишневский».*

Прошло три года, и поздно ночью ко мне позвонил по телефону Вишневский. Он несколько взволнованно заявил, что прочитал мою книгу «Законы жизни» и крайне удивлен той ролью, которую я отвел ему.

— Вы представили меня как сотрудника Сперанского, но помилуйте, ведь Алексей Дмитриевич был моим студентом в Казани.

Нигде в книге я сотрудником его не называл. Наоборот, на странице 329-й воздал должное его заслугам.

> «Из многочисленных клиницистов, — пишу я, — много способствовавших пониманию учения Сперанского, долг обязывает нас запомнить Вишневского…»

Ответ мой не удовлетворил его, и он предложил взглянуть на страницу 336-ю. В ней я, касаясь затруднений, возникших у профессора Вишневского в научном вопросе, пишу:

> «Кто разрешит его сомнения, кто поможет разгадать

эту тайну? Надо ли удивляться, что первые вести об открытиях Сперанского указали Вишневскому, где его ждут поддержка и помощь».

— Кому, как не вам, знать, — раздраженно продолжал он, — что Алексею Дмитриевичу нужны были мои материалы для подкрепления собственной теории. Я знал это и не возражал. Однако же у меня, открывшего действие новокаиновой блокады, возможно другое представление на этот счет. Вы пишете: Сперанский пришел к заключению, что «ни новокаиновый блок, ни впрыскивание его в область капсулы почки не приносят с собой исцеления… Лечит не наше вмешательство само по себе, а то, что происходит потом в организме…». Если бы вы не зачислили меня в рядовые сотрудники, вам было бы интересно узнать и мое мнение. Согласен ли я с выводами Алексея Дмитриевича… Уверяю вас, не на такую поддержку и помощь я рассчитывал.

Я был крайне смущен и обещал исправить ошибку, не очень представляя себе, каким путем.

— За прошлое простите, я с вашего разрешения заеду в клинику, чтобы ближе с вами познакомиться.

Мы стали встречаться с Александром Васильевичем чаще в клинике, реже дома, и вот что он мне рассказал:

— Хирургом я становился случайно, и заметьте — дважды. Впервые — из-за дурных отметок в гимназии: ни на какой другой факультет, кроме медицинского, с такими баллами меня не приняли бы. Стать инженером я и помыслить не мог, за всю жизнь мне не удалось ни одной математической задачи толком решить. Смерть как не хотелось стать врачом, а пришлось. Я видел себя лесничим, с дробовиком, не столько затем, чтобы вылавливать браконьеров, сколько утолить свою страсть к охоте. У меня тут в углу стоит ружье, — грустно произнес он, — оно не заржавеет, я чищу его, но вряд ли оно послужит еще мне, дел много, их не одолеть. Временами мне кажется, что я как-нибудь оставлю на день больницу и схожу на охоту… Мечтал я также быть артистом, вернее певцом, я пел баритоном, а в детстве дискантом. Этот голосок, как ни странно, вывел меня в люди. Жили мы в бедности, никаких средств поехать учиться, и тут подвернулся случай — богатый подрядчик, любитель церковного пения, прислал мне, хористу, денег для поступления в университет.

— Студентом я был не из важных, сразу же по окончании гимназии забыл латинский и греческий языки, решительно вытряхнул их из головы. Не любил засиживаться за книгой, зато мастерски копировал манеры студентов и профессоров. В

довершение всего я отличался умением переплывать Волгу у Казани.

— Хирургом я стал лишь сорока лет, четырнадцать из них я предпочитал заниматься всем, кроме хирургии. Меня привлекала анатомия, искусство прозектора, преподавателя. Я, изнемогавший от книжной науки, не ведал усталости, отделывая свои препараты. Они поражали законченностью анатомических деталей и художественностью отделки. В сравнении с тем, как бережно я обходился с тканями трупа, операции хирургов казались мне грубыми. Рану травмируют небрежной рукой и жестоким вмешательством инструментов. Никто не ищет средств улучшать операцию. Десятилетиями повторяют они заученные манипуляции. Такая хирургия не для меня, я не позволю из себя сделать ремесленника.

— Я продолжал оставаться анатомом, дотошно изучал строение органов и тканей, их отправления и взаимосвязь, заново штудировал физиологию — процессы, текущие в живом организме, постигал искусство различать патологически измененные ткани и клетки. И себя и студентов я призывал быть почтительным к машине, которую создала природа. Она одна лишь умеет ее чинить. Природа — кузнец, хирург — только ее подмастерье. Наше дело — следить, чтобы ничто не мешало ей восстанавливать то, что разрушено…

— Четырнадцать лет я готовился стать хирургом, дни и ночи не выходил из секционной, оставаясь там порой далеко за полночь. За столом маячила моя одинокая тень, и слышались мои восторженные песни…

— Я был наконец готов приняться за хирургию, а мои коллеги, увы, не спешили меня принять в свое лоно. Чего только не наговорили мне. «Удивительный человек, — разводили они руками, — далась ему клиническая хирургия, баллотировался бы на кафедру анатомии, куда более приятная и почетная область… Грешно вам, Александр Васильевич, зарывать свой талант, ведь вы прозектор, анатом, какого не сыщешь. На ваших препаратах поколения будут учиться…» Хирурги-практики были менее снисходительны, чем ученые. «Какое у него право, — пожимали они плечами, — на клинику? Кто его видел у операционного стола? Кому ассистировал? У кого учился?» Они десятилетиями прислуживали своему профессору, прежде чем получили своих ассистентов. Их суровые учителя, подчас невоздержанные и грубые, жестоко с ними обходились, изводили придирками и насмешкой, нередко без всякого повода. Ученики утешались сознанием, что таков порядок вещей, таков скорбный путь в хирургию. И вдруг является человек, не знавший горя и

трудностей, и требует себе госпитальную клинику. Какая вопиющая дерзость!

Эти беседы с Вишневским заставили меня о многом подумать. Какой странный путь, и какой долгий. Четырнадцать лет отвергать хирургию, чтобы отдать ей затем свою жизнь. Не ошибся ли Вишневский в выборе призвания? История знала великих анатомов, не лишилась ли наука в его творческом лице советского Везалия?

Нет, нет, не Везалия, не великого, не малого анатома потеряла наука бы, а величайшей души терапевта, истинного лекаря человеческих страданий. За операционным столом он был хирургом, зато чуть поодаль — воителем против ее канонов.

Первое, против чего новоявленный хирург ополчился, было чувство боли, причиняемое ножом, и тяжелые осложнения после наркоза. Операция должна протекать безболезненно, нет нужды усыплять оперируемого, достаточно обезболить рассекаемые ткани. Кто стал бы погружать во тьму целый город, когда достаточно выключить свет в одном лишь квартале?

Для Вишневского боль не понятие из учебника физиологии, а нечто другое, он ощущает ее, как если бы ему самому приходилось ее выносить.

— Что ты медлишь, — выговаривает он сестре, которая вовремя не дала больному морфия, — ведь ему больно! Вдумайся хорошенько — болит!

В другом случае он отворачивается от собеседника:

— Я не могу разговаривать о чепухе, когда в палате лежит больной с пробитой уретрой.

Вишневский знал, что анестезия не избавляет оперируемого от боли. Как бы ни нагнетали ткани раствором, в глубоких слоях остаются нетронутыми нервные сплетения. Нужен был новый метод обезболивания, и он разработал его. Наркоз из клиники был навсегда устранен. Хирург не думает больше о скорбной статистике смертей от наркоза, два легких укола — первые и последние страдания больного.

Противники нашли повод возражать:

— Нельзя безбожно растягивать операционный процесс, бесконечная смена ножа и новокаина требует много времени и сил.

Он резонно возражал:

— Судьба дала нам скальпель в руки не только для того, чтобы мы им красиво и быстро управлялись, но и выручали людей из беды. Если бы больные, которые погибли у меня от наркоза, каким-нибудь чудом снова явились, я согласился бы день и ночь трудиться для них.

Он ничем не гнушается ради больного. Чем менее опрятна область перевязки, тем больше шансов, что Вишневский сам проделает ее. Вернувшись в кабинет, он выльет на себя флакон одеколона, чтобы полчаса спустя после новой перевязки то же самое повторить. Эта слабость к аромату духов уживается в нем с отсутствием всякой брезгливости.

Изгнав страдания и насильственный сон из операционной, Вишневский стал подменять скальпель средствами, заимствованными из терапевтической практики: впрыскиванием безобидных веществ, лечением мазями и маслянистыми повязками. Все это было необычно и вызывало серьезные возражения сторонников классической хирургии.

Вот что предшествовало этому.

В клинике как-то предстояла операция. Больного уложили на стол и ввели обезболивающий раствор в поясничную область. Операция в тот день не состоялась, а на следующий она была уже излишня — больной выздоравливал. Вишневский повторял процедуру на других больных и нередко убеждался, что так называемый новокаиновый блок делает вмешательство хирурга излишним. Новое лечебное средство прочно утвердилось в операционной.

А вот предыстория другого открытия.

Когда прежний студент Вишневский попал врачом в сибирскую больничку, он удивил своих коллег своей нелюбовью к хирургическому вмешательству. Больной просит, умоляет ножом выскрести открытую рану, избавить от мук, как в те годы полагалось, а хирург — ни в какую, заливает рану йодоформной эмульсией и накладывает повязку, пропитанную раствором. Врачам он так объяснял свой прием лечения:

— Как ни благодетелен иной раз наш нож, организм явно к нему не благоволит. Тканям надо оправиться от перенесенного удара, и я окружаю их маслянистой эмульсией.

После операции молодой человек кладет в рану тампоны, пропитанные йодоформом, льет в осумкованную полость раствор.

— Тампоны кладутся для отсасывания гноя, — наставляет его старый, опытный врач, — а вы их смачиваете эмульсией. Полость надо осушать и во всяком случае не заливать.

— Пусть я ошибаюсь, — оправдывается молодой человек, — но когда я заливаю рану маслянистым раствором, у меня ощущение, словно я оказываю тканям величайшее благодеяние.

Со временем Вишневский заменил йодоформ перуанским бальзамом, а затем вовсе можжевеловым дегтем. Так явилась на свет прославленная мазевая повязка Вишневского. Она изрядно разгрузила хирургов на фронте, сделав излишним жестокое

выскабливание раны ножом. Из операционной благодетельная мазь перешла к терапевтам и стала важным лечебным средством.

Семидесяти лет он все еще не знает покоя. Время угомониться, утешиться сознанием, что жизнь прошла не напрасно, насладиться заслуженной славой.

— Я разучился отдыхать, — сознается он, — мне все кажется, что остались кое-какие недоделки, управлюсь — и можно будет уйти на покой… Я почти не читал занимательных книг, хирургия меня опустошила. Мне становилось не по себе, когда со мной заговаривали о литературной новинке или о новом произведении искусства. В поисках выхода я с отчаянием набрасывался читать что попало, торопился наверстать потерянное время, но хирургия быстро меня отрезвляла… Я всю жизнь тянулся к людям искусства и литературы, чтобы узнать от них то, чему сам не успел научиться…

Где ему было взять время, — один из его старых сотрудников рассказывает:

— В сумерках, когда врачи расходились, Александр Васильевич приходил проведать больных. Сразу же под сводами факультетской больницы наступало оживление. Он шел от кровати к кровати, из палаты в палату, не оставляя без внимания кого-либо из больных. Никто не спрашивал, что приводит его сюда в столь поздний час, ему, должно быть, не спится на квартире, он скучает по палатам, по больным. Пусть эти приходы не всегда помогают больным, зато неизменно утешают.

Я не ошибся, наука в лице Вишневского не потеряла своего анатома Везалия, но лишилась великого врачевателя — терапевта. Кто знает, как далеко зашли бы его посягательства на хирургию, сколь многое из терапии утвердилось бы в ней, если бы смерть не прервала эту благую, плодотворную жизнь…

За месяц до начала войны эта биографическая повесть была полностью опубликована в журнале «Новый мир» и лишь спустя шесть лет вошла во второе издание «Законов жизни».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Неожиданно нагрянувшая война застала меня врасплох, я не был подготовлен к ней. Никто не сомневался в том, что с воинством Гитлера надо сражаться, и беспощадно, но как и чем? Винтовкой ли в рядах действующей армии, боевым ли пером звать народ к сопротивлению или как-нибудь иначе действовать? Многие предпочли винтовку перу, были и «мирные» люди, избравшие своим уделом уединение за Камой-рекой, вдали от непокоя шумных битв.

Когда неприятель приблизился к Москве, я понял, что пора мое оружие сменить, и обратился к начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии генерал-полковнику Смирнову с просьбой присвоить мне военное звание и направить на фронт.

— Хотите стать летописцем войны, — спросил он, — или просто драться? Поговорим начистоту, запросто.

Я сказал, что двумя видами оружия легче воевать, я готов к писательскому перу присоединить и винтовку.

В тот же день мне было присвоено звание интенданта второго ранга (сказалось отсутствие медицинского диплома) и высокая должность инспектора Главного военно-санитарного управления Красной Армии. Я мог отныне находиться всюду, где литературные интересы и долг призывали меня.

В армии сразу же выяснилось, где и как понадобятся мои способности и силы. Дивизионные газеты пестрели призывами к борьбе и героизму, взывали к «презрению и ненависти к насильникам, топчущим нивы родной земли», и вселяли надежду на скорую победу. Меня ждала почетная трибуна, дело, достойное стать венцом моей жизни. Было бы кощунством здесь, на полях, орошенных кровью, на виду армий, судорожно отстаивающих страну, писать роман или даже собирать для него материалы.

Свою деятельность я начал во фронтовых санитарных поездах. В тесных вагонах третьего класса, пропахшихся запахом полусгнивших повязок и медикаментов, я увидел тех, кто, чудом уцелев, мысленно оставался еще в гуще сражения, наслушался стенаний и предсмертных хрипов тех, для кого война уходила в вечность. И скорби и печали было много, решимости и отваги не меньше, а запомнился незначительный эпизод, трогательный случай, каких немало, должно быть, и в других поездах.

Раненного в бедро уложили в жестком, а надо бы в мягком вагоне, да некуда. Освободилось место, и врач спешит обрадовать бойца, а тот на него и не взглянул. Пареньку двадцать лет, на

бледном лице ни кровинки, глаза болезненно расширены, ему нужен покой, а он ведет жаркую беседу с соседом, вспоминает картину боя, местность, где столкнулись враждующие силы, ухищрения, к которым прибегнул неприятель, и, главное, как горсточку бойцов поддержали части правого фланга.

— Вам тут удобно? — спрашивает его врач. — Не слишком ли жестко?

— Обвыкся, ничего, — отвечает паренек, — первые сутки было трудненько.

Нежный взгляд, обращенный к лежащему рядом соседу, словно призывает его в свидетели, что действительно было и трудно и жестко.

— Вы, кажется, просились в мягкий вагон, у вас перелом бедренной кости, ноге нужен абсолютный покой. Переведем вас в мягкий вагон.

— Не выйдет, не пойду, — смущенный собственной решимостью, нетвердо произносит паренек, — мне одному несподручно идти… Вот если бы с другом, он из той самой части, что нас выручала в бою. Как мне оставить его? Кладите вдвоем, а нельзя, так не надо, мы и тут полежим.

Ничего другого я в поезде не приметил и, покидая его, посетовал на бесплодно проведенное время. Хороши будут успехи при такой наблюдательности, ни яркого боевого эпизода, ни подвига, достойного быть названным героическим, — где были мои глаза?

С таким же чувством я уходил из полевого подвижного госпиталя. Моим вниманием овладел человек, ни разу не побывавший в бою или в какой-нибудь опасной ситуации.

Начальник госпиталя говорил о нем с восхищением:

— Он прибыл к нам недавно, и все мы положительно влюбились в него. Умница, труженик, на все руки мастер. Прекрасно ездит верхом, первоклассный охотник и неплохой хирург. Владеет рубанком, топором и зубилом, как мы с вами пером. Сейчас он кладет печку для перегонного бака. Он был врачом, бросил клинику и стал фармакологом. На службу он явился почти без вещей, но с двумя банками эфирного масла. Позже мы узнали, что его маленький чемоданчик набит мешочками с сухим подорожником, александрийским листом, горицветом, корневищем мужского папоротника… Раствор масла он применял при операциях, и мы убедились, что нет лучшего дезинфицирующего средства. Когда масло иссякло, он сложил печь, установил перегонный куб и стал добывать масло из богородской травки, дикой мяты, укропа, петрушки, сельдерея, полыни и можжевельника. Растения эти он сам собирал… Кто из

нас, отправляясь сюда, дома готовил лекарства для раненых?..

Эту беседу я подробно записал в тетрадь и почему-то пропустил мимо ушей прекрасные истории: об искусно проведенном бое, о пленении разведчиком немецкого офицера…

В медико-санитарном батальоне меня растрогал незначительный случай у операционного стола. Шли напряженные бои, и автомашины непрерывно привозили раненых и больных. Девушка-хирург успела мне пожаловаться, что командир медсанбата ее, терапевта, обязал заниматься хирургией. Не хватает людей, но ведь оперировать ей приходится впервые. Над столом повесили «летучую мышь» — лампу, пахнущую керосином и копотью, и принесли на носилках раненого. Она окинула взглядом лежавшего перед ней морского пехотинца и невольно отступила.

Заметил ли ее затруднение раненый, он ласково улыбнулся и браво произнес:

— Здравствуйте, товарищ военврач! Прибыл к вам на ремонт. Все в полном порядке, фок-мачту только чуть повредило.

Я стал осматривать моряка и ужаснулся. Только русские люди умеют так переносить страдания. На нем не было места живого. Десятки осколков разворотили красивое, крепкое тело, ткани были нашпигованы металлом и землей.

Хирург не трогался с места, и раненый продолжал:

— Что, товарищ военврач, никак не решите, куда первый пластырь подводить? Кладите подряд, на моей шкуре все зарастет.

Медсанбат был полон ранеными. Они охотно рассказывали друг другу о пережитом, было в их признаниях немало любопытного, но ничего этого я записывать не стал. Почему материалам, столь важным и привлекательным для фронтовой газеты, я предпочитаю незначительные эпизоды, мне все еще было неясно. Лишенные блеска героических будней, мои заметки не согреют сердце читателя, историю по ним тем более не составят. Может быть, в санитарной роте на линии фронта найдется что-нибудь поинтересней…

В середине декабря я был уже в полковом медицинском пункте, расположенном в двух километрах от боевых позиций. Фельдшер много и любовно говорил о своем командире.

— Она, конечно, смела, отважна, — закончил он, — но водится за ней грех: не уломаешь, женское упрямство…

Мне почему-то запомнилась эта характеристика, и я решил при случае вызвать фельдшера на откровенность, узнать, что он имел этим в виду.

С командиром полкового медицинского пункта я

познакомился при несколько необычных обстоятельствах. С вечера над деревней появились немецкие самолеты, они так низко летели, что можно было на них различить мрачные кресты. На полковом пункте тем временем с минуты на минуту ждали машин медсанбата и готовили раненых в путь. Самолеты исчезли, и вскоре начался артиллерийский обстрел. Санитары стали уводить и уносить раненых в убежище, и тут выяснилось, что трое из них — артиллеристы — отказываются оставить помещение. На увещевания санитаров они отделывались шуткой:

— Где им, слепым, нащупать нас… Они даже случайно еще не попадали в нашего брата.

Фельдшер вызвал командира санитарной роты, военного врача второго ранга Ольгу Ивановну. Она выслушала санитаров и скомандовала:

— Марш в убежище! У нас строгое предписание на этот счет.

Никто не тронулся с места.

— Не беспокойтесь, товарищ военврач, — уверенно произнес помправильный батареи, — негоже нам от сапожников прятаться. Много чести для них.

Уговоры ни к чему не привели, и врач после короткого раздумья сказала:

— Тогда и я остаюсь здесь.

Они должны были уступить, слишком тяжкой ответственностью связала она их.

— И правильно сделаете, — сказал командир батареи, раненный осколком в спину, — ручаюсь, что с вами ничего не случится.

Она не верила их спокойствию, они не могли быть безразличны к своей и чужой судьбе.

Артиллерийский концерт продолжался, и упрямцы занялись вычислениями.

— Семьдесят пять миллиметров, — вслух произнес командир, — второй перелет.

— Как вы полагаете, куда они метят? — спросил все время молчавший пожилой артиллерист.

Командир батареи пожал плечами и в свою очередь спросил:

— А вы как полагаете, товарищ военврач?

— Куда? — переглянулись раненые.

— В артиллерийскую батарею, — ответила она. — В артиллерийскую батарею, — уверенно повторила врач.

— Откуда она взялась?

— Прибыла сегодня в пятнадцать ноль-ноль, — последовал не менее твердый ответ.

— Не в батарею, — несколько смущенно произнес

командир, — а в артиллерийский склад… Не добраться им туда, далеко.

Раздался оглушительный взрыв.

— Корпусная пушка… Сто пятьдесят миллиметров, — отчеканил молодой артиллерист. — Здорово бьет, а толку мало.

Они лежали на носилках в разных углах обширной избы и обменивались мнениями, словно находились у полигона на учебных занятиях.

— В скольких километрах отсюда, — неожиданно заинтересовался командир, — стоит вновь прибывшая батарея?

— Примерно в пяти, — ответила военврач.

— Вправо или влево от дороги? — допытывался он.

— Ближе к реке.

— Значит, у самой деревни, возле леса?

Три артиллериста не сводили с нее глаз, и она решила быть осторожной.

— Не скажу точно, где именно, но где-то возле реки. А до вашего артиллерийского склада далеко?

Командир ответил не сразу:

— Далеко. С такой артиллерией снаряда туда не добросить.

Снова послышался тоненький свист и сильный удар гаубицы.

— Сто двадцать миллиметров, — спокойно зарегистрировал кто-то из них, — перелет по одному варианту и недолет по другому.

Когда обстрел прекратился, командир батареи отозвал врача в сторону и сказал:

— Я опытный артиллерист и должен вам заявить, что немцы, между прочим, метили именно сюда. Они клали снаряды в шахматном порядке…

— Вы только что утверждали, — напомнила она ему, — что враг метит в артсклад.

Он немного помолчал и улыбнулся.

— А вы все еще считаете, что новая батарея расположена в пяти километрах отсюда?

В вопросе отчетливо звучала ирония, и врач решила быть откровенной:

— Я выдумала эту батарею, чтоб успокоить больных…

— Вот и пришлось вас поправить, — спокойно ответил он, — все мы поняли, что там батарее не место. С точки зрения артиллерийского искусства ее там ставить нельзя… Выбора не было, и пришлось соорудить там артсклад.

— Выходит, что и вы… сказали неправду?

— Из солидарности, доктор, — улыбнулся командир, — надо было вас из болота вытягивать и успокоить людей…

При первой же беседе я заметил Ольге Ивановне:

— Отказать вам в мужестве нельзя, отваги тоже не занимать, жаль, что вы себя не бережете.

Она улыбнулась и после короткого молчания задумчиво произнесла:

— Я иначе поступить не могла. Отвага и мужество тут ни при чем, и то и другое предполагает свободный выбор, у меня его не было.

Теперь, когда я ближе ее узнал, мне захотелось выведать у фельдшера, что он разумел под так называемым «женским упрямством». Момент для беседы был выбран неудачно, и все же разговор состоялся.

Каждый раз, когда на фронте наступало относительное затишье, фельдшер Цыбулька впадал в музыкальный азарт. На сценах колхозного клуба или в деревенской избе начинались репетиции, после чего представления следовали одно за другим. На этот раз передышка внезапно оборвалась. В самом разгаре подготовки к концерту послышался нарастающий гул самолетов, и на истерзанную деревню посыпались бомбы и листовки с призывом покориться врагу.

От первой же взрывной волны «артистическая» осталась без стекол и рам. Музыканты и частично загримированные бойцы замерли в нерешительности. Командир медицинского пункта предложила сделать перерыв и выждать, когда стрельба прекратится. Фельдшер попытался возразить:

— Ничего эти пушкари не сделают нам, расстреляют свой боезапас и улягутся спать.

— Прошу подчиниться порядку, — строго повторила она.

Недовольный Цыбулька сделал знак разойтись и, выждав, когда командир удалилась, пробормотал: «Бабья причуда, и ничего другого…»

Достаточно было напомнить ему наш недавний разговор, чтобы он тут же привел наглядный пример «женского упрямства».

Произошло это недавно, не больше месяца назад. Они возвращались из леса — он и командир, — где санитары весь день подбирали раненых. Птица ли села невдалеке, зверек ли проскочил, — что-то вспыхнуло, и прогремел взрыв.

— Осторожно, товарищ командир, — предупредил он ее, — не трогайтесь с места, мы угодили на минное поле.

Это, видимо, прозвучало слишком категорично, и она почувствовала себя уязвленной. Вскоре последовал его резкий окрик:

— Стойте, как стояли, тут мин понаставлено уйма. — Заметив выражение недовольства на лице командира, фельдшер

мягко добавил: — Не надо пугаться, все может случиться, но страх в таком деле не помощник.

Он хотел уже растянуться на снегу, но она его предупредила:

— Я пойду вперед, я умею обезвреживать мины.

Фельдшер с изумлением взглянул на нее, попробовал улыбнуться, но сообразил, что она не шутит, и смутился.

— Знаю, что умеете, — решил он ей польстить, — но я был сапером, рука у меня на этом набита.

Он все еще не верил, что она приведет угрозу в исполнение, и не удержался от шутки:

— Мина меня любит, наступлю — не взорвется.

— Не тратьте попусту время, — прервала она его, — вы будете следовать за мной… Мне не впервые пробираться по минному полю.

Цыбулька оценил опасность ее затеи и повел речь по-другому:

— Вы не должны этого делать, товарищ командир… Позвольте мне идти первым, пожалейте себя, с миной шутки плохи, не так ее погладишь, не с той стороны подойдешь — взорвется и убьет.

Напрасны были просьбы и доводы, она стояла на своем, и он решил не уступать:

— Я не могу этого позволить, я отвечаю за вас. Случится несчастье, мне один путь — за вами следом.

Они стояли на клочке земли, где многоокая смерть поджидала их, и препирались.

— Воинский устав, — настаивал он, — обязывает бойца в первую голову спасать командира. Против устава ваше приказание силы не имеет. Позвольте мне идти вперед, не женская это работа, а наша, мужская. Есть и женщины, конечно, саперы, — спохватился фельдшер, — бывают такие — лучше нашего брата…

— Товарищ военфельдшер, — решительно произнесла она, — впереди иду я. Следите по сторонам, обрезайте, если увидите, усики.

Она поползла вперед. Цыбулька не отставал от нее, просил быть осторожной, молил и настаивал, давал советы и сердился.

— Справа от вас бугорок, — предостерегающе звучал его голос, — будто черный пупырышек, обложенный снегом. Троньте его легонько… Не швыряйте руками, прошу вас себя пожалеть.

Не всегда она слушала его и чаще поступала по-своему.

— Товарищ командир, — шептал он ей, — мины не любят, когда хлопают по ним, нежнее к ним подходите. Не подумайте, что я за себя так стою: жалко мне вас… Такого командира нам больше не найти…

Иногда он легко отводил ее руку и тихо шептал:

— Надо правильного курса держаться, крен большой дали. На целый метр вбок отошли.

Они вышли из минного поля. Она взобралась на холм, сделала несколько шагов и тяжело опустилась на снег.

— Вот мы и встали на якорь, — с облегчением вздохнул он, — а я, по правде признаться, уже считал себя трупом…

Когда я спросил ее, зачем это ей понадобилось, она с улыбкой ответила:

— Не так уж часто приходится сдавать экзамен на мужество своим подчиненным. Уступить минутной слабости, чтобы потом об этом жалеть, — неразумно. Фронтовой командир не может себе этого позволить.

У меня было над чем призадуматься и себя упрекнуть. Что мне до раненого сержанта в жестком вагоне санитарного поезда и его друга с правого фланга; до того хирурга, который на службу явился почти без вещей, с двумя банками эфирного масла и с чемоданом лекарственных трав? Правильно подмечено мужество моряка на операционном столе, сохранившего присутствие духа, но сколь прекрасней был бы этот образ, будь пред нами картина его душевных проявлений в его обычной жизненной среде, вне условий, где царит гнев и смятение перед лицом врага. Каковы там его сознание долга гражданина? Хороши фельдшер и его командир, артиллеристы, случай на минном поле, но почему мою мысль не волнует то, что будит гнев и отвагу в сердцах бойцов? Героических эпизодов и в полковом медицинском пункте немало. Медсестра Федора Гриб, та самая, которая из-под огня ползком на себе уносила бойцов, была удостоена ордена Красного Знамени за беспримерный подвиг. Подбирая раненых вблизи командного пункта, она, заметив надвигающиеся цепи врага, бросилась на пункт предупредить командира батальона, но его накануне увезли раненым, а связисты ушли. Пора бы и ей уйти, но куда девать раненых, их тридцать пять человек… Она звонит в штаб батальона, оттуда следует приказ: «Подразделению остановиться, ни шагу назад!» Она с высоко поднятой над головой винтовкой бросается навстречу отступающим и во весь голос призывает командиров: «Не отступать, приказ штаба батальона! Ни шагу назад!» Бегущие бойцы останавливаются. Раненые спасены. Какая смелость, истинно мужская отвага, почему этот случай не нашел места в записной тетради?

Какие бесстрашные солдаты, от военврача командира до санитара, сколько боевого духа, выдержки и верности долгу, — и все это оставило меня безразличным.

Ответ пришел значительно позже. Меня перевели из армии во

флот, и здесь я понял, почему бессознательно тянулся к одному и не воздавал должного другому. Меня влекло к героизму духа и порывам души, рожденным трезвым сознанием долга и любви к человеку.

Вообразим летний пригожий день в Севастополе. Девчонке шестнадцати лет вручили аттестат об окончании семилетки и направили на курсы медицинских сестер. Госпиталь, в который она поступила, был в первые же дни немецкими самолетами разрушен. Она едва уцелела. Прорубили штольню в скале. Враг осыпал госпиталь снарядами, уничтожил автомашину, и воду для раненых приходилось возить вручную. Люди изнемогали от жажды, нечем было умыться. Истомленная от духоты и бессонницы, девушка едва держалась на ногах. Война придвинулась к морю, и штольня досталась врагу.

Ее направили на санитарный корабль. На третьи сутки самолеты осыпали плавучий госпиталь бомбами и потопили его. Медицинская сестра с небольшим числом раненых оказалась в море, — в спасательных поясах они плыли за ней. Изнемогая от усталости в холодной весенней воде, девушка продолжала нести вахту до конца: поправляла пояса у ослабевших, придвигала им обломки для опоры, утешала, сулила скорое спасение, пока не потеряла сознание…

Эта сила духовного подвига укрепила мое решение писать книгу о рыцарях духа, о тех, чье нравственное величие — залог того, что не переведутся на земле горячие сердца, никакое варварство не остановит их биения.

Эту верность долгу и нравственную отвагу я встречал и в глубоком тылу. И здесь, как и там, в полковом медицинском пункте, патриоты, проникнутые мужественным стремлением отвести гибель от защитников родины, сражались за торжество своих замыслов.

В далекой Перми я в госпитале встретил хирурга, о котором среди врачей шла добрая молва.

— Познакомьтесь с Шиповым, — в один голос советовали мне, — человек сорок сердец прооперировал, без единой ошибки, все живы.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии Пермского медицинского института, шеф молодого хирурга, не похвалил ни своего воспитанника, ни его трудов.

— Для сенсации материал неплохой, — явно намекая на то, что в лице инспектора он разглядел известного ему писателя, — чего тут только не наворотишь… Делали это и до Шипова, эксперимент не новый… Притом же излишние страдания для больного… Да и, признаться, не терплю я своенравных людей…

Шипов пришел ко мне на санитарный пароход, недавно лишь отгрузивший своих раненых, и мы за стаканом чаю с галетами расположились на палубе.

— Как вы рискнули браться за операции сердца? — спросил я его. — Ведь история медицины насчитывает лишь единичные удачи. Нет ни методики, ни оперативкой практики.

Молодой человек снял запотевшие очки и прищурил близорукие глаза. Вопрос, видимо, задавали ему не впервые, и он без особой живости сказал:

— У меня своя методика. Пользуясь приемами Вишневского, я научился обезболивать ткани и не усыплять больного. Он бодрствует, и в таком состоянии я не опасаюсь за его жизнь.

— Это и есть ваша методика? — все еще под впечатлением того, что услышал от профессора, спросил я.

— Прежде чем приступить к операции, — продолжал он, — я вчерне ее проделываю в морге: всаживаю в сердце трупа такой же осколок, в то же место, где он расположен у больного, и оперирую так, как если бы на столе лежал живой человек. Только после пробы я позволяю себе действовать… Не следует забывать, что оперирую сравнительно здоровых людей…

— Как так здоровых? — невольно переспросил я.

— Это фронтовики, — объяснил Шипов, — осколок металла прижился в сердечной мышце или в сумке, защитные силы организма изолировали инородное тело, ослабили и уничтожили инфекцию, и раненого практически считают здоровым. Благополучие это, конечно, кажущееся, сердце не мирится с инородным телом и дает о себе знать. Страх преследует этих людей, им мерещатся ужасы, и они умоляют нас: «Делайте что хотите, надоело думать о сердце, оно ноет и болит, словно заноза засела».

Шипов сунул руку в карман, — видимо, хотел что-то мне показать, не нашел и махнул рукой.

— Я не сразу позволил себе идти ножом к сердцу. Пришлось многое изучить и выяснить. Двести двадцать семь случаев слепых ранений сердца инородным телом, свыше ста историй болезней, извлеченных из архивов прошлого, и судьба трехсот таких больных, прослеженная научной литературой, убедили меня, что жизнеспособность этих людей недолговечна. Сердце должно рано или поздно втолкнуть осколок в опасную зону или еще глубже втянуть его. Помимо всего, защитная капсула вокруг инородного тела огрубляет мышцу и снижает ее работоспособность. Страдания этих несчастных придавали мне решимость, я проникал к пульсирующему сердцу и, обходя опасные зоны, прикосновение к которым смертельно, извлекал осколки и

зашивал рану на груди.

Мировая наука в то время не знала еще случая, когда бы одним хирургом было проведено столько операций на сердце и так успешно.

— Врачи как будто, — заметил я, — относились к вам сочувственно.

— Не все, — с нескрываемой горечью произнес Шипов, — на важных заседаниях, в угоду моему шефу профессору, меня называли чудаком и упрекали в пренебрежении моими прямыми обязанностями. А ведь операции на сердце я чаще всего проводил в неурочное время, когда мои противники спали глубоким сном. Я не мог им уступить, меня преследовали стоны и просьбы моих страдальцев.

Неприязнь преследовала диссертацию Шипова. Уже после того, как профессор Вишневский признал ее «оригинальной по содержанию, исполненной в стиле строгой доказательности», — заведующий кафедрой в Перми в специальном письме подверг сомнению достоверность материалов и заключений автора.

Должно быть, тягостно сознание, что упущенное тобою подобрано другим и живет твой промах у всех на виду, живет укором тому, кто неразумно его допустил…

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Имени хирурга Ратнера не встретишь ни в энциклопедии, ни среди действительных членов Академии медицинских наук, не услышишь о нем и в кругу столичных ученых, зато в синклите людей, отмеченных человеколюбием и чувством гражданственности, оно займет не последнее место.

— Скажу вам откровенно, — признался мне Юрий Александрович, — мы, хирурги, должны для пользы дела немного черстветь, профессия вменяет нам это в обязанность. Чрезмерная чувствительность может невыгодно обернуться для больного. Должны черстветь, что и говорить, но с тех пор, как стали сюда завозить исковерканные тела юношей и девушек, я стал немного сентиментален. Во время операции лишний раз спрошу больного, как он чувствует себя, чаще побываю у его постели. Эта повышенная чувствительность оказала нам, хирургам, недурную услугу.

Осколками мины молодому бойцу разрушило кожные покровы, и кость на черепе обнажилась. Предстояло взять лоскут тканей из любой части тела оперируемого и прикрыть им рану. Жаль было причинять парню лишние страдания, и Ратнер попросил у хирурга-соседа вырезать у оперируемой женщины небольшой кусок сальника. Ткань наложили на череп бойца и забинтовали рану.

О сальнике, заложенном природой в полость живота, известно, что где бы в организме ни возникало ранение — близко ли, далеко от него, — он устремляется к ране, тянет за собой внутренности, причиняет организму страдания, чтобы своими целебными выделениями спасти его. Будучи дважды прострелен и размозжен, он все же долг свой исполнит. В трагических случаях, когда инфекция непреодолима, обескровленный сальник гибнет в неравной борьбе.

Сальник женщины, наложенный на рану бойца, трое суток выглядел жизнеспособным, как если бы поверхность черепа была извечной его средой. С четвертого дня он начал в ране растворяться, и одновременно наступило бурное заживление тканей. Ценой собственной жизни сальник пробудил к росту соединительную ткань. Взятый из чужого организма, он не только освоился, но и до последней минуты продолжал выделять свой целебный экстракт.

Ратнер этим не удовлетворился.

Встречаются язвы, особенно после тяжких ранений, заживление которых длится по многу лет. Глубокое расстройство

питания тканей обращает эти раны в хронические. Что, если направить целебные силы сальника на одну из таких язв?

Первые же опыты принесли раненым выздоровление. Когда пересадка не приводила к полному излечению сразу, повторная завершала его.

Ратнер подумал, что в руках у него средство значительно облегчить страдания раненых. Во время войны, когда нужда в замещении разрушенных тканей так велика, сальник мог бы стать серьезным подспорьем. Единственное затруднение, и весьма серьезное: где брать материал для пересадки, ведь его потребуется много? Не учреждать же институт добровольцев, готовых лечь под нож, когда понадобится сальник.

Использовать для этой цели животных невозможно, их ткани на человеке не приживаются и уж конечно не выделяют лечебных веществ.

Слишком заманчиво было облегчить страдания раненых бойцов, и хирург все же решил попытать счастья. Он с согласия больного, страдающего хронической раной на ноге, наложил кусочек сальника собаки на незаживающие ткани и перевязал больную конечность. Двое суток привитая ткань продолжала жить, на третьи наступил перелом — язва стала заживать. Когда такой же кусок сальника животного наложили на свежую рану, он слился с тканями, как человеческий, и растворился, чтобы породить бурный рост грануляции.

В распоряжении хирурга оказался важный механизм защиты. Все многообразие свойств, счастливо заключенных в сальнике, — способность задерживать размножение микробов, ускорять заживление раны, останавливай, кровотечение, — было отныне к услугам защитников родины…

23 марта 1930 года дежурный врач хирургического отделения Института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве вызвал профессора Сергея Сергеевича Юдина в приемный покой. Молодой самоубийца — тридцатилетний инженер — был доставлен сюда в бессознательном состоянии, с перерезанными венами и слабыми признаками жизни. Обильные вливания солевого раствора не улучшили состояния умирающего, надо было перелить ему кровь, но в институте постоянных доноров не было. Профессор осмотрел самоубийцу, бросил взгляд на носилки рядом, где лежал шестидесятилетний старик, погибший пьяным под автобусом, и задумался.

Ничего необычного в этом сочетании не было, а профессор почему-то серьезно задумался и взволнованным голосом стал отдавать распоряжения:

— Доставьте труп старика в верхнюю лабораторию… Дверь

запереть на замок и никого не пускать… Срочно найти доктора Сакаяна. Больного отправьте в операционную и впрысните ему камфару. Готовьте все для переливания крови.

Операционная сестра недоумевала. Зачем переносить труп старика в лабораторию?

— Все для операции, — следовало распоряжение возбужденного профессора, — простыни и цапки, скорей!

Он выхватил из рук сестры банку с йодом и плеснул его на живот трупа, протянул ассистенту шприц для насасывания крови и сказал:

— Иду на нижнюю полую вену!

Скальпель скользнул по животу трупа, выступила крупная вена. Она находится в опасном соседстве с кишечником, и сохранить стерильность крови было нелегко.

Рука хирурга вколола в вену иглу.

— Наберите шприцем! — приказал он ассистенту.

С большим трудом удалось насосать два стакана крови. Почти бегом, увлекая с собой врача, промчался профессор по лестнице в операционную. На столе лежал умирающий. Концы перерезанной вены торчали из раны в сгибе локтя. Пульс на руке и на бедре не прощупывался. Еле пульсировала артерия на шее, в груди еще трепетало останавливающееся сердце.

Ассистент вопросительно взглянул на Юдина.

— Вливайте, — последовало распоряжение.

Первый же стакан крови усилил биение пульса. Мертвенно-бледное лицо самоубийцы порозовело, и вскоре послышался глубокий вздох. К умирающему вернулось сознание, он открыл глаза и с удивлением стал оглядываться. Несколько дней спустя он поправился и покинул больницу.

Впервые в истории медицины трупную кровь перелили живому человеку, впервые установили, что кровяные тельца в ней способны питать живые ткани кислородом.

Вот что предшествовало этому событию.

Профессор Владимир Николаевич Шамов сообщил на одном из съездов, что он оживил обескровленную собаку, перелив ей кровь собаки, убитой накануне.

— Не попробуете ли вы, — предложил он Юдину, — перенести эти опыты на человека? Условия моей работы не позволяют мне этим заняться.

— А ведь у меня, — заметил Юдин, — и нуждающихся в крови немало, и свежих трупов достаточно.

— Что ж, в добрый час, — согласился Шамов, — попробуйте.

— А как быть с реакцией Вассермана?

Где гарантия, что умерший не болел при жизни сифилисом,

туберкулезом или малярией? Сразу этого не установишь, а ждать результатов обследования иной раз нельзя. Кто знает, какие перемены тем временем произойдут в крови… На одно лишь исследование реакции Вассермана уходят сутки.

Восемнадцать месяцев колебался Юдин, пока не созрела готовность рискнуть. «Когда угасает человеческая жизнь. — сказал он себе, — все дозволено, чтобы ее спасти».

Осенью 1932 года Сергей Сергеевич доложил на заседании Национального хирургического общества в Париже, что им проведено сто случаев переливания трупной крови больным. Вся пресса Франции отметила успех советского ученого.

Я много слышал и читал об этом важном открытии, но когда Юдин рассказал мне о нем, я не сдержался и спросил:

— Не кажется ли вам, что в случае с инженером вы не слишком обдумали его последствия? Больного легко было заразить венерической болезнью, туберкулезом, вернуть к жизни для мучительного существования. Самоубийца не просил вашей помощи, вы ее навязали ему и только случайно не сделали несчастным.

Профессор подумал, что я предубежден против него, и, окинув меня пытливым взглядом, резко встал и со свойственной ему подвижностью засуетился по кабинету. По всему видно было, что его темпераментной натуре нелегко подавить свое раздражение. Когда он вновь уселся и спокойно заговорил, я был внутренне ему благодарен. Больше всею я опасался, что предстоящий разговор сразу же рассорит нас.

— Вы правы, я не спорю, меня в этом упрекали, и справедливо… Я ничего с собой не поделаю, за операционным столом моя страсть сильнее меня. С другой стороны, так ли уж я неправ?.. У более благоразумного на моем месте все пошло бы своим обычным путем: старик унес бы в могилу свою спасительную кровь, а инженера перевели бы в мертвецкую. Мое безрассудство спасло одну, а затем тысячи жизней. Сколько раненых во время войны обязаны своим выздоровлением этой так называемой фибринолизной крови… Не кажется ли вам, что подобное безрассудство немного даже похвально?

Юдин не ошибся, я был предубежден, не без оснований, и решил быть откровенным до конца.

— Многие связывают, — сказал я, — ваши неудачи именно с тем, что страсть ваша сильней порой вас. Из семидесяти шести оперированных в Серпухове по поводу прободной язвы желудка двадцать два процента погибло. Это вызвало много шума в городе…

Мой собеседник подпер голову рукой и некоторое время

горестно молчал. Я слишком больно его уязвил, и живое выражение лица сразу померкло.

— Эта скорбная статистика, — не без горечи ответил он, — была у меня не выше, чем у других. Хирурги предпочитали не оперировать таких больных, предоставив их собственной судьбе. Ничего подобного я позволить себе не мог и к 1934 году проделал тысячи таких операций, теряя лишь десять процентов больных.

Я много слышал о редкой трудоспособности Сергея Сергеевича, — даже незадолго до смерти, уже будучи больным, он оперировал больше любого из своих молодых помощников. Десятки ученых из различных стран неизменно толпились в приемной, терпеливо выжидая, когда им представится возможность побывать у него на операции. Это был незаурядный хирург и ученый, но верно ли, что он холодной рукой творил суд и расправу на операционном столе?

— Вы хотите упрекнуть меня в лихости, — не без горечи произнес он, — в готовности пренебречь любой жизнью ради осенившей меня сумасбродной идеи. О моих промахах и ошибках я скорблю больше других, а угодно вам знать — рассказываю о них студентам. Хотите, расскажу и вам. Мало ли что бывало. В 1915 году, удаляя из огнестрельной раны отмершие ткани, я с разбегу перерезал солдату лучевой нерв; в 1918-м повел себя неважно, — вылущивая в тульской земской больнице пакеты туберкулезных желез на шее семнадцатилетней девушки, поранил яремную вену и чуть не потерял больную от кровотечения. Расширяя у нее рану кверху, повредил лицевой нерв и скосоротил ей физиономию… В 1919 году принял механическую непроходимость кишечника за динамическую, упустил время, и жена агронома погибла от заворота кишок… Хотите, я таких ошибок с десяток приведу… Прошло с тех пор много времени, а нет-нет да вспомнить, и станет стыдно и больно… Как в нашем деле не ошибиться, ни в одной другой отрасли человеческой деятельности специалисту нет нужды владеть столькими способностями, сколько хирургу.

Я предвидел очередной парадокс и недоверчиво усмехнулся.

— Вам грозит перехвалить профессию, которой неплохо владели парикмахеры средневековья.

Он пропустил мимо ушей мое замечание и продолжал:

— У хирурга должна быть четкость и быстрота пальцев — пианиста, верный глазомер и зоркость — охотника, способность различать нюансы цвета и оттенков — художника, чувство формы и гармонии тела — скульптора, тщательность — вышивальщицы шелком и бисером, мастерство кройки — опытного закройщика, и главное — уметь, как жонглер, шить и завязывать узлы двумя-

тремя пальцами вслепую на большой глубине. Операции на конечностях уподобляются столярному искусству, а обработка и свинчивание костей — слесарным и тонкомеханическим приемам. Операции на лице, щеках и веках схожи с художественными аппликациями или инкрустацией перламутром, а глазные — с ювелирной работой.

Я и сам порой не рад своей склонности идти на риск, — вернулся он к затронутой мною теме. — Уступая себе или просьбам других, я не раз в этом раскаивался… Вы знаете, конечно, что с моей легкой руки хирурги конструируют искусственные пищеводы, когда естественные приходят в негодность. Над этим до меня немало трудились, я учел ошибки предшественников и проделал до трехсот таких операций. Новый пищевод мы укладывали под кожей грудной стенки, соединив его с кишечником и желудком с одной стороны и выше места сужения — с другой.

Так вот, студентке Жене из Таллина не понравилось, что выступающий наружу пищевод будет безобразить ее грудь, и она просила соединить его с кишечником изнутри. Отказать ей я не посмел, хотя отлично сознавал, что, если внутренние швы разойдутся, наступит осложнение и смерть. Операция была проведена по-новому. К исходу вторых суток состояние больной резко ухудшилось. Я принял возникшее воспаление легких за нечто другое — за следствие того, что швы разошлись, — и мысленно решил, что девушка погибла.

Подавленный мрачным предчувствием, я двое суток не являлся в клинику. Мой первый вопрос, едва я переступил порог кабинета, был: «Что показало вскрытие?» — «Какое? — удивился ассистент. — Женя чувствует себя лучше и несколько раз спрашивала вас…»

Так, дорогой мой, — закончил он, — неожиданно родился новый метод операции, как в свое время переливание трупной крови.

Наше свидание подходило к концу, и я попросил ученого уделить мне завтра еще полчаса.

— Было бы трагично, — шутя сказал я, — если бы это свидание было последним.

— «Без трагедий, — повторил он Белинского, — сама жизнь стала бы водевилем, мишурной игрой мелких страстишек, ничтожных интересов, грошовых и крошечных помыслов… Трагическое — это божья гроза, освежающая сферу жизни после зноя и удушья продолжительной засухи».

Мне предстояло еще выяснить у Сергея Сергеевича его участие в помощи фронту внедрением сульфамидных препаратов.

Мне передавали, что он в первые дни войны послал все свои запасы сульфамидных препаратов в боевые части и разработал распылитель для экономного использования животворного препарата, который на фронт стал поступать значительно позже.

Я надолго запомнил его горячую нервную речь, неспокойные черты лица, большие мягкие руки и гибкие пальцы, одинаково сгибающиеся в тыльную сторону и в сторону ладони. Их червеобразное движение взволновало лучших художников нашего времени. Им уделили внимание Нестеров, Мухина и Кукрыниксы…

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Только что завершилось великое испытание народов, армия Гитлера пала, и человечество обратилось к своим кровоточащим ранам — к выжженной земле, к новым бесчисленным курганам и осиротевшим городам и селам.

Советское Информационное бюро обратилось ко мне с просьбой отправиться в Кисловодск, где погибла бóльшая часть эвакуированных из Ленинграда ученых, врачей и медицинских сестер, и по свежим следам восстановить все, что еще возможно. Очерки должны быть представлены в кратчайший срок.

Материалы были составлены со слов очевидцев, и я привожу их в том виде, в каком Информационное бюро опубликовало их.

Предо мной сидел еще сравнительно не старый человек, с глубоко впавшими глазами и трясущейся от волнения нижней челюстью. По морщинистым щекам его текли слезы.

— Меня зовут Фингерут Михаил Захарович, живу постоянно в Кисловодске, по профессии портной. Скоро год, как я это пережил, и все не найду себе покоя.

Он мотнул головой, словно стряхивая с себя скорбные воспоминания, и продолжал:

— Немцы расклеили по городу Кисловодску вот этот приказ…

Он дрожащими руками вытащил из кармана смятую бумажку, сложенную вчетверо, и протянул ее мне:

— Прочтите, пожалуйста.

Я прочитал:

«ВСЕМ ЕВРЕЯМ

С целью заселения малонаселенных районов Украины, все евреи, проживающие в городе Кисловодске, и те евреи, которые не имеют постоянного местожительства, обязаны: в среду 9 сентября 1942 года в 5 часов утра по берлинскому времени (7 часов по московскому времени) явиться на товарную станцию гор. Кисловодск. Эшелон отходит в 6 час. Утра (8 час. по московскому времени), каждому еврею взять багаж весом не более 20 кило, включая продовольственный минимум на 2 дня. Дальнейшее питание будет обеспечено на станциях германскими властями. Предлагается взять

лишь самое необходимое, как-то: драгоценности, деньги, одежду, одеяла. Каждая семья должна запечатать квартиру и к ключу прикрепить записку, в которой указать фамилии, имена, профессию и адрес членов данной семьи, ключ этот с запиской передать на товарную станцию германскому командованию.

Ввиду транспортных затруднений, багаж весом более 20 кило, а также мебель не могут быть взяты. Для лучшей подготовки и отправки оставшихся вещей каждая семья должна запаковать и запечатать все имущество, белье и т. д. с точным указанием хозяина. За целость и сохранность вещей отвечает комендатура Е. К. 12.

Кто посягнет на имущество евреев или попытается ворваться в еврейскую квартиру, будет немедленно расстрелян.

Переселению подлежат и те евреи, которые приняли крещение. Не подлежат переселению семьи, у которых один из родителей еврей, а другой русский, украинец или гражданин другой национальности. Не подлежат переселению также граждане смешанного происхождения. Добровольное переселение смешанных семей, метисов 1-й и 2-й категории, может быть произведено при дальнейшей возможности.

Всем евреям надлежит выстроиться на вокзале группами в 45—50 человек, причем так, чтобы отдельные семьи держались вместе. Организация построения людей должна полностью окончиться в 5 час. 45 мин. по берлинскому времени (7 час. 45 мин. по московскому времени).

Еврейский комитет отвечает за планомерное проведение этого постановления. Евреи, которые попытаются препятствовать исполнению этого постановления, будут строжайше наказаны.

Комендатура Е. К. 12».

— Я находился в числе тех тысяч евреев, — продолжал он, — которые поверили этому приказу. Среди нас было сто двадцать врачей и медицинских сестер, много ученых, эвакуированных из различных городов России и Украины, сотни маленьких детей, пленные красноармейцы, евреи, вывезенные из больниц, больные, старики и старухи… В восемь часов утра поезд отошел и в десять прибыл на станцию Минеральные Воды. Поезд состоял из десяти открытых платформ и одного крытого вагона, в котором помещались еврейский комитет и больные… Когда поезд

подошел к стекольному заводу вблизи станции, туда прибыли на трех машинах гестаповцы и на лошадях полицейские. Поезд остановили, и на русском языке послышалась команда: «Бросайте вещи и прыгайте на землю!», и вслед за этим другой приказ: «Сдавайте деньги и ценности!» Люди заметались, в отчаянии плакали и взывали о помощи… Я спрыгнул с платформы, увидел три пустых вагона на запасном пути и спрятался под одним из них. Оттуда я видел все, что произошло. Раздалась третья команда: «Снимайте всю одежду!» Женщины оставались в трусах, мужчины в кальсонах. Эту полуголую толпу в полторы тысячи человек погнали к танковому рву. Многие пытались бежать, но их настигала пуля автомата. Я видел трех ребят лет по двенадцати, они пытались скрыться и были схвачены. Одного из них пристрелили, а двух вернули к толпе… Из общего числа евреев были выделены сорок семей, которые собирали одежду жертв и грузили ее в вагоны… Заработали пулеметы и автоматы, начался расстрел безоружной, раздетой толпы. С одиннадцати до двух часов дня длилась расправа. Когда все было кончено, немцы отвели в лощину, недалеко от того места, где я лежал, сорок семей евреев, погружавших в поезд вещи расстрелянных, и расстреляли их…

Я пролежал под вагоном до шести часов утра следующего дня. Увидев утром на шоссе людей, идущих на станцию Минеральные Воды, я присоединился к ним. Навстречу нам шел отряд немцев в восемьдесят — сто человек с лопатами, они шли закапывать расстрелянных евреев… Я уничтожил свои документы и с чужими бумагами скитался до прихода советских войск…

* * *

— Предупреждаю вас, — шепнул мне врач, — больной много пережил, и, хоть прошло много времени, он все еще не пришел в себя. Будьте осторожны и не утомляйте его.

Предо мной лежал бледный, изможденный мужчина лет пятидесяти пяти, с болезненным румянцем на щеках. Он повернул ко мне голову и стал рассказывать:

— Меня зовут Липман Лазарь Романович, родом я из Глухова, живу много лет в Кисловодске…

С приходом немцев в Кисловодск начальник гестапо Вельбен из Штутгарта назначил еврейский комитет под председательством врача Бенинсона и обратился к комитету со следующими словами: «Если вы не хотите, чтобы мы поступили с вами как с евреями Керчи, несите к нам все по нашему

требованию». Им нужны были электроутюги, синие костюмы, золотые часы, мыло, репродукторы — и все в трехзначных цифрах. Была объявлена регистрация евреев, и нет такой грязной и унизительной работы, которая им не поручалась бы.

Недели две спустя ко мне пришел председатель комитета Бенинсон и стал умолять пойти работать в гестапо по моей специальности сапожника. Вельбен требует двух сапожников, двух портных, одного шапочника и одну швею и грозит расстрелять комитет, если требование не будет удовлетворено.

Вместе со мной явились на работу сапожник Хайкин, портные Гордон и Гордецкий, шапочник Гольдберг и швея Гиллер. Нам отвели застекленную веранду с выходом во двор. Тут мы работали и тут же первое время ночевали. Так продолжалось несколько месяцев. Мы приходили рано утром и уходили с наступлением темноты, ничего нам за труд не платили. Веранда не отеплялась, и мы в зимние дни сидели под ветром и снегом, проникавшими на веранду.

Из наших окон мы видели весь двор гестапо и черный ход. В день увоза еврейского населения города мы видели машины, которые беспрерывно въезжали во двор, доверху нагруженные носильными вещами. Затем в течение нескольких дней машины свозили имущество увезенного еврейского населения из их квартир. Мы видели, как алчные гестаповцы вспарывали подкладки одежд, искали золота и ценностей. Кладовые гестапо наполнялись тюками и провизией, но никто из нас не подумал, что тысяча двести человек еврейского населения, увезенного из города, расстреляны и это их имущество свозится сюда. На наших глазах во дворе разыгрывались отвратительные сцены дележки этого добра. Однажды один из палачей гестапо, будучи пьяным, сказал мне, что все евреи города расстреляны, их обманули, никто из них Украины не увидел…

Помню, как-то во двор ввели женщину-врача Грейзер с двумя детьми — трех с половиной лет и пяти. Она вела их за руки. Увидев на веранде нас, она направилась в нашу сторону, но ее толкнул немец, сопровождавший ее. «Куда вы нас ведете, что вам надо от меня?» — спросила она. Он без слов толкнул ее к подвалу, где находились заключенные. На другой день во время прогулки пятилетняя девочка резвилась под нашим окном, и я запомнил ее беличью шубку. На пятый день утром заключенные всей камеры, где находились двадцать две женщины, девушки и дети, были вывезены, и через два часа к нашей веранде подъехала та же машина и выбросила груду одежды, среди которой я узнал беличью шубку. Позже мне сообщили, что это были еврейские женщины, схваченные в горных аулах, где они укрывались…

В середине декабря немцы стали выкапывать гробы с погибшими немецкими офицерами, погребенными в парке, и в то же время из гестапо стали усиленно уезжать в «отпуск» видные чиновники. Близился день ухода немцев и нашей собственной гибели. Я предложил моим друзьям по мастерской скрыться, но те со мной не согласились. Они были уверены, что немцы их пощадят. Чтобы усыпить нашу бдительность, гестаповцы неожиданно выдали нам белый хлеб, конфеты, колбасу и срочно заказали нам сшить тысячу пар перчаток для армии. Это случилось за два дня до их ухода из города, когда советские войска заняли уже Георгиевск и грозили отрезать пути отступления из Кисловодска.

Я скрылся. За день до ухода гестапо из города были схвачены на квартирах шапочник Гольдберг с женой и двумя детьми, сапожник Хайкин с женой, портной Гордон, Соня Гиллер с дочерью и расстреляны. Трупы их я видел при раскопках у Кольцо-Гора, под городом.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Природа наградила его неуемной энергией, трудолюбием, страстью и кое-чем другим, о чем речь будет ниже. Тот, кто наблюдал, как он анатомирует блоху, извлекает из нее желудок, кишечник и железы, выделяющие слюну, как он манипулирует ее хоботком или сердцем, не нарушая покровов, — навсегда сохранит чувство изумления его мастерством. Ученого занимает моль, питающаяся шубным мехом и шерстью, гусеница пчелиной моли, которая довольствуется воском, как они из такого скудного вещества извлекают все необходимое для жизни. Хорошо бы выяснить, с помощью каких ферментов насекомые превращают древесину, воск и шерсть в жиры и ткани, овладеть тайной этих процессов.

Одухотворенный подобными мечтами и надеждами, он в стенах Таврического дворца обстоятельно рассказывает Совету солдатских и рабочих депутатов первого созыва, сколько претерпело человечество от блох и особенно от вшей. Они заедали людей на заре нашей культуры. Паразиты гнездились на теле наших предков, кости которых найдены в Гейдельберге, Неандертале и на Цейлоне. Почтенному собранию будет интересно знать, что в середине девятнадцатого века и совсем еще недавно вши вдохновляли живописцев и поэтов… Этому он посвятит отдельную книжку.

Благополучно преодолев свое увлечение создать анатомию насекомых, молодой зоолог увлекается охотой за клещами, и надолго.

Безмерно велик его интерес к вещами природе, неутомима жажда все разглядеть. Двигается ли он по улицам кишлака в Таджикистане, бродит ли по горам или сидит у себя в лаборатории — руки его, словно заведенные, продолжают охотиться за насекомыми, проворно мелькают пробирки, рассованные у него по карманам, принимая то мушку, то комара, неосторожно севших ему на руку или легкомысленно угодивших ему на глаза. Он не знает усталости и, должно быть, не верит в нее. Только что экспедиция, проделав далекий, утомительный путь, добралась до кишлака. Стоит мучительный зной, ни ветерка, ни капли свежего воздуха, надо бы отдохнуть, а он, захватив сачок и фотоаппарат, пускается в дорогу. В военном костюме и сапогах страстный охотник будет часами бродить по горам и не скоро вернется в лагерь.

Наблюдая за занятиями спутников и не выпуская пробирок из рук, он не преминет остановиться у древнего мазара — места

захоронения киргизов, чтобы на старых могилах поискать клещей, и заодно сфотографирует всех нищих вокруг мечети.

Так ли велик интерес к новым местам и путешествиям, что они порой затмевают творческую цель его жизни?

Да, безусловно, — скажут одни. Какое-нибудь озеро или складка в горах надолго отвлекут его от важного дела. Какой толк в его фотографиях и зарисовках? Вот он заснял свадебный кортеж и самую свадьбу — так ли это важно для паразитологии? Или чему, например, служит коллекция уборных, заснятых в различных местах?

Тем не менее никто, как он, так самоотверженно не выслеживал переносчиков болезни в кибитках туркмен и таджиков, в скотных дворах, в стенах домов, в щелях полов, не рылся в грязи, не гнушаясь и не брезгуя ничем. Попутно, конечно, его занимало и другое: домашняя утварь, убранство и мебель, ковры и предметы хозяйства. Заметив необычную дверь, удивительный замок или причудливого вида строение, он спешил с фотоаппаратом к новинке. Ночью почтенный академик приходил в жилища крестьян, расстилал на земле простыню и время от времени собирал на себе насекомых…

Это странное совмещение занятий зоолог объяснял тем, что знать одну лишь биологию и строение клеща недостаточно, наука требует знакомства с бытовой обстановкой и жизнью народа, в среде которого находится враг.

Кто знает, кого больше он этим защищал — себя, свою слабость или науку?

Росла слава ученого, а с ней и круг доброхотных помощников. Сколько их у него: в Средней Азии, в Сибири, на Дальнем Востоке, на юге, на севере! Некоторые давно знают его, они были его слушателями в Военно-медицинской академии. Он в свое время их оценил и перед отъездом к месту будущей службы роздал им темы. Годы связали его с ними, они выросли и возмужали в науке. Всюду, где ему приходится побывать, появляются новые помощники, одни приходят сами, других не грех завербовать, дать им тему, а затем из Ленинграда руководить ими. Кое у кого, возможно, написана работа, и удастся ее опубликовать. Еще одна связь окрепнет, упрочится новая ячейка.

Чтобы привлечь новых помощников, ему не жаль трудов. «Сообщите по адресу: Всесоюзный институт экспериментальной медицины, — взывает он к врачам Закавказья, — встречалась ли вам болезнь, внешне напоминающая возвратный тиф, но с несколько своеобразной клинической картиной?» На это следует множество «да», завязывается переписка с врачами, учеными,

студентами, лаборантами и учителями, с малознакомыми и знакомыми людьми, со всеми, кому близки интересы науки и паразитологии или кто в силу своей профессии соприкасается с природой. Он просит присылать клещей, и посылки следуют со всех концов страны. В Ленинграде он их исследует и выявляет новые районы клещевого возвратного тифа.

Необходимость руководить многочисленными группами, расположенными нередко далеко друг от друга, не оставляет ни минуты свободного времени. Много хлопот и забот в Ленинграде и не меньше их в экспедициях. Надо бы поработать в кругу своих помощников, а он мечется по городам к своим подопечным, тратит дни и недели на разъезды по самым различным делам. Много их, и нет им, кажется, предела.

Дорого этот успех обошелся ему, он разлучил его с творчеством, оставив в утешение счастливое сознание, что другие продолжают его дело. Не слишком радостное чувство для того, кто всю жизнь промечтал творить и исследовать тайники жизни.

Особенно много времени отнимают у него три места его постоянной работы, отстоящие на расстоянии шестисот, четырех с лишним тысяч и пяти тысяч километров друг от друга. Он — начальник кафедры общей биологии и паразитологии в Ленинграде, заведующий отделом паразитологии в Москве и председатель филиала Академии наук. Где уж вовремя поспеть в Сибирь, к месту эпидемии энцефалита. Напрасно Министерство здравоохранения Союза напоминает ему об этом. Надо бы поехать, но где уж. Только что прошла конференция врачей, где он уговаривал участников присылать ему кусочки человеческой кожи с клещами, присосавшимися к ней. Затем подоспело совещание, которое он сам проводил. Были заслушаны тридцать докладов и принята масса важных решений. Он всех переслушал и коротко резюмировал каждую речь. В намеченную минуту была готова составленная им резолюция…

Каждый день он говорил себе: «Еще немного — и я вырвусь отсюда. Покончу с делами и поеду. Буду там бродить по тайге, собирать насекомых и зарисовывать таежные ландшафты…»

По-прежнему приезжали ученые и сотрудники, шли письма, запросы врачей, и желанный отъезд отодвигался. В последнюю минуту понадобилось выступить с докладом перед пионерами, сообщить им о состоянии паразитологии в стране.

— Зачем это вам, — недоумевали сотрудники, — так ли уж важно читать детям лекцию из университетского курса?

— Важно и необходимо, — следовал уверенный ответ, — молодежь живет мыслями о танках и самолетах, надо, чтобы они и наше дело любили… Нечего отплевываться от вшей.

Даже многотерпеливая помощница, его неизменная спутница в творческих исканиях, не всегда с этими причудами мирилась. Помнится, в самую горячую пору ее борьбы с малярией на рисовых полях он вдруг вызывает ее в Сталинабад. Мало ли что могло случиться, без крайней нужды он не стал бы ее вызывать. Ученый, верный себе, угодив в Сталинабад, прочел несколько лекций на различные темы и поставил на очередь ее доклад.

— Мы не должны дожидаться, — оправдывался он, — когда наши материалы появятся в печати и на колесах доползут сюда. Нет смысла откладывать полезное дело, труд наш должен сегодня же служить медицине. Мы с вами пожарные, ударят в колокол, позовут — и мы бросимся туда, куда надо.

— Беда не в колоколе, — возражает она — а в колокольнях. У вас их много, а с меня хватило бы одной.

— У меня одна колокольня, — сдержанно отвечает он ей, — но я с моей вышки стараюсь видеть дальше других.

Взор его действительно хватает далеко: один из его помощников обследует насекомых Памира, другой — зараженность оленей в северной тундре, третий набрел на загадку у берегов океана. А сколько собственных дум, неосуществленных надежд… Как бы ему хотелось ими заняться, днями охотиться за насекомыми и клещами, а вечерами препарировать их. Старый мастер тоскует по работе с иглой и невольно оставленному искусству.

— Когда к старости «остепенюсь», я вернусь к анатомии насекомых. Скорей бы состариться, — говорит седой великан, которому пошел восьмой десяток.

Между тем Министерство здравоохранения, не дождавшись, когда ученый развяжется с делами, направило в тайгу микробиологов, подчинив отряд паразитологов главе экспедиции. В короткое время микробиологи набрели на след виновника болезни. Они растерли некоторое количество клещей в кашицу, ввели ее мышам и заполучили яркую картину энцефалита.

Паразитологи лишь один раз удачно повторили этот опыт. Вновь заразить зверька им не удалось. Весной следующего года ученый наконец оставил Ленинград и отправился с отрядом в тайгу. С собой он привез киноаппарат и неутомимую жажду трудиться. Он устал от переписки и организационных хлопот, от бесконечных запросов и ответов. Так устал, что, казалось, не радовали даже посылки с «букашками», как их окрестили на почте. Понадобился год, чтобы установить, какие именно клещи и как передают заразное начало человеку.

Тут начинается нечто такое, о чем не хотелось бы вспоминать. В научных журналах появились две версии того, что

произошло в тайге. Микробиологи претендовали на честь открытия переносчика энцефалита, а паразитологи настаивали на том, что первенство бесспорно принадлежит им. Спор из специальной печати перенесли на страницы газеты, и вот что ученый-паразитолог по этому поводу мне писал:

> «…В «Медицинском работнике» появилась пространная статья о профессоре-микробиологе. В ней сказано ни более и ни менее, что все проблемы клещевого энцефалита были им разрешены впервые за три с половиной месяца работы 1937 года. «Концепция» о клещах как переносчиках уже претворяется в установленный факт. Аппетит приходит и нарастает со временем, и вот автора, который сам писал лишь о вероятном значении клещей, его учреждение, всячески стремящееся возвеличиться по всем трем существующим в природе измерениям, теперь прославляет его в лице своих прислужников как «установившего» значение клещей, мне же бросают в лицо сорвавшееся с языка обвинение, что надо относиться друг к другу «по-советски». Причем ими целомудренно замалчивается факт открытия клещевого вируса моей группой в самом начале работ 1937 года. А вышеупомянутое лицо все желает подмять под себя, игнорируя и факты и действительность».

Дальше в письме следовало нечто имеющее прямое отношение ко мне:

> «Я готовлю особое номерное издание вашей книги и надеюсь, что вы его одобрите, но это займет много времени, и в лучшем случае я сделаю его к концу года, а может быть лишь к весне».

Что это означало, я не скоро узнал.

Год спустя, в декабре 1947 года, почтенный академик, между прочим, советует мне в письме:

> «При случае вам следовало бы отметить, что в экспедиции микробиологов я лично не участвовал, но там был целый мой отряд, тогда как микробиологи рассчитывали получить одного только помощника и подмять его под себя…»

Скорбная история, увы, затянулась. Однажды герой моей

книги меня навестил и показал письмо противника. Словно между учеными в прошлом не было недоразумения и в том, что произошло, виноват я один, профессор, награждая меня не совсем лестными эпитетами, требовал запретить мне приписывать заслуги микробиологов паразитологам.

— Я показал это вам для проформы, — сказал он, — ничего в книге изменять нельзя. Уж если вносить изменения, то совершенно в другом плане.

Легко было ему отделаться, мне это несчастное событие запомнилось на всю жизнь. Микробиолог умер и не простил мне моего кажущегося проступка.

Книга, посвященная ученому-паразитологу, понравилась ему, и тем не менее в какой-то мере раздражала. Предисловие директора Всесоюзного института экспериментальной медицины, действительного члена Академии медицинских наук, и лестные замечания его по адресу ученого и автора были, несомненно, приятны, но в книге, посвященной его научной деятельности, очень скупо было сказано о нем самом. В течение ряда лет ученый устно и письменно призывал меня к благоразумию.

> «…С точки зрения техники построения сюжета, — писал он мне в одном из своих писем, — я явился неудобным для автора объектом, поэтому получилось то… что обо мне написано недостаточно. (Я привожу вашу формулу приблизительно.) Ранее вы мне ответили прямо, что я не сделал ничего дельного, о чем можно было бы писать. Поэтому я явился скорее «фоном» развития деятельности моих сотрудников…»

Несмотря на это, мы сохранили с ним добрые отношения. Он написал весьма лестное для меня предисловие к книге «Пути, которые мы избираем», с интересом пополнял свою библиотеку моими книгами, изданными в нашей стране и за рубежом, и навсегда сохранил надежду, что я в очередном переиздании напишу больше о нем. Убедившись в моей непреклонности восполнять биографию неважными подробностями из его жизни, ученый решил это сделать без меня. В один прекрасный день я получил по почте ящик, обитый бордовым коленкором, и в нем толстую, объемистую книгу, переплетенную кожей, с тисненным золотом названием моей книги. По размерам эта книга превосходила мою в несколько раз. Я не без удивления раскрыл послание и увидел свое произведение заново переизданным весьма своеобразным манером. Мои двести восемьдесят четыре страницы были вклеены в такое же количество плотных листов бумаги и восполнены комментариями биографического

характера, не вошедшими в мое издание. Помимо того, книга обогатилась большим числом фотографий самого ученого в детстве и позже, в юные годы, с родителями, в кругу своих сотрудников и вне его. Это издание, составленное в пяти экземплярах, было направлено мне, двум академиям и высшему военному ведомству. Мне оно должно было служить наглядным упреком и напоминанием, что ошибку исправить не поздно.

И до того и после ко мне продолжали поступать любезные письма ученого с неожиданной вкладкой и указанием, на какую страницу последующего издания этот новый материал следует включить. Так я узнавал, что академик побывал в Индии и выступал в Дели. Следовало описание городов, исторических мест и впечатления от Всеиндийского научного конгресса.

Мне было также сообщено о приятном путешествии в Париж в дни международного чествования великого Пастера. Из письма я узнал, что в аудитории Ришелье в Сорбонне он прочел лекцию на тему «Наука на службе родины».

Последняя вкладка в письме была посвящена удивительной поездке по великим просторам Азии, семи месяцам неустанных путешествий и трудам, которые будут запечатлены в книге объемом в шестьсот страниц.

Мою непреклонность академик решил наказать и привел замысел в исполнение.

Свыше года я в содружестве с режиссером киностудии трудился над сценарием о подвигах паразитологов. В нем рассказывалось то же самое, что и в моей книге, но действующие лица не были подлинными. Этого было достаточно, чтобы ученый отказался визировать текст и подтвердить его достоверность.

— Вы что же затеяли, — сердился ученый, — приписать наши заслуги выдуманным персонажам?

Кинокартина не была осуществлена.

Почему же все-таки книга, написанная мною, выдержавшая десять изданий, никогда автором восполнена не была? Так ли бесплодны были эти годы для главного действующего лица?

Этого сказать нельзя. В несколько лет трудами сотрудников и доброхотных помощников была обследована вся Средняя Азия — область, равная по площади Германии и Франции, изучены все уголки гористой и труднодоступной страны. Успешны были те годы и для самого ученого. Совместно с помощником он открыл клеща — переносчика возвратного тифа. Членистоногий враг, как выяснилось, сохранял спирохету в продолжение всей жизни. Эта эпопея завершилась в 1939 году. Ничего нового с тех пор ученый, увы, представить не мог.

Имя исследователя не блекло, в свет выходило большое

число сборников и монографий, учебников и популярных книжечек на самые разнообразные темы, порой далеко отстоящие от паразитологической науки. Брошюры, посвященные природе, поэзии и биографиям ученых, были слабыми компиляциями, написанными наспех, насыщены не слишком удачными стихами ученых минувшего и нынешнего веков. Не очень красят эту книгу о творчестве ученых одиннадцать страниц беспомощных стихов профессора Филатова. Стоило ли маститому ученому заниматься компиляцией стихов, в большинстве не увидевших свет?

Вряд ли следовало почтенному академику тратить силы и труд на коллекционирование всего, что под руку попадало. Наряду с насекомыми, тушками зверьков и птиц у него накапливались и хранились продовольственные карточки времен революции, пасхальные меню за четверть века, нарисованные некогда его рукой, деньги и документы всевозможных правительств времен семнадцатого — двадцатых годов, трудовые карточки, удостоверения с резолюциями на получение «трудового обеда», различные курьезы и факты, забавные истории из далекого и недавнего прошлого.

Этот музей поглотил у ученого много дней, месяцев и лет. Не сумел он бережно копить часы и минуты для великих дел. Не сумел помешать честолюбию оттеснить себя от любимой работы. Снедаемый тщеславием и любовью к науке, он призраку приносил в жертву мечту своей жизни.

За несколько дней до празднования его семидесятилетия он пригласил меня присутствовать на чествовании и, передавая пригласительный билет, сказал:

— Безрукий народ, пришлось самому составлять текст приглашения.

Я привожу его частично:

«Глубокоуважаемый товарищ!

Отделение биологических наук Академии наук СССР,

Отделение географических наук Академии наук СССР,

Министерство Обороны СССР,

Министерство здравоохранения СССР,

Министерство культуры СССР

приглашают Вас принять участие в торжественном заседании, посвященном чествованию

Депутата Верховного Совета СССР,

Действительного члена Академии наук СССР,

Действительного члена Академии медицинских

наук,

Почетного члена Академии наук Таджикистана,

Лауреата Сталинских премий,

Заслуженного деятеля науки,

Доктора биологических и медицинских наук, профессора и т. д.

Имярек

в связи с его семидесятилетием и 45-летием научной и общественной деятельности».

Слабости присущи всем людям, имел на них право и ученый. Все сводится к тому, во что они обходятся нам, какой ценой мы платим за них.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С Леоном Абгаровичем Орбели наша дружба долго не налаживалась. Он не проявлял ко мне ни малейшего интереса, а я избегал знакомства с человеком, перед которым чувствовал себя глубоко виноватым. Давно вышли из печати и многократно были переизданы мои книги о Павлове и его сотрудниках — Быкове и Сперанском, а замечательные исследования Орбели как бы остались вне круга моих интересов. Я не скрывал от себя и других, что мне не создать из столь сложных трудов художественного произведения. Мои литературные потуги будут напрасны, интересные идеи ученого поблекнут и покажутся неубедительными.

Настал все же день, когда я попросил Леона Абгаровича помочь мне написать книгу о нем и его школе.

— Ведь вы не медик и физиологию не изучали, — счел Орбели своим долгом заметить мне. — Легко ли вам будет справиться с объемом наших работ?

Начало ничего хорошего не сулило. Леон Абгарович знал о моих книгах, посвященных другим физиологам, знал также, что до меня никто не отважился популяризовать физиологию. Напоминание о некомпетентности было первым и последним укором за мое столь долгое равнодушие к Колтушам и заодно к нему. Мое самолюбие не позволило мне остаться в долгу.

— Я действительно не медик, но знание анатомии и гистологии вряд ли помогло бы мне написать книгу об Академии сельскохозяйственных наук.

Это было жестоко с моей стороны, Леон Абгарович вел тяжелую войну с ее президентом, и близился день, когда победа достанется противнику. Два года спустя после нашего разговора знаменитый физиолог своим отказом закрыть в Колтушах лабораторию генетики и выполнить приказ Академии наук предрешил свою судьбу. Его сняли со всех должностей и оставили лишь заведующим лабораторией в Институте имени Лесгафта.

Чтобы смягчить неприятное впечатление, я поспешил добавить:

— И в лаборатории профессора Гурвича, где я изучал природу митогенетических лучей, пособия из медицинского курса не понадобились мне.

— Что ж, я вам не помеха, — сдержанно произнес ученый, — знакомьтесь с нашими лабораториями, понадобятся мои объяснения — милости просим, я к вашим услугам.

Весьма своеобразно сложилась судьба Леона Абгаровича. Он

рано возмечтал стать врачом, однако желание это продержалось лишь до второго курса. Первая же лекция Павлова подсказала ему другой путь — не врачом, а физиологом будет он. Осуществить это студенту не удалось, место в лаборатории досталось по конкурсу другому. Пришлось четыре года врачевать во флоте. Снова судьба привела его в лабораторию Павлова, благополучно защищена диссертация, и опять невезение — Павлов им недоволен, слишком часто его отчитывает и круто обходится подчас.

— Я вынужден оставить лабораторию, — с грустью объявил молодой физиолог ученому, — я, видимо, не гожусь вам в помощники.

Павлов окинул его испытующим взглядом и невозмутимо спросил:

— Это вы насчет чего? Не оттого ли, что я ругаюсь?

— Зачем мне вас раздражать? — виновато развел руками помощник. — Мне, я думаю, лучше уйти.

— Нет, не лучше, — благодушно усмехаясь, проговорил ученый, — все наладится и будет хорошо.

Прошло немногим больше десяти лет — и ученый и его помощник расстались. Орбели был избран профессором медицинского института в Ленинграде, и Павлов по этому поводу с грустью сказал:

— Что ж, пожелали стать профессором — пожалуйста… А то, может быть, останетесь?

Вот что послужило причиной ухода Леона Абгаровича в институт.

Его давно уже одолевало желание вникнуть в природу наследственных свойств организма. Не временные связи, возникающие в течение жизни, а извечные, доставшиеся нам от далеких предков, занимали молодого ученого. Живой организм является на свет с установившимися врожденными связями. В течение тысячелетий формировались они по тем же законам, по каким образуются наши навыки в недели, дни и часы. Куда они деваются? Исчезают или сохраняются подспудно в организме, чтобы в известный момент дать о себе знать?

Орбели допустил, что древние свойства не вытесняются новыми врожденными связями, а лишь затормаживаются, и надеялся воочию это разглядеть.

Первым доводом в пользу такого предположения служит особое свойство сердечной мышцы. Она сохраняет способность автоматически сокращаться, и эту самостоятельную деятельность нервы лишь регулируют. Похоже как бы на то, что древняя и более поздняя функция умещаются рядом. Сохранилась ли эта

двойственность лишь у сердечной мышцы, нет ли ее также и у скелетной?

Давно известно, что если у животного перерезать двигательный нерв скелетной мышцы, в ней спустя несколько дней возникнет некое подобие автоматизма. Мускулатура, словно движимая какой-то внутренней силой, будет неправильно и непрерывно вздрагивать. И еще одно свойство возникнет в ее тканях: химические вещества — никотин и ацетилхолин, неспособные приводить в действие нормальный скелетный мускул млекопитающегося, эту мышцу сокращают. Утратив контроль двигательного нерва, мышца словно оказывается в условиях, несвойственных ее уровню развития. Из недр прошлого восстает древняя функция, чтобы вернуть свою власть над ней. Возвращает свое господство над мышцей и ацетилхолин, способствующий лишь сокращениям мускулатуры у амфибий, рептилий и птиц.

Орбели восстанавливает рассеченный нерв, сшивает разобщенные концы, выжидает, когда нерв срастется, и на его глазах — автоматизм мышцы исчезает, а с ней и способность сокращаться под действием ацетилхолина.

Опыты, проведенные на собаках, были повторены на азиатской и египетской саранче. И здесь мышца, лишенная двигательного нерва, начинала ритмично сокращаться, проявляя автоматизм, сходный с автоматизмом сердца.

Какую же новую страницу в истории физиологической функции открыл ученый?

Он установил, что различные ткани в одном и том же организме находятся на разных ступенях развития. Одни железы действуют под влиянием раздражений, приходящих из окружающей среды, — например, кишечные железы у высших позвоночных, в том числе и у человека. Другие железы — слюнные, желудочные и поджелудочная — возбуждаются под действием нервного механизма и веществ, приносимых током крови. Слюнная железа почти целиком подчинена нервным влияниям. Без импульса из центральной нервной системы деятельность ее невозможна. Стоит, однако, перерезать нерв, вызывающий слюноотделение этой железы, и слюна станет выделяться непрерывно, как выделяется секрет железы, возбуждаемый окружающей средой. Достаточно вновь восстановить рассеченный нерв слюнной железы — и повторится то же, что и со скелетной мышцей после соединения концов рассеченного двигательного нерва…

В раннюю пору своей долгой истории скелетная мышца была независима. Нервы не управляли ею, она подчинялась

воздействию окружающей среды. Со временем нервы-пришельцы пронизали мышцу и стали регулировать ее отношения со средой. Она все еще развивала свою деятельность собственными средствами, но ее сила и слабость, способность сокращаться больше или меньше, уже зависели от нервов. Они сильно урезали ее «свободу». Следующая ступень развития скелетной мышцы была полна ограничений. Ей не давали откликаться на химические раздражения, приходившие из окружающей среды; их становилось все меньше, и оттого слабел ее самодействующий аппарат. Нерв подчинил мышцу центральной нервной системе.

Поиски механизмов, упрятанных природой от взоров науки, продолжались.

Чтобы проследить, как формировалась центральная нервная система в далеком прошлом, в каком порядке в нее включались различные отделы — сразу целиком, постепенно или частично, ученый обратился к ранним стадиям утробного развития животного. Опыты производились на извлеченном плоде крольчихи, сохранившем связь с пуповиной матери. Вскоре выяснилось, что до семнадцатого дня с момента зачатия зародыш на раздражения не реагирует. Постепенно включаются различные участки тела и в конечном счете — части спинного и головного мозга.

Орбели задался целью найти границу врожденного и приобретенного, чтобы отделить то, что организм принес с собой в день рождения, от того, что наслоилось впоследствии.

Моделью для исследования избрали птиц, рождающихся, подобно человеку, неспособными к самостоятельному существованию. Их недостаточно сформированная нервная система и врожденные механизмы рано подвергаются влиянию внешней среды, образуя причудливое переплетение.

Были прослежены все инстинкты — гнездостроения, кормления птенцов, влечение к насиживанию и даже дальние перелеты, — и выяснилось, что эти врожденные свойства непрерывно совершенствуются жизненным опытом. Птицы, выросшие вне круга птиц, остаются под властью инстинкта и столь беспомощны, что неспособны ни строить гнездо, ни спариться, выпущенные на волю не могут достать себе корма и спешат вернуться под гостеприимный кров человека.

Таков был ответ из птичьего царства.

Леон Абгарович прочитал мою рукопись, одобрил ее, и тут между нами произошел такой разговор.

— Вы много раз в своей жизни меняли свой творческий курс. Мечтали быть врачом, а став им во флоте, предпочли физиологию и ушли к Павлову. У Ивана Петровича вы оставались недолго и

увлеклись идеей, сравнительно далекой от временных связей, которым были двенадцать лет верны… Чем объясняются эти переходы?

На короткое время вопрос мой озадачил Леона Абгаровича и, судя по ответу, был ему неприятен.

— Вы ошибаетесь, я на школьной скамье мечтал уже быть сотрудником Павлова. От временных связей я не отрекался, что же касается врожденных, то они не меньше интересовали и Ивана Петровича. Это он установил, что временные связи наслаиваются на врожденные, регулируя и обогащая их.

Меня удивило желание этого человека стать в одном ряду с десятками и сотнями безвестных павловских помощников, которые добросовестно повторяли идеи учителя, не слишком обогащая их новыми. К лицу ли ему скрывать от меня свою оригинальность и независимость мышления?

— Павлов действительно изучал закономерности врожденных связей, — продолжал я настаивать на своем, — но отнюдь не их происхождение, возникновение и связи между древними и более поздними формами. Это вы заглянули в душу крольчонка весом меньше грамма и выяснили сроки и последовательность пробуждения его чувств. Это вам понадобилось развенчать могущество инстинкта у птиц и доказать, что без повседневного жизненного опыта его значение невелико.

Ему, должно быть, понравилась моя настойчивость, и он спросил:

— Сказать вам всю правду? Или вам достаточно некоторой части ее? Ведь вы нашу беседу обязательно внесете в книгу, обещайте, что разговор останется между нами.

Я обещал.

— Я, видимо, родился не врачом и не физиологом, а философом. Не логика вещей меня занимала, а истоки ее. Учение Павлова привлекло меня тем, что открывало возможность заглянуть в процессы формирования мышления, рождения характера и осмыслить закономерности поведения. Я видел, как Павлов строил новые рефлекторные связи, ставил их в различные зависимости и обнажал те координации, с которыми мы родились… Все это было прекрасно, и меня потянуло заглянуть в природу наследственных свойств… Мне кажется, — после долгой паузы добавил он, — что, научившись отделять в человеке его современную сущность от той, древней, упрятанной в его существе, извращающей время от времени истинный облик его личности, — мы окажем миру огромную услугу… Да, — закончил он, — меня всегда привлекали не только тайны, но и тайны тайн, скрытые от нашего глаза.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я позвонил в гостиницу «Москва» и пригласил к телефону профессора Филатова Владимира Петровича.

— Разрешите вас навестить, — сказал я, — меня весьма занимают ваши исследования… Мне думается, что читателям это будет интересно.

Фраза не была закончена, из телефонной трубки послышалось сердитое:

— Не надо… не надо… Не приходите. Вы обязательно напутаете… Меня достаточно знают и без вас.

Ответ огорчил и понравился мне, не многие из тех, чьи имена блистали во славе, так легко отклоняют услугу печати. Я счел начало обнадеживающим и продолжал:

— Хорошо. Писать я не буду, а познакомиться с вами мне будет позволено?

— Приезжайте, — неохотно согласился ученый, — но ненадолго. Не вздумайте меня переубеждать.

В гостинице мы просидели недолго, я оставил Владимиру Петровичу мои книги, посвященные трудам Павлова, Быкова, Павловского, Вишневского и Гурвича, и попросил познакомиться с ними.

Несколько дней спустя я был приглашен в Одессу для обстоятельного разговора.

Меня ждали сюрпризы, какие трудно было предвидеть.

— Вы намерены писать о Владимире Петровиче? — спросил меня почтенный университетский профессор. — Продумали вы это до конца? Впрочем, ведь вы не медик и далеки от круга наших интересов и понятий.

— Не хотите ли вы сказать… — только и успел я промолвить.

— Ничего особенного, я знаю героя вашей будущей книги, знаком с ним немало лет. Слежу за его успехами и истинно рад им. Хотите, я его похвалю, расскажу ряд достойных историй о нем, трогательных, волнующих, но ведь вам нужна правда, или я ошибся? Не в моем характере сочинять оды и курить фимиам. Не стану повторять вам того, что говорили другие, я не люблю промышлять чужими идеями, у меня свой взгляд на то, что принято считать правом на бессмертие. Ваш будущий герой неплохой окулист, мастер пересаживать роговицу… И кожная складка, так называемый филатовский стебель, хороша, не спорю, и все-таки не знаю, что вас в этой фигуре пленило… Я решительно отклоняю ваш выбор. Герой ваш азартен, когда надобна выдержка, болезненно страстен, когда обстоятельства

требуют терпения. Таким мы его видали за картами в семейном кругу и в клинике. Я сказал бы, что он родился для большой политической игры… Не смейтесь, это так. В нем сидит человек, готовый идти напролом, бросаться в омут очертя голову. Опасный и в равной мере любопытный характер. Подумайте над этим, мой друг.

Говорили о Владимире Петровиче и другое. Он любит музыку, поэзию, пишет стихи, мемуары его написаны в добрых традициях литературы. Стихи лиричны и непосредственны. Он чудесно рисует морские прибои, восходы, закаты.

Я обратился к мемуарам, которые ученый любезно предоставил мне.

В них я нашел страстные описания охотника, картину преследования дупеля, бекаса и чирков.

> «Я змеей пробираюсь по кочкам и мочажинкам, — рассказывает о себе Владимир Петрович, — комары беспощадно жалят меня… Я измок, весь в грязи. Мое распластанное тело слилось с землей, я не чувствую неудобств от патронташа и ягдташа, я ничего, кроме чирков, не вижу…»

За этим следуют стихи о любви и многом другом.

Мое внимание привлекли другие строки из мемуаров:

> «Софья Лазаревна Вельтер была моей самой сильной помощницей по пересадке роговицы. Это не только техническая помощница, она полюбила дело пересадки всем сердцем, радовалась нашим успехам и печалилась вместе со мной. Как и я, Вельтер беспрестанно думала о ней. С великой тщательностью наблюдала она за больными до и после операции. Я буду иметь еще случай о ней говорить не как о помощнице, но как о сотруднице в разработке метода пересадки роговицы. Здесь я замечу, что, не будь Вельтер, сочувствующего и подбадривающего тона ее, я не сделал бы и половины того, что сделано. При операции Вельтер не только ассистент, но и няня, оберегающая оператора и морально поддерживающая его».

…Началось обычным в практике случаем. Предстояло удалить у больного старика обезображенное веко, изготовить другое из его же тканей. Двумя параллельными разрезами выкраивается обычно лента на шее, один конец ее отсекается, чтобы краем его заменить негодное веко, а другой остается на

шее тянуть соки и питать оперированный участок. В таких случаях не очень благополучно обстоит с внутренней стороной ленты. Отделенная от тканей, она представляет собой обнаженную рану, открытую для микробов. Постепенное рубцевание и сморщивание ухудшает ее качество и делает порой непригодной для пересадки.

На этот раз хирург вместо ножа взял в руку иглу, захватил в складку кожу будущего лоскута и стал ее от уха до ключицы прошивать. Следующей процедурой он провел ножом вдоль кожной складки, выше швов. Трубка расправилась, протянулась лентой. Чтобы оградить внутреннюю, незащищенную сторону от внешних вредностей, хирург сшил ее боковые края и образовал таким образом трубчатый тяж. С «матерью-почвой» его связывали оба конца: один возле уха, а другой у ключицы. Это был стебель, питаемый соками, но, в отличие от растительного, он извлекал их с двух сторон.

На двенадцатые сутки хирург срезал с губы старика кусок слизистой оболочки и подшил ее к нижней оконечности стебля. Это была подкладка для будущего века.

В трубчатом тяже нарастали кровеносные сосуды, он развивался и крепнул. Хирург удалил больное веко и на свежую рану уложил нижний конец тяжа. Три недели спустя новое веко прижилось, и излишний кусок стебля отрезали. Новый метод пластической операции стал общепринятым.

Напрасно искал я в чудесных актах милосердия хирурга отголосок тех слабостей и душевных изъянов, приписанных ему со стороны. С тем большим удовольствием продолжал я изыскания его последующих научных откровений.

Удача со стеблем пробудила в ученом свойственную его натуре страсть. Снова, как в пору ранней молодости, когда снедали его охота, рыбная ловля, юношеская забава за карточным столом, он почувствовал себя во власти влечения, крепко втянутым в большую игру.

Еще будучи студентом четвертого курса, Владимир Петрович заинтересовался теорией помутнения роговой оболочки и образования бельма. Глаз в основном невредим, а человек обречен на беспросветное существование. Нетронутой лежит сетчатая оболочка, способная все отображать — воспроизводить картину за картиной, стирать одну за другой и мгновенно возобновлять их. Над этой пленкой невредимым сохранилось стекловидное тело, схожее со студнем. Над ним, нисколько не помутнев, покоится хрусталик — лупа, обращенная в мир. Цела и нерушима радужная оболочка — непроницаемая тканевая завеса, открывающая свету узкий проход через зрачок. Одна лишь

роговица, вставленная в склеру — белок, — как часовое стекло в ободок, затянута густой пеленой. Только пересадив больному здоровую роговую оболочку, можно было бы вернуть ему зрение, но где ее взять?

Напрасно просил он врачей, устно и письменно, присылать ему удаленные во время операций глаза с прозрачной роговицей: «Вам они не нужны, вы бросите их в банку с формалином, а я ими людей воскрешу, верну им свободу и солнце». Вопреки советам авторитетов, он благополучно приживлял детям роговые оболочки стариков, девушкам — взятые у престарелых людей.

Была еще одна надежда, увы, весьма шаткая, — использовать роговицы трупов. Многочисленные опыты ни к чему не приводили, зрение возвращалось ненадолго.

Только ученый, способный в привычных канонах повседневного труда разглядеть сокрытое новшество, мог бы найти выход из тупика. Им счастливо оказался Филатов.

Рассматривая как-то научную литературу, ученый прочел: «Окулист-экспериментатор Мажито вернул зрение слепому, пересадив ему роговицу мертворожденного ребенка. Удачный опыт больше не повторился». В другом журнале и значительно позже Филатову встретилась заметка о том же окулисте. В ней сообщалось, что один из больных в день, назначенный на операцию, не явился и пересадку удачно провели через несколько дней. Роговица тем временем оставалась в леднике, охлажденной до пяти градусов выше нуля. Сопоставив первую заметку со второй, ученый призадумался. Не сохранял ли Мажито и роговицу мертворожденного ребенка на холоде? Не потому ли следующие операции окулиста не дали желанного результата, что материал для пересадки не был предварительно охлажден?

Первый же опыт подтвердил, что трупная роговая оболочка, предварительно охлажденная, приживается и остается прозрачной. Холод не только приостановил гибель роговицы, но и повысил ее жизнестойкость. У врачей отныне было достаточно материала, чтобы безотказно возвращать зрение слепым.

Давно было подмечено, что после пересадки роговицы бельмо за ее пределами становится прозрачным. Особенно быстро наступает прояснение, если роговая оболочка была взята у трупа. И в этом случае сказалась способность ученого оторваться от привычных представлений и в повседневном разглядеть сокрытое новшество. Нельзя ли использовать удивительное свойство привитой роговицы, чтобы просветлять ею бельмо? Он срежет верхние слои помутневшей роговички и приживит на этом месте кусочек свежего материала.

Опыт удался — остальная часть бельма стала прозрачной.

В остуженной роговице, решил ученый, возникают, вероятно, некие благотворные вещества. Судя по тому, как ничтожно мало их и значительны результаты, надо за ними признать высокую активность. Если это так, всякая охлажденная ткань должна располагать такими же целебными свойствами и, подшитая к больному месту, становиться лечебной.

Снова удача, на этот раз удивительная: самые разнообразные болезни, будь то инфекционные, желудочно-кишечного тракта, астма и даже болезни женской половой сферы, — благотворно протекали под действием трупной кожи, подшитой вблизи пораженного органа. Позже выяснилось, что результаты будут те же, куда бы ткань ни привили. Можно было также из нее сделать водный раствор или, иссушив в порошок, принимать внутрь.

Так называемые «биогенные стимуляторы» обнаружились также у растений, стоящих на грани смерти. Творческая мысль ученого праздновала истинную победу. Со счастливым сознанием, что труд мой не был напрасен, я мог наконец оставить Одессу и вернуться в Москву.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Близился день, когда в моем творчестве наступит коренной перелом, с жанром научно-художественной биографии придется расстаться. Слишком трудно писать о живых персонажах, творить характеры, которым чужды пороки и ошибки, растрачивать искусство на образ, канонизированный легковесной рукой газетного репортера. В романах персонажи покорны судьбе, не взывают к объективности и не почитают за клевету описание того, что о них давно известно.

А как трудно угодить такой книгой издателю! На ней должен быть штамп главного персонажа — его уверение, что научный материал изложен правильно. Литературный редактор сочтет своим долгом снять с себя ответственность за содержание страниц, посвященных знанию, запросит мнение специалиста либо меланхолично заметит, что такого рода книги целесообразней издавать в медицинском издательстве.

Научная консультация ничего хорошего не сулила. Длинный перечень упущений и погрешностей завершался обычно брюзгливым замечанием, что не следует науку доверять несведущим лицам. Вслед за тем книга выходила в свет с предисловием академика. И тот и другой ученый судили, как им казалось, беспристрастно, но каждый со своих позиций. Не с научных, конечно, а иных. Автор оказывался между чувствительными соперниками, и судьба книги зависела от того, на чьей стороне окажется «бессмертный».

Бывало и по-другому. Об одном таком случае я не без горечи вспоминаю поныне.

Был 1949 год. Моя книга «Законы жизни», посвященная шести ученым, и в том числе, Павлову, вышла третьим изданием, размером свыше сорока печатных листов. Отдельные части сборника публиковались в Ленинграде и за рубежом. Близился юбилейный год — столетие со дня рождения Павлова, — и издательство «Молодая гвардия» заказало мне более полную биографию Павлова. Книга была готова, одобрена — и вдруг поползли слухи, что книга к юбилею на свет не появится. С чего бы, казалось? Редактировал ее действительный член Педагогической академии наук, известный литературовед и критик Тимофеев Леонид Иванович. Предисловие к ней написал профессор Асратян — один из ближайших помощников Павлова.

Неожиданно было назначено расширенное обсуждение книги, с участием общественности. Я оповестил об этом членов юбилейной комиссии — академиков Орбели, Быкова, Гращенкова

и Скрябина. На заседание прибыли Тимофеев и Гращенков, другие обратились с соответствующими письмами в издательство.

«Поскольку я являюсь автором предисловия к последней книге Поповского, посвященной Павлову, — писал академик Скрябин, — а также потому, что я имел возможность ознакомиться с рукописью «Павлов», которая будет служить предметом обсуждения на совещании, — я хотел бы высказать о ней некоторые соображения.

Книга эта написана полнее прежних изданий — она вдвое больше, она рассказывает о трудах таких учеников Павлова, как Сперанский, Орбели, о которых в прежних изданиях автор ничего не писал. Шире представлен образ Павлова, устранены некоторые недочеты, имевшие место в прежних изданиях. Книга стала интересней, глубже и содержательней. Это настоящая живая книга, которая с каждым новым изданием становится все полнокровней и жизненней. Досадно, что эта книга, приуроченная к юбилею Павлова, не вышла в свет в свое время. Предисловие и редакция такого талантливого ученого, как Асратян, по моему мнению, обеспечивает научную точность книге».

Академик Быков в свою очередь прислал в издательство письмо:

«Я прочитал книгу А. Поповского, посвященную павловской школе. Надеюсь быть на редакционном совещании и высказать о книге свое мнение. На всякий случай считаю необходимым выразить сожаление, что книга не появилась в свет к юбилейным дням. Книга интересна, написана талантливо, научный материал достоверен, литературная форма безупречна.

Книга особенно полезна для нашей молодежи.

Акад. К. Быков

21/XI 49 г.»

Академик Орбели в своем письме выразил примерно то же:

«25 ноября я приеду в Москву для участия в работах по Сталинским премиям. Я хотел бы присутствовать при обсуждении книги А. Д. Поповского об академике

И. П. Павлове. Не будучи, однако, уверен в том, что это мне удастся, пытаюсь письменно сообщить свои соображения.

Обсуждаемая книга в основе не нова, в прежних изданиях она широко известна публике. В новой редакции она приобретает новый смысл в связи с изложением материалов по развитию научного наследия Павлова. Такая книга, несомненно, будет встречена с большим интересом широкими кругами читателей.

Литературное дарование А. Д. Поповского дает уверенность в том, что книга будет интересной, и доходчивой, и правильно освещающей жизнь и творчество Павлова. А участие члена-корреспондента Академии наук Асратяна, опытного и талантливого ученого, несомненно явится гарантией в тщательности редактирования и в точности формулировок специальных физиологических положений.

Академик Л. Орбели».

Наконец, академик Гращенков в своем письме издательству сообщил, что будет присутствовать на совещании и «выскажет свое положительное мнение об этой ценной книге».

На заседании выступали незнакомые мне лица, книгу они называли вредной. Голоса шести академиков, из которых трое были ближайшими помощниками Павлова, потонули в оговорах и оскорблениях. 31 декабря 1949 года договор на книгу был расторгнут и рукопись возвращена.

Я почувствовал, что все недруги моих ученых и кое-кто из пишущих научно-популярные произведения ополчились против меня. Схватка не обещала ничего хорошего. К этому присоединилась тоска по творчеству, не омраченному уязвленными самолюбиями персонажей, их друзей и врагов, избавленному от лоска, чуждого истинному искусству.

Пока решение не окрепло, я, верный традициям своего времени, откликнулся на историко-научно-популярную тему о приоритете русской научной мысли, не всегда достойно отмечаемой за рубежом и несправедливо забытой на родине. В мартовской книжке журнала «Нового мира» за 1948 год была опубликована моя обширная статья. Месяц спустя я был срочно приглашен к одному ответственному работнику. Он сразу же заговорил о напечатанной статье.

— Мы ждем от вас книги, — начал он, усаживаясь рядом со мной, — всесторонне освещающей значение русской научной мысли. Молодое поколение должно знать тех, кто составляет

гордость русской земли.

Я был далек от мысли заняться чем-либо подобным и сразу же ответил:

— Такая книга лежит вне пределов моего жанра. Я мог бы написать книгу об отдельном ученом, очерки не занимают меня.

Словно не было моего возражения, мой собеседник продолжал:

— Труд нелегкий, но вы с ним справитесь. Мы вас хорошо знаем.

Я продолжал отказываться, ссылаясь на различные причины, а мой собеседник продолжал называть все новые и новые имена русских ученых и с уверенностью человека, для которого мое согласие само собой разумеется, благодушно кивал головой.

Меня удивило, что среди названных им ученых были химики, математики и физики, и я поспешил его предупредить:

— Я никогда техническими науками не занимался и не очень разбираюсь в них. Вы имеете, конечно, в виду предложить мне раздел биологических наук?

— Мы имеем в виду все разделы науки. Вы напрасно недооцениваете свои способности, немного терпения, побольше уверенности — и вы с книгой справитесь.

Напрасно пытался я доказать, что подобная задача одному человеку не под силу, наибольшее, на что я могу согласиться, — это ограничиться биологическими науками. Ни один издатель такую книгу не возьмется издавать, понадобятся по меньшей мере двадцать пять рецензентов различных отраслей знания…

— На этот счет не беспокойтесь, — сказал он, — я сейчас позвоню Гослитиздату, и с вами заключат договор. Заинтересуйтесь Плехановым, фигура весьма достойная…

Я не знал ни одного научного открытия, принадлежащего ему, и осторожно заметил:

— Насколько я помню, Плеханов не был…

— Вы хотите сказать, что он не химик и не математик, — перебил меня мой собеседник, — не спорю, но он очень дорог нам.

На мои последующие возражения последовал короткий ответ:

— Учтите, я говорю с вами не только от моего собственного имени…

Мне предстоял труд, какого не позволил бы себе энциклопедист: проштудировать около тридцати дисциплин и выделить из каждой долю заслуг моих соотечественников. Больше всего меня донимало: как отнесутся к этой затее мои коллеги и ученые? Поймут ли они, что не честолюбие, а благое намерение восстановить правду руководит мной? Несколько раз я принимал

решение отказаться от порученного дела. Так длилось до тех пор, пока спасительная мысль не положила конец сомнениям. Сумел же я без специальной подготовки создавать книги на материалах биологии, физиологии, агробиологии, хирургии, терапии и орнитологии, — намного ли прочие науки сложней?

Два года изучал я отечественную и зарубежную историю наук от Ломоносова и Евклида до Пастера и Виноградского, Гельмгольца и Мечникова. Двадцать семь дисциплин были исследованы и выделены семьдесят пять зачинателей и продолжателей великих починов. Академия наук Белоруссии в лице президента Гращенкова и секретаря академика сочла возможным в своем предисловии рекомендовать книгу как достоверную и полезную.

В 1950 году книга под названием «Восстановим правду» была предложена издательству и вышла в свет.

* * *

Еще один долг предстояло мне выполнить, он давно уже не давал мне покоя. Надо было исправить ошибку, допущенную моей неопытной рукой.

В конце тридцатых годов в журнале «Красная новь», а затем отдельным изданием был напечатан мой очерк об академике Быкове и научных успехах его отдела. Ученому в моей книге были приписаны заслуги его сотрудников, а в тех случаях, когда помощник удостаивался чести быть представленным в книге, все выглядело так, словно, не будь благодетельного ока ученого, ему бы не выбраться из тупика.

Шли годы. Я все чаще бывал в отделе физиологии Всесоюзного института экспериментальной медицины и смог убедиться, что именно сотрудникам во многом обязан ученый своим успехом. Надо было исправить ошибку, и я подготовил к печати книгу значительно большего объема, чем первоначальный очерк. В ней на первом плане выступали те, чьи опыты приводили к интересным открытиям. И биографии и творческие поиски каждого были приведены полностью. Эти описания изрядно потеснили учителя в пользу его учеников, и автор предисловия академик Павловский не увидел в этом ничего предосудительного. Семь лет спустя книга с тем же предисловием вышла снова в свет под названием «Пути, которые мы избираем».

Я мог, наконец расстаться с жанром, над которым немало потрудился. Вернуться к роману в его классической форме значило бы разлучиться с научной темой. Я охотней отказался бы

от подлинных имен ученых, их истинного лица и жизнеописания, сохранив в будущем романе лишь содержание их научных трудов. Так ли уж непримиримы искусство и знание, что ни связать, ни слить их воедино?

Я дам себе слово следовать в этих книгах строгому правилу: не выставлять напоказ дурное, внушать людям высокие порывы, пробуждать гражданские чувства и любовь к знанию. Говорят, что долг писателя — бичевать зло, только так мы улучшим природу человека. Мало ли что говорят, иных писателей ни то, ни другое не беспокоит. Они предаются чистописанию, зарисовкам утренней зари, мудреных атрибутов бабушкиного гардероба, и шляпка с особым бантом, рюши и ридикюли из стародавнего мира серьезно занимают их. Они дразнят мечты девушек красивой любовью, насыщая страницы бездумных рассказов либо собственной биографией, чудесными и расчудесными встречами с людьми, либо историями о чудаковатой, давно отжившей душе. С напрасной надеждой взирает на них молодое поколение, тщетно ждет от чудодея, некогда околдовавшего их тонкими описаниями утра в лесу и предгрозовых вечеров, — новых мыслей и совета, как жить.

Я знал, что задача будет нелегкой, литература не мирится с экспериментами, терпит их лишь в известных границах. Кто покусился на привычное восприятие читателя и не вовлек его при этом в игру страстей, разыгранных на страницах книги, ничего не добьется.

Первая книга нового жанра не принесла мне радости, действительность рассеяла мои мечты и не вернула свободы, о которой я мечтал. Все как будто было предусмотрено, в повести отсутствовала обязательная для романа коллизия любви, казавшаяся излишней в мире, где царит страсть к познанию наук и служению человечеству. Глава об истории и сущности злокачественной опухоли не утомляла однообразием, зловещая фигура профессора Студенцова волею обстоятельств становилась все менее неприятной и к концу приняла благопристойный вид. Произошло это помимо воли профессора. Он мог по-прежнему тешиться своей прозорливостью, понимать и не понимать того, что случилось, но он был уже не тот, что прежде. В нем проснулся деятельный, влюбленный в хирургию Студенцов, и если бы он захотел стать тем, кем он был, ему это не удалось бы.

Отсутствие подлинных имен ученых должно было избавить книгу от специальных рецензий, романы обычно не рецензируются учеными.

Тема произведения пришла из онкологического института, где директор неосмотрительно пригласил будущего автора на

всесоюзное совещание специалистов. Он любезно усадил меня в первом ряду и просил серьезно отнестись к тому, что произойдет.

В обширном помещении конференц-зала на скамьях, развернутых полукругом, уселись приезжие, на кафедре — президиум из именитых ученых и важных начальников медицинских ведомств.

Первым докладчиком выступил известный ученый. Он долго и скучно повторял то, что всем было известно из его печатных и устных выступлений. За ним следовали другие. Их точки зрения, хоть и различные, ничего нового не содержали.

После четырех утомительных докладов слово предоставили приезжим. Регламент был строг и точен: пять — семь минут для выступления и только по существу зачитанных докладов.

Один за другим выступали врачи-онкологи, чтобы поделиться опытом. Они охотно выкладывали свои наблюдения, порой любопытные и даже многообещающие. Поражала их готовность подчиниться ритуалу, подгонять свой материал под одну из теорий гостеприимных хозяев. Никто не дерзнул противопоставить собственное суждение общепризнанному, опереться на факты, не совпадающие с духом прослушанных теорий.

Было обидно за людей, за вынужденную бесплодность их трудов. Многие приехали издалека, одни подолгу колесили в поездах, другие и до поездов не скоро добрались — кто на верблюдах через пустыню, кто на санях в собачьей упряжке или по воде холодного моря. Именитым ученым было бы полезно на время сойти с высокой трибуны и поменяться с ними местами. Мало ли что подметили эти рабочие пчелы науки. Много наблюдавшие, мало теоретизировавшие, богатые творческим опытом, они, увы, не смогли здесь исполнить свой долг. Было похоже на то, что прославленные ученые ради того, чтобы услышать себе похвалу, соглашались стерпеть одобрение противнику-коллеге. И те и другие допускали, что люди из провинции могут быть полезны науке, но позволить им говорить что попало, рассказывать такое, что может не пригодиться ни одной из научных школ, — какой в этом толк?

Я высказал эти соображения директору института, былому президенту одной из академий, и он не забыл моего прегрешения.

Про себя я решил, что приезжие увезли свои невысказанные думы отчасти из опасения не угодить высоким хозяевам, отчасти сбитые с толку теориями, повторяемыми из года в год и ставшими для них неукоснительной догмой.

Избрав научной темой будущего романа раковую болезнь, я решил встретиться с персонажами книги подальше от столицы,

там, где их уста не скованы присутствием авторитетов и мысли не напрашиваются на сопоставления с общепринятыми учениями.

Встречи были разные, но особенно огорчила меня немолодая ученая в онкологической клинике города Ростова. Ее опыты показались мне весьма интересными.

Разновременно прививая животным раковую ткань в оболочку глаза, она наблюдала, как изменяется форма здоровых клеток, прежде чем стать злокачественными. После вскрытия животных выяснилось, что такие же изменения наблюдаются всюду в организме. Это могло означать, что раковый процесс, который мы склонны до поры до времени считать местным явлением, сразу же поражает все ткани.

Я спросил ее: как она расценивает свои наблюдения?

— Вначале я подумала, что это новое подтверждение теории Тимофеевского, — ответила она, — но вскоре поняла, что вернее толковать их с позиции Лепешинской.

Я решил ей помочь глубже осмыслить свою удачу:

— Погодите, вы установили, что раковый процесс распространяется сразу же по всему организму, — не значит ли это, что ткани усеяны опасными зонами и время от времени то один, то другой очаг разгорается? То, что мы называем метастазами, полагая, что пораженные клетки разносятся и насаждаются током крови, судя по вашим наблюдениям, — нечто другое.

— Думать можно что угодно, — последовал холодный ответ, — но я такой теории не знаю.

Я все еще надеялся на успех и сказал:

— На вашей стороне еще один серьезный довод. Известно, что в крови здоровых людей раковая клетка не выживает. Какие основания допустить, что эта животворная сила разносит и насаждает их в тканях?

— Я говорила уже вам, что не знаю такой теории, — упорно повторила она.

— Тогда создайте ее.

Она с такой укоризной взглянула на меня, словно то, что я предложил, лишено всякого смысла. Чтобы, видимо, отбить у меня охоту продолжать бесплодный разговор, она с усмешкой добавила:

— У нас здесь и без того дел немало, некогда нам ученых подменять.

— Что же, — не удержался я от упрека, — рядовому врачу и рентгенологу заказаны пути к великим и малым открытиям? Забыли, что практикующий врач научил нас предохраняться от оспы, такой же труженик, без звания и степени, открыл причину и

нашел средство предупреждать родильную горячку, уносившую в могилу бесчисленное число матерей; антисептику подарил нам малоизвестный хирург, мир микробов впервые разглядел простой торговец, а закон сохранения и превращения энергии — установил в своей практике корабельный врач.

Я не мог и не хотел ей сказать: «Не читайте научных книг, не слушайте докладов ученых, подвергайте сомнению серьезные труды современников», — но как иначе убедить ее верить делу собственных рук? Я впервые призадумался над роковой ролью человеческого знания. Так ли неотвратимо, чтобы те, кто отдал науке все силы своего ума, насыщали ею одних и обращали в пленников других? Неужели таков удел знания — ложиться бременем на слабое сознание и невольно его подчинять?

Моя книга должна была внушить рядовым людям, практикам, веру в себя, развязать их природную робость и убедить, что научные открытия доступны всем, кто этого страстно желает. Хотелось также выявить обличье того, кто способности свои обращает против независимой мысли, исходящей от простого искреннего сердца. Прообразом его я избрал главу важной лаборатории столичного института. Не без чужой помощи им был создан препарат, якобы излечивающий одну из тяжких форм злокачественной болезни. Отмеченный званиями и синекурой, он не без пользы для себя умиротворился. Общение с этой персоной навеяло мне образ персонажа романа — Студенцова, некогда проведшего успешную операцию и, пользуясь незаслуженной славой, искусно подавлявшего чужие дарования.

Ему противостоял его старый друг, сельский врач, которого Студенцов ни во что не ставил. Надо же было, чтобы этот практикующий медик, садовод и отличный хозяйственник разглядел природу злокачественной болезни и подсказал метод лечения. Вот что форум ученых услышал от него.

— Я как-то подумал, — начал он, — почему организм не разделывается с вышедшими из повиновения тканями, как с микробами и их токсинами, и тут же себе ответил: защитные силы приурочены для борьбы с врагом, пришедшим извне, воевать со стремительно размножающимися тканями нет достаточного повода. В течение жизни то в одном, то в другом месте вспыхивает и падает их активность, целые органы изменяются, непомерно вырастают или вовсе атрофируются. Хорошо бы натравить силы иммунитета на раковый процесс, заставить их действовать так, словно эти ткани были не свои, а чужие.

Стороной я узнал, что в одном из институтов сроднили мышиную опухоль с организмом крысы. Достаточно было

изолированному кусочку опухоли мыши три месяца питаться сывороткой крови крысы, и можно было им заражать крыс. Извечная борьба между тканями чужеродных организмов исчезла.

Нельзя ли нечто подобное, — подумал я, — проделать и с изолированной человеческой опухолью? Вскормив ее сывороткой крови животного, так перестроить, чтобы она, сохранив свою собственную структуру, приобрела и нечто чужеродное? Такая ткань, будучи привитой, станет своей и чужой в одно и то же время. Защитные механизмы не разрушат ее, как не покушаются на собственную опухоль, зато чужеродное начало, приобретенное пребыванием в чужой среде, вызовет в организме сопротивление. Разрушительные силы обратятся не против ткани вообще, как это бывает при подсадке опухоли другого вида, а против чуждого по своей природе ракового начала, ставшего еще более чужим. Отклик организма не изменится, если мы из осторожности вместо самой опухоли введем вытяжку из нее — белковую жидкость — из разрушенных клеток… Кто знает, не станет ли со временем подобное вмешательство вакциной против раковой болезни…

По-разному жили и думали старые друзья.

Книга была написана, и не в добрый час. Редактор издательства прочитал ее и участливо спросил:

— Зачем вам понадобился этот роман? Ведь вы писали отличные вещи научно-популярного жанра.

Тот же редактор много лет назад заметил:

— Я помню еще вашу повесть «Дружба» и роман «Мечтатель», — прекрасное начало, стоило ли переквалифицироваться на популяризатора…

В толстом журнале к рукописи отнеслись сочувственно. Все члены редколлегии единодушно поздравили меня с удачей. Не хватало доброго слова главного редактора, он находился в Китае. Был заключен договор и назначен срок опубликования. Вернулся главный редактор. Первым делом он потребовал визы научного учреждения.

— Для романа, — попытался я возразить, — это как будто излишне.

Запрошено было Министерство здравоохранения, оттуда рукопись проследовала в тот самый институт, где автор наблюдал съезд онкологов и воспроизвел его в романе. Взбешенный директор мобилизовал у себя две убийственные рецензии и возблагодарил небо, что избавился от лишней улики.

Трудно сказать, что больше возмутило его в книге — картина ли съезда, носившая печать его организационного дарования, или центральная фигура профессора Студенцова, в которой он частично увидел себя.

Главный редактор журнала пригласил меня и сказал:

— Уберите из романа рак, и мы напечатаем его.

Я предпочел добиваться справедливой научной оценки и обратился за защитой в Министерство здравоохранения.

Заместитель министра прочел рукопись и созвал совещание онкологов. Пришли и посланцы директора института. Завязался спор, за которым последовало резюме заместителя министра:

— Насколько я понял, все мы считаем рукопись интересной, автор кое-что исправит и довнесет, можно книгу рекомендовать журналу для публикования.

Собралась и редколлегия журнала, та самая, которая недавно так восхищалась книгой. На этот раз речи были иные. Все обнаружили, что книга слаба, «недоработана», в ней многого не хватает, есть и лишнее, а что печальней всего — автор смешал науку с литературой и образовал дурной плод.

Недобрый суд редакционного совещания журнала над автором имел свое продолжение. Когда рукопись обсуждалась на редсовете в издательстве для выпуска отдельной книгой, неожиданно явился один из членов редколлегии журнала. Он спокойно выслушал положительные оценки рецензентов и заявил:

— Я пришел исключительно затем, чтобы высказать свое мнение о книге «Профессор Студенцов». Я против нее. Всякий, кто прочтет ее, почувствует себя больным раковой болезнью. Надо щадить нервы людей.

— С каких пор, — спросил я его, — невежество стало добродетелью? Разве оттого, что мы узнали, какую опасность представляют собой микробы, населяющие воздух и нас самих, мы стали менее счастливыми, или лучше бы нам этого не знать?

«Бескорыстное» мнение посланца журнала отсрочило выход книги в свет на два года. Ее название «Страдание, которое мы преодолеем» было сочтено неудачным и заменено более коротким — «Профессор Студенцов».

Предисловие было написано в Институте хирургии имени А. В. Вишневского доктором медицинских наук В. И. Кряжевой на смертном одре — она погибала от рака.

В 1967 году книгу переиздали массовым тиражом.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Две причины вернули меня к написанной повести о войне. Шли годы, она обрастала рецензиями самого противоречивого характера, миновали сороковые, шли к исходу пятидесятые годы, а книга оставалась рукописью. Тем временем было написано много книг о войне, и произведение утратило свою свежесть. Отказаться от него я не мог, — нелегко отречься от собственного прошлого, от памяти о былых радостях и печалях. Я решил перестроить книгу на новый лад: обогатить ее научной идеей, приблизить к новому жанру.

С некоторых пор меня занимала проблема лекарственных растений, их полезность в прошлом и настоящем. Целебность трав не вызывала у меня сомнений, не об этом хотел я поведать читателю, — меня беспокоила недооценка растительных лекарств фармакологами. Началось это с тех пор, как появились их синтезированные собратья, рожденные в фабричных цехах. Правда, в основе этих химических соединений часто лежит содержимое зеленых растений, и все же слишком часто можно услышать, что лечебные травы отжили свой век, пришла эра искусственно построенных лекарств.

Фармакологи пожали горькие плоды вековой беспечности. Выудив из растения одно из благих начал, они прочее богатство выбрасывали вон. Там, где природа упрятала десятки спасительных средств, беззаботные ученые довольствовались единым алкалоидом. Кто знает, какими чудесами располагали бы мы ныне, будь фармакологи менее расточительны.

Новые главы книги повествовали о времени, когда, отрезанные войной от окружающего мира, мы лишились важнейших лекарств для раненых и обратились за поисками подобных у себя. Ни ландыш, ни наперстянка, ни даже камфара не могут идти в сравнение со строфантином. Ему одному дано поддерживать умирающее сердце. Ждать помощи неоткуда. Ученые обращаются к кавказскому желтушнику и убеждаются, что ему природой дано воскрешать слабеющее сердце. Хорош для фронта и тысячелистник, Дмитрий Донской его настоем спас истекающего кровью сына. Американская сенега и ипекакуана, целительно действующие на дыхательные пути, уступили место семенам отечественных растений. Немецкий эфедрин, регулирующий кровяное давление, спасительный для страдающих астмой, воспроизвели из кустарника семейства хвойниковых, обитателей Средней Азии и Сибири.

Я не поверил, что лечебные растения отслужили свой век. И

женьшень, и пенициллин, и раувольфия с ее производным — резерпином, антибиотики, яды и противоядия долго еще будут нужны человечеству. Мне казалось важным возвысить свой голос в защиту зеленых целителей людских страданий и бед.

Еще хотелось восполнить книгу о войне повестью о любви, чувстве, ранее мне казавшемся неуместным у преддверья научного прозрения. Влюбить ассистентку в профессора было несложно, трудности автора возникли, когда краснобай персонаж обнаружил склонность много и красочно говорить о природе и значении любви. Я к этому разговору не был готов. Подобно многим другим, я не задумывался над тем, какие причины это чувство порождают, отчего зависит его расцвет и увядание. Я повторял общепринятую глупость, что о любви все сказано, ее сущность, подобно церковным таинствам, непознаваема. Влюбленным нет дела до того, что служит причиной их счастья. Какой толк выяснять природу того, что и так очевидно. Мы не спрашиваем себя, почему любим родителей, родину, только в несчастье это нас занимает. Я готов был идти дальше и утверждать, что любовь держится нашим непониманием, вникнуть в ее сущность — значит ее потерять.

Мне служило утешением, что иные судят строже: от любви следует бежать, как от повальной болезни. Говорят, она приносит радость и счастье, а сколько разбивает человеческих жизней? Сколько людей обрекает на муки? Ни одно заблуждение человечества не породило столько мучеников, сколько их порождает любовь. Чудовищное чувство, оно не дает людям покоя…

Чем больше я думал над диалогом болтливого персонажа, тем сложнее казалась задача. Сравнительно легко было, следуя примеру писателей всех времен и народов, ограничиться описанием того, что любовь натворила, не касаясь природы и законов, которым подвержена она, но мой строгий, логический ум воспротивился, им овладело желание писать о любви как о научной категории — точно и определенно.

За причиной должны следовать результаты и строгое научное обобщение.

Глава книги осталась недописанной. Мне предстояло изрядно проблуждать по извилистым тропам любви, разобраться в чувстве, проявления которого принято считать несовместимыми с человеческой логикой.

В короткое время я изучил соответствующие разделы психологии, социологии и философии и ничего утешительного для себя не нашел. Ученые словно избегали анализировать это чувство, предоставляя им заниматься другим. Мыслители и

художники слова в прозе и стихах веками и тысячелетиями гадали о любви, о том, что делает влюбленных счастливыми и несчастными, что рушит и утверждает благословенное чувство, не задумываясь над тем, какие закономерности это чувство порождает. Трудолюбивые предки немало размышляли над недугами человеческого тела, а кто из них и по каким признакам определил границы темной страсти и истинной любви?

Возложив на себя бремя исследовать природу чувства, от которого художники, мыслители и психологи великодушно отказались, препоручив ее потомкам, я твердо решил довести свои поиски до конца. Вот как развивалась моя мысль, разлучившая меня с романом на долгие недели.

Извилистые тропы любви, несомненно, сложны и запутанны. С первого взгляда многое в этом чувстве загадочно и даже лишено смысла. Казалось, любовь — естественная потребность человека, такая же, как сон, еда и отдых, как творческое мышление и труд. Подобно им, она может овладеть нами и подавить прочие нужды и страсти. Но как бы отнеслись мы к смертельно голодному, который отказался бы от предлагаемой пищи, настаивая на другой, предпочитая иначе голодать? Кто поверил бы истомленному страннику, что только на ложе, им самим избранном, он обретет покой? А ведь нечто подобное происходит с влюбленными, никто не заменит им тех, кого они любят. Эта избирательность порой тем более необъяснима, что любимый или любимая ничем особенным не блещет.

Необъяснимо поведение, непонятно душевное состояние влюбленных. Юноши и девушки, горячо любившие родителей и близких, от них отдаляются, привязанности слабеют, круг интересов сужается. Они толкуют о взаимных доблестях, которых нет, восхищаются тем, что очевидно только для них. Это безумие, ослепленных придает любви видимость мощного чувства, которому равного нет. Любовь выглядит вечной и нерушимой, и тем не менее при первом серьезном испытании страсть может смениться неприязнью.

Что это — болезнь, напасть? Нет, они ошиблись друг в друге. Чего же они ждали? На что надеялись?

Ничего последовательного и определенного, все в этом чувстве озадачивает. Полагают, что противоположные характеры тяготеют друг к другу — крайности сходятся. Бывает однако же, что влюбленные не чают друг в друге души, а различие в характере не столь уж заметно.

Порой можно услышать такое:

— Они расстались потому, что характерами не сошлись. Уж слишком они разные.

— А разве характеры супругов должны быть одинаковыми?

— Как будто нет.

— Почему же они не сошлись?

Муж отвернулся от красивой и умной жены, предпочел ей дурную, легкомысленную кокетку. А ведь супруги, казалось, были всем хороши, брак освящен любовью, прошло немного времени — и они разошлись.

Мужчина обычно призван воспитывать в жене гражданские чувства, силу и решимость, а как часто бывает наоборот! Жена несет жизненные тяготы и собственным примером утверждает в муже решимость. Настойчивая, сильная, с мужскими повадками, она всячески отстаивает беспомощного супруга. Он платит ей любовью и преклонением перед мужеством, которым природа обделила его…

Мыслители и художники не много сделали, чтобы во всем этом разобраться. Мощное, неотвратимое чувство любви, способное отодвинуть все горести и радости жизни и самое желание жить, обратить несчастных в счастливцев, добрых в жестоких и беспомощных, — слишком потрясло их воображение. Они поверили, что форм любви столько, сколько людей, у каждого она своя, неповторимая. Где уж в таком многообразии искать общую закономерность.

Это было все, что я мог наскрести в своей памяти. В поисках наводящей мысли или хотя бы благотворного намека для дальнейших размышлений я обратился к художественной литературе. Мое внимание задержала книга Сомерсета Моэма «Подводя итоги». Она нисколько не облегчила мой труд, но, вовлеченный в спор с писателем, я неожиданно приблизился к тому, чтобы увидеть проблему в ее истинном виде.

> «Как бы это ни огорчало людей, — предельно откровенно заявил Моэм, — и как бы гневно они это ни отрицали, нет сомнения, что любовь зависит от определенной секреции половых желез».

Эту мысль я не раз слышал от многих и решительно против нее возражал. Все понятное и непонятное в любви сторонники такого взгляда объясняли темным чувством полового влечения. То ли созревшие половые гормоны воссоздают в мозгу состояние влюбленности, то ли они лишь поддерживают возникшую любовь. Единственное в этом домысле непреложно: где нет чувственного влечения, нет и любви.

Нелепое утверждение, низводящее любовь до уровня животной страсти, хоть и казалось мне неприятным, однако обойти его в книге нельзя было.

Я так долго собирал и сопоставлял материалы из художественной и научной литературы, подвергал их сомнению и искал подтверждение в окружающей действительности, пока не почувствовал себя готовым поспорить с противниками.

Допустим, что любовь и половое чувство нераздельны, тогда в мире зверей, где чувственные инстинкты обострены, должны быть сильны и проявления любви. А ведь этого нет. Кратковременные супруги, они так далеки от нежностей, что многие после спаривания пожирают или изгоняют друг друга. Народная молва без достаточных причин приписывает любовное влечение голубям, лебедям и аистам, орнитологи держатся другого мнения, да и речь идет о существах, стоящих не в первом ряду эволюции. Больше оснований искать подобные привязанности у обезьян, но и там их, увы, не найти.

Из двух половин рода человеческого одна решительно отделяет чувство любви от полового влечения. Девушки, не развращенные дурным воспитанием и средой, не только лишены чувственности, но питают к ней отвращение. Сердца их и помыслы весьма далеки от темных глубин половой страсти. Что еще примечательно — многие из преступной среды в любви находят свое возрождение. Трудно поверить, что такое духовное воскресение зиждется на половом или ином влечении.

Если бы любовь имела своим источником плотское влечение, как объяснить нежную привязанность старых супругов, которая сделала бы честь юнцам? Велико число женщин, холодных к чувственным слабостям супруга, а ведь любовь от того не угасает. Старость не разъединяет, а сближает некогда влюбленных, их взаимное тяготение порой доходит до того, что вслед за смертью одного из супругов умирает и другой. Что служит, наконец, опорой в любви супруга к больному другу, неспособному служить супружеским радостям?

Любовь свойственна и детям, надолго определяя их нравственный облик.

Я подумал, что чувственное влечение лишь спутник любви, а их должно быть много.

Частые ошибки влюбленных, несомненно, следствие того, что неопытные сердца принимают кажущееся за подлинное.

Отделить в любви частное от общего, главное от сопутствующего, действовать как физиолог, исследующий организм по частям во имя познания целого, — казалось мне крайне важно.

Я не ошибся, спутников у любви оказалось немало, и хор их порой звучит более чем внушительно. Властно дают о себе знать: чувственность, порождая иллюзию влюбленности; трогательная

благодарность, столь схожая с очарованием; застоявшаяся нежность, чувствительность, нашептывающая неискушенному сердцу бог знает что; голос восхищения добротой, красотой и манерами… Многие не знают, что именно вскружило им голову, и влюбляются лишь после женитьбы. Бывает и наоборот: недавние влюбленные вдруг решительно расходятся, ранее пленявшие их доблести — забыты. Разводы, как правило, объясняются причинами, которых будущие супруги не предвидели.

Безмерно велика сила спутников любви! Кто бы поверил, что в наше время пышный мундир Генриха Четвертого, жесты Наполеона, страдающие лики Гамлета и Вертера — могли пленить современную девушку? А ведь театральные маски актера, его скорбные речи на сцене, драматические позы и волнующее пение привлекают юные сердца. Какая девушка не была влюблена в модного певца или артиста?

Одних пленяет каска пожарника, других — мундир, золотое шитье и сверкающие погоны, третьих — знаменитый вратарь футбольной команды, которого они ближе спортивного поля не видели… Все эти «красоты» чаще всего лишь спутники любви…

Среди сонма попутчиков есть спутник особого рода. Распознать его трудно, и не многие узнают, какую злую шутку он над ними сыграл. В чувствительном сердце девушки и женщины все беспомощное, слабое рождает отзвук и привязанность, схожую с любовью. Это отклик из сокровенных глубин материнства. Эти сигналы волнуют женское сердце ложной тревогой. Уже в пору детства девочка, озабоченная судьбой своих кукол, готова поверить, что она — мать семейства и тратит свою нежность по назначению. Можно ее в этом разубедить, но заложенные чувства будущей матери снова и снова дадут о себе знать.

Таков этот спутник особого рода. Как догадаться молодой девушке, что старый профессор, беспомощный и хилый, или юный неудачник, разочарованный жизнью, разбудили в ней чувство будущей матери? Обманутая ложной сигнализацией, идущей, казалось, от самого сердца, она готовность жалеть и покровительствовать приняла за выражение любви.

Случается, что людей лишили обычного жизненного уклада. Война ли запылала, суровые ли испытания привели их в необжитый край, стихийное ли бедствие лишило мужества и веры — в новой среде снижаются запросы и влюбление возникает по малейшему поводу. Так, в начале революции девушки надевали кожаные тужурки, смазные сапоги, курили козью ножку и, подражая во всем мужскому окружению, щеголяли своими непрочными связями. Миновала горячая пора — и кожаные тужурки сменились модными платьями, вернулись прежние

запросы, чувство любви подчинилось законам мирного времени.

Измученная страхом на фронте, женщина-врач находит поддержку у отважного фельдшера. Он под обстрелом с риском для жизни уводит ее в укрытие и хлопочет о ее благополучии. Его мужество и самоотречение рождают признательность, которую она принимает за любовь. Война окончена. В новых условиях отвага фельдшера ей не нужна, и кажущейся любви приходит конец.

Чувство долга, признательность и сострадание сбили с толку немало сердец. В этом смешении иллюзий и действительности — извечная трагедия любви…

Шли месяцы, написанная глава оставалась в прежнем положении, а ответа на вопрос: какова подлинная природа любви, как выглядит она без всего, что скрывает ее истинный облик? — все еще не было.

Первые проблески пришли из области, насыщенной таинственностью и интуицией.

Возможна ли любовь с первого взгляда, — спросил я себя, — прочно ли и длительно ли подобное чувство? Такого рода влюбление, конечно, возможно. Что же это — случайность, предчувствие того, что распознается обычно не сразу? Как сочетать представление о любви — о чувстве, покоящемся на взаимных симпатиях, — с мимолетным знакомством с первой встречи?

Мой ответ мне вначале казался легковесным. Поныне не знаю, верно ли я рассудил, но именно этот любовный казус приблизил меня к пониманию природы любви.

Нашей памяти свойственно, объяснил я себе, хранить верность тому, что некогда нас согревало. Нежность ли это матери, обаяние сестры, красота друга детства, — мы бессознательно готовы потянуться ко всему, что будит в нас эту давнюю радость. Говорят, мужчины невольно наделяют любимую женщину душевными чертами своей матери… С первого взгляда всплывает едва памятное сходство, оно коснулось сердца и согрело его. Это вспыхнуло не новое, а старое чувство, преображенное временем, к тем, кого уж нет, кто давно уже не тот, каким сохранился в подсознании. Хорошо, если за этим порывом раскроются свойства, способные это увлечение поддержать. Они могут совпасть, но чаще всего подобное увлечение недолговечно.

— Вы любите своего мужа? — спросил я мою добрую знакомую.

— Нет, — ответила она.

— Почему же вы согласились стать его женой?

— Он казался мне другим.

— Более нежным и добрым?

— Нет, он и сейчас хорош. Я полюбила в нем другого. Мне казалось, что он мне заменит того, кого я когда-то любила.

Мой знакомый на вопрос, любит ли он жену, ответил:

— Да, и очень.

— Значит, вы счастливы.

— Нет.

— Почему?

— Ей казалось, что я заменю ей первого мужа, которого она схоронила. Мы живем хорошо, но она его не забыла.

И при влюблении с первого взгляда и в приведенных примерах стороны чего-то домогались друг от друга, им словно не хватало какой-то важной детали, чтобы счастливо слиться воедино.

И дорогие сердцу воспоминания, и доброта, нежность и даже любовь мужа — пасовали перед неизвестной величиной, обездолившей этих людей. Любовь, видимо, наступает, когда этот X совпадает с требованиями каждого из них. Чему же равен X?

Чем больше я знакомился с влюбленными, тем более крепло во мне убеждение, что искомая деталь не всегда одинакова, она у каждого своя. Удивительно то, что они искали ее и находили друг в друге, а назвать свою находку не могли.

Вот к какому заключению я пришел. Любовь, прежде всего, взаимное тяготение одного к душевным и физическим качествам другого, к свойствам, жизненно необходимым каждому из них. Безвольные натуры ищут мужества и твердости у волевого друга, ущемленные и слабые — духовных сил; возбужденное сердце тянется к тому, кто вернет ему душевный покой; замкнутый характер — к другу, который развяжет его внутренние путы. Пока такому обмену ничто не грозит и сокровищница каждого не оскудела, — нет силы, способной такую любовь сокрушить. Горе влюбленным, растерявшим те свойства, которые связывали их.

Мыслители всех времен и народов гадали, какими должны быть мужчины и женщины, чтобы быть счастливыми в любви. Особенно упражнялись они в перечне добродетелей, гарантирующих девушке любовь и счастье. Настаивая на своем списке благодеяний, они не могли не заметить, что добродетельные и красивые девушки нередко менее счастливы и любимы, чем менее достойные и некрасивые. Ошибка философов заключалась в том, что характеры они рассматривали безотносительно к тому, на кого они рассчитаны. Душевный строй влюбленных должен соответствовать друг другу, как детали в сложном механизме.

Представим себе мужчину большого накала чувств, легко возбуждаемого, напряженного. Он ищет покоя своей взбудораженной душе — в легких связях, в посещении театров, концертов, — пока не встретит свою будущую подругу. Ее доверчивость и сдержанность, трогательная наивность, проникнутая верой и спокойствием, дадут покой его неуравновешенной душе. Именно эти черты характера жизненно важны для него, и, пренебрегая другими свойствами ее характера, он полюбит ее. Дом его отныне станет местом отдохновения и покоя, никто не сумеет так этого добиться, как она.

Вообразим другого человека — подавленного, заторможенного, скрытного, недоверчивого, возможно грубого и озлобленного, склонного переоценивать себя. Он тоже искал средств уйти от оков собственной натуры, многое испробовал: и вино, и друзья, и сомнительные радости, — ничто не принесло ему облегчения. Явилась девушка — жизнерадостная, терпеливая, с душой, раскрытой настежь, — и не только облегчила ему бремя жизненных невзгод, но и научила его давать выход тревожным чувствам, чтобы не задохнуться в них.

Не на различии характеров, а на противоположности отдельных черт, взаимно жизненно важных, утверждается любовь. Они либо восполняют жизнь одного благодатными свойствами другого, либо смягчают жесткие стороны натуры.

Все встречи юношей и девушек, мужчин и женщин — бессознательный поиск душевных свойств, присущих одним и необходимых другим. Взволнованный и страстный Отелло тянется к умиротворяющей его Дездемоне, бесхарактерный Антонио — к сильной Клеопатре. Девушку, жаждущую высоких идей, — черта, составляющая ее подлинную сущность, — привлечет умный, глубокий мужчина, искусный учитель в жизни. Неважно, красив ли, мужествен ли он, не эти свойства характера ей нужны… Непрактичная и беспомощная девушка потянется за уверенностью и твердостью своего избранника. Именно эти черты его личности облегчат ей бремя жизни и покажутся, конечно, наиболее прекрасными…

Когда такую великую сложность, как любовь, пытаются решить коротко и просто, без ссылок на живых и мертвых авторитетов, уместив ее многообразие в десяток страниц, — невольно покажется, что проблема упрощена. Не происходит ли в жизни иначе, глубже и сложней? Влюбленные порой не могут сойтись, а соединившись — расходятся из-за различия во вкусах, привычках, во взглядах на политику и мораль.

Куда деваются благодатные свойства характера, некогда соединившие их?

Любовь, конечно, не механический обмен дарами, помимо причин, сопутствующих ей, немало и подрывающих ее основы. Чем сложней внутренний мир влюбленных и обстановка, окружающая их, тем больше подобных препятствий. Девушка, мысленно видевшая своего друга высоким и красивым, будет внутренне сопротивляться чувству мужчины иного физического склада… Дурные склонности и слабости одного из влюбленных не дадут упрочиться любви, если свойства эти противоречат эстетическим и моральным представлениям другого. Избыток чувственных черт в характере одного из влюбленных и преимущество духовных интересов у другого, могут также отразиться на течении любви… Некоторые девушки не без достоинства ведут по улице своего пьяненького дружка, а иная, встретив любимого в недостойной компании, решительно от него отвернется… Весть о дурном поступке возлюбленного отразится на чувстве любви высоконравственной девушки и нисколько не коснется девушки с иными нравственными правилами, хотя бы ее дружка уличили в убийстве.

Не только моральные, психические, но и религиозные причины могут стать преградой любовному чувству. Юноши и девушки народов, которым не дозволены браки с иноверцами, не дадут своей любви прорасти. Покуда нерушимы общественные нравы и национальные узы народа, запрет сохранит свою силу.

Благоразумие и привычка — чудесные друзья влюбленных. Они подсказывают порой мириться с тем, с чем мириться трудно, однако серьезные расхождения в оценке нравственных правил могут сделать любовь невозможной. Девушка, которая не согласится иметь мужем забулдыгу, охотно сделает его своим другом. Дружба — та же любовь, логически незавершенная или изжившая себя. Это — обмен дарами без характерного для любви накала чувств, взаимное расположение связало людей, а нежное чувство не состоялось.

В любви нет становления — это процесс. Безгранично сложна жизнь, и непрерывны изменения в духовном и физическом состоянии людей. Эти сдвиги колеблют устои, на которых зиждется любовь. Жизнь может распорядиться, чтобы достоинства и недостатки одного и потребность в них другого со временем изменились или вовсе исчезли. Болезнь ли, страдания сделали сильного слабым, глубокого поверхностным, один возвысился над своей средой, другой несчастным образом отстал. Возникла новая ситуация, а с ней и новые потребности. Тот, кто сумеет на них отозваться, станет желанным, а затем и любимым.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Отправляясь в 1957 году из Москвы по маршруту Киев — Львов — Ужгород и дальше вдоль реки Тиссы, я был счастлив при мысли, что никаких литературных материалов я с собой не захватил, писать не придется, можно будет отдыхать. В Киеве я бродил по вновь отстроенному Крещатику и приятно провел время с художественным руководителем театра имени Франко Гнатом Юрой, одобрившим мою пьесу к постановке. Во Львове я осмотрел картинную галерею и на минуту задержался у солидного особняка филиала Академии наук. Последующее произошло помимо моей воли и расчета.

Я переступил порог ботанического отделения, отрекомендовался и, по обыкновению, спросил, что в ботанике нового, интересного.

Мне указали на члена-корреспондента Академии наук Украины Лазаренко и посоветовали ближе с ним познакомиться.

— Он вам много расскажет о своих мхах… Мох — это его конек.

Об отечественных мхах у меня было крайне приблизительное представление, и, скорее из любопытства, чем из практических побуждений, я направился к нему.

Профессор спешил на заседание и пригласил меня вечером к себе домой. Мое праздное любопытство сразу же сменилось интересом, зашевелилась надежда услышать нечто такое, что может мне пригодиться…

Как водится при таких встречах, ученый завел речь о литературе, наши вкусы во многом совпали, и незаметно мы из области не весьма достоверной перешли к освященной логикой науке.

— Меня действительно много лет занимали различные виды мхов, — начал ученый, — было время, когда мне казалось, что ничего более интересного в ботанике нет. Я писал статьи, читал лекции, издавал книги и одобрял диссертации моих ассистентов. Меня даже немного считали маньяком, и не без основания. В стране нужда, голод, от агробиологов и ботаников спрашивают пищи, а я ищу новый вид мха, чтобы скрестить и удивить мир невиданным гибридом. Все это в прошлом, сейчас меня интересует хлорелла.

Я впервые услышал об этом растении и спросил: где и как оно произрастает? Он улыбнулся.

— Вы действительно ничего не знаете о ней?

Чтобы не обнаруживать своего невежества, я неуверенно

заметил:

— Нет, почему… Насколько я припоминаю, ее родина — Африка…

— Нет, нет, — перебил он меня, — она растет и размножается в стеклянной банке на окне.

Он прошелся по своей обширной квартире, извинился, что не может меня ничем приятным угостить — жена его в отъезде, — и после короткого молчания продолжал:

— Что ж рассказать вам о хлорелле?.. Ведь вы о ней не очень много знаете. Кажется, так? — Его виноватая улыбка как бы просила извинения, что он вынужден начинать с азов. — Хлорелла не совсем обыкновенное растение, у нее нет ни стебля, ни листьев, ни семян. Она не нуждается в почве и обходится без органических удобрений. Хлорелле не страшны ни засуха, ни ливни, ни ржавчина. Она на редкость экономна: листья и корни наземных растений могут много упустить в атмосфере и почве, с хлореллой этого случиться не может, она всей своей поверхностью вбирает питание, ничто не ускользнет от нее…

Я стал записывать, но он меня остановил:

— Не надо, вы все это прочтете в журнале «Рыбоводство». Увы, это единственный печатный орган, всерьез занимающийся хлореллой. Всю свою жизнь эта водоросль проводит в воде, ростом она не очень велика, в одном кубическом сантиметре ее сорок миллионов. Она космополит, хлореллу встретишь всюду: и в пресноводных бассейнах, и в почве, и на коре деревьев, и даже в организме инфузорий, гидры, амебы и червяка. Она и в этой неблагоприятной среде размножается. Хлорелла выживает во льду и продолжает свое существование после того, как лед растаял… И в южных пустынях, и на Крайнем Севере, где полярным летом достаточно солнечного излучения, — хлорелла чувствует себя прекрасно… Главное ее достоинство, — после многозначительной паузы продолжал профессор, — способность усваивать больше солнечной энергии, чем какое-либо другое растение. Наши злаки — пшеница, рожь, овес — используют до полутора процента поглощаемой энергии, половину ее они тратят на построение стебля, листьев и корней. Хлорелла может усвоить более двадцати процентов, ничтожно мало расходуя на себя.

Он долго и интересно говорил о хлорелле, выкладывая на стол книги на английском, французском языках, и с горечью жаловался на то, что у нас ею не занимаются.

— Подумайте только — водоросль богата жирами, белками и углеводами. Весь набор нужных нам витаминов содержится в ней. Ста граммов ее достаточно, чтобы обеспечить нашу суточную потребность в витаминах. Заметьте, — добавил он, — от нас

зависит изменить химический состав водоросли, увеличить в семь раз количество белков и в двадцать раз содержание жиров.

Провожая меня, он уже у самых дверей вспомнил самое важное:

— Поразительна ее способность делиться днем и ночью, был бы свет, даже не солнечный, достаточен электрический, и минеральное питание… С одного гектара водной поверхности можно получить до ста тонн сухого вещества… Есть основания полагать, что первоначальными накопителями органических веществ на земле были водоросли типа хлореллы.

Месяц спустя я прочел статью, о которой мне говорил Лазаренко, и отправился по институтам восполнять свои знания о хлорелле.

В Институте рыбного хозяйства я увидел несколько банок с зеленоватой жидкостью, это была хлорелла. В других научных учреждениях зеленой водорослью не занимались.

Я узнал, что в Астрахани на рыбном заводе ведется откорм мальков осетра мельчайшими рачками, размножающимися в среде хлореллы. После некоторого времени мальков выпускают в море, где они умножат собой рыбное население Каспия.

Когда я убедился, что в Европе и Америке давно возникли институты и промышленные предприятия, изучающие удивительную водоросль, я, памятуя, как часто открытия, доходящие до нас, принимаются с недоверием, — чтобы затем с опозданием занять свое место, — выступил со статьей в «Литературной газете». Это было первое упоминание о чудесной водоросли в неспециальном издании.

Сюжетом для повести я избрал столкновение взглядов и интересов отцов и детей в научной среде. Многие ученые, особенно молодые, неправильно толкуют свой долг к нуждам страны. Увлеченные частным успехом, они не спешат его развить до уровня обобщения, полагая, что практической удачей они вернее всего служат своему времени. Эпоха не терпит промедления, вся энергия должна служить запросам текущего дня, пусть будущее заботится о себе.

«Отцы» толкуют свое назначение иначе. Задаваясь целями отдаленного значения, они как бы следуют путем тех, кто оставил нам великую, благоустроенную науку. Долг, говорится, платежом красен.

Сын ученого Свиридова предлагает приспособить рыбный завод к откорму мальков крупной рыбы хлореллой. Отец, посвятивший двадцать лет изучению этой водоросли, считает, что воды в дельте Волги и без того богаты планктоном, нет нужды перестраивать завод, хлорелла в данном случае излишня. Сын,

директор филиала института, с ним не согласен, и отец в резкой статье выступает против него. Их вызывают в Москву на совещание, в результате сына освобождают от обязанностей директора.

Напрасно Свиридов-отец тешится мыслью, что его победа означает право ученого углубляться в науку в ущерб текущим нуждам. Напрасно он уклоняется от предложения сложить свои знания с опытом тех, кто трудится для предстоящих космических полетов, когда хлорелла станет источником питания для астронавтов.

Нет, ему не уклониться, ибо долг ученого, — умножая свои знания и развивая их с пользой для грядущих поколений, не забывать и современников…

Такова проблема.

Была еще одна — и весьма трудная для Свиридова-отца. С тех пор, как дочь полюбила своего будущего мужа, она лишила отца его доли ласки и тепла. Переменилась, ее не узнать, жаловался он. Что это, эгоизм, затмивший прежнее чувство, или так ограничены ресурсы нашего сердца, что несовместимы нежность к родителям с чувством любви? Говорят, нечто подобное испытывают молодые жены, тщетно пытаясь сочетать любовь к мужу и к первому ребенку.

Я задумался над тем, как выглядит любовь в различные возрасты и какие закономерности определяют ее.

У каждого возраста, пришел я к заключению, своя любовь, ни с какой другой не схожая.

Первый крик — начальный диалог между юным созданием и окружающим миром. Он напоминает собой писк птенцов в гнезде, их раскрытые рты, настойчиво требующие пищи. Через шесть недель ребенок впервые улыбнется, двух месяцев — выразит желание общаться, вернее, требовать, спрашивать, настаивать. Средством будет писк, кряхтение, воркование, а несколько позже — лепет.

Два желания первыми рождаются в колыбели — пищи и общения. Ничто не вызывает большего недовольства, как голод и одиночество. Эти два инстинкта — социальный и пищевой — будут сопровождать пришельца в этот мир от колыбели до смертного часа. Впоследствии сила инстинктов укрепит его для борьбы и самоутверждения, или, наоборот, они станут друг другу на пути. На первых порах наша крошка готова довольствоваться тем, чтобы мать — воплощение пищи и общества — оставалась возле нее. Тяготение родительницы к питомцу обусловлено инстинктом материнства, а влечение ребенка к ней — также чувством врожденным, упрочившимся с тех пор, как питомец

ощутил, что весь мир с его желаниями целиком умещается в ней. Мать ли это, няня или еще кто-нибудь — юному созданию безразлично.

Ребенок с его хрупкой нервной системой знакомится с жизнью от трепета к трепету, наслаждается и страдает бесчисленными радостями и муками; жизнь одними лишь ощущениями органов чувств — бедна и ограниченна. Только пробуждение ума к концу первого года поможет ему разбираться в своих восприятиях. До той далекой поры он будет настойчиво тянуться к матери и отвергать чужие руки. Они давно научились понимать друг друга; она угадывает по крику и движениям его нужды: голоден ли он, не стесняют ли пеленки и многое другое. Он, усвоивший ее речь задолго до того, как сам научился говорить, откликается на все, что сулит ему наслаждение и страдание. Появление врача или намек на предстоящее купание вызовут слезы, чрезмерное внимание чужих к его матери — ревность.

Долго еще питомец будет требовать ласки и не платить за нее. Увидев мать, он просияет, с возгласом восторга потянется к ней и плачем воспримет разлуку, содрогаясь всем телом, будет ее молить вернуться, протянутыми ручками жаловаться и горевать, ножками упрямо топать… Картина знакомая тем, кто был свидетелем прощания взбалмошной девицы с покидающим ее возлюбленным…

Тот, кто наблюдал бессловесную болтовню ребенка, частые смены радости и смеха в колыбели, не мог в них не угадать зачатки будущих бесед, когда крошка начнет выкладывать матери свои наивные наблюдения и обижаться, когда его маленьким секретам не придадут должного внимания.

Пройдет немного времени — и маленький человек, подражая взрослым, научится быть нежным, обнимать мать, прижиматься личиком к ее лицу и целовать.

Нелегка наука нежного чувства, природа не уложила ее в природу человека, она, как и сама любовь, благоприобретенна.

Полутора или двух лет юный выученик обнаружит признаки симпатии, заплачет при виде слез матери, а трех лет выявит сострадание. По-прежнему ему тягостно одиночество, мучительна разлука, безмерно велико желание поведать матери все, что поразило его воображение, осыпать ее потоком важных и неважных новостей и тянуться к ее ласкам.

Как и у влюбленных, нежные чувства ребенка не умещаются в груди и рвутся наружу.

Несколько иначе та же стадия любви протекает у девочек. Уже в утробе матери девочка отличается от мальчика меньшей

живостью движений, более спокойна в грудном возрасте — реже плачет и кричит. Сказываются врожденные черты пола — сдержанность и недостаточная волевая активность. Позже проявятся и другие особенности: более раннее пробуждение чувства сострадания и отзывчивости, а также фантазия, от которой освободиться нелегко. Любовь к матери нежней и дольше. Многое в нраве родительницы, возможно, станет со временем чертами ее характера.

Чувство одиночества рано пробуждает у мальчиков взаимный интерес, подобное же влечение возникает у девочек. Быстро завязываются знакомства, и чем моложе будущие друзья, тем быстрее. Мгновенно возникшая любовь так же стремительно увядает, первое недовольство не оставит и следа от недавних симпатий. Вернутся прежние условия — и забытая любовь возродится.

И в этом возрасте болезненно чувство расставания, и как никогда позже молодые сердца, исполненные нежности, обуреваемы словоизлиянием.

У каждого возраста своя любовь, ни с какой другой не схожая. Пока юные сердца не нуждаются друг в друге, нет тех чувств, которые возникнут позже. Мальчики, окруженные родительской любовью, ни во что не ставят трогательную привязанность девочек, относятся к ним свысока, презрительно именуя их «размазней». Избыток энергии влечет их к сильным и смелым друзьям, таким, как они сами. Девчонку-сорвиголову они примут в свой круг как равную.

Иначе ведут себя девочки. Они не станут восхищаться мужеством мальчишки-озорника, его сила и отвага не привлекут их потому, что она им не нужна. От жизненных невзгод их ограждают родители, дяди, тети и учителя. Степенного мальчика, склонного к мирным забавам, они охотно примут в свой круг… Таковы закономерности детства.

Мальчика-подростка привлечет «размазня», чья нежность укрепит в нем решимость и твердость. Девушка-подросток потянется к сверстнику, чьи старания помогут ей усвоить трудную науку или беспечно повеселиться, чье внимание придаст ей веру в себя. В нем придутся ей по душе не мужественные, а женственные черты характера, свойственные ее подругам.

У каждого возраста свои жизненно важные нужды. Взрослая девушка отвернется от женственного юноши, который приятен девушке-подростку. Она уже знает, как трудно в жизни себя отстоять, и потянется к сильному и надежному другу, если мужество не окажется единственным его достоинством.

В сокровищнице любви должно быть много даров, как можно

больше.

Не по мере того, как вызревают половые гормоны, как полагают, к сожалению, многие, а по тому, как формируется характер, нарастает чувство одиночества и потребность восполнить свою жизнь желанными чертами друга, — возникают увлечения и любовь. В отрочестве и несколько позже она ярко окрашена, доверчива и легковерна. Почему? Хотя бы потому, что молодость, не омраченная печальным опытом жизни, не ведающая горечи возможных разочарований, — готова всецело отдаться счастливой находке. Чего только влюбленные не находят друг в друге, чего не измыслят! Маловажная черта характера или даже только способность расценивается как чудо, равного которому не найти. Как не потерять равновесие: одним махом устранено томительное чувство одиночества и сознание собственной неполноценности, нет нужды искать развлечений за стаканом вина, бесплодно ухаживать за девушками, обивать пороги театров и кино, неистово «болеть» у экрана телевизора или у футбольного поля…

В этой стадии, как и в прежних, влюбленных безудержно влечет друг к другу, они изнемогают в разлуке, не ведают чувства меры в излиянии своих чувств, одаряя друг друга потоком нежных признаний и ласк.

Миновала молодость, пришла зрелость. Смерть ли перестаралась, увела друга жизни, или любовь не состоялась, — влюбиться уже трудно, а порой невозможно.

— Почему вы не женитесь? — спросят такую одиночку.

— Я стал осторожней, — следует ответ, — опыт многому меня научил.

— Вы не можете никем увлечься?

— Могу, но я своим чувствам воли не даю.

А было время, когда этот разборчивый мудрец пренебрег всем, что было близко и дорого ему, и беззаветно отдался любви. Ослабели узы привязанности к родителям, друзьям, к милому, желанному труду, пробудившееся чувство, казалось, вытеснит его самого из жизни. Взволнованная страсть могла утихомириться на стезе супружества или увести прочь от милой избранницы в науку, искусство, на пути служения человечеству.

Где эта жизненная сила, некогда не знавшая удержу? Почему решимость сменилась раздумьем и сдержанностью? Разве тяготение к душевным чертам желанного характера, столь необходимое для его существования, миновало? Или в пору солидной зрелости влюбление невозможно?

Ни то, ни другое, любви все возрасты покорны, но по мере формирования характера два процесса развиваются в душевном

складе человека; все разборчивей и строже становятся запросы друг к другу и в то же время черствеют приобретенные навыки, взгляды и слабости. То, что просто решалось в детской любви, более сложно в пору отрочества и еще трудней для человека пожилых лет. Опыт жизни подсказывает избегать одного, домогаться другого, страхи и опасения рисуют картину одну тягостней другой, — вместо прежнего восхищения утверждается подозрительность. Юные влюбленные без долгого раздумья мирятся с тем, что кажется им друг в друге неприятным, — увы, зрелость бессильна чем-либо поступиться. Нет прежней гибкости и приспособляемости, без которой любовь и согласие невозможны.

Бывают влюбления и в старческом возрасте, но кто знает, что служит им опорой — истинное ли чувство любви или ложное подспорье спутника.

Верно ли утверждение, что любить можно только один раз? И да, и нет. Последующее влюбление не будет походить на предыдущее, потому что в каждой стадии физического и душевного становления человека любовь его выглядит иначе.

В двадцать восемь лет нельзя так любить, как в восемнадцать, и еще более невозможно — в сорок. Нет любви, рассчитанной на все возрасты, хотя бы потому, что характер человека не знает становления.

Строги и незыблемы пути любви. Свиридову-отцу это придется узнать и примириться с тем, что любовь неделима.

* * *

Есть в русской речи нечеткие слова, не то чтобы им приписывали различное содержание или вкривь и вкось толковали, никто просто не знает их предела. Одни значение этих слов сужают, другие заходят слишком далеко. К такого рода понятиям относится «посредственность». Что это за человек, неглубокий, ограниченный или вовсе глупец?

Среди этой разновидности людей немало умных, интересных, трудолюбивых и даже справедливо преуспевающих. Из десяти опрошенных, каким представляется им посредственный человек, все ответили разно.

Как над всяким понятием, уже утвердившимся в языке, над его содержанием не задумываются. Не придавал ему особого значения и я. Мне нелегко было бы ответить, каков облик посредственности? Врожденная ли это особенность или приобретенная, исправима ли или недуг не знает обратного

развития.

Нередко можно услышать скромное признание собеседника: «Я человек маленький… Я то, что называется посредственностью». Обидно за человека, который так безапелляционно осуждает себя. С большим удовольствием и согласился бы нечто подобное услышать от подлинных тупиц, давно заслуживших эту кличку.

Случай свел меня, как мне казалось, с ученой посредственностью, и я задумал его сделать персонажем романа.

Началось с неуклюжей обиды, нанесенной хирургом своему же собрату. Я попросил в институте проводить меня к молодому ученому, ставшему известным своими опытами. Мне сказали, что он не поладил здесь с важной персоной и поступил в другое научное учреждение. В разговор вмешался главный хирург.

— К чему вам эта посредственность? — спросил он и тут же не преминул меня задеть: — Ах да, ведь вашему брату подай сенсацию… Шутка ли — собака о двух головах, легавая с двумя или тремя сердцами… Не каждому такое искусство под силу.

— Почему вы его назвали посредственностью? — удивился я, угадывая, что за этим кроется трагедия — ссора независимого молодого ученого со знаменитым начальником, нескромные требования одного, несовместимые с достоинством другого.

— Когда молодой человек предпочитает анекдотические опыты серьезной хирургии, — ответил он, — и ищет дешевую славу и признание у невежд, его иначе не назовешь.

Подобные люди мне нередко встречались, и суждения главного хирурга не вызвали у меня недоверия. Меня ожидала приятная встреча с ученым, труды которого обрели известность, и в то же время предстояло узреть некую ученую посредственность.

Знакомство состоялось, но увы, молодой исследователь, хоть и страдал повышенным самомнением и болезненной подозрительностью, не мог быть причислен к недалеким или даже ограниченным людям. Для будущей книги пришлось творить образ из черт характеров добрых знакомых.

Научное содержание «Повести о жизни и смерти» полностью соответствовало тому, в чем преуспел молодой ученый. Иначе обстояло с сюжетом, он целиком принадлежал замыслу автора. Сводился он к следующему.

Между известным физиологом и его племянником, ассистентом лаборатории, велась своеобразная борьба. Не было между ними ни вражды, ни зависти или соперничества. Ассистент любил своего незаурядного дядю, тот снисходительно относился к причудам племянника и до поры до времени прощал его внезапные исчезновения на много дней. Не рад был этим

разъездам и молодой человек, но что поделаешь — общественные обязанности… Он возвращался и первым делом спрашивал, что нового в лаборатории.

На этот раз старый ученый был особенно недоволен помощником и решил над ним поиздеваться.

— Мы кое-что успели, — сказал он первое, что пришло ему в голову, — я случайно набрел на рецепт, он пролежал в бумагах шведского короля много лет… Чудесное средство, излечивает всякого рода болезни и особенно хронические головные боли.

У племянника были причины с интересом отнестись к сообщению дяди, он часто страдал головными болями.

— Лекарства я тебе не дам… Не могу без одобрения фармакологического комитета.

Напрасно ассистент молил дать ему хоть каплю, у него сегодня особенно болит голова.

— Вот оно, заветное лекарство! — открывая шкаф и вынув первую попавшуюся склянку, проговорил дядя. — Несколько капель достаточно, чтобы тебя, бродягу, излечить, но ты никогда их не получишь. Понюхай хорошенько, нектар пахнет миндалем. Поставим его на место, на вторую полку, в самый угол налево.

Ученый запер шкаф, вышел из кабинета и, когда спустя пять минут, вернулся, нашел ассистента на полу мертвым. На столе стояла откупоренная склянка синильной кислоты. В отсутствие дяди племянник открыл шкаф и, убедившись, что содержимое склянки пахнет миндалем, сделал глоток.

Созданная автором посредственность несчастным образом погибла, оставалось в романе раскрыть: как возникла эта разновидность человека? Что питало ее природу? Где зародилась, в лоне матери или в дурной среде?

Счастье долго сопутствовало молодому ассистенту, ловкий, оборотистый, все давалось ему легко — и наука, и хирургия, и развлечения, и пиршества с друзьями. Между делом с жаром набросится на научную работу, будет днями и неделями без устали трудиться — и вдруг падет духом.

Неудачи удручали его, он терял веру в себя, впадал в отчаяние, и дяде приходилось его утешать. Племянник давал слово «взять крепость приступом», «добиться победы», снова пробовал свои силы и при первом же серьезном затруднении уходил в бильярдную или вовсе исчезал из лаборатории на несколько дней.

Во всех бедах молодой неудачник винил свой недуг, головные боли ему жить не дают. Малейшее напряжение ума как громом поражает его, память слабеет и ничего не удерживает. Его творческие силы в плену у болезни, развлечения — лекарство,

которым пренебречь нельзя… За этими признаниями следовали другие: «Я ведь, дядя, только и умен возле вас, чуть вы отвернулись — и снова я никто, обыкновенная посредственность…» В своих самобичеваниях племянник не знал предела. «Природа не разбрасывается дарами, — говорил он, — она штампует людей по шаблону и на миллион заурядных единиц выпускает одну одаренную. Нашему брату только и остается — приткнуться к такой единице и греться в сиянии чужой славы».

Еще одна черта была присуща ассистенту: он впадал в тревогу, когда дядя замышлял сложный эксперимент, и, словно неудача уже стучалась в ворота, умолял его отказаться, не подвергать себя излишним испытаниям. Но вот опыт удался — и племянник искренне доволен, его страхи остались далеко позади. «Я только и счастлив, — твердил он, — когда нахожусь подле вас. Для меня двери рая закрыты, не требуйте от посредственности чудес». Зато не было ему равного в искусстве устранять все, что мешало его благополучию. В этих «опытах» ему настойчивости и терпения не занимать. Когда в институте упразднили его штатное место, оно сразу же было восстановлено, а сам он не был обойден — его зачислили старшим научным сотрудником. «Каждому человеку, — объяснял он дяде, — дано свое: одного поддерживает талант, другого — власть и сила, а такого, как я, — умение пользоваться поддержкой друзей. Без этого поплавка я, как червь на крючке, давно пошел бы ко дну…»

Снова дядя принимался за серьезную работу — подсадить животному второе сердце или вторую голову, и вновь племянник нелепыми опасениями нагонял на него страх, настаивал и требовал довольствоваться добытым. Снова очарованный интересной работой молодой человек набрасывался на нее до первой серьезной трудности.

Особенно тягостными были для него статьи ученого.

— Я советую вам, — упрашивал он дядю, — в таком виде ее не публиковать. К чему эти ваши покаяния и обнажение всех неудач? Часть ученых вас не поймет, другая в них увидит одни провалы и посмеется над вами. Не понравятся ваши грехи и в министерстве — там ведь не ошибок, а успехов ждут. Не все так честны и искренни, как вы. Не оценят статью и в нашем институте. Не слишком ли много промахов, спросят вас, недосмотра и непростительных огрехов, где были глаза заведующего лабораторией? Хвастать такими делами — значит чернить институт! Пора вам запомнить, — продолжал племянник поучать дядю, — чины и звания достаются не за ученость, а за рвение, за умение товар лицом показать… Как хотите, но слава других путей не знает…

Так выглядела моя посредственность. Природа наградила его силами и выдержкой, обещала добавить, если они будут направлены на единую цель. Увы, племянник не последовал примеру дяди, его творческие силы растекались в стороне от живительного источника знания. Праздно истощив всего себя, как было ему не пойти ко дну, где бытуют посредственности…

Таков удел — посредственностью не рождаются, ею становятся.

Когда книга была написана, я обратился за визой к молодому ученому — прообразу положительного героя.

Он удивился:

— Вы хотите, чтобы я завизировал книгу после того, как вы труды мои приписали неизвестному мне человеку?

Я объяснил, что это роман, такими они только и бывают, зато читатель проникнется благодарностью к тому, кто провел удивительные эксперименты, описанные в книге.

— Я приложу все усилия, — заверил он меня, — чтобы ваше произведение не увидело света… Надо будет — обращусь к прокурору…

Книга вышла в свет и без добрых услуг недоброго ученого.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В 1960 году ко мне стали поступать странного содержания письма. Они шли из Томской области, Шигарского района, села Половинка, от врача Алексея Николаевича Соловьева. Он жаловался, что районный отдел здравоохранения мешает ему возвращать к жизни опасно больных туберкулезом.

По его мнению, единственно верное лекарство этих несчастных — сырое мясо. Так как в фармакопее подобное лечение не предусмотрено, врачу грозят административным и прочим взысканием.

В одном из писем я нашел копии некоторых историй болезни тяжелобольных, излеченных сырым мясом.

Я побывал в туберкулезных клиниках Москвы, присмотрелся к общепринятым лечебным средствам — они, кстати сказать, мало обрадовали меня — и попытался выяснить мнение врачей о пользе лечения сырым мясом. Мне отвечали снисходительным пожатием плеч и покровительственной усмешкой.

— Кто же в век паска, тибона и фтивазида вспоминает о давно забытой диете? От нее ведь давно отреклись… У нас и без скобленки выздоравливает народ.

Это пренебрежительное отношение к лечебному средству вчерашнего дня не удивило меня. Уж так повелось в медицине, — каждое новое лекарство не только вытесняет старое, но и бросает на него мрачную тень.

Отрицательное отношение клиницистов вынудило меня обратиться к научной литературе прошлого века. Поиски были небезуспешны, солидные ученые Франции, Англии и Германии торжественно уверяли, что сырое мясо приносит выздоровление туберкулезным больным. Такого же мнения держался в начале прошлого века петербургский ученый Вейс. Наш современник профессор М. И. Певзнер в своей книге «Основы лечебного питания» пишет:

> «Наши немногочисленные наблюдения подтвердили эффективность сырого мяса при некоторых формах туберкулеза. Надо полагать, это объясняется наличием в таком мясе ряда ферментов и гормонов, влияющих на процессы, происходящие в организме туберкулезного больного, в частности на окислительные процессы. Мы с большим успехом назначали скобленое мясо больным с истощением и анемией. Употребление сырого мяса вообще широко распространено в некоторых странах…

известно, что экстракт скелетной мышцы обладает специфическим действием на сердце… Ряд органов животных безусловно содержат особые вещества, которые мы должны научиться использовать для лечения…»

Еще одно обстоятельство дало мне повод отнестись с интересом к письмам сибирского врача. Я вспомнил, что народ издавна лечит туберкулезных больных сырым собачьим жиром и мясом. Мне приходилось видеть таких излеченных мясом собак.

Письма из селения Половинка продолжали поступать, но все более и более грустные. Врач жаловался на преследования и оскорбительную критику его лечебных приемов. Обиднее всего, что дурные слухи внушили больным недоверие к нему и на приеме их становится все меньше.

Соловьев приехал в Москву в надежде найти здесь поддержку. Он напечатал свой доклад во многих экземплярах. Разослал учреждениям и влиятельным лицам, в том числе Трофиму Денисовичу Лысенко. Ответы были по-разному неутешительны. Академия медицинских наук отвергла предложение врача как вредную стряпню. Заместитель министра сельского хозяйства отметил, что в животноводстве давно используются препараты из естественных белков для ускорения развития животных. В Институте биологической физики согласились с доводами Соловьева и тут же погоревали, что «теоретические положения автора носят слишком общий характер и не соответствуют уровню современной науки». В самом деле, все лечебные средства строго научно обоснованы, почему бы и в этом случае не пожелать того же? Туберкулезные больные подождут, какая цена лечебному средству, не подкрепленному солидной теорией?

С этими добрыми пожеланиями Соловьев покинул Москву и не давал мне больше о себе знать.

Будить человеческую мысль надо вовремя, не пришел еще, видимо, час для осуществления того, чему врач Соловьев посвятил свою жизнь.

Случай с Соловьевым заставил меня призадуматься и невольно сравнить судьбу непременной фигуры современной поликлиники — терапевта и хирурга.

Было над чем поразмыслить.

Уж слишком незавидна доля терапевта, ни сам он собой недоволен, ни больные не рады ему. Стало обычным бранить лечебный персонал поликлиники, объявлять врачей невеждами, только на то и способными, что строчить пером и, не выслушав толком больного, торопливо выписывать лекарство. Иное дело

хирурги — они чудотворцы. И на сцене театра, и на экранах кино только о них и речь. Снова и снова примелькавшееся лицо под марлевой маской, белый колпак, и… блаженны скальпель и снотворное, хирургия не ведает преград. Литература и искусство, столь благосклонные к хирургам, не посвятили ни одного серьезного произведения терапевтам. Зато сколько на их долю выпадает попреков и нареканий! Люди, не осмеливающиеся судить о технической конструкции пылесоса, полотера или электрической бритвы, с необычайной легкостью предают анафеме науку, от которой зависит жизнь и смерть человечества. Принято восхищаться успехами физиков, покоривших энергию атомного ядра, а также космонавтикой, посягающей на мировые просторы, а ведь если сопоставить пользу, которую эти наука приносят человечеству, с вакцинами против полиомиелита, калечившего детей, против чумы, погубившей однажды четвертую часть населения Европы, — итог не умалит достижений медицины. Знают ли те, кто посмеивается над терапией, что скарлатина в дореволюционной России временами поражала до полумиллиона детей? Что дифтерией заболевали до ста тысяч детей, из которых каждый второй умирал, что туберкулезные менингиты и злокачественное малокровие не оставляли свою жертву в живых… Известно ли им, что холера в прошлом обошлась в миллион жизней, а сыпные, брюшные и возвратные тифы опустошали деревни и губили армии во время войны? Что говорить о дизентерии — она убивала каждого третьего малыша. Эти болезни теперь не опасны, они утратили над человеком свою власть. Что значили старания терапевта против гнойного плеврита и сокрушающей силы крупозного воспаления легких, уносивших в могилу каждого шестого? Где тропическая малярия, опустошавшая целые поселения, кого ужасает теперь рожистое воспаление? Ни больного, ни врача эти болезни больше не страшат, и достигнуто это терапией за двадцать лет…

На это иной начетчик возразит, что успехами терапии мы обязаны не врачам, а фармакологическим лабораториям, создавшим пенициллин и сульфаниламиды, а также творцам новейших сывороток и вакцин. Терапевты лишь исполнители, слава принадлежит другим.

Так ли? Творцы вакцины против полиомиелита Солк и Сейбин — врачи-терапевты, и Флеминг и Флорей, открывшие пенициллин, — медики, но плесенью пенициллиум лечил больных русский врач Манасеин в конце прошлого века. Сульфаниламиды, осчастливившие человечество, открыл врач Домагк, а свойство их действовать подобно волшебной пуле, настигающей микроба среди многих ему подобных, разработал

врач Эрлих. Обоих удостоили Нобелевской премии. Что касается бактериологов — творцов вакцин и сывороток, то, начиная с Дженнера — отца вакцинации и Коха — основоположника бактериологии, все они были медиками, а Дженнер, Кох и Эрлих — практикующими терапевтами. Не обошлось, конечно, и без помощи химиков, но ведь и физики в своих открытиях не обходятся без них… Наконец, самое существенное — что значат эти открытия, не будь усилий терапевтов, изучивших их действие на больном человеке? Ведь иначе эти средства никогда не стали бы лечебными…

Кто же судит о медицине по приходящему на дом врачу? Поликлиника — тот же полковой медпункт, а врачи — те же санитары на передовых позициях фронта. Их назначение — выяснить, способен ли больной справиться с болезнью или необходимо вмешательство специалистов. Каждый из этих врачей умеет читать электрокардиограмму, давать собственную оценку лабораторным анализам, разнообразие которых непрерывно растет, знает толк в рентгенограмме и способен критически отнестись к заключению рентгенолога. За спиной такого терапевта — лаборатория, оснащенная всякого рода техническими и лечебными средствами, включая электронную и атомную аппаратуру…

Я сделал эту проблему научной темой моей книги «Повесть о несодеянном преступлении». Литературно-художественный сюжет был также отголоском моих наблюдений в научной среде.

Столкновение людей различных нравственных представлений дало мне повод еще раз подтвердить известную истину, что чувство долга и чести — несокрушимое забрало перед лицом врага.

Недобрый человек — прежний друг — лишил свою жертву доброго имени, возлюбленной, которую сделал своей женой, и создал легенду о том, что прежний друг с сырым мясом ввел больному кишечных паразитов и тем погубил его. Жена, поздно разгадавшая мужа, готова оставить дом и уйти к прежнему возлюбленному. Высоконравственный друг не соглашается.

— Потерпите, не вечно же нам с ним воевать… Он не должен меня считать совратителем, способным из мести лишить его друга и жены.

— Что вам до него? — не понимает она. — Он домогается вашей гибели, ссорит с обществом, приписывает преступления… Откуда это ваше христианское многотерпение?

На это следует горькое признание:

— Мои нравственные представления не зависят от человека, с которым свела меня судьба. Я честен и с тем, кто бесчестен,

сочувствую тому, кто сам на это чувство неспособен. Мне прежде всего надо с собственной совестью поладить. Она ближайший мой друг, хоть порой и неважный советчик…

На вопрос председателя суда, почему он не укажет на истинных виновников смерти больного, следует ответ:

— Не в моих правилах ставить в трудное положение ничтожных людей, не в них ведь дело…

— Но вы могли бы пригвоздить их к позорному столбу.

— Не в моих правилах также пользоваться средствами наших врагов.

* * *

Ко мне кто-то робко постучался. Я пригласил войти. Стук повторился. Я открыл дверь и увидел незнакомого человека.

Он извинился за беспокойство и продолжал оставаться на веранде, не проявляя желания войти.

— Простите, — начал он, — я узнал, что вы здесь, в Доме творчества писателей, и мне захотелось познакомиться с вами. Я читал ваши книги, много слышал о вас…

Он назвался профессором Аршавским Ильей Аркадьевичем, заведующим лабораторией Института экспериментальной медицины. Через некоторое время мы расхаживали уже по аллеям Коктебеля и вели оживленную беседу.

Надо отдать справедливость моему собеседнику, он владел искусством так скучно преподносить интереснейшие мысли, что слушать его становилось тягостно. Мы снова встретились в Москве, но я к тому времени успел ознакомиться с трудами ученого и мог бы о них больше и интересней рассказать.

Любопытные открытия начались наблюдением над первыми шагами ребенка, когда его частое дыхание и кровообращение начинает снижаться. К трем годам этот ритм снизится вдвое, а позже станет еще реже. Словно учитывая, что для становления на ноги нужны дополнительные усилия, природа ослабляет напряжение сердца и легких.

Свойственна ли эта закономерность и животным? Опыты подтвердили, что щенки в лаборатории, как и дети в клинике, рождаются с крайне частым дыханием и напряженным кровообращением. Состояние улучшается, как только щенки становятся на ноги. То же самое наблюдается у зайцев, кошек, лошадей и многих других. Животные, рождающиеся зрелыми, способными двигаться сразу же после рождения, расстаются с напряженным дыханием и кровообращением с первого же дня.

Дети, перенесшие полиомиелит и ни разу не вставшие на ноги, навсегда сохраняют ритм сердечных сокращений и дыхания первых дней жизни.

Не правила, а исключения приоткрыли одну из удивительных тайн природы. Так, у кроликов и зайцев, видов столь близких друг к другу, ритмы сердца и легких различны. У кроликов они крайне учащенны, а у зайца умеренны. Морские свинки, крысы, мыши, кролики и низшие обезьяны всю жизнь сохраняют напряженное дыхание и кровообращение. У лошади и верблюда сокращения сердца вдвое медленней, чем у коровы, и само сердце значительно крупней. У слона весом в пять тонн ритм сердца и дыхания вдвое ниже, чем у лошади и верблюда.

Ученый пришел к убеждению, что природа дарует своим творениям ритмы сердца и дыхания в зависимости от того, какой труд предстоит им в жизни. К чему обитателю норы — грызуну емкие легкие и мощное сердце, столь важные для зайца, живущего на открытом пространстве, вынужденного бегством спасаться от врага со скоростью пятьдесят километров в час? Низшие обезьяны, хоть и прилагают известные усилия в своих путешествиях по деревьям, но эти напряжения кратковременны. Зачем малоподвижной корове низкий ритм дыхания и кровообращения, более необходимый лошади и верблюду, занятым тяжким трудом?

И еще одно немаловажное открытие: высокий ритм дыхания и кровообращения означает ускоренное горение вещества и быстрое изнашивание организма. Оттого жизнь грызунов, кошки, коровы и низших обезьян так коротка. Век крысы и мыши в пять раз короче ее сродни — неспокойной, суетливой белки; кролик доживает до пяти-шести лет, а родственный ему заяц — до пятнадцати. Казалось бы, жизнь в норе, более спокойная и безопасная, должна быть долговечной. Ведь звери, отсыпающиеся зимой в берлоге, отличаются сравнительным долголетием. Бурый медведь достигает пятидесяти лет, тогда как волк и лисица, не подверженные зимней спячке, старятся и погибают уже к двадцати годам. Почему же покой не приносит долголетия обитателям нор? Несомненно, что интенсивность обмена питательных веществ определяет сроки жизни.

Каждый новый пример подтверждал это предположение. Лошадь и верблюд, сокращения сердца которых вдвое медленней, чем у коровы, доживают до сорока лет, тогда как век коровы в два с лишним раза короче. У слона весом в пять тонн сокращения сердца и дыхание вдвое реже, чем у лошади и верблюда, и продолжительность жизни в два с лишком раза дольше. Дыхание и ритм сердца у человекообразных обезьян в два раза реже, чем у

макак и капуцинов, и соответственно в три-четыре раза дольше их век. Человеческий организм самый совершенный и экономный среди всего живого. Никто не тратит так мало энергии на восстановление своего тела, как он. Лошадь и корова расточают тридцать три процента, собака — тридцать пять, а человек расходует только пять. В этом причина его наибольшего долголетия среди прочих живых существ, подобных ему размером и весом.

Для ученых долго оставалось загадкой: почему слоны в неволе рано умирают, достигая примерно шестидесяти — семидесяти лет? Рано погибают и человекообразные обезьяны в зоологическом саду. Менее долго, чем на воле, живут зайцы, вдвое меньше обычного — свиньи. На это возможен один только ответ: и те и другие лишены привычного труда. У одних отнята возможность ворочать свое огромное тело, другим не приходится носиться по деревьям, мчаться во весь опор от врага, догонять его и вступать в единоборство. Ведь только этим поддерживается их тормозная система дыхания и кровообращения, которая дарует им долголетие.

Это удивительное исследование стало темой романа «Они узнали друг друга».

Что труд создал человека, а история — не что иное, как формирование его трудом, — известно давно. Неожиданно ново, что природа награждает долголетием и превосходной организацией тех, кому в жизни предстоит потрудиться. Совершенство организма и труд неотделимы. Скрепленные взаимными узами минувшего и будущего, они только в этой связи гармоничны. А дух? От чего зависит его взлет? Не так уж редко в хилом теле заложены высокие нравственные достоинства. Где связующие нити между телом и духом? Или душевные силы черпаются из другого источника?

Что, если проследить встречу двух начал — трезвого ума, крепкой плоти с физической немощью, озаренной чувством нравственного долга?

Впервые научные мотивы подсказали мне литературный сюжет.

Их было двое: профессор, одержимый врожденной одышкой — результат кислородного голодания, — и другой — научный сотрудник, спортсмен, побывавший на вершинах недоступных гор. Детство и молодые годы профессора были омрачены страданиями, и он посвятил себя изучению суровых законов газообмена, ставших для него и многих других роковыми. От рождения до самой смерти человека преследует кислородный голод. И первый крик младенца и последний вздох старца

рождаются из удушья. Даже труд — благословенный, полезный труд — обедняет артериальную кровь и отягощает дыхательную систему.

И у колыбели ребенка, и в клинике, и в лаборатории ученый домогался узнать: нельзя ли приучить организм обходиться немногим, сокращать свои нужды, когда кислорода мало или вовсе его нет? Четыреста кубических сантиметров — жизненный запас, а если приток воздуха не на минуту, а на пять остановится, неужели погибать?

Случилось, что профессор и научный сотрудник были завалом отрезаны в шахте от внешнего мира. Нависла угроза задохнуться от газов, выделяемых почвой. Первой жертвой должен был стать страдающий одышкой профессор, и именно он проявил душевную стойкость и мужество. Ученый внушил помощникам, что каждый должен изучать свое самочувствие до последнего вздоха. «Не нам, другим эти записи пригодятся», — напутствовал он их. Лишь один из помощников отказался исполнить свой последний долг. Он симулировал отравление, обрушился упреками на профессора, затеявшего опасную экспедицию, и изнемогал от страха. Этим малодушным человеком оказался тот, кто не раз побывал в опасных экспедициях и дважды — на вершине Эльбруса, где кислорода не так уж много…

Неуязвим был старый больной ученый, его в эти часы поддерживало чувство долга. Ни силы, запрятанные в мышцах, ни трезвый ум не идут в сравнение с волей, направленной на выношенную в муках цель.

Связующие нити между телом и духом были найдены: мышцы и рассудок сильны и непобедимы, когда их покоряет всесильная мечта.

Когда завал был устранен и группа выбралась наружу, спортсмен — научный сотрудник смущенно заметил профессору:

— После того, что произошло, мы с вами, вероятно, работать не сможем.

— Почему? — удивился ученый. — Ничего порочащего вас мы не увидели, именно таким я вас и представлял себе. Теперь, когда мы ближе узнали и глубже заглянули в души друг другу, нам с вами только и работать.

Книга была закончена, проследовала своим путем к печатному станку, а мысль не унималась. Из двух ли начал — плоти и творческой мечты — слагается наша деятельность, только ли из них? А талант? Не в нем ли главная суть? Все поражающее наше воображение, прекрасное и величественное мы кратко именуем дарованием. Нам не мешают восхищаться чудесным творением недобрые слухи о душевных качествах

творца. Мы охотно прощаем признанному таланту то, что привыкли осуждать в других.

Не слишком ли много уделяем мы внимания таланту — понятию, не доступному анализу, а следовательно — нашему разуму? Кто и где определил его сущность, где грань, разделяющая средние человеческие способности от более высоких, дарованных природой?

Люди, щедро наделяющие этим лестным эпитетом художников, музыкантов, литераторов и ученых, несправедливы к тем, кто трудом и смекалкой создали и обогатили современную цивилизацию. Не сотворена же она талантами, не их усилиями единственно увенчано благополучие человечества.

Вопрос этот часто вставал предо мной, и не раз приходилось теряться в догадках, к какому разряду отнести оригинального, трудолюбивого и проницательного человека, сильного искусством действовать наперекор общепринятым представлениям, лепить и переделывать творения природы на свой лад.

Я знал человека, у которого пчелы и крысы стали помощниками в его сложном селекционном труде.

На опытной станции были более и менее благополучные сорта слив. Одни цвели одиннадцать дней — и как раз в пору дождей и туманов, когда нормальное опыление невозможно. Был и другой сорт, который опыляется при любой погоде и плодоносит в срок. Сорта переопылили, и полученные косточки гибридных сортов посадили в почву. Десять лет спустя созрела слива со всеми добрыми качествами родителей. Предстояло размножить новый сорт, отобрать лучшие плоды и высадить их косточки. Это оказалось делом нелегким, почти неосуществимым. Ни одна химическая лаборатория не оценит так качество плода, как человек. Только пробуя сливу на вкус, можно решить, какая действительно лучшая, а много ли их перепробуешь…

Изобретательный плодовод нашел себе помощников. Он заметил, что пчелы стаями налетают на дерево и оставляют на ветках оболочку и косточку. Этим химикам он предоставил отобрать лучшую сливу.

Пчелы потрудились на славу, плодовод остался ими доволен.

В другом случае предстояло отобрать новый сорт тонкокорых и маслянистых орехов. Химические средства науки для этого недостаточны, а человеку такой труд не под силу. Чтобы опробовать орехи из четырех тысяч кустов и к сроку отобрать необходимое количество, приходилось бы отведать до пяти килограммов в день.

Тем временем крысы подобрались к орехам на чердаке и стали лакомиться ими. Что удивительно — зверьки предпочитали

содержимое одних мешков и не касались других.

Нет ли в этом предуказания, доброго совета друзей? Что, если расспросить этих обжор, чем пришлись им по вкусу орехи из проеденного мешка?

Орехи были кучками разложены на земле, и каждый сорт покрыт этикеткой. Крысы отбирали самые тонкокорые, маслянистые и оставляли другие без внимания.

История о том, как помощниками его стали вредители растений — тли, завела бы нас далеко.

— Я думаю, — сказал он мне, — что селекционеры напрасно не заглядывают в норки к хомякам и сусликам, они там нашли бы нужное им зерно, самое отборное…

Удивительный человек, — скажет один; смекалистый, — заметит другой; а чем не талант? Больше ли дарования у того, кто так долго шлифовал свои стекла, пока не разглядел в них мир мельчайших творений природы? Или сложней было заметить, что доярки, ухаживающие за коровами, вымя которых поражено оспой, сами никогда оспой не болеют?

Один из таких многодумов поразил меня странным заявлением. Пшеницу, уверял он, следует не сеять, а сажать, как хлопчатник и свеклу, каждое зернышко на почтительном расстоянии друг от друга; ухаживать за каждым всходом в отдельности. Нерадивые хозяева обратили пшеницу в одностебельное растение, тогда как природа создала ее кустом. На опытных участках он выращивает не четыреста — пятьсот, как обычно, а двести растений на квадратном метре. Каждое содержит по два грамма зерна, а всего собирает сорок центнеров с гектара. Можно ограничиться не двумястами, а сотней растений на ту же площадь и собрать все сто центнеров.

Он не без горечи говорил, что мы увлеклись искусством скрещивать растения, улучшать их наследственные свойства, выводить новые сорта и забыли о нуждах растительного организма. Вместо того чтобы помочь пшенице развивать стебли и листья, мы предоставляем ей самой одолевать тяготы и вызреть. В результате нашей нерадивости вместо куста вырастает стебелек пшеницы.

На опытном участке я увидел снопы выше человеческого роста. На прочных, как камыш, соломинах вздымалось по восемьдесят крупных колосьев с полновесным зерном. До девяноста центнеров с гектара снял предприимчивый селекционер.

Другой из этой плеяды нарушил порядок, установленный природой, и повернул растение вершиной вниз, так, чтобы химические вещества, следующие из корней кверху, двигались в

противоположном направлении.

Семена плодовых растений высаживались в горшки, и, когда на ростках появлялись листочки, почву в горшках прикрывали картоном и вазон опрокидывали корнями кверху. Воду наливали через отверстие в донышке посуды. Чтобы опущенные вниз стебли не поднимались к солнцу, их подвязывали к палке, воткнутой в горшок.

Противоестественное состояние организма сказывалось на его жизнедеятельности, на стеблях кукурузы второго поколения возникло от двух до семи початков, новые плодородные свойства сохранялись в семенах до пятого поколения. Это было начало удивительных экспериментов…

В одном из районов страны в течение многих лет гибли от странной болезни коровы. Они худели, слабели, свой зеленый корм затаптывали, к концентрированным кормам не прикасались, а старую озимую солому, прелую мякину или жесткие стебли несъедобных трав жевали. Затем начиналась лизуха — коровы и овцы лизали себя и друг друга, ели загрязненную навозом подстилку, грызли кормушку, кости, камни.

До одного из животноводов дошел слух, что некоторые хозяева спасают свой скот, скармливая ему мелассу, или вовсе дают объедать осину. Дотошный человек проделал анализ того и другого и установил, что в них много кобальта, значительно больше, чем в сене. В почве этого элемента оказалось явно недостаточно. Когда скоту стали давать с пищей хлористый кобальт, болезнь прекратилась. Сколько наблюдательности и смекалки надобно было, чтобы найти связь между болезнью и недостатком в почве кобальта…

Кто они, эти удивительные люди? Таланты? Кто знает. Достоверно лишь известно, что они великие труженики, иначе они ничего не создали бы.

Рассмотрим ближе дарованную природой благодать, которую никто толком еще не разглядел.

Верно ли, что талант — врожденное свойство, такое же, как и прочие способности, дарованные нам? Дар, конечно, не наследственный — история решительно эту версию отклонила. Рано или поздно человек обнаруживает у себя большую или меньшую склонность к той или иной форме деятельности или мышления. Одному даются легко гуманитарные науки, другого влечет к математике, к литературе или искусству. Как на пример исключительности этого дара обычно указывают на малолетних музыкантов, детей пяти — семи лет, успешно дирижирующих оркестром. Пример разительный, но что сказали бы современники, если бы искусство этих малышей и впредь

оставалось без изменения? Человечество не знало малолетних писателей, художников, мыслителей, изобретателей, композиторов и уж тем более спортсменов. Для всего этого, вероятно, одних врожденных способностей недостаточно. Дар природы, очевидно, всего лишь склонность, к тому же беспомощная, если не подоспеют знания и опыт. Талант как бы становится им, когда на выручку явится творческая мечта, ясно осознанная цель — поводырь к достижению совершенства. Там, где одаренность предоставлена самой себе, ее судьба незавидна. Как и всякая сила и слабость человеческая, она покорна среде и присущей нам лени.

Наградив счастливца благодатной склонностью и не внушив, как этим даром обходиться, природа оказала ему дурную услугу.

Так называемому таланту присваивают обычно духовную сущность, в отличие от способностей, проистекающих от ремесла. А где грань, отделяющая одаренную балерину от акробата, восточную танцовщицу, мастерицу причудливой пляски рук, — от метательницы диска; балетного артиста — от спортсмена, преодолевающего значительные препятствия, конькобежца, поражающего своей неутомимостью и искусством соразмерять каждое движение? Нельзя, наконец, отказать в одаренности и умельцу, подковавшему блоху…

Способность, определяемая как талант, — универсальна. Любой орган, мышца и кость скелета может быть отмечена этим дарованием. Не с точки зрения психологии, а физиологии следует рассматривать талант. И силы, запрятанные в мышцах, и ум покорны выношенной в муках творческой мечте. Как и всякая другая функция организма, одаренность гибнет без труда.

Если бы искусство играть на музыкальном инструменте, писать книги, вести спортивные игры было бы нечто большее, чем склонность, вряд ли бы понадобились повседневные упражнения, труд, длящийся годами и десятилетиями. Ведь недостаток тренировки приводит к частичной и даже полной утрате дарования.

Что дарование не что иное, как физиологическая особенность, легко убедиться, наблюдая труд музыканта. У пианиста и скрипача правая и левая рука одинаково искусны, ни художник, ни писатель, ни ремесленник и ученый не похвастают этим, их искусство доступно лишь правой руке. Левую не обучили тому, чему обучили правую. Рука, не усвоившая знания, видимо, не запоминает его. Руки пианиста и скрипача не только приобрели опыт, но и частичную независимость от центральной нервной системы. Сказалось такое же примерно приноровление, как у кассира, способного выловить среди сотен и тысяч

ассигнаций одну иной стоимости, чуть меньшей плотности. Не потому ли так трудно усваиваются знания, запечатленные в руках, и нужна непрерывная тренировка, что органы запоминания — нервные связи рук — уступают мозгу в совершенстве? Ведь школьники и ученые не повторяют ежедневно азы науки или, позабыв одну из частностей, не воспроизводят ее в памяти неделями и годами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Случилось, что проблема любви вновь заставила меня призадуматься. Причиной послужило одно из моих выступлений перед аудиторией инженеров. Меня предупредили, что со мной хотят поспорить о сущности и характере любви и мне следует к этому быть готовым.

Инженеры внимательно выслушали меня и после короткого перерыва сразу же засыпали вопросами.

— Мне кажется, — осторожно заметил сидевший в первом ряду средних лет инженер, — что вы напрасно выделили любовь из общего круга человеческих чувств и отметили ее печатью исключительности. Пусть она подвержена своим законам развития и выполняет некую особую миссию, но проявления ее не могут отличаться от многих других страстей. Не будучи искусственно подогретой, любовь спокойно течет в своих берегах, на время может подавить другие чувства или сама подчиниться им…

— Сколько ни связывали бы любовь с наваждением, — вторил первому кто-то из задних рядов, — с чувством, принудительно навязанным извне, одно несомненно: первые признаки его рождаются в сознании, именно там. Пока влюбленными не овладеет страсть, они трезво взвешивают хорошее и дурное друг в друге, здраво приемлют одно и отвергают другое. Загадочным становится их поведение, когда любовь из сознания переселяется туда, где разум бессилен и царит произвол, но что исключительного в таком состоянии? Разве обычные чувства не вырываются из своих границ, чтобы обрести силу страсти? История науки, искусства и спорта полна примерами, когда случайно возникший интерес к музыке, знаниям или играм перерастал в страсть и в жестокую необходимость. И любовному чувству свойствен накал от обычного интереса до тяготения и страсти.

И тот и другой рассматривали любовь как одно из многих житейских испытаний, как обычный искус для сердца и ума.

— Вы ничего не сказали, — откликнулся еще один голос, — о том, какой была любовь в различные эпохи. Бывали времена, когда любовь обращалась в бедствие. Велением ли моды, обычаями ли страны или нравами, занесенными извне, — влюбленные юноши убивали соперников, кто в поединках, а кто рукой наемных убийц. Бродячие певцы, миннезингеры, идеализировали женщину до степени неземного существа, а в укромных уголках ее именем влюбленные убивали друг друга…

Бывают времена, — продолжал мой оппонент, — когда голоса любви умолкают. Голод ли прошел костлявой рукой, война ли огнем и кровью затопила страну, эпидемия ли творит свое злое дело — перед лицом бедствий и смерти силы любви как бы меркнут.

Мои оппоненты лучше меня подготовились к моему докладу. Мне предстояло много подумать, прежде чем осмелиться выступить вновь…

Долгие размышления позволили мне согласиться с оппонентами и восполнить казавшиеся исчерпанными представления о любви.

Пусть влюбленные находят друг в друге нечто жизненно важное для себя, пусть близость сглаживает неровности характеров и облегчает их существование. Но если единственно этим исчерпывается сущность любовного чувства, почему так велики страдания тех, кого этих благ лишили? Говорят, что страсти и горести влюбленных ни с какими другими в сравнение не идут.

Действительно ли эти страдания так велики, не порождены ли они фантазиями писателей, художников и артистов. Тех самых, которые в раннюю пору нашей жизни со столь жестокой откровенностью обнажали перед нами это интимнейшее из чувств во всей его наготе?

Скорби и печали влюбленных, несомненно, велики. Зрелище терзаний любимой девушки, выданной замуж за нелюбимого, вынужденное пребывание под одной крышей с прежним супругом и его новой женой, горькое сознание, что любимая из расчета предпочла другого, — все это, возбуждая и обостряя чувство любви, порождает состояние, граничащее с отчаянием. Страдания тем острее и мучительней, чем несчастней сложились другие стороны жизни одного из влюбленных. Фантазия присвоит всю горечь былого, жизненные невзгоды и разочарования несостоявшейся любви…

Так ли эти испытания несхожи с теми, что выпадают на долю скупца, властолюбца, игрока, наркомана?

Люди, одержимые страстью к вину, азартным играм, власти и деньгам, могли бы рассказать о неслыханных испытаниях, которым подвергались их физические и душевные силы. Скупца доводит до исступления не только напрасно растраченный грош, но и разорение должников и связанный с этим страх потерять свое состояние. В отчаянии, он отречется от всего святого, откажет семье в самом насущном, доведет себя до истощения и смерти.

Страдания игрока способны его толкнуть на неслыханное

безумие: поставить на карту все, что ему дорого, и даже самую жизнь. Мучительны горести пьяницы и наркомана. Зрелище собственной беспомощности, неустройства, нищеты, сознание безнадежности и разочарования во всем, что некогда было близко и дорого, нередко обрекают этих людей на гибель.

Не слишком ли жестоко сопоставлять возвышенные чувства человеческой природы с низменными? Искать параллели, глубоко оскорбительные для чувствительного сердца влюбленных?

Уж слишком схожие причины поддерживают и возбуждают так называемую «возвышенную» и «низменную» страсть. Чувство отвергнутого юноши подогревается иной раз не столько образом любимой, сколько вином, азартной игрой, преступными замыслами и нечистыми мечтами о карьере. В повести «Невский проспект» влюбленный художник, отвергнутый девицей, подогревает свою страсть общением с возлюбленной в пьяном бреду… Если неудачи влюбленного связаны с его бедностью, вид зеленого стола, где он выигрышем надеется склонить сердце девушки, будет так же возбуждать его чувство, как общение с возлюбленной… Домогательство почестей и власти вдохновит любящее сердце, если нет иных средств вернуть утраченную любовь.

И «возвышенные» и «низменные» страсти склонны оставаться на среднем уровне напряжения. Не все скупцы — «шейлоки», не все игроки подобны Германну из «Пиковой дамы», а властолюбцы схожи с Ричардом Третьим. Не всякая любовь насыщена страстями Отелло и Дездемоны, Ромео и Джульетты. Чаще всего она протекает спокойно и ровно, влюбленные продолжают работать и учиться, разлучаются на годы, терпеливо ждут возвращения и без особых треволнений эти испытания переносят.

Как и прочие страсти, любовь может безвременно угаснуть. Люди умирают от болезней, гибнут в катастрофах, оставляя женихов и невест, влюбленных жен и мужей, а многие ли из оставшихся в живых дали обет безбрачия? Как ни странно, но могила любимого человека вернее всего излечивает любящее сердце. Редкие исключения не в счет. Не слишком ли прозаический конец для чувства, которому писатели и художники отводят место вне ряда прочих человеческих страстей?!

* * *

Если природа любви так усложнена и столь много спутников подменяют ее сущность, если нравственные, психологические и прочие причины могут не дать этому чувству возникнуть и

утвердиться, а устоявшаяся любовь может рухнуть, — как мало должно быть счастливых браков и как много супругов обречено пребывать во взаимном равнодушии.

Или брак сближает людей, супруги со временем привыкают и приспосабливаются друг к другу?

Подавлять свои вкусы и привычки, осуждать в душе друга, винить его в том, что он не такой, каким являлся в мечтах? Это ли путь к душевной близости?

Предусмотрительная природа, проложившая запасные магистрали и подсобные системы, чтобы оградить наше тело от страданий, учла нужды души и проложила другую колею к сердцу и помыслам человека.

Овдовевшие или покинутые жены находят утешение, посвятив свои чувства детям, — материнство оттесняет любовное чувство, вернее говоря, подменяет его. Девушки и женщины до недавнего времени уходили в монастыри, чтобы силой религиозного вдохновения вытеснить несчастную любовь. Многие примыкали к общинам медицинских сестер и самоотверженным служением больному приносили наболевшему сердцу покой.

Подмена и вытеснение одних чувств другими глубоко свойственны человеческой природе. Муж, способный переносить любые испытания ради любимой жены, мириться с ее нуждами и капризами, — не будет ей безразличен. Она, конечно, не найдет в нем необходимых ей жизненно важных свойств, и все же брак не будет отмечен печатью взаимного равнодушия.

Отвергнутая, исстрадавшаяся девушка найдет утешение в замужестве, если избранник сумел прийти ей на помощь в горестные минуты жизни. Не любовь, а другие чувства сделают их жизнь приятной.

Высокие душевные и физические свойства жены, ее успехи в науке или искусстве и, наконец, общественное признание, выпавшее на ее долю, — пробудят в муже нечто схожее с любовью.

Появление детей и их воспитание нередко укрепит супружескую привязанность и заменит любовь.

Наконец, сигналы материнства, обманувшие девушку и склонившие ее к супружеству, могут создать счастливое подобие любви на долгие годы. Кто знает, сколько благополучных супружеств покоится на этих основах, весьма и весьма далеких от любви…

Сигналы материнства, их добрые и дурные стороны в браке стали темой моей следующей книги — «Повесть об одном воскресении».

* * *

Мы впервые встречаем ее медицинской сестрой на аэродроме. Ей только шестнадцать лет, но как бойко она с сумкой, набитой бинтами и медикаментами, снует между самолетами, пробирается в кабины, чтобы проверить, все ли у пилота под рукой. «Расстегнуть кителя! — звонко раздается ее команда. — Снять целлулоидные воротнички, и без них на самолете достаточно горючего!» Они послушно раскрывают комбинезоны, не уступишь — не выпустит на стартовую дорожку. Еще одна забота: у всех ли припасены жгуты? Плохо они знают свою сестру, самолет не двинется с места, хотя бы пришлось рассовать им жгуты по карманам. Они звали ее «Шплинт», любили и побаивались этой прыткой сестрицы.

Двадцати лет она, студенткой третьего курса медицинского института, встретила молодого баловня судьбы и привязалась к нему. Болезненный, слабый, он вызывал у нее жалость, и именно это чувство привлекло ее к нему. Она заменяла ему мать и учителя. Нежные взгляды юнца — единственное, на что он дерзал, — служили ей наградой за все труды и заботы о нем.

В своем дневнике она по этому поводу записала:

> «Наше общение не рождало во мне ни тоски, ни страсти. Этому безмятежному состоянию приходил конец, едва весть о его нездоровье доходила до меня. Сознание, что он без присмотра лежит в неуютном общежитии, лишало меня покоя. Я мчалась к нему, чтобы, не смыкая глаз, провести ночь у его изголовья. Эти лишения доставляли мне удовольствие, и я охотно обрекала себя на еще более тяжкие, когда в них не было ни малейшей нужды. Я часто думала над тем, действительно ли это любовь, и утешалась мыслью, что другой мне не нужно, я счастлива той, которая досталась мне».

Юный друг утонул в реке, и она дала обет никогда замуж не выходить.

Ей не удалось обмануть ни себя, ни тем более окружающих, сестры и санитарки замечали, что она слишком задерживается около больных, особенно возле стариков и детей. Одно время ей хотелось взять ребенка на воспитание, но она вовремя рассудила, что он станет лишь помехой, не дети, а слабые и беспомощные люди, нуждающиеся в ее заботах, ей нужны.

Врач-рентгенолог убедил ее стать его помощником, изучить

рентгенологию, которой сам он тяготился. Зачем это понадобилось ему?

— Я поверил, — сознался он позже, — что ваше присутствие, свойственная вам решимость и твердость что-то изменит в моей судьбе. Я все еще надеюсь, помогите.

Он вручил ей себя, и она стала жить мыслями о нем, его печалями и радостями. Новый друг не заметил, как его планы и надежды стали ее достоянием. Ему оставалось лишь внимать ее советам и наставлениям. Никаких возражений и неудовольствий, уговорами и просьбой от нее не отвяжешься. Хоть молчание — золото, правда ей милей.

— Вы не сделаете этого, — предупреждала она его, — не смеете, я запрещаю вам…

Он предложил ей переехать к нему, и она не задумываясь согласилась. Она нашла в нем то, что утратила в покойном друге, и была счастлива стать опорой для него.

Так в страстной готовности служить там, где нужны ее заботы, тем, кто склонен видеть в ней добрую, строгую мать, текла ее жизнь.

Тем временем рентгенолог, разочарованный каждодневным «фотографированием костей» и гаданием по теням и полутеням о состоянии больных, пристрастился к футболу и стал завсегдатаем на стадионе. Именно там он встретился с давножданной темой и, очарованный ее новизной, заново полюбил рентгенологию.

Случилось, что во время игры футболист поскользнулся и с кровоподтеком на бедре угодил в больницу. Вывих оказался не очень серьезным, зато рентгенолога он весьма озадачил: снимок трубчатой кости правой ноги поражал своей толщиной. Это могло означать опухоль кости, но у других футболистов наблюдалось то же. Можно было допустить, что это костный нарост, своего рода полезное приспособление, необходимое накопление костного вещества, но ни один специалист с этим не согласился бы.

Рентгенолог стал усердно изучать литературу, вместо развлекательных книжек на столе и на полках появились солидные научные труды, он рано вставал, чтобы до ухода на работу успеть почитать и заняться. Довольная тем, что муж снова полюбил рентгенологию, жена усердно принялась ему помогать, побывала у балетных артистов и артисток, лыжников, борцов, штангистов и всюду убеждалась, что профессия отражается не только на мышцах, но и на костях скелета.

Мирное сотрудничество супругов длилось недолго, муж зачастил в антропологический музей, чтобы на скелетах кочевников, воинов, земледельцев и охотников получить подтверждение своей гипотезы и заодно разглядеть печать

минувших эпох. Новое увлечение не пришлось жене по нутру, она заподозрила, что в нем проснулась старая склонность к антропологии, и решительно запротестовала. Она не могла ему этого позволить, ничто не должно было его разлучать с рентгеновским кабинетом.

Заботы и попечение жены грозили стать серьезным препятствием в его творческих планах. Вначале он выпрашивал разрешения побывать в музее, съездить в экспедицию, но по мере того, как новые идеи все больше его поглощали, он уходил из-под ее влияния. Исследования принесли богатые плоды, было установлено, что кости скелета не только опора для мышц и внутренних органов, — на них записана вся наша жизнь, по ним можно прочитать нечто такое, что было сокрыто от опытных врачей и самого больного. Больше того — склад характера, доброе и дурное в человеке оставляло свой след на скелете.

Настал день, когда супруги оказались на различных местах: она — по-прежнему в больнице, а он — в историко-антропологической лаборатории малоизвестного института.

— Нам с тобой лучше работать врозь, — уверял он ее, — у нас различный круг интересов… Это будет соревнование без вражды и зависти и без намерения сбить друг друга с пути.

Во всем переменился некогда покорный муж, он отказывался от навязанных домашних порядков, стал поздно возвращаться домой и вовсе исчезать на дни и недели… Она не могла ему позволить жить и думать по-своему, его послушание было залогом ее спокойствия и уверенности, что этому не будет конца. Чтобы сохранить над ним свою опеку, она оставила больницу и перешла на работу в институт. Нисколько не доверяя его успехам, не принимая их всерьез, она делала вид, что соглашается с ним, терпеливо выжидая, когда всему этому придет конец.

Борьба требовала знаний, и она изучала объемистые труды антропологов и штудировала историю древних и средних веков. Легко ли усвоить науки, которым не доверяешь, а выводы кажутся чистой спекуляцией…

Пришел день, когда ей пришлось уступить. Слишком разительны были успехи. Не будучи предупрежденным, чей скелет лежит перед ним, врач-рентгенолог мог обстоятельно рассказать о жизни того, кому эти кости некогда принадлежали. Так была подтверждена подлинность скелета Ярослава Мудрого и жены его Ингигерды, останков Андрея Боголюбского. Пришел день, когда и помощница такой же анализ сумела проделать над скелетом многовековой давности.

Довольный успехом жены, муж сказал ей:

— Теперь, когда ничто больше не разделяет нас, я уберу из

нашей жизни последнее, что тебя огорчало. Я стану снова послушным и не позволю себе нарушать домашние правила. Я верну тебе сознание, что муж твой без тебя и твоего совета ничего себе не разрешит и твоими заботами живет. Что значит такая маловажная уступка в сравнении с тем, что я жду от тебя… Ведь мне всего дороже в жизни мое дело, а ты отныне моя правая рука…

Она спрашивала себя, радоваться ли или отказаться от его жертвы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Таков неполный итог поисков и чаяний в литературе. Сорок с лишним лет длились они, к чему привели? Какими мыслями могу я поделиться? Что оставить тем, кто более счастливо начнут свой творческий путь?

Я не могу упрекнуть себя в том, что когда-либо навязывал незрелым умам свои представления о грядущих путях литературы. Однако книги последних пятнадцати лет обязывают меня обосновать избранный мною жанр и определить его место в великом потоке общечеловеческой мысли.

Годами и десятилетиями я вел диалог с собой, отстаивал и защищал свои взгляды на сущую и грядущую судьбу литературного творчества. Хорошо ли, дурно это, я представляю мою немую беседу с безымянным противником во всей ее полноте. Пусть этот мысленный диалог рассудит нас.

— К какому жанру относите вы эту книгу?

— К художественной литературе.

— Но ведь в ней идет речь о науке. Это скорее произведение научно-популярного характера.

— А по какому признаку эти жанры различаются?

— Беллетристика решает общественно-нравственные проблемы, а научно-художественная — преподает знания.

— А разве военные, исторические и философские романы свободны от научно-технических идей?

— Основная задача беллетристической литературы иная, ни слить, ни породнить ее с наукой нельзя и не следует. Сочетание научных и художественных представлений опасно. Проникновение элементов рассудочности и анализа, характерных для науки, нарушает гармонию мыслей и эмоций в романе.

Слишком часто приходилось слышать нечто подобное и отвечать приходилось не раз.

— Во все времена форма и содержание литературного сочинения вызывали споры. Одни отстаивали произведения, близкие им с детских лет, и отказывались от новшеств в манере письма. Другие твердили о застое, об избитых ситуациях и фальшивых образах; нет проблем, созвучных эпохе, слишком возвеличены социальные слои, утратившие свое значение, недостаточно учтены сословия, давно занявшие в обществе достойное место. Восприятия и чувства людей изменились, следует надстройку приблизить к базису, найти формы, близкие вкусам современников. Наше время не исключение, для века атомной энергии и необычайной динамики творческих сил

человека каноны литературы недостаточны. Слишком велико расхождение между стремительным ритмом жизни и ритмом классических форм творчества. Не случайно возникает живопись и музыка, доступная немногим, на экранах кинематографа утверждается натурализм, обнажается чувственность, жестокость и ненависть. Извечно порицаемые убийства, насилия и разврат обретают новую моральную окраску и выглядят порой чистейшей добродетелью. Наряду с этим умещаются крайние формы условности: образы, действия, краски и многое другое обретают некое внутреннее значение и сокрытый смысл.

— Подобные отклонения были всегда…

— Да, но многие склонны пересмотреть самую сущность художественной прозы, не только форму, но и содержание романа. Им кажется излишним сюжет, внедряющийся в живую ткань событий, утонченный язык и само строение фразы. Прозу прошлого объявляют подкрашенной и подмалеванной, однообразной и скучной. Ей противопоставляют произведения, написанные сплошным диалогом, без фабулы, с раздробленной композицией, без сюжетной стройности, с некоторым избытком натурализма и чувственных картин. Художественную фразу, насыщенную словотворчеством и иронией с ее богатым подтекстом, оттесняет краткая, однообразная фразеология, якобы отражающая характер современной речи. Оправданием этому служит убеждение, что читателю некогда углубляться в перипетии чужих судеб, роман должен быть кратким, небольшим по объему и формату, чтобы умещаться в кармане и быть прочитанным на ходу.

— Действительно ли читатель недоволен современным романом и ждет чего-то нового, не кажется ли это досужим людям, склонным всюду видеть борьбу старого с новым и победу прогресса над пережитком?

— Читатель по-прежнему любит художественное слово, но в книгах ему словно чего-то не хватает. Он бросается из крайности в крайность, то отдавая предпочтение детективному сочинению, то мемуарной повести, фантастическому роману, или вовсе приходит к заключению, что время для вымышленных историй миновало, незачем попусту тратить время.

Обратимся к тем запросам и надеждам, которые читатель извечно возлагал на художественную литературу.

Во все времена от романа ждали ответа: как жить, каковы пределы нравственного долга, добра и зла, чести и бесчестия? Эти запросы по-прежнему занимают читателя. Иным стал век, и новый круг интересов запросился в книгу. Нераздельной частью труда стали научные и технические искания. Даже в сферу

домашнего хозяйства проникла наука. Никогда еще прогресс знания так не внедрялся в личную жизнь людей, не селил и расселял их по земле, не отрывал от косной среды, чтобы внутренне и внешне преобразить, не диктовал им образа существования, — как в наш удивительный век.

С тех пор как возникла грамотность, форма и содержание литературы зависели от уровня общественного развития. Застой и упадок науки замедляли рост сложившихся вкусов и обедняли духовный мир, пора подъема наук вызывала их расцвет. Не сразу наступали перемены, порой с опозданием на десятилетия, и немудрено — привычное заблуждение тем легче преодолеть, чем меньшему числу людей оно свойственно.

На наших глазах наука породила новые интересы и потребности, она внедрилась в старые порядки и нормы морали, кое-что возвысила и многое из прошлого поставила под вопрос. Возникла трудная задача поспеть за временем; кибернетические автоматы и сложнейшие машины разлучили мастерового и ремесленника с прежним полумашинным трудом — искусством, раз и навсегда усвоенным, — и поставили его у распределительной доски многообразного научного хозяйства. Труд тем более нелегкий, что стремительно нарастают технические совершенства, науки внедряются друг в друге, подменяют и расщепляют то, что недавно казалось неоспоримым. За этим надо поспеть, не упустить, пока не поздно. Сторонних наблюдателей нет, как далеко бы мы ни отстояли от океанических и космических проблем, все мы участники планов полета на Луну и проникновения в глубины океана.

Эти знания необходимы, а добыть их нелегко. Наука раздробилась на многочисленные разделы, работы ученых публикуются на языке, доступном немногим. Охватить растущие знания в своей и смежной областях, порой спаянных крепко, тем более сложно, что повседневный труд современного человека сопряжен с большой тратой умственной энергии. Уж по тому одному читатель охотно отдаст свой досуг книге, в которой средствами художественной занимательности, помимо житейских и нравственных проблем, найдут себе место и познавательные, полезные в его текущем труде. Произведения, подменяющие знания лабораторным антуражем и назойливым повтором азов из учебника, успеха иметь не будут.

Этим новым интересом читателя объясняется успех книг Поля де Крюи, Уилсона, Ремарка, Моруа, Льюиса Синклера, насыщенных научными идеями. Эти произведения не отвечают еще назревшим требованиям читателя, слишком часто в них наука присутствует лишь как повод для развития образов и

сюжета. Еще менее отвечают требованиям времени так называемые производственные романы. Всего в этих книгах вдоволь: и рабочей обстановки, и многообразия процессов труда, и подробностей фабрично-заводского быта. Конфликт окрашен внешним волнением. Так, например, автор утверждает, что мост следует строить так — и ни в коем случае иначе. Противник — обычно заслуженный инженер или чиновник важного ведомства. В спор втягиваются дирекция и партийный комитет, конфликт растягивается на много печатных листов, прерываемый на время, чтобы уделить место любовной истории, якобы соприкасающейся с перипетиями строительства моста.

С не меньшим глубокомыслием читателю предлагается принять участие в споре, следует ли отливать трубы по проекту достойного персонажа или проводить эту процедуру несколько иначе. Побывав на многочисленных производственных совещаниях и выслушав сторонников и противников одного и другого проекта, читатель, к общему удовольствию, убеждается, что проект достойного персонажа принесет производству высокий доход и снизит затраты на транспортировку.

Примерно так же обстоит, когда персонажи романа — ученые. Конфликт развивается вокруг неважной частности, которую автор провозгласил высочайшим достижением института. Всей глубины спора читатель никогда не узнает, с него достаточно того, что правда возьмет верх, отсталый ученый, кстати погрешный и во многом другом, останется на ложных позициях, тогда как истина окажется у малозаметного лабораторного труженика.

— Следует ли из всего этого, что скверное использование научного материала в произведении — дополнительная причина нерасположения современника к роману?

— В какой-то мере возможно, но важно другое: не против формы романа и его идей возражает читатель, он хочет наряду со столкновением интересов и страстей вокруг чувства любви, тщеславия, жажды наживы и многого другого встретиться с научной проблемой во всей ее широте и полноте. Эта прибавка не обеднит произведение художника, проблемы науки столь же обширны и многосторонни, как и жизненные ситуации, веками бытующие в литературе.

Серьезное отношение к литературному произведению предполагает и строгие требования к ней. Современному читателю чужды алогизмы и причуды фантазии на страницах книг. Он отказывает писателю в праве домысливать историю, произвольно сочетать подлинное с вымыслом, выдавать одно за другое и злоупотреблять доверием того, кто склонен свято чтить

печатное слово. Даже одного лишь психологического раскрытия характера ему недостаточно, он претендует на познания истоков человеческого поведения, откуда бы они ни исходили и к какой области ни относились. Читатель приемлет и тему о любви, но не той, которая ураганом обрушивается на людей, рождается и умирает без причин и следствий. В любви его занимают пути ее развития, логика чувств и законы, управляющие ими. Он не поверит, что любовь человека изъята из общего круговорота закономерностей и порхает по миру без руля и без ветрил.

Ближе всего к типу романа, которого наш современник ждет, такие произведения, как «Один в бескрайнем небе» Бриджмена или «Военный летчик» Сент-Экзюпери. В них профессиональная точность и глубокое знание технических законов соперничают с серьезным анализом душевных переживаний человека. Каждый полет на новой машине не только картина силы и мужества летчика, но скрупулезное изучение самолета и его технических свойств. Книги Экзюпери могли бы с пользой послужить не только любознательному читателю, но и опытному летчику. Все закоулки профессии, искусство, удачи и неудачи, нераздельные с яркими образами и характерами людей, — прекрасно умещаются рядом, нисколько не стесняя друг друга. То, что Бриджмен и Экзюпери повествуют о летной науке, вряд ли выразишь на страницах научно-популярного произведения.

— Многие факты не слишком согласуются с приведенным анализом. Как, например, сочетать интерес читателя к научному знанию с несомненным увлечением книгами детективного жанра? Много ли в них научных идей?

— Современный шпионаж и преступления против общества, а также методы их раскрытия достигли необыкновенного совершенства. Чего только не узнаешь из книг этого жанра! И физика, и химия, и психология широко служат преследуемым и преследователям. Уже Конан-Дойль в свое время привлек внимание читателя научными приемами сыска и сложными психологическими расчетами.

— Много ли подлинного знания, особенно прикладного, в так называемом научно-фантастическом романе? Ведь чаще всего это эрзац науки.

— Нельзя упускать из виду, что в каждой такой книге немало и подлинного знания. Ведь предпосылкой для фантазии служат новейшие достижения астрономии, космонавтики и множества других наук.

— И все же, — слышится мне часто возражение, — такой сплав ослабит внимание читателя к художественной проблеме, и ни одна из целей автора не будет достигнута. Разве у литературы

нет своей собственной задачи? Как, например, объяснить такой парадокс? Точный жизнеописатель и знаток быта своего времени, Бальзак уделяет много внимания всем слоям общества и ни одной строки — научным искателям. Наиболее близкий нам по времени Л. Н. Толстой и его современник Чехов, видимо, считают науку проблемой, стоящей вне пределов художественной литературы. У Чехова это нерасположение носит порой анекдотический характер. В блестящей повести «Скучная история» читатель узнает, что главный персонаж — профессор патологии — и ничего больше. В пьесе «Дядя Ваня» об ученом Серебрякове единственно известно, что «он 25 лет переливал из пустого в порожнее». Зрителю остается этим довольствоваться.

— Довод выглядит убедительным, но, как ни странно, художественная литература все же всегда была научной. Основой ее ткани служит психология, и столь велики заслуги литературы в этой области знания, что трудами Достоевского, Толстого, Чехова и замечательных мастеров Запада психологи сплошь и рядом иллюстрируют свои открытия. В канву романа нередко вплеталась история, и произведения эти украшают мировую литературу. Многие историки не раз отмечали важность тех исторических фактов, которые они извлекали из романов Гюго, Бальзака, Пушкина, Толстого, Вальтера Скотта.

Перу писателя не чужда и такая сложная наука, как философия. Есть разряд произведений специально философского направления — «Путешествие Гулливера», «Боги жаждут», «Остров пингвинов». Какой ученый безучастно пройдет мимо философских идей Салтыкова-Щедрина и педагогических принципов Макаренко?

На счету художественной литературы немало произведений, насыщенных знанием военного дела. Такие книги, как «Война и мир», «Наполеон» Тарле и великое множество других, могли бы иной раз посоперничать с трудами некоторых почтенных исследователей.

Любители ботаники и природы наших лесов и полей много поучительного узнают из замечательных рассказов художника слова Пришвина, географы и антропологи встретятся с не менее ценными сведениями в романах Конрада и Моэма.

Даже теология, наука, казалось, далеко отстоящая от изящной литературы, была веками представлена на ее страницах. И библейские тексты, и нравственно-религиозные идеи широко приводились писателями средних веков. Многие следуют этому примеру поныне.

Наконец, в своей совокупности художественная литература представляет собой историю нравов — область чисто научную.

Она никогда не порывала с наукой, и мы с этой связью так свыклись, что не замечаем ее.

— Вы что же, хотите из нас сделать ученых, да еще всезнаек?

— Нет, только мыслителей! Писатель должен им быть. Пусть читатель не соглашается с ним, отвергает его идеи, выдвигает собственную точку зрения. Этого более чем достаточно, художник может себя поздравить с успехом.

— Это не по силам писателю, нельзя на мастера слова возлагать столь тяжкий труд.

— Мастера слова брали на себя более непосильный труд. Так, Гюстав Флобер углубился в историю древнего Карфагена и наряду с картиной великих страстей героев древности обнажил любопытнейшие страницы истории. Немало потрудился и Анатоль Франс над романом «Таис», посвященным эпохе раннего христианства.

Новые требования доступны любому писателю. У каждого свое увлечение каким-нибудь разделом знания или искусства, некоторое знакомство с научным предметом. Восполнить свои знания составит меньше труда, чем овладеть художественной темой. Зато какая честь для того, кто дал читателю книгу, в которой успехи науки умещаются рядом с важной жизненной проблемой.

Книготорговцы, более чувствительные к интересам читателей, чем мастера слова и литературоведы, излили свою горечь на страницах «Стампа» после книжной выставки во Франкфурте-на-Майне:

> «В минувшем году было зарегистрировано прогрессирующее падение интереса к художественной литературе. Средний читатель, видимо, оказывает все большее предпочтение книгам по истории, социологии и экономике, его привлекает научно-популярная, а то и специально научная литература. Это влечет за собой необходимость решительной переориентации для большей части издательских фирм, приспособленных, главным образом, для производства романов и привыкших рассматривать книги по вопросам культуры как явный пассив… Если в прошлом сравнительно легко было взрастить шеренги романистов, способных выдавать на должном коммерческом уровне литературную продукцию, то для создания почти на голом месте писательских кадров, которые были бы в состоянии ясно и точно и доступно излагать научные проблемы, — потребуется немалое время».

О грядущих судьбах романа Дж. Б. Пристли в одной из своих статей пишет:

> «Некоторые новые формы литературного творчества, быть может, вскоре привлекут внимание и писателей и широкой читающей публики. Например, я считаю, что большое будущее предстоит книгам, которые в плане литературы соответствуют документальным фильмам в кино. Я имею в виду не просто информационные популярные издания, рассказывающие нам, как построена железная дорога или организована новая отрасль промышленности, я говорю о подлинно художественных произведениях, по-новому сочетающих факты с вымыслом. Литература будет все больше и больше привлекать в помощь себе науку, порождая не популярные учебники, а подлинные произведения искусства на научные темы… Это совершенно новый вид литературы. Очень большие страны, такие, как Россия и Америка, дают особенно хорошие темы для подобных книг. Я надеюсь увидеть много таких произведений в ближайшем будущем и с удовольствием прочитать большинство из них…»

Характерно, что Комитет по Нобелевским премиям счел нужным в последние годы присудить премии Андре Моруа, автору книги о первооткрывателе пенициллина Флеминге, и писателю Хемингуэю за его книгу «Старик и море». Трудно отделаться от мысли, что в этом случае высокие судьи воздали должное и познавательной стороне произведения. Мало в этой повести от традиционного характера художественного сочинения, зато много об искусстве ловить крупную рыбу в океане. Чтобы с наибольшей полнотой рассказать о птицах, хищниках и их жертвах, о мощной гигантской рыбе и ее способности сопротивляться, о системе рыболовной снасти и о многом другом, — автор почти исключительно пользуется монологом, непрерывно обращается с речами ко всему живому, окружающему его. Не во всякой научно-популярной книге прочтешь то, что увидел старик в океане, а ведь в повести всего лишь два персонажа — старик и природа — и вся деятельность человека сводится к использованию своего многолетнего опыта.

— Должен ли писатель всегда пользоваться чужими научными идеями или ему не заказано по проблемам, не получившим признания, утверждать собственную точку зрения?

— Несомненно. В современном мире нерешенных проблем больше, чем завершенных. Взять хотя бы к примеру проблему

любви, которой так злоупотребляют люди искусства. Редко в каком романе мы не встретимся с одной, другой, а то и третьей любовной парой. Каждая переживает это радужное чувство по-своему, а много ли мы знаем о причинах, порождающих любовь? Или кто-нибудь потрудился над тем, чтобы отделить это чувство от спутников, столь схожих с ним и ничего общего с ним не имеющих?

Мышление современного читателя не может мириться с представлением о чувстве, сущность и природа которого непознаваема. Поражаешься иной раз, с какой точностью писатель приводит рождение ненависти, злобы, раздражения и упадка духа. Все обосновано, логически бесспорно, с таким же искусством обрисовано утверждение личности, ее воскрешение. Зато чуть коснулось пробуждения любви — краски мгновенно блекнут. Описание напоминает содержание истории болезни. Герой ощутил неудержимое тяготение… нежное чувство в нем нарастало… Или: он внезапно почувствовал, что любит и никогда уже разлюбить не сможет… Более серьезно и логично автор расскажет, почему он разлюбил и возненавидел предмет нежной страсти…

— Соответствует ли грядущий жанр литературы нашим представлениям о социалистическом реализме?

— Вполне. Ведь понятие «социалистический» неотделимо от понятия «созидательный». Заново творятся общественные отношения, перестраивается сознание и оценка явлений, по новому образу творится человеческое общество. Кто же станет отрицать, что научно-познавательные идеи, обогащающие мысль, — лишний компонент в художественном произведении, призванном это новое сделать достоянием ума и сердца народа? Разве не средствами познания должно перестраиваться общественное сознание?

Одним из основных признаков социалистического реализма должно быть непременное присутствие просветительного начала в художественном произведении.

Такой мне кажется в общих чертах грядущая судьба романа, таков итог моих представлений о прожитом и пережитом.

notes

Примечания

1

Мезуза — свиток с молитвой, прибитый в металлической оправе у входа в дом.

2

Коллектор — продавец лотерейных билетов.

З

Койгены — евреи, якобы происходящие от древних первосвященников.

4

Голус — изгнание.

5

Кадиш — заупокойная молитва.

6

Праздник торы.

Балагула — возчик.

8

Дайон — духовное лицо.

9

Резник — духовное лицо на бойне.

«Лху нранну», «Мизмор шир» — молитвы.

11

Ешиботники — воспитанники высшей еврейской школы.

12

Предметы религиозного ритуала.

13

Пейрук — нравоучительно-религиозное сочинение.

14

Иолд — простак.

Миква — бассейн для религиозного омовения.

16

Рабойсай — господа.

17

Поздравляю.

18

На веру.